



Воспоминания соловецких узников



**Посвящается памяти заключенных
Соловецкого лагеря особого назначения**

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Иерей Вячеслав Умнягин (ответственный редактор)

Майя Евгеньевна Бабичева, кандидат филологических наук

Вера Ивановна Брагина

Олег Геннадьевич Волков

Андреа Гуллотта, кандидат филологических наук

Дарья Сергеевна Московская, доктор филологических наук

Олег Витальевич Панченко, кандидат филологических наук

Елена Александровна Певак, кандидат филологических наук

Михаил Сергеевич Скрипкин

Вениамин Алексеевич Слепков

Марина Александровна Смирнова, кандидат исторических наук

Анна Петровна Яковлева

ВОСПОМИНАНИЯ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ

1925—1931



НАЦИОНАЛЬНАЯ
СОЛОВЕЦКАЯ
БИБЛИОТЕКА

2016

УДК 94(47)(092)+94(470.11)(092)+
271.2(470.11)(092)
ББК 63.3(2)61-361ю14+
63.3(2Рос-4Арх, 99Соловки)61-61ю14+
86.372.24-3ю14
В 77

*Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви
(ИС Р16-608-0311)*

Рецензенты:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
языка, литературы и истории КарНЦ РАН Е. Г. Сойни
доктор геолого-минералогических наук, профессор РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина, академик РАЕН П. В. Флоренский
кандидат филологических наук, руководитель историко-просветительского
общества «Ингушский мемориал» М. Д. Яндиева

Научный консультант:

доктор филологических наук, заместитель директора ИМЛИ РАН,
заведующая Отделом рукописей Д. С. Московская

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) благодарит за
помощь в выпуске четвертого тома серии «Воспоминания соловецких узников»
Губернатора Архангельской области **Игоря Анатольевича Орлова**,
руководителя агентства по развитию Соловецкого архипелага
Романа Викторовича Балашова,



а также
**Фонд развития
Соловецкого архипелага**

Воспоминания соловецких узников / [отв. ред.: иерей Вячеслав Умнягин]. —
В 77 Соловки: Изд. Соловецкого монастыря, 2013. — (Книжная серия «**Воспоминания
соловецких узников 1923–1939 гг.**»). Т. 4: 1925–1931. — 2016. — 559 с., ил.
ISBN 978-5-91942-038-5.

Агентство СІР Архангельской ОНБ.

УДК 94(47)(092)+94(470.11)(092)+
271.2(470.11)(092)
ББК 63.3(2)61-361ю14+
63.3(2Рос-4Арх, 99Соловки)61-361ю14+
86.372.24-3ю14

Четвертый том книжной серии посвящен 110-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева. Помимо его воспоминаний, в сборник вошли мемуары других заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, которые отбывали наказание в 1925–1931 гг. Издание включает в себя научные статьи и справочные материалы по истории и географии СЛОНа. Книга ориентирована на самый широкий круг читателей и специалистов, интересующихся отечественной историей.

ISBN 978-5-91942-038-5

© Спасо-Преображенский Соловецкий
ставропигиальный мужской монастырь, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| От редакции..... | 7 |
| О. Г. Волков. Соловки времени Д. С. Лихачева (1928—1931) | 11 |
| А. П. Яковлева. «Теперь такое благоприятное дело для доброделания и выявления себя христианином, какое редко бывает». Миряне — помощники ссылного и заключенного духовенства..... | 41 |
| Вячеслав Умнягин, иерей. Уголовники в воспоминаниях соловецких узников | 53 |
| А. Гуллотта. Соловецкая быль А. Д. Булыгина | 64 |
| А. Д. Булыгин. Соловецкая быль | 68 |
| Вячеслав Умнягин, иерей. Побег с Соловков анархиста К. Л. Власова-Уласса | 112 |
| К. Л. Власов-Уласс. Соловецкий изолятор..... | 116 |
| Е. А. Певак. <i>Идеалисты</i> в стране Советов | 128 |
| Н. А. Журавлев. Живут три друга | 133 |
| М. Е. Бабичева. Роман или все же мемуары? (О произведении А. П. Скрипниковой «Соловки») | 162 |
| А. П. Скрипникова. Соловки..... | 171 |
| О. В. Панченко. Д. С. Лихачев в работе над «Воспоминаниями»: осмысление духовного опыта Соловецкого лагеря..... | 326 |
| Д. С. Лихачев. Картежные игры уголовников (Из работ Криминологического кабинета) | 350 |
| Соловки. 1928—1931 годы..... | 360 |
| Святая Русь и Соловецкие мученики по рассказу одного из узников (Беседа Д. С. Лихачева с А. Шишкиным) | 369 |
| Воспоминания..... | 373 |



| | |
|---|-----|
| Топографический указатель | 512 |
| Именной указатель | 519 |
| Глоссарий и список аббревиатур | 545 |
| М. А. Смирнова. Криминальная жизнь Соловецкого лагеря особого назначения. Ее исследования. Библиографический список | 549 |

ОТ РЕДАКЦИИ

В 2016 г. в России отмечается сто десять лет со дня рождения Д. С. Лихачева. Собиратель и хранитель отечественной словесности и культуры, он является и одним из наиболее известных заключенных Соловецкого лагеря особого назначения. Ученый и гражданин, Дмитрий Сергеевич положил немало трудов для того, чтобы в памяти поколений не изгладилась события недавнего прошлого, а люди смогли извлечь из него духовно-нравственный урок. Памяти этого замечательного человека, мемуары которого наряду с произведениями других заключенных представлены в настоящем издании, посвящается очередной выпуск книжной серии «Воспоминания соловецких узников».

Четвертый том охватывает историю СЛОНа середины 1920-х — начала 1930-х гг. По уже сложившейся традиции сборник состоит из трех частей: аналитической, включающей в себя тематические статьи, мемуарного раздела и справочных материалов.

Открывает первый раздел статья «Соловки времени Д. С. Лихачева (1928—1931)», в которой очерчены реалии лагерной жизни, необходимые для понимания как отдельных судеб, так и общей соловецкой истории указанного периода.

Следующая публикация — «Теперь лучшее время для добродетели и приучения себя к добру» — рассказывает о мирянах, ставших помощниками ссыльного духовенства. Она освещает важную часть жизни соловецких заключенных, многие из которых выжили благодаря заботам оставшихся на свободе родственников и знакомых, чье содействие не сводилось только к материальному обеспечению и моральной поддержке, но могло выражаться в помощи по организации церковной жизни в эпоху гонений.

Статья «Образ уголовников в воспоминаниях соловецких узников» раскрывает ряд особенностей во взаимоотношениях осужденных контрреволюционеров и профессиональных преступников. Создаваемый мемуаристами образ рецидивистов становится оселком для уяснения меняющегося со временем мировосприятия советских заключенных, их отношения к нормам и порядкам уголовного мира. Дополняет содержание публикации научная библиография «Криминальная жизнь Соловецкого лагеря особого назначения. Ее исследования», которая помещена в справочном разделе издания.

Мемуарную часть сборника открывает ранее не публиковавшаяся «Соловецкая быль» А. Д. Булыгина, которая была записана автором в 1981 г. и в настоящее время находится в архиве НИПЦ «Мемориал» (Москва). Представитель дворянской семьи, он был арестован совсем молодым человеком по «делу фокстротистов», приговорен к трем годам лагерного срока и доставлен на Соловки в середине 1925 г. Здесь заключенный попал на общие работы, затем трудился в бухгалтерии местной железной дороги. О деятельности этого подразделения и о других хозяйственных учреждениях лагеря автор подробно рассказывает в своих воспоминаниях, которые отличает ровный тон повествования, поэтическое восприятие жизни и уважительное отношение к соузникам.

Следующие воспоминания, впервые опубликованные в 2014 г. в сборнике Соловецкого музея-заповедника, принадлежат анархисту Константину Лаврентьевичу Власову-Улассу. Изначально текст под названием «Соловецкий изолятор» задумывался как заключительная глава более масштабного свидетельства о жизни в Советской России, которое на сегодняшний день недоступно в полном объеме. Соловки, где автор провел больше года, воспринимаются им исключительно в мрачных тонах. Бегство на свободу, по мнению мемуариста, оставалось единственным выходом, которым он и воспользовался в компании встреченных в лагере товарищей. Если верить запискам заключенного, он является единственным на сегодняшний день человеком, которому удалось бежать с Большого Соловецкого острова и оставить свои воспоминания об этом событии.

Биографический очерк Н. А. Журавлева «Живут три друга» из сборника «Необычные воспитанники» (1976) повествует о питомцах Болшевской трудовой коммуны им. Г. Г. Ягоды, действовавшей неподалеку от Москвы в 1924—1937 гг. Рассказчик — вчерашний уголовник, который в конце 1928 г. уже в качестве болшевского активиста прибыл на Соловки для отбора новых коммунаров из числа местных заключенных. Двое других героев — рецидивисты, судьбы которых также радикально меняются после вступления в коммуну. Несмотря на несколько пропагандистский характер, произведение содержит массу деталей, раскрывающих внутренний мир и психологию «сбросивших с себя груз прошлого и вставших на трудовую дорогу» людей.

Роман «Соловки» А. П. Скрипниковой хранится в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки и известен читательской аудитории по нескольким упоминаниям в «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына. Давая характеристику мемуаристке, писатель отмечал важную деталь ее личности: несмотря на скептическое отношение к религии, в качестве высшего образца она взяла стойкость раскольников, усвоив, что

«лучше умереть, чем дать сломать свой духовный стержень». Несмотря на это, произведение можно рассматривать как антитезу опубликованной в предыдущем томе книжной серии повести О. В. Второй-Яфы «Мать Вероника», героиня которой проходит на Соловках школу смирения и становится духовным человеком, возвышающимся над обстоятельствами земной жизни путем самоотверженного служения ближним. Напротив, «изломанная, запутанная», признающая за собой «еретический склад ума и натуры», героиня романа Скрипниковой укореняется в сознании собственного интеллектуального и нравственного превосходства, представляя собой яркий образ разрушительной личности, которыми богата любая революционная эпоха, склонная к упразднению не только политического устройства, но и духовно-нравственных оснований общественной жизни.

Завершают мемуарную часть сборника — статьи, интервью и воспоминания Д. С. Лихачева. Центральное место в исповедальной прозе ученого занимает рассказ об окружающих людях: «Сколько же их было? Как они были разнообразны и как интересны! Какую ценность представляет человеческая личность!» Удивительные по глубине и проникновенности свидетельства говорят о, казалось бы, парадоксально благодарном отношении к Соловецким островам, ставшим для будущего академика «вторым (но первым по значению) университетом», пребывание в котором осознавалось им «самым значительным периодом жизни».

Последнее наблюдение относится ко всем без исключения авторам воспоминаний. Вне зависимости от того, как складывалась их последующая судьба, пребывание на Соловках оставило в ней заметный и во многом определяющий след. Свидетельствуя об ужасах лагерного существования (а для подавляющего большинства заключенных оно было именно ужасным с точки зрения условий содержания и выполняемых работ), описывая мрачные детали тамошнего быта, мемуаристы, кто-то явно, кто-то в менее выраженной форме, указывали на идеалы, которые позволили им сохранить жизнь и внутреннюю целостность. Системе подавления личности они противопоставляли идеальное начало, которое было первичным в отношении форм приспособления к окружающим условиям. Не быт, а именно дух и его сила определяли бытие и сознание, позволившие пережить выпавшие на их долю испытания и оставить рассказ о себе и о тех, кому этого по разным причинам сделать не удалось.

Затрагивая религиозно-нравственные доминанты и рассказывая о социально-психологических особенностях поведения жертв политических репрессий, мемуаристы касались самых глубоких движений человеческой души. Внимательное чтение воспоминаний позволяет выстроить аксиологическую иерархию и выявить

непреходящие, мало зависящие от внешних обстоятельств ценности. Среди них, наряду с культурными и идеологическими компонентами, выделяется религиозная составляющая, определяющая в конечном счете отношение человека к переносимым им страданиям и смыслу жизни.

По традиции все мемуары соловчан предваряют вступительные статьи, авторами которых на этот раз стали представители ИРЛИ РАН, МГУ, ПСТГУ, РГБ, University of Glasgow, сотрудники Соловецкого монастыря и музея-заповедника. Научный аппарат книги содержит Топографический и Именной указатели, Глоссарий и список аббревиатур, а также Библиографический список.

О. Г. Волков

СОЛОВКИ ВРЕМЕНИ Д. С. ЛИХАЧЕВА (1928—1931)

Период 1928—1931 гг. в истории Соловецкого лагеря характеризуется постоянными изменениями в его структуре и административном подчинении, составе и количестве заключенных. В это время Соловецкие острова входили в качестве отделения в более крупные лагерные структуры: 4-е отделение Соловецкого лагеря (СЛАГ ОГПУ) было реорганизовано в 1929 г. в Лаготделение Соловецких и Карело-Мурманских исправительно-трудовых лагерей (СИКМИТЛ ОГПУ), которое, в свою очередь, трансформировалось в 11-е отделение Беломорско-Балтийского лагеря (ББЛАГ ОГПУ с 16 ноября 1931 г.).

Соловецкий лагерь постепенно разрастался, перешел на материк с Управлением в г. Кеми (с 1929 г.), численность заключенных с учетом материковых командировок к 1930 г. достигла 56 000 чел., при этом собственно на Соловецких островах содержалось около 15 000 чел.

«Год великого перелома» (1929 г.) принес существенные изменения в положение заключенных Соловецкого лагеря и был ознаменован усилением лагерного режима. К этому времени лагерное производство в основном уже было сосредоточено на материке. В 1930 г. лагеря впервые были включены в пятилетние планы страны, в связи с чем большая часть предприятий Соловецкого архипелага была признана нерентабельными. Производство лагеря на материке давало более дешевую продукцию и не требовало затрат на транспортировку материалов и готовой продукции, к тому же материк обладал неисчерпаемым богатством природных ресурсов, а Соловки к началу 1930-х гг. практически выработали все свои запасы.

Сосредоточенные в Соловецком лагере культурные, интеллектуальные силы стали использоваться в изыскательских, геологоразведочных, геодезических экспедициях, в строительстве и налаживании работы северных рудников и шахт. Известно несколько больших этапов соловецких заключенных, направленных в 1930—1932 гг. для работы на строительство Беломорско-Балтийского канала, в Ухтинской и Вайгачской экспедициях ОГПУ. Производственная деятельность на Соловках в это время практически сошла на нет, основными работами

стали: сельхоз (Муксалма, Исаково, Кремль), Йодпром (Анзер, М. Муксалма, Б. Соловецкий остров), заготовка дров (в основном плавника), дорожно-строительные и ремонтные работы.

В целом этот период в истории Соловецкого лагеря характеризуется:

- постоянной перестройкой структуры лагеря;
- частой сменой начальства;
- изменением состава заключенных по социальному признаку, по роду преступлений;
- массовым вывозом рабочей силы с Соловков и, наоборот, приемом инвалидов и штрафников с материковых объектов;
- массовыми репрессиями по отношению к заключенным, особенно в отношении осужденных по контрреволюционным статьям.

В 1930 г. вступило в силу решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», а также постановление СНК РСФСР от 18 августа 1930 г. «О мероприятиях по проведению спецколониализации в Северном и Сибирских краях».

Северный край, призванный стать «валютным цехом страны», должен был максимально мобилизовать лесопромышленный комплекс и сопутствующие предприятия для работы на экспорт. Своей рабочей силы и финансов для выполнения этой грандиозной задачи на Севере было недостаточно. Кроме того, крестьяне-единоличники и колхозники не были материально заинтересованы в работе на заготовке и сплаве леса, самых малооплачиваемых работах на предприятиях лесопромышленного комплекса.

18 февраля 1930 г. Верховный суд РСФСР постановлением «Об усилении репрессий за преступления, связанные с лесозаготовками и сплавом» обязал суды привлекать к ответственности за агитацию против лесозаготовок и выхода на сплав по статье 58 УК РСФСР, предусматривавшей лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и поражение в правах. Эта статья считалась «политической» — получивший ее вполне мог оказаться в одном из лагерей ГУЛАГа.

Проблема мест заключения в советском государстве всегда стояла остро, однако во второе десятилетие своего существования оно вступило с тюрьмами, переполненными сверх всякой меры. К началу 1929 г. в местах заключения, подведомственных НКВД, находилось 76 500 арестантов, или вдвое больше, чем они могли вместить, что вызывало необходимость их частых «разгрузок» по амнистиям. Переход к политике «раскулачивания» также не предвещал сокращения притока арестантов. Между тем содержание одного заключенного обходилось в среднем в 250 руб. в год, и бюджет страны с большим трудом выдерживал эти

нагрузки. В 1928—1929 гг. вопросы реформирования пенитенциарной системы привлекали пристальное внимание правительства, прокуратуры Российской Федерации и даже Политбюро, члены которого, по словам председателя ОГПУ В. Р. Менжинского, «высказывали резкое осуждение порядкам и системе, существующим в местах заключения НКВД»¹. То, что при этом имелись в виду отнюдь не гуманные соображения, свидетельствуют слова, сказанные прокурором РСФСР Н. В. Крыленко на заседании комиссии Политбюро в мае 1929 г.: «Стоит задача коренного изменения режима в наших исправтруддомах, реального сохранения сроков лишения свободы, определенных судебным приговором, и рационального использования труда заключенных»².

Несмотря на сопротивление НКВД, упорно не желавшего расставаться со своим многотысячным «спецконтингентом», выход был найден в том, чтобы осужденные к лишению свободы на срок от трех лет и выше передавались в концлагеря ОГПУ, которые впредь следовало именовать «исправительно-трудовыми». Постановление Политбюро на этот счет было принято 27 июня 1929 г., а спустя две недели, 11 июля, оно было продублировано союзным правительством. В этом решении был важен не только организационно-финансовый, но и политический аспект, на который указал заместитель Менжинского Г. Г. Ягода на заседании комиссии, готовившей постановление Политбюро: «Совершенно очевидно, что политика советской власти и строительство новых тюрем несовместимы. На новые тюрьмы никто денег не даст. Другое дело постройка больших лагерей с рационально поставленным использованием труда в них», — и добавил: «Опыт Соловков показывает, как много можно сделать в этом направлении (дороги, осушение болот, добыча рыбы заключенными, устройство питомников)»³. Тогда же Политбюро санкционировало организацию новых ИТЛ под эгидой ОГПУ по типу Соловецкого, первым из которых стал Ухтпечлаг. К весне 1930 г. в СССР уже было семь групп лагерей, подведомственных ОГПУ. В них содержалось 150 195 заключенных, из которых в УСЛОНе — 59 799, или почти 40% от общего числа лишенных свободы людей.

В конце 1920-х гг. советское правительство приняло ряд документов, которые в корне изменили положение заключенных в лагерях ОГПУ. Первым в их ряду стало совместное постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г.

¹ Докладная записка председателя ОГПУ В. Р. Менжинского в Политбюро ЦК ВКП(б) об отмене решения СНК СССР не передавать осужденных на 3 года и выше в лагеря ОГПУ от 3 сентября 1930 г. // *Кустышев А. Н.* Европейский Север России в репрессивной политике XX в.: Учебное пособие. Ухта: УГТУ, 2003. С. 87.

² Протокол №1 заседания комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) об организации концлагеря в районе Ухты и подготовке перспективного плана строительства лагерей от 15 мая 1929 г. // Там же. С. 83.

³ Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б). 1929—1930 гг. / Публ. С. А. Красильникова // Исторический архив. 1997. № 4. С. 145.

«О карательной политике и состоянии мест заключения»⁴. Этим документом была четко проведена классовая черта между преступниками. Отныне они делились на «социально чуждых» и «социально близких». Для классовых врагов и контрреволюционеров возможность досрочного освобождения сводилась на нет, так же как и сокращение срока заключения путем зачета рабочих дней. Зато для трудящихся, совершивших преступление в «силу нужды или при тяжелом стечении обстоятельств», предлагалось применять вместо лишения свободы другие меры наказания, в том числе принудительные работы. Субъекты преступлений теперь не были равны. Их судьба зависела от классовой принадлежности, происхождения, политических взглядов, убеждений, отношения к советской власти.

Эта установка была конкретизирована в «Положении об исправительно-трудовых лагерях» (утверждено СНК СССР 7 апреля 1930 г.)⁵. Согласно этому положению, все лица, осужденные на срок три года и выше, а также осужденные особым постановлением ОГПУ, направлялись в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ. Заключенные лагерей делились на три категории, «в зависимости от их социального положения и характера совершенного преступления»:

- 1 категория: трудящиеся (рабочие, крестьяне и служащие), пользовавшиеся до вынесения приговора избирательными правами, осужденные впервые на сроки не выше 5 лет и не за контрреволюционные преступления;
- 2 категория: те же заключенные, но осужденные на срок выше 5 лет;
- 3 категория: все нетрудовые элементы и лица, осужденные за контрреволюционные преступления.

В зависимости от категории, каждому заключенному назначался режим содержания. Их тоже было три: первоначальный, облегченный и льготный. Заключенные, подвергавшиеся первоначальному режиму, должны были использоваться на общих работах, проживать в пределах лагеря в специальных помещениях (т.е. бараках), не имели права свободного выхода из этих помещений и направлялись на работу по общему списку. Заключенные, подвергавшиеся облегченному режиму, использовались для постоянной работы в учреждениях, предприятиях и на промыслах, проживали в общежитиях, прикрепленных к предприятиям, имели право отлучаться, направляться на работы по рабочим книжкам и могли быть премированы. Они также имели право на выход за пределы лагеря и замещение административно-хозяйственных должностей в управлении лагерем и

⁴ Еженедельник советской юстиции. 1928. № 14. С. 417–419.

⁵ Постановление СНК СССР «Об утверждении положения об исправительно-трудовых лагерях» // ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. [сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров]. М.: МФД, 2000. С. 65–72.

по производству работ. Особо отмечалось, что нетрудовые элементы и лица, осужденные за контрреволюционные преступления, не могли занимать административно-хозяйственные должности.

Ко всем заключенным по поступлении в лагерь применялся первоначальный режим в течение следующих сроков: к заключенным первой категории — не менее полугода, к заключенным второй категории — не менее года и к заключенным третьей категории — не менее двух лет. Заключенные, которые проявляли признаки исправления усердным трудом и хорошим поведением, могли премироваться денежным вознаграждением, выдачей усиленного продовольственного пайка, ускоренным переводом на облегченный или льготный режим, досрочным освобождением с поселением или без поселения. Однако премироваться могли только заключенные, находящиеся на облегченном или льготном режиме, поэтому к каэрам это условие не могло применяться. Досрочному освобождению подлежали только те заключенные, которые пользовались до вынесения приговора избирательными правами, а, следовательно, «нетрудовые элементы» (дворяне, купечество, чиновники и т.д.) исключались из их числа. Культурно-воспитательная работа в лагерях должна была быть переориентирована на обслуживание заключенных, происходящих из рабочего класса и крестьянства и, прежде всего, направлена на ликвидацию неграмотности. Отлучка заключенного без разрешения с места работы, а также неявка в роту по истечении шести часов после вечерней проверки рассматривались как побег.

Эти установки советской власти были конкретизированы в Постановлении СНК СССР от 11 июля 1929 г. «Об использовании труда уголовно-заключенных»⁶. Вот его основные положения:

1. Осужденных судебными органами Союза и союзных республик к лишению свободы на сроки на три года и выше... передавать впредь для отбытия лишения свободы в исправительно-трудовые лагеря, организуемые ОГПУ.

2. ОГПУ для приема новых заключенных расширить существующие и организовать новые исправительно-трудовые лагеря (на территории Ухты и других отдаленных районов) в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных свободы.

3. Для постепенной колонизации районов, в которых будут организованы исправительно-трудовые лагеря, предложить ОГПУ вместе с НКЮ РСФСР и другими заинтересованными ведомствами в срочном порядке разработать ряд мероприятий, положив в основу их следующие принципы:

⁶ Постановление СНК СССР «Об использовании труда уголовно-заключенных» от 11 июля 1929 г. // Там же. С. 64–65.

а) досрочный перевод на вольное поселение в этом же районе заключенных, заслуживающих своим поведением или отличившихся на работе, хотя и не отбывших назначенного им срока лишения свободы, с оказанием необходимой помощи;

б) оставление на поселении в данном районе с наделением землей заключенных, отбывших положенный им срок лишения свободы, но лишенных судом права свободного выбора местожительства и

в) заселение теми заключенными, которые отбыли срок лишения свободы, но добровольно пожелают остаться на поселении в данном районе.

В это время в СССР началась коллективизация, которая преследовала несколько целей. С одной стороны, она должна была покончить с последним (и самым многочисленным) классом, который еще был относительно свободен от регламентирующих действий советских органов в силу специфики своей жизнедеятельности, — с крестьянами-единоличниками. В то же время «раскулачивание» должно было дать необходимое количество рабочих рук для осуществления чисто экономической задачи — освоения огромных по площади, но практически ненаселенных к тому времени районов Крайнего Севера. Часть раскулаченных крестьян направлялась непосредственно в лагеря ОГПУ. Их семьи, а также остальная масса раскулаченных выселялись в отдаленные и малообжитые районы страны на «спецпоселение» или «трудопоселение» (иначе — в «кулацкую ссылку» или «трудссылку»)⁷.

В постановлении СНК РСФСР от 18 августа 1930 г. «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирских краях и Уральской области» особо подчеркивалась необходимость «максимально использовать рабочую силу спецпереселенцев на лесоразработках, на рыбных и иных промыслах в отдаленных, остро нуждающихся в рабочей силе районах»⁸. Стоит также отметить, что спецпоселенцы отбывали принудительные работы и в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении главы IV отдела первого Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года» («Принудительные работы без содержания под стражей и их организация»), принятым в мае 1928 г., их труд не оплачивался. Начиная с июля 1931 г. административное управление, хозяйственное устройство и использование спецпереселенцев были поручены ОГПУ.

Коллективизация и индустриализация, а также уничтожение остатков НЭПа предоставили в руки карательных органов сотни тысяч новых заключенных. Для

⁷ См. Земсков В. Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е гг. // Социологические исследования. 1991, №10. С. 3–21.

⁸ ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

этой огромной массы требовалось организовать десятки новых лагерей. К началу 1930-х гг. в СССР было два лагеря ОГПУ (которые к тому времени уже превратились в лагерные управления, объединявшие десятки лагерей, разбросанных на огромной территории): Соловецкий лагерь ОГПУ и группа лагерей особого назначения с центром в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар), где содержалось примерно 100 000 заключенных. Для осуществления общего руководства исправительно-трудовыми лагерями в 1930 г. было создано Управление лагерями (УЛАГ) ОГПУ, реорганизованное в 1931 г. в Главное управление лагерями (ГУЛАГ). Символично, что первым руководителем ГУЛАГа стал бывший начальник Соловецкого лагеря — Федор Эйхманс.

Большой потенциал человеческих ресурсов в лице заключенных, которым располагало НКВД, сделало это ведомство главным подрядчиком государства в решении хозяйственных задач. В конце 1930-х гг. интересы пенитенциарной системы все более сводились к экономическим. Правительство использовало труд заключенных для решения масштабных хозяйственных задач. Именно в эти годы построены, причем в рекордные сроки, Беломорканал (1932 г.), Балхашский медеплавильный комбинат (1934—1935 гг.), Волгоканал (1936 г.), автотрасса Москва-Минск (1937—1938 гг.) и сотни других объектов.

С 1923 г. в Соловецком лагере — своеобразном «полигоне» ОГПУ — отработывались методы использования принудительного труда больших масс заключенных, нашедшие в 1930-х гг. широкое применение в системе Главного управления лагерей (ГУЛАГ). Организация всех последующих лагерей производилась не только с учетом соловецкого опыта, но и частично с использованием кадровых сотрудников Управления Соловецкого лагеря, а также технического и инженерного персонала из заключенных.

Изменение структуры Соловецкого лагеря

До 1929 г. структура Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) была относительно стабильна. Лагерь делился на шесть отделений, пять из которых находились на Соловецком архипелаге, а еще одно, V отделение, располагалось на Конд-острове в южной части Онежского залива, незадолго до революции переданном Соловецкому монастырю в аренду для заготовки строевого леса и строительного камня⁹.

С момента организации СЛОНа в его структуру также входил Кемский распределительный пункт (Кемперпункт, КПП), который первоначально служил для накопления заключенных и их отправки на Соловки, но постепенно все более

⁹ ГАРФ, Ф. 9414, Оп. 1, Д. 2818. Доклад о деятельности Соловецких лагерей на 1926—27 операционный год.

разрастался территориально и количественно. К 1929 г. он, по сути, превратился в самостоятельное отделение, численность заключенных в котором была сопоставима с количеством заключенных на Соловецком архипелаге. Физически здоровые заключенные в КПП распределялись по командировкам, разбросанным по территории северной Карелии (лесозаготовки, строительство Кемь-Ухтинского тракта), а также использовались на госпредприятиях в Кемь и на погрузочно-разгрузочных работах на Пристани на острове Революции (в настоящее время пос. Рабочеостровск).

Уже в то время Соловецкие острова рассматривались ОГПУ как своеобразное штрафное отделение, в котором были собраны заключенные, внушающие опасение в смысле побегов, организованных выступлений и нелегальных сношений с внешним миром; осужденные на длительные сроки, имеющие контрреволюционные статьи УК; шпионы; лица, находящиеся под особым надзором или запретом; пойманные беглецы, а также нерабочий элемент — инвалиды и женщины-матери с детьми.

На Соловках I (Кремлевское) Отделение было заполнено заключенными, имеющими большие сроки, серьезные контрреволюционные статьи и особые (запретные) указания Центра об их размещении.

II Отделение (Савватьевское), объединявшее все работы по лесозаготовкам, было заполнено физически здоровыми заключенными, преимущественно уголовниками.

В 1927 г. III (Муксальмовское) Отделение было реформировано в командировку I Отделения, и в нем были сосредоточены в основном заключенные, потерявшие на тяжелых физических работах свою первоначальную трудовую категорию и нуждавшиеся в отдыхе.

IV Отделение находилось на Секирной горе, в зданиях Свято-Вознесенского скита. Это был мужской штрафной изолятор, в который ссылались на срок до 1 года заключенные, серьезно нарушившие лагерный режим. Прежде всего, туда отправляли за побег и уклонение от тяжелых физических работ. На Секирной горе также приводились в исполнение расстрельные приговоры.

V Отделение (Конд-остров) использовалось исключительно для содержания заключенных, больных заразными венерическими заболеваниями, а также для не поддававшегося трудовому использованию элемента лагеря. Там осуществлялись работы по самообслуживанию.

VI Отделение (о. Анзер), как имеющее более благоприятные климатические условия, использовалось для содержания инвалидов и нетрудового элемента. Отчасти там проводились промысловые работы.

Кроме перечисленных отделений, имелся женский штрафизолятор на Заяцких островах, приданный как командировка к I Отделению СЛОНа, где велись работы по самообслуживанию.

В 1929 г. структура Соловецкого лагеря претерпела кардинальное изменение, которое явилось констатацией на бумаге того, что уже происходило фактически в течение продолжительного времени. Эта структура была подробно представлена в отчете комиссии А. М. Шанина: «Управление Соловецкого лагеря состояло: из самого Управления, находящегося в г. Кеми, 5 Лагере, именуемых отделениями, и отдельного Кемского пункта. Вышеуказанные 5 отделений расположены в следующих районах:

1-е Отделение расположено на острове Революции (бывш. Попов остров); имеет в своем составе 16 667 заключенных, находящихся как на самом острове, так на работах в районах, охватываемых данным Отделением, т.е.: а) Кемь-Ухтинский тракт по месту нахождения лесных разработок (Панозерская — Юшкозерская дистанция), б) Лесоэкспортная дистанция бассейна рек: Летняя, Поньгома, Воньга, Кузема; в) Разнавалокский пункт — Сорокский рыбный район; г) отдельные погрузочные и другие мелкие работы на ж/д станциях в означенных районах и д) Конд-остров, на каковом содержится нерабочая часть УСЛОНа.

2-е Отделение — центр отделения ст. Май-губа, имеет в своем составе 10 074 человека заключенных, занятых на лесозаготовительных, лесоразделочных и лесопогрузочных работах вдоль линии ж/д от ст. Кяпсесельга до ст. Олимпий и лесные разработки и дорожные работы по линии Парандово-Рутозерского тракта.

3-е Отделение — центр ст. Кандалакша, имеет заключенных 9700 человек, находящихся: а) на лесоразработках Колвицкой, Бабинской лесных дач (Колвицкая и Бабинская дистанция), б) на лесозаготовительных, лесоразделочных и лесопогрузочных работах вдоль линии ж/д к северу от ст. Энг-Озеро до Мурманска включительно, г) на земляных работах в Мурманске, д) на рыбных промыслах в Кандалакшской губе и е) рыбная фактория в селении Териберка на океанском берегу Кольского полуострова.

4-е Отделение — центр остров Соловки, имело заключенных 15 834 человека, занятых на различных предприятиях — 9209 человек и 6625 ничего не делающих.

ПРИМЕЧАНИЕ: 5-м Отделением была названа Байкальская экспедиция, ныне вошедшая в состав Сибирских лагерей.

6-е Отделение — центр: разъезд «Белый» (Мурманской ж/д), имеет в своем составе 2340 заключенных, занятых на постройке ж/д ветки к апатитовым разработкам.

Кемский Отдельный Пункт — обслуживающий главным образом Управление Соловецкими лагерями и отдельные базы и предприятия в г. Кеми, имея в своем составе 2710 заключенных»¹⁰.

¹⁰ ЦА ФСБ Ф. 2, Оп. 8, Д. 116.

Численность и состав заключенных

На 1 октября 1926 г.: на Соловках было 6753 чел. / 70% (5703 мужчин / 1050 женщин), на материке — 3077 чел. / 30% (2962 / 115); всего — 9830 (8665 / 1165). На 1 октября 1927 г.: на Соловках 7445 чел. / 57% (6529 / 916), на материке — 5451 чел. / 43% (5171 / 280); всего — 12 896 (11 700 / 1196). На Соловках мужчин — 87,7%, женщин — 12,3%; КПП с материком — мужчин 94,1%, женщин — 5,9%. В общем, женщины составляли около 10%. Инвалидов в лагере было на 1927 г. в среднем около 3500 человек. Они концентрировались в основном на Муксалме и Анзере, где их использовали на внутренних работах.

Число заключенных 11-го (Соловецкого) Отделения: на 1 апреля 1931 г. — 13 264 заключенных, на 1 октября 1931 г. — 5632 заключенных. По категориям трудоспособности (на 1 октября 1931 г.): 1 категория — 1415 чел., 2 категория — 3847 чел., 3 категория — 77 чел., 6/кат. — 125 чел. Из них на производстве было занято 48%, в хозяйстве — 17%, в адм. хоз. аппарате — 4%, в Санчасти (+ КВЧ, СОК, ВОХР) — 8,5%, неработающих было 20% (из них 25%, т. е. 5% общего числа заключенных, в ШИЗО и СИЗО), весной 1931 г. неработающих было уже 31%; на 1 декабря 1931 г. — 5156 чел.; на 1 июня 1932 г. — 4134 чел., в ноябре 1932 г. на архипелаге оставалось 3920 чел., из них более 700 подростков.

Хозяйственная деятельность

В середине 1920-х гг. в Соловецком лагере существовало 10 основных производственных отраслей: паровое хозяйство, электротехнические и электромонтажные работы, механические установки, строительные работы, пути сообщений, лесоустройство, землемерные, гидротехнические и мелиоративные работы, обработка металлов, дерева, снабжение пищевым и вещевым довольствием. Больше всего (25%) заключенных в 1927 г. было занято на лесозаготовках и сплаве, 15% — в сельхозе, 6% — в водном транспорте, 8% — на железных дорогах, 5% — на торфоразработках, 7% — в Рыбзверпроме и салотопне, 7% — в пошивочном цехе, по 6% — в электропредприятиях, кирпичном, кожевенном и мехзаводе. Руководство Эксплуатационно-производственного отдела и предприятий лишь на 25–30% состояло из квалифицированных работников¹¹.

До 1930 г. важнейшими (и самыми массовыми) работами в Соловецком лагере были лесозаготовки. Они решали две задачи: продажа заготовленного леса являлась основным источником прибыли (в том числе валютной) для администрации лагеря, и в то же время заготовленные в лесу дрова были основным

¹¹ Доклад о деятельности Соловецкого лагеря на 1926–27 операционный год.

видом топлива для соловецких предприятий и для обогрева жилых помещений. Лес вырубался для заготовки дров, бревен, телефонных столбов, коркор (необходимых в изготовлении рыболовецких судов), древесного угля.

В 1927 г. в лесу ежедневно работали в среднем 500 заключенных, которые заготовили 11 200 бревен и 2115 телефонных столбов. Но уже тогда масштаб лесозаготовок на Соловках не мог идти в сравнение с материком. В 1927 г. на материке лесозаготовки велись Соловецким лагерем только в районе Панозерского лесничества, где заключенные заготовили и вывезли 120 000 бревен. В области лесозаготовок на материке администрация СЛОНа ставила задачу перейти от случайных работ к системе генеральных договоров и занятию прочных позиций на рабочем рынке путем расширения районов работ, их объектов и круга обслуживаемых организаций.

В результате хищнической вырубки леса на Соловках лесное хозяйство оказалось сильно расстроеным. Ежегодно вырубалось 15 000 куб. м строевого леса и 65 000 куб. м дров. За пять лет ведения массовых лесозаготовок (1926—1930 гг.) было отпущено строевого леса 105 000 бревен при величине ежегодной вырубки в 6000 бревен, т.е. использована лесосека по 1945 г. включительно, причем по крупным деревьям лесосека вырубалась за несколько лет вперед, а по мелкому деловому лесу ежегодно не дорубалась. Дров из растущего леса за 5 лет было отпущено 87 100 куб. м при величине нормальной годичной лесосеки в 5440 куб. м.

В 1930 г. на архипелаге рубка растущего леса была приостановлена и назначена ревизия лесоустройства, что дало возможность подойти к плановой рубке леса, не превышающей норм годового прироста. В отношении дров была поставлена задача использовать мертвый лес, сухостой, валежник, пни и порубочные остатки¹².

В 1931 г. лесоматериалы в последний раз были вывезены с Соловков на материк: около 9000 куб. м дров и 3000 бревен. После этого соловецкое лесничество занималось разделкой пней, гонкой смолы и скипидара, пережиганием угля¹³.

Уже в 1927 г. специально организованное в лагере лесничество приступило к закладке и устройству питомников ценных хвойных пород, которыми планировалось заменить вырубленный лес. В районе Зеленых озер был заложен дендропитомник для акклиматизации привезенных из Ленинграда деревьев, большинство из которых принялись и дали удовлетворительный прирост. В лесничестве на

¹² ГАОПДФ, Оп. 5715-1, д. 15. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контневского на общем собрании коллектива за время с 1 апреля по 15 ноября 1930 г.

¹³ СГИАПМЗ, всп. Ф. №3966-155. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контневского на общем собрании коллектива за время с 15 ноября 1930 г. по 15 мая 1931 г.

полевых работах летом было занято до 70 заключенных, зимой — 28-30 чел. при девяти технических работниках.

Хищническая вырубка леса и вывоз его на материк со всей остротой поставили перед администрацией Соловецкого лагеря вопрос об альтернативных источниках топлива. Собственно, от решения этого вопроса зависели перспективы островной экономики. Планировалось, что таким источником дешевого топлива на Соловках должен стать торф (болотами на архипелаге занято 13% территории, особенно на Б. Соловецком и Анзерском островах), а его основным потребителем — электростанции и железная дорога. К разработке торфа приступили в середине 1920-х гг., первоначально в районе Кирпичного завода и по дороге на Березовую тоню. Стоимость торфа составляла 25 руб. за 1 куб. сажень — это была чрезвычайно высокая цена по сравнению с дровами, что делало производство нерентабельным. Эту цену необходимо было снизить вдвое. Качество торфа было низким из-за большого содержания в нем влаги, а степень влажности высушенного торфа зависела от времени его выработки. До середины июля процесс сушки шел более-менее нормально, но после 10—15 июля начинали сказываться особенности местного климата с его повышенной влажностью. В это время продолжительность сушки резко возрастала (до 45—50 дней), и торф не досыхал. Кроме того, на разрабатываемых первоначально участках запасы торфа были небольшими, и встал вопрос о переходе на Филимоново болото, расположенное на северо-востоке Б. Соловецкого острова. Его разработка началась в 1929 г., до этого были проведены работы по его осушке и прокладке к нему узкоколейной железной дороги от Кремля. Эта ветка железной дороги стала самой протяженной на Соловках. В районе Филимонова озера возникла большая командировка «Торфогородок», преобразованная в 1930 г. в одно из основных отделений Соловецкого лагеря. Однако уже в конце 1930 г. в докладе руководителя лагерной парторганизации было заявлено, что «научные изыскания показали, что ставка и затрата средств на Филимоновское болото, ввиду небольшого наличия торфа и дорогостоящей его обработки, вызывают сомнения. Себестоимость 1 куб. торфа (учитывая стоимость рабсилы) составляла 6 руб. 20 коп., тогда как себестоимость 1 куб. дров — 10 руб. 25 коп. и даже ниже. Таким образом, вопрос о развитии торфоразработок без введения более совершенных технических приспособлений был неоправдан»¹⁴. Торфозаготовки продолжались и после этого, однако вместо более совершенных технических приспособлений на них во все большем масштабе применялся ручной труд. В 1931 г. впервые

¹⁴ ГАОПДФ, Оп. 5715-1, л. 15. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контневского на общем собрании коллектива за время с 1 апреля по 15 ноября 1930 г.

был применен способ ручной резки торфа, а также добыча торфа кадками, причем кадки в работе себя не оправдали, и от них отказались. Торфа было добыто 27 700 куб. м, из них около 30% осталось лежать незаштабелеванными из-за ненастной погоды в сентябре.

Главным вопросом топливной политики СЛОНа с этого времени стал вопрос максимальной экономии топлива, перевод электростанции на дизельное топливо, полное использование валежника, сухостоя, пней и т.п.

Производственные предприятия

В 1927 г. на Соловках действовало 16 предприятий (самые крупные — Механический завод, Кирпичный завод, Гончарный завод, Известково-алебастровый завод, Кожевенный завод, Лесопильный завод, Смолокурный завод), в основном унаследованные от Соловецкого монастыря¹⁵. Некоторые из них были модернизированы. На Кирпичном заводе в 1927 г. была введена частичная механизация при формовке кирпича (вертикальный пресс производительностью до 6000 кирпичей за смену), построена кольцевая, непрерывно действующая печь для обжига кирпича системы «Бокка», частично было механизировано гончарно-керамическое производство, однако в основном СЛОН продолжал эксплуатировать монастырское наследство. Производственные планы по предприятиям хронически не выполнялись (в 1927 г. планы выпуска продукции на Кожзаводе были выполнены на 36%, на Кирпзаводе — на 73%). На рынок работали только Кожзавод и Кирпзавод, остальные предприятия — исключительно на внутренние нужды.

К 1926 г. действовало три электростанции: Кремлевская (унаследованная от Соловецкого монастыря гидроэлектростанция, расширенная при лагере), Савватьевская и Муксальмская. На них в основном стояли паровые турбины, топливом для которых служили дрова и торф. Все оборудование на электростанциях было сильно изношенным и нуждалось в модернизации. В 1930 г. электростанции выработали 294 000 кВт электроэнергии, что было совершенно недостаточно для обширного лагерного хозяйства.

Администрация лагеря уже в 1930 г. была вынуждена констатировать, что в числе работавших на Соловках предприятий были такие, существование которых было ничем не объяснимо, например, Известково-алебастровый завод, сырье для которого завозилось с материка. С этого времени производство Соловков должно было быть подчинено самообслуживанию, и предприятия, не нужные Соловкам, планировалось ликвидировать. Жизнеспособные предприятия,

¹⁵ Доклад о деятельности Соловецкого лагеря на 1926—27 операционный год.

способные дать товарную продукцию, должны были быть вывезены на материк¹⁶. Эта установка последовательно воплощалась в жизнь в последующие годы.

Главной причиной сворачивания деятельности промышленных предприятий на Соловках был топливный кризис, поэтому в первую очередь ликвидировались энергопотребляющие предприятия и начали развиваться производства, требовавшие применения большого количества рабочей силы и минимальной механизации, например, Кустпром и Йодпром.

Кирпичный завод в 1927 году выпустил 1 270 000 шт. кирпича, из них 450 000 шт. впервые были отправлены на материк — в Кемь — для строительства универсама УСЛОН. В 1930 г. планы производства кирпича были ограничены, т. к. запасы глины к этому времени уже исчерпались. Окончательно Кирпзавод перестал действовать на Соловках в 1933 г., а его оборудование было вывезено на материк.

Главными заказчиками для Мехзавода были водный транспорт, торфоразработки, строительный отдел, санчасть, кирпичный завод, железная дорога. В 1930 г. была поставлена задача ограничить работы мехзавода нуждами Соловков и судоремонта (последнее в том случае, если не будут построены судоремонтные мастерские на материке).

На Лесопильном заводе использовалось монастырское оборудование — одна пилорама, которая выпускала доски и брусья. Даже в разгар лесозаготовок, в 1927 г., при плане загрузки завода в три смены он был загружен лишь на 56% в связи с постоянным ремонтом оборудования и неподачей тока. Реализация продукции производилась ниже себестоимости кубометра продукции, т.е. завод работал с убытками. В начале 1930-х гг., в связи с прекращением рубки строевого леса на Соловках, лесозавод работал в одну смену, и его работа сводилась к распиловке бревен из мертвого леса и случайным разделкам.

Продукция Известково-алебастрового завода в 1920-х гг. широко использовалась в строительстве и на Кожзаводе. В 1931 г. он был присоединен к Кирпзаводу и вместе с ним впоследствии ликвидирован.

Гончарный завод, оборудование которого в середине 1920-х гг. состояло из трех деревянных гончарных столов, изношенных до последней степени, корыта для замочки глины, выпарной печи, лежанки для сушки изделий, примитивного горна для обжига и одной пары гранитных камней для растирания глазури, был модернизирован в 1927 г.: на нем появились токарно-гончарный станок,

¹⁶ ГАОПДФ, Он. 5715-1, Д. 15. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контиевского на общем собрании коллектива за время с 1 апреля по 15 ноября 1930 г.

шпековая машина, глазурная мельница с ручным приводом, построен большой горн для обжига изделий, батарея сушильных стеллажей и маленькая выпарная печь, служившая для демонстрации новых приемов процессов производства. Тем не менее себестоимость продукции гончарного завода была в два раза выше отпусковой цены, а план выполнялся на 20% — в основном за счет производства примитивных роликов и изоляторов для электросетей. Уже в 1931 г. гончарный завод был закрыт.

Кожзавод в 1931 г. был переведен на материк со всеми цехами (пошивочный, кожевенный, шорный, утилизационный).

В 1931 г. также были ликвидированы канатная и карбасная (изготавливавшая промысловые рыболовецкие суда) мастерские, а столярная и бондарная мастерские были присоединены к Кустпрому, который в начале 1930-х гг. стал основным производством на Соловках.

Роль Кустпрома до начала 1930-х гг. была невелика. В 1927 г., например, в нем было занято 437 заключенных. К концу 1930 г. Кустпром стал расширяться, и численность занятых в нем заключенных в 1931 г. достигла 1000 человек. Кустарные мастерские выпускали лыжи, шахматные доски, пеналы, фанерные автомобили, автобусы и трамваи. В составе Кустпрома действовала кукольная мастерская. Вся эта продукция реализовывалась на материке.

К началу 1930-х гг. запасы невозобновляемых природных ресурсов (например, глины и торфа), а также леса на Соловках были практически исчерпаны вследствие хищнической хозяйственной политики лагеря. Тем более значимым становилось использование возобновляемых ресурсов в сельском хозяйстве, животноводстве, рыбной промышленности. На эти отрасли попыталась сделать ставку лагерная администрация.

В это время на архипелаге появилось новое производство: добыча и переработка морских водорослей с целью получения йода. Запасы водорослей в прибрежной зоне архипелага оценивались в 300 000 т. Ежегодные штормовые выбросы могли дать до 15 000 т. Обследование, проведенное зимой 1931 г., показало, что при ручном драгировании можно было добывать 10 000 т в год. В сумме с выбросами это могло дать 1250 т золы, что соответствовало 2500 кг кристаллического йода.

1 июня 1930 г. Архангельский Союз Производственных и Кооперативных Артелей заключил с администрацией УСЛОИ договор на заготовку и пережог водорослей в количестве 1000 кг золы. В августе 1930 г. при IV Отделении была организована постоянная научно-техническая Комиссия по развитию и рационализации йодного дела на Соловках. Было решено создать при Рыбпроме

опытное йодное производство, которому поручили выполнение дальнейших работ при техническом руководстве представителя Северйода. Было намечено построить четыре водорослесжигательных печи и наладить исследовательскую работу. Несмотря на отсутствие помощи со стороны Архангельска, в 1930 г. удалось выполнить 45% плана — собрать 9000 т водорослей из 20 000 т запланированных. Из собранных водорослей 4000 т были пережжены в золу, частично в кучах на берегу, частично в двух построенных печах. Было получено 206 т золы. Были организованы Курсы йодных десятников. Разработанный Йодным Бюро календарный план на 1931 г. предполагал организацию 12 производственных участков и использование на них от 100 до 350 заключенных в месяц. По новому договору с Северйодом предполагалось на Соловках в сезон 1931 г. заготовить 20 000 т водорослей (из них 15 000 т штормовых и 5000 т ручным драгированием), построить 3 печи и 3 барака на 30 чел. каждый, конюшню и др. подсобные постройки. Весь стройматериал, дрова для отопления и производства, спецобмундирование и рабочий инвентарь должен был поставить Северйод, который не выполнил своих обязательств. Несмотря на это, Соловецкий лагерь заключил в 1932 г. новый договор с Северйодом.

В конце 1934 г. научно-исследовательские работы по добыче йода и агара из водорослей в Соловецком лагере возглавил о. Павел Флоренский, который, находясь в заключении, запатентовал более 10 научных открытий.

Пожалуй, самыми перспективными для СЛОНа были сельхозработы. Лагерь принял на архипелаге большие площади сельхозугодий, возделываемых на протяжении столетий Соловецким монастырем, пусть и порядком запущенные совхозом. Эти территории были заняты под огородное хозяйство и луговое хозяйство. Кроме того, на Б. Муксалме, Анзере и Б. Соловецком острове (рядом с монастырем) находились скотные дворы, приспособленные для содержания молочного стада и для коневодства.

Что касается рыболовства и зверобойного промысла, лагерь унаследовал от монастыря систему промысловых участков — тонь, на которых стояли промысловые избы, причалы, приспособления для установки и вытаскивания на берег неводов, а также находились промысловые суда — карбасы. В наследство лагерь достались и мастерские по производству и ремонту промысловых судов и их оснастки, а также салотопенный завод для переработки продукции зверобойного промысла. Не менее важным было то, что при лагере оставались насельники Соловецкого монастыря, которые могли руководить и обучать заключенных работе в этих отраслях хозяйства. Наконец, в распоряжении лагерной администрации был практически неограниченный (в масштабах островного хозяйства)

источник дешевой рабочей силы в лице заключенных, многие из которых были крестьянами (со временем их становилось все больше), привычными к сельскому труду. Неудивительно, что планы по сельхозработам из года в год выполнялись и лагерный сельхоз постоянно расширялся. Его главными задачами были: снабжение лошадиной силой в качестве гужевого транспорта, удовлетворение потребностей лагеря в молоке и мясных продуктах; луговодство и земледелие.

Посевная площадь на пашнях с интенсивным севооборотом в 1931 г. распределялась таким образом: картофель — 14 га; турнепс — 11 га; репа — 6 га; овес — 76 га; вика-овес — 50 га; свекла — 4 га; рожь — 39,4 га; брюква — 3 га; огородные культуры — 8,6 га. В том году в Сельхозе было собрано: картофеля — 129 т, турнепса — 112 т, брюквы — 36 т, репы — 42 т, свеклы — 11 т, капусты — 10 т, моркови — 4 т, а всего овощей и корнеплодов — 345 т (в 1930 г. — 135 т). поголовье скота составило в 1931 г.: крупного рогатого скота — 253, свиней — 426, лошадей — 290 голов (из них 134 самые трудоспособные лошади были летом отправлены на строительство Беломорско-Балтийского канала). Удой молока составили 182 т при среднем удое на одну корову 4580 кг в год (в совхозах на материке корова в среднем давала 3000 кг).¹⁷

Количества овощей, мяса и молока, производимых Сельхозом, явно не хватало для питания заключенных и охраны лагеря в конце 1920-х гг., когда число заключенных на Соловках превысило 15 000, недостаточно его было и в 1931—1932 гг., когда это число сократилось до 3500—4000, но это уже не был голод, свирепствовавший на Соловках в середине 1920-х гг. М. М. Розанов пишет об этом времени: «На лагерные боны и на “расчетные квитанции” (выдаваемые со счета личных денег или как “премиальное вознаграждение” за работу) в соловецких ларьках, особенно в сельхозовском, за кремлем, в 1931 и 1932 годах часто свободно продавались по терпимым ценам худшие сорта свежей рыбы своего улова, разные овощи, тюлений жир, кости, колбаса, начиненная всякой съестной дрянью, и кое-когда молоко. Лагерные рыбпром и сельхоз отпускали ларькам эту свою продукцию, но без прямого ведома Лубянки. Кому не хватало пайка, но были боны, мог купить картофель, капусту, свеклу, морковь, лук и полкило “мослов” и сварганить борщ или поджарить картофель на тюленьем жиру. Нужда и смекалка научили очищать его от противного запаха и вкуса»¹⁸.

Однако в стране свирепствовал голод, вызванный коллективизацией и продразверсткой, ГУЛАГ затеял новые «великие стройки», и скоро

¹⁷ СГИАПМЗ, всп. Ф. №3966-155. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контиевского на общем собрании коллектива за время с 15 ноября 1930 г. по 15 мая 1931 г.

¹⁸ Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922 — 1939 : Факты — Домыслы — «Параши» : Обзор воспоминаний соловчан соловчапами. В 2 кн. и 8 ч. США, 1979, Кн. 1. С. 94.

всю продукцию Соловецкого сельхоза стали отправлять на строительство Беломорско-Балтийского канала: «С лета 1932 года повеяло другим ветром. Все многолетние запасы продуктов и все овощи были забраны для Беломорканала. Предельную норму хлеба с 1300 граммов снизили до 1000. Пошли в ход молодые листья брюквы, репы и крапивы. Вскоре стали исчезать чайки. Шпана охотилась за ними, невзирая на приказ: “За убитую чайку от 6 месяцев ареста на Секирной до 3 лет нового срока”. Не стало старого ручного Мишки-оленья, постоянного жителя кремлевского двора и общего любимца и баловня. Кто-то увел в лес Мишку и там зарезал его»¹⁹.

Лагерный Рыбзверпром вел промысел на бывших монастырских тонях. Рыболовными пунктами Соловков были: Центральный (сельдяной) — п. Кремль, Березовский — п. Кремль, Н. Сосновый — п. Савватьево, Овсяниковский — п. Савватьево, Озера — п. Савватьево, Реболдовский — п. Филимоново, Глубокая губа — п. Филимоново, Б. Муксоломский — п. Муксалма, М. Муксоломский — п. Муксалма, Кирилловский — п. Анзер, Троицкий — п. Анзер, Ново-Городовский — п. Анзер, Могильницкий — п. Анзер, Колгуйский — п. Анзер, Кузовецкий — Кузовские острова. Рыбзверпром добывал на Соловках сельдь, семгу, разную озерную и морскую рыбу, морского зверя (нерпу, белуху, морского зайца). Орудия лова были те же, что и при монастыре: тягловые, ставные, семужки, озерные неводы, сети-сельдяники, мережи, звероловные крюки. Промысел велся на неводных, сельдяных, звероловных и озерных карбасах, которых в 1931 г. было 58 шт. В Рыбзверпроме было занято до 400 заключенных. План, спускаемый Рыбзверпрому администрацией лагеря, хронически не выполнялся. Например, в 1930 г. сельди планировалось добыть 124,5 тонны, а поймано было 33,2 т, план по семге был 1 т, поймано 0,74 т. Морского зверя при плане 1310 голов была добыта 1081 голова. Тем не менее в 1931 г. планировалось довести добычу рыбы до 215 т (фактически было поймано только 85 т), и для этого развивать глубинный лов, перейти к лову в течение всего года, пополнить орудия лова. Все это, в конечном итоге, не было сделано, и деятельность Рыбзверпрома в 1930-е гг. постепенно сворачивалась.

Новым направлением хозяйственной деятельности Соловецкого лагеря, по сравнению с монастырским периодом, была организация на островах пушного хозяйства. Пушноговхоз (или Пушхоз) был организован в середине 1920-х гг. В нем разводили черно-бурых (иногда в документах лагеря они называются серебристо-черными) лисиц, соболей, песцов (на Азере — на воле), кроликов

¹⁹ Розанов М. М. Указ. соч. С. 94.

и ондатр (в естественных условиях в озерах). Продукция Пушхоза шла на экспорт и приносила валютную выручку советскому государству. Например, в 1931 г. выручка от реализации пушных зверей принесла лагерю: по лисам — 59 300 руб., по песцам — 4850 руб., по кроликам — 14950 руб., по ондатре — 8100 руб. На Соловках был получен приплод соболей в неволе, что являлось исключительным случаем в звероводстве. Ондатры на Б. Соловецком острове к 1932 г. было 3000 шт., что дало возможность отказаться от ее закупок за границей и снабдить племенным материалом северный край и Урал. Тем не менее в 1933 г. Пушхоз с Соловков был переведен на материк. Возможно, форсирование этого перевода было связано с эпидемией эпизотирии, которая в 1932 г. уничтожила более 70% кроликов.

Культурно-воспитательная работа

С конца 1920-х гг. культурно-воспитательная работа в лагере была подчинена интересам хозяйственной деятельности. Основными направлениями этой работы стали ликвидация неграмотности среди заключенных и организация профкурсов, на которых люди могли овладеть востребованными в лагере профессиями.

Школы ликбеза действовали во всех отделениях лагеря, причем их количество возрастало с каждым годом. Если в 1930 г. в лагере было семь таких школ, которые окончили 60 заключенных, то к концу 1931 г. школ ликбеза на Соловках стало уже 53 с числом учащихся 1061 чел. К ним нужно прибавить шесть школ малограмотности с 340 учащихся.

В 1927 г. в лагере были только сельскохозяйственные курсы, которые выпустили 22 человека. В 1931 г. действовало уже 15 курсов профтехобразования с 284 слушателями (из них 222 чел. были к осени 1931 г. вывезены с Соловков на строительство ББК). В это время в лагере действовали курсы: электромонтеров (25 чел.), звероводов (23 чел.), медтехников (55 чел.), санитаров (50 чел.), трактористов (13 чел.), мотористов (9 чел.), счетоводов (22 чел.), десятников-мелиораторов (18 чел.), рыбопромышленников (16 чел.), судоремонтников (4 чел.), матросов (17 чел.), киномехаников (8 чел.), мельничных (1 чел.), радистов (1 чел.), полеводов (1 чел.), токарей (15 чел.).

«Положение об исправительно-трудовых лагерях ОГПУ», принятое в 1930 г., требовало, чтобы заключенные, осужденные по контрреволюционным статьям, были отстранены в лагерях от культурно-воспитательной работы. Администрация Соловецкого лагеря, особенно после работы комиссии А. М. Шанина, пыталась следовать этому правилу и рапортовала в 1930 г. как о своем успехе о том, что «в отношении качественного состава воспитателей КВЧ достигнуты значительные

успехи за счет снятия каэров и подбора новых работников из числа осужденных за бытовые и должностные преступления»²⁰, т.е. из уголовников и бытовиков. Эта политика, однако, привела только к острой нехватке грамотных и квалифицированных воспитателей. Уже в 1931 г. администрация докладывала, что «вместо 50 воспитателей, положенных по штату, было 17, причем большинство из них слабограмотные. Работа по ликбезу среди нацмен была поставлена плохо по той причине, что для них, особенно для кавказских племен, очень трудно подобрать учителей»²¹.

С началом Первого пятилетнего плана (1928—1932 гг.) одним из главных направлений культурно-воспитательной работы в лагере стала организация движения ударников труда и соцсоревнования, которое в лагерях называли «трудовым соревнованием». В 1930 г. на Соловках было организовано 30 ударных бригад, в которых работал 641 заключенный. Основными показателями ударных бригад считались предложения по рационализации, отсутствие прогулов, поднятие производительности труда. В апреле 1932 г. на островах уже было 130 ударных бригад с 2142 ударниками. Были проведены слеты ударников водного транспорта, рабочих селькоров. В это время уже все заключенные, занятые на производстве, были охвачены соревнованием, а 54% из них считались ударниками. Политработа, трудсоревнование и ударничество, организация социально близких заключенных (читай — уголовников) в трудколлективы считались главными направлениями культурно-воспитательной работы.

1931 г. стал последним годом деятельности Соловецкого общества краеведения (СОК), в котором в 1920-е гг. находили себе убежище и простор для творческой, интеллектуальной, научной деятельности многие представители интеллигенции и дворянства. В 1930—1931 гг. СОК состоял из ряда отделов.

Йодно-промысловая разведка обследовала прилегающие к островам воды на предмет запасов водорослей.

Химлаборатория проводила анализ водорослей на йод, бром, танговую кислоту и т.д. Велись опыты по задержанию летучего йода.

Болотная комиссия изучала торфяные болота для топлива и сельского хозяйства. Впервые в СССР были составлены карты кислотности болот.

Озерная партия изучила 100 озер — обнаружены залежи сапропел-диатомового ила (горючее и строительный материал).

²⁰ ГАОПДФ, Оп. 5715-1, Д. 15. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контиевского на общем собрании коллектива за время с 1 апреля по 15 ноября 1930 г.

²¹ СГИАПМЗ, всп. Ф. №3966-155. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контиевского на общем собрании коллектива за время с 15 ноября 1930 г. по 15 мая 1931 г.

Рыбно-промысловая разведка дала 2 новые тони.

Станция по борьбе с вредителями занималась изучением биологии вредителей и выработкой мер по борьбе с ними.

Энтомологический кабинет проводил сбор насекомых, изучал полезные и вредные виды, особенно короедов и моли клевера.

Зоологический кабинет изучал преимущественно промысловых и вредных птиц, вел наблюдения за оленями и ондатрой.

Аэрологическая станция вела шарополетные наблюдения, обслуживала воздушную линию, освещала общий режим ветров на больших высотах.

Агрометеорологическая станция проводила ежедневные наблюдения по атмосферному воздуху, по почвам, сельскохозяйственным растениям и по обороту энергии. Были выведены и успешно росли ячмень, овес, гречиха, яровые и озимые пшеница и рожь.

Гидрометрический пункт наблюдал колебания температуры и уровня озер с точки зрения общей физики озер.

Дендрометрический питомник занимался акклиматизацией растений. Отделы: хвойные породы, лиственные, ягодные, кустарники, технические растения, медицинские, декоративные — всего испытывалось свыше 300 видов.

Гагачья комиссия изучала районы гнездования гаги.

Археологическая комиссия вела подготовку к раскопкам текущего лета доисторических сооружений. Раскопки должна была вести специальная экспедиция от Исторического Музея (Москва) и Комкадемии под руководством ученого Секретаря СОК.

За шесть месяцев через музей прошло 7000 посетителей, всем давались объяснения.

Библиотека достигла 7000 названий, исключительно путем обмена.

Ученый архив содержал копии важных исторических документов. Выходил машинописный журнал «У Полярного круга» — шесть номеров, свыше 100 статей. Был начат печатный выпуск. Подготовлено к печати 12 работ сотрудников СОК²².

Даже из этого перечня видно, что в деятельности СОК интересы лагерного хозяйства стали приоритетными.

В 1930-х гг. отошли в прошлое эпические постановки лагерного театра, с таким блеском описанные Б. Н. Ширяевым в «Неугасимой лампаде». Театральные коллективы в отделениях и в Кремле продолжали действовать, но в основном ставили агитационные постановки на злобу дня — были

²² СГИАПМЭ, всп. Ф. №3966-155. Доклад ответственного секретаря Соловецкого коллектива ВКП(б) т. Контиевского на общем собрании коллектива за время с 15 ноября 1930 г. по 15 мая 1931 г.

развернуты т. н. «малые формы» театрального действия в виде организованных по всем лагпунктам живых газет. Из 155 представлений, проведенных в 1930 г. в Кремле, драматических постановок было всего 17, зато с каждым годом увеличивалось количество киносеансов: в 1930 г. их было проведено 43, а в 1931 г. — уже 186. Администрация лагеря неуклонно воплощала в жизнь установку В. И. Ленина о том, что из всех видов искусств для большевиков главным должно было стать кино.

Одним из направлений деятельности Культурно-воспитательной части в 1929—1931 гг. была работа Криминологического кабинета. Непосредственное участие в этой работе принимал Д. С. Лихачев, поэтому стоит остановиться на ней подробнее. Криминологический кабинет был организован для изучения жизни уголовников. В соответствии с новой политикой советской власти в отношении уголовников, они были признаны «социально близкими», поскольку были выходцами из семей рабочих и крестьян, а значит, в отличие от каэров и «нетрудовых элементов» (дворян, купечества), подлежали исправлению и возвращению в тесную семью строителей социализма. Кримкаб занимался социологическими исследованиями состава заключенных, вопросами практической помощи отдельным группам заключенных, например, молодежи. В конце 1920-х гг. Криминологическим кабинетом заведовал заключенный Александр Александрович Бедряга. Сотрудниками были Александр Николаевич Колосов — бывший царский прокурор, Юлия Николаевна Данзас, профессор Гавриил Осипович Гордон, Александр Александрович Мейер и др.

Практическое применение работа Криминологического кабинета нашла в создании Центральной трудовой колонии для молодежи (до 18 лет). Криминологическому кабинету Соловецкого общества краеведения (СОК) было поручено обследование всех отделений и командировок лагеря с целью выявления и регистрации малолетних преступников.

Из Протокола заседания Бюро коллектива ВКП(б) УСЛОН ОГПУ от 31 декабря 1928 г.: «Исключительное внимание обращено в данное время на молодежь, и особенно подростков до 18-летнего возраста (включительно — О. В.). Их учтено по Соловкам 335, из коих около 60 человек находятся на штатных должностях и вовлечены в профученичество, а остальные 275 числятся на общих работах, фактически не выходя на них по разным причинам, а главным образом по раздетости. Подростков можно подразделить по возрастному составу: 14 лет — 3 (возраст написан со слов), 15 лет — 5 (возраст написан со слов), 16 лет — 42, 17 лет — 112, 18 лет — 113. Всего: 275 человек.

По социальному происхождению учесть подростков было трудно, потому что многие из них не знали ни отца, ни матери и воспитывались у чужих людей. Высшим показателем является то, что эти люди имеют максимальный возраст — 18 лет, жили при Советской власти 11 лет <...>

По окончании карантина часть подростков, занятых на производствах, необходимо поселить в специальный барак Рабочего городка, а состоящих на общих работах — всех одеть, разбить на артели, поручить им исполнение различных общественно-полезных работ, с подчеркиванием их значимости и поместить в отдельную роту.

Предварительно разбивки нужно провести тщательное криминологическое и медицинское освидетельствование <...> К подросткам должны быть назначены специальные воспитатели с задачами умелого сочетания физического труда с умственными упражнениями, внешкольных занятий с разумными и полезными развлечениями»²³.

12 марта 1929 г. на Соловках была организована Центральная трудовая колония для молодежи. Подростков поселили в двух бараках Рабочего городка, перевели на 4-часовой рабочий день, одели в специально сшитую для них форму, назначили усиленное питание. В дополнение к обычному пайку им стали выдавать молоко и мясо. За год через колонию (вместе с отделениями на Анзере и Муксалме) прошло 157 человек — в среднем 18-летнего возраста. 75% колонистов принадлежали к категории «соцвредных» и попали на Соловки за мелкие уголовные преступления. Остальные 25% были осуждены за бандитизм, убийство, нанесение тяжелых телесных повреждений, разбой, изнасилование. «Соцвредные» имели в среднем по 3 судимости, максимум — 11. Половина из них страдала расстройством нервной системы. В журнале совещания при Начальнике УСЛОН от 2.01.29 г. содержалось требование «исключить из режима колонии все признаки тюрьмы». Собранным по ротам подросткам был установлен такой распорядок дня: 6:00 — подъем; до 8:30 — уборка, гимнастика, умыванье, чай; до 12:00 — работа на производстве; 12:00–14:00 — обед и отдых (мертвый час); 14:00–16:00 — школа; 16:00–17:00 — свободный час; 17:00–19:00 — внешкольные, кружковые работы; 19:00–20:00 — ужин, 20:00 — вечерняя поверка и отдых; 21:00 — сон. Колонисты поначалу с недоверием отнеслись к этому начинанию — им это предприятие казалось липой и туфтой. Сюда присоединялось еще одно обстоятельство: переход в колонию был прямой изменой блатному миру. У многих колонистов на этой почве создавался тяжелый внутренний конфликт. Однако постепенно блатные установки стали сменяться

²³ ГАОПДФ, Оп. 5715-1, Д. 10.

гражданскими. У многих колонистов появилась установка на работу. Они стали все чаще задаваться вопросом: а что будет, когда они окажутся на воле? Дадут ли им нормально жить или придется возвращаться к прошлому? Поэтому в среде колонистов с радостью была воспринята новость, что на Соловки приезжает комиссия, которая будет вести среди них отбор в Болшевскую трудкоммуну под Москвой, где они будут жить на правах вольных людей²⁴.

В 1930 г. начался новый набор в Трудколонию, встал вопрос об отведении барака для колонисток-женщин. Но, видимо, со сменой начальства лагеря этот вопрос как-то сам собой отпал, хотя подростки на Соловках появлялись постоянно — в 1932 г., например, на острова прибыло до 700 подростков.

Тиф

Одними из самых страшных событий лагерной жизни середины 1920 — начала 1930-х гг. были эпидемии тифа, унесшие жизни тысяч заключенных. Об этих эпидемиях пишут в своих воспоминаниях все заключенные, находившиеся в то время на Соловках. «Самая опасная вещь в Соловках — это заболевание. Доктора — подневольные арестанты, нужных и ценных лекарств почти нет. Вши, клопы, при всей на вид героической, а по существу смехотворной борьбе с ними, заедают заключенных. При скученности, при отсутствии хороших бань для «шпаны» (их в Соловецком лагере до 90%), при краткости времени для мытья, при ужасающем просторе для заразных болезней: сифилиса, тифа и т.д. Но тиф — это настоящий бич Соловков при наличии приводящих подробностей»²⁵.

Эпидемия тифа в Соловецком лагере началась в 1926 г. — первоначально в Кемперпункте, и оттуда перекинулась на Соловки, приняв к осени 1926 г. угрожающий характер. По СЛОНу был издан спецприказ №199, вводивший в структуру Санчасти новый институт санитарного врача, на которого было возложено проведение массовых дезинфекций во всех отделениях и командах лагеря. В штате Центрального лазарета на тот момент состояло 146 чел. (вместо положенных 219). Для борьбы с тифом был выделен врач и четыре дезинфектора, кроме того, была создана специальная дезостанция при I Отделении. Для очагов тифа было введено карантинное положение, в силу которого ни один заключенный не мог быть переведен в другое отделение без согласия Санчасти. Необходимо было продезинфицировать все жилые помещения, все вещи — как носильные, так и постельные, постричь всех заключенных. С открытием навигации все вновь прибывшие заключенные подвергались

²⁴ См. Сухов А. Соловецкая трудовая колония // Соловецкие острова. 1930. № 1. С. 41–44.

²⁵ Феодосий (Алмазов). архим. Мои воспоминания // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь. 2015. Т. 3. С. 90.

двухнедельному строгому карантину. Емкость Центрального лазарета была увеличена до 300 коек. По официальным данным, из 715 больных тифом в 1927 г. умерло 53 чел.²⁶

Гораздо более угрожающие масштабы тиф принял осенью 1928 г., о чем вспоминает архимандрит Феодосий (Алмазов): «Работая в хозчасти шестого отделения (Анзер), я знал отрицательные данные о количестве жертв больничных беспорядков и преступлений на Голгофе. Мы ведали учетом и распределением пайков и продуктов по всему шестому отделению, посему нам утром ежедневно к десяти часам давали с Голгофы сведения о числе умерших. По официальным данным, из тысячи человек шестого отделения с октября по май погибло в зиму 1928—1929 г. от тифа до 500 человек»²⁷.

В конце 1929 г. на острове вспыхнула новая эпидемия тифа. Для тифозных больных был организован госпиталь на горе Голгофе, на острове Анзер, в зданиях Распятского скита. Преступления, которые совершала там администрация анзерского Отделения, а также лечащие врачи, были столь многочисленны и очевидны, что комиссия А. М. Шанина, прибывшая на Соловки в 1930 г., выделила их расследование в особое дело. Вот что рассказывали на следствии находившиеся во время эпидемии на Голгофе охранники: «Тифозные больные лежали на общих нарах, вплотную друг к другу, часто не имея возможности лечь на спину <...> В палате №6 для поносников, нормально могущей вместить 5 человек, находилось 30 чел. Белья им не выдавалось. Пол, стены и нары в этой палате были сплошь залиты и запачканы испражнениями. Больные также были грязные, наибольшая смертность была в этой палате. Трупы лежали на живых, живые — на трупах. Благодаря этому происходили путаницы: фактически живых на бумаге хоронили, умершие же числились живыми»²⁸.

Члены комиссии по-чекистски бесстрастно констатировали в представленном руководству ОГПУ отчете: «Из рук вон плохо медицинское обслуживание населения. На 57 000 человек населения лагерей имеется всего лишь 28 врачей, сосредоточенных почти исключительно при стационарах отделений СЛОНа. Квалификация лекпомов (180), несущих совершенно самостоятельную работу, недостаточно проверена. Большинство лекпомов не имеет медицинского образования. Кроме того, все они, как заключенные, целиком зависят от администрации командировок, вследствие чего даже при наличии желания не в состоянии должным образом реагировать на жестокость режима, направление

²⁶ Доклад о деятельности Соловецких лагерей на 1926—27 операционный год.

²⁷ Феодосий (Алмазов), архим. Указ. соч. С. 90.

²⁸ ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116.

на работы заведомо нетрудоспособных и проч. В значительной степени как следствие жестокого режима и сурового быта заключенных приходится рассматривать чрезвычайно высокую заболеваемость и смертность последних. За два квартала 1929/30 г. переболело в стационарах 25 552 человека, т.е. 44,6% населения. Амбулаторных посещений за этот же период было 425 426, или 743,8% по отношению к населению. Умерло за те же полгода 3583 человека, т.е. 6,8% населения, или 14% стационарных больных; из этого числа 1004 человека, или 26%, умерло от сыпного тифа и 396, или 11%, — от истощения и малокровия. К этой статистике нужно прибавить уже упоминавшиеся в разделе о рабсиле данные об изнашиваемости заключенных: за 10 месяцев 1929/30 года отсеяно как непригодных к работе 25% полноценной рабочей силы»²⁹.

Эпидемии тифа были вызваны, прежде всего, чрезвычайной скученностью заключенных в местах их содержания, полным отсутствием возможностей для личной гигиены на общих работах, а также пренебрежением элементарными правилами санитарии со стороны лагерной администрации. Характерно, что эпидемии прекратились только осенью 1931 г., когда большая часть узников была отправлена с Соловков на строительство Беломорканала, несмотря на то, что вместе с ними в материковые отделения были переведены почти все врачи и лекомы — в Санчасти Соловецкого отделения состояло на 1 июня 1932 г.: врачей 5, лекомов 6, медтехников 17, итого 28 чел.

Визит Горького

В 1929 г. Соловецкий лагерь посетили два гостя: немецкий коммунист Карл Иванович Альбрехт, который в составе группы иностранных лесных специалистов изучал организацию лесного хозяйства на Севере по заданию Центральной контрольной комиссии и Рабоче-крестьянской инспекции, и писатель Максим Горький.

Результатом посещения Альбрехта стали две книги — «Реконструкция и рационализация лесного хозяйства», изданная в 1930 г. и многократно переиздававшаяся в 1939—1944 гг., и «Преданный социализм».

М. Горький приехал на Соловки из Кеми 20 июня 1929 г. Согласно официальной биографии уже 21 числа он выехал в Мурманск, куда прибыл вечером 23 июня. Из очерка Горького, увидевшего свет в майском выпуске журнала «Наши достижения» за 1930 г., видно, сколь плотной была программа его двухдневного пребывания на Соловках. Он осмотрел кирпичный, кожевенный и конский заводы, сельскохозяйственную опытную станцию, кустарные мастерские, молочное хозяйство (удой до 7000 литров в год), побывал на Секирной горе...

²⁹ ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116.

Очерк, ставший результатом этой поездки, заставил заключенных потерять веру в скорейшее освобождение. «Вывод ясен: такие лагеря, как Соловки, нам нужны», — подытожил свой труд Максим Горький.

Массовый расстрел

Осенью 1929 г. трагически завершилось самое известное дело из истории побегов с Соловков — т. н. «Дело о Кремлевском заговоре». О нем упоминают многие соловчане, правда, их свидетельства носят противоречивый и расплывчатый характер. Из материалов «Дела», хранящемся в архиве ФСБ г. Архангельска³⁰, следует, что в июне 1929 г. в Информационно-следственный отдел лагеря поступили сведения о том, что в лагере существует организация заключенных, которая ставит себе целью разоружение охраны, захват оружия, связи и плавучих средств, затем — массовый побег на материк и далее — в Финляндию. Начались аресты. По «Делу» в качестве активных участников был привлечен 51 чел. Это были совершенно разные люди как по национальности, так и по происхождению и образованию. Сохранились подробные показания обвиняемых, из которых видно, с каким мужеством держались арестованные. Следственное дело №747/1 было представлено на рассмотрение Коллегии ОГПУ для вынесения приговора во внесудебном порядке. 24 октября 1929 г. КОГПУ вынесла решение: 36 обвиняемых, которые «состояли членами организации вооруженного восстания и массового побега заключенных за границу», приговорить к высшей мере наказания — расстрелу; 15 обвиняемых, которые «будучи осведомлены о существовании в лагере организации вооруженного восстания и массового побега заключенных за границу, не донесли об указанной организации», приговорить к высшей мере наказания с заменой заключением в концлагерь сроком на 10 лет. 29 октября 1929 г. приговор в отношении 36 приговоренных к расстрелу приведен в исполнение. Осужденных расстреляли на расстоянии прямой видимости от Кремля, так что многие заключенные (особенно женщины, которые содержались в Архангельской гостинице, в нескольких десятках метров от места расстрела) видели вспышки и слышали хлопки от револьверных выстрелов. Братское захоронение расстрелянных заключенных было обнаружено в середине 1970-х гг., при строительстве жилого дома. В 1989 г. по протесту прокурора Дело о Кремлевском заговоре было пересмотрено судом и прекращено за отсутствием в действиях заключенных состава преступления³¹.

³⁰ Архив УФСБ г. Архангельска. Дело П-13969.

³¹ Материалы «Дела о Кремлевском заговоре» излагаются по: Сошина А. А. «Мутный призрак свободы» (о побегах с Соловков в 1923–1939 гг.) // Соловецкое море. 2007. № 6. С. 127–135.; Чухин И. И. Кремлевский заговор // Советская Милиция. 1999. № 9. С. 38–45.

Комиссия А. М. Шанина

3 апреля 1930 г. Коллегия ОГПУ приняла решение образовать специальную комиссию «для всестороннего обследования деятельности существующих лагерей с обязательным выездом для ознакомления с постановкой работы в Соловецкие лагеря, предоставив комиссии право принять окончательное решение и меры для упорядочения работы на месте»³². Председателем комиссии был назначен А. М. Шанин, многолетний (с 1922 г.) секретарь Коллегии ОГПУ и по совместительству заместитель начальника Административно-организационного управления ОГПУ. В состав комиссии были привлечены молодые, но быстро делавшие карьеру сотрудники ключевых подразделений ОГПУ. 13 апреля 1930 г. комиссия выехала в Кемь.

Оснований для посылки столь представительной и полномочной комиссии было более чем достаточно. Во-первых, сам курс на создание системы ИТЛ, санкционированный Политбюро весной-летом 1929 г., требовал изучить состояние дел в СЛОНе — фактически единственном на тот момент учреждении подобного рода в СССР. Во-вторых, в постановлении Политбюро от 27 июня 1929 г. перед межведомственной комиссией по проблемам организации новых лагерей была поставлена задача обследовать состояние «дисциплины и режима» в существующих местах заключения и принудительных работ. Наконец, ближайшей причиной явилось то, что весной 1930 г. в Москве интенсивно прорабатывался вопрос о строительстве руками заключенных Северного (т. е. Беломорско-Балтийского) канала (решение Политбюро на это счет состоялось в начале мая), что опять-таки было невозможно без привлечения трудовых и иных ресурсов СЛОНа.

Проработав на Соловках две недели, А. М. Шанин 28 апреля выехал в Москву. 6 мая 1930 г. комиссия представила Коллегии ОГПУ обширный (более чем в 100 машинописных страниц) итоговый доклад, который сразу был засекречен и опубликован только в 1989 г. Документ ценен прежде всего тем, что слова, прозвучавшие перед членами Коллегии ОГПУ из уст одного из высокопоставленных чекистов, полностью подтверждают практически все то, что писалось о произволе и жестокости лагерной администрации и охранников в воспоминаниях соловецких узников. Предоставим слово самому А. М. Шанину: «Допросами ряда лиц из надзора и заключенных выявлена установившаяся в УСЛОНе система произвола и полного разложения. В широких размерах развито взяточничество и вымогательство с заключенных, а также расхищение вещевого и продовольственного пайка, предназначенного для заключенных. Тенденция личного обогащения за счет заключенных развилась на базе легализованного в УСЛОНе

³² ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 118. Л. 14.

издевательства и терроризирования заключенных. Формирование надзора производится из наиболее деклассифицированных, а подчас и к.-р. элементов, которым предоставляется полная свобода действий. Способы терроризирования заключенных применяются следующие: 1. Избиение палками, прикладами, шомполами, плеткой и т.п.; 2. Зимой постановка заключенных в так называемые «на камни» в одном белье в положении «смирно» на срок до 3—4 часов; 3. Летом постановка заключенных так назыв. «на комары», т. е. раздетого в положении «смирно»; 4. Заключение в так назыв. «кибитки», т. е. карцера, представляющие из себя холодны[е] небольшие дощатые пристройки, в которых заключенные в зимнее время в одном белье выдерживались по несколько часов. Есть случаи смерти от замерзания; 5. Посадка на так назыв. «жердочки», т. е. узкие скамьи, на которые заключенных усаживали на корточки и, абсолютно запрещая шевелиться и разговаривать, выдерживали в таком положении с раннего утра до позднего вечера; 6. Убийства под видом побега; 7. Изнасилование женщин и принуждение к сожительству заключенных женщин с надзором; 8. Так назыв. «чайки», т. е. заключенного зимой в одном белье выводили к устроенному шесту возле пристани, на котором сделана деревянная чайка, и заставляли считать: «чайка раз, чайка два» — до 2 тыс. раз, т. е. фактически до состояния полного изнеможения; 9. Заставляли заключенных переливать руками воду из проруби в прорубь; 10. Посадка заключенных в одном белье в карцер, представляющий собой яму высотой не более метра, потолок и пол которой выстланы колючими сучьями. Заключенный выдерживал не более 3 дней и умирал; 11. Так назыв. «дельфины», т. е. при проходе заключенных через мост лица из надзора, указывая на того или иного заключенного, кричали «дельфин». Заключенный обязан был бросаться в воду, за неисполнение подвергался избиению и сбрасыванию в воду и т.п. виды истязаний и издевательств над заключенными»³³.

Описав эту систему неприкрытого террора по отношению к заключенным, А. М. Шанин не мог, конечно, сделать вывод, что она происходила из самого существа лагерной системы, а, как тогда было принято, обвинил во всем контрреволюционеров, пробравшихся на ключевые посты в администрации и охране Соловецкого лагеря: «этот факт не остался не использованным к.-р. элементами, которые, как видно из материалов следствия, использовали создавшееся положение в своих целях. Установка к.-р. элементов в данном вопросе заключается в том, чтобы, пользуясь занятием хозяйственных, технических и командных должностей, вырабатывали и назначали непосильные работы рядовым заключенным. Выполнением таких уроков внешне укрепляли свое положение, давая картину

³³ ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116.

большой производительности от их хозяйственного руководства, действительный же эффект получался тот, что создавалось озлобление против соввласти, укреплялись к.-р. настроения и увеличивалось число заключенных со значительной потерей трудоспособности. Указанное также характеризует понижение продуктивности работ, производимых УСЛОНОм, т. к. рабсила последнего, будучи изнурена непосильной работой, не давала того эффекта, который можно было бы достичь»³⁴.

Предложения Шанина в связи с произведенным обследованием были утверждены Коллегией ОГПУ 11 мая. В целях ускорения рассмотрения следственных дел по Управлению Соловецких лагерей Коллегия распорядилась командировать на место внесудебную «тройку»; тогда же было принято решение об отставке А. Ногтева и замене его на А. А. Иванченко, председателя Карельской ГПУ. 12 мая Шанин ознакомил Ягоду с результатами работы своей следственной группы в Кеми, проделанной с момента отъезда комиссии, на что зампред ОГПУ отреагировал следующей резолюцией: «Со всей этой бандой расправиться жестоко. Аресты производить осторожно, чтобы не разложить лагерь. Наказать надо крепко, но это не значит, что дисциплина заключенных должна ослабнуть, а наоборот, дисциплина должна быть крепкая, но без той подлости и мерзости, которая была в лагере»³⁵. Это и предопределило судьбу подопечных Григановича и Трофимова — 13 из 38 подсудимых, сотрудников администрации УСЛОНа (в большинстве — заключенных), были тогда же расстреляны.

Деятельность комиссии А. М. Шанина ничего, в сущности, не изменила в лагерных порядках. Уже в начале 1933 г. новый руководитель ГУЛАГа М. Д. Берман, прибыв на Соловки, убедился в «полном разложении Соловецкого отделения СЛАГ ОГПУ и его аппарата», которое, как выяснило следствие, началось уже с осени 1931 г. Приказом от 17 марта 1933 г. Берман уведомлял, что по его представлению Коллегия ОГПУ приговорила 35 сотрудников лагерной администрации к расстрелу, а несколько десятков — к длительным срокам лагерей³⁶. Основную массу казненных вновь составили заключенные.

³⁴ ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116.

³⁵ Там же.

³⁶ ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 3.

А. П. Яковлева

**«ТЕПЕРЬ ТАКОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЛО ДЛЯ
ДОБРОДЕЛАНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ СЕБЯ
ХРИСТИАНИНОМ, КАКОЕ РЕДКО БЫВАЕТ».
МИРЯНЕ – ПОМОЩНИКИ ССЫЛЬНОГО
И ЗАКЛЮЧЕННОГО ДУХОВЕНСТВА**

В заглавие статьи вынесены слова из письма епископа Ефрема (Ефремова) из зырянской ссылки архангелогородкам Ольге и Екатерине Поваровым. Мать и дочь Поваровы помогали владыке Ефрему и десяткам ссыльных и заключенных священнослужителей выстоять в годы жестоких гонений, не жалея своих сил, а иногда и жизни.

Верующие проявили удивительное бесстрашие и стойкость в служении Церкви. В 1920–1930-е гг., когда опасным было просто держать дома иконы или перекреститься у всех на виду, они не боялись помогать «врагам народа» — духовенству, осужденному за «контрреволюционную деятельность»: собирали деньги, отправляли посылки, тайно вывозили из лагерей письма, информировали заключенных о церковной жизни на воле. Сами жившие в скудости, они делились последним с теми, кому было еще хуже, — предоставляли кров ссыльным, устраивали у себя в домах тайные церкви, многие женщины сопровождали своих пастырей в ссылках. Не считаясь со смертельной опасностью, они повсеместно оказывали сопротивление закрытию храмов и изъятию ценностей.

Без преувеличения можно сказать, что это было настоящим подвигом. Все эти люди понимали, что рано или поздно будут разоблачены, арестованы, пройдут через унижения и допросы и, скорее всего, закончат свою жизнь в тюрьме, лагере или ссылке. Но они не могли поступить иначе, потому что во главу угла жизни поставили Евангельские заповеди. Они возлюбили Бога всеми сердцем и душой, а ближнего своего не только как самих себя, но несравненно больше. Жестокое время испытаний проверило эту любовь и вывело ее на самую вершину заповеданного, когда «нет больше той любви, аще кто душу свою положит за други свои» (Ин 15. 13).

В статье показаны судьбы нескольких северян, помогавших заключенным и ссыльным священникам.

Александр Александрович Левичев

Александр Александрович родился 22 марта 1886 г. в Вологодской губернии в семье, где было восемь детей. Его женой стала полная тезка Александра Александровна, урожденная Шанаева. Супруги Левичевы обосновались в Архангельске, где у них родилось девять детей: старший — в 1915 г., младший — в 1933-м. Глава семьи служил фармацевтом в городской аптеке №1, перед самой Великой Отечественной войной был назначен начальником аптеки при Первой городской больнице, что на улице Суворова. Александр был прихожанином подворья Соловецкого монастыря до самого прекращения в нем богослужений в 1922 г.

На квартире Левичевых после отбытия заключения в Холмогорском концлагере в 1922 г. в течение четырех лет находили приют бывший настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин (Кононов) и его помощник иеромонах Никифор (Кучин)¹. В то время семья Левичевых, в которой уже было четверо детей, проживала в частном доме в районе улицы Поморская и Обводного канала. К 1930 г. Левичевы перешли жить на квартиру в доме № 142 на проспекте П. Виноградова (ныне Троицкий проспект).

Об Александре Левичеве рассказала автору статьи его дочь Римма Александровна Туфанова, проживающая в городе Архангельске².

Семья жила весьма скромно, даже белый хлеб в семье ели не часто. Римма Александровна вспоминала, что в подарок на один из дней ее рождения отец принес буханку белого хлеба, которую получил за то, что сложил печку в больнице. Для девочки этот подарок был большой радостью. Несмотря на стесненность и самую настоящую бедность, Левичевы всегда помогали нуждающимся. У них находили приют многие больные, убогие, но в основном ссыльные, которыми полон был Архангельск в 1920—1930-е гг. Один раз глава семьи привел в дом очень больного человека, который даже говорить уже не мог. Жена резонно сказала ему: «Нет больше у нас места, и поселить нам нового жильца некуда», на что Александр Александрович ответил: «Да прямо у печки на полу будет спать». Ссыльный прожил у Левичевых три месяца, через некоторое время пришел в себя, начал разговаривать, вспомнил свой адрес. Левичевы написали его родственникам в Полтаву, и к окончанию срока ссылки за мужчиной приехала жена и увезла его на родину. Без Александра Александровича этот человек наверняка бы погиб.

В странноприимной семье жили, по воспоминаниям Риммы Александровны, также священники и монахини, скорее всего тоже ссыльные. У нее в памяти

¹ Соловецкие новомученики / [сост. иг. Дамаскин (Орловский)]. Соловецкий монастырь, 2009. С. 130.

² Беседа состоялась в мае 2013 г.

сохранились имена лишь двух монахинь — Филицаты и Лавры. На квартире у Левичевых совершались и тайные богослужения, на которые собирались по 10 человек и более — полная комната. В семье, как могли в то безбожное жестокое время, хранили веру, дети и взрослые всегда молились. Никто из соседей не донес на Левичевых, Господь сохранил эту семью от разоблачения, видя евангельское милосердие родителей и ради многочисленных их чад.

Александр Александрович, будучи фармацевтом, готовил лекарства и бесплатно раздавал их ссыльным. Римма Александровна рассказала, что часто во время прогулок они заходили в дома, где отец передавал лекарства больным. Левичев помогал ссыльным устраиваться на работу в городскую больницу, где сам тогда трудился. Ксения, дочь протоиерея Николая Пискановского, благодаря ему работала там табельщицей³.

В 1941 г. Александра Александровича мобилизовали в армию. Службу в звании старшего лейтенанта он проходил в аптеке архангельского госпиталя № 2524, который находился на Ленинградском проспекте. В конце войны Левичева демобилизовали, но он остался работать в том же госпитале — уже вольнонаемным. В июне 1944 г. госпиталь перевели в Лодейное Поле под Ленинград, в декабре того же года — в Вологду, а в апреле 1945-го — на Дальний Восток. Вместе с отцом по стране путешествовала вся семья. Вскоре пришло известие о том, что на фронте пропал без вести сын Левичевых Марк. Александр Александрович после этого известия сильно заболел. Врачи диагностировали у него рак желудка. Левичева лечили в больнице Спасска, затем направили в Москву, но и там уже помочь не могли, болезнь была запущена. В ноябре 1945 г. он вернулся в Архангельск, куда к тому времени с другого конца страны перебрались его жена и дети. После двух операций в архангельской областной больнице Александр Александрович прожил недолго и скончался 15 марта 1946 г. Зная о скорой своей кончине, он попросил, чтобы его обязательно похоронили рядом с отцом Николаем Пискановским, у могилы которого тяжелобольной Александр Левичев долго молился, вернувшись из Москвы. Своим детям он неустанно повторял: «Святой человек здесь похоронен».

Протоиерей Николай Пискановский — один из лидеров иосифлянского движения в Воронежской области. Там он был и арестован в мае 1928 г., осужден и приговорен к заключению в Соловецких лагерях, где отбывал срок наказания с 1928 по 1931 г. В лагере отец Николай был общим духовником для всего епископата и белого духовенства иосифлян. Епископ Максим (Жижиленко)

³ «От священства я не отрекись...». Священномученик Николай, протоиерей: лагерные письма православной семьи Пискановских / [сост. В. О. Волков]. М., 2013. С. 80.

с уважением называл его «адамантом Православия». С благодарностью вспоминал Николая Пискановского Дмитрий Сергеевич Лихачев⁴. Во многом благодаря этому священнику Лихачев был переведен с тяжелых общих работ на гораздо более легкий труд в Криминологический кабинет.

После Соловков отца Николая сослали в Архангельск, где за организацию тайных богослужений его вновь арестовали в сентябре 1934 г. Во время следствия священник умер в тюремной больнице от воспаления легких. Случилось это 10 апреля 1935 г. Александр Александрович вместе с семьей Пискановских хлопотал о выдаче тела умершего для захоронения, иначе бы его погребли в общей могиле. Поскольку Николай Пискановский еще не был осужден по приговору суда и считался подследственным, просьбу о выдаче тела удовлетворили. Похоронили священника на Вологодском (Кузнечевском) кладбище Архангельска. Супруги Левичевы, их дочь Римма Александровна Туфанова и внучка Елена Борисовна Москаленко долгие годы ухаживали за его могилой⁵.

Исполняя волю Александра Александровича Левичева, его похоронили рядом с отцом Николаем Пискановским. К настоящему времени рядом со скромной могилой священника сформировался семейный некрополь Левичевых. Рядом с главой семьи упокоились его супруга, дети и члены семей детей.

Степан Маркелович Антонов

Левичевы были дружны с семьей Антоновых. Обе семьи жили на соседних архангельских улицах, друзьями были их дети. Главы семей некоторое время вместе работали в Первой городской больнице. Семьи были связаны с Соловецким монастырем, обе помогали последнему настоятелю этой обители, Левичевы и Антоновы вместе ухаживали за могилой протоиерея Николая Пискановского. 5 сентября 1944 г. сын священника Коля Пискановский писал из Архангельска сестре Ксении: «Могилка папы находится в хорошем состоянии. Они (Антоновы. — А. Я.) каждое воскресенье ходят туда и присматривают за нею»⁶.

Глава семьи Антоновых Степан Маркелович родился 17 декабря 1890 г. в деревне Коровкинская Архангельского уезда, что недалеко от Архангельска⁷. До 24-летнего возраста он жил в родной деревне, а в 1914 г. ушел в Соловецкий монастырь, где был поначалу рыбаком, а с 1915 г. — матросом на судах «Святой Николай» и «Михаил Архангел». После национализации монастырского

⁴ Лихачев Д.С. Раздумья: работы разных лет. СПб., 2006. Т.1. С. 206—210.

⁵ «От священства я не отрекюсь...» С. 78—79.

⁶ Там же. С. 161.

⁷ За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918—1951): биогр. справ. / [сост. С. В. Суворова]. Архангельск, 2006. С. 24.

флота и передачи судов государству Степан продолжил работать на «Михаиле Архангеле» буфетчиком и матросом. С организацией Соловецких лагерей он стал постоянно проживать в Архангельске, вскоре женился. У них с женой Матреной Мефодьевной родилось двое детей: сын Николай и дочь Тамара. Работал Антонов сначала извозчиком на своей лошади, плотником в нескольких организациях, затем — бригадиром по распиловке дров Первой Архангельской горбольницы⁸.

Степан Маркелович принимал самое активное участие в судьбе последнего соловецкого настоятеля Вениамина (Кононова) и его помощника иеромонаха Никифора (Кучина). По его совету монахи в 1926 г. переехали из Архангельска, где они жили в семье Левичевых, в село Часовенское к сестре Степана Анне. Вскоре с помощью Антонова они соорудили себе избушку в глухом лесу на Волкозере, в сорока верстах от ближайшего населенного пункта — деревни Коровкинской, родины Степана Антонова, и перешли жить туда. Дважды в год Степан навещал отшельников, привозя все необходимое. 17 апреля 1928 г. монахи были заживо сожжены в своей избушке. Антонов первым обнаружил их останки, приехав 9 июня навестить своих подопечных. Он же и похоронил монахов неподалеку от места их гибели⁹.

Семья Антоновых жила в не сохранившемся до нашего времени частном доме по адресу: ул. Пермская, д. 14 (ныне улица Суворова)¹⁰. Дом был одноэтажный рубленый, с пристроенным флигелем, с основательным хозяйством. Во дворе находились скотный двор с коровой, дровяник, огород, цветники и много разных сельскохозяйственных приспособлений¹¹.

В доме Антоновых, как и у Левичевых, находили приют бывшие насельники Соловецкого монастыря, покинувшие острова после упразднения обители. Среди них иеромонах Тихон (Оревков), который проживал у Антоновых в 1925—1939 гг. Жили в семье и монахини из закрывшихся монастырей (по именам известны Анна и Парасковья Плаксины)¹². В этом доме останавливались приезжавшие по делам в Архангельск из Суры насельницы упраздненного Иоанно-Богословского монастыря.

С 1932 и до конца 1941 г. в доме Степана Антонова действовала тайная церковь, куда на богослужения собирались проживавшие в Архангельске последователи иосифлянского движения. Ее прихожане организовали нелегальную кассу

⁸ Архив УФСБ по Архангельской области. Следственное дело П-8069. Л. 62.

⁹ Соловецкие новомученики. С. 130—131.

¹⁰ Дело П-8069. Л. 25 об.

¹¹ Там же. Л. 59.

¹² Там же. Л. 55, 64.

взаимопомощи и оказывали материальную помощь ссыльным¹³. Кроме того, они духовно окормляли и материально поддерживали общину в Суре, где проживали после закрытия Иоанно-Богословского монастыря его бывшие монахини и послушницы.

Богослужения в тайной церкви в доме Антонова возглавляли бывшие иеромонахи Соловецкого монастыря, сначала — Елисей (Дзюбик), затем — Тихон (Оревков). Службы в числе прочих верующих посещали супруга отца Николая Пискановского Клавдия Петровна и его дочь Ксения, после того как Пискановский в 1934 г. был арестован¹⁴. До этого богослужения для группы иосифлян, близких к о. Николаю, проходили у него на квартире. После кончины иеромонаха Тихона в 1939 г. члены общины продолжали собираться в доме Антоновых, сам Степан Антонович читал молитвы, возможно, и часы. Совершались ли кем-либо из священников богослужения, неизвестно.

Иеромонах Тихон (Оревков) прожил в доме Антоновых 14 лет. Он был одним из организаторов иосифлянских общин в Архангельске. Сначала, как сообщают материалы следственного дела, вместе с «адмссыльными епископами Дамаскиным (Цедриком) и Парфением (Брянских) он создал в Архангельске ряд антисоветских церковно-монархических групп» (общин. — А. Я.). Священнослужитель и руководил одной из таких «групп», собиравшейся для богослужений в доме Антонова. Под его руководством создавалась и затем действовала община в селе Суре.

После ареста в 1936 г. епископа Дамаскина (Цедрика), а затем и владыки Парфения (Брянских), по версии следствия, руководителем ИПЦ в Архангельске стали иеромонах Тихон и Александра Мартьянова (монахиня Аполлинария). На квартире у Мартьяновой также была тайная церковь¹⁵. Как сообщает следственное дело, «Тихоном и Мартьяновой были установлены организационные связи с «ИПЦ» в Вологде, а также в г. Мичуринске»¹⁶. Связаны они были и с иосифлянами в Кировской области.

Организатором сурской общины стала монахиня Ангелина (в миру Анна Константиновна Трухина). В 1935 г., возвращаясь из ссылки в Суру через Архангельск, она встретила на квартире Степана Антонова с иеромонахом Тихоном, от которого приняла наставления о создании тайной церкви в Суре. Последняя церковь там была закрыта около 1931 г., после чего монахини и

¹³ Дело П-8069. Л. 75.

¹⁴ Там же. Л. 15.

¹⁵ На квартире Мартьяновой Александры Евграфовны (монахини Аполлинии) по адресу ул. Терехина д. 55, кв. 2, также действовала тайная иосифлянская церковь. (Там же. Л. 25). До ареста о. Николая Пискановского в сентябре 1934 г. тайная катакомбная церковь находилась и у него на квартире по адресу ул. Зырянская, 8 // Там же. Л. 202.

¹⁶ Там же. Л. 250.

послушницы монастыря собирались на молитву на квартирах жителей деревни. Весной 1941 г. им удалось купить домик, где вместе стали жить семеро монахинь. По воскресеньям и по праздникам на богослужения туда собиралось до 17 проживающих в Суре и неподалеку насельниц упраздненной обители¹⁷.

От иеромонаха Тихона в Суру в июне 1938 г. для совершения богослужений приезжал игумен Антоний (Пупов). Он беседовал с монахинями, призывая их «вести борьбу с безбожием, не отступать от веры, не поддаваться искушениям антихристовой власти»¹⁸. Кто-либо из сурских монахинь время от времени выезжал в Архангельск, где архангелогородцы-иосифляне тайно собирали деньги и передавали их проживавшей в Архангельске бывшей игуменье Сурского Иоанно-Богословского монастыря Серафиме (Ефимовой), а та затем — своим бывшим насельникам¹⁹.

Разгром тайной церкви в доме Антоновых и связанных с ней архангельской и сурской общин произошел в ноябре 1941 — январе 1942 г. Тогда, как сообщают материалы следственного дела, были арестованы 18 человек «монашествующего элемента бывших Соловецкого и Сурского монастырей и тем самым вскрыт и ликвидирован в Архангельске и Карпогорском районе филиал контрреволюционной церковной организации “Истинно-православная церковь”»²⁰.

При обыске у Антонова 8 января 1942 г. изъяли 31 «церковную» книгу²¹. В одной из комнат в доме Антонова жили монахини Анна и Прасковья Плаксины, в ней и размещалась тайная церковь. Здесь при обыске были обнаружены деревянный аналой, кадильница с углями, несколько крестов большого размера, 31 икона, 12 картин с изображением святых, Евангелие, монашеские облачения, портреты иеромонаха Тихона и Иоанна Кронштадтского, многие богослужебные предметы.

Степан Антонов был арестован 30 января 1942 года²². По окончании следствия ему было предъявлено обвинение в том, что «являясь активным участником антисоветской монархической организации, он возглавлял контрреволюционную группу, входившую в состав Архангельского филиала организации «ИПЦ», а также в том, что «на его квартире была создана нелегальная “катакомбная” церковь, являющаяся местом контрреволюционных сборищ и местом сборищ и явок руководителей антисоветских групп»²³.

¹⁷ Там же. Л. 44-45.

¹⁸ Там же. Л. 128.

¹⁹ Там же. Л. 128, 134.

²⁰ Там же. Л. 260.

²¹ Там же. Л. 45.

²² Там же. Л. 41.

²³ Там же. Л. 281.

27 мая того же года по постановлению Особого Совещания НКВД СССР Антонов был заключен в ИТЛ на 10 лет²⁴. Наказание он отбывал в Карлаге (г. Караганда, Казахстан). 27 сентября 1942 г. Степан Маркелович Антонов умер в местах лишения свободы.

К сожалению, неизвестна судьба детей Степана Антонова. Римма Александровна Туфанова, дружившая в детстве с его дочерью Тамарой, сообщила, что та вышла замуж за военного моряка и уехала из Архангельска. Покинул родной город и ее брат Николай.

Екатерина Ивановна и Ольга Павловна Поваровы

Мать и дочь Поваровы обе родились в Архангельске и там же проживали до ареста в 1926 г. Обе были учительницами. В 1920-х гг., при правящем тогда архиерее Антонии (Быстрове), они вели дела канцелярии Архангельской и Холмогорской епархии²⁵.

По существовавшему в то время порядку, высланные в Архангельскую губернию и в Автономную область Коми (Зырян) прибывали сначала в Архангельск, а потом им определялся район, деревня, поселок, где они непосредственно должны были отбывать наказание. Квартира Поваровых была тем местом, где прибывшие в ссылку представители духовенства могли получить продукты питания, одежду, остановиться на первое время. На их адрес писали родственники ссыльных, а затем письма пересылались в места заключения и ссылки. Поваровы всегда встречали, принимали и провожали возвращавшихся из ссылки лиц, а также административно высланных в эти места, так как, по словам Екатерины Поваровой, «люди они все нездешние, и им нужно же было иметь приют»²⁶.

От Поваровых в лагеря регулярно отправлялись посылки, письма, денежные переводы. Они организовали сбор денег и вещей среди прихожан архангельских церквей. Направлялась помощь в основном в Соловецкие лагеря и на Ижму — священнику Иоанну Серебренникову, от него она пересылалась другим ссыльным, в том числе митрополиту Кириллу (Смирнову), епископу Ефрему (Ефремову), священникам Колчину, Михайлову, Видякину. Посылали самое простое, но такое необходимое на суровом Севере: обувь, одежду, продукты. Епископ Софроний (Старков) в своем письме из Соловецкого лагеря от 16 февраля 1926 г. писал Поваровым: «Вашу теплую

²⁴ Дело П-8069. Л. 510.

²⁵ Суворова С. В. Помощницы заключенного духовенства Ольга и Екатерина Поваровы // Соловецкий сборник. Архангельск, 2014. Вып. 10. С. 158.

²⁶ Дело П-8069. Л. 80.

рубашку и чулки теперь ношу с благодарной памятью о любвеобильных благодетелях»²⁷.

Иногда Екатерина и Ольга были единственной нитью, связывавшей узников лагерей и ссыльных с близкими им людьми. Екатерина Ивановна по благословению владыки ездила по лагерям и тюрьмам, а затем от них — к родственникам заключенных, передавая весточки²⁸.

Мать и дочь арестовали 19 августа 1926 г. При обыске у них обнаружили около ста пятидесяти писем. Среди них немало посланий от известного московского миссионера С. В. Касаткина, который сообщал о том, что происходило в церковной жизни. Среди прочих письма о похоронах Святейшего Патриарха Тихона, о подготовке обновленческого собора, о ситуации с обновленцами в столице и в провинции, об аресте митрополита Петра (Крутицкого), о возникновении григорианского раскола, о том, где какие владыки и священники находились в то время в ссылке, и многое другое. Поваровы переписывали эти письма в нужном количестве экземпляров и рассылали ссыльному духовенству в самые отдаленные уголки страны, в том числе и на Соловки. Переписывались и рассылались также присланные из Москвы послания патриарха Тихона, после его смерти — митрополита Петра, затем — митрополита Сергия (Страгородского).

Немало писем женщины получали от ссыльных и заключенных. Среди изъятых при обыске письма Поваровым архиепископа Илариона (Троицкого) и епископа Софрония (Старкова) из Соловецкого лагеря, епископа Антония (Быстрова) из Нарымского края, епископа Ефрема (Ефремова) из Зырянского края, оттуда же, из села Ижма, — от епископов Василия (Богдашевского) и Дмитрия (Вербицкого), протоиереев Иоанна Серебренникова и Александра Ростовцева, протоиерея Федора Яворского из Киева и других²⁹.

Среди изъятых находился и уникальный документ — первый из обнаруженных такого рода списков заключенного на Соловках духовенства. В нем поименно, с указанием сана и места последнего служения, перечислено духовенство, которое находилось в Соловецких лагерях особого назначения летом 1926 г.

Без сомнения, список начал составляться со времени прибытия в лагерь первых священнослужителей. Он постоянно корректировался: сюда вписывались все прибывавшие в концлагерь священники и вычеркивались выбывшие из него. Согласно документу, через Соловецкие лагеря до середины 1926 г. прошел 121 представитель духовенства из 37 епархий: пять архиепископов, двадцать епископов, пять архимандритов, два игумена, тридцать шесть протоиереев,

²⁷ Архив УФСБ по Архангельской области. Приложение к следственному делу П-3021. Л. 496.

²⁸ Суворова С. В. Указ. соч. С. 158.

²⁹ Архив УФСБ по Архангельской области. Приложение к следственному делу П-3021. Л. 260—535.

сорок два иерея, восемь иеромонахов, три протодиакона, также в списке два иподиакона и три чтеца³⁰.

70-летняя мать и 45-летняя дочь, как участницы «контрреволюционной организации духовенства епископа Антония Быстрова», выполнявшие поручения «контрреволюционного характера» епископа, были осуждены к ссылке на три года за пределы Архангельской губернии. Отбывали наказание они в селе Усть-Цильма Зырянского края. К 1931 г. мать умерла, дочь бедствовала³¹, дальнейшая судьба Екатерины Поваровой неизвестна.

Градислава Никаноровна Канорская

Градислава Канорская жила в Кемии на бывшем Поповом острове, где во времена Соловецких лагерей особого назначения находился Кемский пересыльный пункт. Она была вдовой священника Николая Канорского и сестрой священномученика епископа Архангельского и Холмогорского Аполлоса (Ржаницына).

Градислава Никаноровна возглавляла общину верующих на Поповом острове. После смерти мужа она одна воспитывала трех дочерей, младшей из которых в 1929 г. исполнилось 15 лет. На квартире у Канорской останавливалось освободившееся из Соловецкого лагеря духовенство, проходили совещания священников, отбывавших срок наказания в Кемии, некоторые из них столовались у Канорской. Удивительно, но в 1929 г. на Поповом острове еще была открыта церковь, и там служили многие освободившиеся и следующие в ссылку епископы и священники, вынужденные останавливаться в Кемии.

Кроме этого, Градислава Никаноровна развозила по стране письма священников из лагеря. Она стала связующим звеном между иосифлянским духовенством, заключенным на Соловках, и их единомышленниками на воле. Освободившиеся с Соловков заключенные тайно вывозили из лагеря письма. По пути домой или в дальнейшую ссылку они не могли миновать Попова острова, где передавали письма Канорской, а та потом доставляла их по нужным адресатам. Ей передавали свои письма архиепископы Прокопий (Титов) и Евгений (Зернов), епископы Гавриил (Абалымов), Григорий (Козырев) и епископ Афанасий (Сахаров) и многие священники³².

По материалам следственного дела тайная передача писем началась с 1923 г., т.е. со времени открытия Соловецких лагерей. В 1927 г. Градислава Канорская отвезла пакет от заключенного духовенства в Москву и вручила

³⁰ Яковлева А. П. Список духовенства, заключенного на Соловках. 1921 (?) — 1926 гг. // Соловецкий сборник. Архангельск. 2014. Вып. 10. С. 150–151.

³¹ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 631. Л. 68. 1931 г. (Сведения предоставлены А. А. Сошиной).

³² Архив УФСБ по Архангельской области. Следственное дело П. 15401. Л. 42.

его лично помощнику Патриаршего местоблюстителя архиепископу Серафиму (Самойловичу)³³. В следующем году вместе с дочерьми она посетила несколько городов. Сначала Канорские отправились в Костромскую губернию к настоятелю Железоборовского монастыря, бывшему узнику Соловецких лагерей, иеромонаху Иоасафу (Сазанову) с информацией о жизни духовенства в лагерях. Затем Канорская поехала в Кинешму, где остановилась у бывшей настоятельницы Свято-Троицкого монастыря игумении Михайлы (Меркуловой), которая организовала ее встречу с епископом Севастианом (Вести). Ему она также рассказала о положении заключенного на Соловках духовенства. Во время беседы владыка поведал ей о церковной жизни в стране и особенно подробно — о линии, принятой митрополитом Сергием (Страгородским). Из Кинешмы Канорская поехала в Кострому, а оттуда — в Вологду и затем возвратилась в Кемь. Все сведения, полученные во время поездки, она записывала и по возвращении передала в лагерь.

В 1929 г. с письмами с Соловков она посетила архиепископа Димитрия (Любимова) в Ленинграде и передала ему письма от священников Поликарпа Золотых и Александра Кремышенского, в которых они уведомляли архиепископа о своем отходе от митрополита Сергия и просили владыку принять их в число его сторонников. У архиепископа Димитрия она взяла пакет на имя Золотых, затем поехала в Москву и в расположенный неподалеку Серпухов, где посетила епископа Максима (Жижиленко). Возвращаясь в Кемь, она вновь заехала в Ленинград, где забрала письмо митрополита Кирилла (Смирнова)³⁴.

Из следующих поездок она привезла и передала на Соловки еще одно, переданное из ссылки, письмо митрополита Кирилла (Смирнова), воззвание архиепископа Серафима (Самойловича), другие документы.

Канорская неоднократно доставляла и личные письма заключенного на Соловках духовенства их близким, ездила она также к освободившимся с Соловков священникам с письмами из лагеря от бывших союзников. Конечно, далеко не все письма из-за их большого количества и дальности расстояний она могла передать лично адресатам. Многие по дороге, подальше от Кеми, женщина просто опускала в почтовые ящики.

Она также переправляла для духовенства на Соловки посылки и деньги, которые на ее имя в Кемь посылали их родственники.

Канорская была арестована в начале июня 1929 г., накануне своей очередной поездки. Градислава Никаноровна намеревалась посетить Тотьму в Вологодской губернии, где в то время проживал ее брат — епископ Аполлос (Ржаницын).

³³ Там же.

³⁴ Там же. Л. 42–43.

Туда она везла две рукописные тетради архиепископа Прокопия (Титова), чтобы познакомить с ними епископа Аполлоса, затем отвезти их обратно и по требованию владыки Прокопия выслать тетради ему³⁵.

Она должна была, кроме того, посетить Москву и Ленинград, а также привезти оттуда последние церковные документы, остальной маршрут ее поездки неизвестен.

При обыске 7 июня у нее в квартире в тайнике обнаружили 13 писем с адресами, 12 квитанций на посылки и переводы, 10 записок с адресами, документ «Ответ верующему», разную переписку на 23 листах и вместе с ними текст декларации митрополита Сергия (Страгородского), копию заявления заключенного священника Иоанна Шастова от имени всего заключенного духовенства в Соллагерях, обращение митрополита-экзарха Украины Михаила (Ермакова), другие документы³⁶.

По окончании следствия Канорская была осуждена по статье 58 п. 11 к трем годам заключения в концлагерь. Наказание отбывала в Соловецком лагере³⁷. Дальнейшая судьба Градиславы Никаноровны Канорской неизвестна.

³⁵ Архив УФСБ по Архангельской области. Следственное дело П. 15401. Л. 12 об.

³⁶ Там же. Л. 43.

³⁷ Там же. Л. 44.

Вячеслав Умнягин, иерей
**УГОЛОВНИКИ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ**

Во времена, когда тема репрессий в Советском Союзе была строго табуирована, в редких открытых источниках все же встречались отдельные упоминания о Соловецком лагере особого назначения (СЛОН). Делалось это с той оговоркой, что «отправляли туда только рецидивистов — закоренелых, с большим сроком»¹. Такие сведения из воспоминаний Н. А. Журавлева — бывшего уголовного, приехавшего на Соловки в декабре 1928 г. в составе агитационной группы Болшевской коммуны за новой партией коммунаров, озвучивали официальную точку зрения², но не соответствовали действительности. Не соответствует ей и мнение о том, что на беломорском архипелаге и прилегающих к нему континентальных территориях находились лишь осужденные за «контрреволюционную» деятельность жертвы политических репрессий. Согласно статистике, в октябре 1927 г. из 12 896 соловецких узников 2383 сидели за бандитизм, изготовление фальшивых денег и криминальное прошлое. Такие сведения прямо указывают на то, что в СЛОНе и его командировках отбывали наказание «не только политические заключенные, там были и так называемые соцблизкие, то есть те, кто был осужден за чисто уголовные преступления»³.

Описанию данной категории соловчан посвящено немало ярких страниц лагерной прозы. Это одна из тем, которую в той или иной мере затрагивают все без исключения мемуаристы. Наиболее подробно о психологии и поведении уголовников писали Ю. Д. Бессонов и Е. И. Ярославская-Маркон. Открытые политические противники советской власти, они по разным причинам оказались в преступной среде, зарабатывая на жизнь грабежами и воровством. «Наконец последний выход, — вспоминал бывший офицер царской охраны, описывая свое положение между очередными арестами. — Откинув закон Бога, большевики установили свой... Что же мне делать?.. Принять вызов. Стать вне закона.

¹ Журавлев Н. А. Живут три друга // Настоящее издание. С. 133.

² «Что касается лагеря на Соловках, то там, в настоящее время, находятся только уголовные преступники». Письмо председателя Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца А. С. Енукидзе председателю Международного Комитета Красного Креста г. Адору от 18 декабря 1926 г. Цит. по: Сошина А. А. Материалы к истории лагеря и тюрьмы на Соловках (1923–1939 гг.) // Соловецкое море. 2010. № 9. С. 126.

³ Ивсен П. А. «Я не мог не конструировать...» // Соловецкий вестник. 1991. № 19. С. 2.

Померяться силами. Для них все средства хороши. Для меня же только те, которые позволит совесть...»⁴ Для Е. И. Ярославской-Маркон ситуация выглядела иначе. Имея университетский диплом и необремененную с советской точки зрения биографию, она могла поступить на государственную службу, но ей «хотелось испытать “блатную” жизнь, — научиться воровать...»⁵ «Я шла к жуликам не как “к младшим братьям” — учить их, нет, — писала она, — я шла сама благоговейно учиться у них воровскому ремеслу, их воровской этике»⁶.

Академик Д. С. Лихачев и писатель-фантаст С. А. Снегов изучали профессиональных преступников со стороны. В оставленных ими произведениях воссоздается картина уголовного мира конца 1920-х — начала 1930-х и 1940—1950-х гг. И если первый автор отмечал наблюдаемое им разложение преступной среды⁷, то второй, как будет показано ниже, отразил в своем творчестве своеобразную деградацию политических заключенных, смирившихся перед необходимостью существования по уголовным законам.

В общем и целом, соловецкие мемуаристы создали целую галерею криминальных характеров. В книге Б. Н. Ширяева упоминаются: полуграмотный казак-бандит Алексей Чекмаза и вор-рецидивист Сёмка Пчёлка, играющие на подмостках лагерного театра; уголовник Губичев («матерщинник и к тому же богохульник»), который кается перед смертью, исповедуя совершенные убийства заключенному священнику Никодиму; король взломщиков Володя Бедрут, добывавший известным ему способом из запасников антирелигиозного музея необходимую утварь и богослужебные облачения для совершения панихиды и празднования Пасхи. Один из героев романа «Тайна Соловков» скаут-мастера Б. Л. Солоневича — Митька-одессит, вобравший в себя черты малолетних преступников, с которыми автору приходилось общаться при различных обстоятельствах в самых разных концах страны, преобразается в результате знакомства с православным митрополитом и даже рискует жизнью, чтобы выполнить просьбу церковного иерарха. В повести «Соловецкие острова» публициста Г. А. Андреева бакинский вор Магерам, наоборот, крайне отрицательный персонаж — садист, который в припадке ярости жестоко убивает товарища

⁴ Бессонов Ю. Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков. Paris: Impr. de Navarre, 1928. С. 94.

⁵ Ярославская-Маркон Е. И. «Клянусь отомстить словом и кровью...» / Публ. и примеч. И. А. Флиге // Звезда. 2008. № 1 // URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/1/ma11.html>

⁶ Там же.

⁷ «Шпанская среда на Соловках разлагается. Карточные долги не платятся, и получить их нет возможности — проигравший идет жаловаться командиру. Среда “своих” разбавляется “вшивками” и фраерами, благодаря чему нельзя строго придерживаться шпанских “законов”. Наконец, сама обстановка полуволи-полузаклучения и принудительного труда разрушает шпанскую кастовую замкнутость. Шпанская физиономия тускнеет, и жиганство — исчезает. Падение картежной этики на Соловках, примеры чему мы видели выше, лишь частность». Лихачев Д. С. Картежные игры уголовников (из работ криминологического кабинета) // Статьи ранних лет. Тверь, 1993. С. 53.

за карточный долг, а на лесоповале, чувствуя полную безнаказанность, глумится над политическими заключенными.

За редкими, отдельно оговариваемыми исключениями, в воспоминаниях соловчан профессиональные преступники предстают как мало дифференцированная масса, враждебно настроенная по отношению ко всем остальным заключенным, сдерживающая свои деструктивные порывы только под давлением внешних обстоятельств. «Основная масса уголовных — “мелюзга” была более или менее однородна: беззаботная неунывающая молодежь от 16 до 30 лет с небольшими сроками от одного до двух-трех лет, — писал князь К. Н. Голицын, чей лагерный срок на Соловках был заменен пребыванием в Бутырской тюрьме. — Разбавленные в значительной степени нами, “фраерами”, уголовники держались в известных рамках и не обнаруживали полностью свою безудержную, не подчиняющуюся никаким моральным правилам натуру, как это случилось наблюдать позже в лагерях. Но все они без исключения представляли собой людей нравственно изуродованных условиями безалаберной жизни на воле, со всей ее распушенностью, пьянством и зачастую наркоманией»⁸.

Несмотря на отягощающие факторы, среди самих уголовников обычно поддерживался жесткий порядок. Один из героев книги о Болшевской коммуне при столкновении с недисциплинированными детдомовцами был крайне раздражен их поведением. «Он, как всякий настоящий вор, не любил беспорядка, шума и хулиганства. Ему приходилось подолгу жить в шалмане, в тюремных камерах, и там всегда был порядок — особенный, блатной порядок. Молодые воры уважали и слушались старших»⁹.

О таком «особом порядке» писал театральный деятель В. Я. Дворжецкий: «Командует один главный, самый известный и популярный рецидивист — вожак блатных. Он говорит тихо, солидно, мало говорит, но каждое его слово — закон! Все живут по “старородским <архаичным. — В. У.> законам” и пользуются “феней” (жаргоном). Помощники у него — воры (“люди”). А дальше вся мелочь, шпана: “урки”, “жлобы” и “фраера” — для того, чтобы их “косили” (обирали, обманывали, били)»¹⁰.

Романистка А. П. Скрипникова заостряла внимание на конфликтных отношениях воровок и проституток, которые «относились друг к другу с величайшим презрением, как к низшей расе. Воровки считали проститутку ниже себя: мы, хоть воруем, но собой не торгуем. Проститутки переворачивали этот принцип:

⁸ Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997. С. 199.

⁹ Болшевы (Очерки по истории Болшевской имени Г. Г. Ягода трудкоммун НКВД): сб. / под ред. М. Горького и др. М., 1936. С. 72.

¹⁰ Дворжецкий В. Я. Пути больших этапов: Записки актера. М.: Возвращение, 1994. С. 33.

торгуем своим, но не краденым», впрочем, по словам писательницы, в отличие от заключенных мужчин, «проститутки и воровки ругались только между собой, не затрагивая политических и религиозных женщин»¹¹.

У подавляющего большинства мемуаристов непосредственный контакт с криминальной средой вызывал культурный шок, отягощенный осознанием масштаба социальных процессов, определявших ее существование. «Из всех человеческих чувств у них, видимо, осталось только одно — солидарность волчьей стаи, с детства выкинутой из всякого человеческого общества, — писал по этому поводу И. Л. Солоневич. — Едва ли какая-либо другая страна и другая эпоха может похвастаться наличием миллионной армии людей, оторванных от всякой социальной базы, лишенных всякого социального чувства, всякой морали»¹².

«Великое племя “урок”», «блатные», «шпана», «шакалы», «индейцы», «леопарды» — эти и подобные им экзотические термины, с одной стороны, выражали обоснованно неприязненное отношение политических заключенных к уголовникам («по приезде был ограблен в лагере при вооруженном нападении и сидел под тремя топорами»¹³, — сообщал о. Павел Флоренский в своем первом письме с Соловков). Но та же терминология передавала и удивление от открытия неведомого прежде мира, который завораживал, пробуждал живой этнографический и духовный интерес. «В бараке людей довольно много, но я среди них один. Это большей частью все уголовные, и их непереносимый жаргон, с душами, вывернутыми и оскверненными, большей частью еще в младенчестве. Я почти целыми днями молчу, но слушаю часто, — писал священник Анатолий Жураковский, находясь в одной из лагерных командировок. — Мне хочется проникнуть глубже в страшный мир этих душ, уловить, рассмотреть своеобразие линий их жизни»¹⁴.

Сотрудники Соловецкого общества краеведения шли дальше, поставив на научную основу свой интерес к изучению психологии преступного мира¹⁵. «Попав в Криминологический кабинет, я сразу оценил обстановку и решил записывать все интересное. Еще в роте общих работ, находясь среди уголовников, я начал изучение уголовных игр, занялся составлением словаря воровского языка, вернее, жаргона»¹⁶, — рассказывал Д. С. Лихачев в одной из сохранившихся бесед.

¹¹ Скрипникова А. П. Соловки // Настоящее издание. С. 176.

¹² Солоневич И. Л. Россия в концлагере. М.: Римис, 2005. С. 66.

¹³ Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1998. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. С. 139.

¹⁴ Жураковский А., свящ. Письмо из лагерного пункта для слабосильных «Толстовская дача» от 8 марта 1932 г. // Священник Анатолий Жураковский: Материалы к житию. Paris: YMCA-PRESS, 1984. С. 124.

¹⁵ См. Смирнова М. А. Криминальная жизнь Соловецкого лагеря особого назначения ее исследования (библиографический список) // Настоящее издание. С. 549–555.

¹⁶ Кавин Н. Человек-эпоха : две встречи с Д.С. Лихачевым // Звезда. 2006. № 11 // URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/11/che8.html>

В другом месте он отмечал, что главным в такой работе для него было понять: как эти люди «оправдывают то, что они стали ворами»¹⁷. Краевед и экскурсионист Н. П. Анциферов, продолжая традицию народнической интеллигенции, «мечтал работать в Криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей “Мертвого дома”»¹⁸.

Несмотря на очевидную аморальность бандитской этики, многие мемуаристы, не симпатизируя нравственным ценностям ее носителей, искали и находили убедительные оправдательные мотивы их поведения. «Я не защитник шпаны, — восклицал публицист М. М. Розанов. — Она и меня трижды ощутительно обокрала <...> но мстить я им не мстил и не мог, ибо такова их “профессия”, а лагерь — их дом, их школа. Достаточно карает их и будет карать всякий закон, но только один большевистский закон — “хлеб по выработке” — карая, принуждает их красть все, что возможно, вплоть до святой, кровной пайки хлеба у соседа. С нее, с власти, а не с них надо требовать ответа и расплаты»¹⁹. Индус С. Курейши сетовал на неразвитость и жестокость обитателей советских тюрем. В них он видел «в первую очередь, страдальцев, находящихся зачастую в еще худшем положении, чем “политические”»²⁰. А бывалый сиделец Д. П. Витковский сообщал, что именно в соловецких бараках «научился не смотреть на людей с высоты величия честного человека, совершенно искренне не чувствуя к ним ни тени пренебрежения»²¹.

Писатель О. В. Волков был, пожалуй, единственным, кто в принципе отрицал саму возможность существования этических норм у представителей криминального сообщества и рассуждал о «вздорности литературных суждений о романтике и благородстве, присущих будто бы уголовному миру»²². В отличие от него, другие мемуаристы отмечали высокие нравственные качества своих товарищей по тюрьме, попутчиков по этапу или соседей по лагерным нарам, сожалея лишь об условиях, которые не позволяли тем вырваться из преступной среды. Анонимный автор парижского «Возрождения» сообщал, что «у шпаны есть своего рода кодекс чести, и они, например, никогда не украдут ничего у своего товарища по бараку»²³, литературовед А. Е. Горелов вспоминал спасшего его

¹⁷ Д/ф «Я вспоминаю...» / Реж. В. Виноградов. Ленфильм, 1988.

¹⁸ Анциферов Н. П. СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) (Из дум о былом) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 368.

¹⁹ Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре. США, 1979. Кн. 1. С. 126.

²⁰ Бабичева М. Е. «Индийский гость» по воле рока // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 87.

²¹ Витковский Д. П. Полжизни // Знамя. 1991. № 6. С. 109.

²² Волков О. В. Погружение во тьму. М., 2009. С. 173–174.

²³ В. Н. И. Соловецкий концлагерь (со слов очевидца) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 57.

Петруся — «дважды убийцу и милейшего парня с чувством личной признательности»²⁴, рабочий А. А. Зинковщук свидетельствовал о том, что «уголовники, как правило, не лишены были добрых чувств»²⁵, а физик Л. С. Полак называл знакомого «пахана» — «человечнейшим человеком»²⁶. Сразу несколько человек описали одно и то же глубоко символическое событие. Три молодых «шпаненка», которые в кладбищенском храме преподобного Онуфрия Великого после чтения 12 Страстных евангелий исполнили на Утрени Великой пятницы одно из центральных песнопений этого богослужения, начинающееся со слов: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи...»²⁷

И все же, несмотря на уважительное отношение к отдельным личностям и веру в их возможное исправление, в целом образ уголовников в воспоминаниях соловчан носит скорее негативную окраску. Помимо прочего, связано это было с тем, что в глазах политических заключенных профессиональные преступники были олицетворением победившей в стране идеологии и порождаемой ею системы ценностей, которая в первые десятилетия советской власти заметно контрастировала с нормами и обычаями дореволюционного прошлого.

Рассматривая наиболее употребительное значение слова «блат», как «протекция, пособничество, знакомство», профессор ихтиологии В. В. Чернавин подчеркивал, что «это и своеобразная система, определяющая все отношения в лагере», начало же этой системы «заложено в самом ГПУ, оно ею пронизано сверху донизу, и от него ею заражены и лагеря»²⁸.

Многие мемуаристы подчеркивали «кровное» родство «блатных» и представителей лагерной администрации. Профессор И. М. Андреевский в статье «Большевизм в свете психопатологии» приходил к неутешительному выводу, согласно которому на Соловках «процент психопатизированных личностей среди начальства был выше, чем среди квалифицированных тягчайших преступников-убийц!»²⁹

Близкой, по мнению заключенных, была не только симптоматика, но и эстетика уголовников и пролетарских деятелей. Описывая ширмача-карманника, распевавшего на Соловках песенки и куплеты своего сочинения, Б. Н. Ширяев отмечал, что «с цензурой он мало считался», зато полностью «совпадал с

²⁴ Горелов А. Е. Пережитое // Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. СПб.: Просвещение, 1998. Вып. 4: От имени живых... С. 32.

²⁵ Зинковщук А. А. Узники Соловецких лагерей. Челябинск: Газета, 1993. С. 30—31.

²⁶ Полак Л. С. Было так: Очерки. М., 1996. С. 93—94.

²⁷ Осипенко М. В. Пасхальные богослужения в Соловецком лагере // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 155, 157.

²⁸ Чернавин В. В. Записки «вредителя». СПб.: Канон, 1999. С. 269.

²⁹ Проф. И. С. Большевизм в свете психопатологии // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 299.

культурным уровнем командиров и их запросом к сцене»³⁰. Ингушский офицер С. А. Мальсагов объяснял подобное сходство тем, что «большая часть соловецкой администрации тесно связана с уголовниками не только идейно, но и общим дореволюционным прошлым»³¹.

Генерал И. М. Зайцев без обиняков называл сотрудников ГПУ международными преступниками, из состава которых, по его мнению, была «исторгнута группа преступного элемента и изолирована на Соловках», где им была «вверена судьба многих тысяч заключенных, в большинстве случаев ни в чем не повинных людей»³².

Негативное отношение к уголовным преступникам усугублялось, таким образом, из-за их сотрудничества с лагерной администрацией, которое не скрывалось и было очевидным для любого стороннего наблюдателя. Сын историка Г. О. Гордона, прибывший на Соловки летом 1931 г., вспоминал, что «персонал лагеря состоял из лиц трех категорий: ничем не запятнанные, служившие там, как они могли бы служить в любом другом месте — они носили фуражки с красным околышем, синим верхом и обычной красной звездой на них; следующая категория носила такие же фуражки, но без звезды — это означало, что перед вами штрафник, посланный сюда в наказание за какую-то провинность; наконец, самая многочисленная категория носила однотонные серо-зеленые фуражки с упомянутой надписью, литографированной на дугообразной металлической пластинке миллиметров в сорок длиной и пятнадцать шириной, закрепленной на месте кокарды. Это были заключенные из уголовных, точнее, из “социально-близких”, как они официально именовались (в отличие от осужденных по 58 ст. (контрреволюция) “социально-чуждых”), добровольно служившие в охране и глубоко презираемые остальными заключенными»³³.

Такая кадровая политика имела известные последствия. Во-первых, пенитенциарные учреждения переставали исполнять свою главную задачу — исправлять преступивших закон людей, так как «преступники не могут исправлять преступников», во-вторых, места лишения свободы окончательно превращались в «школу по подготовке квалифицированных преступников»³⁴.

К тому же, чувствуя официальную поддержку или снисходительное отношение к творимым беззакониям, бандиты начинали без меры угнетать

³⁰ Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада. Соловецкий монастырь, 2012. С. 122–123.

³¹ Мальсагов С. А. Адский остров // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 387.

³² Зайцев И. М. Соловки // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 184.

³³ Гордон Г. Г. «Настоящая семья была у нас только два с половиной года...» // Соловецкий вестник. 1994. № 10. С. 5.

³⁴ Зайцев И. М. Указ.соч. С. 266–267.

остальных заключенных, что, в конце концов, были вынуждены признавать в самых высших инстанциях. В одном из приказов Коллегии ОГПУ указывалось на то, что «группа заключенных на островах уголовников при попустительстве и способствовании лагерного аппарата в течение продолжительного времени <с осени 1931 г. и до второй половины 1932 г.>, производя систематически кражи, избиения заключенных и надзорсостава, грабежи, пьянство, картежную игру, членовредительство, поножовщину и т.д., выросла в явно бандитскую группу, совершенно терроризировав остальное лагерное население»³⁵.

Со временем ситуация изменилась. По свидетельству заключенного Соловецкой тюрьмы С. И. Эпштейна, во второй половине 1930-х гг. в качестве ее охранников привлекались «крестьянские парни без специальности, демобилизованные из армии, которым обещали службу в НКВД с красивой формой, с неплохим жалованьем и не очень обременительную»³⁶. Однако, несмотря на внешние перемены комсостава в лагерях «владычествовали суки — и уверен, что таков был нормальный строй каждого “добропорядочного” лагеря НКВД, — делился С. А. Снегов опытом послевоенного заключения. — Суки, — пояснял он, — те же уголовники, часто с тем же тяжким клеймом — пятьдесят девятой статьёй уголовного кодекса, карающей за бандитизм, — вступали в служебные отношения с лагерной администрацией. Суки командовали заключенными от имени администрации, являлись внутрилагерным костяком — комендантами, нарядчиками, каптерами, писарями»³⁷. Оговариваясь, что им не разрешалось служить в охране и пользоваться оружием, мемуарист тут же замечал, что данный запрет в полной мере компенсировали «ножи, заточенные напильники, кистени...»³⁸

Отметив факт постоянного привлечения профессиональных преступников для управления лагерями, не менее важно указать на различия в восприятии такого положения дел у разных поколений советских заключенных. Воспоминания 1920—1930-х гг. полны недоумений. «Где-то высоко над нами стоит начальство, нас охраняет конвой, над нами глумятся старосты и командиры рот — такие же заключенные, как и мы, только бывшие вчера чекистами или ворами, — но ведь нас несравнимо больше, нам легко было бы разорвать сковывающую нас цепь. Почему мы не рвем ее?..»³⁹ — спрашивал Г. А. Андреев.

³⁵ Приказ начальника ГУЛАГа ОГПУ с объявлением приговора Коллегии ОГПУ по делу о бандитизме и разложении аппарата в Соловецком отделении СЛАГ ОГПУ от 17 марта 1933 г. // ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917—1960 / сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М.: МФД, 2000. С. 448—450.

³⁶ Д/ф «Власть Соловецкая» / Реж. М. Голдовская. Мосфильм, 1988.

³⁷ Снегов С. А. В хитром домике над ручьем // Норильские рассказы // URL: <http://www.serann.ru/text/v-khitrom-domike-nad-ruchem-10733>

³⁸ Там же.

³⁹ Андреев Г. А. Соловецкие острова. 1927—1929 // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 127.

Почему лишённые свободы люди «сами с оружием в руках охраняют себя от побегов или преследуют бежавших, сами организуют за собой шпионаж, сажают в изоляторы, подводят под расстрел и, наконец, сами перевоспитывают и перековывают себя»⁴⁰, — вторил ему В. В. Чернавин. Не давая ответа на подобные вопросы, которые, естественно, вставали перед каждым здравомыслящим человеком, Б. Л. Седерхольм приходил к выводу о том, что «чем больше живёшь в лагере, тем все больше и больше проникаешься сознанием, что Соловецкий лагерь — это какой-то гигантский сумасшедший дом»⁴¹.

Спустя двадцать лет, С. А. Снегов уже говорил о жизни по воровским законам как о «норме». И даже, что было немыслимо для его предшественников, воспитанных в традициях дореволюционного российского общества, утверждал положительную роль уголовников. «Если места заключения не превращались периодически в арену кровавых побоищ, — писал он, — а являли собой правильно сконструированный организм, скреплённый жестокой дисциплиной, своеобразной свирепой “техникой безопасности” — в бараках можно было спокойно жить и без страха отдыхать, — то важная доля в службе порядка отводилась именно “ссученным” — комендантам, нарядчикам и многочисленным стукачам, исправно разнюхивавшим, где чем пахнет»⁴².

С точки зрения соловчан, такого рода метаморфозы стали следствием нравственной деформации всего советского социума. В одной из своих работ с многоговорящим названием «Черты первобытного примитивизма воровской речи» Д. С. Лихачев прогнозировал распространение подобной тенденции. Обращая внимание на то, что «слова воровской речи характерны своей необычайной экспансией, способностью распространяться далеко за пределы воровской среды», он особо подчеркивал, что «с этими воровскими словечками и словами распространяется яд воровской идеологии, воровского мировосприятия»⁴³.

Анализируя природу ГУЛАГа, как особого социального института, формирующего и транслирующего свои поведенческие нормы и мировоззренческие ценности, в последующие годы многие мемуаристы отмечали необратимость происходящих на их глазах деструктивных процессов. «Удивительно успешно разрушили мы до основания старый, традиционный уклад жизни, а построили лагерную систему, — писал В. Я. Дворжецкий. — И лагерный жаргон,

⁴⁰ Чернавин В. В. Указ. соч. С. 268.

⁴¹ Седерхольм Б. Л. В разбойном стане: Три года в стране концессий и «Чеки» (1923–1926) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 699.

⁴² Снегов С. А. В хитром домике над ручьем // Норильские рассказы // URL: <http://www.serann.ru/text/v-khitrom-domike-nad-ruchem-10733>

⁴³ Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Статьи ранних лет. Тверь, 1993. С. 93.

и взаимное недоверие, и нравственный принцип: “Бери все, что плохо лежит” и “Настучи на другого, пока он не успел на тебя настучать”»⁴⁴.

Наряду с другими общими темами (восприятие природы, отношение к труду и интеллектуальной деятельности, побегу из мест лишения свободы и жизни за границей и др.), которые встречаются на страницах воспоминаний соловецких узников, образ уголовников становится оселком для уяснения меняющегося со временем мировосприятия мемуаристов, отражающего не только субъективную реальность конкретных авторов, но и объективные тенденции общественной жизни.

Такой образ формировался под воздействием двух основных факторов: удивления от близкого соприкосновения с традициями преступного мира, базирующегося на асоциальных нормах поведения, и трагического осознания всей глубины их проникновения в повседневную жизнь общества. Причем если в первые десятилетия советской власти это проникновение имело внешний, насильственный характер и криминальная субкультура вызывала естественное отторжение большинства политзаключенных, то спустя несколько десятилетий она воспринималась уже как норма и даже неотъемлемая составляющая советского социума.

При этом практически во всех соловецких мемуарах присутствует неизменно гуманистическое отношение рассказчиков к представителям преступного сообщества. Такое отношение проникнуто состраданием, стремлением увидеть человеческое в человеке, разглядеть таящуюся в нем «искру Божию», что является воплощением живой религиозной традиции, предостерегающей от бросания камня в грешника и поиска соринки в чужом глазу.

⁴⁴ Дворжецкий В. Я. Указ. соч. С. 118.



АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

БУЛЫГИН



А. Гуллотта
СОЛОВЕЦКАЯ БЫЛЬ А. Д. БУЛЫГИНА

«Соловецкая быль» Александра Дмитриевича Булыгина — незаурядный текст и, как незаурядное явление, требует нетривиального, во всяком случае, не совсем академического введения, которое автор настоящей статьи позволит себе начать с рассказа о своем знакомстве с этими мемуарами и самими Соловецкими островами. Дело в том, что по некоему совпадению я впервые приехал на Соловки именно после прочтения в архиве московского «Мемориала» воспоминаний А. Д. Булыгина и смотрел на происходящее отчасти через призму этого его произведения, которое дорого мне как память о первой встрече с архипелагом.

Другой отправной точкой моего восприятия этого места стало знакомство с А. А. Сошиной. Используя слова академика Д. С. Лихачева, могу сказать, что для меня общение с Антониной Алексеевной было вторым (но первым по значению) университетом по изучению исторического и культурного наследия Соловков. Однажды я спросил у нее, как она относится к разнообразию описаний Соловецкого лагеря, которые встречаются в мемуарах бывших заключенных и в чем-то совпадают, а в чем-то противоречат друг другу. Она ответила очень поэтично, напомнив притчу о семи слепых людях, ощупывающих слона с разных сторон. В результате каждый из них описывает лишь некую часть, тогда как совокупность описаний дает представление о целом. То же в полной мере относится к истории СЛОНа, понять которую во всей ее полноте можно только через сопоставление самых разных свидетельств, дающих цельную и объемную картину того трагического времени и мира. В этой связи публикацию мемуаров А. Д. Булыгина можно считать важным событием на пути понимания лагерной истории и жизни соловецких заключенных, их переживаний и возможного отношения к действительности.

Мемуарист родился в 1902 г. в семье офицера. Бухгалтер по образованию, он был арестован в 1925 г. по делу «фокстротистов» и приговорен к трем годам лишения свободы. Свой срок молодой человек отбывал на Соловках, где находился до ноября или декабря 1927 г. Первую часть лагерного срока Булыгин провел на общих работах, затем трудился на Соловецкой железной дороге — сначала

в лесах, а потом в качестве бухгалтера — и был непосредственным свидетелем функционирования административного аппарата УСЛОН.

За пять лет до смерти, в 1981 г., Александр Дмитриевич закончил работу над записками о событиях давно минувших дней, которые практически не сообщают о насилии или лагерном произволе. Такие тексты в литературе о ГУЛАГе встречаются нечасто. Вероятно, свою роль здесь сыграл случай, но важно подчеркнуть и авторское восприятие происходящего, его жизненное кредо, которое можно выразить следующими словами: не падать духом ни при каких, даже самых ужасных обстоятельствах, о чем мемуарист сообщает в самом начале рукописи: «Этой прогулкой закончился мой первый день пребывания в Соловецком концлагере, и я вернулся к своему топчану в помещении 12-й роты. На следующее утро сигнал готовится к обязательной проверке поднял всех на ноги. Несмотря на усталость, порожденную трудами предыдущих дней, я чувствовал себя бодро. Я решил не падать духом, не опускаться и для этого поддерживать бодрость тела».

Такой внутренний настрой помогал автору конструктивно относиться к собственным злоключениям, что заметно отличает его воспоминания от многих других документов эпохи. Различия между текстами Булыгина и других мемуаристов — разительны. Например, при описании общих работ на лесоповале мемуарист подчеркивает только технические детали, не упоминая об угрозах и избиениях со стороны надзирателей: «В этот день я был назначен вместе с группой других на выкатывание приплавленных бревен из моря и на их штабелевание на берегу. Бревна были толстые и длинные, и работа была нелегкая <...> Работа была назначена сдельно на каждую группу заключенных; группы были разбиты по числу штабелей. Перерыв делался на обед и затем до вечера. На такой работе я находился несколько дней подряд и порядком измотался, тем более что пищевой ежедневный рацион был весьма скудный: 450 граммов черного хлеба на день; на обед — суп из вяленой трески; вечером — порция гречневой каши с постным маслом. И это — все». Сетует он лишь на скудость пищи для работающих на лесозаготовках заключенных, тогда как практически все другие авторы воспоминаний концентрируются на условиях труда, вследствие которых заготавливаемый солдовчанами-каторжанами лес «полит слезами и покрыт иногда кровью от избиваемых лесорубов»¹.

Конечно, молодому бухгалтеру повезло. Единственный эпизод, в котором он испытывает на себе произвол со стороны лагерной администрации, связан с мелочной местью одного из местных начальников. Но даже этот рассказ не

¹ Зайцев И. М. Соловки (Коммунистическая каторга или место пыток и смерти) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 281.

содержит драматизма и отличается тривиальностью изложения: «Прошло несколько дней. И вдруг, совершенно для меня неожиданно, я получил через подрядчика отдела труда официальное уведомление собрать свои вещи и приготовиться к отправке на материк, на лесозаготовки. Известие было не из приятных. В перспективе маячили бараки Кемского пересыльного пункта, грязь и теснота помещений, совместная жизнь с уголовниками, тяжелые физические работы в лесу, да еще зимой <...> Вот пример зависимости судьбы заключенного в концлагере от каприза любого начальства, даже в том случае, если это начальство само принадлежит к числу заключенных, а также пример, характеризующий беспринципность и злобность таких начальствующих людей».

Разница с рассказами других мемуаристов, например, С. В. Щеголькова, который подобно А. Д. Булыгину оказался на Соловках совсем молодым человеком, огромная не только с точки зрения содержания, но и стиля: «Рядом с электростанцией была построена деревянная баня для начальства. Часы ее работы были дневные. В эти дни нам приказано было давать пар и воду. Были случаи, когда по приказу мы должны были давать воду глубокой ночью. Это отмывались убийцы, после расстрелов заключенных. В лагере много людей умирало и без расстрелов, от истощения (особенно уголовников). Ими проигрывалось и без того скудное питание, далее “питались” из мусорных свалок, в результате дизентерия и неминуемая смерть. Умирали от непосильной работы и северного климата (цинга)»². Обращают внимание отрывочные фразы, свидетельствующие о наличии психологической травмы, рассказы о которой обычно не содержат развернутых лингвистических конструкций.

Жизнь Булыгина в СЛОНе по-своему уникальна. Рассказывая о своем опыте, он часто повторяет, что находился в привилегированном положении: «Описывая факты моего житья-бытья в концлагере, а также и сам концлагерь таким, каким я его тогда застал, должен отметить, что я видел лишь вершину айсберга. Остальная его масса терялась в глубоких и мутных водах таинственности и засекреченности». Автор имеет отдельное жилье во время пребывания в сводной роте, располагает свободой передвижения, возможностью читать и писать письма, а также посещать богослужения. И все же пребывание в лагере отнюдь не безоблачно. Бывают и хмурые моменты, которые находят свое место при описании болезни и тоски, которая усиливается к концу лагерного срока. Но все-таки большинство мест в опубликованном ниже тексте поражают спокойствием тона и изложения, которые не объясняются

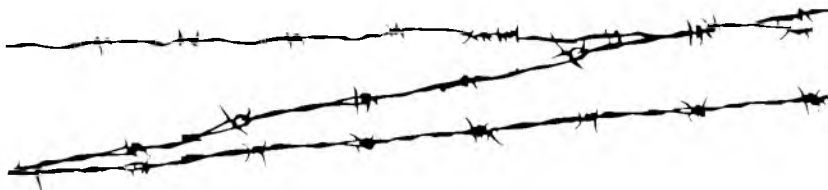
² Щегольков С. В. Небольшое повествование о том, как советская власть и партия ВКП(б) сделали меня «государственным преступником-террористом», который готовил покушение на жизнь товарища Сталина. М., 1999. С. 11.

только благоприятными бытовыми условиями, но характеризуют и состояние души: «В сентябре дни быстро укорачивались и сумерки наступали рано. Уже в конце августа, вечерами, в темнеющем небе ярко загорались звезды и вспыхивали, переливаясь, зеленовато-белые полосы северного сияния. Чайки покинули остров, и никто не нарушал тишину».

Булыгин чрезвычайно точно определяет границы своего знания: часто можно найти слова «не знаю», «говорили», «по слухам», что отличает его как скромного и разумного рассказчика, который не стремится к ненужным эффектам. В тексте встречаются повторения, стилистически он не выделяется на фоне других аналогичных произведений. Тем не менее первая публикация его воспоминаний позволяет составить более полное представление об истории Соловецкого лагеря как о месте, где на фоне нечеловеческих страданий, встречались люди, которым удавалось пройти выпавшие на их долю испытания с минимальными эмоциональными и физическими потерями.



Соловецкая быль¹



Соловки

... **В**сех заключенных, обреченных на отправку в Соловецкий концлагерь, построили и повели под конвоем на берег моря. У пристани под парами стояла «Нева» с прицепленной к ней баржой «Клара Цеткин».

Нам приказали попарно переходить по мосткам на эту железную баржу и спускаться в трюм. Мы так и делали и располагались на кучах ранее погруженного нами угля. Наше размещение продолжалось некоторое время, поскольку народу было много. Наконец, как на барже, так и на «Неве» все приготовления были закончены, и наступила минута отплытия. Оно состоялось, и выход в море дал о себе знать небольшой качкой. Несмотря на то, что день был ясный и ветер слабый, все же спокойные, но мощные волны открытого моря мерно покачивали баржу. Морской переезд длился около пяти часов.

Басистый гудок «Невы» возвестил подход к цели нашего странствования. Когда нас выпустили из трюма и построили на палубе баржи, перед тем как сводить на берег, мое будущее место заключения предстало передо мной во всем своем мрачном великолепии. Пароход и баржа находились у причала, построенного на берегу небольшого залива, вдававшегося в сушу. Прямо передо мной красовались древние крепостные стены Соловецкого монастыря. От места стоянки парохода и баржи были проложены широкие мостки, которые вели к белому зданию бывшей гостиницы монастыря, а ныне — вместилищу всех отделов Управления Соловецкими лагерями особого назначений.

¹ Публикуется по: Булыгин А. Д. Соловецкая быль // Коллекция мемуаров и литературных произведений НИПЦ «Мемориал» (Москва) Ф. 2, Оп. 1, № 31. 65 лл.

По этим мосткам, в строевом порядке и в сопровождении конвойных, нас повели мимо здания управления, к стенам монастыря, к массивной круглой башне, к широким воротам, открывавшим проход в крепостной стене.

Ворота были открыты, но под их широкими сводами стоял часовой — солдат внутреннего гарнизона острова. Последовало краткое оформление прибытия нашей партии и нас пропустили.

Прямо от ворот нас провели через обширный внутренний двор, на который со всех четырех сторон смотрели окна двухэтажных белых строений. Затем мы последовали во второй двор, в конце которого был виден своего рода сад-бульвар, обсаженный старыми деревьями. Нас остановили перед старинным каменным зданием. Вход в это здание образовывал ряд широких каменных ступеней, увенчанный в конце полуразрушенной каменной аркой. У этих ступеней наш строй остановили. Сделали обычную перекличку. Во время этой переклички я заметил человека, не принадлежавшего к нашей партии, пробиравшегося стороной к зданиям, видневшимся за деревьями упомянутого мною сада. Человек этот был в шляпе и с палочкой. Что-то в его облике мне показалось странно знакомым. Да ведь это Вадбольский!

В то время, когда он проходил мимо нашего строя, я вполголоса назвал его фамилию. Он обернулся. Я поднял руку и назвал себя. Он понимающе кивнул и сделал жест, означавший, что на обратном пути он зайдет ко мне. Ко мне!.. Я ж сам точно не представлял себе, где я буду после проверки.

Когда эта проверка закончилась, нам объявили, что отныне мы входим в состав 12-й роты и что помещение этой роты находится прямо перед нами. По упомянутым мною ступенькам нас провели на крытую каменную галерею, шедшую вдоль фасада здания, и через широко открытую в самом ее начале дверь ввели вовнутрь обширного сводчатого зала. Я называю его «залом», поскольку по своим размерам он более всего напоминал таковой. Вероятнее всего, это была трапезная монастыря или что-то в этом роде.

Боковые стороны этого помещения и вся его средняя часть были сплошь уставлены грубо сколоченными из досок топчанами, не имевшими ни матрацев, ни подушек. Нас распустили — занимайте места!

Я выбрал себе свободный топчан посередине и положил на него свой мешок. Не помню теперь, где и как устроились остальные из числа тех, которые прибыли со мной и с которыми я успел познакомиться.

Вернусь снова к моей первой встрече на Соловецкой земле — к Авениру Авенировичу Вадбольскому. В те времена, когда мы впервые познакомились, т. е. в 1914 г., мы были юнцами. Тогда он носил титул князя. Он был года на два

старше меня. Мы оба учились в одном и том же военно-учебном заведении — Пажеском корпусе, в одной и той же роте — 3-й, но в разных классах: я — в третьем, он — в пятом. На следующий год он перешел в 6-й класс 2-й роты, и я потерял его из вида. Позднее, уже в 1923 году, мы раза два встречались в Москве. И это все. Но я без труда узнал его по характерным чертам лица. Они были крупны, некрасивы, но породисты и носили на себе ярко выраженный отпечаток ума и серьезной мысли.

Кроме того, дальнейшие беседы с ним мне поведали, что он — поэт и писатель и что он продолжает писать даже в тех неблагоприятных условиях, какие создавала всем нам жизнь в концлагере.

Я забыл упомянуть об одном обстоятельстве, особенно удивившем меня, когда я вылез из железной баржи и ступил на землю Соловецкую. Это чайки. Несметное их количество кружилось в небе, особенно над башнями монастыря, оглашая окрестности пронзительными криками. Эти чайки своими размерами не уступали гусю средней величины. Они были белого цвета с сероватым отливом на спине и крыльях. Их крики сильно напоминали клекот разгневанного индюка. Принимая во внимание то обстоятельство, что в эту пору июля ночи еще не наступали и солнце не опускалось за горизонт, вся эта непривычная обстановка первое время мешала мне спать. Потом я привык.

Вечером этого первого дня моего пребывания на Соловецкой земле я вышел побродить по садику, о котором уже упоминал. После тюрем и пересыльного пункта эта призрачная свобода передвижения меня приятно удивила.

Но я не один облюбовал это место для прогулки и не один вышел побродить под деревьями. Я увидел тут большое количество заключенных, внешний вид которых являл собой признаки их принадлежности к классу интеллигенции. Люди чинно ходили по двое и по трое, степенно разговаривали.

Ранее я упомянул о том, что нас, новоприбывших, зачислили в 12-ю роту I отделения УСЛОН. Эта рота не имела специального назначения и состояла из заключенных, направляемых на так называемые общие работы: сегодня здесь, завтра там. Но недалеко от помещения 12-й роты были расположены помещения специализированных рот. Из них назову 4-ю железнодорожную роту, заключенные которой обслуживали работы на небольшой железнодорожной линии: путевые, ремонтные, эксплуатационные. Рядом с 4-й ротой помещалась 6-я, так называемая «церковная рота», состоявшая из заключенных, осужденных по церковным делам; среди них были и духовные, и штатские лица. Поскольку эти люди абсолютно не были приспособлены к физическим работам, их назначали на более легкие: весовщиками на склады, в конторы, сторожами.

Эти особенности интеллектуального уровня людей, а также выполняемые ими работы накладывали характерный отпечаток на внешнее их обличье.

Я столкнулся с группой заключенных, шедших мне навстречу. Все они были в рясах. Как я позднее узнал, среди них был один или два епископа. Заметил я также несколько лиц католического духовенства. Отмечу, что все они производили впечатление людей культурных и образованных.

Этой прогулкой закончился мой первый день пребывания в Соловецком концлагере, и я вернулся к своему топчану в помещении 12-й роты. На следующее утро сигнал готовиться к обязательной проверке поднял всех на ноги. Несмотря на усталость, порожденную трудами предыдущих дней, я чувствовал себя бодро. Я решил не падать духом, не опускаться и для этого поддерживать бодрость тела.

Поэтому, набрав в котелок холодной воды и захватив полотенце, я сбегал со ступеней во двор и наскоро обтерся по пояс. Утро было свежее, северное, и душ придал мне бодрости.

Роту построили и повели на соседний обширный двор, на тот двор, о котором я упоминал, описывая наше прибытие в Соловецкий кремль.

Я забыл сказать о том, что во главе каждой роты стоял назначаемый администрацией лагеря командир. В помещении роты оставались дневальные, обычно назначаемые из числа инвалидов, не могущих работать физически. На этих дневальных лежала обязанность следить за чистотой помещения и чтобы «шпана» не воровала чужое имущество в те часы, когда люди были на работе.

Итак, командир нашей роты вывел нас на соседний внутренний двор. На этом дворе, по четырем его сторонам, построились остальные роты, составлявшие население Соловецкого кремля. С крыльца соседнего здания сошла группа людей. Тут были дежурные по I отделению лагеря и еще некоторые начальствующие лица административного состава.

Один из них, одетый в полувоенную форму, вышел вперед и скомандовал: «Смирно-о!!!» Я никогда ранее не слышал столь музыкально-звучного, четкоговаривающего слова голоса. Он раздавался по всему пространству широкого двора и был ясно слышен всем. Последовали другие команды строевого характера. Затем дежурный по отделению поздоровался: «Здравствуйте, заключенные!» В ответ ему загремело нестройное: «Здрааа!»

После этого началась короткая пофамильная переключка. Называли фамилию, названный обязан был откликнуться: «Здесь». Во время этой переключки я услышал фамилию, насторожившую мое внимание своим нерусским звучанием: «ТЬЕВАР!»

Эта фамилия пробудила во мне целый ряд воспоминаний о давно минувшем. Дело в том, что в те далекие годы (1911—1913) я начинал свое школьное образование в Москве, во французском реальном училище, находившемся на Малой Лубянке, 12, у католического костела. Там, в одном классе со мной, учился Александр Тьевар. У него бал старший брат Антоний, который был также в этом же училище, но в следующем классе. Эти братья были очень дружны между собой, и я часто видел их во время перемен, между уроками, прогуливающимися вместе по коридору.

Но кто же этот Тьевар?

Я решил выяснить. После проверки я подошел к незнакомцу — благо он стоял недалеко от меня. Им оказался невысокий худощавый мужчина, брюнет, с темными, слегка вьющимися волосами и небольшой окладистой бородой.

Я обратился к нему с вопросом: «Скажите, ваша фамилия Тьевар?» Он удивленно посмотрел на меня и ответил: «Да». Ободренный, я продолжал допрос:

— Не учились ли вы во французском реальном училище?

— Да, я его окончил.

— Моя фамилия Булыгин. Я тоже там учился и в классе у меня был товарищ — Александр Тьевар.

— Это мой брат.

— Так, вы — Антоний?

— Да.

Мы обнялись и перешли на «ты».

После переключки нас снова вернули в помещение роты и распустили на короткое время; затем в роту пришел «нарядчик». В этот день я был назначен вместе с группой других на выкатывание приплавленных бревен из моря и на их штабелевание на берегу. Бревна были толстые и длинные, и работа была нелегкая. Она заключалась в следующих манипуляциях.

На уже уложенные ранее на берегу довольно высокие штабели надлежало накатывать и укладывать все новые и новые ряды бревен из числа находившихся «на плаву», у берега. Для этого наверху штабеля, по обе его стороны, закреплялись концы длинных канатов; их противоположные концы подводились под очередное плавающее бревно, и с их помощью бревно вытаскивалось из воды и накатывалось на штабель. Работа была назначена сдельно на каждую группу заключенных; группы были разбиты по числу штабелей. Перерыв делался на обед, и затем работали до вечера. На такой работе я находился несколько дней подряд и порядком измотался, тем более что пищевой ежедневный рацион был весьма скудный: 450 граммов черного хлеба на день; на обед — суп из вяленой трески, вечером — порция гречневой каши с постным маслом. И это — все.

О какой-либо спецодежде не было и помина. Работали в чем приехали.

В связи с описанием этих работ мне припомнился незначительный пустяковый случай, благотворно повлиявший на настроение. Во время перерыва в работе, так называемого перекура, я подошел к небольшому морскому судну с железным корпусом типа «полиндор», вытасенному на берег для ремонта. Осматривая его, я заметил на носовой его части каллиграфически выведенную мелом подпись — <...>. Вот, подумал я, не унывающий «интеллигент». Мне стало весело.

Итак, через несколько дней нас, обреченных на так называемые общие работы, перебросили на вылавливание из пресноводного канала сплавляемого по нему леса и штабелевание его на берегу. Для ее выполнения однажды вечером отобрали небольшую группу заключенных, меня в том числе, вывели эту группу за стены монастыря и повели лесом к берегу того канала, который соединяет Данилово озеро с Пертозером. Там нам дали задание вылавливать из канала и вытаскивать на берег сплавленные с места их заготовок бревна. С какой целью нужно было производить эту работу, я теперь не припомню, да и в то время мы вряд ли это знали. Сделай — и все. Ночь была светлая, белая. По окончании работы мы возвращались в стены концлагеря, когда солнце уже поднялось над вершинами леса, но густой туман стелился над поверхностью земли, особенно в низинах. По пути собирали и ели морошку, чернику, голубику. В этот день, после ночной тяжелой работы, нам дали отдохнуть.

Теперь скажу несколько слов о внутреннем устройстве Соловецкого концлагеря. Он состоял из нескольких отделений, разбросанных по группе Соловецких островов. На самом крупном из них, называемом Большим, в давние времена был построен Соловецкий монастырь, превращенный органами ГПУ в концентрационный лагерь для заключенных. На этом острове было размещено I отделение Соловецких концлагерей. Начальником этого отделения в годы моего пребывания на острове был Васьков, из числа работников ГПУ. Начальником же УСЛОН был Эйхманс.

К слову, необходимо отметить, что только лица военно-административной верхушки лагеря были ставленниками центральных органов ГПУ. Все остальные руководящие работники, ведавшие административно-хозяйственной деятельностью лагерей, назначались из числа полузаключенных или обычных заключенных, исходя из степени заслуженного ими доверия органов ГПУ.

Для примера приведу заслужившего впоследствии печальную известность Френкеля. Какую официальную должность он занимал в лагере, я не знаю. Знаю лишь, и это из слухов, ходивших в среде заключенных, что его руководящее влияние чувствовалось во всех сферах хозяйственной деятельности лагеря.

О деталях проявления этого влияния я говорить не буду. Не буду говорить также о характеристике его личности, поскольку я лично с ним никогда не сталкивался. Я видел его всего один-два раза, да и то мельком.

Всю эксплуатационно-хозяйственную и коммерческую деятельность Соловецкого концлагеря (ЭКЧ) возглавлял заключенный Е. Барков. За что он был приговорен к заключению в концлагерь и кем он был ранее, я не знаю. В лагере на него смотрели как на человека беспринципного, эгоиста и циника.

Финансовой деятельностью лагеря руководил Розанов, тоже заключенный, но человек весьма порядочный и доброжелательный.

Главным бухгалтером ЭКЧ был некто Шулегин, такой же заключенный, как и все. Я его мало знал и имел с ним дело от случая к случаю, только по линии бухгалтерской работы.

Помимо упомянутых выше хозяйственных отделов лагеря, и, можно так сказать, возглавляя их, существовала административная часть (адмчасть). О ее структуре и функциях я не имею представления, ибо это была засекреченная часть бытия концентрационного лагеря, часть, которая управляла жизнью всех заключенных, хранила их личные дела, приводила в исполнение распоряжения свыше касательно решенных в верхах изменений в их судьбе. Кто возглавлял эту адмчасть, я также не знаю. Думаю, что начальник лагеря.

Теперь кратко упомяну о других отделениях Соловецких концентрационных лагерей. Но прежде чем это делать, добавлю еще несколько штрихов к характеристике I отделения.

На возвышенной части Большого острова, еще в бытность Соловецкого монастыря, была построена церковь, и это место носило название «Секирная гора». С учреждением концлагеря это место получило другое назначение и его стали именовать «Секирка».

В описываемые мною времена Секирка пользовалась зловещей репутацией места заключения штрафников. О том, что там творилось, мы знали лишь намеками. Попасть туда боялись все.

Рядом с Большим островом расположен остров Муксалма, соединенный с первым длинной, обложенной камнями дамбой. Прямо от стен Соловецкого концлагеря шла дорога на Муксалму. На протяжении нескольких километров она тянулась через лес и выходила прямо на дамбу, соединяющую острова.

Нешироким морским проливом отделен от Большого острова Кондостров, на котором во времена концлагеря производились лесозаготовки.

Характерной для концлагеря репутацией пользовался Заяцкий остров, который заключенные прозвали Зайчики. Это отделение концлагеря было

создано наподобие Секирки, для штрафников, но на этот раз — для провинившихся женщин и в основном для тех из них, которые провинились в слишком близких сношениях с мужчинами.

На Большом острове женский барак находился за стенами концлагеря, ближе к морскому заливу. Его возглавляла женщина-староста, назначаемая администрацией лагеря из числа заключенных наподобие того, как назначались командиры рот у заключенных-мужчин. В годы 1925—1926 старостой была некто Шепелева Ольга Альбертовна, прибывшая на остров вместе с сыном Шепелевым П. Ф., тогда еще юношей. По слухам, она была приговорена к заключению на десять лет за знакомство с некоторыми представителями иностранных держав в Москве и за слишком резкие разговоры со следственными органами.

Возвращаясь к описанию структуры хозяйственной деятельности Соловецкого концлагеря, нельзя не подивиться ее многообразию.

Основной отраслью эксплуатационно-хозяйственной деятельности Соловецких концлагерей были лесозаготовительные работы. Эти работы велись как на островах, так и на материке. На материке заключенные работали не только непосредственно для концлагеря, но и для других лесозаготовительных организаций, которым их труд продавался. Например, «Северолес». Каковы были условия таких договоренностей, я не знаю.

Лес, заготовленный на островах, сплавлялся морем в Кемь. Строевой лес, имевшийся на Большом острове, частично перерабатывался на пиломатериалы на небольшом лесопильном заводе, построенном у самых стен Соловецкого кремля на берегу Святого озера. Пиломатериалы шли на нужды местного строительства.

Другой отраслью соловецкого хозяйства было кирпичное производство. Кирпич вырабатывался на кирпичном заводе, построенном в двух километрах от стен концлагеря. В основном кирпич шел на строительство объектов на острове и на ремонтные работы.

Третьей отраслью соловецкого хозяйства должно было стать кожевенное производство, поскольку шло строительство кожевенного завода. Этот завод строился недалеко от стен бывшего Соловецкого монастыря, между ним и опушкой лесного массива.

Существовало также стадо рогатого скота, продукция которого (молоко) продавалась заключенным. Для содержания этого стада косили луговые травы на сено и выращивали кормовые овощи.

Все сухопутные перевозки грузов в районе расположения концлагеря и порта осуществлялись по железной дороге. Рельсовые пути этой железной дороги соединяли также этот район с заводами лесопильным и кирпичным и с районами

расположения озер: Пертозеро и Данилово озеро. Кроме уже действующей линии рельсовых путей, прокладывалась новая линия от кирпичного завода на торфяное болото — место предполагаемых торфоразработок.

Подвижной состав железной дороги состоял из двух паровозов и некоторого количества платформ и крытых товарных вагонов. Были также один или два пассажирских вагона.

Ремонт подвижного состава производился в построенном для этой цели депо.

Расположенный на берегу Святого озера небольшой механический завод осуществлял необходимые ремонтные работы, иногда выпускал новые механизмы и инструменты.

Управление Соловецкими лагерями особого назначения (УСЛОН) располагало и собственным морским транспортом, который состоял из двух пароходов: пассажирского «Глеб Бокий» и грузопассажирского «Нева». Существовал и небольшой моторный катер типа «Болкидер».

В течение летне-осеннего навигационного сезона (июнь-ноябрь) пароходы совершали регулярные рейсы между островом и материком, перевозя почту, грузы и заключенных.

Вот такое приблизительно существовало положение дел, когда я прибыл на Соловецкий остров.

Добавлю еще несколько слов о порядке содержания заключенных. Им предоставлялся выбор: 1) быть «на котле», т.е. питаться уже приготовленной в лагерьной кухне пищей; 2) получать «сухой паек», т.е. получать по установленной на одного человека норме сырые продукты (вяленую треску, крупу, постное масло) и из них готовить самим себе пищу; 3) получать денежную квитанцию на сумму стоимости продуктов, выдаваемых по норме, и покупать себе продукты по своему выбору в продмаге лагеря. На обороте денежной квитанции в магазине делалась отметка о сумме забранных продуктов.

Конечно же, новоприбывшие, такие как я, первые месяцы своего пребывания в лагере оставались «на котле». Затем, оглядевшись и упорядочив свои жилищные условия в ротах, они обычно избирали или сухой паек, или денежную квитанцию.

Заключенный, остававшийся «на котле», получал: утром — 450 граммов черного хлеба, в обед — суп, приготовленный из вяленой трески с добавлением в него некоторого количества овощей, на ужин — небольшую порцию каши, обычно гречневой, приправленной постным маслом. Сахар выдавался на месяц в небольшом количестве, не помню, сколько граммов.

Это был стандартный паек заключенного.

Если перевести его на деньги, то он составлял сумму 4 рубля 50 копеек. На такую сумму выписывалась месячная денежная квитанция заключенному, пожелавшему перейти на денежную стоимость пайка.

Естественно, что на таком рационе физически работающий человек жил впроголодь.

На сухой паек или на денежную квитанцию переходили те заключенные, которые регулярно получали от родных продуктовые посылки и денежные переводы. Эти денежные переводы передавались адресатам в форме выписанных денежных квитанций. На обороте такой квитанции отмечались суммы стоимости купленных в магазине продуктов и выводился остаток денег на квитанции.

Сказанное ясно иллюстрирует то положение, в котором находились люди, не получавшие ни переводов, ни продуктовых посылок. Это особенно относилось к «шпане», составляющей большинство населения концлагеря.

Поскольку заключенные не получали никакого казенного обмундирования, особое значение приобретали вещевые посылки, поступающие обычно с последними навигационными рейсами. Зима на севере устанавливалась ранняя и суровая — теплая одежда зимой становилась необходимостью.

После описания тех условий лагерной жизни, в какие я попал в Соловецком концлагере, я возобновлю рассказ о дальнейших днях моей жизни в качестве заключенного.

Я упомянул о тех лесозаготовительных работах, в которых я принимал непосредственное участие в первые недели моей трудовой лагерной жизни. Назначение на физические общие работы производилось нарядчиком, который с утра являлся в роту после ежедневной поверки с уже готовым списком распределения людей на работы. Вызываемые по списку заключенные выходили, строились и во главе с десятником отправлялись к месту назначения. На каждую такую группу заключенных выдавался пропуск с указанием количества людей в группе. По такому пропуску часовой выпускал группу за ворота лагеря и пропускал обратно в лагерь после выполнения работ.

Итак, в последующие дни мне изменили род и место работ и назначили на грунтовые работы в так называемых карьерах. Работа заключалась в заготовке земляного балласта, необходимого для прокладки рельсовых путей и содержания их в должном состоянии. Эта заготовка производилась с помощью ломов, кирок и лопат. Заготовленный балласт перекидывался лопатами на железнодорожные платформы, которые вручную передвигались до места выгрузки. Там балласт лопатами уже сбрасывался с платформы. Работа назначалась сдельная: столько-то платформ на группу в шесть человек. При условии выполнения дневного задания

выпущенная из лагеря партия рабочих имела право возвратиться на территорию лагеря досрочно. В этом каждая группа заключенных была весьма заинтересована, но тяжесть таких земляных работ всецело определялась характером разрабатываемого в карьере грунта. Если грунт был песчанистый и легко рассыпался под ударами кирок и ломов, то работа подвигалась быстро и легко.

В группе из шести человек рабочие функции распределялись так: трое рабочих при помощи кирок и ломов заготавливали балласт в карьере; трое этот балласт перекидывали на стоявшую у карьера железнодорожную платформу, затем все шестеро толкали заполненную платформу, иногда довольно далеко, до места выгрузки и сбрасывали с платформы подвезенный балласт.

Но не всегда попадались карьеры, поддающиеся легкой разработке. Попадались места с глинистыми наслоениями — такие слои с трудом раскалывались под ударами ломов и кирок и поэтому вся работа производилась медленно, с большой затратой физических сил. Выполнение задания давалось с трудом.

На таких работах я пробыл около месяца. Время шло. И вот при помощи некоторых моих новых знакомых, уже работавших на железной дороге и помещавшихся в камерах железнодорожной 4-й роты, мне удалось зачислиться в число постоянных железнодорожных рабочих и перевестись в помещение 4-й роты. Таким образом, с общих работ я перешел на железнодорожные...

4-я рота помещалась в одном из тех зданий, которые выходили фасадом на упомянутый ранее сад. Здание это было двухэтажное. Помещение роты находилось на втором этаже. Окна большинства камер выходили на противоположную сторону здания.

Эти «тыловые» здания концлагеря, в которых помещались 4-я, 6-я и 8-я роты, видимо, были когда-то жилыми зданиями бывшего монастыря. Об этом свидетельствовало наличие многочисленных небольших камер (келей), изолированных друг от друга, двери которых открывались в один общий длинный коридор. Так обстояло дело с распределением помещений в 4-й роте. Камеры были расположены по обе стороны коридора, и поэтому весь коридор был темный, поскольку освещался только одним окном, находившимся в самом его конце. Входная дверь в коридор открывалась в этом же конце, но сбоку, в нескольких шагах от окна. Эта дверь выводила на лестницу, спускавшуюся вниз к выходу из здания. По ту и по другую стороны коридора открывались двери в бывшие кельи монахов, превращенные органами ГПУ в камеры для заключенных. Камеры были небольшие и, видимо, каждая из них была рассчитана на одного, двух или трех человек.

На каждые две смежные камеры приходилась одна печь, дверка топки которой открывалась в коридор. Особенность устройства этих печей заключалась в

том, что каждая из них обогревала всю площадь стены, разделявшей две камеры, и сохраняла тепло этой стены в течение недели. Видимо, так были устроены колена дымохода, проложенного внутри стены. По этой причине топка печей производилась только раз в неделю, но, несмотря на это, в камерах всегда было тепло.

При своем переселении в 4-ю роту я попал в сравнительно большую комнату, где уже расположились человек 10—12. У каждого из них был деревянный топчан. Матрацев и подушек, конечно, не было и в помине. Спали, подстелив под себя свои носильные вещи. Одежда была у всех. Помимо топчанов, в каждой камере стоял небольшой стол — один на всех — и несколько табуреток.

В дополнение к общей картине добавлю следующее. Вправо от наружной входной двери в коридор роты, при входе в него, не доходя несколько шагов до окна, открывалась дверь в небольшое помещение, предназначенное для уборной и умывальника. И уборная, и умывальник были рассчитаны на несколько мест. Тут же стоял небольшой очаг — плита, на котором могли себе готовить незатейливую пищу те заключенные, которые предпочитали оставаться на сухом пайке.

На основании сказанного читатель поймет, что описанное помещение специальной железнодорожной роты представляло неизмеримо большие удобства, нежели те, в которых я побывал в течение предыдущих месяцев своей неволи. Я вздохнул несколько свободнее.

К этому времени я успел получить из Москвы две продовольственные посылки и одну с теплыми вещами. Посылки, адресованные заключенным, прибывали на остров с каждым очередным пароходным рейсом. На следующий день после их прибытия на первом дворе концлагеря, рядом с комендатурой, вывешивался список фамилий заключенных, для которых были получены посылки. Посылки выдавались вечером, после окончания работ, в особо выделенном для этого помещении. Имевшие получить посылку выстраивались в длинную очередь, которая продвигалась довольно медленно, поскольку выдаваемые посылки подвергались тщательному досмотру. Перед тем как выдать посылку, ее вскрывали и вынимали оттуда вещь за вещью. Лишь после такого досмотра можно было досылку унести.

Итак, я получил две продуктовые посылки, которые состояли в основном из малороссийского соленого сала, банок мясных консервов, большого количества головок чеснока (противоцинготное), сахара и некоторых других продуктов. Вещевая посылка состояла из полушубка на бараньем меху, ватных брюк, папахи и теплого белья.

Все эти посылки меня очень порадовали. Все присланное мне было крайне необходимо.

Теперь вернусь к характеристике людей, в то время меня окружавших. В камере, в которой я поселился, я вновь встретился с Антонием Тьеваром. Он так же, как и я, сменил общие работы на железнодорожные и переселился из помещения 12-й роты в 4-ю. Остановлюсь несколько подробнее на характеристике этого замечательного человека. В то время ему было 26 лет. Первое, что поражало в его внешнем облике, — это были его глаза — чистые, ясные, как бы озаренные внутренним светом. Они оставляли неизгладимое впечатление и как бы духовно освещали серьезные черты его лица, обрамленные томной окладистой бородой. По происхождению он был полуфранцуз, ибо дед его переселился в Россию из Франции. Фамилия его указывала на старофранцузское происхождение.

Мать его была русская и, по его словам, являла замечательные черты характера.

Он совсем немного рассказал мне о своей жизни: после окончания французского реального училища он поступил в университет на юридический факультет, где учился год, но затем окрепнувшие в его душе духовные запросы заставили его уйти из университета и поступить в духовную академию, которую он окончил незадолго до своего ареста.

Я не расспрашивал его о том, в чем состояла суть «церковного дела», по которому он был осужден. Оно, видимо, являлось коллективным, поскольку по этому же делу находился в концлагере и профессор Духовной академии Попов.

Всесторонней образованности Антония Максимовича Тьевара, широте его взглядов мне не раз приходилось удивляться во время нашей совместной с ним работы на Соловецкой железной дороге (Сол. ж. д.).

Кроме Тьевара, в камере находились два молодых человека: Ратко и Калакуцкий. Ратко производил на меня впечатление серьезного юноши. Тип его лица указывал на украинское происхождение. За какие провинности он попал в концлагерь, я не знаю.

Василий Павлович Калакуцкий являлся молодым человеком несколько истеричного, но энергичного характера. Он не был лишен дара наблюдательности и остроумия и часто веселил нас своими меткими замечаниями и веселыми рассказами. По его словам, он был арестован и осужден на трехлетнее заключение в концлагерь за попытку нелегально перейти границу где-то на юго-западе.

Его соучастником в этом деле был Табашев, которого я видел в камере Бутырской тюрьмы в первые дни моего туда прибытия. Он был приметен по причине своего большого роста и веселого нрава. Как и многие из числа молодых людей, сидевших тогда в Бутырской тюрьме и осужденных к заключению в концлагерь, он также попал в Соловки.

В упомянутой мною камере находился М. Фроловский, осужденный по стандартному «церковному» делу. Это был солидный мужчина, высокого роста, с окладистой рыжеватой бородой. Он отличался приверженностью к церковным догмам и ревностью к исполнению церковных обрядов.

Наступила календарная осень. Шел месяц сентябрь, а здесь, в Соловках, уже давали себя чувствовать холода — предвестники ранней зимы. Снег неоднократно ложился на землю и подолгу не таял. В это время мы, железнодорожные рабочие, работали на рихтовке рельсовых путей где-то в окрестностях кирпичного завода. Во время перекуров в процессе работы шли разговоры о скором прибытии на остров комиссии ГПУ под председательством Сольца, которая якобы должна будет пересматривать дела заключенных в лагере в целях амнистирования. Говорили, что Сольц более справедлив и гуманен, нежели другие. Такие разговоры будили несбыточные надежды на скорое возвращение к семье. В этом отношении я был столь же наивен, как остальные.

Что же случилось на самом деле? Приехала комиссия. Пробыла на острове несколько дней и уехала. Результат ее работы выразился в том, что было амнистировано некоторое количество уголовников. Ни одного заключенного из числа тех, кто был осужден по делам политического характера, амнистия не коснулась.

Дополню картину условий жизни заключенных упоминанием о том, что в лагере существовала очень приличная баня, которая содержалась в большом порядке. Пользовались ею заключенные, имевшие возможность получить «банный билет» по месту своей постоянной работы. Поэтому шпана, за небольшими исключениями, не посещала бани. Баня давала возможность держать себя относительно чистым и успешно бороться с насекомыми.

Другим удобством жизни заключенных, работавших на постоянной работе, было наличие прачечной, куда можно было сдавать белье для стирки. Я сейчас не помню, какой существовал порядок сдачи белья в стирку и его приемки обратно, но факт остается фактом, и мое белье я имел возможность держать в сравнительной чистоте. Заведовал прачечной китаец-заключенный. И, наконец, третьим положительным условием быта лагеря, скрашивавшим жизнь интеллигентных заключенных, являлось наличие библиотеки. Насколько она была богата книгами, я не знаю, но я заметил, что в ней было много старых изданий русской классической литературы. Заведовала библиотекой молоденькая заключенная — Дюмурина. Воспользовавшись улучшением своих бытовых условий, я тотчас же абонировался в библиотеке и, как мне помнится, взял читать «Вечерние огни» Фета. В условиях загруженности работой в течение всего дня читать можно было только вечером, при свете тусклой электрической лампочки, ввинченной

в стену над входной дверью в камеру. Я воспользовался тем, что мой топчан находился неподалеку от этой двери, и, стоя под этой лампочкой, читал, поедая свой ужин — порцию гречневой каши, сдобренной постным маслом...

В сентябре дни быстро укорачивались и сумерки наступали рано. Уже в конце августа, вечерами, в темнеющем небе ярко загорались звезды и вспыхивали, переливаясь, зеленовато-белые полосы северного сияния. Чайки покинули остров, и никто не нарушал тишину.

В это самое время в моем житии наступила новая перемена. Я переселился из многолюдной камеры в меньшую. Как это устроилось, я теперь не помню.

Новая камера была настоящей кельей монаха-отшельника; нас же, заключенных, в ней поместили пять человек. Кроме меня, одним из них был уже знакомый мне Калакуцкий, другим был Савицкий, инженер-механик, работавший, кажется, на лесопильном заводе, третьим был Дегтярев Владимир Николаевич, интереснейшая личность.

Судя по тому, что он рассказывал, он был сыном богатых родителей. Жил он в тогдашнем Петербурге-Петрограде. Много путешествовал. Бывал и в Мексике, и в Южной Америке, и в Индии. Он очень интересовался историей древних индейцев племени майя, их обычаями и легендами. На тему одной из этих легенд он написал небольшую театральную пьесу в стихах для детей, которую озаглавил «Ксочи-Кве-туаль». Кажется, так звали легендарную принцессу майя. Эту свою пьесу он мне читал.

Его внешний облик прекрасно сочетался с его увлечением экзотикой. Он был брюнет, с худощавым продолговатым загорелым лицом, с тонкими подвижными ноздрями орлиного носа. Во время своих скитаний по белу свету он где-то лишился одного глаза. Он был женат на дочери одесского градоначальника.

О своем аресте он рассказал мне следующее: «Наступила осень. Я возвращался домой поздно вечером. Улицы Петрограда освещались слабо. Внезапно мне навстречу выступила человеческая фигура, крикнула: “Стой!” и схватила меня за воротник. Я не растерялся, опустив подбородок до уровня руки, схватившей меня, выхватил из кармана ковбойскую «наваху», которую всегда носил с собой, мгновенно раскрыл ее и полоснул ею нападавшего снизу вверх. Он был в шубе. Разрезанная шуба распахнулась на обе стороны. Мой противник в панике бросился бежать. На следующий день меня арестовали.

На допросе следователь спросил меня, как я осмелился оказать вооруженное сопротивление сотруднику ГПУ? На это я ответил: “Как мог я знать, что он сотрудник? Документов он мне не предъявлял, а схватил меня за горло, как хулиган; я реагировал на это должным образом”».

Его приговорили к заключению в концлагерь на 10 лет. За что конкретно, он и сам не знал.

В лагере, в полном соответствии со своим чудаковатым характером, он одевался весьма своеобразно. В теплое время он носил красную мексиканскую рубашку и мексиканскую же широкополую шляпу — сомбреро.

Что же касается Савицкого, то запомнилось, что это был добродушный, несколько полный мужчина, весьма словоохотливый. Обращаясь к кому-либо из своих собеседников, он любил употреблять словечко «золотце». Поэтому за глаза его так и именовали.

Кто был пятым в нашей компании, я не помню.

Итак, по сравнению с прежними своими бытовыми условиями я чувствовал себя весьма прилично. К этому времени наступила настоящая зимняя погода, с сильными морозами, но благодаря чудеснейшей конструкции монашеских печей мы не чувствовали холода; иногда в камере было даже жарко, особенно мне, поскольку мой топчан стоял вплотную к обогреваемой ночью стене.

В свободные вечерние часы (после восьми), сидя у нашего общего столика под горевшей под потолком лампочкой и слушая краем уха беседы моих товарищей, я продолжал с увлечением читать те книги, которые мне удавалось доставать в лагерной библиотеке. Меня особенно интересовал Достоевский. Я прочел его творения: «Подросток», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные».

Сильное впечатление произвела на меня его небольшая повесть «Хозяйка», которую не понял и незаслуженно раскритиковал за ее якобы нереальность В. Белинский.

Днем мы, заключенные 4-й роты, подвизались на так называемых путевых работах по линии железной дороги. Однако, помимо этих ежедневных обязательных работ, случались и внеочередные работы аврального характера. Как-то под вечер всех заключенных нескольких рот подняли по тревоге и погнали за два с половиной километра, минуя кирпичный завод, вытаскивать из болота застрявший в трясине паровоз. Место катастрофы являлось участком строившейся рельсовой линии, которая должна была пройти по торфяной болоту. Болотный грунт не выдержал тяжести паровоза и построенная уже насыпь накренилась на одну сторону, вследствие чего паровоз упал боком в болото.

Для руководства работами по его подъему на место происшествия была вызвана созданная из татар-заключенных так называемая «артель Мухамедова», поднаторевшая на работах по подъему грузов. Мастер своего дела, Мухамедов взял на себя руководство всем процессом подъема паровоза. Над упавшим

паровозом возвели крепления из длинных бревен. Сам паровоз обвязали цепями и канатами, подводя их под затопленную его часть; концы этих канатов пропустили сквозь «гали», подвешенные к скрещенным бревнам креплений; эти концы намотали на шпиль, и по команде Мухамедова: «Наш народ на шпиль!» шпиль начинали вращать десятки людей, менявших друг друга. Наконец, паровоз подняли и поставили на рельсы. На всю операцию подъема ушло несколько часов.

Для того чтобы составить понятие о проделанной работе, необходимо иметь в виду, что это был паровоз не широкой железнодорожной колеи, но и не узкоколейной.

Раза два за время моего нахождения в 4-й роте, т.е. в ноябре-декабре 1925 г., по воскресеньям (день отдыха) заключенных выгоняли в лес на своеобразные работы по протаптыванию в сугробах тропинок для трелевки поваленного строевого леса. Принимая во внимание глубину снега, работа была не из легких...

Находясь на всех этих тяжелых физических работах, я взял себе за правило работать, что называется, «на совесть». А почему? Конечно же, не для того, чтобы приносить пользу хозяйству концлагеря. Тут я думал о себе. Я давно заметил, что всякое ослабление волевого усилия ведет к отрицательным результатам, к ослаблению моральных устоев, развивается лень, себялюбие. Живых примеров в окружающей меня обстановке тюрем и концлагеря, подтверждавших правильность такого вывода, существовало сколько угодно, и поэтому я старался не распускаться, в каких бы условиях я ни находился. Не скрою, что мне как-то раз было приятно услышать, сидя в нашей общей камере, комментарии Токарева о неработоспособности интеллигенции и его упоминания об услышанных им суждениях шпаны. В разговоре между собой эти представители уголовного мира обсуждали итоги проделанной ими сдельной работы и ругали неспособную к тяжелой работе «гнилую интеллигенцию». Они якобы пришли к следующему выводу: «Все они никуда не годятся; есть там у них только один — Булыгин, ну, этот работать может».

Описывая факты моего житья-бытья в концлагере, а также и сам концлагерь таким, каким я его тогда застал, должен отметить, что я видел лишь вершину айсберга. Остальная его масса терялась в глубоких и мутных водах таинственности и засекреченности. Я мог заглянуть лишь в механизм хозяйственной деятельности концлагеря и наблюдать, как эта деятельность отражалась на жизни заключенных, но я не мог видеть тех пружин, какие двигали как хозяйственную деятельность, так вершение судеб этих заключенных. Сам факт произвольного осуждения и заключения в концлагерь такого количества большей частью ни в чем не повинных людей (я говорю о каэрах) свидетельствовал о том, что само административное устройство лагеря основывалось на произволе.

Такое свидетельство подтверждалось фактами из жизни заключенных и туманными слухами, бродившими по лагерю. Говорили, что имели место бесследные исчезновения людей. В 1925 г. прибыл из Ленинграда на остров некто Остен-Сакен, осужденный на десятилетнее заключение в концлагерь. По типу своего лица он напоминал кавказца. Говорили, что мать его — урожденная кн. Чавчавадзе. По прошествии некоторого времени он вместе с группой других заключенных, таких же каэров, как и он, был отправлен на лесозаготовки. После этого никто никого из этой группы больше не видел. Ходили слухи, что все они были расстреляны, якобы при попытке организовать побег.

Среди заключенных рассказывали о трагической зиме с 1924 на 1925 год. Когда люди, работавшие на лесозаготовках, сотнями умирали и их окоченевшие трупы укладывали штабелями.

Рассказывали также о таких наказаниях провинившихся на лесозаготовительных работах, как выставление человека «на комары». Человека, обнаженного по пояс, привязывали на несколько часов к дереву в лесу. Можно себе представить, насколько такое наказание было мучительно, если принять во внимание, что в лесу комары летали тучами. Говорили, что такого рода наказания практиковались и на Секирке.

Дыма без огня не бывает, а весь порядок управления лагерем делал возможным проявление такого рода произвола.

Подтверждением таких порядков жизни в концлагере может служить факт побега двух заключенных летом 1924 г., о котором мне рассказывали люди, пережившие этот год.

В то время в числе заключенных находились два бывших гвардейских офицера — ротмистр Бессонов и князь Яшвиль. Оба они были отправлены на материк на лесозаготовительные работы. Сговорившись между собой, они решили бежать. Обычно на место производства лесозаготовок заключенных выводили группами под конвоем. С такой группой из полутора десятков «шпаны» отправились в лес и Яшвиль с Бессоновым. Всю группу сопровождали два конвоира. Когда все они пришли на место и принялись за работу, по заранее условленному между ними сигналу оба офицера разом кинулись на конвоиров, обезоружили их и, овладев винтовками, повели и «шпану», и конвоиров вглубь леса в направлении финской границы. Этот их «марш» длился весь день. К вечеру они отпустили заключенных и разоруженных конвоиров на все четыре стороны и продолжали дальнейший путь одни. Поэтому тревога в лагере была дана с опозданием. Говорили, что для погони было мобилизовано все местное крестьянское население. Два или три раза беглецов нагоняли, но имевшие место стычки с ними оканчивались плачевно для преследователей, поскольку преследуемые оказались отличными стрелками.

Это обстоятельство отбило охоту у крестьян продолжать погоню, и теперь уже бывшие заключенные благополучно достигли границы и перешли ее. Там, за рубежом, как это утверждали, они написали и издали книгу «Остров смерти».

Рассказывая об этих ходивших в среде заключенных слухах, я нахожу, что они прекрасно иллюстрировали то, в чем заключалась подводная сущность айсберга концлагеря. Я же на своем личном опыте заметил лишь надводную часть этого айсберга, т.е. его хозяйственную структуру. Но и она говорила о многом, и это многое подтверждало истину изложенных выше рассказов и слухов.

Мой личный опыт убедил меня в том, что сама сущность человеческой личности интересовала администрацию лагеря лишь настолько, насколько труд этой личности был эффективен. На всемерной эксплуатации труда заключенных была построена вся хозяйственная структура концлагеря. Недаром стоимость питания заключенного в месяц составляла лишь 4 руб. 50 коп. Что же касается одежды заключенных-чернорабочих, то по такой «статье расходов» концлагерь не имел никаких затрат. Заключенные одевались в то, в чем приехали, или же в то, что им присылали из дома.

Выше я упоминал о тех работах, в которых я лично принимал участие, по их характеру можно судить о том, в состоянии ли был человек их долго выдерживать, если он не получал поддержки от домашних как в отношении питания, так и в отношении одежды. Поэтому неимущая «шпана» гибла в первую очередь.

Поскольку условия работы во многом определялись руководителями этих работ, а сами руководители назначались администрацией лагеря из числа заключенных, постольку условия жизни «трудящихся» заключенных максимально зависели от личности администратора данных работ.

Эта истина выступит еще более рельефно в дальнейшем изложении моих воспоминаний. И, видимо, назначаемые администрацией лагеря «начальники» руководствовались указанием: на максимум эксплуатируемого труда — минимум затрат на его содержание.

Соловецкая железная дорога

В конце ноября или в начале декабря 1925 г. в условиях моего лагерного существования вновь произошла ощутимая перемена.

Итак, продолжу мое повествование. В одной из камер, из числа расположенных по другую сторону общего коридора помещения 4-й роты, находился пожилой человек лет пятидесяти шести. Он представлял собой личность весьма любопытную. Звали его Сказин Василий Иванович. Он был небольшого роста,

полный, заметно прихрамывающий на одну ногу, которая плохо сгибалась в колене. Бритое его лицо украшали подстриженные седеющие усики.

Отдел труда концлагеря направил его работать в управление железной дороги на должность старшего бухгалтера. Ему поручили организовать учет и отчетность. Узнав о том, что я знаком с бухгалтерским учетом, Василий Иванович предложил мне похлопотать в отделе труда о моем переводе на работу в канцелярию Управления железной дороги. Он также сообщил мне о том, что Тьевар переведен на работу туда же.

Тьевар, который до недавнего времени жил в помещении 4-й роты, был переведен в помещение 6-й роты, где в подавляющем большинстве жили люди, приговоренные к заключению за участие в так называемых «церковных» делах, т.е. в делах, связанных с убеждениями религиозного характера.

На предложение Сказина я, конечно, дал согласие.

Управление железной дороги находилось в ведении «Эксплуатационно-коммерческой части» (ЭКЧ). Впоследствии я узнал, что Сказин приобрел там известность своими познаниями в области бухгалтерии и потому ему не составило большого труда устроить мне перевод с общих железнодорожных работ на работу в канцелярию той же железной дороги.

Теперь скажу несколько слов для характеристики личности Сказина. Как он рассказывал мне впоследствии, до революции он жил в Петербурге-Петрограде и был состоятельным человеком. В те времена его часто приглашали в качестве эксперта для определения действительного финансового состояния обанкротившихся предприятий, за что ему платили немалые деньги. Он обладал необычайно упрямым характером и цепко держался раз усвоенных им принципов. Так, обращаясь к кому-либо в лагере из числа интеллигентных заключенных, он никогда не употреблял слов «товарищ» или «гражданин», а всегда только «господин». Поэтому странно было слушать его служебные телефонные разговоры с кем-либо из руководителей ЭКЧ.

Насколько мне помнится, он был приговорен к заключению в концлагерь на пять лет, естественно, за «контрреволюцию». С ним вместе, в той же 4-й роте, находился его сын, молодой человек лет двадцати, которого он всячески опекал и заботился о его питании. Поэтому все свое свободное от работы время он проводил за приготовлением пищи, что неблагоприятно влияло на состояние его внешнего вида. Но эти бытовые условия не мешали ему быть человеком весьма культурным и благожелательным. Он не был лишен доли саркастического юмора.

И вот в один из тех дней вместо того, чтобы назначить меня на путевые железнодорожные работы, мне дали направление явиться в канцелярию Соловецкой железной дороги.

В то время начальником этой дороги был молодой инженер-путеец Бурдаков А. А., отбывший уже более половины срока своего трехлетнего заключения. Я мало что могу сказать для его характеристики как личности. В лагере он слыл дельным и практичным молодым начальником, пользовавшимся влиянием в верхах ЭКЧ.

Бухгалтерия железной дороги являлась составной частью так называемой материально-административно-бухгалтерской службы (МАБ). В день моего прибытия весь аппарат бухгалтерии состоял из трех человек: Сказина, Тьвара и меня.

Выше я уже упоминал о том, что административно-хозяйственный аппарат Соловецких концлагерей представлял собой весьма сложную систему управления. То же самое можно было бы сказать в уменьшенном виде об аппарате железной дороги. Всю ее деятельность осуществляли три службы: МАБ, служба пути и служба тяги. Возглавляли эти службы начальник железной дороги и его помощник. Кроме того, во главе каждой из этих служб находился начальник.

Ко времени моего прихода в управление железной дороги МАБ возглавлял Евдокимов Василий Адрианович, бывший офицер, который, как и Бурдаков, отбыл более половины своего трехлетнего срока. Он принял меня весьма корректно и сказал, что работать я буду под руководством Сказина. Так я начал свою новую трудовую деятельность в качестве бухгалтера.

Начну с описания условий моей работы. Аппарат управления Соловецкой железной дороги помещался за пределами Соловецкого кремля, в маленьком двухэтажном домике, построенном почти на берегу Святого озера. Нижний этаж этого здания, состоявший из пяти комнат, занимало управление железной дороги, верхний — аппарат электростанции.

Впоследствии я узнал, что в бытность здесь монастыря в этом здании помещалась просвирия...

Начальником службы тяги был Ф. Ф. Чихачев, инженер, прибывший на остров из Ленинграда. Он был приговорен к заключению в концлагерь на 10 лет по какому-то якобы «контрреволюционному» коллективному делу. Черты его лица говорили о серьезном, вдумчивом характере. В тех немногих случаях, когда мне приходилось иметь с ним дело, он был корректен, сдержан и симпатичен.

С остальными моими товарищами по работе читатель будет встречаться по мере развития моего повествования.

Итак, я прибыл в помещение Управления железной дороги в морозный пасмурный зимний день. Обстановка, комната, в которую я вошел, была самая примитивная — два-три обыкновенных стола, несколько табуреток. Два маленьких оконца этой полутемной комнаты были снизу доверху затянуты льдом.

Под потолком горела неяркая электрическая лампочка. Было холодно. Все работавшие в помещении люди не снимали верхней теплой одежды.

Естественно, что мое вторжение в этот маленький коллектив железнодорожных служащих возбудило в них некоторое любопытство. В условиях тюрьмы, неволи, люди, мало-мальски сходные по культурному уровню, стараются сблизиться друг с другом, чтобы путем этого сближения в узких рамках своего кружка создать себе некоторое подобие свободы, свободы обмена воззрениями на жизнь. Поэтому каждый появляющийся новый член кружка, конечно же, подвергается всестороннему изучению. Такова была и моя участь. Особенно любопытствовал техник при начальнике железной дороги, москвич, двадцатилетний студент-путеец — Лев Николаевич Геништа. Но любопытствовал он осторожно; он, скорее, присматривался, стараясь угадать, что я за человек. Его любопытство было настороженным.

Такое любопытство было весьма естественно в стенах концлагеря, поскольку в среде заключенных было немало так называемых на тюремном жаргоне «ссу-ченных», «стукачей», т. е. людей, строивших свое благополучие на почве доносов.

Что же касается Геништы, то он производил впечатление юноши старого закала, скромного до застенчивости и в то же время твердого в своих убеждениях. Он происходил из известной в Москве семьи, отец его был генералом. Срок его трехгодичного заключения заканчивался в первой половине 1927 года, так что по сравнению со мной в концлагере он не был новичком.

Поскольку место этой работы находилось за стенами внутреннего концлагеря, я получил постоянный пропуск, чтобы выходить за его ворота и вновь входить в них. Это, однако, уже было расширением свободы передвижения. Выйдя за ворота внутреннего концлагеря, я мог не только доходить до места своей работы, но идти дальше, доходить до опушки леса, ходить по колеям железной дороги до Кирпичного завода, до Пертозера, обходить монастырский кремль со всех его сторон. Я начал широко пользоваться этой привилегией и в свободные от работы часы делал такие прогулки отчасти для того, чтобы движением на свежем воздухе поддерживать свое здоровье. Эти прогулки давали мне возможность знакомиться с окрестностями.

Условия труда заключенных, работавших в концлагерях, были следующие: рабочий день начинался в восемь часов утра и продолжался до четырех часов дня, после чего наступал перерыв на обед до шести часов вечера, затем — снова работа до восьми часов вечера. Воскресенье было днем отдыха.

Две комнаты, в которых работали я, Сказин, Тьевар и Евдокимов, отапливались одной железной печуркой типа буржуйка времен Гражданской войны.

Помимо того, в конце коридора, отделявшего эти две комнаты от третьей, стояла каменная плита для готовки пищи. В третьей комнате вообще не было никакого отопления. Поэтому по утрам чернила в чернильницах нередко замерзали. В комнатах зимой было холодно, и мы все работали, не снимая полушубков и шапок.

Мой рабочий стол стоял у одного из двух маленьких окон, обращенных на запад с тем расчетом, чтобы получать максимум дневного света. Но этот свет был слаб и тускл и еле пробивался сквозь заиндевший слой льда, покрывавший стекло окна. Кроме того, от окна и от плохо проконопаченной деревянной стены дома несло холодом. Этот холод постепенно пробирался сквозь меховой полушубок и охлаждал левый бок, обращенный к окну. Теперь сознаю, что то заболевание реберной надкостницы, которое через год с лишним довело меня до больницы и хирургической операции, получило здесь свое начало.

Первое, что возбуждало любопытство новоприбывших в Соловки, — это разнохарактерный и многонациональный состав заключенных. Разнохарактерность их состава иллюстрировалась разнообразием статей Уголовного кодекса, по которым они были осуждены к заключению. Основную массу заключенных составляли уголовники. Но и эта масса была не однолика. Аристократией этого уголовного мира являлись бандиты, осужденные на разные сроки заключения в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений. Насколько я теперь помню, совершенно особую группу представляли собой люди, осужденные за так называемый «политический бандитизм», т.е. такой бандитизм, который наносил удары по государственной экономике. В основном люди, осужденные за политический бандитизм, принадлежали к разным национальностям, населяющим просторы России. Тут были представители кавказских народностей, были туркмены и узбеки, были крымские татары. Их преступления состояли из группового бандитизма на дорогах, из организации крушений поездов с их последующим ограблением, из участия в движении басмачей.

Помню прибытие на остров с одним из пароходных рейсов большой группы узбеков-басмачей. Они красочно выделялись из серой массы основных заключенных своими яркими долгополыми халатами и косматыми бараньими шапками. Они плохо говорили по-русски и держались особняком от прочих.

Отдельную категорию узников представляли собой фальшивомонетчики. Их было немного, но все они были осуждены на длительные сроки заключения в концлагерь, по большей части, на десятилетие. Я встречался с некоторыми из них. Это были люди сравнительно культурные и по своему характеру симпатичные.

Теперь остановлюсь на описании той группы заключенных, к которой принадлежал и я — на «каэрах», понятнее говоря, на контрреволюционерах. Весь срок моего тюремного и концлагерного заключения я общался с ними и могу с уверенностью сказать, что, за исключением немногих отдельных личностей, все они были не виновны во всех тех деяниях, в которых их обвиняли. Все они либо принадлежали по своему происхождению к классу, чуждому пролетариату, и потому, с точки зрения пролетарской диктатуры, подлежавшему репрессированию, либо они провинились в том, что слишком откровенно высказывали свои критические замечания на существующий порядок вещей в кругу недостаточно знакомых им людей, либо же они слишком ревностно защищали свои религиозные убеждения.

К таким категориям заключенных принадлежали:

- группа «старичков», бывших гвардейских офицеров, из среды которых могу назвать кн. Максutowa, Елагина, Ризникова, Мартынова, Бакшеева;
- осужденные по так называемым «церковным» делам, представителями которых были Тьевар, Попов, Кирьянов, Фроловский, Истомин, Стебликаменский;
- осужденные за слишком свободные высказывания своих индивидуальных взглядов, к числу которых принадлежали Дегтярев В. Н., Сказин В. И., Вадбольский А. А, Шепелева О. А.;
- наконец, абсолютно ни в чем не повинные и по возрасту безвредные люди, такие, как старичок кн. Вадбольский В. М., осужденный на 10 лет заключения неизвестно за что. Ему в то время было больше 60 лет.

Не спору, и среди «каэров» мне приходилось встречать людей, заработавших себе срок заключения в концлагерь в соответствии с содеянным. Таким человеком был Серебряков Анатолий Эсперович. Его осудили на 10 лет заключения в концлагерь за нелегальный переход советско-финской границы и оказание вооруженного сопротивления при задержании...

Серебряков был веселого нрава, беспечный, эрудит, бегло говоривший по-английски.

Выше я упоминал о представителях разных национальностей, населяющих территорию Советского Союза, заключенных в концлагерь. Но, помимо этих людей, в лагере имелись и иностранцы. Из среды последних выделялся мексиканский консул — Виоларо. Был ли это настоящий консул, я не знаю, но все о нем так говорили. Эту версию подтверждает особый режим его содержания. Он жил за стенами кремля, концлагеря в особом, переданном в его распоряжение домике. К нему приехала его жена. Как говорили, грузинка по национальности. Оба они свободно ходили по территории острова. Об истории его осуждения и заключения в концлагерь я ничего не знаю.

Я познакомился также с одним индусом по фамилии Курейша. Он хорошо говорил по-английски, но относился к англичанам враждебно, хотя и признавал, что они много сделали для Индии, для ее цивилизации и развития. Подчеркиваю, не для ее культуры, а для ее цивилизации.

Помню и афганца, часто забредавшего в нашу камеру. Он говорил довольно бегло на ломаном русском языке. По специальности он, кажется, был инженером.

Ранее я упоминал о партии ленинградцев, прибывших на остров с одним из летних пароходных рейсов 1925 года. Большинство из них составляли люди из категории «бывших».

Из их среды я неоднократно беседовал с Голицыным Н. и его неразлучным товарищем по работе — Еропкиным. Оба они, насколько мне помнится, были по образованию лицеистами или правоведами. Отец Голицына занимал высокий административный пост в царском правительстве. Оба они были осуждены на длительные сроки заключения в концлагерь. Работали они в группе по изысканию направления прокладки железнодорожной трассы.

Помню также А. А. Калери, с которым я познакомился в помещении уже упоминавшейся мною 12-й роты в первые недели моего прибытия на остров. В те дни и я, и он подвизались на общих работах. Он также окончил лицей. Это был человек в высшей степени культурный, с мышлением, осаженным в оттенки тонкого иронического юмора. Чертами своего лица он сильно напоминал итальянца. Как и все ленинградцы, он был осужден на длительный срок заключения в концлагерь.

К группе ленинградцев принадлежал и упоминавшийся мною ранее Чихачев Ф. Ф., а также Сиверс А. А., исполнявший должность нарядчика на работы. Ленинградцем был и Остен-Сакен, мать которого была урожденная кн. Чавчавадзе.

У здания управления железной дороги находилось небольшое помещение, где хранились инвентарь и инструменты, необходимые для железнодорожных путевых работ. Хранением и выдачей этих инструментов ведали два осетина: Цаликов Алихан и Губуров Абубекр — люди и сходных, и в то же время разных характеров.

Алихан Цаликов не был экспансивен. В разговоре с другими он, казалось, прежде чем высказаться, старался разведать, что из себя представляет его собеседник. Он был правоверным магометанином, но он не проявлял религиозной нетерпимости. О своих политических воззрениях он не говорил.

Абубекр Губуров был несколько моложе Цаликова. Внешне он отличался от него более резко выраженным восточным типом лица. Он охотно вступал в разговоры и, в отличие от последнего, сперва высказывал свое мнение и уже потом выслушивал мнение своего собеседника. Он был вспыльчив и религиозно нетерпим.

Однажды, войдя в камеру, где он жил, он застал некоторых своих товарищей — русских — закусывающими хлебом с малороссийским салом. Не говоря ни слова, он подскочил к столу, схватил лежавший на нем кусок сала и выбросил его в окно, заявив, что он не потерпит того, чтобы в его присутствии ели такую мерзость. Он с увлечением рассказывал нам о том, как началась его военная жизнь в частях «Дикой дивизии», как он сражался в Гражданскую войну. Его внешний вид указывал на большую физическую силу, а осенью 1927 года он умирал от чахотки.

Описывая свое пребывание в общей камере Бутырской тюрьмы, я упомянул о бывших со мною там украинцах-петлюровцах. Я тогда уже знал, что они приговорены к заключению в концлагерь. Но по прибытии в лагерь их отделили от общей массы заключенных и передали в распоряжение адмчасти лагеря. Вскоре, к своему удивлению, я увидел их в роли лагерных конвойных, с оружием в руках. Такая их метаморфоза говорила о том, что эта новая их роль в лагере была предпринята еще в Москве.

Способы вербовки органами ГПУ таких «служак» были весьма разнообразны и в большинстве случаев эффективны, если судить по количеству разнокалиберных «сексотов» и «стукачей», отравляющих жизнь в местах заключений...

Процесс становления административно-управленческого аппарата железной дороги развивался, штат постепенно увеличивался. В помощь МАБ Евдокимову лагерный отдел труда прислал Ризникова Бориса Николаевича, бывшего полковника и в 1917 г. командира лейб-гвардии Московского полка. Для работы в бухгалтерии был прислан уже пожилой человек — Бакшеев, тоже бывший полковник. Через несколько дней прибыл в ту же бухгалтерию еще один представитель военной профессии, на этот раз болгарский полковник Мунзов.

Так закончился 1925-й год и наступил год 1926-й.

Я все еще продолжал жить на территории кремлевского концлагеря в небольшой камере 4-й роты. Пропуск, данный мне для свободного выхода за ворота лагеря, позволял беспрепятственно передвигаться по окружавшей бывший монастырь территории, что я ежедневно делал отчасти для поддержания здоровья, отчасти же в силу исполнения своих служебных обязанностей по выверке расчетов с потребителями услуг железной дороги по перевозке грузов. Одним из таких потребителей услуг был кирпичный завод, расположенный в двух километрах от берегов Святого озера. Добираться до него было проще всего по насыпи железной дороги, которая вела от стен кремля вдоль берега Святого озера и далее через лес.

Я уже говорил, что кирпичный завод снабжал строительным материалом (кирпичом) все строительные работы Соловецкого хозяйства, а перевозки кирпича к местам строительства осуществляла железная дорога. Так вот, выверку расчетов за

эти перевозки производил я, для чего частенько приходилось бывать на тех предприятиях, которые пользовались услугами железнодорожного транспорта.

Старшим бухгалтером кирпичного завода был о. Иоанн Стеблин-Каменский, личность весьма интересная с психологической точки зрения. Да и по своему внешнему облику он был замечен. Высокий, широкоплечий, с рыжеватой окладистой бородой, он скорее напоминал воина, чем духовного пастыря. Глубокая складка между бровями придавала его лицу суровое выражение. Русская поговорка гласит: «Шила в мешке не утаишь». Он действительно был военным, прежде чем стать священником.

Он, так же как и я, в силу особенностей своей работы, заходил иногда в помещение бухгалтерии железной дороги и в беседах с нами поведал некоторые особенности своей биографии. Оказывается, еще до Первой мировой войны он окончил в Петербурге свое образование в Морском кадетском корпусе, был произведен в мичманы, плавал на крейсере. Во время войны он командовал миноносцем.

После революции, по духовному влечению, он принял сан священника. Был ли он монахом, я не знаю. Таких примеров в военное и послевоенное время было много.

Увеличение штата работников бухгалтерии железной дороги привело к дальнейшему совершенствованию системы учета. Душой этого дела был Сказин. В то время не применяли ни систему журнально-ордерную, ни контручет. Сказин поставил бухгалтерский учет по системе двойной итальянской бухгалтерии, с ведением главной книги и ряда вспомогательных книг. И работа нашлась для всех.

Фактически я выполнял роль помощника Василия Ивановича, и он посвящал меня во все тайны бухгалтерского учета.

Я продолжал жить в помещении 4-й роты, и поэтому вечерами, после окончания десятичасового рабочего дня, т.е. в восемь часов вечера, мы втроем — я, Сказин и Тьевар — возвращались через кремлевские ворота в помещения наших рот. Слово «рот» я употребил сознательно во множественном числе, поскольку Тьевар жил в находившейся по соседству с нами 6-й, «церковной» роте. Я любил заходить к нему по той причине, что общая психическая атмосфера этой роты резко отличалась в лучшую сторону от духа хотя бы 4-й роты. В «церковной» роте помещались люди, пострадавшие за свои религиозные убеждения и за проповедь этих убеждений. Их можно было подразделить на штатских и на духовенство. Все они, в своем подавляющем большинстве, были людьми образованными и убежденными в правоте своих взглядов. Из их среды помню профессора Духовной академии Попова, представителя класса «бывших» Истомина П., о. Владимира Лозина-Лозинского.

Этот последний, как и о. Иоанн Стеблин-Каменский, представлял собою тип священника, принявшего сан по духовному влечению. Но, в отличие от о. Иоанна, он являл всем своим обликом и духом тип «светского священника» в дореволюционном понимании этого слова. Он мне рассказывал кое-что из своей биографии. Образование он получил в Петербурге, в лицее. Он великолепно говорил по-французски. Как представитель бывшего высшего петербургского общества он «блистал светскостью манер», и эту характерную особенность своего воспитания он перенес и в сферу своей новой «духовной» жизни...

Вот те люди и та обстановка, которые окружали меня в зимние месяцы нового, 1926 года — очередного года моего лагерного заключения...

Несмотря на раннее прекращение навигации и ледяной покров, сковывавший море между островами и материком, почтовая связь с Поповым островом не прерывалась. Помимо самолета, эту связь поддерживала особо подобранная группа заключенных, знакомых с морем и его капризами, хорошо знавших путь к материку. Эти люди периодически доставляли на Попов остров почту Соловецкого концлагеря и, отправляясь в обратный путь, приносили почту с материка.

Что это были за люди, я не знаю. Они содержались отдельно от остальных заключенных, и режим их содержания был особый. Я несколько раз видел некоторых из них. Первое впечатление, которое возникало у наблюдателя при взгляде на любого из них, — это впечатление здоровья и сытости. Сытости, прежде всего, и, как ее следствие, здоровья. И действительно, их пищевой рацион не был рационом обычного заключенного, цена которого составляла лишь 4 рубля 50 коп. в месяц. Работа их была трудной и опасной. Стокилометровый переход по неверным морским льдам в трескучие морозы и пургу был опасным переходом. Кроме того, не всякому заключенному администрация концлагеря могла доверить такое свободное хождение между островом и материком. Но благодаря этим людям заключенные получали письма и зимой.

Сводная рота

Весна 1926 г. была ранняя для этих северных широт. Уже 15 апреля на железнодорожных путях между шпалами можно было заметить, как кое-где поблескивали лужицы талой воды, а на путевых работах люди работали, скинув верхнюю одежду.

В это же приблизительно время произошла новая перемена в укладе моей жизни. Меня в соответствии с условиями моей работы перевели из 4-й роты в так называемую сводную роту, размещенную за пределами стен Соловецкого кремля. Особенность этой роты заключалась в том, что она не имела в своем

распоряжении отдельного помещения. Заключенные, числившиеся в этой роте, жили в разных небольших зданиях, разбросанных по территории концлагеря за стенами кремля. Например, меня поместили в одну из комнат маленького деревянного здания Управления железной дороги. Эта комната находилась как раз за стеной того помещения, в котором я работал в дневное время. Входная дверь в эту комнату открывалась из темной передней, где были расположены кирпичная плита с несколькими конфорками для приготовления пищи и железный рукомойник. Эта передняя освещалась тусклой электрической лампочкой, висевшей под потолком. Далее, за порогом этого помещения, находился небольшой коридорчик, по обе стороны которого открывались двери: влево — в комнаты бухгалтерии, где я работал днем, вправо — в обычно свободную комнату, где имелись только стол и чертежная доска.

Напротив двери той комнаты, куда меня перевели, находилась дверь, которая вела в другую комнату, где помещались начальник железной дороги, его помощник и техник при начальнике.

В той комнате, в которую меня вселили, уже имелись жильцы из числа заключенных — специалистов железнодорожного дела. Все те полтора года, которые мне еще предстояло прожить на острове, состав моих товарищей по этой комнате почти не менялся. Поэтому мне эти люди хорошо запомнились.

Все убранство комнаты составляли грубо сколоченные из досок топчаны, расставленные вдоль всех четырех стен. Посередине комнаты стоял стол с несколькими табуретками вокруг, над столом висела электрическая лампочка.

За неимением матрацев и подушек мы все стелили на доски топчанов свои носильные вещи, которые покрывали простыней и одеялом. Под голову я подкладывал меховую папаху и мешок с бельем.

Теперь скажу несколько слов о моих новых соседях по комнате. Старшим по возрасту среди нас был Стрельцов Михаил Иванович. На железной дороге он занимал должность начальника службы пути. Это был степенный мужчина, с окладистой русской бородой — типичный представитель служащего железной дороги дореволюционного времени. В его ведении находилась вся протяженность рельсовых путей. Он отвечал за их качественное состояние и ведал всеми путевыми рабочими по прокладке и своевременному ремонту рельсовых путей.

Рядом с ним, по местоположению топчанов, помещался Линник, кондуктор одного из двух подвижных составов (их было два — по количеству паровозов). Он был украинцем по происхождению и, как все украинцы, музыкален. Частенько вечерами, после окончания работ, сидя на своем топчане, он пел песни под аккомпанемент гитары.

Но воистину певцом был другой украинец — Гордиенко, машинист одного из паровозов. Это был веселый мужчина, никогда не падавший духом. По крайней мере, я никогда не видел его в состоянии депрессии. Обладатель чудесного голоса, он по вечерам поднимал наше настроение своими песнями...

Обычно после завершения очередного железнодорожного рейса, по миновании восьми часов вечера, Гордиенко возвращался со своим помощником-кочегаром в нашу комнатушку, чтобы пообедать и отдохнуть. Он и его помощник получали на месяц сухой паек и готовили из этих продуктов себе обед. Готовил помощник-кочегар. И вот тут-то начинались веселые разговоры, рассказы, песни.

У окна, недалеко от моего топчана, стоял топчан Царева, слесаря паровозного депо. Царев не был разговорчивым мужчиной, он больше слушал. Свои мысли он держал при себе. Видно, он хорошо знал свое дело, если судить по тем металлическим предметам, которые он вытачивал для себя. Особенно мне понравился сделанный им финский нож. На мой вопрос, как он думает пронести его на волю после освобождения, он ответил, что облепит его хлебом настолько, что он сойдет за обычный нож.

Мое переселение на жительство в сводную роту давало мне много новых преимуществ. Ввиду неимения за кремлем отдельного помещения для заключенных сводной роты и разбросанности мест их жительства, отсутствовали и обязательные утренние и вечерние проверки. Кроме того, место моей работы, т.е. мой письменный стол, находилось рядом, за стеной той комнаты, где я спал. Когда мне мешали разговоры моих товарищей, я мог в любую минуту перейти в помещение бухгалтерии и там, в тишине, писать и читать, что я часто делал по вечерам. Затем увеличивалась свобода моих передвижений. Я мог даже в рабочее время выйти из домика управления железной дороги и идти в любом направлении по территории лагеря. Поэтому я широко пользовался возможностями таких прогулок в обеденный перерыв, от четырех до шести часов вечера. Это, конечно, можно было делать только в летнее время, когда день длился чуть ли не круглые сутки. В короткие же зимние дни рано наступавшая ночь и сильный мороз ограничивали свободу передвижений. К тому же, глубокий снег давал возможность ходить только лишь по железнодорожной насыпи или же по ограниченной площади поселка, окружавшего кремль.

Наша компания железнодорожных работников по мере знакомства друг с другом все более и более сплавивалась. Разговоры становились откровеннее, точки зрения на события внешнего мира сближались.

Борис Николаевич Ризников, который в начале лета 1926 г. заменил на посту МАБ Евдокимова, закончившего срок заключения и уехавшего, был

культурным и образованным человеком, культурным по духу, образованным по запасу накопленных знаний. Помимо своей военной специальности, он был историком.

В лагере с разрешения администрации действовал кружок по изучению документов истории Соловецкого монастыря. Ризников состоял членом этого кружка и посвящал делу изучения документов свое свободное время. Иногда он делился с нами своими мыслями.

Я был с ним в хороших отношениях, и мы вдвоем, а иногда и втроем — я, он и Геништа — совершали в свободное от работы время прогулки по прикремлевской территории.

Он много рассказывал нам о своей прошлой военной жизни и даже о том времени, когда он был еще юнкером. К своей работе на железной дороге он относился исключительно добросовестно и не из желания выслужиться, а из присущего его характеру чувства аккуратности и чисто военной дисциплинированности.

Мягким и незлобивым характером отличался другой работник бухгалтерии — Бакшеев, бывший кадровый военный и тоже полковник.

Наступление сравнительно теплых весенних дней конца мая вносило в нашу монотонную концлагерную жизнь оживление и перемены.

Во-первых, вновь открывалась навигация и с нею — более ошутимое общение с родными. Море постепенно освобождалось ото льдов и сулило нам скорое прибытие пароходов. С наступлением навигации наступала пора свиданий с родственниками, сумевшими получить разрешения на таковые. Обычно эти свидания начинались в конце июня и заканчивались в конце августа. Об освобождении моря от ледяного покрова известили нас вернувшиеся на остров чайки.

Насколько я помню, первые пароходы появились у пристани в самом конце мая 1926 г. И это не удивительно, поскольку море освобождалось от плавающих льдин гораздо медленнее, чем наши реки, и поскольку неоднократные возвраты холодов со снегом я наблюдал даже во второй половине июня. Но долгота дней неуклонно росла. Солнце все позднее и позднее опускалось к линии горизонта и в последние дни весны уже не покидало небосклона.

Железнодорожные насыпи и грунтовые дороги постепенно обсыхали, и я возобновил свои одинокие прогулки в свободное от работы время. Для таких прогулок избрал я три направления: 1) железнодорожный путь, ведущий на Пертозеро и далее на Данилово озеро; 2) дорогу лесом, ведущую на Муксоломскую дамбу; 3) дорогу лесом, начинавшуюся от противоположного берега Святого озера и далее через лес, до берега моря.

Иногда Вадбольский, имевший пропуск на выход за кремлевские ворота, присоединялся ко мне. Обычно мы ходили с ним по направлению к Пертозеру. Но, отошедши немного от опушки леса, взбирались на поросший деревьями склон возвышенности, находившейся на правой стороне железнодорожного пути. Там, сидя над вершинами деревьев леса, уходившего к морской бухте, лицом к Соловецким башням и морскому заливу, мы вели неторопливую беседу на разнообразные темы.

Недалеко от этого излюбленного места наших прогулок, по ту сторону железнодорожной ветки, на самой опушке леса, началось довольно широкомасштабное строительство. Строились: паровозное депо, механическая мастерская, жилые бараки для заключенных-железнодорожников. Тогда я еще не предвидел, что в следующем, 1927 году я переберусь сюда на жительство. Это строительство именовалось — «Седьмой пикет».

Напротив деревянного домика железнодорожного управления, по ту сторону Святого озера, летом зеленел берег, поросший лесом. На опушке этого леса стоял деревянный домик, где происходили свидания заключенных с приехавшими проводить их близкими. От этой опушки начиналась дорога, уходившая вглубь леса и выводившая на берег моря. Иногда я ходил по этой дороге вплоть до морского берега, благо она была короткой. Однажды, во время одной из таких моих прогулок, я встретил знакомого мне заключенного Б. А. Аккермана, шедшего вместе с приехавшей к нему на свидание его сестрой Фатимой Александровной. Мы немного поговорили. Эта встреча с представительницей внешнего, свободного мира была для меня как глоток свежего воздуха в затхлой и давящей атмосфере концлагеря.

В далекие вечера июля 1926 года, когда ночи фактически отсутствовали, я часто сиживал допоздна в помещении бухгалтерии за своим письменным столом и читал или писал. Книги я брал в библиотеке концлагеря. Судя по их содержанию, эти книги представляли из себя остатки бывшей монастырской библиотеки. Ранее я уже успел прочесть несколько книг из сочинений Достоевского, а теперь читал исторические романы Данилевского. Прочел также роман Джека Лондона «Бунт на “Эльсиноре”», который и до сего времени не пользуется одобрением нашей цензуры за свою идеологическую подкладку.

Вспомнился мне один эпизод, характерный для оценки того произвола, который царил в концлагере.

Как-то раз, в начале августа 1926 г., мы, т.е. я, Тьевар и Геништа, отправились в поход, якобы для осмотра железнодорожного пути вблизи кирпичного завода. По дороге беседовали на разные темы. Когда мы дошли до места назначения, мы начали производить нужные замеры. Тьевар записывал. К этому

времени Тьевар, благодаря своим необычайным способностям и эрудиции, подвинулся вверх по ступенькам иерархической лестницы должностей на железной дороге. Он стал «Н. П.», т.е. помощником начальника железной дороги.

Итак, стоя вдвоем на железнодорожной насыпи, мы заметили человека, приближавшегося к нам по этой насыпи. Вглядевшись, Геништа заметил: «Это Барков». Барков хотя и был таким же заключенным, как и мы, все же занимал особое положение в концлагере, будучи руководителем всей его эксплуатационно-хозяйственной деятельности. Поэтому игнорировать его присутствие означало бы демонстрировать свою неприязнь, приветствовать же человека, которого не знаешь, тем более «начальство», не позволяло самолюбие. Тьевар дипломатично повернулся спиной к подходившему, продолжая что-то сосредоточенно записывать, Геништа приложил руку к козырьку, а я продолжал стоять неподвижно, повернувшись к Баркову лицом. Барков прошел. Геништа пояснил свой жест тем, что он знаком с Барковым, который неоднократно заходил к начальнику железной дороги Чихачеву в ту самую комнату, где он, Геништа и Чихачев помещались.

Прошло несколько дней. И вдруг, совершенно для меня неожиданно, я получил через подрядчика отдела труда официальное уведомление собрать свои вещи и приготовиться к отправке на материк, на лесозаготовки. Известие было не из приятных. В перспективе маячили бараки Кемского пересыльного пункта, грязь и теснота помещений, совместная жизнь с уголовниками, тяжелые физические работы в лесу, да еще зимой. Помню, что сердце во мне екнуло, но я постарался сохранить вид полнейшего равнодушия в присутствии моих товарищей по работе. Я спокойно уложил вещи в мешок и стал ждать.

В комнату ко мне заходили Геништа, Тьевар и некоторые другие, чтобы выразить мне свое сочувствие. Один лишь мой шеф, Василий Иванович Сказин, не ограничился выражением сочувствия. Он тотчас же собрался в путь и заковылял, опираясь на свою палку по направлению к зданию ЭКЧ на берегу залива, к начальнику финансовой части Розанову. Спустя час он вернулся и рассказал мне следующее:

«Пришел я к Розанову и изложил ему все дело. Я заявил ему, что вы являетесь моим главным помощником и что если вас отправят на лесозаготовки, то я откажусь от бухгалтерской работы на железной дороге и где бы то ни было. Розанов тотчас же пошел к Баркову и настоял на том, чтобы вас вычеркнули из списка отправляемых на лесозаготовки. Оказывается, вас внесли в этот список по распоряжению Баркова».

Вот пример зависимости судьбы заключенного в концлагере от каприза любого начальства, даже в том случае, если это начальство само принадлежит к числу

заклученных, а также пример, характеризующий беспринципность и злобность таких начальствующих людей.

Итак, благодаря энергичному вмешательству В. И. Сказина я избежал ссылки на лесозаготовки и продолжал свою работу на железной дороге. Все мои товарищи по работе были люди весьма симпатичные и, если бы не общая тяжелая обстановка на всех местах заключения, то работать было бы легко. А почему? Да просто лишь в силу сложившихся четырех условий, смягчавших быт заключенных. Во-первых, разбросанность жилых помещений, отведенных для заключенных сводной роты, ослабляла контроль лагерной администрации за жизнью этих заключенных в свободное от работы время. Во-вторых, сама принадлежность заключенного к составу сводной роты давала ему возможность свободно передвигаться по закремлевской территории концлагеря, что, безусловно, благоприятно влияло на состояние его здоровья. В-третьих, изолированность местоположения помещения железнодорожного управления способствовала проявлению самостоятельности и независимости в работе. В-четвертых, личные качества характеров начальников железной дороги — сперва Бурдакова, затем Чихачева — создали для подчиненных им людей, возможно, легкие условия работы.

В те времена в системе постановки учета хозяйственной деятельности концлагеря не существовало ни «промфинпланов», ни утвержденных штатных расписаний, и потому состав работников железнодорожного управления не был лимитирован. Поэтому существовавший вначале более чем скромный состав счетных работников железнодорожного управления постепенно численно возрастал. Нас было уже четыре человека вместо первоначальных трех.

Помню, как для выполнения каких-то письменных работ в наше учреждение прислали представительницу барака заключенных женщин, что явилось для нас сенсационным событием. Это была молоденькая женщина по фамилии Иксуль фон Гильдебандт. Для того чтобы не отвлекать нас, мужчин, от работы, Сказин посадил ее в соседнюю комнату, но это не помешало нам проводить часть рабочего времени за приятной беседой в женском обществе. Я сказал — «нам». В основном это касалось меня и Геништы. Эта девица, или молоденькая женщина, проработала в управлении ж. д. всего лишь несколько дней.

Во время пребывания в концлагере я встречал нескольких представительниц той группы интеллигентных женщин, которые стали жертвами произвола органов ГПУ. Назову их фамилии: Дюмурина, Путилова Н. М., Шепелева О. А., Арсеньева, Труба Р. П.

Приближалась вторая зима моего соловецкого «сидения». Ночи становились темнее, звезды все ярче выступали на небе, и дни давали о себе знать утренними заморозками. Очередной приезд на остров комиссии ГПУ вновь принес с собой разочарование. Как и год назад, никого из «казров» не освободили, никому не сбавили срока заключения. Только одним уголовникам оказали милости...

Наступила зима. К этому времени в моей жизни снова возникла перемена. Меня назначили старшим бухгалтером Управления железной дороги. Случилось это по причине слишком самостоятельного и строптивого характера В. И. Сказина. Как-то раз из главной бухгалтерии ЭКЧ поступило указание о каком-то незначительном изменении в порядке постановки бухгалтерского учета. Сказин нашел, что это указание неправильно, отказался его выполнять и подал заявление об уходе с должности старшего бухгалтера. Все же он временно остался работать в бухгалтерии железной дороги, но уже в качестве моего помощника. Эта перемена не повлияла на наши дружеские с ним отношения.

По соседству со зданием Управления железной дороги существовал так называемый механический завод, или Мехзавод. Сказин называл его «Смехзавод», намекая на малый объем его производственной деятельности. По сути дела, это не был завод в точном смысле этого слова, а небольшая экспериментальная мастерская, где производились ремонты механизмов и иногда новые поделки. Так, в течение зимы 1926 г. там был построен небольшой моторный катер по проекту одного из заключенных-инженеров — Курчевского...

Старшим бухгалтером Мехзавода был Казачков Владимир Алексеевич, а его помощником — Мартынов Юрий Николаевич. Оба они, будучи нашими соседями, иногда заходили в наше помещение для того, чтобы под видом выверки взаимных расчетов перекинуться парой слов на посторонние темы. Сами они жили на территории кремля, в помещении 10-й роты.

Казачков прибыл на остров в конце навигационного сезона 1925 года. До революции он учился в I Московском кадетском корпусе. Отец его был кадровым офицером царской армии в чине полковника. За что арестовали Казачкова и осудили его на трехгодичное заключение в концлагерь, он, я думаю, в ту пору конкретно и сам не знал, как не знали большинство из нас причины тюремных заключений. В 1925 г. такие аресты и беспочвенные осуждения были обычными явлениями. Мартынов был намного старше Казачкова, он также принадлежал к бывшей военной среде.

Состав заключенных, работавших на железной дороге, как и вообще в лагере, был очень разнообразный. На путевых работах, не требовавших какой-либо

квалификации, работали в основном представители уголовного мира. Но были в числе путевых рабочих и почтенные элементы, такие, как бывшие петлюровцы времен Гражданской войны и некоторые другие категории осужденных. Работали на путевых работах и люди, сидевшие за так называемые «экономические» преступления, такие, как, например, «фальшивая монета».

Насколько эти люди были виновны в том, в чем их обвиняли, я не берусь судить, но, принимая во внимание свойства характеров тех из них, кого я встречал на острове, было трудно предположить их прямое участие в преступных действиях. Так, Швецов, работавший десятником на путевых железнодорожных работах, осужденный на 10 лет заключения в концлагерь, был молодым человеком моего возраста, по виду интеллигентный и сдержанный в своих поступках и суждениях, выказывавший весьма положительные черты характера.

Работу на службе тяги выполняли квалифицированные железнодорожники, знавшие свое дело.

С социальной и политической точек зрения, состав их был довольно пестрый. Тут были и «пильсудчики» времен Гражданской войны, служившие на стороне польских войск, такие, как Падейко и Сукборовский. Последний отличался необыкновенной физической силой и мог одной рукой поднимать до пяти пудов. Были тут и просто «каэры», такие, как помещавшийся в одной комнате со мной Данник; были и бывшие студенты технических учебных заведений, такие, как техник Будский — молодой человек, серьезный и молчаливый, так же как и Швецов, заключенный в концлагерь на 10 лет по делу о фальшивых деньгах.

На строительстве поселка «Седьмой пикет» работал в качестве техника молодой студент из Москвы Ганешин Д. С. Семья его принадлежала к числу старой московской интеллигенции. Он обладал симпатичными чертами характера. В бытность свою в Москве, до ареста, он являлся членом организации «скаутов», тогда официально разрешенной, но на которую власти уже смотрели косо. В эту организацию входили как молодые люди, так и девушки. Через год эта организация была распущена и многие из ее членов арестованы.

Я забыл упомянуть о том, что на острове существовал небольшой коллектив монахов Соловецкого монастыря, которым разрешили оставаться на территории концлагеря, но которых поселили где-то в стороне. Им позволили также пользоваться небольшой церковью, находившейся за стенами кремля. По слухам я знаю, что их основным занятием было рыболовство, продукцией которого пользовалась и администрация лагеря.

Во главе этой небольшой «свободной» общины стоял престарелый игумен. Богослужения в церкви производились в большие церковные праздники. И вот

под Рождество я, Ризников, Геништа и еще кто-то из нашего железнодорожного коллектива пошли присутствовать на таком богослужении. Принимая во внимание необычную для места заключения обстановку, торжественность службы, хороший хор, пробудившиеся воспоминания, это событие мне ярко врезалось в память. Должен упомянуть, что такие богослужения, совершавшиеся от времени до времени, были разрешены властями концлагеря ввиду большого количества духовных лиц, содержащихся в заключении. На этот раз службу правил один из заключенных епископов.

Как я уже упомянул, концлагерь получил в наследство от монастыря рыболовные промыслы, которыми продолжали заниматься оставшиеся на острове монахи. Я слышал, что монахов на острове оставалось всего лишь человек сорок, из которых многие были престарелые.

Видимо ЭКЧ концлагеря подумывали о сохранении и расширении этих промыслов, поскольку был поставлен вопрос о разработке системы бухгалтерского учета их эксплуатации. В финчасти было созвано своего рода производственное совещание работников учета, на котором Сказин прочел лекцию о постановке такого учета. Лекция имела успех и через некоторое время Сказина отозвали из Управления железной дороги и поручили ему постановку учета рыбных промыслов.

Как было поставлено это дело с производственной, финансовой и коммерческой точек зрения, я не знаю. Со Сказиным я больше не встречался.

Моя вторая соловецкая зима проходила столь же однообразно, как и первая, с той лишь разницей, что я жил за кремлем и свободнее передвигался по территории концлагеря. Я пользовался этим благом ежедневно и не из-за получаемого удовольствия, а для того, чтобы поддерживать свое здоровье в нормальном состоянии...

В этом своем повествовании я отойду несколько в сторону, чтобы поведать о том деморализующем влиянии, какое оказывал на многих заключенных порядок внутренней структуры концлагеря. И именно концлагеря, с его принудительными работами, покоящимися на принципе получения наибольшей выгоды для хозяйства подобного места заключения. В тюрьме неволя тяжка — и как разлука с близкими, и как отсутствие свободы действий. В концлагере гнет неволи усугубляется тяжестью рабского труда и суровыми материальными условиями жизни, обессиливающими организм человека.

Хозяйство концлагеря создавало разнообразную продукцию, в себестоимости которой стоимость затраченного труда являлась основной статьей расхода. Поэтому стоимость этой статьи нарочито сокращалась, если возможно, за счет снижения стоимости питания заключенных и отсутствия каких-либо затрат на их одежду.

В силу такого положения вещей каждый заключенный стремился к тому, чтобы по возможности смягчить тяжелые условия своей жизни. Постановка хозяйственной деятельности концлагеря могла давать положительные результаты только при условии наличия нужных специалистов. Таких даровых специалистов органы ГПУ имели возможность отыскивать в среде заключенных. Подобным специалистам, когда их находили, создавали, по сравнению с другими заключенными, лучшие условия существования. В то же время им давали власть эксплуатировать труд рядовых узников в условиях получения максимальной выгоды для хозяйства концлагеря. Поэтому в среде подобных «начальников» появлялись такие беспринципные люди, как Френкель, Барков, Селецкий и некоторые другие, подобные им.

Этот принцип борьбы за улучшение бытовых условий в обстановке тяжелой жизни вырастал в душе отдельных заключенных в фактор, диктовавший их поведение. На этой почве разрастались такие отрицательные явления в жизни концлагеря, как «стукачество», подхалимство, переход на работу в ряды вооруженных надзирателей, нарочитый цинизм во взглядах на жизнь и грубость в разговоре. И постепенно в человеке атрофировались положительные черты его характера и ярче выступали врожденные отрицательные.

Я не буду отрицать того, что временами в моей душе возникали минуты депрессии. Жить переставало хотеться, будущее рисовалось все мрачней, все неприглядней, все безнадежней. Ведь годы молодости и расцвета творческих сил уходили бесплодно. Образование и подготовка к практической плодотворной деятельности были прерваны. Если бы еще оставалась твердая уверенность в том, что после отбытия срока заключения в концлагере я вновь обрету право и возможность жить самостоятельной жизнью в тех границах относительной свободы, в каких я жил до ареста. Но этой уверенности не было. И дальнейшее развертывание событий подтвердило обоснованность этой неуверенности.

Вот такие минуты душевной депрессии я отразил в своих стихотворениях. Вот одно из них:

*Безмолвно прошлое. Молчит грядущее.
И настоящее — такое жалкое!
И думы смутные, в душе растущие,
Тревожат вечною как мир загадкой.
Где радость яркая? Где страсть безумная?
Разбиты вдребезги все силы прежние!
В душе измученной тоска угрюмая.
Давно не радуют мечты мятельные...*

Тепло весны 1927 г. вновь разбудило во мне задремавшие было силы, а с ними и надежды на лучшее будущее.

Первые прибывшие пароходы увезли на далекий материк двух моих товарищей, закончивших сроки своего заключения и по-настоящему освобожденных — Тьевара и Геништу. Тьевар получил свободу без каких-либо ограничений и возвращался на жительство в Москву; Геништа получил минус шесть и избрал своим местом жительства г. Горький, с правом заезда на несколько дней в Москву. Получившие свободу, они в ожидании прибытия пароходов каждый в отдельности провели с нами несколько дней, и было странно и радостно смотреть на них, теперь «бывших» заключенных, в их новом облачении вольных людей. Они уехали, а в душе копошилась мысль, что в конце вот этой самой навигации и мне предстоит покинуть остров и переселиться вновь в уже знакомый мне Кемский пересыльный пункт. Ведь срок моего заключения в концлагере заканчивался 5 мая 1928 г., т.е. за месяц до открытия навигации и прибытия пароходов, и поэтому, по установившимся соловецким правилам, меня не имели права задерживать в концлагере сверх присужденного мне срока. Сверх того, в моей душе вновь затеплилась надежда, что авось очередная комиссия ГПУ, долженствующая прибыть осенью на остров, сократит срок моего заключения и освободит меня.

К этому времени штат моей бухгалтерии необычайно разросся. Помимо уже упоминавшихся мною сотрудников — Бакшеева, Мунзова, Федоровича, к их числу прибавились еще трое — Зельцер и двое других, фамилии которых я теперь не припомню. Между всеми ними я распределил работу по ведению вспомогательных бухгалтерских книг, за собою же оставил записи в журнале — главное и общее руководство работами.

Такому количеству людей сидеть стало тесно в одной комнате, и я, пользуясь хорошей погодой и наступившим теплом, поместил двоих из них в небольшой сарайчик, стоявший рядом со зданием конторы, куда в течение рабочего дня я иногда заглядывал, чтобы проверить сделанную ими работу и поболтать о постороннем.

Так шло время. Я продолжал свои одинокие прогулки, чаще всего по железнодорожной насыпи, мимо строившихся зданий «Седьмого пикета».

В середине лета 1927 г. здоровье мое несколько пошатнулось. Периодически возникали незначительные боли в области сердца, и, кроме того, в какой-то определенный час дня начинались сильные головные боли, которые продолжались часа два и затем стихали.

Пришлось обратиться к врачебной помощи. Эти обстоятельства дали мне возможность ближе познакомиться с постановкой лечебного дела в концлагере.

Выше я упоминал о том, что вся хозяйственная деятельность концлагеря находилась в полной зависимости от руководивших ею специалистов разных профилей знаний, которых администрация лагеря отыскивала в числе заключенных. Точно также обстояло дело с постановкой медицинского обслуживания.

Оказалось, что медицинский пункт концлагеря необычайно богат специалистами-медиками. По сути дела, это был не пункт, а настоящая поликлиника. Возглавлял эту поликлинику известный в те времена хирург — профессор Яхонтов, такой же заключенный, как и мы. Там находилось еще несколько хороших врачей разных специальностей. Был и хорошо оборудованный зубохирургический кабинет, благо имелись заключенные зубные врачи. Мне же в то время был нужен врач-терапевт, поскольку сердце у меня побаливало, и потому я попал на прием к такому врачу. Им оказался некто Горвиц, или Горовец, теперь точно не помню, врач из Москвы или Ленинграда. Он производил впечатление человека культурного, внимательного и благожелательного. Выслушивая и осматривая меня, он обратился ко мне с вопросом: «Вы здесь находитесь не по делу “мыслящей молодежи?”»

По его рецепту я начал принимать какую-то очень горькую микстуру. Прошло некоторое время. Легкая боль в области сердца продолжала давать о себе знать. Я ходил еще раза два на прием к доктору Горвицу.

В эти дни на железной дороге произошло печальное событие: умер Борис Николаевич Ризников. В ночь с ним случился удар. Оказывается, он вечером того дня, когда по расписанию очередных дежурств по камере мыл пол, спустя некоторое время лишился сознания. Было очень жаль этого хорошего человека.

Продолжая пить прописанную мне микстуру, я через некоторое время заметил, на ощупь, что на одном из моих левых ребер образовалось какое-то небольшое затвердение. На очередном приеме у врача я обратил его внимание на это обстоятельство. Он сказал, что это, видимо, воспаление надкостницы, образовавшееся как следствие ранее полученного ушиба, и прописал мне какую-то едкую, видимо, йодистую мазь, для размягчения этого затвердения. По прошествии нескольких дней больное место покраснело и воспалилось. Мне было больно лежать на левом боку, и я спал на правом или на спине. Доктор Горвиц направил меня к хирургу Яхонтову. После медицинского осмотра Яхонтов заявил мне, что опухоль необходимо вскрыть, для чего следует лечь в больницу. В эту больницу меня и положили. Насколько я помню, она состояла из одной довольно обширной палаты, находившейся на втором этаже одного из небольших зданий на территории кремля. Соломенные матрацы на кроватях были покрыты постельным бельем. Имелись и подушки.

На следующий день моего пребывания в больнице меня повели в операционную. Там, помимо Яхонтова, делавшего операцию, присутствовали еще два или три врача и медсестры. Все были в белых халатах. Вскрытие опухоли производили без наркоза, так что было больно. У меня потемнело в глазах. После операции я вернулся в палату. В палате, кроме меня, лежало еще человек 10 с разными болезнями. Кто-то даже бредил.

Прошло еще несколько дней и, кажется, в начале сентября меня выписали из больницы. Но я для перевязок продолжал посещать амбулаторию.

И вот в эти-то дни произошла очередная перемена в окружавшей меня обстановке. Всех нас, живших до сего времени в домике Управления железной дороги, переселили в новый барак, только что построенный на территории поселка «Седьмой пикет».

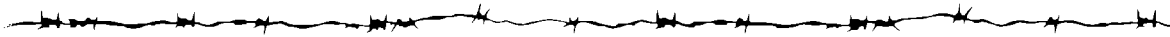
Новое жилье было ничем не хуже прежнего, за исключением того, что отсутствовали некоторые удобства. Например, отсутствовал кипятик для заварки чая. Правда, рядом с баракom, под навесом ветвей елей, стоял большой куб для кипячения воды. Кипятили воду раза два в день и поэтому вода, подверженная воздействию холодного воздуха, никогда не бывала по-настоящему горячей.

Но все эти неудобства меня уже мало трогали. Наступала осень с холодом и снегом. Очень скоро должна была прекратиться навигация и, по всей вероятности, с одним из последних пароходов нас всех, срок заключения которых истекал до открытия новой навигации, должны были отправить на материк. Туманное будущее порождало туманные надежды на лучшее и будило новые силы...

И вот ожидаемый день настал. Как-то вечером в наш барак вошел командир сводной роты и объявил: «Булыгин, с вещами». Я быстро собрался. Тот вечер был чисто зимний, морозный. Кругом лежал снежный покров. Только море, свободное ото льда, чернело в ночи.

Нас всех, подлежавших эвакуации на материк, собрали в одном из обширных помещений кремлевских зданий. Народу было много. И в этой массе большинство составляли уголовники. Но было достаточно и интеллигенции.

Это обширное помещение каменного здания было слабо отоплено, и пар от дыхания множества людей стоял в воздухе в виде тумана, сквозь который тускло светились висевшие под потолком электрические лампочки. Каждый из нас сидел на полу около собственного дорожного мешка, многие дремали. В таком ожидании прошли несколько томительных ночных часов. Наконец, раздалась команда строиться попарно. Опять произвели поименную переключку. Нас, выстроенных в длинную шеренгу, вывели во двор и затем за кремлевские ворота к берегу моря. Там, у причала, стояла под парами «Нева» и прицепленная к ней все



та же железная баржа «Клара Цеткин». Попарно, один за другим, мы перешли по мосткам на баржу и попрыгали через открытый люк в трюм. День выдался морозный, но быстро наполнявшийся трюм обогревался дыханием людей, и холод не так уж чувствовался.

Переезд морем длился часов пять-шесть, то есть почти весь короткий зимний день. Мы ступили на доски причала Попова острова, когда уже надвигались сумерки.



КОНСТАНТИН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
ВЛАСОВ-УЛАСС



Вячеслав Умнягин, иерей

ПОБЕГ С СОЛОВКОВ АНАРХИСТА К. А. ВЛАСОВА-УЛАССА

Очередное свидетельство о побеге из Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) было обнаружено среди материалов фонда 5881 Государственного архива Российской Федерации¹, который содержит коллекции отдельных документов и материалов эмигрантов и является наследником Русского заграничного исторического архива в Праге (1923–1945)². Любителям соловецкой истории это собрание документов знакомо в связи с книгой «Мои воспоминания» архимандрита Феодосия (Алмазова), чья автобиографическая рукопись, опубликованная в 3-м томе настоящей книжной серии³, также находится в указанном хранилище.

Мемуары Константина Власова-Уласса под общим названием «Соловецкий изолятор» представляют собой 16 страниц хорошо сохранившегося машинописного текста. Из четырех заявленных автором частей («Русское босячество (беспризорные) и проституция», «Русские тюрьмы», «Сибирь и Туркестан», «Соловки») доступны лишь общее предисловие и заключительный раздел «Побег из Соловков», которые и представлены вниманию читателей.

Значительная часть сведений об авторе рукописи почерпнута из самих мемуаров, которые, в свою очередь, не лишены погрешностей и вызывают целый ряд вопросов. На титульном листе, помимо автографа «Константин Власов-Уласс (Konstantin Vlasoff-Ulass)», указан Париж, видимо, как место создания записок. Но каким образом и когда бывший соловецкий заключенный оказался в столице Франции, чем занимался там, где и при каких обстоятельствах окончил свою жизнь, на основании имеющейся информации сказать невозможно.

Характеризуя Соловки как «вековечно-исторический приют для страдальцев», рассказчик подчеркивает имеющиеся новации: монастырь становится лагерем, монахов сменяют чекисты, церковный благовест — стоны, Россию — СССР, Русь превращается в «кабак». Расширяя цепь сравнений и проецируя их на материк, он проводит связь между беломорским архипелагом и всей страной, как это делали многие до и после него.

¹ ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 711. Машинопись.

² История Государственного архива Российской Федерации: документы, статьи, воспоминания / [сост. О. Н. Копылова (отв. сост.) и др.] М.: РОССПЭН, 2010. С. 131–143.

³ Феодосий (Алмазов), архим. Мои воспоминания // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 73–103.

Цель записок, по словам составителя, не клеветать на советское правительство, но подчеркнуть творимое им зло, что является отличительной чертой мемуаров довоенного периода, когда беглецы, указывая на невыносимые страдания заключенных, пытались привлечь внимание международной общественности к положению дел в местах лишения свободы в СССР.

Из воспоминаний следует, что к моменту повествования автор провел в лагере без малого год, имеет десятилетний (предельный по тем временам) срок и, судя по перечисленным выше заголовкам, достаточный опыт пребывания в неволе. Несколько раз он упоминает соловецкие отделения и командировки, где заключенные содержатся в особо суровых условиях, но не скрывает того, что сам побывал не везде, о чем-то знает понаслышке.

Происходящему вокруг дается эмоциональная и сугубо мрачная оценка — «ужас, кошмар». Смерть — ее синонимы и описания — упоминается в сравнительно небольшом по объему тексте не менее двух десятков раз. Даже Солнце — символ и источник жизни — напоминает мемуаристу о гибельности существования («кровавый диск медленно погружался в воды Белого моря», «тучи, окрашенные в кровавый цвет заходящим солнцем»).

Патологическим изменениям в лагере подвергаются не только окружающий мир, но и человеческая природа. «Здесь люди так мельчают, становятся такими ничтожными, что просто и говорить не стоит, — рассуждает автор в духе позднего В. Т. Шаламова. — Нет, здесь не люди, нет, нет. Я не могу допустить, чтобы человек так обращался с человеком».

Вывод вновь принимает обобщающий характер. Есть исключения — деревенская женщина, которая «встретила радушно», накормила замерзающих беглецов. Но и тут остается неясной истинная мотивация поступка («может быть, ей винтовка внушила принять нас так или просто из человеческих чувств, что в настоящий момент редко можно встретить»).

Из воспоминаний известно, что их создатель — «запретник», из числа тех, кому было запрещено общаться с другими заключенными. Большую часть времени он проводит в 14-й роте на территории Южного двора («редко даже пускают в сад гулять», т.е. в центральную часть монастырского комплекса), но уже «разов пять сидел в 11-й роте отрицательного элемента», куда, согласно воспоминаниям генерала И. М. Зайцева, помещают тех, кто «по мнению соловецкой администрации, совершенно не поддаются исправительному воздействию»⁴.

⁴ Зайцев И. М. Соловки: Коммунистическая каторга, или место пыток и смерти // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 244.

Единственным средством к существованию (без этого «пришлось бы погибнуть») являются 10 рублей, поступающие ежемесячно от Политического Красного Креста (на них можно купить «хлеба и сахару... да и на мыло остается»).

Все это наводит на мысль о том, что мемуарист — «политик», т. е. представитель одного из проигравших революционных движений, и позволяет идентифицировать его как Константина Лаврентьевича Власова, о котором есть краткие упоминания в «Материалах к биографическому словарю социалистов и анархистов, НИПЦ “Мемориал” (Москва)», «Книге памяти Псковской области» и документах фонда «Помполит. Екатерина Павловна Пешкова» за 1925—1926 гг.

Объединяя разрозненные факты, можно предположить, что автор воспоминаний — анархист, рабочий, родился в 1904 г. в белорусской деревне в той части Российской империи, которая впоследствии вошла в состав Латвийской республики. Был арестован 23 января 1925 г. и приговорен Особым совещанием при ОГПУ 26 июня 1925 г. по ст. 66 УК РСФСР (шпионаж в пользу иностранных держав при отсутствии контрреволюционных или корыстных целей и неосведомленности о возможных последствиях таковой деятельности) к трем годам ссылки в Нарымский край⁵.

Проживая в д. Чигара Парабельского района, расположенного на севере современной Томской области, в октябре 1925 г. ссыльный обратился с письмом в Политический Красный Крест. «Не имея никаких средств к существованию и какой-либо помощи со стороны, я не в состоянии приобрести, ввиду наступающей зимы, теплой одежды и обуви, а посему попрошу не отказать в выдаче полушубка и валяной обуви»⁶.

Помощь была оказана, о чем свидетельствуют резолюция на письме («послано 10 рублей») и ответная открытка от 5 января 1926 г. «Благодарю за оказанную вами мне помощь К. А. Власов. Деньги ваши получил, подтверждаю ваш Власов»⁷.

Остается только догадываться, что произошло дальше, когда и по какой причине он был доставлен на Соловки, судя по всему, в промежутке между последними месяцами 1926 и 1929 гг. В пользу такой датировки говорит встречающееся в тексте имя заместителя начальника I отделения УСЛОН Петра М. Головкина, который занял свою должность в декабре 1926-го⁸, а

⁵ См.: Жертвы политического террора в СССР // URL: <http://lists.memo.ru>

⁶ ГА РФ. Ф. Р8409. Оп. 1. Д. 76. Л. 151.

⁷ Там же. Д. 113. Л. 210—210 об.

⁸ Из свидетельских показаний заключенного СЛОНа о насилии и издевательствах над заключенными, данных комиссии А. М. Шанина. См.: Павлов Д. Б. Соловецкие лагеря особого назначения ОГПУ (1923—1933) // Репрессированная интеллигенция. 1917—1934 гг.: сб. статей. М.: РОССПЭН, 2010. С. 395.

покинул ее не позднее лета 1930 г., о чем свидетельствуют воспоминания Н. И. Киселева-Громова⁹ и Д. С. Лихачева¹⁰.

К мысли о побеге подтолкнула встреча с союзником по харьковской тюрьме Евгением Жалмировским¹¹, который вместе с двумя товарищами отбывал наказание в 14 километрах к северо-западу от монастыря, в штрафной командировке Белужье, где до революции велся звероловный промысел, а в лагерный период — добыча плавника и водорослей.

Их бегство, основной причиной которого стала безысходность положения («все пропадать, давай попытаем счастья, авось и наша кобыла вывезет»), нельзя идентифицировать ни с одним документально подтвержденным событием. Если источник сообщает правду, то это пока единственный из известных нам случаев удачного побега с Большого Соловецкого острова за все время существования лагеря. Достоверность сведений, приведенных рассказчиком, трудно подтвердить или опровергнуть. Не секрет, что за границей перебежчиков принимали с подозрением, считая невозможным бегство из СССР без негласной санкции властей. И действительно, переход советской границы «сущее чудо, невероятный жест, ниспосланный благосклонной судьбой всего лишь нескольким счастливицам из десятков тысяч простых смертных»¹². Осознавали это и наши беглецы («ну и везет нам»).

Похитив карбас, они прошли под парусом несколько десятков миль штормовым морем. Один из участников побега погиб неподалеку от материка в перестрелке с преследовавшими их чекистами, остальные смогли высадиться на карельский берег и добраться до железной дороги, по которой уже 7 декабря в товарном вагоне прибыли в Лодейное Поле.

Заканчивается повествование упоминанием Эванки. Скорее всего, имеется в виду рабочий поселок, который в 1933 г. был переименован в Волховстрой, а в 1940 г. стал городом Волхов. Но не исключено, что речь идет о селе в Псковской области или притоке р. Лжа, берущей начало в Латвии и образующей на одном из участков границу с Россией, которую в том или ином месте пересек как минимум один из участников побега («до границы я добрался благополучно»).

⁹ Киселев-Громов Н. И. Лагери смерти в СССР. Шанхай, 1936. С. 166.

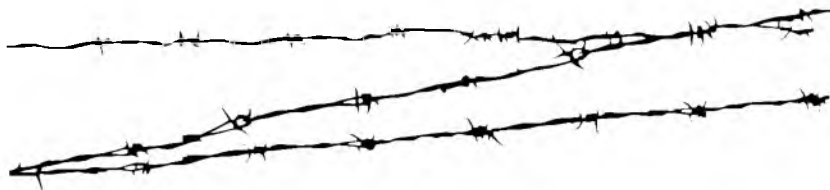
¹⁰ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 472.

¹¹ В тексте он также упоминается как Жалмирович, но, вероятно, правильно, Жолнерович, что соответствует распространенному типу украино-белорусских фамилий.

¹² Малышов К. А. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 430.



Соловецкий изолятор¹



Предисловие

Среди вечно беспокойных вод Белого моря стоит вековечно-исторический приют для страдальцев — остров Соловки. Морской гул, стон людей смешиваются в общую массу ритма человеческого страдания. Море сердится, и пенящийся вал бросается на гранитную скалу. Приступ кончен, и с тихим ритмом журча, возвращается в море после неудачного шторма. Всему бывает конец, буря утихла, утихомирилось море. Лишь с беззаботной игривостью волна догоняет волну. Тишь в стихии, как будто на минуту все остановилось: стоит зло, остановилась ложь-истина. «Э-э, ой!» Кто же это посмел нарушить спокойствие? Откуда же несутся эти стоны?.. Ударяясь в зеркальную гладь моря, словно диск далеко отскакивает в пространство. Чайки, чайки, нарушили спокойствие.

«Пощадите! — раздается с надтреснутым отчаянием вопль. — Пощады!»

Все стихло. Море, словно зеркало, перекидывает отражение горя.

Секирка, это старый храм, святой храм Соловецких островов приютился на скале у самой подошвы Белого моря. Когда-то с колокольни раздавался звон с призывом к соловецким жителям к молитве... То было в свое историческое время. Монах-тюремщик осмотрев цепи узников, спешил воздать хвалу Господу Богу. То было давно. Не стало буйного запорожского атамана Петра Колнышевского, лишь каменная плита у южных ворот рассказывает о его страданиях. То было давно, и время смыло надпись. И так не стало буйного арестанта Петра Колнышевского. Не стало южных ворот у южной башни, не стало и

¹ Публикуется по: Власов-Улас К. Соловецкий изолятор / Публ., коммент. свящ. В. Умнягин // Соловецкий сборник. 2014. №10. С. 175–185.

Соловецкого монастыря. На его месте вырос Лагерь особого назначения объединенного государственного политического управления (ОГПУ). И монахов не стало. Их заменили чекисты.

Южная башня стала называться Глиномялкой, т.е. 11-й ротой отрицательного элемента. Да и Секир-горы не стало. Но есть штраф-изолятор IV Отделения, где социалистическое правительство справляет свой пролетарский пир над замученными пролетарскими телами. При закате солнца не видно больше монаха с обнаженной головою, усердно дергавшего за веревку колокола на Секирке. То было давно, давно. Но зато в настоящий момент вы можете видеть обнаженную фигуру, тщательно призывающую кого-то на помощь? Смерть, что ли?

Есть еще укромные уголки мира, откуда редко-редко долетают голоса. Так вот послушаем, что рассказывают нам забытые могилы, где лишь только плачет буря над разбитой чашей жизни.

К западу от Соловков среди вод Белого моря стоит остров Конд, последняя чаша страданий соловецких узников. Тут редко бывает буря, только слабый стон рельефно разливается по живописному острову. Порой подымается рука со сжатым кулаком, как бы с угрозой. Но это только прощальный жест палачам.

Остров Конд — V Отделение Соловецкого лагеря. Довольно, тут не место для подробностей, да и неудобно.

Все по-новому. Нет России, есть СССР. Нет каторги, есть Паранда и Ухта. Не стало тюрем, но на их месте стали красоваться Исправтруддома.

Приступая к изложению современного положения в СССР, я свой материал разделяю на четыре части. Первый отдел займет русское босячество (беспризорные) и проституция. Во второй отдел — русские тюрьмы. Третий отдел — Сибирь и Туркестан. Четвертый отдел — Соловки.

Почему я это делаю?

Я хочу дать читателю чистейшие факты без всяких прикрас. Моя цель не клеветать на Советское правительство, а подчеркнуть то зло, ту нечеловечность и ту казуистику с ее уродливой наглостью. Может быть, кто-либо усомнится в их правдоподобности, то могу сказать, что не стоит затруднять себя сомнениями. Клеветать на идейного противника, на палача народа — значит, самому упасть до его уровня. Поэтому я буду стараться избегать лжи. Все эти рассказы будут отражать в точной действительности современный быт, современную психологию Советского Союза. Типы здесь будут фигурировать разнообразные, потому, что Русь в настоящий момент представляет собой кабак, тюрьму и дом терпимости. Как это грустно. Какая боль охватывает при мысли, что все это породила Русская революция в коммунистической действительности. Какой ужас!

Вчерашняя мать, любящая своих детей, своего мужа, сегодня в дебрях советской безработицы под гул социалистических кабаков стала проституткой. А дети, потеряв все, что их удерживало от голода и улицы, исчезают во мраке. А костлявые руки беспризорности цепко схватывают новых членов, завербованных ОГПУ.

Побег из Соловков

Вечерело. Солнце клонилось к закату, кровавый диск медленно погружался в воды Белого моря. На небе кое-где стали показываться звезды. Тоска, невыразимое отчаяние охватило меня. Я вспомнил свою белорусскую деревню. Передо мною встала яркая картина праздничной деревни, яркие платья девчат, разухабистый плач гармошки. Пляска на деревенской пыльной дороге. В ушах звенела народная песня. Не знаю, почему я ее вспомнил...

Да, это памятный день для меня... Я как будто предчувствовал свой арест, и мне захотелось побывать на Родине. Посмотреть на те овраги, где я любил прятаться от людей. Вот и побывал. Был праздничный день, деревенская молодежь собралась на поляну, и началась игра. Вот тут они запели свою народную песню:

Лейся, лейся солнечная масса

На тебя, больная Русь...

— Смирно, первое отделение! Здра! («Здра» по-тамошнему — здравствуйте).

Я вздрогнул. В это время по лагерю медленно шагал заместитель начальника первого отделения Головкин. Солнце уже закатывалось за горы. Тишь в природе была полная. Только шуга (мелкий лед) по временам давала знать, что Белое море начинает волноваться.

— Товарищ Власов-Уласс, — обратился ко мне социал-демократ Санин, — давайте напилем дров, а то холодно в роте. Да я думаю, что вы все равно спать рано не ляжете, побеседуем у огня.

Мне не хотелось отрываться от окна, но отказать было неудобно и пришлось взяться за пилку дров.

— А вот что, товарищ, сходи на дровяной склад, принеси баланчик (небольшое бревно), а то мало, поди, дров будет. А я пока расколю и снесу в роту.

Делать было нечего. Я должен был послушать товарища и отправиться за дровами. Я медленно стал спускаться по лестнице. Вдруг передо мною со всей ясностью встал вопрос о моем сроке. Десять лет! Шутки сказать, да еще Соловков. И на лестничной площадке я снова подошел к окошку. Как долго я там простоял, глубоко задумавшись, не могу сказать. Перед глазами медленно двигались измученные и изнуренные фигуры арестантов, а в мыслях проносились ярко мрачные картины соловецкой жизни. Пертозеро, где каждый день от недостатка пищи

и непосильной работы десятками умирают несчастные заключенные, Голгофа, куда представители крестьян и рабочих загоняют своих жертв для полного уничтожения. А вот и польские «шпионы» получили освобождение — одним росчерком Чека они «освободились» от жизни и труда. Еще семнадцать молодых жизней уничтожено во имя будущего блага, во имя коммунизма, во имя диктатуры пролетариата. Пролетарский исправительный дом — 11-я рота отрицательного элемента, куда загоняют обессиленных и потерявших трудоспособность людей, не могущих работать, но по дьявольскому чекистскому понятию «не желающих работать», где эти несчастные жертвы красного террора получают пищу только через два дня в третий...

— Товарищ Костя, и ты здесь?

Я вздрогнул. Кто мог меня так радостно окликать? В обращении ко мне слышались радость и неожиданность.

— Костя, друг, и ты здесь. А мы то думали, что ты загиб-петров (умер). — Вот так случай, а то мы часто о тебе вспоминали.

Действительно была неожиданность. Передо мной стоял Женья Жалмировский, товарищ по харьковской тюрьме, и с ним еще два, мне неизвестных.

— Вот тут мои друзья. Знакомьтесь. Могу тебе сказать, ребята на ять, не стукачи (не шпионы от чекистов), не бойся. Ну да ладно, что ты здесь делаешь? А вид у тебя, право, убийственный, словно белены объелся. Видно червонец (десять лет) имеешь. Или болен, может быть? Право, странно. Ты совершенно не тот человек. Вспомни Харьков, второй корпус, как мы там буянили. Или соловецкий-дрын (палка) из тебя прыть вышиб. Да, где ты работаешь? Ну, рассказывай.

Он на минуту остановился и оглянулся по сторонам, как будто боялся, чтобы стены не услышали наш разговор...

— А я-то работаю на штрафной командировке на Белужьем острове. Трудно брат приходится, шамать дают плохо, что тебе и говорить, поди, сам знаешь. Или ты новичок? Что недавно попал, что ли, что все время молчишь?

— А вот что, — он на минуту снова замолчал, потом решительно взмахнул рукою и продолжил: — знаешь что, я хотел бы с тобою кое о чем поговорить. Есть мало дело, я думаю, что ты остался тем, кем и был. Соловки тебя, верно, не изменили, как это делается с другими. Первое, мне нужно знать, где ты работаешь. Это, конечно, очень важно для дела. Он устремил на меня свой взор, и я в его глазах прочел решимость.

— Где я работаю? Плохо дело, брат, если оно зависит от работы. Я думаю, что ты не с пустяками пришел. Я помню тебя еще с Харькова как парня

решительного и порядочного. Так вот, я, как тебе будет известно, запретник и потому нигде не работаю. Сижу целыми днями в этой проклятой 14-й роте. Редко даже пускают в сад гулять. Плохо, друг мой. Пища, как и сам знаешь, отвратительная. Даже свинья мало-мальски уважающая себя не станет кушать. Ну что поделаешь. Вот спасибо политкрасному кресту, он меня немного поддерживает, а то пришлось бы погибнуть. Я каждый месяц получаю 10 рублей. Ведь это большая поддержка. Смотри, хлеба и сахару могу купить, да и на мыло остается. Вообще, свожу концы с концами. Но очень трудно. Я уже разов пять сидел в 11-й роте отрицательного элемента. Сам знаешь, каково там. А Соловки действительно редкое место. Здесь люди так мельчают, становятся такими ничтожными, что просто и говорить не стоит. Скоро будет год, как я нахожусь здесь в Соловках. А что пришлось видеть и слышать... Ужас, кошмар... Нет, здесь не люди, нет, нет. Я не могу допустить, чтобы человек так обращался с человеком. Загляни даже в историю, даже фанатики и иезуиты не могли додуматься при всей своей пылкой фантазии до таких пыток, какие практикуются в 11-й роте отрицательного элемента, на Секир-горе, Глиномьялке, 8-й роте шпаны, Голгофе на острове Анзер, Пертозере, на Зайчиках, на острове Конд, на Мягком острове, Пертоминске, Паранде и т.п. местах. Зачем тебе их пересчитывать, сам, небось, уже кое-где побывал.

— Да, ты прав, Костя. Ты имеешь 10 лет, а мы по три года. Все равно нам загиб-петров (смерть). Не сегодня, так завтра. Все пропадать, давай попытаем счастья, авось и наша кобыла вывезет. Вот нас с тобой будет четыре человека, все ребята на ять. Жизнь для нас плюнуть. Так и так мы обречены на верную, но медленную смерть. Не лучше ли, брат, покончить с этим одним взмахом, взять и разрубить Гордиев узел...

— Так вот оно, я очень рад, что тебя вижу. Как раз это кстати.

— Вот что, друг. Мы завтра решили бежать. У нас на Белужьем есть парусные баркасы, и их стережет один масол (чекист). Мы уже рассмотрели и решили взять один баркас и бежать на г. Кемь. Т. е. между Кемью и Сорокой расстояние приблизительно 42 версты, а мы за ночь сумеем покрыть. Так решено. Давай пять.

Так было заключено между нами соглашение о побеге из Соловков.

— А вот еще, что нужно подумать — как тебе будет лучше выбраться из Кремля. Хотя это не так важно. Впрочем, я постараюсь сегодня достать рабочие сведения. А ты завтра будь готов к двум часам дня.

— Т. е., как только начнет смеркаться, мы двинемся в путь.

— Ну, пока, смотри, не пропадай. Но не обижайся, сам знаешь, какие люди в Соловках. Прощай!

Солнце уже закатывалось за серую кучу туч, а товарищей моих все еще не было. Где они? Не случилось ли что-либо с ними?! По небу ползли медленно тучи, окрашенные в кровавый цвет заходящим солнцем...

Где они? Я сильно беспокоился и часто выбегал из роты. Оглядывался, не идут ли. Комендантские часы показывали два часа. Я решил так: наверно, сегодня нет никакой возможности или они оставили меня. Я спокойно стал возвращаться в роту, как вдруг кто-то ударил меня по плечу:

— На, и выходи из Кремля.

В моей руке очутилось рабочее сведение (пропуск), а Жолмирович исчез за углом церкви.

Осмотрев дату, я смело направился к главному выходу. Проходя мимо мосла (чекиста), я развернул сведение. Это означало, что я могу следовать дальше. Я вышел за ворота Кремля и увидел вчерашнего товарища, заметив меня, он повернул и пошел, дав знать следовать за ним. Мы прошли мимо Дивизиона и направили путь к Биосаду. Начало смеркаться, когда мы вошли в лес.

Вот обождём, пока придут товарищи. Действительно, ждать пришлось не долго. Мы вскоре услышали свист, что обозначало продолжать путь. Мы опять двинулись в путь, не говоря ни слова. За Биосадам мы все встретились и взяли направление к Пертозеру.

— А вот и баня № 2, — сказал Жалмировский. — Теперь мы за пределами I Отделения, в случае чего с работы, мол, возвращаемся, и баста. Кому какое дело.

Между прочим, мы двигались около моря. Начинался морской отлив, а потому нужно было спешить.

— Буря будет, — сказал Кононенко, — ишь как шумит лес. Да, будет буря, коли поймают, ух буря якая будет. Не слышал, что ли, вчера расстреляли двух за попытку бежать, да муvили перво, добро бока их прикладом погладили, а потом уже уговорили (расстреляли). Вот это буря. То самое будет и с нами, если сцапают.

— Да, слушайте ребята. Скоро будет Белужье. Нам нужно снять мосла (чекиста). Вот мой план действий. Мы рассыплемся друг от друга приблизительно на шагов пять-шесть и ползком будем подползать к морю, где стоит чекист. А теперь вырежем себе по дырину. Средний из нас начнет шуметь, да мы подойдем к месту, где стоит пост. Чекист, услышав шум, пойдет к месту откуда он исходит. Как только он пройдет первого и поравняется с местом, где находится второй, тот должен будет хватить его дырном по котелку (голове), а мы в тот же самый момент навалимся и на него. Убивать здесь мы его не будем, а возьмем с собой в море, с ним разделаемся по-своему.

Мы молча согласились на предложение товарища. Начало свежеть, и немного становилось холодновато, и легкая дрожь пробегала по суставам.

Белужье. И мы по заранее условленному плану стали действовать.

Все обошлось как нельзя лучше. Вторым последовал Петр, здоровенный детина. Когда чекист поравнялся с ним, то он его так хватил дрыном, что даже не было нужды связывать его. Мы быстро управились с баркасом и парусами и бросили чекиста в баркас, и але — в море.

Мне было поручено управлять рулем. Мы быстро обогнули небольшой остров и направились на северо-восток². На наше счастье, ветер был хороший, и отлив способствовал быстрому движению.

Временами холодная вода обдавала нас, и мы вынуждены были братья за весла, чтобы согреться. Ветер крепчал, начиналась зыбь. Мы то поднимались на гребне волны, то исчезали. Часов пять спустя чекист пришел в сознание. Мы ему приказали не двигаться, а то в противном случае он будет убит. Жалмировский предложил не церемониться с ним, а взять и пристрелить.

— Сволочь эта, наверное, много расстреляла. Что молчишь, собака?

Но остальные почему-то не согласились, и смерть его была отсрочена. Для безопасности мы его связали и бросили в крытую часть баркаса.

Мы прилагали все усилия, чтобы до рассвета добраться до материка. Или мы — погибли.

Я у руля совершенно промерз, хотя мне дан был тулуп, взятый у чекиста. Я стал просить, чтобы кто-нибудь заменил меня из товарищей, а я бы поработал веслами. Просьба моя не была исполнена, потому что я не мог стать у весел и парусов.

Положение становилось не из важных, и время двигалось очень медленно.

— Смотрите, что-то чернеет! Не земля ли? Материк! Материк.

Безусловно на горизонте виднелись горы. Месяц уже давно взошел, и нам было легче управлять баркасом.

При виде материка я совершенно забыл о холоде. Какая радость! Какое радостное чувство охватило меня при виде земли. Земля, свобода. Свобода после долголетнего заключения. Думано ли это?

Уже стало рассветать, и мы на горизонте увидели дымок. «Глеб Бокий» (пароход так называется). Все погибло!

— Беритесь за весла. Живо. А ты, Костя, оставайся у руля.

Все зависело от скорости, если мы успеем добраться до берега, есть надежда, что мы спасемся, а если они схватят нас здесь, то вопрос жизни решен.

² Для того чтобы попасть на карельский берег, беглецам необходимо было двигаться на северо-запад. — Здесь и далее примеч. ред.

Мы были у самого берега, местами кое-где видно было дно моря.

— Смотрите, — крикнул Кононенко, — «Глеб Бокий» спускает шлюпку. Видно, он дальше не может следовать.

Мы продвигались очень медленно, и шлюпка чекистов настигала нас. С каждой минутой между нами и чекистами расстояние уменьшалось. Когда они уже стали наседать, Кононенко сказал:

— Вот что, друзья, мы их должны остановить, а поэтому я думаю, что нужно открыть стрельбу. Между прочим, я когда-то хорошо стрелял.

Ответа не последовало, все были согласны с предложением товарища. Какое хладнокровие было в его движениях. Он спокойно взял винтовку, добытую нами у мосла во время взятия его. Осмотрев ее, попросил меня посторониться, но руль не бросать. Я исполнил его просьбу. Раздался сухой выстрел, за ним другой и третий. Чекисты стали отвечать тем же. А вот и берег. Еще выстрел, и товарищ Кононенко грузно шлепнулся на дно баркаса.

Один миг, и мы потеряли одного товарища. Он вчера мувил, что будет буря, а глянь и успокоился... Я вздрогнул. Стон, дым. Еще одна жертва.

— Погиб наш товарищ, и погиб наш палач, — глухим голосом ответил Жалмировский.

Мы были у берега, когда шлюпка повернула обратно. Видно не решились дальше открыто преследовать нас. А решили пересечь проезжую дорогу. Заранее зная, что мы лесом продолжать путь не сможем. Было 5-е декабря, но болота еще не замерзли, следовательно, мы вынуждены будем искать путь по дороге. Увидев, что чекисты двинулись на г. Кемь, мы поняли их намерение и стали советоваться: как нам быть.

— Вот что, друзья, — сказал Жалмирович. — Товарищ Кононенко погиб, пожертвовал своею жизнью за нас. Так вот что. Вон там его труп в баркасе вместе с нашим палачом. Его не стало, может быть, мы еще потеряем одного из нас, но двое должны уйти, все равно кто. По-моему, мы должны тянуть жребий, и на кого падет жребий, тот должен будет задерживать погоню, пока у него хватит патронов. Понятно?

Он замолчал, отошел в сторону, и стал делать жребий.

— Ну, вот, тяните.

Первый стал тянуть Петр, а потом я. Мы стали сличать, и мой оказался короткий. Что означало — мне задерживать погоню. Я получил винтовку и патроны. Мы медленно двинулись в путь по направлению Онеги.

Погода начинала разыгрываться. Сухой [снег] затягивал наш след. Вдруг меня осенила мысль.

— Вот что, братья. Только вы не подумайте, что я испугался. Нет. Но послушайте, а потом решите. Я думаю так. Мы сегодня не должны целый день двигаться, а выбрать поукромнее местечко и спрятаться. Потерпим до ночи, а затем двинем в путь обратно на г. Кемь. Засады здесь не будет, потому что им не придет в голову, что мы повернем обратно, т.е. прямо им в лапы. Ведь это безумие, но авось мы этим путем спасемся, а как только начнет смеркаться, мы двинем в путь, а если доберемся до железной дороги, то заберемся на крышу или под вагон поезда и — пока темно — поедем, а там пешком будем продолжать нашу дорогу.

— Так добре, действительно хорошее предложение, мне это нравится. А как тебе, Петя?

— Да, и я согласен на его предложение.

— Хорошо. Где наше не пропадало. Погибать, значит, всем вместе, видно, наша доля такова.

Скоро мы нашли место и засели.

Буран. Ветер крепчал, в лесу не видно ни зги.

Мы плотно прижались друг к другу, стараясь как можно меньше занять пространства. Тулуп чекиста немного защищал нас от окончательного замерзания. Время тянулось адски медленно. Лес превратился в сплошную белую массу.

— Я окончательно застываю, — сказал Петр, — бушлат мой превратился в ледяную массу, ног совершенно не чувствую, я не могу больше терпеть, братья, пойдемте. Или пристрелите меня. Меня волны в баркасе совершенно промочили, что нет даже ни одной сухой нитки на мне.

Что делать? Положение не из радостных. Оставаться и выжидать ночи нет никакой физической возможности. Товарищ просит пристрелить.

— Пойдемте, ребята, — сказал я. — Видно, мы убежали из Соловков только для того, чтобы умереть на материке. Мы хотели свободы, так вот мы на свободе.

Дорога была трудная, кучи снега преграждали путь и препятствовали движению. Мы добре согрелись, и силы отказывались служить. Голод давно давал чувствовать о своем существовании.

— Чу! Железная дорога, слышите пересказ колес, — сказал Жалмировский.

Действительно, спустя несколько минут мы очутились у полустанка, где намерен был остановиться товарный поезд.

Ну и везет нам.

— Ребята, вы оставайтесь здесь, а я пойду посмотрю, нет ли где пустого вагона, если есть, то мы заберемся и поедем, — сказал Жалмировский.

Мы запрягались за кусты, а я на всякий случай приготовился. Погибать, так погибать всем, было решено.

Спустя небольшое время вернулся Жалмирович.

— Все идет как нельзя лучше. Поезд маршрутный, идет в Лодейное Поле.

— Мы спасены! Пойдемте! А ты, Костя, следуй за нами и смотри в оба.

Мы хорошо забрались в вагон и через люк забросили задвижку для убедительности. Во время хода поезда мы бегали по вагону, чтобы согреться. Положение Петра ухудшалось, ноги были мокрыми, и он их никак не мог согреть. Мы ему предложили разуться и завернуть ноги в тулуп. Поезд мало где останавливался, а на больших станциях не останавливался. В ночь на 7-е мы добрались до Лодейного Поля.

Поезд дальше не следовал, и мы вынуждены были продолжать путь пешком. Дорога была трудная, потому что трактом мы идти не решились, а шли проселочными дорожками, которые не были укатаны. Силы совершенно отказывали служить. Препятствия, такие, как сугробы, приходилось переползать. Во рту все пересохло. Голод делал решительное заявление, а путь продолжать было необходимо. Мы, чтобы умалить голод, пытались употреблять для пищи лошадиный кал, но он впоследствии оказался не пригодным для пищи.

Уже был большой день, когда вдали показалась поскотина³. Деревня, зная, не далеко. Мы напрягли свои последние силы. За опушкой леса показалось село, расположившееся по обе стороны реки Волхов.

Мы стали совещаться: как быть. Продолжать путь без пищи мы больше не могли. Украсть, что ли? Но при дальнейшем обсуждении вопроса это оказалось невозможным. Оставался один выход — просить...

На том и порешили. Что будет — все равно. Мы смело направились в село.

— Давайте зайдем вот в эту хату, она около леса. А в случае чего, ведь у нас есть винтовка. Во дворе нас встретила молодая женщина. Когда она узнала, что мы голодны, она засуетилась.

Только сказала, пусть мы немного пождем, пока она приготовит, что имеет. Не знаю, почему она нас встретила радушно, не могу объяснить. Может быть, ей винтовка внушила принять нас так или просто из человеческих чувств, что в настоящий момент редко можно встретить.

Мороз был сильный, и поезд летел очень быстро. Мы плотно прижимались к двери вагона, чтобы ветер не так хлестал...

Званка. Когда я оторвал руки от ручек вагона, то вся кожа осталась на железных ручках вагона...

До границы я добрался благополучно⁴.

³ Пастбище, выгон.

⁴ В оригинале предложение зачеркнуто чернильным пером.



НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
ЖУРАВЛЕВ



Е. А. Певак

ИДЕАЛИСТЫ В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Очерк Николая Антоновича Журавлева «Живут три друга» появился в сборнике, составителем которого и соавтором трех участников — Н. Журавлева, В. Назарова («Необычные воспитанники») и И. Петрова («Мой корнет-а-пистон в Болшеве») — был Виктор Федорович Авдеев¹. В 1931 г. сам Авдеев, в недалеком прошлом беспризорник, затем автор нескольких произведений, лауреат Сталинской премии, опубликовал свой материал в книге «Вчера и сегодня. Альманах бывших правонарушителей и беспризорных». Предисловие к первому (и единственному выпуску) альманаха написал М. Горький, и он же помог бывшим беспризорным найти свое место в жизни.

В эти годы в России вышел ряд книг, посвященных судьбам беспризорников (в их числе «репрессированные» «Болшевики: Очерки по истории Болшевской имени Г. Г. Ягода трудкоммуну НКВД», изданные в 1936 г. под редакцией М. Горького, К. Горбунова, М. Лузгина); по книге Матвея Погребинского «Фабрика людей» (1929) снят фильм «Путевка в жизнь», получивший Гран-при на I Международном кинофестивале в Венеции (1932). Широко известны книги А. С. Макаренко, прежде всего «Педагогическая поэма» (работа над ней велась в 1925–1935 гг.); «Республика ШКИД» (1927) Григория Белых и Алексея Пантелеева. В 1948 г. тема беспризорников появляется в трилогии Анатолия Рыбакова — уже в жанре традиционных повестей: «Кортис», «Бронзовая птица» и «Выстрел». И это далеко не все, что публиковалось в России, из посвященного проблемам перевоспитания юных преступников, имеющих такой богатый жизненный опыт, какого часто не было у тех, кто организовывал колонии.

Что объединяет эти книги? Прежде всего общая идеология, ярче выраженная в произведениях, написанных в конце 1920-х — в 1930-е гг., когда в целом завершилась фаза военного противостояния с внешним и внутренним врагом и особое значение приобрела идеологическая борьба нового государства, цель которой — доказать превосходство идей, декларируемых Советами, над системой ценностей старого мира. Цели и задачи этой «информационной войны» были

¹ Живут три друга: очерк // Необычные воспитанники : [о труд. коммуне: сборник]. М.: Знание, 1976. 128 с.

определены М. Горьким и реализовывались, в частности, в основанном им журнале «Наши достижения».

Адресатом и журнала, и книг, в которых в первую очередь речь шла об успехах новой власти, была западная аудитория, основным источником информации для которой стали эмигрантские издания, где акцент делался на негативе и где можно было прочесть о том, что «достижения» сопровождалась жестокой расправой с не принимающими новой идеологии гражданами страны. В наши дни появилась наконец возможность взглянуть на события почти уже столетней давности с двух точек зрения, чтобы, не обвиняя сходу ни тех, кто сотрудничал с новой властью, ни тех, кто ей противодействовал — на идеологическом фронте или с оружием в руках, постараться понять, почему оказались по разные стороны баррикад люди, которые смысл своей жизни видели в спасении Отечества.

Свое объяснение этому трагическому парадоксу дал Н. А. Бердяев, поделившись в автобиографическом «Самопознании» наблюдениями над обществом и результатами изучения исторических книг: «Периодически являются люди, которые с большим подъемом поют: “От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан умирающих за великое дело любви”. И уходят, несут страшные жертвы, отдают свою жизнь. Но вот они побеждают и торжествуют. И тогда они очень быстро превращаются в “ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови”. И тогда появляются новые люди, которые хотят уйти в “стан умирающих”. И так без конца совершается трагикомедия истории»².

Фанатизм как следствие несвободы мысли, добровольное подчинение идеологическим догмам, с одной стороны, сознательное или ненамеренное игнорирование всеобщей истории человечества и желание вне этого общего контекста построить свой «рай» на земле, с другой, — приводят к войне идеалов, дискредитирующей в конечном итоге и сами эти идеалы: в пылу борьбы сражающиеся напрочь забывают о том, ради кого ввязались в бой. Но алогизм происходящего становится очевиден лишь тогда, когда обилие жертв уже нельзя оправдать никакой высокой идеей.

Вторая половина 1920-х гг. в России — время, когда простоту физических расправ с инакомыслящими большевикам пришлось заменить террором идеологическим: слишком велик и опасен был резонанс расстрельных дел. На смену отвергнутому гуманизму прежних эпох приходит гуманизм пролетарский, идеологом которого становится М. Горький. Ему удается собрать вокруг себя тех, кто, как и он, нацелен на то, чтобы созидать, а не разрушать, переубеждать, а не уничтожать идейных противников. И как в 1918 г. он делал все, что было в его

² Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1990. С. 228.

силах, чтобы спасти хотя бы часть технической и гуманитарной интеллигенции не только от расстрелов, но и от голодной смерти, так в 1920-е он включается в спасение тех, от кого буквально зависело будущее страны: детей, подростков, оказавшихся на улице или в воровских притонах.

Проблема их реабилитации тесно смыкалась с другой, идеологически не менее важной для Советов, — доказать, что нормальные условия быта, существование в коллективе, перед которым поставлена цель самостоятельно создать эти условия, приведут к нравственному выздоровлению тех, кого прежний режим превращал в преступников. Рассматривая капиталистический мир как источник нравственных уродств, выливающихся в разные формы преступлений — от воровства до убийства, идеологи нового строя основой своей теории о переделке («перековке») человека сделали тезис построения в России кардинально нового порядка, при котором невозможна будет эксплуатация человека человеком и все богатства будут принадлежать народу, а воровать у самих себя — нелогично, бессмысленно. Критически осмыслив прежний опыт работы с малолетними правонарушителями, руководители и организаторы колоний нового типа особо подчеркивали роль коллектива в процессе перевоспитания.

Идея «коллективного» исцеления от пороков была близка Горькому. Об опасности анархически-индивидуалистической идеологии, разрушающей человека и лишаящей его цели в жизни, он писал неоднократно. Замыкаясь в границах своего «я», человек перестает осознавать масштаб задач, стоящих перед человечеством, он сосредотачивается на решении проблем, не связанных с большой Историей. Для Горького в этом главная опасность, так как цель человеческого существования в его представлении — преобразование мира в самом широком смысле слова, не просто социальное переустройство или изменение политического формата — это привнесение разумного, созидательного начала в хаос жизни, рациональное воздействие и на природный мир. Для реализации грандиозных целей была разработана методика превращения существа примитивного в сознательного борца с современной буржуазией — «преступником, который не может быть перевоспитан и должен быть уничтожен» (М. Горький; из предисловия к очеркам «Болшевики»).

Можно критиковать теоретические постулаты, ставшие основой масштабного эксперимента, однако, читая воспоминания бывших колонистов, не признать действенность выбранного способа «перековки» невозможно. Наверное, многое из того, что осталось «за кадром» и не упомянуто в очерках авторами, скорректировало бы наше представление о происходящем в колониях и заставило бы с большей долей скепсиса отнести к рассказанным ими историям. Если определять

жанр материалов, представленных в сборниках, состоящих из очерков «бывших людей», логично назвать все написанное ими пропагандой. А собственно, могло ли быть иначе в ситуации жесткого идеологического противостояния?

И в то же время есть в этих текстах кое-что другое, то, чем отличались многие проекты, инициированные М. Горьким в 1910–1920-е гг. Для характеристики этого «другого» больше всего подойдет, пожалуй, слово романтизм, — но не тот, «унылый», развенчанный Пушкиным, а романтизм деятельный, активный, который сам Горький увидел у Лермонтова.

Истории воспитанников колоний писатель воспринимал как подтверждение собственной правоты: только волевое усилие способно изменить жизнь. Личный жизненный опыт, понимание того, что соблазны — как «экономические», так и «идеологические» — крайне опасны и в одиночку противостоять им сложно, скорее, невозможно для тех, кто не был от природы наделен сильной личной волей, позволяющей преодолевать препятствия на пути к поставленной цели, помогли Горькому высоко оценить достижения колонистов и организаторов этого движения. Давняя идея писателя о формировании некой коллективной воли, не подчиняющей личность, а включающей ее в сферу своего влияния и дающей равные со всеми права, — можно сказать, реализовывалась при его непосредственном участии. И при всех материалистических обоснованиях применяемой методики, опирающейся на экономическую теорию Маркса и его последователей, идеалистическая составляющая предпринятого страной Советов эксперимента тоже очевидна. Не раз и не два в очерках колонистов речь заходит о вере, или доверии, на чем, собственно, и построена была «колониальная» жизнь. Вера в собственные силы, презрительное отношение к потребительской психологии, умение и готовность увидеть в человеке не животное, а существо разумное и — духовное, то есть способное преодолеть зависимость от примитивных потребностей, пусть пока и на уровне элементарном: не пить, не курить, отказаться от наркотиков... Как сложно решить хотя бы эту проблему «первого уровня», хорошо известно тем, кто сегодня пытается спасти оступившуюся молодежь.

Понятно, что перевоспитывать недавних преступников, уповая только лишь на пробуждение в их душах светлого начала, было бы и наивно, и недальновидно, потому и были задействованы механизмы материального порядка: вместо тюрьмы и лагеря — пусть и весьма относительная, но воля; кредит от новой власти — не только доверия (доверие тоже давали «в кредит»), а вполне материальный — одеть, обуть, накормить, предоставить жилье, — который затем возвращался государству; возможность трудиться и справедливое вознаграждение за труд; возможность получить образование; в конце концов, возможность погасить

судимость. Все это, разумеется, срабатывало, становясь важным стимулом порвать с прежней «сладкой» воровской жизнью. Но полагаться исключительно на материальную заинтересованность воспитанников организаторы колоний не планировали: при первом приближении, когда ставилась цель вырвать человека из привычного кругооборота жизни («воля — тюрьма», а в конечном итоге — вполне вероятные «три золотника свинца»), это помогало, но постепенно шкала ценностей усложнялась, прирастая нематериальными категориями. Из разряда таких «категорий» — свобода принимать решения и готовность нести свою долю ответственности за это; понимание того, что смысл существования человека в созидательной деятельности, направленной на построение справедливого мира, где у каждого есть шанс «выправить» свою судьбу.

Сложно сказать, что заставило советскую власть прекратить этот эксперимент, явно успешный, и разрушить «фасад НКВД». Можно предположить, что те формы существования, которые сложились в колониях, прежде всего в Болшевской, оказались чересчур «образцово-показательными» и не вписывались уже в ту идеологическую парадигму, которая в это время существовала в стране.

Глядя из дня сегодняшнего на то, что происходило в первые десятилетия существования советской России, не всегда понимаешь, какие баталии шли между идеологами новой власти, к тому же большая часть сведений об этой борьбе в прямом смысле слова вычеркнута из нашей истории. Вероятно, пришло время «вернуть» забытые факты и судить не историю Отечества и не конкретные ее периоды, а исторических деятелей, причем не только «по словам», но и по делам их. В этом случае проще будет понять, почему к энкавэдешнику Матвею Погребинскому, самого себя поставив под смертельный удар, отправился воспитанник колонии, бывший «медвежатник» Алексей Погодин — отдать последний долг своему наставнику, который, не дожидаясь расправы, свел счеты с жизнью. Не доказательство ли это успешности эксперимента «Фабрики людей»?

Видимо, успех этот оказался неожиданным для главных инициаторов эксперимента. Развязанная правительством в 1937 г. после снятия и ареста Г. Г. Ягоды, чье имя носила колония, война с «колонистами» обнаружила гротескную сущность созданного в России государственного механизма: катастрофические расхождения декларируемых идеалов и практики. В партийных документах их еще можно было «примирить», но в реальной жизни это противоестественное соединение оборачивалось трагедиями для тех, кто, научившись жить и мыслить свободно, уже не мог существовать в пределах пролетарского гуманизма.



Живут три друга¹



В декабре 1928 года из Болшевской трудкоммуны ОГПУ в Кемь, что на берегу Белого моря, прибыла комиссия с «особым» заданием. Ей предстояло забрать из «Соловков» сотню заключенных. Среди воров всех мастей, от «медвежатников» до «скокарей», Соловки пользовались широкой известностью. Полное название этого учреждения, расположенного на острове, в бывшем монастыре, было УСЛОН — Управление Соловецких лагерей особого назначения. Отправляли сюда только рецидивистов — закоренелых, с большим сроком. Бежать из Соловков было невозможно: вокруг море, самый ближний берег — в Кемь, за шестьдесят километров.

И вот возник смелый замысел: перевоспитывать заключенных новым методом. Молодая Советская Республика ставила грандиозный опыт, на который не осмеливалось ни одно западное государство, предлагало матерым преступникам, осужденным законом за грабежи и кражи, получившим долгий срок заключения, начать нормальную трудовую жизнь на свободе.

Что это означало? Если человека брали из тюрьмы или из лагеря со сроком отсидки три года или пять лет, то приговор не отменялся. Именно эти три года или пять лет он и должен был провести в стенах Болшева, как осужденный, однако работая в обычных условиях. Когда же кончался срок приговора, с бывшего преступника снималась судимость, он становился полноправным членом общества и мог навсегда распрощаться с коммундой и избрать себе местом жительства любую точку Советского Союза.

Летом того же 1928 года приехавший с о. Капри в Россию великий пролетарский писатель Максим Горький в сопровождении организатора Болшевской

¹ Публикуется по: Журавлев Н. Живут три друга // Необычные воспитанники. Сборник. М.: Знание, 1976.

трудкоммуны Матвея Погребинского и нескольких воспитанников совершил путешествие в Соловки. Он хотел сам посмотреть на это гнездо «соловьев-разбойников», посмотреть, в каких условиях живут заключенные.

А вернувшись, горячо поддержал новое начинание, согласившись, что это лучший путь для искоренения преступности в государстве. Тогда же Погребинский договорился с начальником УСЛОНа о переводе первой партии заключенных, выразивших согласие поселиться в коммуне. Отобрали сто человек, и спустя полгода, в декабре, новая комиссия из болшевцев явилась в Кемь, чтобы перевезти этих людей с севера под Москву. Приехало их шесть человек во главе с воспитателем Смилянским, бывшим работником ОГПУ. В состав этой комиссии входил и я.

В Кемь находился распределительный лагерь, и первая партия, подготовленная к отправке в Москву, уже поджидала нас. Перед тем как принимать заключенных, Смилянский нас проинструктировал.

— Напоминаю вам, товарищи, положение весьма сложное. Принимаем... матерых жуликов. Сами знаете, вы такие же были. Когда расконвоируют соловецких заключенных, они почувствуют себя людьми свободными, и не исключена возможность, что кое-кто попытается и убежать.

— Положим, сейчас они не убегут, — сказал член комиссии Алексей Погодин. — А вот когда перевалим за Петрозаводск, выедем из Карелии, там уж смотреть надо в оба.

У нас в Болшеве ценили, уважали Погодина и с мнением его считались. Еще не так давно Погодин был известным «медвежатником» — брал несгораемые кассы, пускался на головокружительные авантюры. Человек он был начитанный, с интеллигентными манерами, хорошо одевался, холил свою рыжую бороду, аккуратно подстригал волосы с широкой плешью. Было ему уже далеко за сорок.

— Да уж нам ли не знать? — засмеялся я. — Сами хлебали тюремную баланду.

Мы оформили с начальством лагеря документы, а затем в наше распоряжение передали первую партию — девяносто восемь человек из ста: один заболел, другой в последний момент отказался, поддавшись уговорам воров.

Нашу комиссию матерые жиганы встретили, как предателей. «Легавыми заделались? Авторитет хотите на нашей шкуре заработать? Купить задумали? В клоповник ваш не пойдем». И вслед за жиганами такого мнения придерживалось большинство лагерников. В самом деле: все знали, что за спиной болшевской комиссии стоят органы ОГПУ. Однако всем заключенным осточертела воровская жизнь, параша в камере, голые нары, да только признаться в этом было нельзя. Какой же ты тогда «блатач»? Кто поверит в твое бесстрашие? И поэтому часть тех, кто дал согласие ехать в Болшево, так и объясняли оставшимся на острове

друзьям: «Хотим из Соловков вырваться». Другие проявили рассудительность и не скрывали, что хотят присмотреться к необычной коммуне. Между собой они рассуждали так: «Хуже-то, чем тут, не должно быть? Все-таки не в Белом море сидеть, Москва рядом». Но и эти держали про запас тот же выход: «А не по нраву придется — сбежим». Действительно, что было терять людям, срок заключения которых колебался от трех до десяти лет?

Разве я и все члены комиссии не по таким же соображениям в свое время пришли в Болшево? Но как теперь наша шестерка отличалась от принятой партии заключенных! Я уж не говорю о том, что все мы навсегда порвали с прошлым, с содроганием вспоминали о судах, камерах, лагерных койках.

Разница была и внешняя. Все мы были в отличных костюмах, ботинках, хорошо пострижены, выбриты и держались с той уверенностью, которую человеку дает свобода, сознание своей нужности в обществе, прочное, обеспеченное положение. В Болшеве все мы хорошо зарабатывали, некоторые обзавелись семьями.

Конечно, у нашей комиссии среди освобожденных «соловьев» нашлись знакомые, друзья. Взял кто-то и меня за локоть, и я услышал окрик:

— Журавль! Ты?

Обернувшись, я увидел плотного красивого парня, глядевшего на меня умным, испытующим взглядом.

Губы его чуть-чуть улыбались.

— Студент! — обрадованно отозвался я и крепко пожал его сильную руку. — К нам в Болшево? Я всегда считал, что у тебя хорошая башка на плечах.

Оба мы вспомнили свои старые клички.

— Фраером стал, — сказал он мне.

— Спрашиваешь! И ты таким будешь через год.

Фамилия «Студента» была Смирнов², звали его Павел. Знакомство мы с ним свели по поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло — в 1925 году вместе сидели в Сокольниковской тюрьме на Матросской Тишине, куда попали за неблагоприятные дела.

Оба там работали в переплетной, были одногодками, москвичами. Мечтали тогда и он, и я об одном: скорее бы вырваться на волю и заняться прежним «ремеслом». Гордились, что мы «хорошие» воры, мол, неплохо бы «работать» на пару.

В те годы в Сокольниковской тюрьме на Матросской Тишине у нас был еще один дружок — Миша Григорьев: отбывал с нами срок в одной камере. И я, конечно, сразу о нем спросил Павла:

— Не знаешь, где Мишка?

² Фамилия изменена. — Здесь и далее прим. ред.

— Слышал, будто на воле. А там, кто его знает. Может, сидит, как и я.

— Вот бы и его отыскать, — сказал я. — Перетянуть к нам в Болшево. Опять бы собрались все трое. Но уже не «кандальниками» собрались, а людьми свободными, квалифицированными рабочими.

Тонкие губы Павла тронула легкая, еле заметная усмешка, он не ответил. Я заметил его усмешку, тут же смекнул: «Что-то держит на уме».

— Твердо решил завязать? — спросил я его в упор, как друга.

— Ты же видишь — еду с вами.

Опять на губах усмешечка.

Я понял, что мы хоть и «кореш» с Павлом, но много воды утекло с тех пор, как сидели на Матросской Тишине, и теперь он смотрит на меня, как на «легаша». В самом деле, сколько минуло лет, как мы не виделись? У него, небось, не одна новая судимость появилась? Вот в «Соловках» загорал. Я сам не так давно отбыл наказание тут же на Белом море. Оба повзрослели, укоренились в своих взглядах, а дорожки-то круто разошлись. По сдержанности, по скованности движений я чувствовал, что Павел свободным себя сейчас не считает. Дескать, из заключения он отдан под конвой, и вот теперь его должны везти в новый лагерь под Москву.

— Дружка нашел? — спросил меня Смилянский: от него не ускользнула наша встреча. — Как у него настроение? На уме, говоришь, что-то держит? Следи. Отдаю под твою ответственность.

Я и без наказа Смилянского решил не спускать глаз с Павла. Когда-то мы крепко сошлись, и мне было бы жаль, если бы он не поверил в то, что можно начать совсем новую жизнь, и попытался бы убежать с дороги. Себя я чувствовал, как человек, который уже совсем тонул, захлебывался и был схвачен за волосы, вытащен из водоворота на песочек, ожил. От души я желал и всей партии освобожденных сбросить груз прошлого и стать на трудовую дорогу. Особенно, конечно, людям, которых знал, корешам по прошлой горькой жизни.

— Какой у тебя был срок? — спросил я Павла.

— Красненькая.

— Ого! — покачал я головой. — Ничего.

«Красненькая», или «червонец», это было десять лет заключения, крайняя мера перевоспитания в ту пору. Если преступник не исправлялся и после такой «строгой изоляции», вновь начинал воровать, грабить, то за очередное «дело» следовали «три золотника свинца», как говорили блатные. Закон гласил так: упорно не хочешь работать, как все граждане Советского Союза, вредишь? Значит, ты враг и пощады не жди.

От Кеми идет железная дорога. Нам были предоставлены два пассажирских вагона. Мы погрузили партию и... прощай, Белое море, святой Соловецкий монастырь, железные решетки! Поезд покотил нас в Петрозаводск — столицу Карелии.

— Все! — подытожил кто-то. — Теперь мы уже не «монахи»!

— Но и не вольные птахи!

Видно, мало кто из будущих коммунаров верил, что он свободен.

Для начала мы хорошо накормили всю партию освобожденных. Каждому выдали по буханке белого хлеба, по целому кольцу колбасы; ешь от пуза, поправляйся после тощих тюремных харчей, почувствуй сразу то, что с тобою произошло. Вагон наш покачивался, все девяносто восемь человек сидели, ели, пили чай, оживленно разговаривали. За окном бежали заснеженные ели, березы, бревенчатые избы, высились сугробы, в окошки заглядывало солнышко.

Мне приходилось мотаться по всему вагону, подсаживаться на скамейку то в одном купе, то в другом, завязывать беседу, отвечать на сотни вопросов о Болшевской трудкоммуне. Освобожденные интересовались буквально всем: какое общежитие, приварок, условия работы на фабриках, оплата труда. Чаще ж всего спрашивали, сильная ли охрана.

— Смотря по человеку, — отвечал я весело. — У кого совесть есть да еще умишко в черепной коробке — сильная. Не убежит.

— Ну, конечно, — кивнул Смирнов, сделав вид, будто вполне поверил мне, и подмигнул соловчанам. — Коммуна ОГПУ и ни одного агента с винтом³? Птички летают?

— Точно.

Вокруг хохотали, считая, что я ловкач и остряк.

Часа два спустя ко мне подошел Смилянский. Воспитателей своих мы, коммунары, любили. Многие были участниками Гражданской войны, настоящими коммунистами. С нами воспитатели держались и как наставники, и как старшие товарищи. Смилянский был высокий, черноволосый, с быстрым, пронизательным взглядом черных глаз, четкими движениями: в нем чувствовалась военная выправка. Носил он костюм защитного цвета, хромовые сапоги, всегда отлично начищенные.

— Корешок-то твой, Николай, в самом деле что-то задумал, — сказал он мне. — Сейчас ко мне тут один паренек подходил. Говорит: Смирнов почти ничего не ел, а хлеб и колбасу спрятал под подушку своей постели. Он на второй полке едет. Не зря, а?

³ Винт — винтовка.

— Точно, — незадумываясь ответил я.

— Все с удовольствием подзаправились. Понимаешь? Идем-ка к нему.

— Только, Ефим Павлович, не надо показывать, что мы заподозрили. Я Павла хорошо знаю. Очень волевой. В блатном мире у него высокий авторитет. Он домушник, семь судимостей, на воле тысячами ворочал. Что решил, то сделает!

Как бы прогуливаясь, мы со Смилянским вошли в купе, где ехал Павел Смирнов. Там мы застали Алексея Погодина: в руках у него была буханка хлеба и кольцо колбасы. Все это приношение он протянул Смирнову.

— Ты чего это не ешь? — спрашивал Погодин. — Думаешь, до Москвы больше кормить не будем? Поправляйся.

Павел густо покраснел и быстро, проницательно глянул на Погодина, на меня, воспитателя.

— Зачем мне? — сказал он, улыбаясь, спокойно, чуть разведя руки. — Просто аппетиту не было. Сами понимаете... большое возбуждение. Я и сунул колбасу под подушку. Через часок сяду и наверну.

А глаза его — зоркие, холодные — сказали: следите за мной? Ловите? Не на простачка напали.

И я окончательно убедился: Павел задумал побег из поезда.

Наступила ночь, я прилег в своем купе на нижнюю полку, заложил руки за голову. Поскольку весь вагон был занят соловецкими «пассажирами», двери с обоих концов заперли на ключ, так что ночью из них едва ли кто мог сбежать на остановке. Можно было спокойно отдохнуть до утра, но мне не спалось. Как за подмороженным окном мелькали ели, редкие огоньки деревень, так и передо мной мелькала моя пестрая, беспокойная жизнь. Давно ли я сам был в положении моего старого кореша Павла Смирнова?

Сам я москвич, детство провел на Проточном переулке у Смоленского рынка: до Октябрьской революции здесь всегда ютилось мелкое ворье, бродяги, пропойцы. Рядом находился Рукавишниковский приют, который вернее было бы назвать тюрьмой для малолеток. У меня там было полно дружков. С ними я шнырял по толкучке, приучился воровать. Только что кончилась гражданская война, в стране свирепствовала разруха, работу найти было негде, подростки моего возраста безрезультатно околачивались на бирже труда. А соблазнов было много, в стране разрешили частную торговлю, магазины, палатки были завалены костюмами, отрезами материй, сладостями, нэпманы раскатывали на рысках, старые барыни вынули запряженные браслеты, серьги, из ресторанов зазывно звучала музыка. Новоиспеченным буржуям можно нас грабить, а нам их нельзя?

Так я попал в тюрьму на Матросской Тишине и как несовершеннолетний отсидел недолго. Тут я познакомился с настоящими «мастерами отмычки», выйдя, стал воровать с ними в компании и получил новый срок. Судимости шли одна за другой, и, наконец, я был выслан на Мягостров в Белом море, недалеко от Соловков. Я понял, что следующий мой «срок» будет «красненькая», «червонец», а там на очереди встанут и «три золотника свинца».

И в августе 1927 года, вернувшись из очередного заключения в Москву, я глубоко задумался: как же мне жить? Кривая дорожка к добру не приведет.

А что делать? Поступить на работу? Кто возьмет такого ухаря, как я? Старых дружков на Смоленском рынке я не нашел, из разговоров узнал, что большинство их в заключении, а часть в Болшевской трудкоммуне ОГПУ. «Трудкоммуна»? Это было большой новостью. И когда мне сказали, что там находится и мой старый «кореш», вор, бывший приютский из Рукавишниковского Илюха Петров, я решил провести его, понюхать, что же это за коммуна? С чем ее едят? Ведь мне уже стукнуло двадцать два года, пора было окончательно решать, кем быть.

Адреса точного я не знал, слышал только, что ехать надо всего с полчаса, с Ярославского вокзала. Так добрался до Подлипок, и тут мне люди подсказали сойти.

Помещалась коммуна в лесу, в бывшем имении «шоколадного короля» Крафта, после революции сбежавшего за границу. Избы соседней деревеньки Костино заметно начали теснить новые просторные бараки, где жили коммунары. Я сразу встретил целую кучу старых друзей. Илюху Петрова, который уже был мастером машинного отделения обувной фабрики и поразил меня отличным костюмом, новенькими ботинками; Ивана Бунакова, Николу Андреева, Сашу Дуленкова по кличке Егоза. Все они обрадовались мне и усиленно стали советовать кинуть якорь в Болшеве.

Я засмеялся:

— Хохлы говорят: «Це дило треба обмозгувати». Я возьму бутылочку, посидим и подумаем.

— Отставить, — засмеялся Илюха Петров. — Бутылочка у нас не пройдет. Тут сухой закон, как в Америке. Понял, Коля? И если к нам поступишь, то имей в виду: клюкнешь — выгонят.

Вот какие тут порядки? А что? Не так и плохо. Понавидался я за воровские годы и пьянства, и разврата, и грязи — глаза б не глядели! Эна как выглядят мои старые приятели: чистенькие, веселые, ходят, не оглядываясь, что «мильтоны сцапают». Клуб у них свой, столовая, светлые общежития, работают на фабриках как свободные люди. Охраны — никакой.

И я решил зацепиться в Болшеве. Примут ли вот только? Старые дружки сразу стали хлопотать, потащили меня к управляющему коммуной и первому ее воспитателю Сергею Петровичу Богословскому. Тот выслушал нас спокойно, не перебивая, и за это время я поймал на себе несколько его внимательных взглядов.

Потом он коротко сказал:

— Что ж: в пятницу на общее собрание. Как решат коммунары.

Разговор этот состоялся во вторник, а пока Саша Егоза с разрешения руководства взял меня под свою ответственность и на полное содержание. Мы спали «валетом» на его койке, делили на пару обед и ужин в столовке, конечно, просили у повара добавки.

В пятницу меня представили общему собранию. Надо сказать, что я сильно волновался. В зале длинного одноэтажного клуба, похожего на барак, сидело человек шестьсот парней, девушек — все бывшие обитатели тюремных камер, а теперь работники обувной, лыжной, трикотажной фабрик. Почти все с татуировкой на руках, а то и на груди.

Председатель приемочной комиссии предоставил мне слово. Я вышел на сцену, глянул в зал и как ослеп: ну и народищу! Тысяча глаз! Рассказал о себе, как сумел:

— Из рабочей семьи сам. Отец, мать малограмотные. Отдали меня в начальную школу, ну... в третьем классе на второй год остался и бросил. Двенадцать лет мне было, определили «мальчиком» в контору к итальянцу Пеплу на Басманной, дом 4. Надоели тычки, подзатыльники... стал околачиваться на Смоленском рынке. Дружков завел с Рукавишниковского приюта, вот Илюху Петрова, Егозу... вместе с горки на «дно» катились. Поступал на биржу труда, да ведь безработица...

Я стоял весь мокрый и почему-то сжимал и разжимал пальцы рук. Из зала мне задали несколько вопросов: интересовались, в каких тюрьмах сидел, по каким делам.

Потом выступили два поручителя, дали мне характеристику.

— Я Журавля знаю еще с Рукавишниковского, — сказал Илья Петров. — Соседями жили, вместе на Смоленском рынке у барынек золотые часики снимали, срывали бриллиантовые брошки, серьги. И вор был хороший, и кореш. Три судимости, последний срок отбывал на Мягострове, в Белом море. Я с Николаем говорил, он хочет, как и мы, стать на честный путь. Поручаюсь за него.

— Подходит! — выкрикнул кто-то. — Свой.

Общее собрание постановило принять меня в коммуну, и я должен был дать «присягу», или «клятву», обязательную для всех поступающих. Вот что я должен был делать, став воспитанником:

I. Безоговорочно поставить крест на прошлом.

II. Неукоснительно выполнять внутренний распорядок коммуны и поддерживать дисциплину.

III. Старательно работать на производстве и быстрее освоить какую-нибудь квалификацию.

IV. С осени поступить учиться в школу и получить среднее образование.

V. Не употреблять спиртного, наркотиков и не играть в карты.

В последнем пункте заключалась вся жизнь блатных на воле и даже в тюрьме, в лагере, поэтому на него обращалось особое внимание. Каждого предупреждали: неисполнение его влечет за собой исключение из коммуны.

Для меня началась совсем новая жизнь — трудовая жизнь. Большинство моих старых друзей работали на обувной фабрике, поступил туда и я. Поставили меня в заготовочный цех на подсобные операции. На работу я накинулся с жадностью. Подумать только: мне, вору, завсегдатаю тюремной камеры, дают возможность жить честно, на воле, бок о бок с корешами.

Не сказка ль? Да и хотелось накопить деньжонок, приодеться.

Когда не хватало работы в заготовочном цехе, я бежал в машинное отделение на «закрытие шва», так как на этой операции постоянного рабочего не было.

Первые три месяца мы работали в коммуне бесплатно, погашая долг за спецовку, общежитие и питание, что нам давали «в кредит» с первого же дня поступления. А потом уже начислялась зарплата. Через год, к отпуску 1928 года, я получил на руки кучу денег, сразу купил отличное драповое пальто, три костюма и стал «богатым женихом». Я и в самом деле уже приглядывал себе невесту.

Старательность мою заметили, зачислили в актив коммуны, поручили организовать библиотеку: привести в порядок журналы, брошюры. Я стал в тупик. Что с ними делать? Переплести, что ли? Раньше в нашем доме не было ни одной книги, и я к ним не тянулся.

Я даже не знал, что такое художественная литература. Признаться воспитателям было стыдно, пришлось засесть за чтение. Я уже поступил в коммунистскую вечернюю школу, учился старательно. Трудно было, да куда денешься? Характер у меня общительный, я люблю быть на людях — и меня выдвинули помощником заведующего хозяйством. В чем это для меня выражалось? В моем ведении оказался прием, встреча новых коммунаров: я их оформлял, водил в баню, выдавал одежду. А затем ко мне перешла и столовая.

И вот тут-то подоспела командировка в Соловки: прием новой партии. Коллегия ОГПУ все шире ставила смелый, единственный в мире опыт — перевоспитания бывших заключенных в свободных условиях.

Чтобы обеспечить всех работой, в коммуне расширялись фабрики, строились новые корпуса. Было отмечено, что производительность труда у нас в Болшево значительно выше, чем в тюрьмах и лагерях. И теперь Смилянскому и нашей комиссии надо было постараться, чтобы среди этих ста, вернее, девяноста восьми, «пассажиров» не было никакого отсева. Тем более мне хотелось сохранить, поставить на верный путь старого друга по Сокольнической тюрьме Павла Смирнова.

Я видел: он настолько закоренел, настолько далек от мысли о честном труде, что с ним нужно провести большую работу. А разве не так же было почти со всеми обитателями Болшева? Терпение тут надо да терпение.

А поезд наш бежал и бежал, в окно смотрел полный месяц, мелькали заснеженные ели. Утром вагон наполнился говором, смехом: все «соловьи-разбойники» оказались на местах.

Павел Смирнов участия в разговорах почти не принимал, ходил задумчивый, настороженный. Он со всеми пил чай, поел хлеба с колбасой, и все-таки у него еще остался изрядный запас. «Объелся», — объяснил он с показным добродушием. Подолгу стоял у окна, жадно смотрел на дорогу.

— Кончилась карельская земля, — сказал я, подходя. — Скоро Ленинград. У тебя есть там дружки?

Павел изменился в лице, глянул на меня пронзительно.

— А что?

— Так просто. Ведь нашей бражки, воров везде хватает. Наверно, и в Ленинграде кое-кто ошивается, поискать бы, так нашел. А? Мы тут будем часов десять стоять, переведут на запасной путь, а потом вагон наш прицепят к московскому поезду. Если хочешь, пойдешь в город, погуляешь.

Что мелькнуло в глазах Павла: злость? Недоверие? Он стиснул зубы, нахмурился и вдруг принял равнодушный вид. Сказал с деланным смешком:

— Понятно, корешки бы в Ленинграде нашлись. Знавал я тут кое-кого... адреса даже свои давали. — Он вдруг в упор глянул на меня, холодно произнес: — Только я в город идти не собираюсь. На перрон не хочу сходить. Отдохну. Никак не выплусь.

Он повернулся и ушел в свое купе.

«Что такое? Почему Павел разнервничался?» Ответа на этот вопрос я не нашел, решил посмотреть за ним еще зорче.

В Ленинграде Павел так и не вышел из вагона, большую часть стоянки пролежал на полке.

Вагон наш прицепили к московскому поезду, и мы поехали дальше. Вечером мы с Павлом разговорились совсем по-дружески, и он мне рассказал, когда и за

какое «дело» попал в строгую изоляцию на Соловки: брал с товарищем в Москве магазин богатого нэпмана. Их поймали.

— Полгода отсидел в одиночке, потом перевели на общий режим. Десять лет надо было в Соловках коптить небо. А? Вся молодость пройдет. Не по мне это.

Павел внезапно замолчал, словно не желая высказывать всего, чего хотел.

— Красненькая — срок большой, — сказал я. — На Мягострове два года отбывал и то не чаял, когда Большую землю увижу. Отсюда ведь не убежишь. Море. Маяки, катер патрульный.

— Ну это как сказать, — самолюбиво проговорил Павел. — Кто смел, тот два съел.

И, словно спохватившись, не сказал ли чего лишнего, переменял разговор, продолжал с веселой словоохотливостью.

— А в Соловки к нам Горький приезжал с Погребинским.

— Видал ты их?

— Спрашиваешь! Я ведь в типографии работал. Одним из шефов клуба считался. И в этот день стоял на контроле. Горького я сразу узнал: высокий, худой, в кепке. Думаю: «Спрашивать у него билет? Неудобно». А он уже подошел, глянул на меня и положил руку на голову. «За что сидишь?» Глаза с голубинкой, прямо в душу глядит, бас глуховатый, окает. Я ему: «За магазин». Он засмеялся. «Решил в нем похозяйничать? Сколько лет срока?» Я сказал: «Червонец». Он и брови поднял. Вздыхнул. «Ничего. Еще молодой. А хозяином человека на земле труд делает». И прошел дальше. Что потом в клубе делалось! Редкий из заключенных Горького не читал. «Челкаш», «Емельян Пиляй». Кричали: «Ура! Наш босяцкий писатель!» Выступали с поздравлениями. Потом о нем остроуту пустили.

— Какую?

— Один заключенный другому говорит: «Слыхал, Горький в Соловки приехал?» А тот ему в ответ: «На сколько? На десять лет?» Передали эту остроуту Горькому, он засмеялся: «Я так долго ни на одном острове не жил».

— Алексей Максимович и у нас в Болшеве был, — сказал я. — Ну, а как ты в эту партию попал?

— Это уж после ваша комиссия приезжала. Овчинников ее возглавил. Знаешь, конечно? Бывший ширмач. Записывал желающих работать в коммуны. Я и попросился.

— Решил завязать?

Спросил я словно бы невзначай и тут же стал закуривать. Я не глядел на Павла, но по большой паузе, которая за этим последовала, понял, что он меня раскусил.

— Ты, Коля, как следователь разговариваешь! — засмеялся он, и смех его был неискренним. — Ну, как заключенные смотрели на вашу комиссию? «Легавые приехали». Кому охота годами из-под замка «любоваться» на Белое море, слушать крики чаек? Вот и записывались.

«Так и увернулся Пашка от прямого ответа, — мысленно засек я. Освободиться захотел. А для чего? Чтобы работать в Болшеве или убежать на волю?»

— Сказать по совести, я не верил, что меня возьмут в коммуну, — продолжал Павел. — «Красненькая». Кому я нужен с таким сроком? И вот не так давно, осенью, приходит Мишка Сопатый, сосед по камере. «Новость для тебя, Пашка, закачаешься!» Я: «Какая?» Сопатый: «Спляши сперва». Дело во дворе было. Я вдарил «сербияночку», он остановил. «Нет. На воротах пляши». Пришлось мне лезть на перекладину, притопнул разов несколько ног. И тогда Сопатый: «В Москву едешь. Сам видал тебя в списке». Всю ночь не спал, думал: «Неужто возьмут? Вдруг вспомнят: красненькая? И вычеркнут».

— Нет, мы берем всяких, — подтвердил я. — С блатом пора кончать, Паша. Терпение и труд все перетрут. Жалко Мишки Григорьева тут нету, я бы и его забрал.

Поезд пришел в Москву. Перебрались мы на Ярославский вокзал, и тут выяснилось, что двое из партии исчезли.

— Бежали гады, — подытожил кто-то с веселой усмешкой.

— Дураки, — спокойно сказал Алексей Погодин. — Куда денутся? Сколько вор ни ворует — тюрьмы не минует. По себе знаю, а уж я умел концы прятать. Да и вы знаете. И знаете, что с каждой новой судимостью сроки закатывают все большие. А в Болшеве жили бы как люди.

Сперва на лице Павла Смирнова я заметил веселую улыбку. После слов Погодина он удивился и как бы задумался. Видно, он ожидал, что за сбежавшими тотчас организуют погоню, а тут лишь плюнули вслед.

«Дураки!» Вот и все.

Через полчаса на дачном поезде добрались до Болшева.

Как зорко смотрел Павел Смирнов, когда высыпали из вагонов на деревянную платформу и, выстроившись парами, пошли через лесок в коммуну! Он все озирался по сторонам. Впрочем, не один он осматривался подозрительно. «Охрану ищут», поняли мы, болшевы: в свое время и мы сами не верили, что бывшие заключенные, «каторжники» живут тут совсем вольно.

— Потерял чего? — спросил я Павла с невинным видом.

— Чего мне терять? Просто... интересуюсь местностью.

Один из партии не вытерпел:

— Ну где ж колючая проволока? Легавые?

— Соскучился? — усмехнулся Смилянский.

Комиссия наша не могла удержаться от смеха.

Особенно вчерашние заключенные были поражены, вступив на территорию коммуны. Встретил нас весь коллектив со знаменами, музыкой: в Болшеве уже был свой духовой оркестр. Затем дали хороший обед и в клубе состоялся торжественный вечер. Самодеятельность у нас была отменная: свои художники, поэты, танцоры, свой большой хор.

— Ну как? — спросил я Павла, когда мы вечером пошли в общежитие спать.

— Агитировать у вас умеют здорово, — неожиданно ответил он.

Весь этот день он далеко от барачков, клуба не отходил, хотя я и предлагал ему прогуляться в лесу.

И по-прежнему ко всему зорко присматривался.

Наутро партию прибывших провели по цехам конькового завода, лыжной, обувной, трикотажной фабрик, на которых работали коммунары, — познакомили с производством. Здесь они лично убедились, где и кто «вкалывает» из их знакомых болшевцев. В каждом цехе управляющий коммуной Богословский спрашивал новых воспитанников:

— Кто бы хотел здесь работать?

И те, кому нравилось, заявляли: «Я». Остальные проходили дальше. Кто оставался в кузнечном, кто в столярном на лыжной фабрике, кто в заготовочном на обувной. Павел Смирнов облюбывал себе механический цех. До этого он не проявлял ни к чему интереса, а перед револьверным станком остановился пораженный. «Железо железо режет!»

Из-под резца мягко, будто сосновая стружка, бежала металлическая лента, маслянисто блестела эмульсия. «Здорово!»

— Останусь тут, — заявил он.

Правда, когда его на следующий день подвели к станку, он отскочил в сторону. «Еще руку оторвет».

Затем стало стыдно: ведь считал себя смельчаком. «Иль не справлюсь? Должен».

Он стал осваивать станок.

Я часто виделся с Павлом, беседовал, помогал, чем мог, подбрасывал деньжонки. Через три месяца новоприбывшая партия отработала «кредит» и перешла на сдельщину: тут уж заработок стал зависеть персонально от каждого. Из полочки удерживали всего 34 рубля: за общежитие, питание, остальное — в карман.

Станок Павел освоил быстро, к инструменту относился бережно, трудился старательно и стал копить деньги. «Хочу приодеться», пояснил он мне. Желание

было законное, я сам так поступил и... однако не поверил ему. Взгляд Павла по-прежнему оставался настороженным, он часто морщил лоб, что-то обдумывал, бродил один по лесу. Несколько раз я пытался вызвать его на «откровенный разговор», и все напрасно.

«Ходит с камнем за пазухой», решил я и удвоил к нему внимание. Павла уже приметили в цеху, хвалили, зарабатывал он все больше и больше.

Казалось, все у него ладилось, но однажды я увидел его совершенно расстроенным, вроде бы даже ошеломленным. Случилось это после общего собрания, на котором разбирались конфликтные дела провинившихся коммунаров. На чем больше всего попадались ребята? На выпивке. Трудно сразу круто изменить свой образ жизни, особенно если в голове «ветерок ходит».

Вот вчерашние заключенные по старой памяти и потягивали водочку. А у нас в Болшеве стояло только учуять от кого-нибудь даже запах пива, как сразу тащили «судить». С похмелья люди пропускали свою рабочую смену, это тоже было причиной «привода» в конфликтную комиссию, состоявшую из семерых воспитанников-активистов. Попадали туда еще за драки и воровство: последнее у нас было редкостью и преследовалось жестоко.

Какие наказания применялись?

I. Предупреждение.

II. Выговор с предупреждением.

III. Денежный штраф от недельного заработка до месячного.

IV. Содержание на гауптвахте у шэфов — в комендатуре ОГПУ на Лубянке от двух недель до месяца.

V. Исключение из коммуны. Кто пришел в нее добровольно — отправляли на все четыре стороны; кто был взят из тюрьмы — возвращали туда же.

Исключение из коммуны было крайней мерой, и вот такой случай произошел весной 1929 года на четвертый месяц пребывания Павла Смирнова в Болшеве. В апрельский день в клубе «судили» вконец распоясавшегося парня лет двадцати трех. Фамилии его я сейчас не помню, четыре с половиной десятка лет прошло с того собрания, помню только — был он рыжий, с раздвоенной верхней губой. Парень пьянствовал, сломал свой станок, без отпуска уезжал в Москву, возвращался с деньгами: наверное, воровал. Раньше он ширмачом был. Конфликтная комиссия доложила собранию свое решение: никакие меры перевоспитания не действуют — не место ему в коммуне. Со скамей из зала раздались восклицания: «Правильно!», «Пускай не позорит нас!» Рыжий перед собранием стоял, небрежно отставив ногу, ухмылялся, нагло отрицал факты, а когда услышал, что его исключают, улыбнулся, а сам побелел. Казалось, он не поверил тому, что услышал.

— Как это? — сказал он. — Как это?

Он недоверчиво оглядел зал, хотел опять улыбнуться и почти прохрипел:

— Я ж опять сяду. Братцы! Мне «красненькая» светит. Пропаду!

Схватил себя за ворот рубахи, стал дико озираться:

— Я ж пропаду! Братцы, пропаду ж совсем!

Молчала конфликтная комиссия, молчало собрание. А рыжий чуть не трясся, верхняя раздвоенная губа его прыгала, лицо исказилось.

— Чего хотите делайте, не выгоняйте только. Головой... вот головой клянусь! Не будет больше такого.

И вдруг все увидели, как его обычно наглые глаза затянуло слезой, он мучительно сморщился.

В зале на скамьях сидело семьсот вчерашних воров. Они поняли, что творится с их однокашником.

Исключение рыжему заменили месячной гауптвахтой.

За это проголосовало больше половины собравшихся.

Когда выходили из клуба, я столкнулся с Павлом Смирновым. Он первый быстро, возбужденно заговорил со мной:

— Ведь этот рыжий не из кичи⁴ в Болшево пришел?

— Толкуют: с воли. Старого подельщика в Москве встретил. Тот коммунаром был и привел.

— Рыжий бы, значит, на волю отсюда вышел?

Я ничего не понял.

— Ну?

— Вышел бы на все четыре стороны и... не захотел?

И вот тогда в глазах Павла я увидел полную растерянность, даже ошеломленность.

Меня окликнул бухгалтер столовой, надо было решить вопрос с накладными, и я ушел. Лишь потом, вернувшись к себе в общежитие, я задумался: что же так потрясло Павла? Он, видимо, не мог понять, как это вор вместо того, чтобы обрадоваться «воле», запросился у коммунаров оставить его.

Недели две спустя после собрания Павел за высокие показатели в цеху, хорошее поведение получил отпускной билет в Москву, с торжеством показал его мне.

— Теперь легавые не схватят.

Сказать по совести, я не совсем был спокоен за него, сказал шутливо:

— Если не подашь повода.

Возвращения Павла из Москвы ожидал с тревогой.

⁴ Кича — тюрьма.

Не дрогнет ли? Костюм купит на заработанные деньги или билет куда-нибудь в Ленинград, а то и Сочи? Для чего копил?

Вечером сам не заметил, как оказался на железнодорожной платформе и стал «встречать» приходящие из столицы поезда. Три состава пропустил, плюнул и повернул домой, в общежитие. Не успел раздеться, открылась дверь, ввалился Павел. Раскраснелся от быстрой ходьбы, глаза блестят, обхватил меня за плечи — и на меня густо дыхнуло винным перегаром.

— Выпил? — спросил я шепотом.

— Врезал. Да как следует.

Я испуганно оглянулся на товарищей, спавших по своим койкам, накинул на майку пиджак, вытолкал Павла в коридор.

— С ума сошел? Выговор закатят.

— Хоть два. — Павел вдруг засмеялся. — Сын у меня. Понимаешь? Сын Васька. Уже полгода ему. Нынче на руках держал.

— Сын? — опешил я. — Откуда взялся?

— Девчонка была у меня в Москве. Умница. Техникум кончила, экономистом работает. Семья хорошая, отец мастер... Вот... от нее. От Зины. Поверила в меня, каких только упреков не перенесла дома. Ждала. Вчера согласилась переехать ко мне в Болшево. Снимем пока на деревне комнатку, а там, глядишь, дадут, как семейному.

Мы уже стояли с Павлом на крыльце, под сырым звездным апрельским небом, и он все говорил, говорил, как будто прорвало его. Я озяб: еще в лесу кое-где лежал снег. «Ну, теперь Пашка завязал. Останется в коммуне». Я обнял его за плечо, потащил за собой.

— Айда в кладовку, дам сырого гороху, пожуй. Да завтра старайся тише дышать.

Павел хотел еще что-то мне рассказать, но я скорее отвел его в общежитие, вернулся к себе. Еще увидит кто, на конфликтную потащат обоих.

В конце года Павла выдвинули мастером цеха; на Красной доске ударников производства уже давно висел его портрет. Он зажил семейно.

Коммуна наша все росла и расширялась. Строились новые цеха, увеличивался объем производства, прибывали новые партии заключенных из тюрем, лагерей, вливались в коллектив. Какое-то время, шебуршали, затем «обкатывались». К началу тридцатых годов мы становились главными поставщиками спортивного инвентаря и оборудования ДСО «Динамо». Фабрики наши выпускали высококачественные лыжи, коньки, теннисные ракетки, бутсы, майки и прочее. В поселке рядом с бараками строились двухэтажные фибролитовые дома с удобными

квартирами, открылись своя поликлиника, ресторан. Воспитанников считали уже не на сотни, а на тысячи, и, конечно, потребовались люди на руководящую работу. Откуда их брать? Из вольнонаемных? Нет. Коллегия ОГПУ решила идти по пути выдвижения из наиболее активных коммунаров, твердо и навсегда порвавших с преступным прошлым.

В число таких попал и я. Меня выдвинули председателем кооператива. Объединял он пекарню и магазин, открытый не только для коммунаров, но и для окрестных жителей. Тут-то меня и приперла к стене малограмотность. Хоть я и посещал вечернюю школу, но учился через пень-колоду: то некогда, то неохота. «Потом наверстаю».

И вот принес мне бухгалтер балансовый отчет за 1929 год.

— Подпиши, Николай Антоныч.

Меня и пот прошиб. Гляжу я на колонки цифр, строчки, а в глазах тюремные решетки: вдруг тут что «не чисто»? Подпишу и... загудел.

— Скажи попроще, — наконец взмолился я. — Проторговались? Убытки есть? Бухгалтер улыбнулся.

— Свели концы с концами, Николай Антоныч. Даже немного в прибыли.

И пришлось мне поступить в техникум.

Что заставило меня взяться за учебники? Ведь мог бы запросто и полуграмотным прожить: сыт, обут, женился на хорошей девушке, сын растет, комнату получил. Чего еще надо мне, недавнему обитателю тюремной камеры? Заставило — доверие, которое мне оказали. В Болшеве я уже был кем-то вроде «ответработника», большими деньгами ворочал, товарами.

И то, что мне доверяли начальники ОГПУ, руководство коммуны, свои товарищи, заставляло меня лезть из кожи, стараться не ударить лицом в грязь, оправдать доброе мнение о себе. Поэтому доверие я считаю основой перевоспитания правонарушителей.

В самом деле: давно ли было то время, когда все от меня берегли карманы и квартиры?

Хоть и очень трудно было, а над учебниками засиживался до петухов, прихватывал выходные дни, отпускное время. Малограмотность у меня была такая — и горько и смешно вспомнить. Например, долго не мог понять, что такое десятичные дроби. Выручил друг и приятель Виктор Попов, тоже студент техникума, собиравшийся поступать в Промакадемию, парень головастый, в прошлом вор-городушник, за которого в 1928 году я поручился перед общим собранием. Сидел он, занимался со мной, запарился, а толку никакого. Из магазина пришла моя жена Аня, положила на стол покупки.

— Сейчас ужинать будем.

Виктор схватил принесенную ею пачку чая, показал мне.

— Что такое?

Я сам был в мыле, чувствовал себя отвратительно. «Неужели совсем тупой?»

Ответил с усмешкой:

— Бомба.

— Правильно, — согласился Виктор. — Бомба.

Он быстро разрезал пачку чая и разделил на две части.

— А это что такое?

У моей жены округлились глаза. Я ответил немного сердито:

— Две бомбы.

— Верно, — подтвердил Виктор. — Две половинки бомбы. А это что?

Так он разделил пачку на десять частей. Потом отодвинул две из них, приложил новую целую пачку и спросил:

— Теперь что? Понял, наконец? Одна целая и две десятых. Так можно и сотую сделать, и тысячную.

Дружно смеялись мы все трое. Жена сказала:

— Вина мы, Витя, не держим, а разоренную пачку хоть всю выпейте. Сейчас поставлю вам чайник, у меня есть печенье, конфеты, колбаса.

В занятиях мне помогали многие люди, и я до сих пор глубоко признателен и друзьям, и воспитателю Николаеву, и учительнице русского языка Смирновой, и управляющему коммуной Богословскому. Все они меня «тянули».

Забегая вперед, скажу, что к тридцати годам я поступил на курсы по подготовке в институт при МВТУ им. Баумана, а закончив их, успешно сдал экзамен, пройдя конкурс, где на место было по семь человек.

Пока же пришлось искупать грехи молодости, сдавать за средний образовательный курс. Вскоре меня поставили руководителем воспитательной части коммуны.

Однажды, идя на дежурство, я услышал негромкий оклик:

— Колька... Николай!

Оглянувшись и глазам своим не поверил: под елью стоял невысокий плотный мужчина с черными волнистыми волосами, в приличном костюме и улыбался мне.

— Миша?! Да ты ли это? А говорили, в тюрьме.

— Если ваше Болшево тюрьма, то все правильно.

Это был мой старый друг по заключению в Сокольниках на Матросской Тишине, однокамерник Михаил Григорьев. Он слегка заикался, как всегда острил.

Я горячо пожал ему руку. Не виделись мы лет пять.

— Пашка Смирнов тут, сынишку растит. Работает мастером в механическом цехе. Как ты живешь?

— Не знаю, — ответил он очень серьезно. — Пришел тебя спросить.

Я сразу все понял.

— В бегах?

Михаил кивнул и сделал движение рукой, показывая, что находится между землей и небом.

— Надоело. Хочу жить, как люди.

Я подумал, прикинул, какие у меня сегодня дела.

— Обожди до обеда. Потом зайдем ко мне, с женой познакомлю, потолкуем.

На работе я мысленно несколько раз возвращался к старому другу по несчастью. Еще когда мы сидели в Сокольниках на Матросской Тишине в одной камере, Михаил Григорьев рассказал мне свою историю. Отца и матери своих он не знал, родился до того, как они стали совершеннолетними и вступили в брак. Скрывая свой «грех», они подкинули его на ступени Московского воспитательного дома. Отсюда его взяли крестьяне деревни Теликовой Можайского уезда; новым родителям земская управа платила за мальчика по три рубля в месяц. В это время родители Миши поженились и попросили вернуть им сына, однако мальчишка понравился крестьянам-воспитателям, и они его не отдали, послав в ответ письмо, будто ребенок умер.

Никаких сведений об отце и матери Миша больше не имел, считая себя «теликовцем». Когда его названные родители Григорьевы померли, мальчика взяла тетка в Москву, приучила к торговле на базаре: он вразнос продавал квас, пирожки.

Мальчику было десять лет, когда началась германская война. За ней последовало свержение царя, Октябрьский переворот. Тетка умерла, и осиротевший Миша попал в лапы улицы. Время было суровое: разруха, голод, безработица. Воровать Миша начал по мелочи, затем «вырос», получил квалификацию и сделался «домушником». Вместе с товарищами брал нэпманские лавки, магазины, квартиры. Эта «работа» и привела его в тюрьму на Матросской Тишине.

Как же сейчас сложилась его жизнь?

Об этом я и узнал в обеденный перерыв, когда мы с Михаилом Григорьевым сидели в моей квартире за обеденным столом.

В последний раз он погорел после ограбления магазина «Венский шик», уже реквизированного у нэпмана и опечатанного. Выломали стенку, вывезли много товаров, продали — и были арестованы.

Суд приговорил Григорьева к десяти годам, и он был отправлен на Соловецкий остров. Пробыл он там меньше года и вот бежал.

— Как же это тебе удалось? — спросил я.

— Последнее время я работал грузчиком в Беломорске. Цыган там один отбывал срок и задумал срываться. Жена ему привезла с Украины удостоверение и справку, будто бы он приезжал сюда хоронить брата. И вдруг он получает досрочное освобождение.

Я и купил у него документы. Деньжонки имел: хорошо зарабатывал, играл в карты. Хранил я их в поясе штанов. Ну... за час до отхода пробрался на станцию, купил билет. Охрана в Беломорске со стороны лагеря всегда выстраивалась минут за пятнадцать до отхода, я держался за вокзалом. Поезд подошел — сел. Едва тронулись — двое с револьверами: «Ваши документы». Тогда фотографий на удостоверениях не было, а паспорта еще не вводили. По рождению я был лишь на год старше цыгана — прошло.

Жена моя ахнула:

— А поймали б?

Она у меня местная, деревенская, воровских дел не знала. Михаил пожал плечами:

— Суд и новая ссылка... на тот свет.

— А кто тебе к нам в коммуну посоветовал? — спросил я.

— Голос с того света и посоветовал. Приехал в Москву я днем, и сразу к брату. Неродной был, сын Григорьевых из Теликовки. Встретил хорошо, выпили.

А вечером я сказал: «Проведать друга хочу», — и поехал на Серпуховку к Алехе Кабанову. Пообещал брату: «Ночевать вернусь». А с Алехой мы когда-то подельщиками были. Думаю, застану ль? На воле ль он?

Оказался дома, хорошо встретил, бутылку на стол. Тары-бары — второй час ночи. Жена его кинула мне подушку на диван, одеяло: «Оставайся». Наутро Алеха опять не отпустил, похмелялись. «Есть, — говорит, — магазинчик. Кассу можно взять». Я чиркнул рукой по горлу. «Сыт. Обожду. Сгребут — вышка мне». Расстались по-хорошему, к брату добрался лишь затемно, а он встречает белый. «Только час как засаду сняли. Соседка на тебя донесла». Я за кепку да к знакомым девчонкам Гуревичам. Жили они на Верхней Масловке, когда-то с их братом я квартиру брал. Погиб он.

Застопорили мильтоны, кричат: «Стой!», он бежать, а они с нагана. У них переночевал, девчонки посоветовали: «Езжай в Болшево». И вот привет вам с кисточкой.

— Умные эти девчонки, — сказал я Михаилу. — Сейчас на работу мне, а вечером позову Павла Смирнова, кое-кого еще, обсудим твой вопрос.

О прибытии Михаила Григорьева я еще утром доложил руководителю воспитательной части. А сейчас вдобавок переговорил с управляющим Богословским и

сказал, что готов за Григорьева поручиться. Он расспросил меня, что за человек Михаил, подумал и согласился:

— Что ж, есть смысл.

И научил, как действовать.

Когда я вернулся домой, там уже был Павел Смирнов и шла оживленная беседа.

«Встретились друзья, — подумал я весело. — Теперь надо будет добиться, чтобы жили вместе. Чего только в жизни не бывает».

— Как решили? — встретил меня вопросом Михаил. — Возьмете... в свой монастырь?

— Управляющий игумен согласился, — так же шутливо ответил я. — Но ведь окончательно решают монахи. На общем собрании.

— Считай, Миша, ты с нами, — ободрил старого друга и Павел Смирнов. — Николая ведь взяли когда-то? И меня. То же Белое море и «красненькая» сроку. Поручимся за тебя, ребята тут свои. Болшево — это лучшее место, где для нашего брата светит человеком стать.

— Так идти за бутылкой? — вставая, спросил Михаил.

Мы с Павлом оба расхохотались.

— У нас всегда так, — сказал я. — Радость — бутылку. Горе — бутылку. Забуди об этой барышне, Миша. Понял? Застукают пьяным — сразу за ворота и скатертью дорога. Экспертизы тут не делают: сивухой от тебя несет, глаза красные, как у кролика — и конец.

— Понял, — проговорил Михаил, садясь. — Когда собрание?

Я сел рядом.

— Будет и собрание. Но сперва ты должен пожить в другом... монастыре. Помещается он в Москве на Лубянке. Помнишь, там серый дом стоит?

В комнате сразу наступило молчание. Михаил Григорьев снова медленно поднялся, руки у него бессильно висели вдоль туловища. С минуту он молча переводил взгляд с меня на Павла, точно желая узнать, шутим ли мы над ним или издеваемся? С недоумением на всех нас смотрела и моя жена Аня. Даже Павел немного заколебался: чего это я несу?

— Да ты... да ты... — наконец заговорил Михаил, и губы его задрожали от гнева. — Я ж с Беломорска бежал. Да ты... Я не знаю. Ты... Меня ведь у брата чуть не сгребли в Москве. Сунь я только нос в уголок¹... на Лубянку или на Петровку — вышку дадут. А еще друг, кореш! Зачем я приехал к тебе!

Я постарался сохранить хладнокровие.

¹ Уголок — уголовный розыск.

— Сядь. Не психуй. Можешь меня выслушать?

Когда Григорьев вновь опустился на диван, я положил ему руку на колено.

— Что такое Болшевская трудкоммуна? Это содружество... ну пускай колония людей, которые твердо решили порвать с преступным прошлым. Почему мы здесь живем? Почему не разбежались? — я повернулся к Смирнову. — Теперь и ты, Паша, видишь, тут нет ни охраны, ни колючей проволоки. Не нравится наша жизнь, работа на производстве? Вот она, станция, сыпь! Рядом Москва, шалманы, старые дружки... кандидаты за решетку. Однако нас здесь уже три тыщи сидит. А? Цифра? Три тыщи бывших обитателей тюремных камер. Чем держимся? — я оглядел обоих товарищей. — Доверием. Вот что нам любо-дорого.

Те, кто нас ловил, судил, сажал, — поверили, что и мы люди, просто сбились с дороги. Заблудились. Нам сказали: вот вам последняя возможность стать такими, как все. Работайте. Заводите семьи, растите детей — дадим квартиру. Ведь тем, кто тут прожил пять лет, честно трудился, дают паспорт, снимают судимости, принимают в профсоюз, открывают путь в партию.

Я уже давно встал и ходил взад-вперед по комнате. Я сам не знал, что скажу такую речь. Это как-то у меня вылилось нечаянно, экспромтом. Лишь позже я понял, что высказывал то, что не раз про себя обдумывал, что уже входило в мою кровь, плоть, становилось убеждением.

— Ведь у нас в коммуне все решает коллектив, сами мы... как и везде в Республике. Конечно, над нами управляющий, ОГПУ. Но все внутренние вопросы, прием, дисциплину, награждение — решает общее собрание. Мы здесь уже хозяева своей жизни. На Доску почета вывешивают портреты лучших ударников и общественников. Но никогда нельзя забывать, что это доверие мы еще должны оправдать перед народом, которому мы были врагами, вредили, пакостили. Для этого надо теперь быть честным до конца... в каждой мелочи.

Моя взволнованность подействовала на товарищей.

Павел не отрывал от меня глаз, Михаил старался не упустить ни одного моего слова, притих. Я видел восхищение во взгляде жены. Ей ведь нелегко было выйти замуж за бывшего вора. Кто ее только не отговаривал, начиная с родителей! И вот она теперь лишний раз видела, с кем живет.

Я остановился возле Михаила.

— Пойми: беглых коммуна не берет. Ты должен сюда идти с открытой душой, без «задков»... с разрешения органов охраны. Во-первых, ты придешь в уголовный розыск с нашим пакетом. Так? Мы ходатайствуем. Во-вторых, если

бы тебя даже опять отправили в изоляцию, то уж «вышку» б не дали. Ты сам сдался. Верно ж? А тебя все равно не сейчас, так через полгода сгребут, и тогда пиши завещание, кому оставлешь в наследство портянки. Так что получишь из коммуны пакет и езжай в Москву, сдавайся.

Михаил уже не вскакивал. Он сидел, опустив голову.

— Скажу тебе больше, — проговорил я и опять положил ему руку на плечо. — Если бы ты отказался ехать и крутился в Болшеве, я посчитал бы долгом сказать об этом руководству коммуны. А вот когда поступишь к нам и в бутылку начнешь заглядывать, ловчить — раз по-товарищески одерну, два, а потом дам, где надо, характеристику — и катись опять в Соловки. Вот каким теперь стал твой старый кореш Колька Журавлев. Хочешь дружи, хочешь бежи.

— Да и я теперь так смотрю, — вдруг проговорил Павел. — Два года в коммуне и меня перевернули.

Михаил Григорьев решительно встал:

— Что же, ребята. Согласный. Давай пакет. Умел воровать, умеи ответ держать.

Павел дернул его за штанину.

— Сядь, Миша. Еще. Задержу недолго. И ты, Николай.

Только сейчас я заметил, что его красивое, обычно спокойное и самоуверенное лицо было бледным, глаза блестели. Парень он был здоровый, сильный, немножко холодноватый и даже высокомерный, и видеть его в таком состоянии мне давно не приходилось.

— Расскажу я вам... а ты, Миша, мотай на ус. — Павел глянул мне в глаза. — Помнишь, конечно, как ты приезжал за мной на Соловки? Ведь я еще до вашей комиссии задумал бежать, и все было готово. Когда я шел на изоляцию, у меня золотишко было.

И я договорился с матросами, что меня возьмут на пароход и перекинут за шестьдесят километров в Кемь. Я ведь в типографии работал. Заготовил и справки себе.

Аня всплеснула руками, перебив:

— Как же вы, Паша, в тюрьме были, на этапе и... золото. И не отобрали у вас?

Павел усмехнулся несколько надменно:

— Чтобы отобрать золотишко, деньги, Аня, их надо было найти. Когда они в куче — это легко. А я раздал их тем, у кого выиграл, и они мне пронесли. Ведь хорошие воры в Соловках имели и вино, и карты, и женщин. Надо только было уметь.

Павел опять повернулся к нам, продолжал:

— А тут комиссия: в Болшево берут. Задумался я: где будет лучше? Ну, думаю, довезут меня матросы до Кеми, а там? Как знаешь. Поставные в зоне на каждом шагу. Я что рассчитывал? Как-нибудь эти двенадцать километров от моря до станции проберусь — и на товарняк. Сорву пломбу, залезу в дверь. Выберусь обратно через люк, снова налажу пломбу, для чего и деревянные шипцы подготовил. Опять через люк заберусь в вагон — и айда. Все шито-крыто, комар носу не подточит. Но сколько поезд простоит в Кеми? Хватит ли запасенных харчей? Куда его направят? Не сгребут ли на станции прибытия? И тогда решил ехать с вами. Спокойней: купе, постелька. А в Ленинграде уйти.

— Для этого хлеб, колбасу, махру под подушку припрятывал? — улыбаясь, спросил я.

Павел кивнул.

— Что ж помешало?

— Помешал ты, Коля. Сказал: «Прогуляйся в Ленинграде». Я и подумал: разоблачили. Не зря же буханку белого принесли, колбасы? Догадались и проверяют: клюну ль на побег? Только выйду, а меня цап-царап! Ну-ка, дружок, заворачивай обратно на Соловки... или «на луну». Решил до Москвы дотянуть.

Помнишь, двое из партии сразу нарезали плетть? Признаюсь тебе, порадовался за них. Посмеялся над вами: «Съели, легавые?» Я тоже на Казанском собирался с вами распрощаться. Когда ж Леша Погодин только и сказал: «Дураки», — задумался. Откуда такая уверенность? Захотелось глянуть, что же это за коммуна? Почему вы все за нее уцепились? Вот я и перебрался с вами на Ярославский вокзал и поехал в Болшево. Я не верил, что живете вы без охраны. Согнали тучу преступников и на тебе — все свободные! А когда посмотрел, попробовал на зубок, чую — сломалось во мне что-то. Бежать из Болшева легче легкого, а я заметался: «Обожду еще. Пригляжусь». Тут я и понял, почему ты, Коля, стал другим человеком. Я ведь еще в Кеми у Белого моря заметил, что ты совсем другой, чем пять лет назад в тюрьме на Матросской Тишине.

Павел помолчал. Мы его не перебивали, видели: наконец, распахнул душу, надо выплеснуть пережитое.

— Вот ты говорил, Коля: будешь воровать — обязательно поймают, — продолжал он. — Согласный, да не совсем. Не всякого. — Он самолюбиво обвел нас своими зоркими глазами. — Я помнил, что у меня «красненькая» и за новое дело — вышка. Из Соловков я лишь потому бежать нацелил, что собирался уехать в Турцию. Дружок меня ждал в Ростове-на-Дону.

У него был знакомый контрабандист из абхазцев, обещал провести горами, козьими тропами, обрываами: никакой патруль пограничный не заградил бы.

— Вот ты куда целил! — удивился я. — Ну, а там бы что? Турки уж если бы на грабеже поймали, то или открутили башку, или закатали на 25 лет в яму, в кандалы. Где, кроме как у нас, в Советском Союзе, воспитают?

— Это я понял, лишь когда увидел, что такое коммуна... своими руками пощупал. Помнишь, суд над рыжим в клубе? Вот тогда я и вконец сломался. А тут еще Зина, сын: нашел, для кого жить, работать. Я тебе еще до возвращения из Москвы хотел все рассказать, выпил тогда... да ты ушел. Из Болшева я теперь ни ногой. И судимость снимут — останусь. Тут все родное.

Михаил решительно поднялся.

— Все ясно. Готовьте пакет, поеду сдаваться. Будь что будет.

— Не дрейфь. Выручим.

В этот же день Григорьев уехал в Москву.

Недели две о нем не было никаких известий. Признаться, я немного волновался. Неужто уголовный розыск не отозвался на просьбу коммуны? Всегда был к нам внимательным, шел навстречу.

И вот опять мы трое сидим у меня в комнате, но теперь уже все коммунары. Пьем чай с вишневым вареньем и слушаем рассказ Михаила Григорьева. Он сидит торжественный, выбритый, причесанный, распространяя запах парикмахерской, и со всеми подробностями передает то, что с ним произошло за эти дни.

— Появился я только в МУРе, и, понятное дело, меня тут же работники подхватили под белые руки — и в камеру. «Сам голубь прилетел». Объяснять вам не буду, какая житуха в камере, небось и сейчас вам снится, вскакиваете по ночам. Спекаюсь: бывали минуты, жалел, зачем, дурак, вас, старых корешей, послушался? И тут же понимаю: правильно советовали. Особенно Паша вот рассказал. Ведь и у меня «красненькая», побег. Когда ни то, а засыпался бы — и к чертям в шалман. Конец всего один-разъединый — Болшевская коммуна. Сiju так, папироски покуриваю, деньки считаю, и вот вызывают. Сидит комиссия, председателем начальник МУРа Вуль. Помните его? Красавец мужик, умник. Голоса никогда не повышает, шутку любит. Глянул на меня и сразу:

«Постой, постой, да ведь я тебя знаю». Сiju, руки по швам, как на причастии. «Знакомы», — говорю. «Хорошо знакомы, — это Вуль мне. — Мы тебя не так давно в Соловки отправляли. Опять на воле? — Повернулся к своему сотруднику. — Розыск на Григорьева есть?» Сотрудник ему: «Нет еще». Прищурился на меня Вуль: «Свеженький? Сбежал недавно?» Отвечаю: «Я не бежал, гражданин начальник. Скорым поездом ехал». Усмехнулся Вуль. «Молодец, Григорьев. Культурный ты человек. Ну раз везде любишь удобства, езжай в Болшевскую коммуны, там получше, чем у нас. Да гляди, больше не попадайся».

Григорьев молча допил чай, лоб его, верхнюю губу обметал пот. Закончил, отодвигая стакан:

— Как освободился из МУРа, ни до кого не заходил, прямо к вам. Отсюда уж брату напишу.

— Правильно сделал, — сказал я. — Поработаешь месяца три, будешь вести себя достойно, получишь отпуск и уж тогда в Москву с увольнительной катанешь.

Увольнительная на бланке ОГПУ — ни одна душа не задержит.

Общее собрание коммунаров приняло Григорьева.

Мы с Павлом Смирновым за него поручились. Да за него бы и без нас поручились многие. Когда в коммуне появляется новичок, многие приходят узнать: «Кого привезли?» У Михаила нашлась куча знакомых, и один из них тут же предложил взять его к себе в торговлю. Но другие ребята отсоветовали Григорьеву: «Не с твоим характером, Миша. Начнут просить в долг — ведь не откажешь? Прогоришь».

— Иди лучше на лыжную фабрику, — посоветовал Павел. — Дело будешь иметь с деревом. Чисто, полезный воздух.

И Михаил, даже не сходя в цех, чтобы посмотреть, дал согласие.

Поставили его за рейсмусный станок. Уже к концу недели Михаил его настолько освоил, что сам устанавливал ножи. А не прошло и полугода, как Михаила поставили помощником мастера.


Так все мы трое обитателей камеры Сокольнической тюрьмы на Матросской Тишине снова стали жить вместе, но теперь уже коммунарами, людьми свободными.

И вот не так давно мы опять собрались втроем. Сорок лет прошло с того памятного дня, когда мы втроем стали жить в Болшево. Теперь мы все уже на пенсии, давно дедами стали. На столе стояли водочка, вино, закуски, сухой закон для нас кончился давно, еще перед Отечественной с последнего из нас сняли судимость. Выпили по рюмочке, «за коммуны», вспомнили старое.

— Вот и выпрямилась наша жизнь, — сказал Михаил Григорьев.

Да, выпрямилась. Не сразу, конечно. Нелегко было таким, как мы, «рыцарям темной ночи», привыкнуть к светлому дню.

Михаил Григорьев свой тридцатидвухлетний стаж закончил мастером авиазавода. Его трудовая книжка пестрит премиями за работу, за рационализаторские предложения, за перевыполнения плана — несколько десятков премий. Павел Смирнов ушел на пенсию начальником цеха, заместителем председателя месткома завода, членом бюро парткома.



Трудовой мой стаж — 38 лет. Два года был заместителем директора трикотажной фабрики, начальником закройно-пошивочного цеха, затем перешел в местную промышленность. Последние восемь лет работал главным инженером фабрики пластмассовых изделий управления химической промышленности Мосгорисполкома. Фабрика наша все время шла с хорошими технико-экономическими показателями.

На фронт в Отечественную войну пошел с первого года и закончил Днем Победы в Литве под Вильнюсом в звании младшего сержанта отдельного бронепоезда войск НКВД. Имею награды. До сих пор, несмотря на преклонный возраст, занимаюсь общественной работой. Без этого не мыслю своей жизни.

Все трое мы теперь можем открыто глядеть людям в глаза.



Кемь. 1920-е гг.



Здание пересыльной тюрьмы. Кемь.
Фото 1980-х. Кемский городской краеведческий музей «Поморье»



А. М. Горький и Г. Г. Ягода

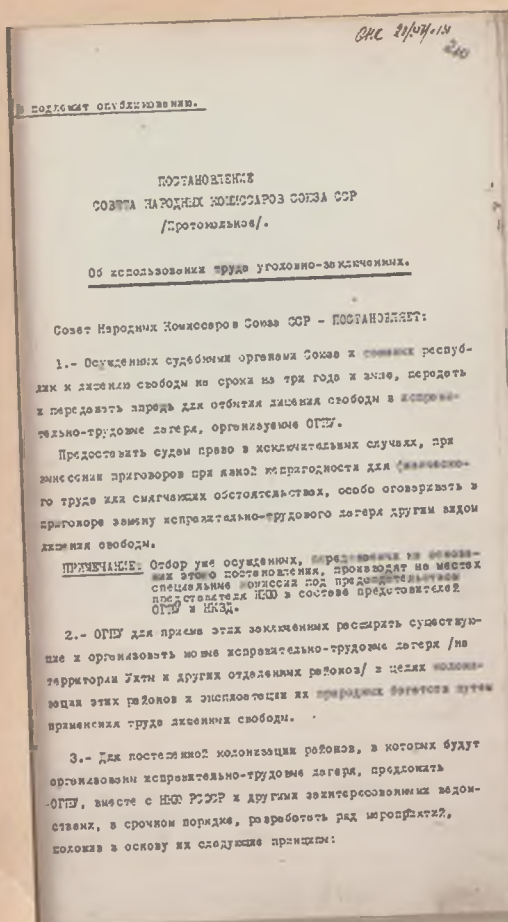


Здание Управления
Соловецких лагерей.
Фрагмент западного
фасада.

*Кадр из фильма
«Соловки» 1928 г.*



Бывшее здание УСЛОН
в центре Кеми
Фото Л. Гордюшко. 2016 г.



В. Р. Менжинский —
советский партийный
деятель, в 1926–1934 гг. —
председатель ОГПУ СССР

Постановление Совета Народных
Комиссаров СССР от 11 июля 1929 г.
Об использовании труда
уголовно-заключенных

Голгофо-Распятский
скит на о. Анзер
до начала реставрации.
Фото Ю. Бродского.





Фотооткрытка «Кремль – зимний вид». Между 1927 и 1929 г.
 Типография ЭКЧ (Эксплуатационно-коммерческой части)
 Управления Соловецкого лагеря особого назначения.
Государственный музей истории ГУЛАГа



Клеймо с надписью «Б.Б.Л. [Белбалтлаг] ОГПУ». 1930-е гг.
 Использовалось для маркировки тары с готовой продукцией
 швейпрома на Вегеракше – одном из отделений Белбалтлага.
Кемский городской краеведческий музей «Поморье»



Н. В. Крыленко – советский государственный и партийный деятель. В 1929–1931 гг. – прокурор РСФСР. Расстрелян в 1938 г.



А. М. Шанин – советский деятель органов безопасности, руководитель Комиссии, работавшей на Соловках. Расстрелян в 1937 г.



Свято-Вознесенский скит на Секирной горе



Александр Александрович и Александра Александровна Левичевы.
Фото из архива Р. А. Туфановой



Табличка на могильном кресте А. А. Левичева



Градислава Никаноровна Канорская.
(За веру Христову. Сост. С. В. Суворова. Архангельск. 2006)



Могила протоиерея
Николая Пискановского
на Вологодском кладбище
г. Архангельска.
Фото предоставлено
С. Шишеловым



Екатерина Ивановна Поварова.
(За веру Христову. Сост. С. В. Суворова.
Архангельск. 2006)



Иеромонах Серафим (Тьевар).
Москва. Тюрма ОГПУ. 1931 г.



Степан Маркелович Антонов. Фото из следственного дела.
(За веру Христову. Сост. С. В. Суворова. Архангельск. 2006)



Авенир Авенирович
Вадбольский (1898–1930)



Борис Николаевич Ризников (1874–1927)



Лидия Ивановна (Лада)
Могилянская
(1899–1937)



Евгения Исааковна
Ярославская-Маркон
(1902–1931)



На стадионе Трудкоммуну.
(Из книги «Болшевы», М., 1936)



Болшевская колония



Любимый гость. Максим Горький в Болшеве. (Из книги «Болшевы», М., 1936)



Механический цех. (Из книги «Болшевы», М., 1936)



Первые дома Болшевской трудкоммун. 1927 г.
(Болшево: Литературный историко-краеведческий альманах. №3. 1994 г.)

Примерная раскладка отпуска в граммах продуктов питания на одного заключенного в день.

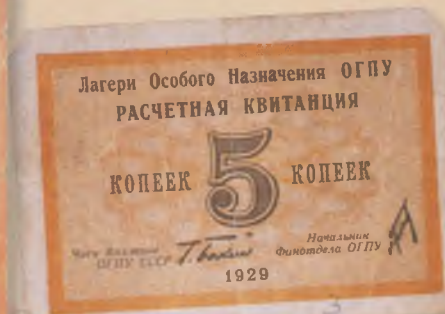
| Название продуктов. | На обед для преставления. | | | | | | | | | | | | На ужин для прест. касс. | | | | Всего в день на одного заключенного. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---------|--------|--------------|------------------------|----------|------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----|------|------|--------------------------------------|-----------|--|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|------|-----------------------|----|-----|---|
| | С у п а. | | | | | | Х а щ и. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Мясо или рыба | Картофель | Капуста | Свекла | Пшенич. мука | Рис, гречиха или перл. | Горох | Лук | Пшено или пшеница | Крупа греч. | Крупа перлов. | Пшенич. мука | Масло раст. | Лук | Хлеб | Сек. | Мясо или рыба | Картофель | Капуста | Свекла | Мука пшенич. | Горох | Крупа | Пшенич. мука | Масло раст. | Лук | Перец и петруш. лист. | | | |
| День недели. | Мясо или рыба | Картофель | Капуста | Свекла | Пшенич. мука | Рис, гречиха или перл. | Горох | Лук | Пшено или пшеница | Крупа греч. | Крупа перлов. | Пшенич. мука | Масло раст. | Лук | Хлеб | Сек. | Мясо или рыба | Картофель | Капуста | Свекла | Мука пшенич. | Горох | Крупа | Пшенич. мука | Масло раст. | Лук | Перец и петруш. лист. | | | |
| Воскресенье | 136 | 520 | — | — | 8 | — | — | 40,2 | — | 100 | 12 | 5 | — | 50 | 8 | 2 | 520 | 25 | 136 | 520 | — | — | — | 158 | — | 20 | 8 0,2 | | | |
| Понедельник | 100 | 100 | 273 | — | 8 | — | — | 40,2 | — | 100 | 12 | 5 | — | 50 | 8 | 2 | 520 | 25 | 100 | 100 | 273 | — | 8 | — | 150 | 20 | 8 0,2 | | | |
| Вторник | 100 | 100 | 136 | 136 | 8 | — | — | 40,2 | 100 | — | 12 | 5 | 50 | — | 8 | 2 | 520 | 25 | 100 | 100 | 136 | 136 | 8 | — | 150 | 20 | 8 0,2 | | | |
| Среда | 100 | — | — | — | — | 150 | 4 | — | — | 100 | 12 | 5 | — | 50 | 8 | 2 | 520 | 25 | 100 | — | — | — | 150 | — | 150 | 20 | 8 0,2 | | | |
| Четверг | 100 | 100 | 273 | — | 8 | — | — | 40,2 | — | 100 | 12 | 5 | — | 50 | 8 | 2 | 520 | 25 | 100 | 100 | 273 | — | 8 | — | 150 | 20 | 8 0,2 | | | |
| Пятница | 100 | 520 | — | — | 8 | — | — | 40,2 | — | 100 | 12 | 5 | — | 50 | 8 | 2 | 520 | 25 | 100 | 520 | — | — | — | — | 158 | 20 | 8 0,2 | | | |
| Суббота | 100 | 100 | 136 | 136 | 8 | — | — | 40,2 | 100 | — | 12 | 5 | 50 | — | 8 | 2 | 520 | 25 | 100 | 100 | 136 | 136 | 8 | — | 150 | 20 | 8 0,2 | | | |
| Итого в неделю | подлежит отпуску на одного заключенного | | | | | | | | | | | | В граммах | | | | 3640 | 175 | 736 | 1440 | 818 | 272 | 32 | 150 | 608 | 458 | 140 | 56 | 1,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | В русских мерах | | | | 5 ф | — | 1 ф 3 ф 2 ф | — | — | — | — | — | 1 ф 1 ф | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 x 42 x 76 x 49 x | — | 64 x 8 x 35 x 48 x 12 x 32 x 14 x 54 x | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | В калориях | | | | 7460 | — | 1010 | 1344 | 392 | 106 | 112 | 494 | 2178 | 1642 | 1242 | 30 | — | |

что составляет в неделю :6010 калорий.

что составляет в неделю 16010 калорий.

К сведению: 1 грамм указанных в раскладке продуктов по калорийности равен: хлеба—2,05, мяса—1,41, картофеля—0,95, капусты—0,34, свеклы—0,4, растительного масла—9,2, крупы гречневой или перловой—3,6, пшеница—4, гороха—3,4, подпавочной муки—3,6 и луку—0,5 калорий.

Нормы отпуска продуктов питания для заключенных СЛОНа и «денежные» квитанции, по которым шел расчет внутри лагеря



Я Александр Косов. Письмо к Вам пишу с большим удовольствием.
 Оно касается моего дела № 7.
 С Вашего позволения я прошу Вас рассмотреть мое дело.
 Оно касается моего дела № 7.
 Я прошу Вас рассмотреть мое дело.
 Оно касается моего дела № 7.
 Я прошу Вас рассмотреть мое дело.
 Оно касается моего дела № 7.

К. Л. Власов-Уласс
 Просительное письмо в ПКК.
 ГАРФ. Р8409-1-78-151

Бориса Борисовича
 от имени Вас
 и от имени
 К. Л. Власов-Уласс
 24-26
 Дать Вам и
 К. Л. Власов-Уласс
 26-26

К. Л. Власов-Уласс
 Благодарственное письмо
 в ПКК. ГАРФ.
 Р8409-1-113-210 оборот

Лагерный план 1929-30



Константин Власов-Уласс Парик Франция
N 13
220 л. 4
Предложение:
Соловецкий остров:
Остров Соловецкий, восток Балтийского моря, остров извечно-исторический
приют для страдальцев острова Соловки. Нерокой гуд, стая людей сменяется
и акция массы ритма человеческого страдания. Море сердится, и пенится
над бросается на гранитную скалу. Приступ кончается с тихим ритмом
и буря наворачивается и море после неудачею итерия. Вспух бисает кано
буль утихает, утихает море. День о Соловецком-острове истривает
волна дегенит волну. Тень в стихии, как будто на минуту все остано-
вилось: стоит ало, остановилось лажь-истина. "В-о, ой!" Кто же это
песня нарушить снова? "Куда же несутся эти стени?... Умира-
ет в вертикальную гладь моря, еле-еле джек далеко отодвигает в про-
странство. Чужие, чужие... Инаружи спокойствие.
" Понеделье! В Вадетелю о калитрутом отчаянии войны. "Почему!"
Все стихия. Море, еле-еле зеркало, отражает отражение горы.
Секция, это старый храм, святой храм Соловецкого острова истрива-
ет на скале у самой пелюхи Балтийского моря. Неро-то с холодами раз-
давался овал с призывом к Соловецким жителям к истривать. Те были в
свое историческое время. Море-термист остров "опи утихает, спящий
ведет хвалу господу -бегу. Те было лажь. Не стало бужьего запер-
ского аламанта Петра Колышевского. Лажь камешная истрив у истрив
иостановит о его страданиях. Те было лажь истрив омыло лажь.
И так не стало бужьего арестанта Петра Колышевского. Не стало и истрив

К. Л. Власов-Уласс
Титульный лист
воспоминаний



Ворота одного из лагпунктов на строительстве
Беломорско-Балтийского канала. 1932 г.



Баракы Свирьлага. Строительство Нижне-Свирской ГЭС. 1931 г.



АННА ПЕТРОВНА

СКРИПНИКОВА



М. Е. Бабичева
РОМАН ИЛИ ВСЕ ЖЕ МЕМУАРЫ?
(О произведении А. П. Скрипниковой «Соловки»)

Писатель Светлана Алексиевич получила в 2015 г. Нобелевскую премию в области литературы за то, что ее творчество стало «памятником страданию и мужеству». В свое время всемирную известность ей принесла книга «У войны не женское лицо» (1983). Противоестественность участия женщин в таких социальных катаклизмах, как война, неоспорима. Несомненна ценность свидетельств, оставленных такими участницами. Те же формулировки в полной мере можно использовать и в отношении «исправительных» заведений: «не женское лицо» у тюрьмы и каторги. Воспоминания побывавших там женщин представляют особый социокультурный интерес, являются специфической характеристикой самого феномена «исправительный лагерь», а зачастую также памятниками и страданию, и мужеству.

Роман Анны Петровны Скрипниковой «Соловки», отразивший ее тюремно-лагерную эпопею, в значительном объеме ранее не публиковался. Он датирован 1964 г., местом создания назван город Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Указан даже конкретный адрес, по которому бывшая заключенная проживала к моменту завершения работы. Авторизованный машинописный вариант произведения в настоящее время находится в Отделе рукописей РГБ. В книге 354 страницы. Она разбита на разделы: «Предисловие автора», «Роман “Соловки”» (содержание), «Соловки» (тридцать глав основного повествования) и «Эпилог». Главы расположены сплошным массивом, без перехода на новую страницу. В качестве заглавия использованы соответствующие цифры. В самом начале слово «глава» выносилось перед цифрой («Глава 1-я»), но уже со второй главы они менялись местами, числительное также изменило форму («2 глава»), начиная с четвертой главы, эта запись имеет, за редкими исключениями, сплошное подчеркивание («4 глава»). Рукопись содержит незначительную, в основном корректорскую, реже редакторскую (стилистическую) правку, сделанную авторским почерком синими чернилами.

Роман посвящается «соловчанам и соловчанкам, живым и мертвым». Ему предшествуют два эпиграфа: фрагмент арестантской песни 1920-х гг. и реплика

летописца Пимена из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», которые явно указывают на задачу, стоявшую перед романисткой, считавшей своим долгом участвовать в создании «верной картины пенитенциарного права или, скорее, бесправия в советских лагерях, в частности, в Соловках». Обращаясь к последующим поколениям читателей, писатель призывает поднять и изучить соответствующие документы, отмечая, что сама не имеет такой возможности. Себя она ощущает «первопроходцем темы» и с некоторым (типично женским) кокетством характеризует свое сочинение как «первый блин комом», судя по всему, не имея представления о десятках уже опубликованных к тому моменту за границей или написанных в СССР воспоминаний соловчан.

Скрипникова называет свое произведение романом («несовершенным и малоубедительным») и, действительно, пытается соответствовать классической форме этого жанра. Текст в основном написан от третьего лица. Выстроен единый сквозной сюжет, стержнем которого служит судьба главной героини — Анны Васильевны Скрыбиной. Это вымышленный персонаж, так же как и целый ряд других, сюжетно с ним связанных. Автор четко дистанцируется от героини, периодически выступает уже от своего собственного (первого) лица в так называемых «отступлениях», развернутых высказываниях на философские, морально-этические, социально-экономические темы. Непосредственно от лица автора приводятся также исторические справки, касающиеся событий как прошлого, так и будущего, по отношению к моменту повествования, времени. В последнем случае иногда специально оговаривается, что героиня этого знать не может.

И все же «Соловки» не являются романом в привычном понимании термина. Мемуарный характер книги очевиден: сюжет явно строится на личных впечатлениях автора, развитие и раскрытие характера героини отсутствует. Огромный трагический жизненный опыт, приобретенный Скрыбиной в ходе описанных событий, практически не отражается на ее личности. Это специфический образ-ширма, скрепляющий сюжет и позволяющий Скрипниковой высказать свое мнение по интересующим ее вопросам.

Основное действие, показанное в книге, происходит в течение пяти лет — с «начала летних каникул» 1927 г. и до осени 1932 г. События разворачиваются поступательно, начиная с ареста главной героини в Москве и до ее отъезда, уже после освобождения и краткосрочного посещения Ленинграда, в родной южный город. Пребывание Скрыбиной непосредственно в СЛОНе, описание которого и представлено на страницах настоящего издания, занимает центральное место в повествовании. Пароходом из Кеми она направляется на Соловки перед самым закрытием навигации 1927 г. (7-я глава). И перед закрытием навигации

1931 г. покидает их с партией заключенных, переводимых на материк, в поселок Медвежья Гора (25-я глава).

В пятой главе, уже приговоренная «к Соловкам», этапиремая из Москвы в Ленинград, героиня тяжело переживает известие о расстреле одного из своих «однодельцев» — влюбленного в нее юноши, который, по свидетельству сокамерника, ко всему прочему сошел с ума, узнав о своем приговоре («Вся жизнь с гимназических лет проходила перед Анной и подвергалась переоценке»). На семи машинописных страницах излагаются факты биографии Скрыбиной, анализируются особенности ее характера. При этом текст написан частично от первого, частично от второго, частично от третьего лица. Повествование в целом в этом отрывке ведется от имени автора. В третьем лице, «отстраненно» (объективно) рассказывается об упорстве, с которым Скрыбина-гимназистка в совершенстве овладела французским языком, об уроках, которые она давала, о том, как тратила заработанные деньги, об ее размышлениях о феномене «рабочей интеллигенции».

Достаточно часто звучит и голос самой героини («я не могу даже сказать, что семья нуждалась», «фрукты считалось в нашей семье неприличным продавать», «я, дочь рабочего, буду хорошо знать французский язык»). Активно представлен в этом отрывке диалог — как внутренний (обращение к себе самой), так и внешний — оформленный обмен репликами с другими персонажами. В первом случае через автополемику передается глубинная авторская рефлексия («Ты со своим характером, твердым и упрямым, много выиграла в жизни, но проиграла в несколько раз больше!»), тогда как в диалогах с начальницей гимназии и другими гимназистками обрисовывается социальная позиция юной особы: «Что вы требуете от меня и в моем лице от всей молодежи? <...> НЕ откажусь! Исключайте!...», — смело заявляет она в лицо собеседнице.

Считая Анну Васильевну Скрыбину персонажем автобиографическим, можно пытаться реконструировать не только биографию, но самое главное, специфику мировоззрения и особенности личности самой романистки. Опираясь при этом следует не только на авторские отступления, но на весь текст книги, как это, по всей вероятности, делал А. И. Солженицын, неоднократно цитирующий Скрипникову на страницах «Архипелага ГУЛАГ» и посвятивший ей специальную главу своего эпического произведения.

Писательница, по-видимому, также как и ее «альтер эго», родилась в самом конце XIX столетия в одной из южных русских губерний. Девочка росла в семье квалифицированного рабочего винного завода, достаточно обеспеченной, имеющей небольшой собственный дом с садом. «Правда, счастливому детству мешала

хроническая нервная болезнь матери», — пишет автор о своей героине, видимо, проецируя личные переживания, обостренные еще и из-за того, что героиня романа, по ее собственному признанию, сама несколько раз переживала продолжительные эйфорические состояния. Отец-рабочий мечтал о высшем образовании для дочери, которая с отличием окончила гимназию и философско-психологический факультет Московского университета, после чего вернулась преподавать в родной город.

Многokrатно на протяжении повествования, высвечивая все новые подробности, Скрипникова возвращается к одному и тому же эпизоду биографии героини. По-видимому, такое событие реально произошло с ней самой и оставило неизгладимое впечатление на всю последующую жизнь. В 1920 г. город был взят Красной Армией. Начальник Особого отдела Лосев собрал митинг интеллигенции и выступил с разгромной речью против русской культуры и ее носителей. Оппонировать ему решилась только одна, совсем еще юная, Скрыбина. Почти сразу она была за это арестована. Молодая женщина не только провела некоторое время в застенках ЧК, но была приговорена к расстрелу, от которого ее спасло активное заступничество местной интеллигенции.

Этот жизненный эпизод стал для Скрыбиной (и, вероятно, для автора) судьбоносным. Анна Васильевна вышла из тюрьмы другим человеком: она словно обрела личный «гамбургский счет», по которому всю дальнейшую жизнь сверяла свои мысли и поступки. Встреча с «русской мадонной» — изможденной арестанткой, держащей на коленях умирающего от голода младенца, — подвигла ее навсегда — заранее, осознанно и принципиально — отказаться от материнства. Неделя, прожитая в тюрьме в ожидании расстрела, научила ценить жизнь во всех ее проявлениях. Будучи жизнерадостным человеком, Анна была яростным противником самоубийств как способа решения проблем и ухода от трудностей, что отдельно оговаривается на страницах произведения. Допросы, превратившиеся в мощное противостояние со стороны арестантки, ее очевидное моральное превосходство над следователем еще более закалили характер Скрыбиной, сделали ее еще более решительной и бескомпромиссной.

Выйдя на свободу и перебравшись на постоянное жительство в Москву, Скрыбина в 1923 г. получила замечательное предложение работы в академическом институте психологии. Но трудоустройство в это «идеологическое» учреждение требовало назвать себя в анкете «марксисткой», что героиня принципиально категорически отказалась сделать. В результате несколько лет она существовала на маленькую учительскую зарплату, с трудом выкраивая деньги, например, на летнее пальто. При этом, стремясь к полноценной культурной жизни, посещала

Румянцевскую библиотеку, принимала участие в работе домашнего музыкального кружка. Членство в этом кружке и стало причиной ее ареста. Все участники собраний были обвинены в контрреволюционной деятельности, а музыкальная часть объявлена «ширмой», эту деятельность прикрывающей.

Твердую волю и несгибаемый характер проявляла Скрыбина и в заключении, что, несомненно, помогло ей не только выжить, но и лично уцелеть. Свое пребывание в Бутырской тюрьме она начала с категорического требования посадить ее в карцер. На такую специфическую протестную акцию арестантку подвигла переполненность камеры, куда ее изначально определили, и, что еще важнее, нездоровая нравственная атмосфера в ней, а также совершенно антисанитарное состояние. При этом мест в других камерах и свободных «одиночек», как утверждало начальство, не было.

Подобная твердость характера отличала и автора книги. В эпилоге пунктиром намечен ее жизненный путь до начала 1960-х гг.: «бурная и стремительная» вплоть до нового ареста в 1952 г. Повторное осуждение по одной из самых тяжелых статей (58-10.2) за антисоветскую пропаганду в военное время. На сей раз Скрыбиной вменялось в вину сделанное за 11 лет (!) до ареста высказывание, что страна была плохо подготовлена к войне. Срок — двадцать пять лет с конфискацией имущества. Новая тюремная география включила мордовский лагерь № 6, «кемеровский могильник» (Кемеровский лагерь особого назначения), владимирскую «политзакрытку» и московскую «Лубянку». Со своей тяжелой статьей Скрипникова не попала ни под одну из амнистий, связанных со смертью Сталина и разоблачением культа его личности. Она боролась за реабилитацию собственными силами. «С 1952 по 1959 год, за семь с лишним лет своего заключения, Скрыбина написала около 80 заявлений в различные инстанции...» Добилась пересмотра дела по обоим обвинениям (1927 и 1952 гг.) и полной реабилитации по ним.

Картина пребывания Скрыбиной на Соловках фактографически не отличается от других мемуарных свидетельств. Особую ценность повествованию как мемуарному источнику придает информация о деталях жизни в СЛОНе, доступных только женскому взгляду (и пониманию). В книге встречается подробный рассказ об устройстве быта и укладе жизни в женском бараке. Здесь отражены и официальный порядок, и неписанные законы. Охарактеризованы различные социальные группы женщин-заключенных и отношения между ними. Женскими глазами увидено и показано ощущение разными женщинами противоестественной гендерной ситуации (одна женщина на тридцать мужчин) и, соответственно, поведение в ней.

Интересной деталью служит приработок главной героини и ее старшей подруги Софьи Федоровны Фокиной. В свободное от работы время они на заказ другим заключенным женщинам вручную шьют нарядную одежду и украшают ее вышивкой. Среди заказчиц главным образом проститутки и содержанки лагерных начальников. Обслуживают их интеллигентки с высшим образованием, в минуты отдыха обсуждающие философские вопросы по-французски.

На личном опыте героини показаны и полноценный многолетний роман, и отвергнутые ею, иногда деликатные и робкие, в другом случае — нагло нахрапистые ухаживания. В рассказ о любовной истории Скрыбиной вплетена информация об особом статусе совместного посещения заключенными разного пола киносеансов, о тайных свиданиях в лесу, о трагической разнице окончания срока заключения, которая часто оказывается роковой для «лагерной» любви. Высоким романтизмом с оттенком мистики отмечен эпизод, когда счастливые влюбленные наблюдают в лесу северное сияние. Оказавшись внутри светящегося конуса, они ощущают себя соединенными высшими силами.

Внутренний мир героини богат и многопланен, что, во-первых, свидетельствует о ее глубокой эрудиции, во-вторых, позволяет понять особенности мировидения, направленность интеллектуальных и эмоциональных интересов самой Скрипниковой. При этом обилие развернутых поэтических цитат, отсылки к прозаическим художественным произведениям, пересказ различных теорий и учений, обращение к документам, перегруженность именами писателей, философов, ученых, деятелей культуры и политиков от античности до середины XX столетия значительно снижают художественную ценность текста.

Повествование постоянно перемежается разного типа, глубины и объема обращениями к наследию Платона, Вл. Соловьева, Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Роллана, Грибоедова, Л. Толстого, Фета, Тютчева, Достоевского, Чехова. Упоминаются в тексте также Горький, Маяковский и Демьян Бедный, но без отсылок к творчеству и в пренебрежительно-отрицательном контексте. В одних случаях весь этот «дополнительный» материал дается через воспоминания/размышления героини, в других — непосредственно от лица автора. Определить закономерность его распределения между этими двумя источниками не удастся. Более того, момент перехода от авторского прямого высказывания к повествованию о судьбе героини иногда оказывается «размытым»: основной текст с какого-то момента вдруг продолжается не от третьего, как это было до названной точки, а от первого лица: «Итак, в нашей группе однодельцев...» Все это еще больше подчеркивает внутреннее сходство Скрипниковой (автора) со своей героиней (Скрыбиной).

Философ и психолог по образованию, мировоззренчески она — активная атеистка, строящая свои убеждения на позитивистском понимании церковной истории и богословия. Основная же христианская добродетель — смирение — ей глубоко чужда, тогда как собственную гордыню она явно воспринимает как положительную черту. В этой связи можно отметить, что в произведении нет ни одного персонажа, о котором Скрипкина говорила бы, как о ровне. Все окружающие ее люди, на ее взгляд, так или иначе, уступают ей в интеллектуальном, нравственном, физическом и любом другом отношении. Даже давая кому-нибудь положительную характеристику, она обязательно — явно или подспудно — указывает на слабые места того или иного человека. Вне критики лишь несколько исторических персонажей — Джордано Бруно, Ипатия. Тогда как Тютчев, стихи которого, поддерживавшие ее в годы заключения, героиня знала с 14 лет и воспринимала в качестве евангелия, уже не является абсолютным авторитетом из-за своей религиозности, принадлежности к Православию и славянофильских взглядов.

Жизненный девиз Скрыбиной («Никогда не позволяй переломить себе позвоночного хребта — стержня своей личности и совести!!! Это все, что у нас есть! — Лучше иди в смерть!!!») полностью отрицает предопределенность судьбы и вселяет в нее уверенность, что «все зависит от нас: мы куем свою судьбу, а не судьба нас!» На Соловках эта убежденность героини только крепнет, появляется еще более четкая формулировка и развернутая аргументация: «Судьба — только внешняя проекция твоего я, и за нее отвечаешь только ты». Руководствуясь этой установкой, Скрыбина строит (и разрушает) отношения с людьми и вообще линию своего поведения в СЛОНе. Она постоянно утверждает себя в этом социуме, не останавливаясь перед прямой конфронтацией с лагерным начальством и по производственным (скандальный отказ халтурить ради выполнения плана), и по личным (не менее скандальное противодействие ухаживаниям непосредственного руководителя) вопросам.

Вместе с тем ей имманентны понятия «вера», «душа», «грех», «молитва»: в духовной сфере героиней движет скорее богоискательство, чем богоборчество. Лично для себя она не приемлет как Православия, так и христианства в целом. По собственному ее признанию, окончивая в Москве университет, она примкнула было к католической церкви («восточное католичество»), но «быстро впала в ересь, стала задавать неудобные вопросы, оспаривать принятые всеми незыблемые положения». К моменту прибытия на Соловки Скрыбина четко для себя сформулировала: «Я в Бога личного не верю, верю только в природу-космос; я — пантеистка».

Критические высказывания в отношении существования Бога, веру в которого она опровергает чаще всего для того, чтобы оправдать свои не благочестивые с религиозной точки зрения поступки, сочетаются у Скрябиной с уважительно-заинтересованным отношением к верующим людям. Более того, при внимательном рассмотрении они выступают в качестве основных положительных персонажей произведения. Так, соловецкие будни героини начинаются с работы на засолке капусты под руководством последнего оставшегося на архипелаге монаха Мефодия. Личность и судьба этого человека, а также рассказ о выселении с островов после закрытия монастыря всех иноков, включая очень пожилых, перешедших даже столетний рубеж, произвели на Анну Васильевну очень сильное эмоциональное впечатление. Автор отмечает, что «это была одна из самых светлых, сияющих человечностью личностей, что встретила Анна не только в Соловках, но и за всю свою жизнь».

Скрябина убеждена, что «религиозные люди — настоящие политзаключенные в советских лагерях», в отличие от подобной ей самой «политической шпаны». Первые сознательно шли на страдания за свою веру, тогда как вторые, незаконно репрессированные, действительно не знали, за что они арестованы. Внимательно приглядываясь к «монашкам», Скрябина «восторгалась их честностью, чистотой, скромностью в быту и железной стойкостью первых христиан».

Как глубочайшую трагедию восприняла она историю с отправкой группы сектанток без продуктов на Заяцкий остров, где они все умерли от голода. Анна Васильевна всеми силами пыталась спасти обреченных женщин, просила отправить ее с этой группой в качестве счетовода. И потом еще долгое время «мучилась и страдала, и, сознавая разумом, что она не виновата, упрекала все-таки себя в огромной вине». Этому эпизоду в тексте сопутствует большой (более трех машинописных страниц) «публицистический экскурс в середину 50-х годов XX века». Здесь автор рассказывает о подобных случаях в последующие годы, отмечая при этом, что «Анна Васильевна Скрябина не знала и не могла предвидеть повторения истории на Заячьих островах через 28 лет».

Много внимания уделено в повествовании суровой красоте Соловецкого края. «Только она лечит мою душу, как музыка!» — думает Скрябина о северной природе, наблюдая в Кемской пересыльной тюрьме «пылающий, грозный, ежевечерний закат». В числе первых впечатлений Анны Васильевны серебристо-перламутровая вода Белого моря, «нежный, перламутровый с преобладанием мягких голубых и розовых тонов» закат, березовый лес, идущий «прозрачным инейным кружевом» и выделяющийся на темно-зеленом фоне елей. Березки, растущие за женским баракom, на все время пребывания в СЛОНе стали для

Анны дуэньями: к ним приходила она выплакаться, помечтать или просто побыть в одиночестве. Воспета в книге и красота местных лесов. Для Скрыбиной, не работавшей на лесоповале, это запретное и потому особо желанное место для уединенных прогулок и любовных свиданий.

Воспоминания Скрипниковой на текущий момент особенно актуальны, поскольку именно сейчас на уровне референдумов встал вопрос о переименовании станции «Войковская» Московского метрополитена. По результатам одного социологического опроса лишь треть опрошенных респондентов выступили за переименование, тогда как более половины участников исследования по тем или иным причинам хотят оставить прежнее название. Возможно, эта статистика была бы несколько иной, если бы все голосовавшие (и воздержавшиеся) знали о так называемом «войковском наборе», жертвой которого стала и героиня «Соловков» Анна Скрыбина. Это — мощная волна арестов, в порядке «социальной профилактики» проведенных в 1927 г. в связи с убийством в Варшаве Петра Войкова, занимавшего в тот момент должность полпреда СССР в Польской Республике. Большая часть жертв этого «набора» пострадала безвинно и впоследствии была реабилитирована (многие, к сожалению, посмертно).

«Соловки» Скрипниковой — одно из действенных напоминаний, наглядных свидетельств того, как в действительности разворачивались исторические события. Эта книга позволяет четче представить картину жизни в СЛОНе в конце 1920-х — начале 1930-х гг. В том числе проследить множество незримых духовных нитей, которые связывали (некоторых) арестантов с мировой культурой. Показывает она (полнее и глубже, чем воспоминания мужчин-«соловчан») особенности положения женщин в этом лагере.

В романе встречаются ошибки в отношении некоторых статистических данных и другие, не подлежащие проверке сведения, появление которых вполне объяснимо условиями и временем создания произведения. Отметим также и неточное, в ряде случаев, цитирование стихов и переводов русских классиков, которые на страницах настоящего издания воспроизводятся в соответствии с авторской интерпретацией, оставляя читателю простор для размышлений и дополнительный повод вновь обратиться к первоисточникам.

Выражаю благодарность за помощь в подготовке текста сотрудникам Отдела рукописей РГБ Ольге Анатольевне Тепляевой и Любови Александровне Шевцовой.



СОЛОВКИ



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Я считаю свой роман «Соловки» несовершенным и малоубедительным. Однако я работала над ним усердно по чувству долга из таких соображений, что соловецкий лагерь нигде не освещен в литературе, между тем мы, соловчане, отбывавшие там срок почти 40 лет тому назад, вымираем, т.к. перешагнули или приближаемся к седьмому десятку своей жизни.

Пусть мой роман будет — «первый блин комом», за которым последуют повести и романы, более удачные, других соловчан, оставшихся в живых, а также историков, которые напишут о Соловках по документам.

Я считаю это нашим долгом и вкладом в историю пенитенциарного права в Советском Союзе. Я беру Соловки конца 20-х годов и начала 30-х. Что было потом на Соловках и чем являются Соловки теперь, я не знаю.

«Соловки!» — одно это слово внушало тогда ужас во всем мире, как лагерь смерти и самой суровой, островной изоляции политзаключенных и уголовников.

Я этого не нахожу. Последующие, особенно северные лагеря — Воркута, Печерские, Норильские, Кенгир, Магадан и другие — были с 30-х годов по 60-е включительно гораздо более тяжелыми и суровыми по режиму, по голоду, климату и жилищным условиям, по запрету переписки: по одному-два письма в год семье от заключенного или полное запрещение переписки на весь срок, в течение 18—19 лет, с 1937 года по 1966 год.

К сожалению, режим политзаключенных, т.е. государственных преступников», в лагерях и в «политзакрытках», типа владимирской, значительно

ухудшился после 22-го съезда партии в отношении переписки, посылок, денежных переводов и права пользоваться своими деньгами.

Относительно либеральный режим был недолго в лагерях после смерти Сталина, приблизительно с 1954 года по 1957 год. С 1957 года снова ввели ограничения в переписке (по одному письму в месяц), снова отменили деньги в лагерях, а ввели личные счета, что повлекло за собой злоупотребления в бухгалтерии лагерей и большие неудобства для заключенных.

После 22-го съезда партии, с 1961 г., ограничили денежные переводы и ввели право покупать в лагерных ларьках только на пять рублей в месяц, посылки заключенным снизили до 5 кг, при этом: уголовным — по 5 кг через два месяца; политзаключенным в лагерях — по 5 кг через четыре месяца, а политзаключенным в «политзакрытках» — через 6 месяцев, т.е. две посылки в год. Всякие бандероли само собой отпали, так как администрация считает их за посылки, а поэтому очередную посылку отправляет обратно домой родным заключенных. Одна мать послала прошлый год дочери (Галине Голояд) заказную бандероль с лекарствами во владимирскую «политзакрытку». Бандероль приняли, но очередную посылку с продуктами вернули матери обратно, как третью посылку в течение года.

Поэтому родственники не могут послать заказную бандероль ни с лекарствами, ни с книгами, ни с газетами, как это было до 1961 года, чтоб им не вернули очередной продуктовой посылки, как сверхнормативной.

Таких жестких ограничений в отношении посылок и денег не было даже при Сталине во время культа личности.

В повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в которой описывается лагерь особого назначения в период культа личности Сталина, мы видим, что заключенные получали заказные бандероли, посылки и переводы без всякого ограничения в числе и весе, однако некоторые читатели считают эту повесть А. И. Солженицына неправдоподобно суровой.

Это, конечно, неверно: повесть вполне реалистична, а сейчас в 60-х годах введен режим для политзаключенных гораздо более тяжелый в перечисленных выше отношениях, чем это отражено в повести А. И. Солженицына.

В Соловках никаких ограничений в посылках, денежных переводах и бандеролях не было, а посылки не получали зимой, в связи с закрытием навигации. Летом же можно было получать с материка какие угодно посылки, хоть ежедневно. Заключенные имели на руках и в сберкассе большие суммы денег, а не бумажные счета, и могли ими распоряжаться по своему усмотрению.

Магазины были снабжены на Соловках в то время продовольствием и промтоварами лучше, чем на воле — на материке.

Затем я считаю, что в Соловках был более гуманный порядок — не разбивать семью и родственников, получивших срок по одному делу, в том числе — не отделять жену от мужа. Впоследствии же, с 30-х по 60-е годы включительно, ссылали за религию по три поколения семьи, и всех в противоположные концы страны, при этом третье поколение — внуки — были обычно детьми и подростками 14—17 лет, оторванными от отцов, матерей и дедов.

В то же время сурово осуждали целые группы детей-школьников 14—17 лет за организацию нелегальных кружков в средней школе. Они осуждались за антисоветскую пропаганду по ст. 58-10 на десять лет и больше.

Такого безобразия я в Соловках не видела и осужденных детей не встречала... Конечно, я считаю 1927 год, год убийства советского полпреда Войкова в Варшаве, генеральной репетицией 1937 года. И нечего твердить, что, де, культ личности Сталина установился только в конце его жизни. Это делается, чтоб спасти честь Сталина и его соратников.

Ленин предупреждал о жестоком, деспотическом характере Сталина еще в 1922 году, а вспомнили это предупреждение только в 1956 году, т.е. 34 года спустя.

Я старалась быть в романе «Соловки» объективной, но, к сожалению, у меня нет на руках ни одного документа того времени, и я не могу проверить тех мрачных и зловеющих слухов, что висели над Соловками грозными, черными тучами и давили на психику заключенных.

А ведь документы есть?! В архивах! И я хочу, чтоб теперь, через ряд десятилетий, эти архивы открылись и правда была бы тщательно и объективно изучена — «да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу!»... Но я не хочу, как летописец Пимен, примириться с безвозвратной гибелью прошлого — «а прочее погибло безвозвратно!»¹

Нужно поднять документы, изучить, исследовать их и дать верную картину пенитенциарного права, или, скорей, бесправия, в советских лагерях и, в частности, в Соловках. Это является также целью и задачей, которую должен выполнить мой роман — «Соловки».

1964 г., г. Орджоникидзе, 27

Анна Скрипникова

Сев-Осет. АССР, ул. Красивая, 4, кв. 2
СКРИПНИКОВОЙ Анне Петровне

¹ Цитата из трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина. — Примеч. ред.

**Посвящается мой роман соловчанкам и соловчанам,
живым и мертвым...**

*Соловки, Соловки — дальняя дорога!
Сердце ноет в груди, на душе тревога!*
Арестантская песня 20-х годов

*Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...*
Пушкин

6 глава

<...> Дорога в Кемь прошла в сносных условиях: без скученности, было довольно тепло, т.к. слегка топили в вагонах, но кормить не кормили, считая это излишней роскошью для заключенных. Одевать тоже не одевали в этап: кто что имел — в том и ехал, как Анна Васильевна в старой голубой телогрейке от Москвы до Ленинграда.

Вообще, в 20-х годах, как в начале их, так и в конце, считали, что заключенные должны ходить, в чем сели, и только редкие заключенные, кто поступал в надзорсостав или занимал высшие и средние должности на производстве и в бухгалтерии, пользовались казенным обмундированием.

Позже, наоборот, считалось большой льготой и единичным исключением разрешение ходить в собственной одежде, особенно в лагерях «особого назначения», т. е. в лагерях для политзаключенных, или государственных преступников, т. к. на бушлатах, на платьях, на штанах и головных уборах — везде укреплялись номера вместо фамилий. Номера эти мазались на носильных вещах особой белой несмываемой краской. В случае, правда, редком случае, разрешения носить собственную одежду, этой же краской мазался номер и на личной вещи, она являлась погибшей для воли, т. к. крупные 5—6-значные цифры не отмывались, а потом материя в этих местах прогорала до дыр.

Среди историков, возможно, возникнет спор, то ли немцы-фашисты позаимствовали эти номера в советских лагерях, то ли коммунисты взяли это у фашистов.

7 глава

Подъезжая к Кемь, Анна была потрясена суровой красотой пейзажа и убогостью строений этого не то поселка, не то городка — гавани на Белом море. Маленькие, совершенно почерневшие от времени деревянные домишки и белые столбы дыма из труб на фоне огненно-красного заката, что полыхал апокалипсическим пожаром в небе и отражался в море!

Было жутко смотреть на эту грозную красоту двойного пожара в небе и в море. Узенькие улочки и переулки окантованы были деревянными, тоже почерневшими тротуарами.

Пройдя в пересылку на берегу гавани, заключенные попали в деревянный, крайне переполненный барак посредине грязного, вонючего двора с широкими воротами. Огромная дверь в барак, состоящий из одной большой камеры, была почти постоянно открыта, поэтому получалось впечатление, что в бараке три стены, как на сцене. Шум, крик, чад, вопли...

Анна сразу обалдела: «Эге!.. Это тебе не бутырский шалманчик, от которого ты резко уклонилась, угрожая перебить все окна в нем...»

Правда, здесь был свой маленький коллектив из четырех одноделок, была рядом Соня, так что нечего было и думать об угрозах перебить окна и требованиях изоляции в одиночке или в карцере, да нигде незаметно было ни одиночки, ни карцера.

Недолгое пребывание в Кеми должно было выразиться в 2—3 днях до прихода парохода и погрузки заключенных на него. Четверка заняла нары в углу, а столom им служил перевернутый вверх дном бочонок.

Кругом «четверки» бушевала шпана, состоящая из проституток и воровок. Они ссорились, ругались друг с другом, дело доходило до драк. Кто-то у кого-то украл, что-то съел, что-то разбил...

Группа Анны переглянулась между собой и молча, не договариваясь, установила круглосуточное дежурство по очереди.

Анна Васильевна Скрыбина с интересом заметила и сообщила свои наблюдения Софье Федоровне: шпана не хотела ехать в Соловки, она ловчилась изо всех сил остаться на материке, на последней точке материка — в Кеми. Их ни капли не смущал этот ужасный барак, в котором, казалось, невыносимо прожить и недели: не было ни рукомошника, ни бани, ни кухни, ни человеческой уборной... смрад, грязь, потоки насекомых и нечистот... Что их соблазняло здесь? Возможность побега? Вряд ли!

Молодые проститутки напрашивались мыть полы в казармах конвоя, недвусмысленно соблазняя красноармейцев, и их уводили куда-то.

В это время шла борьба с проституцией: проституткам давали по три года и ссылали в Соловки. Может быть, они боялись лишиться заработка и декалифицироваться в своем ремесле? Но нет, нам уже сообщили, что проституция процветает на Соловках, как нигде в мире.

Может быть, они не хотели упустить клиентуру среди матросов, чем их соблазнял конвой? Шел открытый торг между конвоем и заключенными проститутками: конвой и надзор выступали одновременно и в роли клиентуры, и в роли сводников.

Впрочем, проститутки и воровки ругались только между собой, не затрагивая политических и религиозных женщин. Они относились друг к другу с величайшим презрением, как к низшей расе. Воровки считали проституток ниже себя: мы, хоть ворует, но собой не торгуем. Проститутки переворачивали этот аргумент: торгуем своим, но не краденным.

В другом темном углу молча копошились какие-то безмолвные, скромные фигуры. Это были «монашки», как называли тогда и теперь без разбора всех верующих женщин, хотя бы они были матерями семейств. С религией тоже шла тогда ожесточенная борьба, как и в настоящее время, но, в противоположность краткосрочным трехгодичным срокам воровок и проституток, «монашки» имели, в большинстве случаев, предельные сроки по тому времени — десятилетние.

Бывали случаи, что религиозные женщины оставляли дома детей и мужа, если глава семьи был нерелигиозен или отрекся от религии на суде.

В этом отношении женщины проявляли большую стойкость и твердость духа, чем мужчины. Бывали случаи, что в Соловки, а позже — во все лагеря до настоящего времени, шли за религию с максимальными сроками три поколения: бабка, дочь и внучка. При этом внучки были в 40-х и 50-х годах часто несовершеннолетние.

Много было в Соловках и католических священников, но они находились вне поля зрения Анны Скрябиной — в других командировках на Соловках, а не в «метрополии», где находилось управление соловецких лагерей.

Анна внимательно наблюдала «монашек», хотя различия в вере и сектантские расхождения для нее были неясны. Она только восторгалась их честностью, чистотой, скромностью в быту и железной стойкостью первых христиан. Анна часто повторяла с изумлением Софье: «Я никогда не думала, что в наш XX век так много в России первых христиан!»

— Меня мало интересует суть их вероучения. Важно, что они свободу и жизнь отдают за свои идеи, т. е. являются доподлинно идейно-политическими заключенными и знают твердо, за что они сидят: по их мнению, за правое дело! А мы не знаем, мы — политическая шпана! А мы за что сидим и за что одного из нас расстреляли? За музыку и концерты, как за «ширму». Что это за мифическая ширма, которую не знаем ни мы, ни наши следователи?²

Если нам предложат дать письменное отречение от «ширмы», каждый из нас даст эту подписку с чистой совестью, ни минуты не задумываясь. А как будут реагировать на такое предложение религиозные люди? С ужасом

² Героиня романа и ее однодежды были подвержены аресту и разной степени наказания за организацию музыкальных вечеров, которые, по мнению следствия, являлись своеобразной ширмой для проводимой ими политической деятельности. — *Примеч. ред.*

и отвращением, как на величайший соблазн дьявола. На страшном суде (а нет страшнее суда, чем суд своей совести) Бог, по их представлению, будет потрясать этими ренегатскими расписками, как тридцатью сребрениками Иуды за предательство Христа в Гефсиманском саду!

Я не верю в Божий страшный суд, но верю, что ничего нет на свете страшнее, чем суд своей совести! Словом, повторяю: мы — политическая шпана, а религиозные люди — настоящие политзаключенные в советских лагерях. Софья, сто-процентная атеистка, согласилась с Анной и рассказала ей о трагической истории одной «монашки»-десятилетницы. Муж отрекся от религии на следствии и упрекал потом ее на свидании в бессердечии: не пожалела троих маленьких детей, а я пожалел! Ты бесчувственная мать и изверг, хотя и тверда в вере. С кем бы мы оставили детей, если бы я не отрекся от Бога и религии?» — «С Богом!» — отвечала жена. «Не с Богом, а с большевиками в детском доме! — упрекал муж. — А мало выходит из детских домов воров, проституток и других преступников?»

Анна задумалась над юридической правомерностью расписок. Несколько раз в прошлом следователи ставили перед ней вопрос о расписках: «Если вы не анархистка, дайте нам расписку в этом! — Пожалуйста! — отвечал Анна. — Если вы не социал-революционерка, дайте нам в этом расписку! И не думайте, что я буду держать вашу расписку в столе, я ее опубликую в газетах! — Пожалуйста! — повторяла Анна».

— Я соглашалась: к анархизму я относилась по-женски, — с отвращением, хотя не была знакома с учением анархизма, — говорила Анна Софии. — Относительно учения социал-революционеров можно тоже сказать, что я его не знаю. Читала Лаврова, Добролюбова, Чернышевского, но ведь это литература столетней давности, а куда развивалось, т. е. в каком направлении шло дальнейшее развитие этого учения, я не знаю. Теперь даже идет борьба за наследие Добролюбова и Чернышевского: предшественниками чего они являются? То ли социал-демократов, то ли социал-революционеров.

«Да, — думала Анна Скрыбина, — требование расписки со стороны следователя или предложение самих подследственных дать такую расписку должно являться реабилитирующим моментом в ведении следствия. Между тем этот прием все больше и больше отживает. Совершенно верно, если такие расписки будут широко публиковаться, поскольку государственным преступлением считается в Советском Союзе идеология. Впрочем, расписки будут выколачиваться у нас путем морального и физического давления.

Идеологические преступления, как я их называю, т. е. обвинения в отклонениях от общепринятых стандартов мысли, все увеличиваются, и все большее число

людей привлекается по ним. Вера в Бога — основное идеологическое преступление! Нет, — говорят защитники атеизма, ссылаясь на статью 124 Советской Конституции, — карается законом десятилетним сроком не сама вера: ты, де, можешь верить в Бога в душе и даже отправлять религиозный культ, но не проявлять ее в проповеди, даже в семье, и не воспитывать своих детей в духе собственных религиозных убеждений, иначе получишь 10 лет по статье 58-10, как за антисоветскую пропаганду. Все религиозные люди сидят по этой статье, при этом количество заключенных среди женщин за религию растет из года в год.

По подсчету на глазок в Кемеровском лагере особого назначения (станция Суслово, п/я 247/7-2) в конце 50-х годов одна треть среди женщин состояла из “монашек” и верующих женщин, различных вероисповеданий и сект.

Советская Конституция говорит в статье 124, которую я привожу полностью: “В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода **АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ** (подчеркнуто мной. — А. С.) пропаганды признается за всеми гражданами”. Вот и все! Свобода совести выражается в Советском государстве только в свободе антирелигиозной пропаганды, но ни в коем случае — не в свободе религиозной пропаганды. Такое своеобразное понимание свободы совести свойственно только СССР. В других социалистических странах нет этого, нет поэтому и преследования верующих, как государственных преступников с максимальными сроками наказания. Психологически совершенно невыполнимо требование, чтоб родители не воспитывали своих детей в семье в духе своей религии и не знакомили чужих людей со своими религиозными убеждениями: как возможно, чтоб человек верил, что обладает истиной, и скрывал бы ее от людей, даже от детей?».

Анна печально и внимательно смотрела в угол, где бесшумно двигались, жили и молились религиозные женщины в темных, скромных одеждах и платках — боярыни Морозовы и самосожженцы XX-го века! И наряду с состраданием у нее возникала зависть к ним: они знают, за что страдают, а ты — нет.

«Единственный раз, когда ты знала, за что страдаешь, был на митинге интеллигенции, когда ты выступила с апологией русской культуры и ее передовой интеллигенции, от своего выступления ты не отказалась и никогда не откажешься, но вряд ли повторишь из благоразумия что-либо подобное еще раз в жизни! Вероятно, поэтому ты жила в каком-то экстазе эту неделю, ожидая приведения приговора о расстреле в исполнение. Начальник Особого отдела Пятой Красной Армии Лосев на допросах явно шел на мировую: де, оба мы с тобой немного погорячились на митинге интеллигенции, так что ты тоже

признай это и возьми свои слова «бандит и хулиган!» обратно. — Ни в какую! Я и теперь о вас так думаю.

Каждый раз допрос кончался яростным воплем: «Сколько городов брал, а такой сумасшедшей, упрямой женщины ни разу не встречал! Только сумасшедшая женщина может вылезти на трибуну после меня и критиковать меня! Кого критиковать?! Меня, подумайте только, меня! Город на осадном положении, вся власть в моих руках, а эта психическая интеллигентка лезет на трибуну обличать меня: как...как...как ты там меня еще называла? — Да, да, как варвара, гунна, гробовщика русской культуры. А потом еще бандитом и хулиганом. И ей еще бешено аплодировали, а мне — ни звука!»

«Парадоксально, но факт! Самая светлая и экстатическая неделя в твоей жизни была эта неделя перед расстрелом!.. А Илья не выдержал и сошел с ума перед расстрелом, как говорит его ближайший друг Павел! Пусть это будет на совести Павла! Если Илья сошел с ума, то только потому — я думаю, — что он казнил себя, казнил горько и испуганно себя за нашу, а не свою судьбу! Мир праху твоему!».

Анна выходила на грязный, замусоренный, вонючий от человеческих испражнений двор и смотрела на пылающий грозный ежевечерний закат, который звучал как величественный реквием в ее душе и в природе — Рерих! «Да, это жило в душе Рериха! Единственное, к чему у меня еще не омертвела душа, — думала Анна, — это красота природы. Только она лечит мою душу, как музыка! Буду этим жить в Соловках».

Через трое суток суматошной, свинской жизни в этом пересыльном шалмане в Кеми заключенных посадили в трюм парохода. Путь от Кеми до Соловков небольшой, но в рокошущей тьме переезд показался долгим и тяжелым — все время на грани морской болезни, которую приходилось подавлять неимоверным усилием воли. Другие страдали от морской болезни больше Анны. В конце переезда всех заключенных вывели на палубу, и Анна впиалась глазами в даль, где открывался белый сказочный монастырь-город. Анна все больше и больше поражалась красоте и величию Белого моря и открывающейся панораме Соловецкого кремля. Белые двухэтажные и даже одно трехэтажное большое здание — это управление Соловецких лагерей, пояснили Анне. Красивая небольшая полукруглая бухта!

Внизу здания управления — деревянный помост причала, а напротив него, несколько сбоку, двухэтажный длинный деревянный дом — это женский барак. Раньше этот барак, продолжали объяснять Анне и стоявшей рядом Софье Федоровне, был гостиницей для женщин-богомолок, а самое красивое здание управления являлось гостиницей для богатых паломников. Но больше всего поразил Анну Соловецкий кремль, относящийся к XVI-му веку. Он нравился

Анне значительно больше, чем Московский кремль, стены Соловецкого кремля построены из огромных валунов; чем они сцементированы, Анна не знала, но стоят они больше 400 лет без малейшего ущерба. Огромные валуны стен придают кремлю архаический и грозный вид.

Московский кремль кажется по сравнению с Соловецким хрупким, модернизированным, почти театральной декорацией. Московский кремль кажется величественным, пока не увидишь Соловецкий. А кирпичные стены Московского кремля сообщают ему несолидный обывательский вид.

Из-за стен кремля виднелись какие-то здания и много церквей старинной архитектуры без крестов. За женским бараком прозрачным инейным кружевом шел березовый лес, выделявшийся на темно-зеленом фоне елей.

Закат был нежный, перламутровый с преобладанием мягких голубых и розовых тонов. Вода была тоже серебристо-перламутровой... Анна застыла в восхищении и подумала: «Теперь я понимаю, почему это море — Белое!»

Да, оно серебристо-белое в ясную погоду!

Здесь на палубе сошлись вместе в последний раз товарищи по несчастью Анны и Софьи: трое молодых мужчин-десятилетников и две женщины, помимо Софьи и Анны, одна из которых, пианистка, за участие в концертах получила тоже, как Анна, пять лет, другая — три года.

Группа дружно простилась, не зная, увидятся ли они еще так близко, как сейчас, все вместе, особенно мужчины с женщинами, хотя двое из них — брат и сестра Брагины — будут получать официальное свидание в Соловках, как близкие родственники.

Между тем на берегу сама собой организовалась торжественная встреча этапа — последнего этапа перед концом навигации, при этом с женской группой, которую жадно ждали и рассматривали хлынувшие на пристань сотни мужчин. — «Женщины! Женщины! Скорей идем встречать женщин! Бросай к черту работу! Идем встречать и смотреть женщин!»

Новенькие, свеженькие, с материка! Это понятно, т. к. женщин в Соловках было раз в двадцать меньше, чем мужчин. В женском общежитии человек 150—200, да единицы по командировкам, т. е. отдельным лесным пунктам. Мужчин же в кремле и на ближайших командировках тысячи 3—4 всего; по некоторым данным и непроверенным слухам, тысяч пять. Всех женщин в этом этапе было человек двадцать, мужчины радостно приветствовали, крича: «Добро пожаловать! Соловецкий привет! Привет новым соловчанкам!»

Софья и Анна стояли рядом: Софья — маленькая, изящная и хрупкая женщина с бледным лицом и печальными серыми глазами. Анна — крупная, статная

женщина, с порозовевшим на морозе лицом и большими серо-голубыми глазами. Одета в овчинную шубу и валенки, в вязаной шапочке с голубой отделкой вокруг головы и с огромным голубым помпоном наверху и слегка набекрень, Анна сразу поразила и ранила многие соловецкие сердца.

Никогда Анна, кубанка по рождению и среднему образованию, москвичка по высшему образованию и своей судьбе, не носила валенок и овчинных шуб-романовок, но она сразу почувствовала себя так удобно и уютно в них, что превратилась сразу в какой-то лубочный колобок, который катился по дорогам соловецкой столицы в быстром и гармоничном виде.

Анна с удивлением посматривала на свои ноги и валенки: странное дело — не ходишь в них, а катишься, неудержимо катишься!

Софья выступала рядом в европейской шубке и в европейских ботинках — ботах на каблучках. Между собой они говорили о красоте этого острова и архипелага, который представлял собой, как они сразу и единодушно оценили, жемчужину Севера! Что за дикая мысль превратить его в лагерь.

Он бы мог быть туристической базой европейского значения. Или зоной отдыха для Архангельска, Мезени и всего побережья Белого моря.

Наконец, он мог бы быть научно-исследовательской базой истории и археологии. Недаром Соловки в течение трех столетий были аванпостом русской культуры в Средние века!

Еще на юге, до Москвы, Софья Федоровна часто с нежностью говорила Анне: «Вы, Аннет, — Аннет, а я — Сильвия» (по Ромен Роллану). Теперь Аннет и Сильвия стояли рядом, плечо к плечу, готовые мужественно вступить на Соловецкую землю!

Внизу на пристани женщин ждала староста женского барака, приятная радужная женщина лет 40, в полувоенной казенной форме — следовательно, начальство из заключенных. Она должна была отвести новый этап в женский барак. Песчаная дорога шла слегка в гору, вдоль самой бухты, а слева, у самой дороги, виселись стены кремля архаической кладки.

8 глава

Женский барак очень понравился Софье Федоровне Фоминой и Анне Васильевне Скрыбиной при первом их знакомстве с ним. Он приветливо возвышался на пригорке среди берез и окружен был низким штакетником.

«Если этот штакетник изображает тюремную стену, то это очень мило со стороны администрации, — иронически улыбались друг другу подруги, — т. к. он не выше 60—70 см. Тоненькие дощечки реденько прибиты к двум горизонтальным

жердям: одна около заостренных верхушек этих планок, другая жердь ближе к земле, так что на нее очень удобно становиться, чтобы перешагнуть заборчик. Посредине, перед фронтоном этого двухэтажного здания, были такие же легкие дощатые ворота и калитка, открытая настежь. Около калитки стояла снаружи будка, а в ней дежурный красноармеец, а может быть, кто-либо из надзорсостава. В надзорсоставе было много, как потом выяснили Анна и София, заключенных, особенно из военных.

Только начальники были вольнонаемными.

— Вот привела новеньких 20 женщин! — сказала староста барака.

— Добро пожаловать! — приветливо и по-домашнему ответил паренек с ружьем около будки, улыбаясь во весь рот. Потом он пересчитал женщин, посмотрел на сопроводилку в руках старосты и пропустил всех во двор женского барака. Несколько шагов подъема по двору, и женщины взошли по трем ступенькам на большое широкое крыльцо, которое представляло собою помост перед главным входом в барак.

Здесь все остановились на минутку, и Анна Васильевна с подругой оглянулась назад на бухту, пароход и белое трехэтажное здание управления... Потом они взглянули в глаза друг другу и улыбнулись.

Софья Федоровна тихо сказала Анне по-французски:

— Какая красота! Душа оживает! Ничто так не убивает душу, как безобразие! Нет, Аннет, мы выживем здесь, переживем все и будем жить!

— Да, Софи, вы правы! Вот только бы смерть Ильи не стояла у нас за спиной! Нет, я никогда не примирюсь с этим! За что его убили?

— За что?

— Женщины! — обратилась к нам староста, пока все чистили ноги, — вы сейчас должны пробыть три недели в карантине. Но не пугайтесь, ничего нет страшного в этом! Просто будете жить все вместе в одной большой светлой комнате, а потом я вас всех расселю по маленьким камерам, где есть свободные места.

Женщин ввели в прихожую, потом во вторую утепленную прихожую, отделенную от первой деревянной, застекленной перегородкой. В этом втором теплом тамбуре сидела у двери за столиком дежурная дневальная. На столе перед ней стоял ящик для картотеки, куда она вставляла индивидуальные пропуска тех женщин, кто ходил на работу без общего строя. Индивидуальные пропуска на работу имели бухгалтера, счетоводы, артистки, машинистки, конторщицы, учетчицы — словом, соловецкая интеллигенция, которая жила на втором привилегированном этаже женского общежития. Но индивидуальные пропуска имели и те кухарки, прачки, уборщицы, которые обслуживали или учреждения, или

вольнонаемное начальство и их семьи. Это была соловецкая «элита», которая пользовалась неограниченной свободой передвижения на Соловках и имела больше привилегий, чем интеллигенция. Начальника управления соловецких лагерей обслуживали, например, три человека из заключенных: кухарка, уборщица — она же прачка и кучер-конюх.

Начальство пониже рангом имело только одну постоянную прислугу из заключенных, но могло затребовать на несколько дней и прачку, и портниху, и даже парикмахершу из театра для своей жены, детей и даже для себя.

Соловецкая «элита» также жила на втором этаже. Второй этаж был аристократической, привилегированной зоной — в полном смысле бельэтаж.

Первый этаж был для плебса: воровки, проститутки низшего ранга; высшего ранга жили тоже на положении избранных в бельэтаже. Здесь же на первом этаже жили и «монахини», т. е. религиозные женщины, и просто честные работяги или трудяги.

Камеры бельэтажа были, по большей части, маленькие, узенькие, но длинные, с одним окном. В такой узкой комнате помещалось шесть кроватей: по три вдоль стены — с тумбочками между ними. Но было наверху несколько камер, более широких и поместительных, на 9—10 человек. Они были в два окна с общим столом, на котором можно было есть, писать, кроить, гладить и т.д. Обычно вдоль одной стены помещались три кровати, а перпендикулярно к другой стене стояло шесть кроватей с тумбочками между ними.

На первом этаже не было маленьких шестиместных камер, а большие — в два окна на 10—15 человек.

Женское общежитие было, как уже упоминалось выше, монастырской женской гостиницей. Узкую комнату наверху занимала обычно одна богатая паломница, а в больших комнатах внизу селились и плотно размещались бедные богомолки.

В большом здании управления Соловецкими лагерями раньше была перво-классная гостиница для богатых людей, а монахи жили в кремле или на «точках»: на огородах, парниках, в теплицах, на электростанции, в мастерских, в лесу, на хорошо организованных рыбных промыслах и т.д.

Словом, монастырское хозяйство было огромное и прекрасно организованное — показательное для всего Севера. Особенно хороши были северные огороды с богатыми урожаями капусты, картофеля, лука, свеклы, огурцов, моркови и т.д. Была в монастырском хозяйстве и прекрасная молочная ферма, и различные кустарные мастерские. Многие эти промыслы и виды сельского хозяйства сохранились и в лагерных Соловках, но со значительным ущербом и упадком, а рыбные промыслы, понятно, не могли сохраниться, чтобы арестанты не выезжали в море.

Все это стало ясно Анне Васильевне и Софье Федоровне в первые же дни и недели их пребывания на Соловках.

Во втором же этаже находилась маленькая амбулатория, которую обслуживала утром и вечером заключенная медсестра. Чтобы дать освобождение от работы, медсестра мерила температуру и смотрела язык, затем давала самые ходовые лекарства. В случае серьезного заболевания женщину отправляли в кремлевскую больницу, где было небольшое женское отделение для заключенных женщин и палата для вольных. Больницу обслуживали высококвалифицированные врачи — все заключенные. Среди них были и прекрасные хирурги. Было много врачей-азербайджанцев, так как в это время шли аресты среди мусаватистов.

Эти же врачи и кремлевская больница обслуживали и вольнонаемное начальство с их семьями. Соловецкая больница и врачи пользовались заслуженным уважением не только на Соловецких островах, но и на материке, куда их вызывали в экстренных серьезных случаях.

Медсестра проверила температуру и язык новому этапу: все было в порядке, и никто на нездоровье не жаловался. Затем женщины вошли в карантинную, очень светлую комнату. Эта большая комната душ на двадцать была, пожалуй, самой солнечной и светлой, так как в ней было много окон с двух сторон: три окна выходили на бухту и три в лес. Кровати стояли не очень тесно и среди них — два-три топчана с матрацами, которые женщины сразу превратили в столы. Этап из 20 женщин прекрасно разместился в «нашем фонарике», как прозвали женщины светлое карантинное помещение. Но из окон немилосердно дуло, они были не замазаны, и в карантине было холодно, особенно по ночам, поэтому ночью женщины наваливали на себя все свои теплые вещи. Анну Васильевну спасала ее овчинная шуба, которой она накрывалась на ночь.

Хотя посещать карантинную камеру не разрешалось, но гости в ней не переводились. Женщины были рады этим визитам, так как сгорали от любопытства узнать, что такое Соловки, как здесь, что здесь...

Соловчанки-старожилки, как многоопытные женщины, прошедшие «огонь, воду и медные трубы», иронически улыбались и каждый свой рассказ заканчивали стереотипно: «Вот поживете на Соловках, сами увидите и убедитесь!...» Старожилки первым делом искали, понятно, землячек, затем их интересовал вопрос о профессии, и сообразно этому ставился прогноз, где кто устроится после «общих работ». Эти работы, как и карантин, тянулись не больше 3–4 недели. Этот рабочий стаж был, так сказать, «моральным карантинном», который следовал по неписаным соловецким законам, за карантинном физическим.

Чтоб перескочить через барьер «общих работ», требовались три условия: блат, дефицитная профессия и красота! Одно из трех условий — не все три сразу! Но Анна Васильевна на четвертый день карантина заявила Софье Федоровне, что она не будет пользоваться ни блатом, ни выгодной конъюнктурой для женщин в Соловках. Они сидели в сумерках у одного из окон «своего фонарика» и, близко наклонившись друг к другу, делились и обсуждали свои сведения о соловейской жизни: «Уж как-то эти обтерпевшиеся соловчанки очень уверены и не сомневаются, что Соловки должны сломить и скрутить в бараний рог каждую женщину здесь, потому что нас мало и на каждую женщину, если она не страшный урод, смотрят сотни жадных мужских глаз».

— Софи, вы же меня знаете больше семи лет, со времени моего приговора к расстрелу! Ну, разве меня можно сломить и скрутить? Вы в это верите?!

— Нет, нет, Аннет, вы несгибаемая и такой же выйдете из Соловков! — нежно прошептала Софья Федоровна, поцеловала ее, и обе подруги, посмотрев в глаза друг другу, просветлели.

— Да, да, Софи, — сказала уже твердо и с задором Анна, — будем жить в Соловках по завету грибоедовской горничной Лизы: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»

— Нужно отметить одну хорошую традицию в общении старожилок с новенькими — не спрашивать о деле, по которому сидишь. Дело пусть знает начальство, а отношения складываются и определяются первым взглядом. Все дело в первом взгляде, в какой-то искорке, которая промелькнет в глазах двух людей, когда они впервые встретятся взглядом.

— Собственно, так и на воле — в жизни! Искорка определяет отношения на годы — на всю жизнь! Часто говорят об искре для объяснения чувственного влечения. Это верно, но узко! Искра определяет не только чувственную любовь, но все, далеко выходящее за грани чувственности: дружбу, любовь, веру в данного человека, доверие к его честности, порядочности, силе его воли... А вот можно годы прожить друг с другом, нарожать кучу детей, а искорка, которую ждешь все эти годы, так и не возникнет! А раз не возникла эта самая «искорка», то ничего и не надо: все пусто и тщето!

У Анны и Софии не возникла такая «искорка» к своим одноделкам в этапе. Были очень хорошие, вежливые отношения: но без «искорки». Эта искорка светила только во взглядах Аннет и Софи, светила давно, восемь лет — с юга, и Анна Васильевна всегда изумлялась не то уму, не то чуткости Софи: «Сонечка все знает обо мне и во мне по моим глазам, хотя я ей редко, почти никогда, ничего прямо не говорю о себе. Почему?!» Софья Федоровна смеялась, когда Анна

ставила вопрос об этом, и рассказывала, будто соседний пятилетний мальчик дал такое верное определение ее глаз: «У тети Ани глаза совсем босые!» Иногда Софи изумлялась: «Как у тридцатилетней женщины, столько пережившей, могут быть такие босые глаза!»

Вот такие хорошие, вежливые отношения, но без «искорки» сложились у Анны Васильевны с ее землячкой Евгенией Ивановной, которая сразу открыла ее в карантине по признаку землячества: «Кубанка?! Вы — прирожденная кубанка?! Родилась на Кубани?! Казачка?!» — «Нет, “иностранка”, деды и прадеды — воронежские крестьяне, вышли оттуда на Кубань, но отец и я родились уже на Кубани!»

— Тогда почеломкаемся, землячка! — И Евгения Ивановна, раскрыв объятия, запела красивым, мощным контральто:

*Гей, Кубань, ты наша Родина! Вековой наш богатырь!
Многоводная, широкая, разлилась ты вдаль и вишь!..*

— А вы не боитесь, землячка, что вас посадят в карцер за этот запрещенный кубанский гимн?

— Тю! Меня?! Главного бухгалтера отдела? Да еще в конце отчетного года, когда годовой отчет не сдан?! Да никогда этого не будет, достаточно того, что я уже сижу в Соловках, при этом не одна, а с мужем и его сестренкой! Страшен не карцер, а то, что отберут индивидуальный пропуск и начнут водить в бухгалтерию под конвоем. И это было бы не страшно, если бы я сидела одна, без мужа! С пропуском я вижу с ним ежедневно, да не один раз! Даже завтракаем вдвоем с сестренкой вместе у меня в бухгалтерии в перерыв. Официально я имею с мужем еженедельное личное свидание каждый выходной день. Я ухожу к мужу в субботу после работы в его хижину на полтора суток. Так что чувствуете, какой карцер сравнится с лишением всех этих благ?! Да вообще, сколько лет я в Соловках, но не слышала, чтоб посадили в карцер интеллигентную женщину — отбирают в наказание на время индивидуальный пропуск!

Буйную шпану, конечно, сажают в карцер, когда она напьется и пока не проспится. Карцер у нас — отрезвильник! Вы ведь знаете, омерзительней и циничней нет в мире существа, как пьяная женщина-шпана!.. Да, женщины, нет ли среди вас на новом этапе машинистки? Нужна позарез! Я бы доложила своему шефу, и он бы взял ее прямо из карантина! Сегодня же! Так нужна! Так нужна, особенно умеющая печатать цифровой материал! Вот как не везет соловецкой бухгалтерии, не арестовывают машинисток, хоть плачь!

Каждый отдел бухгалтерии, различные конторы нуждались в бухгалтерах, счетоводах, конторщицах — словом, в грамотных женщинах, которых можно

быстро обучить вести учет, счетоводство и конторское дело. Такая судьба и профессия предстояла и Анне Васильевне на пять лет, и Софье Федоровне на три года. Третья женщина из нашей группы была хорошая пианистка — некрасивая, сутулая женщина лет под 40. Она была завербована, так сказать «на корню», еще в карантине в соловецкий театр, который пользовался славой не меньше, чем соловецкая больница, не только на всех Соловецких островах, но и на материке. Это понятно, т. к. ни в одном театре и больнице Севера не работала такая большая группа талантливой интеллигенции, как в Соловках. Исключение составляли Архангельск и Петрозаводск, но нельзя забывать, что и эти города в 20-х годах тоже пополняли свои кадры интеллигенции, по большей части, за счет ссыльных и бывших солдовчан.

Аналогию можно провести с Иркутском и Красноярском, в которых сто лет тому назад, т. е. в 20-х годах XIX века, тоже оседали декабристы и другие политические преступники.

Нужно признать, что и в 20-х годах по 50-е годы XIX века, в период самодержавия и культа личности Николая Первого, и в 20-х годах XX века политически осужденные семьи не разлучались, как установилось в Советском Союзе с 30-х по 60-е годы и теперь включительно.

Это отразилось и в «Русских женщинах» Некрасова, и в мемуарах княгини Марии Николаевны Волконской, которая последовала за своим мужем-декабристом в Сибирь. Мария Николаевна не была осуждена, но ей разрешили жить вдвоем с мужем в большой камере Нерчинской тюрьмы, когда Волконский был еще политкаторжанином и выполнял ежедневно тяжелый «урок» в нерчинских рудниках.

Мария Николаевна создала в камере максимальный уют, обив стены камеры дорогими кружевами. Камера была чересчур темная, т. к. единственное маленькое окошко было под потолком. Мария Николаевна написала графу Бенкендорфу, и он разрешил сделать большое окно в камере.

Она выписала из Москвы пианино и не без гордости сообщает в своих мемуарах, что во всей Восточной Сибири было в то время только два пианино: одно — в салоне иркутского генерал-губернатора, а другое — у них в камере. В этой же камере у Волконских родился сын. Когда же декабриста Волконского после нескольких лет каторжных работ перевели, как ссыльного, в Иркутск, то положение Волконских настолько улучшилось, что у них был огромный особняк — дом, открытый для всего Иркутска, был свой выезд, лакеи, французские гувернеры для детей, и иркутский губернатор считал за честь, когда Мария Николаевна блистала на его балах. Конечно, не все декабристы жили так широко, для этого нужно было обладать большим богатством, но, во всяком случае, многие

интеллигентные ссыльные могли найти себе работу и конторско-счетную, и частные уроки, не говоря уже о физическом труде.

Так было в середине и в конце XIX века. Интересна в этом отношении повесть Льва Толстого «За что?», в которой он описывает жизнь и работу одного польского ссыльного офицера. Кстати, замечательна концовка этой повести, в которой Лев Толстой дает резкое и гневливое осуждение культа личности... Николая Первого и развращающего влияния всякого культа личности на психологию народа.

Разные были времена, нравы, наказания и меры возмездия политическим преступникам, при этом я беру ближайшее к нам время: XIX и XX века. Интересно, например, сообщение Лепешинского, что царское правительство выплачивало в ссылке, так сказать, прожиточный минимум политическим ссыльным. В своей книге «На переломе» Лепешинский, товарищ Ленина по минусинской ссылке, утверждает, что во время этой ссылки Ленин получал 12 рублей в месяц, а он, как сосланный чиновник, — 16 рублей в месяц. Для Сибири конца XIX века и начала XX века — это недурной прожиточный минимум, средняя зарплата русского рабочего того времени.

В своей книге Лепешинский утверждает, что он и Ленин ехали в минусинскую ссылку без конвоя, в обычном вагоне, как обычные пассажиры, — по «проездному листу», который давал им право ехать бесплатно, без билета до места ссылки.

Оставляю эти сведения на совести Лепешинского и его жены Ольги Лепешинской, которая тоже жила с ним в минусинской ссылке. Лев Толстой в своем «Воскресении» дает совсем другую картину этапирования политических ссыльных, но, правда, это было значительно раньше минусинской ссылки Ленина и Лепешинских. Возможно, в конце XIX века все было так, как пишет Лепешинский в своей книге-мемуарах. Но даже в «Воскресении» Толстой отмечает такие черты либерализма в этапных порядках, которые совершенно невозможны при советских порядках: смешанное пребывание и питание женщин и мужчин в пересыльных тюрьмах, доступ и постоянные приходы князя Нехлюдова в эти этапные тюрьмы, возможность переговоров наедине чужого человека с этапированной — князя Нехлюдова с Катюшей. Скажут — это князь и у него было разрешение и связи... Ничье и никакое разрешение в наше время не допустят таких льгот и вольностей во время этапа...

Если обратиться от этой мемуарной литературы о тюрьмах и ссылке XIX века к 20-м годам XX века, то нужно признать, что в Соловецком лагере проводился гуманный принцип в отношении семьи — не разделять ее, не разрушать семьи и не разбрасывать членов ее по разным лагерям и местам ссылки,

при этом без права переписки между членами семьи. От этого принципа сохранения семьи в заключении советское правительство отказалось, повторяю, с 30-х по 60-е годы включительно³.

Итак, в нашей группе однодельцев брат и сестра Барычевы тоже не были разлучены в Соловках. Брат — молодой инженер-электрик, только год назад окончивший институт. Его сестра Маша была постарше его, но моложе 30 лет. У Маши остался у матери в Москве ребенок лет пяти: Маша была разведенной женой. Когда Маша Барычева снимала свою пыжиковую шапку с наушниками, в которой она неизменно провела свои три зимы в Соловках, мы с удивлением видели, что эта молодая, цветущая женщина была с сильной проседью, которая ярко выделялась в ее черных волосах.

Это противоречие молодости и седины трогало и поражало Анну. При этом Анна Васильевна заметила, что ее собственная новая седина как-то с течением времени таяла: выпадали только седые, мертвые волосы, а у Маши Барычевой седина не только не таяла, но все больше сгущалась.

Анна Васильевна, вспоминая, как она посидела за одну ночь, никогда не осмелилась задать Маше вопрос о причине ее ранней седины, тем более, что они не были дружны. Отношения их были хорошие, но без той «искорки». Развод, оставленный в Москве ребенок, нелепое осуждение за пристрастие к музыке — это то, что знала Анна Васильевна, не задавая Маше интимных вопросов. «А мало ли что еще могло быть в жизни и душе Маши, от чего и в 25—30 лет

³ Рассылали по далеким лагерям не только религиозные семьи, о чем я уже говорила, при этом третье поколение внуков, как правило, было несовершеннолетним. Иногда в такое же положение попадали и нерелигиозные семьи. В 50-х годах сидела, например, в мордовском лагере ученая женщина-экономист Ходарцева за своего мужа-историка, который допустил в своем научном историческом труде ошибки с точки зрения советской идеологии. Муж имел за это 25 лет, жена — 10 лет. Но одновременно осуждены были за это и два других члена семьи: старуха-мать 75 лет и дочь-подросток 16 лет. Все четверо были разбросаны в отдаленных друг от друга лагерях без права переписки между собой. Стариков и детей чаще всего осуждали при общем разгроме семьи по статье о недонесении.

Я уверена, что в 20-х годах XX века старуха-мать и подросток Ходарцевы вообще не попали бы в один водоворот со средним поколением, а супруги Ходарцевы сидели бы вместе в Соловках.

Вообще, история пенитенциарного права в России до Октября и после Октября — предмет очень интересный, захватывающий своим трагизмом и противоречиями, доходящими или до полного абсурда, или до зверской средневековой жестокости.

Чего стоят для характеристики нашего пенитенциарного права признания А. И. Герцена в его мемуарах «Былое и думы» — первые книги «Тюрьма и ссылки»! Замечательны его сообщения, как он находился в ссылке у самого себя под надзором! Полицийстер, у которого он находился в ссылке под надзором, был у него, по служебной субординации, в подчинении, т.к. Герцен был в ссылке высокопоставленным чиновником и продвигался по служебной лестнице очень быстро, вплоть до статского советника.

Вот и приходилось этому бедному полицийстеру приносить ежемесячно Герцену на подпись сводку о его собственном поведении.

Впрочем, на все вопросы анкеты о поведении Герцена полицийстер отвечал «прочеркиваниями».

Специфическая русская нелепость! «Там русский дух, там Русью пахнет!»

Но, прерывая свой экскурс в область истории русской тюрьмы и ссылки, я возвращаюсь к жизни женщин в соловковском карантине глубокой осенью 1927 года — трагический год, который был генеральной репетицией 1937 года... 1948 года... и последующих лет! — *Здесь и далее примеч. авт.*

поседеешь! Чужая душа — потемки!» — думала Скрябина, любуясь Машей и ее черными, выразительными глазами.

Теперь, оказывается, и в Соловках она встретила свою землячку-кубанку, которая сидит с мужем и его сестрой, при этом у обоих супругов было по 10 лет, а у юной сестры мужа — 5 лет.

Потом оказались и другие осужденные супружеские пары, даже среди уголовных; так, например, бросалась в глаза красивая цыганка, которая сидела с мужем за убийство; оба по 10 лет.

Итак, мужа с женой, брата с сестрой — близких родственников — вообще не разлучали в Соловках в 20-х и в начале 30-х годов. Это невероятно с нашей современной точки зрения, но факт!

Позвольте, скажут мне, но тогда в соловецком лагере рождались дети?! Совершенно верно, и в этом нет ничего страшного! Даже в колониях прокаженных рождаются дети!

Не пришли же в ужас граф Бенкендорф и Николай I от того, что Мария Николаевна Волконская жила вдвоем с мужем-каторжанином в камере нерчинской тюрьмы и родила в ней сына: они санкционировали такое положение!

С каждым днем визиты в карантин учащались, и старожилки-соловчанки даже не старались скрыть, что они вербуют карантинных новичков — «сватают» в различные отделы и учреждения.

Слухи, характеристики, описания наружности новеньких разносились молниеносно по Соловкам, при этом каждый день с новыми вариантами, но затворниц мужчины не видели. Как мельком взглянули на них на пристани в день прибытия последнего этапа, так и засадили их в карантин.

— Жди теперь три недели, чтоб взглянуть на них! — возмущались мужчины. Некоторые «свахи» уговаривали новеньких, когда те высказывали сомнения в своих способностях и умении, не смущаться — справятся, де, с работой! Мужчины, мол, научат, подскажут, покажут; в крайнем случае, просто сделают всю работу за вас в первое время. Женщинам нужно только, не смущаясь, сидеть за столом и красоваться, а мужчины будут любоваться, вдохновляться, и работа будет кипеть. Словом, выражая это в химических терминах, женщина должна играть роль своеобразного психического катализатора. — «Нет, нам нужно получить хотя одну женщину на отдел!» — восклицали шефы, заинтересованные в интенсификации труда. Словом, начальники и завывы — почти сплошь из заключенных для удешевления аппарата — стремились получить в свой отдел такой «психический катализатор», а иногда просто любовницу!

Может быть, это основная роль женщины в жизни вообще?! Недаром К. Маркс на вопросы анкеты своей старшей дочери Лауры, которую она проводила в течение многих лет среди крупнейших революционеров, посещавших их дом в Лондоне, ответил на вопрос: «Какое основное достоинство вы цените?» — «ПРОСТОТА! У мужчин — СИЛА! У женщин? — СЛАБОСТЬ!»

Об этом даже в Советском Союзе догадались в середине 50-х годов, когда вышел приказ по лагерям, запрещающий гонять женщин на лесоповал как работу слишком тяжелую для них. До этого каждая женщина возвращалась после 3—6 месяцев лесоповала тяжелым инвалидом, а ведь брали на лесоповал здоровых молодых женщин первой категории трудоспособности.

Возвращались они из лесу после тяжелой мужской работы по большей части с женскими болезнями: не только опущение матки, желудка и всех внутренних органов, но выпадение матки после надрыва тяжестью. Так молодые женщины теряли за короткое время здоровье, молодость и женственность!

9 глава

Последний женский этап не высидел своих трех недель в карантине. На второй неделе пришли в карантинную камеру староста барака и нарядчица. Они сказали женщинам, что нужно срочно помочь в засолке капусты, которой скопилось огромное количество на складе.

Женщины обрадовались, т. к. им надоело вынужденное безделье и мучил зуд любопытства, что и как там за стенами барака и узкой зоной двора и садика, ограниченного низким штакетником.

Быстро собрались, выстроились попарно и двинулись той же дорогой, пролегающей между стенами кремля и берегом бухты, по которой они пришли с пристани в женский барак.

Маленькая бухточка уже замерзла, было холодно, и падал редкий снежок. Строй сопровождала староста. Это была одна из ее основных обязанностей, помимо барака. Если случалась экстренная работа, то ей звонили по телефону, который стоял на столике у дневальной при входе в барак. Дневальная вызывала к телефону и кадровых работников, если им звонили в неурочное время. Иногда проскальзывали и домашние, даже зашифрованные интимные разговоры. Несмотря на шифр и густую вуаль экивоков, дневальные все равно были в курсе всех событий и соловейских сплетен.

До главных ворот кремля минут десять ходьбы медленным шагом, а женщины шли именно так, не спеша и наслаждаясь воздухом, зимним солнцем, болтая друг с другом о пустяках.

Анна Васильевна шла рядом с Софьей Федоровной и снова в душе благодарила «тетю Шуру» за то, что он успел обрядить ее в Ленинграде в овчинную шубу, валенки и прочие теплые вещи. Ее снова и снова восхищали валенки, в которых она, как южанка, никогда раньше не ходила.

— До чего замечательно это русское изобретение, — твердила она спутнице, — ноги сами так и катятся! Тепло, мягко, уютно в них, нигде не жмет! — Она с нежностью смотрела на валенки, хотя это были обыкновенные старые мужские валенки, в которых их первый обладатель, вероятно, прошел немало километров по северным русским лесам. А главное, раз ноги в тепле — всему телу тепло.

Софья Федоровна с мягкой улыбкой поглядела на свою спутницу и снова сказала в который уже раз:

— Аннет, до чего же вы очаровательны и забавны в этом одеянии! Настоящая русская женщина! Непередаваемый русский стиль под стать соловецкой русской природе!

— Софи! Неужели вы думаете, что я «русская женщина» только потому, что меня так обрядил «тетя Шура»? Разве в Москве и на юге, где мы все цокали в деревянных сандалиях на работу, я не была ею? Мне без конца твердили, что я «русская женщина», не только поклонники, но и старые женщины. Разве вы не помните меня, Софи, по югу?

— Да, Аннет, помню! Но самое удивительное то, что я страшно ругала вас, мой ужасный ребенок. И, несмотря на это, вопреки разуму, плетусь за вами, как Санчо Панса за Дон-Кихотом!

— Да, да, Софи, так не может дальше продолжаться! Я не могу тянуть вас впредь за собой в петлю! Ничего преступного, с моей точки зрения, я никогда не сделаю, но, вероятно, сам мой характер является преступлением, так он не ко времени! Поэтому через три года, когда вы закончите здесь свой срок, нам надо расстаться раз и навсегда! Я должна быть одинока, как... как зачумленный человек!

— Аннет, что за дикие, чудовищные вещи вы говорите!

— Софи, нам нужно было расстаться еще на юге. Вспомните, разве вы мне там не сказали однажды, как бы в интуитивном предвидении будущего, что в моей атмосфере нет нейтрального азота, а 100% кислорода — это опасно, взрывоопасно, и чистым кислородом дышать нельзя! Я не хочу, чтобы новый взрыв стопроцентного кислорода задел и вас!.. Кстати, мы так заговорились с вами, что отстали от строя! Строй остановился, ждут нас и ругаются! Впрочем, пусть ругаются, а я не буду бегать в Соловках! Буду шествовать в своих валенках! — заявила Анна Васильевна.

— Я не понимаю, о чем можно так заговориться в строю? — встретила отставших с упреком староста барака. — Как будто вы не могли наговориться вволю в карантине?!

У главного входа в кремль собралась шпана из молодых парнишек. Они бесцеремонно делали свои замечания вслух о каждой паре женщин, а последнюю встретили возгласами: «О-го-го! Вот это бабеч! Что надо!.. А рядом, а рядом, посмотрите, кто с ней идет! Мамаша!.. Мамаша!.. Мамаша!..»

Софи улыбнулась им и поклонилась в знак приветствия. Парнишки пришли в еще больший восторг, и со всех сторон раздалось еще более неудержимое: «Мамаша!.. Мамаша!.. Мамаша!..»

Сердце у Анны Васильевны дрогнуло, и она была растрогана тем, что Софья Федоровна произвела на воров-рецидивистов такое впечатление, а у самой Фокиной слезы навернулись на глаза, и она прошептала: «Бедные дети! Бедные дети улицы! Росли сироты в детдомах и колониях без материнской ласки! Вот и докатились до Соловков, как... мы с вами, Аннет!»

Вошли во двор кремля и поразились монументальностью соборов без крестов и других строений, приспособленных для практических целей.

Прошли немного налево и остановились перед огромными дверями в подвал. В нем и даже во дворе громоздились огромные горы прекрасной капусты.

На пороге стоял маленький старичок в подряснике, в скуфейке на длинных седых волосах, с голубыми ясными, как у ребенка, глазами и с перебитым носом. Маленькое сморщенное лицо приветливо улыбалось, глаза добродушно сияли. «Боже мой, — подумала Анна, — вот откуда брали Васнецов и Нестеров прообразы своих святых!..»

— Соня, — прошептала Анна, — посмотрите, сошел с картин Васнецова и Нестерова!

— Да, совершенно верно! Прямо поразительный старик!

Между тем, приветствуя старика, староста сказала:

— Здравствуйте, отец Мефодий, вот привела к вам на работу женщин! Кто плохо будет сечь капусту — подучите! Женщины, кажется, трудолюбивые — не шпана! Пусть работают, а я за ними приду ночью, часов через восемь.

Староста ушла, и отец Мефодий расставил женщин на работу. Одни рубили и секли капусту, а другие носили рубленую в огромные деревянные чаны, которые стояли в других отдаленных подвалах. Эти отделения шли куда-то вглубь подвала и были слабо освещены маленькими электрическими лампочками, а чаны были выше человеческого роста, так что около них стояли подмости в несколько ступенек. С них и валили капусту вниз в чаны и утрамбовывали огромными колотушками — деревянными пестиками.

Передний подвал, где шла сечка капусты, был освещен электричеством, но в него проникал и дневной свет через огромную широкую двухстворчатую дверь, открытую настежь во двор. Со двора шел деревянный скат вниз, вероятно, для скатывания и подъема бочек, а слева от входа, прямо от ската, возвышался узенький помост с перилами, практическое назначение которого было сначала непонятно для женщин, — вероятно, просто галерка для наблюдения за всей работой. Однако на эту галерку руководитель и инструктор работ отец Мефодий никогда не всходил. Отец Мефодий руководил работами внизу удивительно толково и приметливо: сразу замечал, кто устал, и менял работу, да женщины так быстро освоились и подружились с ним, что сами заявляли ему: «Отец Мефодий, я устала сечь капусту, стоя на одном месте, не устала, а надоело! Я пойду теперь потаскаю корзины с капустой: сюда головки, а сеченую в чаны. Хорошо?!» — «Что ж иди, потаскай, разгуляйся, ты бабенка здоровая, застоялась! А на твое место пусть станет Аннушка! Ты хорошо сечешь, вот и покажи Аннушке, как надо сечь капусту, а когда разомнешься хорошенько и устанешь таскать капусту, то вернешься к сечке... А ты, Сонюшка, — обращался он к Фокиной, — не лезь на тяжелую работу, я и без этого, без твоего усердия знаю, что ты трудолюбивая, но слабая! С тебя достаточно первые грязные листики обрывать с кочанов, вот и обрывай! Я знаю, что ты и один грязный лист не пропустишь в чан, а это важно. Я тебе верю!» — говорил отец Мефодий Софье Федоровне, называя ее Сонюшкой или Софьюшкой, а Анну Васильевну — Аннушкой.

Так, тихо, без суеты руководя работой, он узнал за одну смену, кого как звать и кто на сколько лет осужден, у кого кто остался дома и кому будут помогать с воли...

Основная его работа была самый процесс засола: влезет на подставку к чану, понюхает, попробует, потрогает и объявит: «А сюда, бабочки, нужно еще всыпать 10 ведер, нет... лучше 15 ведер, тогда буду солить!.. Софьюшка, постой здесь и посчитай ровно 15 ведер — будет самый смак! После 15 ведер покличь меня! А то носят без толку, болтают да хихикают, разве им можно доверить счет? А ты учительница — вот и считай! А то будет или недосол, или пересол, а ты знаешь, что такое соловецкая капустка или соловецкая селедочка?! Нужно делать все на пользу людям! Чтоб человек ел и чувствовал: вот так соловецкая капустка! Вот так соловецкая селедочка! Я вас угощу после работы соловецкой селедочкой, будете знать, какая она!»

Чтоб сделать удовольствие старику, женщины уверяли наперебой, что еще в Кеми до них дошла слава о соловецкой капусте и селедке. Так вот в чем дело, оказывается, что это все его засол?!

— А как же! — с детской гордостью отвечал старик, и глаза его сияли непередаваемым восторгом, — шестьдесят лет сою, а пришел сюда вьюношей, моложе 20 лет!.. Солил при игумнах, сою и при советской власти! И советская власть довольна! Начальство требует себе в Кемь и соловецкой капусты, и соловецкой селедочки! До того ценит, что арапланом отправляем туда, даже зимой. Сюда араплан везет зимой почту и деньги казенным и заключенным, а отсюда селедочку и капустку! — радостно и хвастливо говорил старик.

— Как же вы солите, отец Мефодий? — спрашивали женщины. — Пропорции у вас записаны, что ли? Или вы держите эти пропорции в уме? Передайте этот секрет соления людям, чтоб слава соловецкого засола не перевелась и не погибла вместе с вашей смертью!

Старик опечалился, задумался и вздохнул: «Беда! Ничего не могу передать людям, вот мое горе! Никаких пропорций у меня нет: ни записанных, ни в уме, и сам я малограмотный! На науки и поучения ум мой Бог не приспособил в монастыре, хотя некоторые игумны сажали меня за книги — на науку, но я был и остался человеком темным! Приспособил Бог только мой глаз и руки хорошо все солить. Глаз и руки знают, сколько соли нужно захватить для того или иного засола, а сам я умом не ведаю! Вот в чем беда! Темный я человек и ничего не могу поведать людям, хотя хочу этого! И умру я скоро!»

Так выяснились в течение нескольких дней для Анны и Софьи жизнь, судьба и бессознательное искусство артистического засола отца Мефодия. Они с ним много разговаривали. Особенно благоволил отец Мефодий к Софьюшке, хотя более рационалистическую и скептическую натуру, чем у Софьи Федоровны, трудно себе представить — вот вам и сродство душ. Может быть, сродство душ развивается не на основе родственности, а на основе крайней противоположности человеческой психики, как в электричестве: плюс на минус дают электрический эффект, а плюс на плюс и минус на минус ничего не дают.

Ведь, собственно, и дружба Анны и Софьи слагалась из этих плюсов и минусов двух несходных психик, что сама Софья Федоровна определила — «Аннет и Сильвия», по Ромену Роллану.

Прошло часа два, как женщины работали на сечке и засолке капусты. Наступили ранние зимние сумерки, и рабочий день для утренней смены и канцелярских работников закончился. Мужчины шли с работы в свои общежития в кремле. Каждый из них, проходя мимо открытых подвальных дверей, останавливался и внимательно вглядывался в женщин. Некоторые из них заходили в подвал, но не спускались к женщинам по скату, а поднимались влево на галерею, опираясь на барьер, и внимательно наблюдали за женщинами и их работой. Они

приветствовали с галереи сначала отца Мефодия, потом женщин: «Привет женщинам! Привет новым соловчанкам! Успеха в работе!» и т. д.

«Кто это такие?» — думала каждая женщина. — Отец Мефодий не удаляет их, а охотно мирится с их пребыванием. Одеты они хорошо: часть из них в обычных штатских пальто, а часть в полупальто-бушлатах из шинельного сукна, тоже хорошо сшитых по росту и фигуре». Женщины уже знали, что такое полупальто является признаком высокого «блата», которым пользуется заключенный не только со стороны вольнонаемного начальства, но и со стороны своих шефов из заключенных, которых было в несколько раз больше, чем вольнонаемных.

Во главе каждого отдела стоял заместитель начальника из заключенных, и только начальник, и то не всегда, был вольнонаемным. Он тоже, по большей части, чем-либо проштрафился на материке и был своего рода административно ссыльный. Иногда и начальник отдела, и заместитель его были оба заключенные. Так, например, начальник финансового управления ГУЛАГа (Главного управления лагерей) на Соловках был заключенный Шульгинов, старый сахалинский волк лет 55, социал-революционер, сосланный на Сахалин в молодости еще царским правительством.

Очевидно, на галерке собрались «блатные», т. е. привилегированные по своему служебному положению заключенные. Это подтверждало то, что шпана не заглядывала теперь в подвал, а, опасливо покосившись на галерку, быстро проходила мимо.

«Черт знает, что это за “блатные”? Может быть, действительно, они контролируют нашу работу?» — думали некоторые женщины и даже обсуждали этот вопрос в далеких подвалах, куда уносили капусту.

— И до чего же вы глупые, бабы! — взорвалась одна остроглазая бабенка со вздернутым носом. — Контролеры! Подумаешь — контролеры! Только контролируют они не капусту и не нашу работу, а наши бабы прелести! Женихи это пришли к нам на смотрины! Шушукаются и улыбаются между собой там на галерке! Вероятно, нас делят между собой! Шиш они получают от меня по дележке! Какой мужик понравится, с тем и буду жить! Так было на воле, так будет и в Соловках!

И вернувшись с капустой в первый подвал, она подошла к самому барьеру галерки и задорно фыркнула мужчинам в глаза:

— Ну, женихи, выбрали себе невест?! Целая ярмарка невест! Выбирай любую!

Некоторые мужчины даже покраснели, другие опустили глаза, третьи решили ретироваться. В это время пришел брат Маши Барычевой. Маша схватила за рукав отца Мефодия и воскликнула:

— Это мой брат, отец Мефодий!

— А раз брат, пусть спустится сюда к нам, а ты поговори с ним!

Барычев спустился в подвал по скату и сообщил Маше, что получены переводы из Москвы от отца на его и Машино имя, что завтра она может получить деньги и пойти к «Мюру и Мюрилизу»⁴.

Так называли все заключенные свой универсальный магазин под управлением. На вопросы своих одноделок Барычев сообщил, что они, трое мужчин, устроились на хорошей работе, но двое из них уехали по собственному желанию в Анзер — центр лесозаготовок в Соловках — на учетно-счетную работу. Анзер находился в 18 км от кремля в глубине соловецких лесов⁵. Он же сам, как инженер-электрик, прикомандирован к электростанции. Брат и сестра Барычевы ждали с открытием навигации приезда матери на свидание.

Письма, телеграммы и деньги доставлялись заключенным самолетом зимой совершенно регулярно; от заключенных на материк корреспонденция шла тем же путем зимой без всяких ограничений. Не принимались зимой с материка в Соловецкий лагерь только посылки; заказные бандероли шли самолетом.

Вскоре Барычев ушел, пообещав сестре получить на днях разрешение от начальства на официальные свидания с нею. «Женихи» тоже один за другим покидали свой наблюдательный пост и уходили к себе отдыхать. Было уже часов 10 ночи, и женщины устали, темп работы снизился.

Ждали прихода старосты, а она все не шла, выжидая конца восьмичасового рабочего дня. Отец Мефодий тоже устал, т. к. он был на ногах уже две смены, и так каждый день по 16 часов в сутки, несмотря на свои 78 лет... «Зачем, почему, что заставляло его так трудиться на старости лет?» — спрашивала себя Анна и в один из ближайших дней задала ему этот вопрос, когда они были вдвоем у одного из далеких чанов:

— Отец Мефодий, много ли осталось еще монахов на Соловецких островах, помимо вас?

— Нет, никого, только я один, Аннушка!

— А где же остальные, куда они делись?

— Всех их выселили на материк, а куда потом — не знаю! — чистосердечно сказал старик.

— Но почему вас одного из всех монахов оставили на Соловках?

— Не знаю, Аннушка! Бог один это знает. Бог один знает, почему он решил смягчить сердца начальников, чтоб они оставили меня умереть здесь.

⁴ Так назывался в Москве огромный универмаг на Театральной площади, принадлежавший в дореволюционное время двум иностранцам: Мюру и Мюрилизу — теперь ГУМ № 1.

⁵ Автор ошибочно считает Анзер урочищем Б. Соловецкого острова, а не островом Соловецкого архипелага.

Я так хочу умереть на Соловках! Я каждый день молю Бога послать мне смерть на Соловецкой земле! Пусть все храмы разрушены и осквернены, но земля Соловецкая святая: землю нельзя осквернить!

Отец Мефодий смотрел своими круглыми, ясными детскими глазами прямо в глаза Анны, потом добавил:

— Все в руках Бога! Может быть, меня завтра же прогонят отсюда!.. Я так умолял со слезами на глазах начальников дозволить мне дожить и умереть на Соловках. Я говорил, что свой кусок хлеба отработаю у них, что я буду работать на них две смены в сутки. Вот и держу свое слово — работаю, а ночью молюсь! Но в завтрашнем дне я не уверен, с тем ложусь каждый день спать на ночь: с молитвой, но без надежды и упований!

— Отец Мефодий, а еще были такие же старые монахи, как вы?

— Да, Аннушка, были и гораздо старше меня: и 80-летние, и 90-летние, а двое — больше ста лет!

Анна почувствовала, что она сейчас разрыдается или закричит от жалости к этому старику и ко всем другим изгнанным старикам от 70 и свыше ста лет! «Какая звериная жестокость и бесчеловечность! И после этого нас будут уверять, что без такой зверской жестокости нельзя построить социализм, что “лес рубят — щепки летят!”» — возмущалась Анна в глубине души.

Анна захлебнулась от сострадания, горя и негодования. Она закрыла глаза, стиснула зубы и прижалась лицом к холодному чану, чтоб не шататься и не упасть.

— Аннушка! Что с тобой? Ты шатаешься, ты голодная, ты от голода шатаешься? Я сейчас пойду и принесу тебе рыбки и хлеба! Поешь, и все пройдет!

— Нет, отец Мефодий, я не голодна и ничего мне не надо! Просто у меня сегодня голова болит! — и схватив свою плетенную корзину, Анна пошла, все еще пошатываясь, в первый подвал. Софья Федоровна, встретившись с Анной в полосе света, внимательно посмотрела на нее и спросила, что с ней, но Анна вяло повторила свою отговорку: голова болит.

Это было на пятый день работы в подвале на капусте, когда Анна привыкла и присмотрелась к отцу Мефодию. Все женщины, даже совершенно огрубевшая и опустившаяся шпана, относились к этому старику, как к святому. Изумительная человечность и простота были в этом темном человеке, как он сам о себе всегда говорил: «Я — человек темный!» А между тем это была одна из самых светлых, сияющих человечностью личностей, что встретила Анна не только в Соловках, но и за всю свою жизнь!

В ту ночь, идя в строю с работы, Анна угрюмо молчала и думала: «А все-таки философия христианства безнадежно противоречива. Если Бог, по словам отца

Мефодия, может смягчать сердца начальников, как в его судьбе, и может их же ожесточить, как в судьбе глубоких стариков, выброшенных на краю могилы с насиженных мест из Соловков, то Бог пусть за все отвечает, за добро и зло в мире, а не человек.

Бог ожесточил сердца инквизиторов, которые приговорили Джордано Бруно к сожжению на костре. Значит, виноват Бог, а не инквизиторы! А костры пылали все Средневековье, и вы, милая Аннет, с вашим характером и склонностью к еретическим отклонениям от прямого, проторенного тракта, — вы бы уж обязательно жарились тогда на костре! — иронизировала над собой Скрыбина... — Бог не смягчил и не вразумил такого-то царя или правителя, и он начал жестокую, кровопролитную войну: опять-таки виноват в войне не царь, а Бог... А люди — пешки, которых двигает Бог в шахматной игре, даже не с дьяволом, а с самим собой. Противоречий христиане в своей богословской системе не замечают?! Ну, пусть отец Мефодий, этот добрейший и святейший человек, не замечает и не понимает этих противоречий — он «темный человек», но ведь у них есть и философы, и историки, и богословы, а не одни... гимназические попки! Противоречит не только разуму, но человеческому чувству, почему это Бог единственный раз смягчил сердца начальников, а в сотне других подобных же случаев не захотел или не догадался смягчить. Значит, за жестокость начальников отвечает Бог, не люди! Отец Мефодий даже не замечает, что его Бог, в его же собственной обрисовке, кровожаден, как Молох карфагенский, в разъяренную пасть которого по жребию бросали в жертву детей... Нет, за все в мире отвечает человек, и только человек! Без всяких ссылок на Бога, то ли небесного, то ли земного — деспота и диктатора! В существовании их мы виноваты! Виноваты, как в культе личности... Николая I, по Льву Толстому, в концовке его повести «За что?»»

«За что? За что?» — все кричало в душе Анны, и Софья шла рядом, тихая и печальная, как маленький серенький воробышек, и этот воробышек знал, чувствовал, видел, что к этой русской женщине прикасаться в такие моменты нельзя — опасно!..

Но в тот первый вечер работы на капусте в подвале Софья и Анна просто, душевно отдыхали под светлым, успокаивающим взглядом отца Мефодия. Ведь есть же еще, остались еще на земле такие души!

Под конец работы старик куда-то ушел на короткое время, сказав:

— Отдыхайте, бабоньки, вы хорошо поработали сегодня, дай Бог вам здоровья и счастья в Соловках!

«Изумительный старик, он думает, что можно быть счастливой в Соловках! — усмехнулась про себя Анна. — Вот святой чудак!»

Скоро отец Мефодий вернулся, неся что-то завернутое в больших капустных листах.

— А я вот вам селедочки принес. Вы, чай, голодаете в бараке, еще, чай, не устроились в Соловках?!

Затем дал каждой женщине по две небольших селедки в капустном листе, а Софье Федоровне больше — селедки четыре. Потом запустил руку в глубочайший карман своего подрясника, вытащил пятерку больших картофелин, протянул их Фокиной и сказал:

— Свари себе к селедочке! Уж больно ты отощала в тюрьме! Еще свалишься в Соловках!

Софья Федоровна спрятала, отказываясь, руки за спину, но все женщины закричали хором:

— Бери, бери, Федоровна! Отец Мефодий справедливый старец и решил верно, что тебя нужно подкормить особо.

Маша Барычева тоже сказала было, что она получит завтра деньги из дома — из Москвы...

— Вот и хорошо, что завтра будешь богатая; с завтрашнего дня ты и не будешь получать от меня ничего, а сегодня поужинай соловецкой селедкой вместе со всеми, чтобы знала весь смак ее, — и настойчиво сунул ей капустный лист с завернутыми в него двумя селедками.

Соловецкие селедки все маленькие, почти вдвое меньше обычной, но очень нежные и вкусные. Они слабо просолены и настолько жирны, что от двух селедок набегает в тарелку почти полстакана жира, поэтому их можно жарить, не прибавляя ни капли постороннего масла; наоборот, в растопившийся жир клади картофель и жарь! Действительно, вкусней соловецкой селедки ни Анна, ни Софья никогда не ели ни до Соловков, ни после их. Такую селедку они никогда даже не встречали в продаже.

Это объясняется совсем не голодом, т. к. в карантине они не голодали, как уверяли и отца Мефодия, чтоб успокоить старика.

Соловецкая селедка совершенно бесподобная и ни с чем несравнимая! Но почему-то она совершенно исчезла теперь: то ли в продаже, то ли совсем в природе!

Женщины взяли с разрешения отца Мефодия много кочерыжек, т. к. все в бараке просили принести их как можно больше. Это было лакомством при отсутствии свежих фруктов — соловецкие яблоки!

На этой работе в подвалах прошла еще неделя на засолке капусты, потом другая!

Каждый вечер после своей работы «женихи» регулярно являлись на свой наблюдательный пункт на галерке. Состав женихов постоянно обновлялся: одни

исчезали, другие приходили. Шла откровенная перестрелка взглядов и улыбок, как это делается и на воле, везде на земном шаре — «всюду жизнь»!

Отец Мефодий продолжал понемногу подкармливать женщин, и они его не подводили: несмотря на безудержный флирт, работали хорошо! Получался какой-то плавный ритм работы, без напряжения и нервозности, под спокойным, одновременно детским и мудрым взглядом старика. Казалось, лучи его глаз тоже говорили: «Всюду жизнь!», как картина передвижника Ярошенко.

«Вот бы и тебе достигнуть такого мира души, удовлетворения и мудрости в заключении, — часто говорила себе Анна Васильевна, вспоминая эту не такую уж известную картину передвижника. — Учись у простого народа, который способен на это! Учись у этого бородатого мужика, у этой бабы с куском холста на голове и в холщовой рубашке! Учись у темного святого старика Мефодия! И вдруг вулканический взрыв в глубине груди, взрыв негодования, сострадания и протеста потрясал Анну, как тогда в глубоком соловецком подвале, когда она прижалась лицом к холодному чану и чуть не потеряла самообладания после беседы с отцом Мефодием... — Нет, я не могу! Ты не можешь, потому что ты интеллигентка в первом поколении из рабочей семьи! Вот в чем дело! Ты в отрыве от народа! — упрекала себя Анна:

*Так отчего же в общем хоре
Душа поет не то, что море,
И ропщет мыслящий тростник?»⁶*

Идя ночью в строю из кремля после тяжелой работы на засоле капусты, Анна смотрела на звезды и повторяла стихи Тютчева и Фета о звездах, как заклинания, как молитвы, чтоб связать себя с космосом, с русским народом, с его прошлым и будущим — с вечностью!

*Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды глядясь, —
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор»⁷.*

⁶ Отрывок из стихотворения «Певучесть есть в морских волнах...» Ф. И. Тютчева. — Здесь и далее прим. ред.

⁷ Стихотворение «Я долго стоял неподвижно...» А. А. Фета.

*Долго ль впитывать мне мерцание ваше,
Синего неба пытливые очи?
Долго ли чуют, что выше и краше
Вас — ничего нет в мерцании ночи?
Может быть, нет вас под теми огнями:
Давняя вас погасила эпоха, —
Так и по смерти лететь к вам стихами,
К призракам звезд, буду призраком вздоха⁸.*

1890 г., когда Фету было 70 лет!

А еще больше — стихи Платона в переводе Владимира Соловьева:

*На звезды гляжу я, звезда моя светлая!
О, быть бы мне небом!
В широких объятьях тебя бы держать
И тобой любоваться в безмолвном сиянье мирьядами глаз!*

Капуста кончилась! Анна Васильевна и Софья Федоровна вместе с другими женщинами трогательно простились и поблагодарили отца Мефодия за доброту и человечность. Потом пошла каждая своей соловецкой жизненной дорогой, а отец Мефодий остался в своих подвалах, где провел 60 лет своей жизни и где умолял ежедневно Бога послать ему смерть на Соловецкой «святой» земле.

И больше они не встретились, т. к. не довелось больше Софье и Анне проходить мимо этих подвалов — своей первой трудовой школы в Соловках.

10 глава

После работы в соловецких подвалах на капусте Анна Васильевна Скрыбина как-то окрепла душевно и сравнительно успокоилась. Хотя потрясающие взрывы изнутри и давали себя знать, но сила их снизилась. Анна побеждала их усилием воли и твердой психической установкой: всюду жизнь и всюду люди — хорошие люди!

Последний этап перевели из карантинного «фонарика» в камеры второго этажа. Староста барака обладала большим тактом и опытом и как-то получалось само собой, что она редко ошибалась в подборе и распределении людей по камерам. Во время карантинного периода она знакомилась и хорошо изучала людей. Кроме того, в размещении людей ей очень помогала установившаяся в женском бараке традиция: в маленькие, узенькие шестиместные камеры, которые считались особо привилегированными, новенькие попадали по приглашению ее жилищ.

⁸ Стихотворение «Угасшим звездам» А. А. Фета.

Еще за две-три недели до освобождения кого-либо из этой камеры остающиеся выбирали кандидатку на ее место и вели с ней переговоры. Если кандидатка соглашалась, то и дело считалось решенным, и нужно было только доложить старосте, которая почти всегда утверждала выбор.

Но иногда кандидатка отказывалась от такой чести: я, де, привыкла к своей камере, она более светлая, или — у меня в старой камере приятельница или подруга, с которой я не хочу разлучаться и т.д. Иногда были мотивы, которые кандидатка и не высказывала тактично: например, ей не нравился кто-либо или все в камере: шумная камера или, наоборот, очень угрюмая и печальная, или — рассадник сплетен, или там все богатенькие, а я бедная и т.д. Словом, как внимательно привилегированная камера присматривалась к своей кандидатке, так же внимательно и дотошно сама кандидатка взвешивала достоинства и удобства нового своего жилья, где ей предстоит прожить не месяц и не два, а целые годы.

Места в больших камерах замещались старостой по своему усмотрению. Иногда она получала указания от начальства лично или по телефону перевести ту или другую женщину, вошедшую в фавор, или блат, в лучшую камеру снизу на второй этаж.

Если женщина попала в фавор, то перед фаворитками нужно лебезить: так было при каждом дворе, так было и в Соловках. Иногда нравы соловецкого двора до смешного напоминали нравы императорского двора или двора диктатора-царька, с ближайшей верхушкой, окружающей его, и безликой массой внизу. А как называется этот единоличный повелитель — Чингисхан, Нерон, Николай I, Сталин или начальник лагеря — это безразлично и несущественно.

После капусты пианистка попала в соловецкий театр, Маша — в швейную кремлевскую мастерскую пришивать пуговицы к бушлатам, а Анна Васильевна Скрыбина — в ту же мастерскую метать петли.

По их просьбе Анну Васильевну и Софью Федоровну поместили вдвоем в одной большой камере во втором этаже. Камера оказалась светлой, солнечной, в два окна — на 10 человек. Интеллигентных женщин было в камере только их двое, что имело свои преимущества: «О чем наши учительницы потихоньку лопочут между собой — не поймешь, даже если они говорят по-русски, а часто они лопочут по-французски свое, а мы — свое! Тихие, спокойные, только чудные, но, видно, Васильевна занозистей, чем старшая ее подруга Федоровна. Вмешиваться она, правда, в наши дела и разговоры не вмешивается, только иногда так посмотрит, словно оплеухой огреет!»

Было в камере две прачки, которые хорошо подрабатывали частным образом, т.е. брали в стирку белье по индивидуальной просьбе заключенных

женщин, конечно, сверх своей обычной нагрузки в кремлевской прачечной. Анна Васильевна и Софья Федоровна тоже сдавали им свое белье в стирку. Стирали они и гладили по частному заказу хорошо.

Возвращались поздно вечером, при этом одна из них, Марина, частенько пьяненькая, но сейчас же другая — ее подруга — раздевала Марину, укладывала ее спать и всякие попытки к разговорам сурово прекращала: «Закрой глаза и рот и не вякай, иначе я тебя, пьяная рожа, отколочу!»

Обе они были воровками-рецидивистками, но Марина сразу же пояснила, что у своих товарищей по заключению, в том числе и у политиков, не ворует: «Можете ничего не запирайте, нитки не пропадет! И все другие воровки знают, что я живу здесь, — значит, мою камеру не тронь! Иначе будешь иметь дело с Мариной, а мой кулак тверже мужского!» — и она сжала кулак, вытянула его вперед, и все убедились, что это огромный, красный, увесистый кулак, с которым опасно и вредно иметь дело. Действительно, за три года, что прожили в этой камере Анна и Софья, ничего не пропало, хотя все было отперто. Иногда по просьбе Анны Васильевны или Софьи Федоровны Марина рассказывала эпизоды воровской жизни и горевала, что старая воровская гвардия вымирает; она одна из последних.

Молодые кадры воров ведут себя просто возмутительно: тащат что попало и у кого попало, без всякого соображения, даже друг у друга... На не деликатный вопрос, что она думает делать на воле, Марина деликатно отмалчивалась.

У окна у той же стены, где стояли койки Анны и Софьи, была койка молчаливой женщины средних лет Антонины Ивановны. Это была красивая, печальная и необыкновенно замкнутая женщина, которая имела десятилетний срок. Была она малограмотной и недалекой женщиной, но с большим вкусом, судя по ее вещам с воли, хорошей кулинаркой и хозяйкой.

Иногда ее черные глаза наполнялись такой тоской, что притягивали к себе как магнит и Анна Васильевна подходила к ней. Но о чем можно заставить заговорить такую женщину в минуты депрессии? Ага! О кулинарии и хозяйстве! «А какие торты, Антонина Ивановна, пекли вы своему доктору? Расскажите, пожалуйста! Я сама плохая хозяйка и совсем не могу печь торты и пирожные!..»

В глазах Антонины медленно и неуверенно разгорался какой-то просвет. Начинался он с возгласа какого-то благодарного удивления, что вот ее соседка Анна Васильевна, такая «ученая» женщина вместе с тем такая нелепая, не может печь торты... так за три года Анна Васильевна узнала от нее только о ее десятилетнем сроке и том, что она получила его, будучи домохозяйкой и любовницей крупного врача-венеролога в Москве, который, вероятно, расстрелян.

Так как сама Антонина Ивановна никогда не говорила, что ей вменяли в вину на следствии, то Анна Васильевна и не спрашивала ее об этом, следуя соловецкой традиции — не лезть человеку в душу.

Но Анна Васильевна соглашалась с этим неизвестным врачом, что в качестве [домоправит]ельницы и любовницы Антонина Ивановна — настоящий клад. [На Соловках] она делала то же, что и на воле: была кулинаркой и любовницей одного заключенного врача, под видом уборщицы его и других кабинетов.

Остальные женщины этой камеры № 9 принадлежали к «элите» — сливкам соловецкого общества: кухарки и прачки начальников — не обязательно их же любовницы, если начальник был женатый, а жена его ревнивая.

Удобство для Софьи Федоровны и Анны Васильевны заключалось еще в том, что «сливки общества» уходили на работу чуть свет, а то и затемно, часов в пять-шесть утра, задолго до подъема в семь часов и поверки в восемь часов; приходили же поздно ночью.

Таким образом, весь день пустая комната № 9 (их не называли тогда камерами, а комнатами) была в распоряжении их двоих, т. к. после капусты их зачислили обеих в ночную смену в пошивочную мастерскую.

В похвалу не только 9-й комнаты, но всего барака нужно сказать, что комнаты были необыкновенно теплыми. Топка каждой печки выходила в коридор. В чем секрет этих печек, трудно понять, но они держали тепло 3—4 дня зимой, так что даже в зимние морозы их топили раза два в неделю. Иногда только кто-нибудь попросит истопницу истопить печь через два дня, а то обычно просят ее не топить и через три дня, т. к. жарко и душно. Не зная секрета монастырских печников, я могу только наружно описать эти печи: отверстие печи находилось внизу, на 40—50 см от пола. Печи эти были очень длинные, т. е. глубокие, так что в них входили целые бревна или доски, метра в три длиной. Заложив полную печь бревнами и досками, истопница зажигала их, закрывала потом дверцу, в которой были круглые небольшие дырочки, и печь горела несколько часов без ее контроля: шевелить не надо дрова кочергой во время горения. Через несколько часов, когда открывали дверцу, печь была вся полна ровным жаром. Истопница подвигала длинной кочергой жар направо и налево, т. к. каждая печь обогревала две комнаты.

Карантинный «фонарик» имел тоже хорошую печь, но в нем было чересчур много окон, при этом не замазанных. Когда навигация закрылась и надобность в карантине отпала, окна в карантине замазали и утеплили, и карантин превратился в прекрасную комнату — класс для ликвидации неграмотности. Но учительницу взяли из уголовных — малограмотную женщину, чтоб политзаключенная учительница не испортила шпану вольнодумством и многознайством.

Широкие коридоры, как внизу, так и на втором этаже, были теплые, т. к. передние стенки печей тоже очень нагревались, но коридоры несколько охлаждали беспрерывно охлаждающиеся двери наружные. В этих широких и теплых коридорах происходили и поверки. Строились внизу и вверх на поверку отдельно. Поверка производилась очень быстро, без повторных перерасчетов, как в других лагерях с 1937 г. по 1960-е годы⁹.

Некоторые выскакивали на поверку в последнюю минуту, часто набросив на белье только пальто и всунув ногу босиком в тапочки, чтоб после поверки снова броситься в постель и доспать свои полчаса перед работой. Другие, наоборот, выходили на поверку во всеоружии: накрашенные, завитые, подтянутые... Они охотно выполняли просьбу подруг-сонь: «Стань в первый ряд, я спрячусь за тобой!..» Или: «Беги скорей в первый ряд, слышишь, топают внизу своими сапожищами. Я сейчас накину пальто и стану сзади тебя!»

Ночники и больные не выходили на поверку; их заранее пересчитывала по камерам староста барака и докладывала надзору, чтоб приплюсовать к количеству в строю.

Не менее, чем комнатой № 9, Анна Васильевна и Софья Федоровна были довольны и работой в пошивочной мастерской после капусты. Хотя жаль было расставаться с отцом Мефодием, но холод и сырость в подвалах давали себя знать, и обе подруги очень обрадовались, что в пошивочной мастерской так тепло, что все работают, сняв верхнее, в одних летних платьях с короткими рукавами. Угнетал только страшный шум моторов и бешеный темп их движения.

«Нет, моторы не для нас, — подумали Анна Васильевна и Софья Федоровна, — будем «ручницы»!

Заведующая мастерской вообще начинала с того, что давала всем ручную работу, а потом, по мере обнаружения талантов и способностей, переводила в мотористки. Штат мотористок был более устойчив, а штат ручниц — неустойчив, их постоянно не хватало: кто не хотел осесть на постоянную работу в пошивочной мастерской, тот сбегал с первой стадии обучения, которая включала в себя две специальности: обметка петель и пуговицы пришивать.

Работа Анны Васильевны ей очень понравилась, т. к., вероятно, в пальцах Анны сказало ее искусство рукодельницы, которому она обучалась еще в гимназии.

⁹ С 30-х по 60-е годы поверка превратилась во многих лагерях в своеобразную форму издевательств и пытку над заключенными. Выстраивались по пять человек — в грязь, дождь, мороз заключенные часами ходят перед надзором по немощёной дороге посреди лагеря, потому, де, что дежурные не могут подсчитать наличное количество заключенных — «не сходится у них». Часами льет осенью дождь, и часами промокшие до нитки заключенные в дырявой обуви месят грязь до полного изнеможения. — *Примеч. авт.*

Софья Федоровна страдала некоторой близорукостью, но очков не носила из-за кокетства и поэтому остановилась на более грубой работе — пришивать пуговицы.

С первого же дня заведующая дала Скрябиной метать петли на шинели какого-то начальника, потом френч, потом еще что-то верхнее для начальства... Заведующая посмотрела, осталась довольна, потом объявила, что больше для начальства нечего делать на сегодня, и дала бушлат для заключенного. Осмотрев петли на бушлате заключенного, она недовольно и с удивлением уставилась на Анну Васильевну и сказала, что такие хорошие петли не нужны и не пойдут на бушлатах заключенных.

— Это пустая трата времени метать такие петли для них! Вы же понимаете, — недовольно убеждала Скрябину заведующая, — что с такой хорошей работой вы не выработаете норму, а, следовательно, будете мало получать и начнете голодать. Я понимаю, что нельзя метать петли быстро и хорошо, поэтому, когда вы будете выполнять работу для начальников, я буду ставить вам норму. Но если работы для начальников нет, а вы будете так же усердно и медленно метать петли для заключенных, то я не могу поставить вам выполнение нормы!

Подошла Софья Федоровна, т. к. она была обеспокоена, чем недовольна заведующая и почему она делает Анне замечание. «Не может быть, чтоб Аннет плохо работала, плохо метала петли, это не в ее характере!» — думала Софья Федоровна и поэтому она подошла к ним.

Заведующая, показывая Фокиной злополучный бушлат, продолжала с раздражением:

— Посмотрите, какие петли сделала ваша подруга!

Софья Федоровна прищутив свои близорукие глаза и близко наклонившись к бушлату, спросила с недоумением заведующую:

— Но петли замечательные, а вы находите, что они сделаны плохо?

— Нет, я тоже нахожу, что они прекрасные, но подумайте сами, к чему они на арестантских бушлатах? Разве норму можно выработать такими петлями? Ведь вы же будете голодать, если чересчур добросовестно будете относиться к работе! Надо гнать! — Затем, выхватив из кучи наваленных на полу бушлатов первый попавшийся, она протянула его Скрябиной и спросила, показывая на безобразно прометанные петли:

— Вы можете делать такие петли?

— Нет, не могу! Я на воле делала все медленно и хорошо!

— А в Соловках вы должны научиться делать все быстро и плохо!

— Нет, не могу! Да, признаться, и не хочу этому учиться!

— Вы слышите, что говорит ваша приятельница?! — гневно обратилась заведующая к Софье Федоровне, которая, умоляюще глядя на Анну, прошептала ей по-французски: «Аннет, будьте благоразумной! Мое несносное дитя, будьте разумной!..»

— Не хочу быть благоразумной! Нет, никогда! — гневно ответила тоже по-французски Анна.

Воцарилось молчание. Вдруг Анна заявила совершенно спокойным голосом:

— Собственно, из-за чего мы волнуемся и спорим? Ну не буду вырабатывать норму! Вы мне так и ставьте в табель! Вот и все!

Ночью, идя строем с работы в барак, Анна Васильевна убеждала Софью Федоровну:

— Сонечка, даже самая простая и ничтожная работа дает человеку удовлетворение, если она выполнена им хорошо. У меня будет совсем другое настроение, если я после каждой петли буду твердить про себя: «Ну и безобразие, какое уродство!.. Тошно самой смотреть на такую работу!..» И это подряд в течение восьми часов! Я не выдержу такой самооценки и самоосуждения! И зачем я буду насиловать самое себя?! Не стоит, а что касается нормы и зарплаты за норму, то это все равно такие гроши, что на них не проживешь! Нужно серьезно, Софи, думать, чем себя поддержать в Соловках, раз мы одиноки и нам никто не помогает с воли! Пойти на содержание и в любовницы из-за куска хлеба ни вы, ни я не можем! Следовательно... следовательно, нам придется подрабатывать на жизнь шитьем и рукоделием — частными заказами... Вы, Сонечка, будете шить в нерабочее время. Да, да, шить платья, блузки, белье... Не говорите, что вы не можете! Раз вы можете сшить юбку, блузку для себя, то сможете и для других. Я тоже буду брать шить платья, блузки и белье с вышивкой, поскольку это сейчас модно. Вот и будем работать «медленно и хорошо». Другого выхода у нас, Сонечка, нет, поскольку мы оказались в жизни одинокими и без поддержки в Соловках!

Софья Федоровна возражала все слабее и слабее, приходя к заключению, что в данном случае соображения и планы Анны не лишены здравого практического смысла.

— Итак, мадам, я более рассудительна, чем даже вы сама! — заключила по-французски Анна свой спор с Софьей.

— Но позвольте, Аннет, у нас нет машины, мы же будем страшно медленно шить ручным способом! — снова заколебалась Софья Федоровна.

— Ничего не значит — медленно, но хорошо! К тому же могу вас утешить: говорят, что в Париже очень дорогие и тонкие вещи шьют на руках, а не машинным способом. Вот и мы будем подражать Парижу! Я думаю прием заказов начать завтра!

— Нет, Аннет, вы такая фантазерка, что можете рассмешить кого угодно. Как начнете прием заказов?!

— Вы забыли, Софи, мое палевое вышитое платье, которое проделало путь от Кузнецкого моста до Соловков включительно? Оно еще не развалилось за восемь месяцев, т. к. сделано из цветного полотна. Я его завтра отглажу и надену; в моей шубе можно ходить в летнем платье и зимой в Соловках! И когда соловецкие дамы начнут завтра охать и ахать от похвал моей вышивке, я скажу, между прочим, что могу повторить эту вышивку и, конечно, другие снова в Соловках. Понятно, Софи?! Зачем хорошее дело откладывать в долгий ящик?

На другой день все было разыграно в мастерской как по нотам. С утра следующего дня посыпались заказы и заказчицы в 9-ю комнату, но Анна Васильевна брала, как правило, одну вещь вышивать, а Софья Федоровна только одну вещь сшить. Разочарованным заказчицам Анна говорила:

— Пусть ваша материя полежит еще там, где она лежала до этих пор. В чемодане? Вот и прекрасно, пусть еще полежит в вашем чемодане, а у меня нет чемодана, чтобы собирать и хранить чужие отрезы. Я вышиваю медленно, а Софья Федоровна шьет медленно на руках...

Нельзя сказать, чтоб это был легкий и приятный хлеб, т. к. обе подруги, особенно Софья Федоровна, очень уставали в мастерской.

Казалось бы, что трудного пришивать пуговицы? Но если это длится восемь часов без перерыва, даже на одну минуту, в погоне за огромной нормой (а Софья Федоровна стремилась во что бы то ни стало выполнить ее и пришивать пуговицы прочно), то это превращается в тяжелый, гнетущий своим однообразием и мелочностью труд — поистине проклятый каторжный труд!

И к концу ночной смены Анна Васильевна с болью видела, как Софья Федоровна, культурнейшая, корректная и самая выдержанная женщина, какую она только однажды встретила в своей жизни, всегда опрятная, аккуратная, элегантная и прекрасно причесанная, превращалась в лохматую женщину, с напряженно вытаращенными, безумными и ошалевшими от спешки глазами — финиш есть финиш, его нужно взять и не упасть перед ним! Вы можете упасть после финиша, разорвав ленту последними усилиями воли, но это уже никого не касается. Звонок — норма сделана и сдана!.. Анна Васильевна, хотя выполняла 70—80% нормы, тоже очень уставала: руки деревенели и опухали, сердце сдавало от духоты, страшного грохота моторов, и к концу работы опухшие пальцы с трудом держали иголку. Заведующая примирилась с ее хорошей медленной работой, решив держать ее для френчей, шинелей и пальто высоких заказчиков.

Утром опухшие пальцы, хотя отек несколько спадал за остаток ночи, после ночной смены все-таки плохо держали иголку и работали неуклюже, нужно было разминать их около двух часов, чтоб скованность пальцев прошла и чтоб они заработали эластично и плавно, как необходимо для работы по рукоделию.

А набегі заказчиц на 9-ю комнату все усиливались. Проститутки со всего женского общежития тащили отрезы крепдешина и дорогого шелка не только на платья, но и на белье:

— Раз тебе вышла мастерица из 9-й комнаты такую шикарную крепдешиновую комбинацию, какой даже у «Мюра и Мюрилиза» в Москве не найдешь, то чем я хуже тебя? И у меня должна быть такая же, не хуже, из дорогого шелка!

И соловецкие проститутки набивали все больше и больше свои чемоданы шерстяными и шелковыми отрезами, каких они на воле никогда не видели. Они приезжали в Соловки исправляться на три года, по постановлению суда, — приезжали в одной грязной рваной юбчонке и развалившихся туфлях, а уезжали богатыми женщинами.

Иногда в дело вмешивалась Марина, когда видела, что Анна Васильевна и ее подруга очень утомлены и не могут отбиться от настойчивых заказчиц.

— А ну, что вы здесь за базар подняли в нашей интеллигентной камере! Берите свои шелковые шмотки, катитесь отсюда колбасой, шлюхи несчастные и б... соловецкие! И чтоб я вашего вонючего духу в нашей камере больше не чуяла!..

Заказчицы поспешно хватали свои материалы и убегали, а следующий раз предварительно осторожно заглядывали в дверь, чтоб убедиться, что грозной Марины нет дома.

Вообще, воровки не первой молодости, прошедшие старую воровскую академию, вроде Марины, относились с величайшим презрением к проституткам и к тем неквалифицированным молодым воровкам, которые были одновременно и проститутками.

11 глава

Время шло; Софья Федоровна и Анна Васильевна очень уставали и от казенной работы, и от частных заказов, а главное, они недосыпали. Особенно недосыпала Анна, т. к. вышивка требует колоссально много времени и труда, а работа как будто не движется.

Спать! Спать! Вытянуть ноги на кровати и погрузиться в небытие — какое наслаждение может быть выше после тяжелой изнурительной работы?! В то же время Анна сознавала, что для нее лично работа в пошивочной мастерской — выход из тяжелого положения, т. к. при обметке петель она могла думать о своем и,

застыв на минуту с иголкой в руке, уходить в другой, свой собственный мир. А как будет в бухгалтерии?! Там ведь ни на минуту нельзя уйти от цифр в мир своих мыслей. Что может быть гнуснее счетной работы?! Если здесь в пошивочной у меня пухнут пальцы, то там будут пухнуть мозги от счетной въедливой, мелочной работы. А ведь этим дело кончится, думала Анна. Я чувствую, как кольцо сжимается, эти бесконечные разведывательные вопросы со стороны нарядчицы: «А не хотите ли работать там-то или там-то в бухгалтерии или в конторе?» — «Нет, не хочу. Меня вполне удовлетворяет работа в пошивочной, я с увлечением обметываю петли, и они получаются у меня идеальные — сердце радуется!»

Нарядчица была вторая фигура в женском бараке после старосты, и пока она присматривалась к Анне и предлагала ей любовно ту или другую работу, но в один прекрасный день просто прикажет перейти на счетную работу. Постоянным рефреном было у нарядчицы: «Как странно, что вам, интеллигентной женщине, нравится работать в пошивочной мастерской, учтите, однако, что ни одна культурная женщина не засиживалась и не задерживалась на этой работе! У нас на учете каждый грамотный человек! И вашу приятельницу Фокину Софью Федоровну, которая из-за вас тоже не хочет расстаться с пошивочной, мы на днях берем в контору!...»

И, действительно, скоро Софью Федоровну перевели в комендатуру конторщицей и дежурной. Комендант был из заключенных и, по словам Софьи, обаятельный человек. Это был пожилой армянин, с красивой проседью в черных волнистых волосах и в ассирийской бороде, с прекрасными добрыми серыми глазами. Работы у Софьи было мало, особенно зимой, когда навигация закрывалась и не было приема и отправки заключенных.

Софья Федоровна получила индивидуальный пропуск и освободилась таким образом от хождения в строю. Она начала доказывать Анне Васильевне, что ее стремление сохранить свое сознание свободным, не загруженным цифровым ненужным материалом, является иллюзией, т. к. однообразное метание петель обременяет и утомляет сознание не меньше цифрового материала. Своей работой Софья Федоровна была довольна, поскольку вообще можно говорить об удовлетворении работой в лагерях принудительного труда. К каждой работе в лагере подходишь с точки зрения сохранения своего здоровья и своего сознания-психики.

Во всяком случае, Софья Федоровна осталась на этой работе до своего освобождения в 1930 году, когда в мае закончилась ее трехлетка.

Единственными минутами отдыха и необходимого для Анны одиночества были минуты ее общения с природой, она смотрела на березки в саду или звезды, идя ночью в строю из пошивочной мастерской.

Березки, любимое дерево Анны, росли вокруг всего барака, но особенно много сзади барака, и только штакетник отгораживал эти березки от начинающейся за ним березовой рощи, белевшей на фоне елей.

Березы в Соловках растут трех видов: плакучие — любимицы Анны, не плакучие, или обыкновенные, и карельские, с огромными наростами, уродующими их. Говорят, что самыми ценными являются последние, т. к. из них делают мебель, очень красивую и дорогую. Анна видела раньше мебель «карельская береза», действительно, очень красивую, но не подозревала, что в натуре это просто больная березка, обезображенная как бы древесным раком.

Заснеженные березки стояли нежные и трогательные, и ветви плакучих склонялись еще ниже к земле, отягченные снегом.

Анна считала всю жизнь, что известная доля одиночества необходима человеку и в жизни, и в смерти: каждый умирает в одиночку, даже на поле сражения! Да, каждый умирает в одиночку, сколько бы людей ни сидело у смертного ложа. И в счастье нужны минуты одиночества, а в горе — тем более. В одиночестве человек остается наедине со своей душой — сознанием, и только природа хочет быть соучастницей этой тайны. Анна подходила к одной из плакучих берез за барак — своей избраннице — и нежно гладила ее ствол, говоря шепотом:

*Учись у них — у дуба, у березы:
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Все элей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листья,
И за сердце хватается холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты.
Но верь весне! Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа¹⁰.*

(Фет, 1883 г. — в возрасте 63 лет).

Кожа у берез не только белая, но слегка розоватая, нежная и шелковистая, как кожа ребенка, кругом тишина, никого нет. Анна гладит свою березку, и слезы закипают и катятся по ее искривленному страданием лицу. «Как хорошо, что я одна и никого нет, только березка, но она не осудит: сама

¹⁰ Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...» А. А. Фета. — Здесь и далее прим. ред.

плакучая». Анна прижимается лицом к живой шелковистой коже березы и надолго затихает.

Молчание. Тишина. Одиночество. Какая-то ветка вздрогнула и обдала Анну снегом.

Анна благодарно смотрит вверх на ветви березы и шепчет ей и себе:

Есть в русской природе усталая нежность!

Какая-то боль безысходной печали.

Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,

Глубокая высь, уходящие дали...¹¹

С душой, смягченной одиночеством и одинокими слезами, Анна возвращается в барак и принимается за свое рукоделие вместо того, чтобы выпасться перед ночной сменой, — вероятно, так проклинала рукоделие ее крепостная прабабка, сидя за пальцами в девичьей.

Да, дед и бабка со стороны отца были уже вольными воронежскими крестьянами, а их родители — крепостными, со стороны матери — ставропольские помещики.

Анне каждый день говорят ее заказчицы, что у нее «золотые руки».

«А не получила ли я эти «золотые руки» по наследству от моей крепостной прабабушки? — думала Анна. — И одновременно с ее руками терпение и выносливость русской крестьянки?..»

А ночью, возвращаясь из пошивочной мастерской, Анна молчала и смотрела на звезды, повторяя, как внутреннюю молитву, стихи Фета — «Угасшим звездам».

— Хорошо, что Софи устроилась, и начальник ее, комендант — хороший человек! Как гора с плеч, — облегченно вздохнула Анна, улыбаясь звездам. — Все-таки нам нужно расстаться, когда она закончит срок! Меня будут мучить и мучить всю жизнь, и если она не отойдет от меня в сторону, ее тоже будут мучить всю жизнь за меня! А за что, собственно, нужно мучить меня? Не за что! За то, что я есть я и никогда не откажусь от своей личности, не позволю сломать свой становой хребет — лучше смерть!

Как хорошо, что Сони нет рядом со мной в строю — отмучилась! А звезды какие хорошие! Как они близки мне и доступны здесь, ближе, чем были в Москве! Почему так? Разве здесь атмосфера другая? Может быть, не атмосфера, а направленность души у меня здесь другая?!

В Москве и на юге я повторяла стихи Фета и моего любимого Тютчева, как прекрасные стихи, а здесь — как молитву! И дыхание Евгения чувствую рядом!

¹¹ Строки из стихотворения «Безглагольность» К. Д. Бальмонта.

Как будто не стихи эти он мне сказал перед своим самоубийством, а вложил в мои руки всю свою душу — и навсегда!

*Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.*

*Еще темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.*

*И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.*

*И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.*

*И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный, —
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.*

*И этих грез в мировом дуновении
Как дым несусь я и таю невольно,
И в этом прозрении, и в этом забвении
Легко мне жить и дышать мне не больно¹².*

Анна не понимала, были ли это пантеистические порывы и прозрения религиозного или чисто эстетического характера, но они шли откуда-то из глубины ее юности, когда она в 16—18 лет, будучи атеисткой и вполне «эмансипированной женщиной», со страстью и самозабвением изучала Джордано Бруно, Спинозу и Тютчева.

Эта молитва — обращение к Космосу — спасала Анну в самых суровых одиночках и карцерах, и Анна вспоминала, как она после многих недель без света, т. е. без дневного света, без неба и звезд, — только с одним непрерывным

¹² Отрывок из стихотворения «Измучен жизнью, коварством надежды...» А. А. Фета.

электрическим светом ночью и днем в глухом каменном мешке — бросилась в неудержимом порыве в новой камере к окну, к небу и звездам, окно в новой одиночке было со щитом, но сверху, если стать на колени и свернуть шею, был виден кусочек ночного неба, и по этому узкому полю быстро передвигалась звезда!

Анна так и сделала, бросилась к окну, стала на колени и, вывернув шею, смотрела вверх:

— Да, звезда! Вот она! Вечная и неизблемая в своих неизменных законах движения! А ты думала, не видя их, весь мир погружается вместе с тобой в черную пучину отчаяния и небытия?!

Слава Богу, что власть советских следователей так ограничена, что они могут лишить тебя только жизни! Не больше! Власти лишить тебя космоса, пока ты живешь, они не имеют!

В это мгновение Анна почувствовала толчок в бок со стороны соседки по строю, что заменила ей в паре Софью Федоровну, и ее слова:

— Васильевна! А, Васильевна, ты спишь, что ли, идучи в строю?

— Почему ты так думаешь?

— Да я же, тебе говорю, говорю, а ты не отвечаешь, словно ничего не чувствуешь! Смотри, еще упадешь во сне в строю, будет переполох: подумают, что у тебя обморок!

— Да, я сплю, — ответила весело Анна, — но никогда не упаду, т. к. у меня валенки-самокаточки. Они меня не подведут, сами несут мои ноги, когда я сплю в строю!

А про себя грустно подумала:

— Почему же эта молитва к космосу — Бог, или Природа (по Спинозе), которая помогает тебе в тягчайшие минуты твоей жизни, не помогла Евгению, который и передал ее тебе в наследство в ночь перед самоубийством? Да, семь лет тому назад!

Помнишь, он просил тебя перечитать в разлуке (разлучались мы по договору на две недели, а вышло навечно!) «Кроткую» Достоевского? — «Вы, Анна, лучше тогда поймете русский народ и его душу», — сказал он. А плечи его, помнишь, опустившиеся и сразу состарившиеся, когда после прощания с тобой он пошел по улице, освещенной лунной ночью! Почему ты, подлая, тупая женщина, не крикнула ему: «Евгений, остановись! Что ты задумал?!» — среди смятения у тебя разве не шевелилась догадка, что он замыслил что-то ужасное?..

Что же получается? — Все талантливое и прекрасное — цвет нации — или убивает себя, как Евгений, или расстреливается, как Илья?

Остаемся только мы — подлые, бездарные приспособленцы, человеческий мусор и навоз, — негодуя думала Анна. Все-таки если бы не было звезд в

космосе и березок рядом с нами, самоубийств было бы гораздо больше! А расстрелов... будет все больше и больше, несмотря на звезды в космосе и березки на Земле. Может быть, это извечные стихии человеческой души:

*И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!*¹³

12 глава

В один зимний день, когда дневные работающие женщины и канцеляристки были на работе, Анна пошла в садик, полюбовалась на свои березки сзади барака, погладила свою любимицу плакучую березу и собралась вернуться в барак к своему проклятому игу — рукоделию.

Успокоенная и освеженная, спускалась она с пригорка слева от барака, где шла широкая проезжая дорога вдоль стен кремля и мимо барака, уходя в лесную даль — в неизведанный ею Соловецкий край.

В противоположную сторону, за кремлем, эта же дорога шла тоже вдаль, вглубь соловецких лесов на лесоразработки Анзера, на штрафную командировку у Секирной горы и в другие глубинные точки, где не было женщин и о которых соловчанки знали только по рассказам мужчин.

Впрочем, Анзер был штрафной командировкой для женщин и обычной, не штрафной, для мужчин — просто центр соловецких лесоразработок.

Анна часто подходила к левой стороне двора, смотрела на дорогу, идущую за барак в лес, и мечтала: «Вот возьму я убегу летом в этот березовый бор, будь что будет! Ведь не расстреляют же меня за это, как за побег?! И куда убежишь? Кругом море!»

Любила Анна этот центральный соловецкий тракт еще за то, что по этому тракту шли «поющие столбы» — да, настоящие телеграфные и телефонные столбы. Днем они почти молчали, а ночью звенели, пели, гудели и создавали необыкновенно красивую музыку в тишине, но связанная строем Анна никогда не могла долго наслаждаться их пением. Днем нужна была исключительная тишина, чтоб услышать тихий перезвон этих столбов. Подойдя к левой стороне штакетника, Анна увидела пожилую женщину из работяг, тетю Таню, которая жила в первом этаже. Женщина, подперев горестно щеку рукой, смотрела на дорогу в сторону кремля. Анна тоже взглянула туда и увидала, что по дороге приближалась белая фигура в окружении конвойных. Это шел босиком, несмотря на зимнюю стужу,

¹³ Отрывок из стихотворения «Близнецы» Ф. И. Тютчева.

в одном белье заключенный со связанными назад руками и гордо запрокинутой назад головой. Во рту у него была зажата папироса.

Анна схватила за руку тетю Таню и, задыхаясь, спросила: «Куда его везут?» — «На расстрел!» — прошептала тетя Таня, и обе женщины уставились на смертника со скорбью и ужасом.

Что сделать? Что ему крикнуть, что ему сказать перед смертью? Нет, человеческое сердце и разум не в состоянии придумать ничего утешительного, чтоб облегчить смертный путь другого человека: «каждый умирает в одиночку!»

Давно прошла эта группа людей, а застывшие женщины продолжали безмолвно стоять у низенького забора, глядя на дорогу смерти. Наконец, Анна спросила: «Тетя Таня, вы не знаете, за что его приговорили к расстрелу? Такой молодой и стройный, красивый, такое хорошее и гордое интеллигентное лицо... за что?!» — «Еще пройдет несколько минут, и раздастся залп выстрелов — пришла его смерть! Подождем его конца!» — ответила женщина Анне на вопрос и, подняв к небу скорбные глаза, несколько раз перекрестилась. Анна безмолвно стояла около молящейся женщины.

Через несколько минут раздалось одновременно несколько выстрелов, и все было кончено.

Эти переживания как-то сблизили обеих женщин, и тетя Таня многое рассказала о своем горе и о соловецких делах, о чем Анна даже не догадывалась.

Срок у тети Тани был десятилетний за сына, белого офицера, который бежал за границу. Сын был у тети Тани единственный, и она, вдова, осталась на старости лет одинокой. В Соловках ей никто с воли не помогал, но она держалась удивительно мужественно и стойко. «Слава Богу, что мой Ваня никогда не пойдет по этой дороге смерти», — говорила она.

Как-то невольно получалось, что они постоянно встречались там же, у низкого заборчика, за которым шла дорога, — там, где они встретились первый раз.

— Тетя Таня, хотя я недавно на Соловках, но мне кажется, я где-то видела этого молодого человека, которого «расстреляли при нас».

Это выражение они обе употребляли, да, «расстреляли при нас».

— Что же тут мудреного, что ты его видела?! Конечно, видела! Он же работал в надзоре и проводил, как старший надзиратель, проверки у нас в бараке, а сам он из белых офицеров.

— Зачем же белые офицеры идут в надзор? Шли бы, в крайнем случае, на самые тяжелые работы — на лесоразработки!

— И белые, и красные военные — есть здесь и такие — раз попали в Соловки, иди в надзор! Красных военных, конечно, здесь немного, но есть, и как закон — иди

в надзор! Без различия, белый ты или красный! Раз военный, одна у тебя дорога — надзор!

— А я бы не пошла, хоть расстреляйте! — и в то же время Анна подумала, что один из трех мужчин-смертников по их делу, тот советский военный Никифор, которого она только один раз видела в Бутырках на сборном пункте перед отправкой, что он, правда, сейчас же по прибытии в столицу Соловков, был направлен в Анзер в надзорсостав.

«А я бы не пошла, — твердила про себя Анна. — Мужчины почему-то беспрекословно идут туда, куда им прикажут! — Потому что они трусы, при этом дисциплинированные трусы! А толпа трусов, дисциплинированных трусов — страшная сила! Как дуло пушки, их можно повернуть куда угодно, и бей — по ком угодно!»

— Ну, хорошо, тетя Таня, пошел такой в надзор, — тебя принудительно включили в надзор, а за что расстреливать?

— За что расстреливать? — задумчиво переспросила тетя Таня. — Расстреливают за то, что ты недостаточно злой и пронырливой овчаркой стал. А на что нужны такие овчарки? — задумчиво продолжала тетя Таня. — Если овчарка не хватает человека за горло, а стоит и виляет хвостом перед ним, то она никуда не годится и ее нужно расстрелять!

«Впрочем, нового в данном случае ничего не изобрели: так всегда поступало человечество! — думала про себя Анна. — Разве не известно, что самыми жестокими надсмотрщиками на рабовладельческих плантациях были сами же рабы-негры? Так же было и в рабовладельческом Риме.

Разве в период крепостного права деревенские старосты из крепостных не были самыми жестокими орудиями крепостной эксплуатации в руках помещиков?!

Поэтому и самыми свирепыми овчарками, которыми травили в лагерях заключенных, были тоже заключенные».

— Тетя Таня, вы рассуждаете об овчарках очень верно, но на чем здесь испытывают качества овчарки, этого я еще не знаю!

— Поживешь на Соловках — поймешь, а пока ты еще очень зеленая! Хорошо, тебе скажу — на побегах!

— На побегах?! А разве они бывают на Соловках? Как же это возможно? Кругом море!

— Бывают! Редко, но бывают! А еще реже — удачные побеги из Соловков! Как бегут? — спрашиваешь ты. — Строят обычно лодку или плот, пожалуй, это самое трудное в подготовке к побегу, чтоб никто не раскрыл эту лодку и не донес! Вот двуногие овчарки и мечутся по лесу, как угорелые, чтоб не

прозевать эту лодку. И ты думаешь, так и хватают лодку?! Как бы не так! За лодкой, за людьми, которые ее строят, устанавливается такая слежка, что Боже упаси!

— Ну, а что дальше? — спрашивала Анна с замиранием сердца. — Что дальше?

— А дальше — что Бог даст! Сядутся ночью и плывут. Пошлет Бог иностранный пароход — подберут, а не пошлет да наши догонят, вот и конец всему... Говорят, что был случай, когда прибило лодку в нашу Карелию, а потом беглецы перешли лесом в Финляндию. Да, тут нужно мужество — не падать духом ни при каких обстоятельствах и знать, где находишься и куда двигаться. Мужество и знания! Темный человек, хоть и смелый, не осилит такой путь!

— Ну, а дальше что, тетя Таня?!

— Ну, что ты, право, заладила, Аннушка, как ребенок: дальше да дальше! Сама соображай! Коли упустят беглецов, тут и начнутся расправы! Зачем не усмотрели, да вы в заговоре с беглецами! Вы им помогали, вы их скрывали... Тут и пойдут многие на расстрел по этой самой дорожке. Ну, а если поймают беглецов, то тут достанется и конвою, и беглецам; больше, конечно, беглецам!.. В такие дни грозно бывает на Соловках! Ох, и грозно, и тяжело бывает на Соловках, спаси нас Христос! — набожно перекрестилась тетя Таня.

В те дни, что ищут беглецов, каждый на Соловках спрашивает тихонько другого: «Еще нет? Еще не нашли?» И все Соловки живут, притаившись и затаив дыхание, ну, сама узнаешь поздним летом или осенью — время побегов, когда схлынут белые ночи!

— А что, тетя Таня, делают с беглецами?!

— С беглецами?! И не приведи Бог, как мучают! Хуже расстрела! Твое счастье, что ты попала теперь в Соловки, а не раньше, когда здесь был в начальниках зверь, которого недавно расстреляли за жестокость, а на его место прислали хорошего мужика, рыжего Зарина! Видала, чай, уже его на проверке изредка?

— Я-то видела этого рыжего добродушного богатыря, но я не слыхала, что его предшественника расстреляли. И за что?

— Ну, он много здесь делов натворил. Обливал зимой водой штрафных, и в том числе беглецов, сажал их на Секирную гору. На Секирной горе есть высокая колокольня, вся в сквозняках, т. е. четыре окна на площадке каждого этажа этой колокольни открыты друг против друга, и все ветры обрушиваются через них на колокольню. Обольют человека зимой водой, вот он сразу на морозе да на сквозняках и делается «хрустальным покойником» на этой колокольне. Самый сильный человек оледеневает враз!

Так он, подлец, и делал «хрустальных покойников» на Секирной горе. Может быть, это ему и простили бы, т. е. не простили бы, но не взыскали бы смертью, если бы это все не стало известно за границей через соловецких беглецов, чудом добравшихся туда.

«Соловецкий народ на Секирной горе так и мрет!» — поется в нашей арестантской соловецкой песне. Конечно, ее не поют, а только шепчут промежду собой заключенные. Хотя почему знать? Может быть, и поют в глуши соловецких лесов, куда не ступает нога надзора?

Кроме того, стало известно за границей, что соловецкие подвалы забиты тифозными покойниками, и этот изверг морит соловецкий народ нарочно и со зла голодом. А земля соловецкая богатая: можно прокормить людей и без подвоза с Большой земли.

Так-то, девонька, попала ты в хорошие времена на Соловки. Ничего, ты бабешка, ишь, какая круглая да розовая, прямо кровь с молоком! Выживешь, не пропадешь!

— Выжить-то я выживу, — ответила Анна, — а вот захочу ли я жить после этого — я не знаю!

Анна глубоко задумалась, потрясенная всем, что узнала и услышала от тети Тани, и пропустила ее комплименты мимо ушей. Так вот почему страшное слово «Соловки» нагоняло ужас на весь мир. И она знала на воле об этом паническом ужасе перед Соловками!

Так вот что было в глубине этой святой земли, политой кровью и слезами! Недаром она тогда в содрогании ужаса прислонилась к чану в подвале под беззлобные христианские речи отца Мефодия об изгнании столетних стариков из Соловков! Да, сердца одних начальников Бог иногда смягчает, а других — в равном же трагическом положении — не смягчает. Не считает нужным смягчать!

А ведь с первых шагов Соловки открылись перед Анной почти идиллией! Да, идиллией, благодаря своей чарующей красоте природы и старинной архитектуры!

Но, может быть, тетя Таня, сама того не зная, находится во власти ложных слухов? А расстрел днем при тебе за рожей? Человек она, правда, очень мужественный, отнюдь не паникерша! Можно ли верить этим слухам?

— Тетя Таня, а была ли хоть одна женщина на штрафной командировке у Секирной горы?

— Нет, Аннушка, не была, и все, что мы, женщины, знаем, мы слышали от мужиков. Может быть, они врут, но не похоже на вранье! Ты, Аннушка, лучше не верь, не слушай, не думай об этом! И без того жить тяжело! А тебе еще жить да жить. Просто у меня, старой одинокой бабы, все перегорело внутри, вот и делюсь с тобой!

Вообще, не говорят об этом в Соловках, только переглядываются, когда побег. Молчим не от опаски, а от перегара внутри, да чем и кому словами поможешь, только душу тревожишь!

Анна подумала и решила ничего Софье Федоровне не говорить; действительно, зачем надрывать — «теребить» душу. Успокоилась немного Софья и пусть так дотянет без душевного надрыва свои три года; достаточно с нее физического утомления от частных заказов, а сил у нее мало...

Но вот в чем дело: вдруг она знает не меньше, а больше меня? И тоже молчит по этой же причине! Ведь все-таки она работает как-никак в комендатуре! Допустим, она не знает о прежнем начальнике-звере и ей никто не рассказал о «хрустальных покойниках» и о тифозных трупах, набитых в монастырских подвалах. Но о новых побегах комендатура, а следовательно, и она должна знать раньше всех и достоверней всех. Хорошо, подождем лета и осени.

Был разгар зимы, но Анна не страдала от холодов и находила, что зима для той северной широты, на которой лежат Соловки, не суровая, мягкая; преобладали морозы от 20 до 30 градусов, редко — 40.

То ли давал себя знать и смягчал зиму Гольфстрим, то ли спасали Анну кожаные сапожки и валенки «тети Шуры», то ли расстояния были небольшие и, выскочив из теплого женского барака, было просто приятно пробежать по морозцу полкилометра или меньше до места работы, тоже в теплом помещении.

Мужчины на лесоразработках, которые работали целый день на морозе и были плохо одеты, вряд ли согласились бы с Анной.

Скрябина это знала и думала об этом. К Рождеству Анна Васильевна получила письмо и пять рублей денег к празднику от Елены Федоровны — матери Ильи. В письмо была вложена маленькая, потускневшая фотография Ильи. Елена Федоровна сообщала, что была серьезно больна, врачи приговорили ее к смерти, а она вот все-таки поправляется и много думает о ней. В письме проходила основная мысль и скорбь, что у нее нет даже могилы Илюши, что она даже не знает, где он похоронен, и лишена возможности ухаживать за его могилой и сидеть около нее. А деньги, мол, она сэкономила на хозяйственных расходах, чтобы помочь ей.

Анна была потрясена скорбью и лаской, выраженными в письме. Через два дня, несколько успокоившись, Анна послала в Москву ответ, умоляя мать не присылать ей больше денег, уверяя, что она в Соловках ни в чем не нуждается: благодарилась мать за фото Илюши и за то, что она не забывает ее, даже в своей скорби.

Анна почти не лгала, говоря, что она ни в чем не нуждается. Потребности были снижены, и она могла их удовлетворить сверхурочной работой на частных заказчиц.

Дело было в том, что гибла сама жизнь, что она была обречена на пятилетнее отупение и чрезмерный труд, чтоб спасти себя физически.

Были книги в обширной соловецкой библиотеке, но не было времени их читать; была рядом Софья Федоровна, прекрасно владевшая французским языком, но не было свободной минуты перекинуться словом по-французски, чтоб не забывать язык. О том, чтоб читать по специальности, не могло быть и речи, чтение газет тоже было недозволённой роскошью. Единственным резервом времени был сон, который Анна все больше и больше урезывала, чтоб выкроить часок на срочную частную работу.

Нужно было хоть четверть часа урвать березкам сзади барака и одиночеству, иначе Анна чувствовала, что совершенно задохнется в бессмысленной толчее барака и ненужной, неинтересной ей работе.

Это общение с березками было минутами внутренней психической интеграции — медитации, размышления, раздумья — то, что подросток Н. А. Добролюбов очень верно обозначил в своем юношеском дневнике, как ПСИХОТОРИУМ, придумав этот выразительный и верный термин.

Анна убеждалась, что от ее московской жизнерадостности, искренности, энергии, общественной и интеллектуальной активности, которая электризовала все окружающее, ничего не осталось.

Появились апатия и сонливость от постоянного недосыпания и утомления, но дело было не только в этих физиологических процессах. Психика приобрела другой оттенок, а, может быть, даже другую структуру: суровость, замкнутость, жажду одиночества, как следствие, недоверие к людям и болезненную впечатлительность без выражения ее вовне.

«Да, нужно жить, а зачем нужно? Если я даже выживу физически (а я выживу), то захочу ли я жить вообще? — думала Анна, прислонившись к своей любимой плакучей березке и глядя ее нежную кожу. — Да, теперь даже Софи не скажет, что атмосфера вокруг меня состоит из одного кислорода, не разбавленного на 80% азотом и, де, это дает опасные взрывы любви и ненависти около меня, опасные для окружающих!.. Нет, теперь вокруг меня только стопроцентный азот, в котором дышать так же невозможно, как в стопроцентном кислороде...»

13 глава

Наступил 1928 год и Анну Васильевну перевели, как она опасалась и предвидела, в бухгалтерию, при этом в главную, или центральную, бухгалтерию управления. Эта бухгалтерия находилась в том белом трехэтажном доме на пристани, который первый бросился ей в глаза при ее вступлении на соловецкую землю.

Бухгалтерия состояла в основном из трех больших комнат: центральной, большой и светлой комнаты, а от нее налево комната-кабинет начальника финчасти; направо другая большая комната с несколькими столами, один из которых Анна Васильевна и заняла.

В бухгалтерии она была единственной женщиной, но ее смущало не это, а то, что она ровным счетом ничего не смыслила в счетном деле, а главное, чувствовала глубочайшее отвращение к нему.

«Если бы ты была в силу какого-либо рока счетоводом на воле, то за всю свою жизнь ты бы не продвинулась ни на шаг. Так бы и осталась на всю жизнь счетоводом, никогда не став бухгалтером. Ты бы всю жизнь производила впечатление полной идиотки! Висит же такое проклятие над некоторыми людьми, как нелюбимая работа! Ну что ты будешь делать? Вспоминать пошивочную мастерскую и свои художественные петли, как потерянный рай?» — внутренне возмущалась Скрыбина.

Поручили обучать Анну Васильевну счетоводству Алексею Петровичу, сибиряку лет 55, с которым она быстро подружилась, т. к. он вдохновенно и влюбленно рассказывал ей о Сибири.

Анна Васильевна заявила первым делом своему наставнику, что она совершенная тупица и бездарность в области бухгалтерии и никогда не предвидела в своей жизни такого несчастья, как счетная работа. Но Алексей Петрович тоже добродушно и откровенно признался, что никогда не мечтал на воле в Сибири о такой профессии.

— А кем же вы были на воле?

— Я-то? Охотник, промысловый сибирский охотник! Уйдешь из дому на несколько месяцев в тайгу и промышляешь!

— А есть охотничьи избушки в тайге?

— Есть-то они есть, но часто и от них уходишь очень далеко!

Анна Васильевна задумалась, потом спросила, несколько замявшись:

— Скажите, а где и как вы моетесь эти полгода или совсем не моетесь?

— Как же, как же, моемся, моемся! Русский человек не может жить без бани!

Это туземцы не моются всю жизнь, и ничего, здоровые и, между прочим, прекрасные, добрые и честные люди! А у нас, как исстари повелось, гостя угощают первым делом баней. И это понятно: ничего не может быть приятнее после грязной утомительной дороги, как сбросить грязь с себя, помыться и попариться! Ну, и мы устраиваем себе баню в тайге, нет, нет, не в охотничьей избушке, как предполагаете вы, а прямо в лесу, на воздухе, при 40—60 градусах мороза. Это моя охотничья специальность — устраивать баньку в тайге. Слушайте, а не качайте скептически

головой! Итак, выбираю я затишный уголок. Косогоры могут располагаться так, что получается как бы затишная чаша в тайге, а мороз тут ни при чем, пусть будет хоть свыше 50 градусов. Я говорю ребятам: клади длинный, банный костер, вали дерева! И кладем мы два длинных параллельных костра из целых стволов, а потом замыкаем эти два костра третьим, так что получается огромный костер в форме буквы «П». Жара внутри этого костра-П адская, больше, чем в любой деревенской курной бане, и париться можно с полным русским удовольствием!

Заходишь внутрь этой буквы «П» и паришься, и жаришься, хлещешь друг друга березовыми вениками, только снег успевай таять да греть воду! Запаришься до одурения, выбежишь за костер, обкатаешься в снегу и снова париться! А если сделать костер в форме длинного прямоугольника, замкнутого со всех сторон и только с узким проходом, то температура настолько повышается внутри, что ее не выдерживают даже здоровенные сибиряки... Теперь вы понимаете, Анна Васильевна, как можно устраивать баню и париться в ней по-русски на открытом воздухе при морозе в 50 градусов?

Русскому человеку это иногда необходимо: очищает тело и душу! Вот то-то, а вы отнеслись сначала к моим словам с недоверием и скептически, уважаемая Анна Васильевна! — с упреком заметил Алексей Петрович.

Анна Васильевна улыбнулась, прося глазами прощения, и подумала: «Суровое лицо у этого сибиряка, седой, густой ежик волос торчит на голове, и дети у него, я знаю, взрослые, дети, тридцатилетки, ровесники мне, а глаза между тем круглые, ребячьи... как... как... Да, да, как это возможно? На чьи его глаза похожи, никак не могу вспомнить... Ах, да, это же глаза отца Мефодия! Интересно, как это удастся сохранить такие глаза русскому человеку до глубокой старости, пройдя сквозь все страдания и мучительные испытания жизни?»

— Вот вы опять, Анна Васильевна, о чем-то задумались, вероятно, смеетесь надо мной, стариком?!»

— Что вы, Алексей Петрович, я не смеюсь, а, наоборот, считаю вас замечательным сибирским охотником! Я готова слушать охотничьи рассказы без конца, забыв о всякой работе!.. А Сибирь ваша все-таки страшная! Сохрани меня, Боже, попасть туда когда-нибудь в принудительном порядке, а добровольно я туда ни за что сама не поеду!

Замечательно, как тонко и дотошно вы знаете животных! Вы читали, Алексей Петрович, «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» Аксакова? Не читали?! Жаль, тогда не поймете моего комплимента вам: я считаю, что вы могли бы написать «Записки сибирского охотника», которые не уступали бы «Запискам» Аксакова по своему захватывающему интересу! Аксаков писал

приблизительно в середине XIX века, а вы — в XX-м веке. Вот отсидите свою десятку, вернетесь в свою Сибирь, если почувствуете, что зрение и силы сдают для охоты, садитесь и пишите «Записки сибирского охотника»! Вспомните меня, мой совет — садитесь и пишите!

— Ну, какой же я писатель, Анна Васильевна. Вы опять шутите и смеетесь надо мной! А глаза — да, сдают! Вот нацепил в Соловках очки! А какой же охотник в очках? И как же я смогу в Сибири без охоты жить?!

— Напрасно вы так думаете, Алексей Петрович, что я смеюсь. Как охотник, вы лучше ученых можете разрешить важный вопрос о сходстве психики, т. е. сознания человека и животного. Одни ученые считают, что животные так же умны, как человек, а другие — наоборот: человек так же глуп, как животные. Не буду указывать имена этих зоопсихологов и зоологов, приведу только мнение Николая Гавриловича Чернышевского, который считал, что по существу нет никакой качественной разницы между умом Ньютона и курицы, да и в чувствах между ними нет никакой разницы: курица, де, любит своих цыплят так же, как мать — своих детей, а ученый своих учеников. Вы согласны, Алексей Петрович, с Чернышевским?

— Что вы, что вы Анна Васильевна, я, конечно, преклоняюсь перед Чернышевским, но согласиться с ним никак не могу! Конечно, есть животные более умные, другие глупее, но человек — царь природы по уму, воле и чувствам!

При этом Алексей Петрович встал во весь свой высокий рост, выпрямился и торжественно поднял вверх правую руку. Все счетные работники с уважением уставились на его простертую вверх руку.

В это время в бухгалтерию вошел шеф-начальник финчасти Федор Ильич Шульгинов. Это был высокий сильный мужчина с широкими плечами, красноватым лицом, правильными, крупными — тяжелыми — чертами лица и тяжелым, твердым взглядом больших черных глаз. Хотя он был в возрасте Алексея Петровича, но выглядел значительно моложе его, т. к. седина пощадила его темные красивые волосы.

— Как ни открою дверь кабинета, — заметил, улыбаясь, но не без ехидства Шульгинов, — слышу то охотничьи рассказы, то философские рассуждения. Это все женское влияние Анны Васильевны в нашей холостяцкой компании, не так ли?

— Федор Ильич, ведь рабочее время уж давно истекло, и мы задержались на полчаса, чтоб поговорить в неслужебное время по-товарищески друг с другом. Я ведь никого не задерживаю! — заметил Алексей Петрович.

Сотрудники стали подниматься и неохотно расходиться. Сам шеф твердо уселся на стул против Анны Васильевны и так же твердо посмотрел на нее, долго и внимательно.

Анне стало очень неприятно, т. к. она вспомнила несколько бурных бесед с его любовницей, которая осенью 1927 года закончила срок и уехала с последним пароходом на материк.

Это была довольно красивая, высокая, полная женщина лет 35—40 с густыми черными волнистыми волосами и черными глазами. Она была хромой и ходила с одним костылем под мышкой. Первый разговор с ней вызвал у Анны недоумение, второй — раздражение. Начала беседу эта женщина с восторженных похвал внешности Анны.

— Вы женщина в расцвете красоты, какое лицо! Очаровательное, открытое и умное... А фигура бесподобная, пышная и статность чисто русская! Настоящий тип русской красавицы!..

«Странная женщина, — подумала Анна Васильевна, — чего ради она обрушила на меня лавину комплиментов?.. Это бывает среди женщин бестактных, но все-таки эти комплименты переходят все границы... Когда это кончится?» — внутренне рассердилась Анна.

— Но с такой очаровательной внешностью иметь еще такой дерзкий ум и строптивый, занозистый характер, как у вас — это очень пикантно! Поверьте мне, некоторые мужчины это любят! Ваша история в пошивочной мастерской с петлями облетела все Соловки. Все Соловки хохотали, когда вы объявили заведующей, что отказываетесь делать плохие петли на бушлатах заключенных! Ха-ха-ха! Нет, вы очаровательны во всех отношениях!.. Ха-ха-ха!..

«Вот оно что-о-о-о! — подумала Анна. — Это просто соловецкая сплетница! Собрала все сплетни и домыслы обо мне и решила преподнести их мне на блюде под видом комплиментов. Держись, Анна, не взорвись!» — убеждала себя Скрябина, чувствуя, как бешенство все больше одолевает ее.

— Знаете, дорогая Анна Васильевна, таких женщин, как вы, очень любит Федор Ильич Шульгинов, именно женщин с такой пышной комплекцией, как у вас и у меня!..

— Позвольте! — заорала Анна. — Кто такой Федор Ильич Шульгинов? И какое мне дело до того, каких женщин он любит и предпочитает? Что это такое? Разве он уполномочил вас передать мне все, что вы здесь плели? Так, что ли?!

Посетительница схватила свой костыль, выпрямилась во весь свой огромный рост и грозно застучала им о пол, тоже приходя в ярость:

— Вот, правду говорят в Соловках, что вы — дикая женщина, несмотря на все ваше высшее и сверхвысшее образование!.. Я ей говорю такие приятные вещи, что другая женщина совершенно растаяла бы... Да вы мизинца не стоите Федора Ильича! Да, моего Федора Ильича!

Каждое свое утверждение она грозно пристукивала костылем и, наконец, заковыляла к двери...

Анна Васильевна недоуменно обвела глазами стены своей комнаты, посмотрела на своих притихших сожителей и спросила:

— Скажите, пожалуйста, что это за женщина с костылем и зачем она приходила?

— Вы разве не знаете ее, Анна Васильевна?! Это же любовница Федора Ильича, нашего начфина!

— Ну, любовница! А при чем же тут я: я его никогда в глаза не видела, а она мне докладывает, какие женщины ему нравятся!

— Эх, Анна Васильевна, умная вы и ученая женщина, а простых вещей не разумеете! Она пришла вас сватать к своему любовнику, чтоб он, спаси Бог, не остался без бабы!

— Да ну! Вот какие дела творятся у вас в Соловках! Это же совершенно немыслимая вещь!

— Ну, уж такая она добрая баба, что не может оставить своего мужика, не посватав ему подходящую женщину вместо себя!..

Анна все больше и больше хохотала, а с нею и вся камера.

— Но ты имей в виду, Анна Васильевна, — сказала одна пожилая женщина в камере, — она этого дела не бросит, она еще будет ходить к тебе сватать за своего любовника. Когда ты только спускалась с парохода, тебя все оглядели с ног до головы — все мужчины и женщины и сказали: «А эта круглая бабенка будет шульгиновская!» Только теперь она придет не тебя, а его хвалить... Что ж, мужик он ладный, сильный и степенный! И она прожила с ним и за его спиной как у Христа за пазухой эти пять лет! Дай Бог каждой женщине так прожить в Соловках!..

Смех у Анны оборвался, и она подумала: «Боже мой! Совсем, как в Америку привозили женщин в ссылку в XVI, XVII веках и позже и распределяли их тут же на берегу! Да зачем так далеко ходить? Возьмем “Остров Сахалин” Чехова, разве не то же самое было у нас в конце XIX века на этом острове ссылки?! Если ссылали дочь и старуху мать, то, по Чехову (я не имею оснований не верить Антону Павловичу Чехову!), обе они должны были в принудительном порядке выйти замуж!

Любовница начфина приходила к Анне Скрябиной еще несколько раз и, действительно, хвалила его, как может хвалить только завзятая сваха и влюбленная, благодарная женщина... Анна слушала теперь ее иронически, но мягко, даже с любопытством. От нее Анна Васильевна узнала, что Ф. И. Шульгинов, старый социал-революционер, многократно осужденный и сидевший при царизме, был

в ссылке на Сахалине, а теперь при большевиках — на Соловках! Человек, де, очень интересный и культурный, и «вы будете у него как у Христа за пазухой! Дай Бог каждой женщине прожить так хорошо и спокойно пять лет в Соловках, как я с ним...» и т. д. и т. п...

Хотя прошло несколько недель, как Анна Васильевна работала в финотделе СЛОНа (Соловецкие лагеря особого назначения), но это было впервые, что она так близко и вплотную столкнулась с начальником финотдела. До этого он, проходя через комнату, приветливо здоровался с Анной Васильевной, вызывал то одного, то другого сотрудника, что-то они ему докладывали, а Анна Васильевна «проходила школу».

Скрябина, занимая самое скромное положение на служебной лестнице, не приходила в контакт с шефом и была этому очень рада.

Теперь же начфин Шульгинов, прочно усевшись на стул, иронически говорил:

— Да, да, часто, открывая дверь своего кабинета во внеслужебное время — в перерыве или, как сегодня, после окончания занятий, я слышу охотничьи рассказы, характеристики животных, рассказы об их психологии...

Почему вас это интересует, молодую, культурную женщину? Если вас это, действительно, интересует, то позвольте мне представиться вам, как старому и опытному охотнику не только сибирскому, как Алексей Петрович, но и сахалинскому...

— Да, вы были на Сахалине? Это очень интересно, и я бы хотела послушать о Сахалине от очевидца и бывалого сахалинского ссыльного!

А на первый ваш удивленный вопрос отвечу: каждая область опыта, недоступная для человека по той или другой причине, особенно его интересует. Например, я Сибири и Сахалина не знаю; знаю последний только по произведению А. П. Чехова — «Остров Сахалин».

Сибирь и Сахалин по личному опыту я так же не знаю, как... как, например, Африку. Поэтому я с таким захватывающим интересом читала записки Давида Ливингстона, великого английского путешественника, об Африке и ее жителях. Исключительно интересно об Африке!

А эти огромные области — Сибирь и Сахалин — ведь части нашей Родины! Что же касается зоопсихологии, то она меня интересует как психолога по образованию. По-моему, зоопсихология должна интересовать каждого культурного человека хотя бы потому, что Александр Иванович Герцен, один из величайших умов России, считал, что зоопсихология является преддверием — предысторией — человеческой психологии и вливается в человечество, как венозная кровь, очищаясь в историческом процессе, течет потом чистой артериальной кровью в наших артериях. Вы, конечно,

понимаете, Федор Ильич, что я не дословно привожу в разговоре с вами это замечательное положение Герцена — основу его психологии и философии, но вы и так видите, что в свободном изложении этой цитаты я недалеко ухожу от истины! Правда?

— Да, совершенно верно! Вы правильно передаете ее смысл. Я очень высоко ценю Герцена! Ведь, я — социал-революционер. А в отношении Чернышевского... я открыл дверь случайно и слышал, как вы иронически приводили его утверждение, что, де, ум Ньютона качественно ничем не отличается от ума курицы, это, конечно, вздор! Насколько я помню, он проводит такой, с позволения оказать, «монизм» в своей статье «Критика философских предубеждений против общинного владения»?

— Да, так, товарищ социал-революционер! Вам, как говорят, и книги в руки. Ведь Чернышевский, кажется, ваш законоучитель, а эта статья — ваше евангелие?

— Видите, Анна Васильевна, мы берем его социологические идеи, а философия монизма, где он договаривается со своим Льюисом до... до... абсурда, нас, меня — во всяком случае, мало интересует. Я плохой философ и психолог!.. А чем я могу быть вам полезен и интересен, как сахалинец и охотник?

Алексей Петрович, до сих пор слушавший этот непонятный ему разговор с безнадежным и тоскливым лицом, теперь встрепенулся и взглянул на Анну Васильевну своими круглыми добрыми глазами.

— Скажите, товарищи-охотники, приходилось ли вам наблюдать в мире животных случаи самоубийства среди них?

Может быть, мой вопрос кажется вам очень странным, но я прошу вас проверить свои охотничьи наблюдения и ответить на мой вопрос вдумчиво и обоснованно. Сейчас не надо отвечать! Отложим решение этого вопроса на будущее. Но только, ради Бога, не приводите мне пример из литературы о скорпионе: де, скорпион в огненном кольце вонзает в свое тело хвостовое острие с ядом и погибает от самоотравления.

Во-первых, это литературный пример, а не из вашего личного опыта. Во-вторых, я верю этому и признаю, что это самоубийство, но я хочу знать, есть ли самоубийство у животных на основе далекого предвидения своего трагического положения. Скорпион прямо видит, а не предвидит, что его вот-вот настигнет огонь и неизбежно сожжет, поэтому он вводит в свой организм свой же яд и погибает на несколько минут раньше, чем его коснется огонь. Конечно, скорпион кончает жизнь самоубийством от отчаяния и безысходности своего положения. А разве люди не от отчаяния кончают жизнь самоубийством? Меня интересует другое: как далеко вперед смотрит и оценивает свое тяжелое положение человек и животное?

— Ну, знаете, Анна Васильевна, это совсем нездоровая фиксация ваших интересов на самоубийстве животных! Зачем вам это нужно? Чистейшая патология у молодой, цветущей, красивой женщины! — болезненно поморщился Шульгинов. — Я, как охотник и знаток животных, утверждаю, что нет самоубийства среди животных и среди людей, сильных и цельных, как животное. И сомневаюсь, что скорпион кончает жизнь самоубийством. Мало ли что пишут, а я этого не видел и не проводил такого эксперимента! Вы утверждаете, что этот вопрос представляет научный и философский интерес, а я этого не нахожу. Повторяю — чистейшая патология!.. Вы что хотите доказать этим фактом? Что существует какой-то мост между человеком и животным, раз они оба способны на самоубийство? — говорил Шульгинов, все более и более приходя в возбуждение и почти гнев. — Не катитесь ли вы обратно к Чернышевскому с его курицей и Ньютоном, как равнозначными величинами?!

— Нет, не качусь и не хочу доказывать тождество человека и животного, даже если в прошлом у нас единые корни с ним. Но в настоящем только человек творит язык, искусство, свою историю и науку, и ни одно животное в мире даже близко не подходит к этому творчеству!

Здесь Анна Васильевна вдруг остановила свой порыв и мягко спросила опять замкнувшегося в себе Алексея Петровича:

— А вы, Алексей Петрович, что думаете, как охотник, о самоубийстве животных?

— Мне кажется, что я встречал, Анна Васильевна, факты самоубийства животных. Но вы дали ведь время на размышление и оценку этих фактов, вот я этим и воспользуюсь! А сейчас пойду в барак отдыхать!

— Да, да, — подтвердила Анна Васильевна, — мы очень задержались после работы, но я вам обоим очень благодарна за интересную беседу. Пора нам всем по домам!

И, пожав сердечно руки обоим своим собеседникам, Анна первая вышла из бухгалтерии. Был поздний вечер, небо было покрыто звездами.

Анна вдохнула морозный воздух, и радость бытия стала робко пробиваться сквозь многомесячную душевную скованность.

Вдали светились огни женского барака, но они не призывали ее к отдыху: «Вот бы пойти в противоположную сторону от барака по широкому тракту с певучими столбами, идти и идти глубоко в лес. Как жаль, что я не хожу на лыжах! А если бы и ходила, что это сейчас тебе дало бы, раз здесь нельзя воспользоваться лыжами?!»

Затем мысли Анны обратились к состоявшейся беседе, и она должна была признаться: «Я даже не предполагала, что можно так интересно беседовать в Соловках! Да, я никогда не покончу жизнь самоубийством. Что значит безысходность? И при безысходности ищи выхода! Разве у Евгения была такая же ситуация, как у скорпиона в огненном кольце? Физически нет, не такая ситуация! Он был рядовой солдат Белой армии, мальчишка 19 лет, не монархист, потомственный интеллигент, но главное, очень талантливый человек! Разве для него круг жизни был так трагически и безысходно замкнут, как... у тарантула в огненном кольце... как у белого полковника барона Бильдерлинга, который сидел в соседней камере рядом со мной в 1920 году и сказал на допросе: “Я монархистом жил, монархистом и умру”. Сказал и этим подписал свой смертный приговор, оставляя в жизни красавицу жену и пять душ маленьких детей. Если он честный человек и убежденный монархист, у него другого выхода не было! Но Евгений! Я никогда в жизни не оправдаю и не примирюсь с его самоубийством.

Так же я никогда не оправдаю и не примирюсь с самоубийством Александра Николаевича Радищева, потому что он близкий мне по духу человек! Нет, нет! Не примирюсь, хотя прошло уже 125 лет со дня его самоубийства! Он, мертвый, ближе мне живых, и поэтому его самоубийство ранит мое сердце, как только я подумаю о нем. И как это возможно? Безумная смелость вначале и такой противоречащий конец!

А вот скорпиону я аплодирую от всего сердца при его самоубийстве в огненном кольце! Ну разве я могла объяснить этому начфину, почему меня так интересует вопрос о самоубийстве животных и людей!.. Как собеседник он интересен, особенно когда рассказывает о Сахалине! Ну, а все другое — это уж простите! Впрочем, может быть, он совсем ничего не знает и не участвовал в затее о сватовстве меня — тем лучше! Словом, чтобы поставить непроходимую стену между нами, его хромая любовница ничего не могла придумать лучше, чем это сватовство! Что ее побуждало — любовь, благодарность или еще что-либо другое? Во всяком случае, это для меня непостижимо! Я бы не могла так действовать. Поэтому, я так откровенно издевалась над ней, говоря: «Что же он у вас такой застенчивый мальчик, что не сможет найти себе женщину без вашей помощи?..»

Соловецкие нравы мне очень напоминают придворные: там тоже принято было, что жена-императрица подсовывала мужу-царю в официальные любовницы своих избранниц. А официальная любовница таким же образом подсовывала своему высокому любовнику также своих избранниц для случайных и мимолетных

удовольствий. Это понятно: и императрица, и официальная любовница императора укрепляли таким образом свои позиции при дворе, — думала Анна, — но вы, уважаемая, покидаете соловецкий двор, какая у вас может быть забота?»

А вслух Анна говорила ей иронически:

— Я монашеских обетов не давала, но могу вас уверить, что буду жить с тем мужчиной, который мне понравится, а понравится ли мне ваш начфин — я не знаю, т. к. ни разу его не видела...

Теперь, идя в барак, Анна Васильевна улыбнулась и твердо сказала себе:

— Нет, Федор Ильич Шульгинов никогда моим любовником не будет: он мне не нравится как мужчина, хотя красив и интересен. И баста! Нечего думать, был ли у него заговор с его отъезжающей любовницей или нет. И хорошо, что он несколько недель, как я работаю под его руководством, не ухаживал за мной! А сегодняшняя беседа — просто интересная, культурная, товарищеская беседа! И я буду рада, если наши отношения сложатся в этом стиле и дальше!

Тихонько идя по дороге, домой в барак, Анна снова глубоко вздохнула, зажмурила на миг глаза и улыбнулась, спрашивая себя:

— А не кажется ли тебе, глубокоуважаемая Анна Васильевна, что тебе нравится один молодой красивый мужчина, с которым ты, правда, ни разу не говорила, но два раза встретила взглядом, и вы так погрузились друг в друга взором, что трудно было отвести глаза друг от друга. Он, кажется, оба раза хотел что-то спросить или сказать, но так и не спросил... Или мне это только показалось? А, может быть, он на всех женщин так смотрит?

В Соловках это не диво!..

Вот и барак, дежурный постовой вышел из будки, взял индивидуальный пропуск Анны Васильевны, внимательно посмотрел его и заметил:

— Вот и у вас теперь личный пропуск. Правда, это значительно удобней и облегчает жизнь?

— Да, конечно, — ответила Анна, — но ведь гулять с ним нельзя?! А так хочется в лес, даже теперь, зимой, а скоро весна, и захочется еще больше!

Хотя постовой был значительно моложе Анны, лет 20 с небольшим, но он посмотрел на нее, как на глупенькую девчонку: это делают, но об этом не говорят! А пропуск Скрыбина получила последней из всего этапа.

Анна Васильевна прошла в калитку и, взглянув еще раз на небо, решила погулять четверть часа в саду за баракком. Было тихо и безлюдно, деревья стояли покрытые пушистым снегом, и вверху мерцали крупные звезды, тоже как будто пушистые, с длинными золотыми ресницами.

Как хорошо, что существует мир, космос, и люди всегда это видели и чувствовали! Да, человек — мошка, пылинка по сравнению с ними, и в то же время сознание человека ставит его рядом с космосом, если не выше! И Анна снова повторила стихи Платона, как свою вечернюю молитву:

На звезды смотрю я, звезда моя светлая!

О, быть бы мне небом!

В широких объятьях тебя бы держать

И тобой любоваться в безмолвном сиянии мириадами глаз!

Так сказал больше двух тысячелетий тому назад философ-поэт Платон, а перевел эти изумительные стихи философ-поэт Владимир Сергеевич Соловьев!

И Платон, и Владимир Соловьев — оба отъявленные идеалисты, а быть отъявленным идеалистом хуже по нынешним временам, чем быть отъявленным мошенником! И сколько ни рычат против них непогрешимые материалисты, а все-таки прекрасное остается прекрасным и вечным, и в такую сияющую снегами ночь как-то теплее, радостней и человечней опереться на плечо идеалистов, заблуждающихся, нежных и грешных, чем на холодное плечо безгрешных, рычащих материалистов, вроде Демьяна Бедного и Владимира Маяковского, который, впрочем, и сам не выдержал — застрелился!

Бедный друг! Утомил тебя путь и усталые ноги болят!

Так войди же ко мне отдохнуть; догорая, темнеет закат.

*Не спрошу и тебя, где была и откуда идешь, только к сердцу
прижму я любя!*

Ты покой в моем сердце найдешь!

Смерть и Время царят на земле. Ты владыками их не зови!

Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви!¹⁴

Владимир Соловьев

Да, это старомодно, но ведь и я сама старомодна! Помни, Анна, помни! Пройдет еще немного десятилетий, нет, не десятилетий, а лет, и никто не вспомнит старомодных стихов Платона и Владимира Соловьева, забудут лирику Тютчева и Фета! Их книги и труды о них исчезнут в Советском Союзе, и даже их имена забудутся...

Будут рычать с эстрады стихи Демьяна Бедного-Придворова (как обыграл в своей эпиграмме его настоящую фамилию Сергей Есенин), да Владимира Маяковского, пока им самим не станет тошно... до самоубийства!.. Правда, моя березка?! И Анна подошла вплотную к своей любимице, обняла ее и нарочно потрясла, чтоб почувствовать падающий с нее снежок на поднятом вверх лице.

¹⁴ Стихотворение «Бедный друг» Вл. Соловьева.

Вот что я сделаю, решила Анна, пойду завтра после работы в кремлевский ларек и снова встречу глазами с ним. Поскольку он кассир в этом ларьке и выписывает талоны на оплаченный товар, то встретиться с ним очень просто! Кстати, куплю себе туалетного мыла и зубной пасты. Посмотрим, что он мне скажет! Или по-прежнему будет неотрывно смотреть на меня и молчать?!

Анна, радостная и успокоенная, вошла в барак.

14 глава

На следующий день Анна Васильевна быстро оделась после работы в свои соловецкие доспехи, боясь, что ее может кто-нибудь задержать.

В тревоге шла она в кремлевский ларек за покупками. Ларек был значительно меньше, чем управленческий «Мюр и Мюрилиз», который находился в полуподвальном этаже под финотделом. Это был большой магазин с богатым ассортиментом продуктовых и промышленных товаров, которым мог позавидовать любой магазин в большом районном центре на материке. А к концу 20-х годов, когда повсеместно на материке усиливался голод в связи со сплошной коллективизацией, на Соловках было хорошее снабжение после расстрела прежнего начальника лагеря, который создавал искусственный голод. Соловецкий «Мюр и Мюрилиз» был завален при новом начальнике продовольствием и промтоварами; вопрос стоял только в деньгах, как их заработать в Соловках, а заработать их в Соловках было очень трудно. О воле заключенные знали только по письмам от родных.

Устраивал заключенных «Мюр и Мюрилиз» и как прекрасное место мимолетных свиданий. В самом магазине можно было поговорить и условиться о своих личных делах и о дальнейших свиданиях. Выйдя из магазина, можно было немного погулять (немного, чтоб не бросалось в глаза) и поболтать в коридоре перед магазином.

Коридор представлял собой огромный длинный подвал такого же типа, как подвал отца Мефодия. В этот подвал выходили огромные, массивные двери с большими висячими замками в другие помещения подвала, где хранились запасы товаров на многие годы. Этот длинный подвальный «пассаж» играл такую же роль прогулочных коридоров, как в московских и ленинградских «пассажах». Это французское слово почти исчезло теперь из русского языка: от французского слова пассаж — проход, переход, проезд. Но в 20-х годах это слово сохраняло еще свое частое употребление в русском языке, как в XIX веке.

Итак, соловецкий пассаж был местом свиданий не только любовников, но здесь завязывались знакомства, деловые связи, происходил обмен новостями и живая циркуляция сплетен.

Нет, Анна Васильевна не спустилась в любимый всеми «пассаж», оттуда в «Мюр и Мюрилиз». Она пошла в кремлевский ларек. Там, в стеклянной будочке, как в настоящем магазине, сидел молодой мужчина, который ей нравился и который хотел, она была в этом убеждена, что-то ей сказать.

Как только Анна вошла в ларек, глаза его засияли и впились в ее зрачки. Он знал, когда Анна подойдет к кассе платить деньги, нагнулся в окошко кассы и прошептал: «Я так боялся, что никогда вас больше не увижу, что вы никогда не зайдете в ларек, а будете всегда пользоваться только большим магазином. Умоляю вас, заходите хоть изредка в ларек!» — Анна утвердительно кивнула головой и прошептала: «Хорошо».

— Я давно хотел вас спросить: не разрешите ли вы прислать вам билет в кино?

Анна задумалась и внимательно посмотрела на него. Он вспыхнул и опустил глаза. Анна уже знала, что по соловецким понятиям это равносильно помолвке, а кино — соловецкий загс, с очень строгим кодексом верности, эта традиция настолько почиталась в Соловках, что считалось бестактным отнимать у обрученной пары хотя бы минуту драгоценного времени общения их между собой. Поклонись и проходи мимо! Не мешай им! Иначе ты — дубина, бревно, ну просто негодяй! Разве ты не понимаешь, что им не до тебя?!

Хотя и на воле многие серьезные отношения начинаются и развиваются в кино, но все же на воле посещение вдвоем кино ни к чему не обязывает, а вот в Соловках это — публичная помолвка и общественное признание брака! Поэтому Анна так глубоко задумалась над его вопросом, а он так смутился и покраснел. Наконец, Анна прошептала:

— Хорошо! Пришлите билет! А как вы пришлете?

— Это легко! С любой женщиной, что живет с вами в камере, а я их всех знаю! Да какую бы женщину я ни попросил из вашего барака передать вам билет — передаст! — и он благодарно и радостно взглянул на Анну. Безукоризненная передача билетов и записок была тоже священной соловецкой традицией, впрочем, это — традиция каждой тюрьмы!

Анна шла домой взволнованная, радостная, с недоумением и тревогой в душе: «Неужели это любовь?! Нет, этого не может быть! Я его совсем не знаю, мне он просто нравится своей внешностью... Неужели любовь может настичь тебя, Анна, в Соловках? А почему нет?!

Любовь везде может настичь человека, везде! В Соловках, в тюрьме, дорогой на каторгу («Воскресение!»), дорогой на плаху (Стендаль, «Красное и черное»)! Вообще любовь дорогой на эшафот — основная тема творчества Стендаля, моего любимого французского писателя!.. Он тоже, голубчик, попался!

Между тем мы совершенно не подходим друг другу! В этом я уверена. Зачем судьба подсунула ему такую трудную, волевою и суровую женщину, как ты? Право, жаль его!

Сидел бы себе в кино и чирикал бы с какой-нибудь добродушной полукультурной женщиной! Но произошло совершенно невероятное: он избрал меня! А, может быть, не избрал, а ему просто нужна женщина? Нужна женщина, нужен мужчина!.. Но почему же при этой общей биологической нужде выбор падает именно на ту, а не на другую женщину, на этого, а не на другого мужчину? Почти такая же избирательность господствует и в мире животных, которые живут парно!..»

Нудная работа с разносной счетов и авизо по дебету и кредиту продолжалась изо дня в день, изнуряя Анну Васильевну. Скука и отвращение к счетной работе оковывали Анну, лишая ее бодрости и умственной энергии, которая обычно ее никогда не покидала.

Ее несколько развлек доклад Алексея Петровича о самоубийстве животных.

— Да, Анна Васильевна, есть у нас в степных районах Сибири небольшой зверек из породы грызунов, вроде европейского суслика. Обычно он делает большие запасы зерна под землей, устраивает для этой цели целые лабиринты подвалов и заполняет их отборным, первосортным зерном.

Нет, плохое зерно он не потащит в свои закрома, подай ему только зерно высшего сорта, конечно, это разорение! Раньше мы на это не обращали внимания, пусть грабит наши поля, нам все равно достаточно остается. А с 20-х годов, когда и нас коснулся голод, я решил их раскулачивать! Возьму своих взрослых ребят, вооружусь лопатами и заступами — и пошли в поле! И знаете, много набирали прекрасного зерна, когда вскрывали их амбары-лабиринты. Потом я стал ставить на этих местах свои знаки из любопытства. Посмотреть, а что я найду в этих местах через месяц! Уйдут они или останутся на этих местах глубокой осенью! И оказалось, что эти зверки принимались спешно восстанавливать свои амбары и спешно их набивать плохим зерном не только пшеницы, но каким придется, лишь бы не умереть зимой с голодухи. Ну совсем как люди набивают свое брюхо во время голода, чем придется, грубым, малосъедобным суррогатом! Я решил брать их измором, уничтожать голодом. Снова приказываю своим ребятам набивать мешки этим продовольственным хламом, чтобы посмотреть, что они будут делать дальше. Впрочем, и это зерно пригодилось в хозяйстве для домашнего скота. А дальше, после второго разорения, они кончали жизнь самоубийством, потому что не могли ничего больше запасти на зиму!

Анна слушала, затаив дыхание и не спуская глаз с Алексея Петровича, боясь проронить слово.

— Когда я снова в третий раз приходил на эти же места перед снегопадом, то их продовольственные амбары оставались раскрытыми, как я их оставил... Собрать было уже нечего, и зверки качались повешенными. Это, конечно, страшно жестоко, и совесть меня мучила, но борьба за жизнь есть борьба!

— Позвольте, Алексей Петрович, но как же они вешались? Конечно, положение у этих зверьков было безысходное, и они это сознавали... но как сознавали?! То ли своим умишком предвидели гибель зимой от голода, то ли инстинктивно это предчувствовали... Но как же они вешались?

— А так, ищет такой зверек развилок сухого растения, бросается на него горлышком и задыхается! Я считаю такое поведение самоубийством, а вы, Анна Васильевна?

— А нет ли в данном случае чисто случайных явлений? Не попадал ли зверек нечаянно в рогатку сухого растения, повисал шеей на ней и не мог высвободиться?

— Нет, Анна Васильевна, развилок растения, или, как вы правильно называете, рогатка, стоит довольно высоко над землей, и случайно туда зверек не может попасть! Для этого ему нужно высоко прыгнуть с разбега и повиснуть — сознательно повиснуть! Повеситься!

Это, во-первых. Во-вторых, почему я таких животных-висельников не наблюдал в конце лета и в начале осени, даже после первого разгрома их кладовок, когда зверек еще может собрать что-нибудь про запас на зиму, а только глубокой осенью близ вторично разоренных амбаров, когда они понимают, что обречены зимой на голодную мучительную смерть... Как они это предвидят? Вы часто употребляете это выражение — «самоубийство на основе предвидения», я тоже не знаю: то ли инстинктивно, то ли своим маленьким умишком, но предвидят!

Сотрудники разошлись, и они беседовали вдвоем, в это время дверь из кабинета Шульгинова открылась, и вышел Федор Ильич, он схватился за голову и насмешливо завопил:

— Опять диспут о самоубийстве людей и животных. Вы бы лучше вели диспут о жизни, а не о смерти и самоубийстве! Ну, смотрите, Анна Васильевна, если кто-либо повесится в Соловках, инспиратором будете вы, только вы!

Потом он шутиливо патетически хлопнул себя по лбу и изрек:

— Да, могу сообщить вам отрадный факт, примите это как лепту в ваш диспут: я старый соловчанин, а ни одного случая самоубийства у нас не было! А мало ли у нас лесу, выбирай любое дерево и вешайся, так нет, не вешаются!

— А на Сахалине? — спросила Анна.

— И на Сахалине тоже! Вообще, по-моему, на воле больше самоубийств! Там более рыхлый народ! Малейшее горе или разочарование, и готов! А тут чего

только не видишь, чего только не наблюдаешь, а в душе живет мощная надежда!
Да, надежда!

И Шульгинов, став во весь свой мощный рост, распрямив плечи и подняв гордо голову, продекламировал:

*Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора...
Темницы рухнут — и свобода
Нас примет радостно у входа,
И братья меч НАМ отдадут!*¹⁵

Да, НАМ. В этот момент Шульгинов был эффектен, красив и величествен:

— Нет, черта с два! Не повешусь и вам не советую думать об этом.

— Да, Федор Ильич, — запротестовал Алексей Петрович, — кто же думает об этом?! И в мыслях этого ни у кого не было!..

Шульгинов повернулся к Анне Васильевне и, глядя ей прямо в глаза, сказал:

— А сейчас, Анна Васильевна, зайдите ко мне на минутку в кабинет.

Анна с тревогой вошла в кабинет и начала бессознательно ориентироваться: да, прекрасная комната, светлая, чистая и уютная, дай Бог на воле такой кабинет каждому начальнику. А вот диван вдоль стены до неприличия широк, ну прямо софа Екатерины Второй, как я видела ее интимную обстановку в Екатерининском дворце в Ленинграде. Впрочем, он, вероятно, и ночует в своем кабинете на этом диване. А вот и другая дверь — в коридор, прямо против его огромного массивного письменного стола, а дверь в бухгалтерию — сбоку его стола. В случае чего ты, Анна, улепетывая через дверь в коридор! Там больше шансов встретить людей!

А дверью в бухгалтерию не пользуйся! Там после работы пустота, и этот медведь сразу тебя там настигнет!.. Ну что за гнусные мысли у тебя?! Откуда и почему они у тебя возникают?

То ли его уехавшая хромая любовница так тебя против него вооружила, а он, может быть, ни сном, ни духом и ничего не знает о ее болтовне!

То ли тебя предостерегает его екатерининский диван, наглый, вызывающий и неуместный?! Ну, осторожность с этим сильным, чувственным медведем уместна и нечего разыгрывать наивную девочку!

— Что вы, Анна Васильевна, так подозрительно осматриваете мой кабинет? — проницательно усмехнулся Шульгинов, как бы догадываясь о мыслях, овладевших Анной.

¹⁵ Строки из стихотворения «Во глубине сибирских руд...» А. С. Пушкина.

— Не подозрительно, я им просто люблюсь: давно не видела такой прекрасной комнаты и так хорошо обставленной!

— Да, да, я здесь и живу, и работаю, и читаю! — Шульгинов подошел к одному солидному дорогому шкафу, распахнул дверцы и показал рукой:

— Вот моя личная библиотека! Вот полное собрание Герцена в 22 томах под редакцией Лемке. Я заметил, что вы очень любите Герцена!

— Да как же не любить Александра Ивановича Герцена?! Я больше всех из наших революционных демократов люблю Герцена и Добролюбова.

— Вот Добролюбов, вот Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин! Вот Достоевский!.. Да, Анна Васильевна, можете пользоваться моей личной библиотекой, как вам угодно и когда угодно!

— Благодарю, но мне не удастся ничего читать в течение пяти лет. Я должна жить на частных заказах и... одичать за это время. Ведь для этой цели и строятся лагеря? Все-таки не сегодня, а позже я попрошу у вас «Записки из мертвого дома» Достоевского, хочу перечитать!

— Пожалуйста, берите, что угодно! Садитесь, где вам удобно, хотя бы на диван!

— Нет, разрешите мне сесть на стул у вашего письменного стола. Я вам благодарна, Федор Ильич, что вы рассказали мне недавно о «матриархате» — о полиандрии на Сахалине в конце XIX и начале XX века. Значит, вы находите, что Чехов недостаточно полно и верно осветил положение ссыльных на нашем Сахалине, так сказать, невольно смягчил экономическую и особенно моральную ситуацию ссыльных?

— Безусловно! Да Чехов и не мог при беглом заезде на Сахалин изучить все детали быта, морали и обычаев сахалинцев! Для этого нужно прожить годы в самой гуще ссыльных! Будьте уверены, Анна Васильевна, что я не сгустил краски, чтоб пощекотать нежные нервы дамы! Я говорил вам правду, а для чего — я сам не знаю!

Анна Васильевна задумалась, потом взглянула на стенные и на свои ручные часы (в Соловках разрешали заключенным носить свои часы — их не отбирали) и спросила:

— Вы вызывали меня, Федор Ильич, по служебному вопросу? Я знаю, что я — плохой счетовод, и вы имеете все основания быть недовольным моей работой!

— Нет, почему же?! От вашего ближайшего шефа и учителя Алексея Петровича никаких жалоб на вас не поступало. Разрешите мне вполне благожелательно задать вам один вопрос: как вы решили жить на Соловках? Этот вопрос я задаю вам, как друг, если вы разрешите мне так себя назвать. К тому же я старше вас и опытней по своему жизненному стажу. Я знаю не только Сахалин, но что собой представляют и Соловки!

— Спасибо, Федор Ильич, за вашу благожелательность! Я твердо решила жить в Соловках по принципу горничной Лизы — Грибоедова «Горе от ума».

— А именно? — спросил Шульгинов, и брови его предостерегающе сдвинулись.

— Так! «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»

— Ах, вы вот какая?! — и глаза Шульгинова гневно и упорно впились в зрачки Анны.

— Да, я вот такая! — Анна Васильевна, не опуская своего взора под напором его бешеных и страстных глаз, медленно встала и сказала:

— Прощайте! Уже поздно!

Затем, не подавая руки, направилась к двери, выходящей в коридор, как решила заранее.

Шульгинов мрачно и гневно смотрел Анне в спину, и от этого взгляда у нее пробегали мурашки по спине.

Идя домой, Анна нервничала: «Ну, что он сможет сделать с тобой? Только снять с работы! Ну, черт с ней, с этой работой! Пойду опять петли метать! Конечно, приятно, и я уже привыкла ходить по индивидуальному пропуску, но ничего не поделаешь! Собственно, пока ты не можешь ни в чем его упрекнуть. Ты даже должна признать, что его пятилетняя связь с этой хромоногой толстухой по продолжительности не уступает, а, может быть, превосходит среднюю продолжительность брака на воле. И потом в нем подкупает то, что он не придавал значения внешнему недостатку — инвалидности своей сожительницы. Это на воле тоже не часто встретишь. Он мог за эти пять лет подыскать женщину и моложе, и красивее ее. Нет, я не могу его ни в чем упрекнуть, кроме того, что часто уже повторялось в моей жизненной судьбе! А, может быть, это повторяется часто в судьбе каждого человека — мужчины и женщины: кого любишь, тот тебя не любит, а кого не любишь, тот в тебя влюбляется и с ума сходит по тебе!

Ты разве забыла, как 12—13 лет тому назад, когда тебе было 18 лет, ты влюбилась на первом курсе в студента, лет на пятнадцать старше тебя, кончающего курс? Ты видела, что он тебя не любит, но ценит твои беседы с ним, считая тебя умной, культурной девушкой. А, может быть, он, Дмитрий, любил как раз глупую девушку! Что ты сделала? Через год такой пытки и внутренних страданий ты написала ему письмо: «Я вас люблю, а вы меня нет! Я знаю, что вы меня уважаете и цените умственное общение со мной, но мне тяжело вас видеть и прошу больше ко мне не приходить. Так я скорей вас забуду!»

С Дмитрием после этого ты ни разу не встретилась в жизни, а мучилась воспоминаниями о нем целых пять лет, хотя ни одного поцелуя у вас не было. Как бы ты, зрелая тридцатилетняя женщина, поступила теперь? Совершенно так же,

как тогда! И вот что странно: незавершенная любовь имеет над тобой непреодолимую силу и власть в течение пяти лет и больше, а завершенная — теряет все обаяние и власть очень скоро. Разве это естественно?! Какой-то чувственный разврат при физической сдержанности и неприкасаемости!

Эту неприкасаемость лучше всего выразил Достоевский в своей «Кроткой»... Не люблю — не прикасайся! При этом никакие доводы разума, никакая легализация интимных отношений государством и Церковью (а «кроткая» была ведь религиозной женщиной!) — ничто в мире не может помочь и снять эту неприкасаемость, когда нет любви...

Я брошусь в море, если этот медведь Шульгинов ко мне прикоснется! Я так хорошо понимаю «Кроткую», хотя я совсем не кроткая, а бешеная женщина — ведьма! Интересно знать, а мужчины тоже испытывают эту неприкасаемость, когда нет любви?! Вероятно, нет! Иначе дома терпимости были бы очень убыточными предприятиями!..

Предчувствия мне говорят, что дело с медведем кончится у меня очень плохо! А я бы хотела взять у него из библиотеки и перечитать «Кроткую» и «Записки из мертвого дома», но предчувствую, не успею — разразится катастрофа!

У меня такая дикая настороженность и предубеждение против медведя, что даже мелькает мысль, что он о сахалинском «матриархате» рассказывал мне с целью психической обработки меня — для ослабления моей воли путем депрессии! На самом деле, мыслимо ли, чтоб в одной хате на Сахалине жило человек 7—10 мужчин и одна старая постоянно пьяная баба, которая командует ими за право провести с нею ночь на печи раз в неделю по очереди?! Разве такое разложение мыслимо в наш «просвещенный» век?! А почему нет? Ведь существует же проституция во всем мире, в том числе и в Советском Союзе, хотя с ней ласково и нежно борются у нас, давая три года Соловков, чтоб они развратничали здесь еще больше и набивали добром свои чемоданы!

Приравняй сахалинский «матриархат», или полиандрию, к проституции, а эту сахалинскую хату — к дому терпимости! Вот и получается то на то, и нечего здесь возмущаться!

Французская Кайенна, Америка XVII века, царский Сахалин или советские Соловки — разница небольшая?! Нет, большая! В Америке в то время боролись за право обладания какой-либо одной женщиной, боролись насмерть с оружием в руках! Так же борются насмерть за право обладания самкой два лося, два лебедя, два глухаря... В этом есть биологическая целесообразность, цельность... и красота! А это, что за гадость?! Молодые, здоровые мужчины мирно делят ложе-печь с отвратительной старой бабой, которая ничего не делает для этой

небольшой артели: не стирает, не обшивает, даже не готовит на всю избу, а только пьянствует с утра до ночи и развратничает!

Если мораль человека спускается ниже биологического уровня — это страшно и опасно!

Вот вам и пенитенциарная система начала XX-го века, так это, кажется, называется в криминалистике от французского слова «пенитано» — наказание, ка-торга; или пенитенциер — исправленный...»

Анна вошла в барак. Навстречу ей опускалась по лестнице в кухню с чайником в руках Софья Федоровна. Как всегда, внимательно и приметливо посмотрела Анне в лицо и спросила:

— Что с вами, Аннет, вы мне сегодня не нравитесь! Сейчас попьем чайку, и, может быть, ваше настроение исправится, а за чайком и поговорим! Ладно?

— Не знаю, Софи, в камере этого по-русски не скажешь! А по-французски, во-первых, я забываю язык, мы с вами неделями не разговариваем по-французски, встречаемся урывками, наспех, хотя и живем в одной комнате. Я дичаю. А, во-вторых, мысли и переживания настолько усложняются, что я не могла бы их выразить по-французски, даже в лучшую пору общения с вами на этом языке — на юге!

— Да, Аннет, я тоже начинаю испытывать задержки и медлительность мышления по-французски, хотя очень люблю этот язык, и это мой университетский язык по Лозанне. Ну, что ж, Аннет, напьемся чайку и выйдем погулять в нашем коридоре!

Широкий коридор, довольно скупо освещенный тремя лампочками в середине и по концам его, был, действительно, местом прогулок, душевных бесед, признаний и даже молитв: нередко по нему шагали темные фигуры религиозных женщин: они что-то шептали и перебирали четки.

Установилась хорошая традиция не шуметь в коридоре. Кто уставал от шума и болтовни в камерах, шел отдохнуть и побыть в одиночестве здесь, в коридоре.

Известная доза одиночества необходима для гигиены человеческого духа! Но, конечно, каждым хорошим лекарством можно залечить человека до смерти, если злоупотреблять им.

После чая Софья и Анна вышли в коридор, накинув на плечи теплые платки, т. к. в коридоре было довольно прохладно. В нем уже маячило несколько одиноких фигур, погруженных в свои мысли.

— Софи, будем говорить по-русски! Сегодня я так расстроена, что совершенно забыла французский язык. Все французские слова рассыпались и куда-то убежали из моего сознания!

— Да, да, Аннет, я понимаю вас! Конечно, будем беседовать на родном языке! Говорите скорей, что случилось?!

— Ничего не случилось, Софи, уверяю вас — ничего! Какие-то дурные мысли и предчувствия мучают меня сегодня, и нельзя сказать, что они совершенно необоснованны. Мне кажется, что я должна уйти поскорей из главной бухгалтерии, пока не поздно!

— Аннет, вы меня пугаете: это очень хорошее место. Лучшего вы не найдете в Соловках! Что случилось, Аннет?

— Повторяю вам, Софи, что ничего не случилось, но мне кажется, что я нравлюсь моему шефу, начфину Шульгинову.

— А вы к нему как относитесь?

— Софи, он не только не нравится мне, но я испытываю к нему непреодолимое отвращение и настороженность! В чем дело, я не знаю! Объективно говоря, он человек очень интересный не только интеллектуально, но и физически: мощь и сила, воля и напористость чувствуется в нем, но какая-то бандитская, аморальная! А вы же знаете мою натуру, Софи, сломать и скомкать себя я никому не позволю!

— Да, да, я ценю в вас это, Аннет! Мне достаточно на всю жизнь вашего выступления на митинге интеллигенции в защиту русской культуры, выступления, которое закончилось для вас приговором к расстрелу.

— Да, кстати, об этом! Не кажется ли вам, Софи, что если бы это выступление состоялось не в 1920 году, а теперь, то никакие бы петиции, делегации, депутаты интеллигенции от всего города в мою защиту не спасли бы меня — не побудили бы товарища Лосева отменить свой приговор о моем расстреле?! Просто потому что теперь никто не подписал бы петицию и не вошел бы в делегацию, даже если бы дело касалось спасения родного отца или сына! А тогда сотни незнакомых мне людей, т. е., собственно говоря, вся интеллигенция нашего южного города подписала петицию обо мне, и делегация за делегацией осаждала Лосева, как он мне сам жаловался и возмущался на допросах. Правда, Софи, теперь бы никто не подписал петицию?!

— Да, Аннет, правда! И вы это учтите! Теперь бы никто не подписал петицию за своего родного отца, и я в том числе! Сейчас петиция вас все равно не спасла бы, а свою голову за подпись человек поставил бы!

Последние слова поразили Анну Васильевну, и она задумалась о латинской поговорке: времена меняются и мы сами в ходе времен!

Задумалась и Софья Федоровна, потом после долгого молчания спросила:

— Аннет, может быть, ваше отвращение к шефу объясняется разницей в возрасте? Все-таки ему лет за пятьдесят!

— Нет, Софи, дело не в возрасте! Вы знаете, что я с 15 лет люблю Тютчева, знаю с 15 лет все его стихи наизусть, особенно люблю его цикл стихотворений

о последней любви! Заметьте, с 15 лет! Завидую женщине его «последней любви» — Елене Александровне Денисьевой, и была уверена по наивности, что и я встречу в жизни Тютчева! Но Тютчев неповторим!

Я особенно внимательно всматривалась в мужчин гораздо старше меня по возрасту, надеясь найти ту непередаваемую нежность, которой покорила меня Тютчев еще подростком: «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй прощальный свет любви последней, зари вечерней...» Или эти слова: «Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность... О, ты последняя любовь! Блаженство ты и безнадежность...»¹⁶

Но, Софи, я хочу сказать вам напоследок и хорошее, что меня радует: я завтра иду в кино с человеком, который мне нравится!

— Ах, Аннет, теперь все ясно! Так бы давно и сказали! С кем это, Аннет? Я его знаю?

— Знать, может быть, и не знаете, а видеть видели, если заходили в кремлевский ларек! Там кассир — молодой красивый мужчина!

— Да, да, чудесный мальчик! — подхватила Софья Федоровна. — С голубыми, чуть косящими глазами, с прекрасными русыми волнистыми волосами.

— Совсем не мальчик, — обиженно возразила Анна, — а взрослый мужчина 33 лет! Срок у него, правда, детский, всего три года! Он русский поляк — Станислав Янович Данишевский. Станислав поехал в отпуск в Варшаву к своему брату Болеславу на месяц. Заметьте, поехал легально с разрешения нашего правительства, а когда вернулся после отпуска, то его арестовали за шпионаж и дали три года! Почему так мало? Вероятно, им самим смешно! Поэтому и дали за шпионаж всего три года Соловков!

Родился Станислав и окончил среднюю школу в Варшаве, потом наш лесной институт в Ленинграде, отец и мать умерли, но есть брат, дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Семья была зажиточной, т. к. мать содержала перво-классный салон дамских шляп, часто ездила за модами в Париж и работала по парижским моделям.

Отец был чиновником, пьяницей и кутилой, так что все жалованье шло ему на рестораны и карманные деньги. Главой и опорой семьи была мать... Арестован Станислав почти одновременно с нами; в Соловках также недавно.

— Анечка, все хорошо, кроме его срока. Он уедет на два года раньше вас! Я вас знаю! Эти два года будут самыми ужасными годами для вас в Соловках, а, может быть, и за всю вашу жизнь! Жутко представить. Подумайте, Аня, пока не поздно!

¹⁶ Орывок из стихотворения «Последняя любовь» Ф. И. Тютчева.

— Поздно! Поздно, Сонечка! Хотя вы правы: эти годы в Соловках после его отъезда будут ужасны, я это предвижу, предчувствую! Поздно, потому что он мне нравится больше всех мужчин за последние пять-шесть лет! И я знаю, что ближайшие пять лет после его отъезда будут самыми тяжелыми в моей жизни, потому что цикл любви и эмоциональной памяти при разлуке у меня очень длительный и медленный. Это я знаю с 18 лет!

Но ничего не поделаешь!

15 глава

На другой день вечером Анна с большим волнением шла в кино. Зал кино был довольно поместителен, как в среднем провинциальном городке. При входе в кино стоял Станислав Янович Данишевский и очень нервничал: лицо его покрылось красными пятнами, а левый глаз слегка косил, что являлось у него выражением большого волнения — признак и забавный и милый, с точки зрения Анны.

Вошли в зал, сели в партере, разделенном широким проходом от входной двери на две части, как обычно в каждом кинозале.

В партере сидело много пар, но подавляющее большинство зрителей были мужчины. Скоро свет погас. Анна равнодушно и рассеянно смотрела на экран и слушала страстный шепот Станислава, который и не пытался смотреть на экран.

— Я так давно жду этого момента, с первого дня вашей работы на капусте. Я ходил туда и прятался за спины товарищей и смотрел, смотрел на вас, а вы ни разу не подняли на меня глаза. Вы вообще ни на кого не смотрели. Но о чем-то все время напряженно думали, так мы с вами ни разу не встретились глазами, я от этого ужасно страдал!

— Ну, а дальше что, Станислав Янович? — спросила Анна, улыбаясь в темноте зала.

— А дальше стало еще хуже! Как?! А так: вы стали ходить со строем в пошивочную мастерскую. Как вас увидишь? Я несколько раз пробирався в прихожую мастерской, но там сидит старик-дневальный и никого не пропускает. Я перед ним и заискивал, и взятки ему совал, и говорил ему: «Что тебе жалко, если я на одну женщину взгляну быстро, один раз?» Когда дневальный был в хорошем настроении, он отводил меня к маленькому окошку из коридора в мастерскую с падающей ставенкой, приподнимал эту дощечку на 2—3 см и я смотрел, нагнувшись, в эту щель на вас минуты две, но дневальный дергал меня сзади за полушубы и говорил: «Довольно! Я не имею права отлучаться с поста! Из-за тебя мне еще может влететь! Ты лучше укажи мне, какая женщина, и я смогу передать ей письмо или записку».

На мои слова, что я с вами ни разу не разговаривал и вы ни разу не посмотрели и не видели меня, старик с презрением отвечал, даже сплевывая на сторону: «Ну и дурак же ты, братец, а с виду еще кажешься интеллигентным»... Знаете, некоторые женщины, выскакивая в коридор, заставляли меня на месте преступления, прежде чем я успевал опустить дощечку. Подходили ко мне, спрашивали, кого мне надо, предлагали вызвать, но я молчал и быстро уходил. Особенно одна бойкая бабенка хохотала мне вдогонку, широко открывала ставенку и орала в мастерскую: «Женщины, здесь один красавец кого-то ждет! Признавайтесь, чей это мужчина, а то мигом его отобью!» Тогда я убежал под укоризненные взгляды старика.

Анна сдержанно смеялась, и плечи ее вздрагивали:

— Так это были вы, Станислав Янович? Припоминаю, как озорная Катя кричала в мастерской что-то подобное... Чей-то парень, де, умасливает нашего дневального и смотрит на кого-то в щелку. Мне и в голову не приходило, что эти сцены имеют отношение ко мне.

— Да, Анна Васильевна!.. Когда же вы перестали заходить в кремлевский ла-рек и променяли его на «Мюр и Мюрилиз», я совсем пришел в отчаяние... Но еще до этого, когда вы работали на капусте, я познакомился с вашими однодельцами — они все десятилетники. Я их дипломатично расспрашивал о вас, по-моему, довольно дипломатично, не вызывая подозрений о цели моих расспросов. Они говорили о вас с большим уважением, как об умной, стойкой, разносторонне образованной женщине-философе, закончившей философско-психологический факультет.

Здесь Данишевский задумался; он колебался что-то высказать. Анна ждала, не желая форсировать событий. Да и к чему? Дело и так ясно, будет ли он продолжать свои высказывания или нет.

— Но чем больше ваши однодельцы хвалили вас, преклонялись перед вами, тем больше я пугался и боялся вас. Может быть, они догадывались о чем-либо и давали мне понять, что я не стою даже вашего мизинца. Однако чем больше я пугался и боялся вас до трепета, тем больше я влюблялся в вас!

Анна замерла, поразились быстроте развивавшихся событий, потом обрадовалась и положила свою руку на его колено поверх его руки. Станислав наклонился и поцеловал ее руку. Анна и Станислав сидели молча, глубоко потрясенные нахлынувшим на них счастьем. Они смотрели на экран, ничего не видя, т. к. глаза их застилали слезы. Так просидели они молча до конца сеанса, рука в руку. Только когда зажегся свет, руки их разъединились, и они вспомнили, что они заключенные.

— Аннусь, можно мы послезавтра встретимся здесь же в кино? Я буду вас ждать, как сегодня, у входа. Хорошо?!

— Нет, Стась, нельзя так часто! Мы возбудим очень едкие сплетни и... погубим наше счастье! Мы встретимся здесь только через неделю!

И они простились. Через неделю Станислав Данишевский снова ждал Анну у входа в кино, радостный и счастливый. Они снова сидели, держась за руки, тихо, едва слышно шептались и быстро перешли на ты.

— Так скажи мне, Стась, почему ты меня так панически боялся? Разве я такая страшная?

— Ты, Аннусь, не страшная, ты мне понравилась как женщина с первого взгляда — на капусте у отца Мефодия, но есть в тебе что-то недоступное, строгое и суровое. Да, в твоей душе есть что-то недоступное, куда я не смогу проникнуть... даже при полном обладании тобой! Может быть, в этом — секрет твоего обаяния? То ли вселил в меня такой ужас твой философский факультет?! К твоему сведению, я не прочитал за всю свою жизнь ни одной философской или психологической книги. Ни одной! А вдруг ты заговоришь на философскую или психологическую тему, а я буду хлопать глазами, как дурак! Я должен признаться, что и с художественной литературой дело у меня обстоит плохо. Хотя у меня по русскому языку и литературе в реальном училище было обычно 4, но это слабое утешение для взрослого человека — знать, что его сведения по литературе ограничиваются только программой средней школы.

— Ты прав, Стась, почему же ты тогда не пополняешь свои знания в области художественной литературы? Конечно, ты обкрадываешь самого себя!

— Аннусь, у меня не было времени, я все время в лесу или завален работой. Ты знаешь уже, что я окончил лесной институт в Ленинграде. Ты спрашиваешь, хорошая ли это школа? Прекрасная! Так высоко ее ценят и в Польше, и во всем мире. Мой дядя тоже окончил этот лесной институт, с детства увлек меня лесостроительством и научил любить лес!

Я получил диплом ученого-лесоведа, но никакой я не ученый, а просто практик по лесному делу и хозяйству, инженер-лесостроитель, как теперь говорят. Лес я очень люблю с детства! Уйдешь на все лето на таксацию лесов и только этим живешь! Ну, какое уж тут чтение художественной литературы?! Сам удивляюсь, что регулярно бреюсь в лесу, а не превратился, как мои коллеги, в настоящего лесовика — лешего! Поэтому я считал, да и теперь считаю, что я настолько ниже тебя по общему развитию, что подойти к тебе нельзя, не смею, что я просто глуп и покажусь тебе сущим дураком!

— Стась, ты не прав! Ограниченность знаний или даже полное отсутствие знаний в какой-либо области не является доказательством глупости, я не считаю себя глупой, потому что не знаю лесного дела. И представь, я тоже по этому вопросу не

прочитала ни одной книги, а между тем лес — дело твоей жизни, и ты любишь его! Я тоже люблю лес! А что я знаю о лесе? Только то, что пишут в газетах и популярных статьях: безжалостное уничтожение наших лесов, обмеление рек, эрозия почвы, усиление засух и т.д.

Дело не только в знаниях и в человеческом уме, хотя это — великий дар природы! Я ценю в человеке и в тебе, Стась, мягкость, прямоту и искренность, чуткость и деликатность — качества, которыми мужчины редко «страдают».

Посетители кино, как мужчины, так и женщины, могли поговорить друг с другом четверть часа до начала сеанса и пять минут после окончания его. Говорили и в эти считанные минуты тоже негромко, т. к. нужно было много сообщить интимного друг другу. Дорожили каждой минутой.

Следующий раз Станислав Данишевский сообщил Анне в кино много интересного о своей покойной матери:

— Ты знаешь, Аннусь, я боготворил мою мать, а она меня! А вот отца ненавидел! Он был пьяница, мот и развратник! Я так его ненавидел и презирал, так боялся походить на него, что только этому обязан, что я ничего не пью и не курю, никогда не пил и не курил и даже испытывал непреодолимое патологическое отвращение к этому.

— Ну что за славный мальчик, мой Стась. Право же, ты на 2—3 года старше меня, а мне кажется, что ты лет на 12 моложе меня. Ну, так, лет 18 тебе! А как с остальными пороками отца, разрешите вас спросить! Их унаследовал от отца или в силу антагонистического противодействия — подавил?!

— Я не мот и не скряга, а что касается разврата, то я скажу тебе об этом потом, хочу закончить сперва о матери. Главой семьи была мать, очень умная, энергичная и волевая, при этом красивая женщина — тип польской красавицы. Мать вела коммерческое дело, как ты уже знаешь: салон дамских шляп, и все обеспечение семьи лежало на ее плечах. Ежегодно она выезжала раза два в Париж за модами, моделями и формами шляп.

Хорошо владела французским языком, а я получился какой-то косноязычный: плохо и с акцентом говорю по-русски, забыл основательно польский родной язык и совершенно — французский.

Отец был блестящий по виду человек, но полное моральное ничтожество: он только кланчил деньги у матери, был на полном ее иждивении; даже когда он служил в качестве русского чиновника, жалованья не хватало ему на карманные расходы. Он носился галопом по Европам на деньги матери и был в семье чужаком и паразитом.

Мне противно вспоминать, как он кланчил деньги у матери; если я стал человеком и сохранил человеческое достоинство, то только потому, что презирал и ненавидел отца. Это ужасно, но это факт...

Знаешь, Аннусь, ты очень похожа на мою мать. Правда, ты тип русской красивой женщины, а мать — польской, но вы ведь обе славянки, корни у вас общие! Помнишь, как Некрасов опровергал тех, кто думал, будто тип измечтал красивой и мощной славянки...

*Есть женщины в русских селеньях
С спокойной важностью лиц,
С умеренной силой движений,
С улыбкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит,
Посмотрит — рублем подарит!»...¹⁷*

— Браво, Стась! Так ты можешь даже стихи декламировать?

— Не знаю, право, как это у меня получилось! Я десять лет не читал стихов, а что помню их — так это же из курса средней школы, помню — на четыре. Это ты, Аннусь, меня вдохновила!

Станислав задумался, а потом сказал с горечью:

— Вот я и боюсь... Да, боюсь, — не смейся, пожалуйста, язвительно над моим «боюсь» — боюсь, что я буду рядом с тобой таким же ничтожеством, как отец рядом с матерью. Ты думаешь, что меня не ранит такая мысль? Она меня с ума сводит.

— Ну, брось, Стась, родной мой! Я просто не понимаю твоей тревоги, горечи и самоуничижения!

Анна долго и нежно убеждала Станислава, пока его глаза не засияли радостью и благодарностью. Прощаясь с ним после кино, Анна сказала, что в следующий раз придет в кино не одна, а со своей старшей подругой, чтоб познакомить их. Станислав огорчился:

— Это значит, я не смогу держать весь сеанс твою руку в моей?! А нельзя ли это отложить на «после»? Никак нельзя?! Вот беда, ну, если это неизбежно, то подчиняюсь необходимости. А, может быть, можно ограничиться только передачей ей привета и поцелуя руки?

— Нельзя, родной Стась! Софи — вся моя семья! Ты понимаешь это?! Поэтому я хочу, чтоб ты был обаятельным и очаровал мою Софи, хотя она тебя знает как кассира кремлевского ларька и решила, что ты — «славный мальчик», а мы — «чудесная пара»!

¹⁷ Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова.

— Правда?! Твоя Софи находит, что мы — «чудесная пара»? Тогда согласен! А мы можем не скрывать, что перешли на «ты» и на уменьшительное имя? Благодарю! Тогда хорошо!

Через неделю Анна представила в кино Софье Федоровне Станислава и наблюдала, как они сразу и непринужденно перешли на дружеский тон.

Разговор вертелся на студенческих годах, на том, чем определяется призвание и профессия человека, оказалось, что у них троих выбор профессии и направление интересов определились четко в 14—15 лет.

Софья Федоровна вспоминала о своих студенческих годах в Лозаннском университете. Станислав очень простодушно и искренне рассказывал о том, как складывались у него любовь и интерес к лесу под влиянием его дяди лесничего, который закончил тот же Лесной институт в Ленинграде. Дядя Генрих Данишевский, лесничий на границе белорусских лесов, брал каждое лето в каникулярное время Станислава с 12-летнего возраста к себе. Он бродил с ним по своим подведомственным лесам до глубокой осени, так что Станислав опаздывал в Варшаву к началу школьных занятий, и мать слала им телеграмму за телеграммой все более грозного характера.

— У дяди было три дочери и ни одного сына, и он любил меня как сына, а я его — больше отца! Ружье, собака и лес! Что нужно еще человеку? По-моему, — ничего! Так думал я с 12 до 18 лет, а, может быть, так думаю и теперь!

Соня весело и тихонько смеялась и ласково над ним подтрунивала. Скоро они стали друзьями и называли друг друга «Стась — Софи».

После этого, к концу сеанса, Анна сказала Станиславу:

— Стась, я разрешаю писать мне письма и передавать их только через Софи! Только ей я верю! А ты пытаешься передавать мне письма среди недели через разных случайных лиц, это не годится, иначе мы станем, если уже не стали, предметом грязных сплетен в Соловках! К Софи тебе проще зайти, вот и передай мне все, что нужно тебе, через Сонечку устно или письменно.

Софья Федоровна одобрила предусмотрительность Анны, и с этого дня переписка между двумя влюбленными, страстная и нежная, наладилась.

Станислав и Анна жили только этой перепиской и что не успевали сказать друг другу в кино, говорили и договаривали в письмах.

От этого их свидания в кино получили тихий, сосредоточенный характер, они думали, дышали и жили в одном глубоком ритме — без слов, раньше им приходилось как бы бежать, задыхаясь от волнения и опасения, что они не смогут сказать все, что им нужно, теперь отпала такая торопливость и спешка, и они наслаждались глубоким, часто безмолвным общением друг с другом.

— Живи, Стась, не предавайся излишнему психологическому анализу по поводу прошлого, это очень ломает душу и печалит сердце. Это я знаю по себе, — сказала как-то раз Анна. — Тебе это не свойственно, т. к. ты человек цельный и неизломанный, не то, что я! И пережил ты мало! Подумаешь, поехал к брату в отпуск в Варшаву, а вернулся в Россию — дали срок за шпионаж три года! Это курам на смех. Нет никаких улик и никаких соратников по шпионажу! Один, совершенно один кустарь-одиночка по шпионажу! Ведь ты же, Стась, просто счастливый человек! Никто не расстрелян по твоему шпионажу, никто не покончил жизнь самоубийством из-за этого!..

Я решила, Стась, ничего не рассказывать тебе о своих политических «подвигах» и вообще о своем прошлом: оно очень тяжело, даже трагично! А так как, по-моему, мы сами строим свою судьбу и жизнь, то во всем виновата я сама и мой характер! Судьба — только объективное выражение моей личности и моего характера! «Каков в колыбели — таков и в могиле!» — гласит мудрая народная поговорка, это верно!

Ты, Стась, хотя жертва войковского набора, но счастливый кустарь-одиночка по шпионажу. Они с таким же успехом могли приписать тебе и террор, если бы ты был в Варшаве в это время!

— Нет, Анечка, посла Войкова убили в Варшаве несколько месяцев спустя после того, как я вернулся из Варшавы в Россию. Даже никаких вопросов и не задавали о нем. Собственно, и о шпионаже ничего не спрашивали. Просто утверждали, что я поехал в Варшаву с разрешения советского правительства не для того, чтоб погостить у брата, которого я очень долго не видел, а чтоб связаться со шпионским центром, каким — неизвестно. Мне не сказали, что за центр, но настойчиво требовали под угрозой пыток признаться, сознаться... признаться! Я, конечно, рад, что у меня нет однодельцев, что я, как ты правильно определила, кустарь-одиночка, хотя таких шпионов в природе нет... Три года за доказанный шпионаж — это мало! Но три года за недоказанный шпионаж — много!

Через восемь дней после ареста дали подписать обвинение. Хотя я возражал, что не признаю за собой никакой вины, мне отвечали: «Это не важно, признаете вы обвинение или нет, вы расписываетесь в чтении обвинения, а не в его признании, ткнули мне место, где я должен подписаться, закрыв весь текст листом бумаги. Собственно, неизвестно, в чем я расписался!.. Не будем об этом говорить! Так продают кота в мешке всем под видом какого-либо политического обвинения...

Я рад, Анечка, что ты думаешь так же: не будем касаться наших политических обвинений и «преступлений». Я жить хочу! Я благодарен судьбе за встречу с тобой, Аннусь, хотя ты говоришь, что судьбу свою мы создаем сами, но во встрече с тобой нет доли ни твоей, ни моей заслуги...

— Да, Стась, этот иррациональный элемент случайности всегда есть в судьбе каждого человека; я это признаю! Можно, конечно, философствовать, что, де, случайность есть лишь точка пересечения двух закономерных рядов событий под известным углом... И этим превратить случайность в такое же закономерное явление. Все, де, закономерно, случайности, нет!

— Но эта отвлеченность понятна мне скорее из математики, чем из философии! Анечка, из меня не получится ни философа, ни поэта!..

Мне 33 года — кульминационная точка мужской зрелости! Пушкин умер в 37 лет, в период этой самой плодотворной поры зрелости, — допустим, от 30 до 40 лет у человека! Откуда у Пушкина такой пессимизм?! «Но не хочу, о други, умирать! Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!.. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной»¹⁸. Это же говорит мой ровесник! Не согласен! Верю только — «я жить хочу!» Не только, чтоб мыслить и страдать, а чтоб любить женщину, тебя, Аннусь, и трепетать от красоты жизни, как... как в лесу на заре... на закате, ночью и днем!

Лес всегда прекрасен! Что ни говори, а жизнь прекрасна, Аннусь, даже в Соловках!.. Я — оптимист и добровольно чашу жизни из рук не выпущу и не разобью ее!

— Я рада, Стась, что ты оптимист! Мне кажется, что я тоже оптимистка, хотя и не такая цельная и цепкая, как ты!

16 глава

В то время, как Станислав наслаждался безоблачной любовью и свиданиями в кино, в душе Анны росла тревога и грозные неотвратимые предчувствия, которыми она не делилась ни с ним, ни с Соней. Неблагоприятная обстановка складывалась на работе в финотделе.

Шеф Анны Шульгинов вел себя как-то странно: пропала его добродушная товарищеская манера обращаться со всеми его подчиненными.

Шульгинов еле кивал Анне Васильевне головой и поглядывал на нее гневно, обиженно и страстно. В ответ на ее вопрошающий взгляд Алексей Петрович молчал и опускал глаза.

«В чем дело? — спрашивала себя Анна и иронически думала: — Вот тебе и храбрые сибирские охотники! В глаза женщине не могут смотреть прямо и честно. Труссы! Все мужчины трусы! Ишь, боится теперь даже охотничьи сибирские истории мне рассказывать, как будто я — опальная любовница шефа, соловецкого царька. Тучи сгущаются при дворе!

¹⁸ Отрывок из стихотворения «Элегия» А. С. Пушкина.

Да на черта он мне нужен?! Ох, и трахну же я скандал на все Соловки! Связывают меня только Станислав и Софья! А то бы я устроила здесь погромчик!.. А все потому, что в основе придворного соловецкого общества и быта лежит рабское, холопское подобиострастие!

Какая коррупция, и это через 10 лет после Октябрьской революции!.. Какая коррупция, холопство, невежество и пресмыкательство в органах суда, прокуратуры, следствия, среди административных работников! Куда мы катимся?! И этот калиф на час из эсеров! Он думает сахалинский матриархат насадить в Соловках?!»

Однажды Алексей Петрович сказал Анне, слегка покраснев и опуская глаза, что ее просит к себе в кабинет шеф. Анна Васильевна вошла в кабинет, насупившись, и остановилась в дверях. Шульгинов предложил ей сесть за письменный стол напротив него. Говорил он вежливо и даже вкрадчиво, стараясь перейти на дружескую, товарищескую ноту, де, мы — все заключенные:

— Вы заключенная, я — тоже заключенный; солидарность заключенных диктует нам взаимно поддерживать друг друга... Я к вам всем сердцем, а вы вдруг говорите мне словами Лизы Грибоедова: «Минуй нас пуше всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»

Значит, вы, Анна Васильевна, считаете меня, заключенного человека, при этом демократа до мозга костей, как всякий эсер, вы считаете меня барином?.. Я не скрываю, что вы мне очень нравитесь не только физически, но и морально, как сильная, смелая, волевая женщина. И вы мое чувство называете «барской любовью»?!

Ну, послушайте, дорогая Анна Васильевна, разве в этих словах не выражается вами величайшее презрение ко мне и моему чувству?..

Мы бы с вами были такой чудесной, сильной и красивой парой! Что вы думаете? Почему вы молчите? Скажите!

— «Одна лишь я любви до смерти трушу! Но как не полюбить буфетчика Петрушу?!» — Анна сказала это задумчиво, без бравады, потом иронически улыбнулась.

Шульгинов побагровел, и огромные его лапы, лежащие на столе, сжались в увесистые кулаки, которые тоже покраснели.

— Опять Грибоедов! Опять эта Лиза! — заорал Шульгинов.

— Лиза — мой идеал, особенно в Соловках! Вообще, Лиза — умная, осторожная, благоразумная бабенка! На воле я к Лизе была совершенно равнодушна, а здесь, в Соловках, когда я такая же крепостная женщина, какой была она сто лет тому назад, — голос Анны задрожал и зазвенел, но она взяла себя в руки: — Лиза мне особенно близка, мой идеал в Соловках!

Шульгинов встал из-за стола и начал грузно ходить по своему кабинету.

— Анна, дорогая! Подумайте и взвесьте все! Вы губите себя и меня! У вас как раз нет благоразумия Лизы!

— Я не понимаю, чем я гублю вас и себя! Обыкновенный соловецкий роман! И вы в этом романе ничем не рискуете. Подберите себе другую бабенку и будете с ней жить без всяких трагедий!

— Я знаю, знаю, кто ваш буфетчик Петруша! Я знаю, кто вам целует руки в темноте кино! — ревниво прошипел Шульгинов, и голос его прозвучал угрозой. Сердце Анны замерло, и она внутренне взмолилась: «Пусть все обрушится на мою голову, только бы судьба пощадила Станислава от мести этого злого гада!»

Внешне Анна держалась с огромной выдержкой и сказала Шульгинову:

— Федор Ильич, я прошу вас, как начальника финотдела, перевести меня счетоводом в другое место — куда угодно! Нам нужно дружелюбно расстаться и никогда больше не встречаться в жизни! Другого выхода мы не могли бы придумать и на воле при создавшейся ситуации! Не так ли?

Анна вспомнила свою первую безответную любовь в 18 лет, и как эта любовь открытой незаживающей раной мучила ее в течение пяти лет.

Сердце Анны смягчилось, и она с сочувствием тепло прошептала Шульгинову:

— Право, так будет лучше и для вас, и для меня! И я буду с благодарностью вспоминать об этом всю жизнь! Вспоминать, что мы расстались с вами в суровом краю по-человечески, как два человека, в полном смысле этого слова.

Анна с надеждой смотрела в лицо Шульгинова и видела, какая внутренняя борьба происходит в его душе. Но победило зло, и он прошептал угрюмо:

— Нет, это невозможно! Вы будете работать у меня и со мной!

— Тогда прошу вас, Федор Ильич, не вызывать меня больше в свой кабинет! Я настолько мелкая сошка, что вам по службе нечего мне передавать и говорить, все указания по службе я ведь получала не от вас лично, а от Алексея Петровича. Так пусть будет и впредь! А к вам в кабинет я больше не приду! Прощайте!

Анна встала и медленной походкой, разбитая и подавленная, вышла из кабинета, села за свой стол и смотрела сосредоточенным взглядом в угол, в то время как Алексей Петрович тихонько и виновато скользил около нее.

Прошло недели две в подавленном настроении у Анны. Станислав и Софья о чем-то догадывались, видя ее задумчивой и побледневшей, но Анна ссылалась на усталость и недомогание.

Однажды к концу занятий Алексей Петрович снова передал Анне приказание шефа зайти к нему в кабинет. Анна вошла к Шульгинову внутренне взволнованной, но решительной.

Шульгинов, не приглашая Анну Васильевну сесть, встал сам ей навстречу и твердо заявил:

— Все равно, Анна Васильевна, путем разговоров мы ни к чему не придем! Поэтому завтра ваш письменный стол будет перенесен ко мне в кабинет, и вы будете работать с завтрашнего дня в моем кабинете в качестве моего личного секретаря. Понятно вам?!

— Понятно, но мой стол не будет перенесен сюда, и я отказываюсь работать вашим личным секретарем. Не будет так, как вы хотите! Пишите сейчас же распоряжение о направлении меня в карцер! — Анна с ненавистью взглянула на широкую екатерининскую софу-диван и подумала про себя: «Мерзавец! Негодяй! И он заговаривал прошлый раз мне зубы, что он не барин, не Фамусов, а демократ и мой товарищ по заключению и несчастью!»

— Что вы, что вы, Анна Васильевна, в Соловках не принято сажать в карцер интеллигентных женщин — только пьяную шпану и проституток, и то если они дебоширят!

— А что же принято делать в Соловках с женщинами, которые отказываются от сожительства с начальством? Что? Почему вы молчите, товарищ социал-революционер?! Вам долго еще подниматься и шагать до Фамусова?! У этого барина был хотя бы страх перед внешней оглаской, а у вас нет ни стыда ни совести! Вы мразь! Вы — грязный хлам, который уносит без сопротивления половодье вдаль, в море! Вы негодай! Не о чем нам больше разговаривать!

И Анна ушла из кабинета, хлопнув дверью и мало заботясь о том, понимают ли сослуживцы смысл ее громкого спора с начальником.

Все сидели, опутив глаза, и молча писали. Алексей Петрович побледнел и горестно подпирал щеку рукой. Была мертвая тишина в комнате, и Анна с горечью и иронией подумала: «В такой тишине не то что догадаться, а отчетливо можно слышать каждое слово через прикрытую дверь.

На их скромность нечего рассчитывать! Сегодня же будет ажиотаж в пассаже по случаю событий в финотделе!

Ну и пусть все слышат! Я ничего позорного не делаю! Я защищаю свою честь женщины и свою любовь! А это — бешеный бугай! Как я его ненавижу и презираю! Ничего он со мной сделать не сможет! Я скорей умру и брошусь в море!..»

Анна надела свою романовскую овчинную шубу и с разрешения Алексея Петровича ушла домой на четверть часа раньше конца занятий.

Анна шла домой в барак взволнованная, решив подготовить Софью Федоровну к своему карцеру, считая его неизбежным. От кремля опускалась

маленькая изящная фигурка Софьи. Анна остановилась, ожидая подругу, и первым вопросом Софьи было:

— Что с вами, Анечка, случилось? Говорите скорей, я волнуюсь!

Анна рассказала Софье Федоровне все и поставила вопрос, идти на работу в финотдел завтра или ждать в бараке конвоя в карцер.

Решили вдвоем, что Анна пойдет завтра на работу и посмотрит, что будет дальше. Затем Анна попросила свою подругу ничего пока не говорить Станиславу:

— Положение мужчины ужасно, когда он не может защитить любимую женщину от оскорблений, от насилия. Правда, Софи? В этом смак русского мата, не так ли, Софи?

— Что вы говорите, Аннет, я вас не понимаю! Какие ассоциации и аналогии бродят в вашем мозгу, в вашем уме?

— Какие? Вы спрашиваете, Софи? А как, по-вашему, когда и почему возник русский мат? Если бы я была историком, то взяла бы темой диссертации такую: «Причины возникновения и история развития русского мата». Во всяком случае, хорошую статью можно написать на эту тему. Я отношу возникновение русского мата к XIII веку, к периоду покорения Руси монголами. Монголы, или татары, как мы привыкли их называть, любили насиловать русских женщин, когда брали какой-либо город, не просто так, как это делает каждая оккупационная армия, а насиловать по ритуалу, публично на главной площади, днем и обязательно в присутствии мужей, сыновей, братьев... мужчины должны были смотреть, терпеть и молчать! И ничего — смотрели, терпели и молчали... А что они могли делать, со связанными назад руками и с колодками на ногах и шее? Так-то, милая моя, родилось русское терпение, молчание и мат!.. Иначе, чем вы можете объяснить, Софи, такое явление, что слушают мат с улыбочкой и даже никто морду не бьет, когда порочат честь его матери, хотя бы на словах и в намерении? Привычный народ — нечего оказывать! Привычный народ к молчанию и к мату!

— Анечка, зачем вы так терзаете душу и себе, и мне? Не надо! Оставьте! Я понимаю, что вам плохо. Может быть, вы правильно объясняете и происхождение русского мата, и нашу привычку к нему! Но давайте переключимся на что-нибудь другое! Я же не могу историческими документами опровергнуть вашу теорию мата и доказать вам, что он существовал и до XIII века и возник спонтанно из глубины русской души и быта!

Это у вас самосадизм и достоевщина! Да, вы сама себя пожираете как-то изнутри!

— Я не хочу, чтоб Станислав знал и стоял рядом, когда этот негодяй потащит меня завтра на площадь насиловать!

— Ничего не будет завтра! Вот увидите! Ну, называли его мразью и негодяем — он это скушает! Если вы в 20-м году называли Лосева «бандитом и хулиганом», так Лосев был силой — начальником особого отдела энной красной армии! А что собой представляет заключенный Шульгинов? Ноль, он даже в карцер не имеет права и не посмеет вас посадить! Вы что, Аня, боитесь карцера?

— Нет, конечно, не боюсь! Те, кто сидел в Краснодарской губчеке, где люди умирали с голода и лежали в повальном тифу в начале 20-х годов, — ничего не боятся! Тем более какого-то паршивого соловецкого карцера!

— Ну и хорошо! Пойдем скорее пить чай! — воскликнула примирительно Софи. — У меня есть дома хлеб белый и масло, а вот в кармане несколько конфет «Мишек», что Станислав прислал вам вместе с письмом!..

Мне, пожалуй, с этого и надо было начинать, а не слушать ваших трагических изысканий о русском мате. С конфет нужно было начать, а старая дура развесила уши и растерялась! Вы же любите сладкое, особенно «Мишек», как ребенок! А я совершенно равнодушна к сладкому и к конфетам! Нужно всегда искать у человека его «ребячье место» в душе и за него хвататься!

Так, ведя Анну под руку и нежно прижимаясь к ней, Софья Федоровна баюкала на ходу Анну своим шепотом:

— Да, да, мне нужно было сразу ухватиться за ваше «ребячье место» — сунуть вам «Мишку» в рот... сосали бы конфету, и историко-философского этюда о мате не получилось бы! А такой этюд оплачивается очень дорогой ценой — человеческой кровью сердца и нервами! И потом ваша Достоевщина — это увлечение с Евгением «Кроткой», как квинтэссенцией русской природы, пугало меня в вас еще на юге!

— Не могу же я, Софи, увлекаться вашим кумиром Анатолем Франсом — этим скоморохом и шутом! Читала его по-французски, просто чтоб не забыть совсем французский язык. Язык его, не скрою, очарователен!

— Аня, что вы говорите?! Вы просто варвар, скифка, мятущаяся по жизни на диком коне!

— Чудесно! — повеселела Анна. — Быть скифкой и носиться с распущенными лохматыми волосами на диком коне по диким степям Южной России! Уф! Полегчало — и сразу зверски, по-скифски, захотелось есть! Шагаем, Сонечка, быстрее пить чай!

На другой день Анна пришла на работу, спокойная и решительная, но Алексей Петрович встретил ее сконфуженный и подавленный:

— Видите ли, Анна Васильевна, в чем дело: Федор Ильич распорядился посадить вас на котел.

- А снять с работы в бухгалтерии не распорядился?
- Нет, не снял!
- Ну, тогда я сама себя сниму, хотя бы мне пришлось сидеть не только на котле, но даже в карцере!

«Сидеть на котле» означало в Соловках питаться из общего котла. Питание было не плохое, не хуже, а, пожалуй, даже лучше, чем в последующие десятилетия в советских лагерях, и, во всяком случае, лучше, чем питание на воле в конце 20-х и начале 30-х годов, когда наступил повсеместно голод в Советском Союзе и особенно на Украине в связи со «сплошной коллективизацией».

Но дело в том, что никто из постоянных работников не только в канцеляриях и в бухгалтериях, но в прачечных, пошивочных мастерских, многочисленных уборщицы учреждений, больницы и т. д. арестантским питанием из котла не пользовались, а получали вместо него деньги — 9 руб. с копейками в месяц. Была ли это только стоимость пайка или паек плюс какая-то зарплата, я определить сейчас, как автор этого романа, не могу.

Предполагаю, что, вероятно, эти 9 руб. с копейками являлись стоимостью пайка, т. к. сидящие на котле никакой приплаты к нему за труд не получали. Мало или много были эти 31—32 копейки в день на заключенного? Чтобы оценить это, нужно припомнить индекс продовольственных цен 1927—1930 годов, т. е. конца НЭПа и первые годы после него: масло сливочное стоило 70—90 коп. кг, сейчас 3 руб. 50 коп., при этом редко бывает в продаже; хороший белый хлеб — 5 коп. кг, а сейчас его нет в продаже совсем. Прошлый, 1963 год плохой белый хлеб стоил 25 коп. кг.

Прекрасные конфеты стоили 70—80 коп. кг., а сейчас — 3 руб. 50 коп. кг и т. д. Я, конечно, плохой экономист, но думаю, что не ошибусь, если при переводе этих арестантских 9 рублей с копейками на индекс продовольственных цен 1963—1964 годов приравняю эти 9 руб. к 45—60 рублям нынешней зарплаты. А мы знаем, что миллионы низкооплачиваемых рабочих и служащих (как то уборщицы, сторожа, дворники... и даже те же счетоводы) получают 30—35 рублей — не больше, т. е. в полтора раза меньше, чем получали арестанты на жизнь в 20-х годах в Соловках.

Все заключенные очень держались за денежную оплату пайка, особенно те, кто не получал поддержки с воли. На эти 9 рублей можно было не только прокормить себя, особенно при вегетарианском питании (картофель, капуста, морковь и др. овощи стоили в Соловках со своих огородов буквально гроши), но на эти деньги можно было купить чулки, платок и даже хлопчатобумажное платье, а этого заключенным не выдавали от казны, и в то же время обходиться без них нельзя.

Обмундирование женщин находилось в Соловках на каком-то странном неопределенном положении. Верхние бушлаты военного образца выдавались женщинам, как я говорила выше, то ли как форма — старостам, нарядчицам, дневальным и т. д. То ли как награда, и шились по индивидуальному заказу и мерке в пошивочной мастерской. Эти же бушлаты, но старые, заношенные и засаленные выдавались шпане без всякого контроля и учета. Промежуточный слой заключенных женщин ходил в своих пальто и шубах, в своих платьях, в своем белье. Проститутки не носили в Соловках ситцевые платья и бязевое белье: у них чемоданы ломились от шелкового белья и платьев. А женщины честные и работяги старались выкроить и покрыть все свои нужды все из той же девятки.

Внизу, в первом этаже против входной двери, была кухня, чистая, теплая и уютная. Там почти всегда был кипяток, который заключенные брали в свои чайники и кофейники со своей заваркой; можно было довести до кипячения на плите, если кто любил такой чай и кофе.

В кухне на плите были вделаны два котла: один для первого — борща или супа; второй — для каши, пюре и т. д.

Была и другая плита, на которой готовили заключенные кто что хотел, но обычно не сами, а оставляли на попечение кухарки, прося отставить, когда сварится, а сами уходили на работу.

Количество пищи было вполне достаточное: кухарка безотказно давала надбавку, и все-таки к вечеру оставались и борщ, и каша, которые кухарка упрасивала разобрать, т. к. ей нужно мыть и чистить котлы.

Обычно женщины на тяжелой работе, как то прачки, огородницы, уборщицы, хотя получали паек деньгами, но вечером, вернувшись с работы, шли в кухню на разведку: «Что у тебя осталось, тетя Паша, и вкусный ли сегодня борщ? А какая у тебя каша, стоит ли за ней приходить?..»

Шли не только с тарелками, но с котелками — «чистить котел». Некоторые женщины-работяги на самом деле оставались в кухне после ужина помочь кухарке, тете Паше, и котлы почистить, и крупу перебрать, и картофель с морковкой почистить или помыть, и погреться, погрызть семечки, посудачить о новостях дня — словом, то был демократический клуб... Было полным нарушением соловецких традиций, что Анну «посадили на котел». Новость мгновенно распространилась по «метрополии» — главному Соловецкому острову, где находилось управление Соловецких лагерей особого назначения — УСЛОН.

— Как, что, почему? — Ага, нашла коса на камень... Ну и негодяй, ну и подлец! Прямо бешеный бутай!.. Самое сволочное начальство из самих же заключенных!

А кого из заключенных и поставят командовать над заключенными? Только последнюю сволочь...

— Словом, у него в кабинете было целое сражение: «бешеный бугай» орет свое, де, переведу тебя в личные секретари к себе в кабинет, а «наша учительница» так его и кроет, так его и кроет: мразь, хлам, негодяй!.. Ишь, новости завел — «посадил женщину на котел», чтоб принудить ее к сожительству... Ну, не на такую напал! Это тебе не хромоножка, которая молилась на него, как на икону!..

Страсти и дебаты сотрясали Соловки. В такой обстановке нечего было и думать, что Станислав остался бы в полном неведении о происшедшем... Анне выражали сочувствие, давали советы, из-за какого-то упрямого самолюбия и негодования (как будто голодом можно кому-нибудь, особенно негодяям, что-либо доказать) Анна ничего не брала из котла и сидела на картошке и чае. При наличии хлеба — это не голод!

Анна написала заявление начальнику Соловецкого лагеря, прося перевести ее на другую работу — «точку», как принято было называть место всякой работы. На начфина Шульгинова Анна Скрябина прямо не жаловалась, чтоб не объяснять причин, а ссылалась на то, что они «не сработались» в финотделе. При этом просила восстановить ей денежный паек.

Паек ей дали месяца через два, а эта двухмесячная задержка свидетельствовала о том большом влиянии, которым пользовался Шульгинов среди вольнонаемного начальства.

Станислав Данишевский развил между тем огромную деятельность среди своих друзей — поляков, обсуждая с ними вопрос, куда лучше всего устроить Анну, имея в виду, конечно, свободу свиданий.

Среди его друзей были люди с положением, с лагерной точки зрения. Так Анна Васильевна попала в небольшую кустарную гончарную мастерскую, которая стояла на краю лагеря в нескольких шагах от большого тракта, идущего вдаль — на Анзер.

Эта кустарная мастерская выделяла глиняную посуду для всех Соловков: миски, кружки, горшки, банки для цветов и т.д. Работа была нетрудная, но очень грязная: нужно было отбирать хорошую посуду от бракованной и первую посылать на обжиг и облив, делать кое-какие простые украшения и орнаменты на посуде и т.д. Анна Васильевна была и браковщицей, и художницей, но, так или иначе, а каждое сырое глиняное изделие должно было пройти через ее руки и оставить на них свой след.

С утра в комнате, где работала Скрябина, было очень холодно. Потом делалось все жарче и жарче, и к концу работы Анна изнемогала от жары и часто простуживалась.

Заведующий гончарной мастерской поляк Адам Казимирович, красивый шатен лет 36, галантно целовал Анне руку, когда она приходила на работу, во всем шел ей навстречу и старался облегчить ее грязную работу, понимая, что это — тяжелая жертва любви. К концу работы руки у Анны становились грязными, и вся она, лохматая, потная и усталая, меньше всего походила на даму в салоне, которой целуют руки элегантные мужчины. И все-таки перед уходом Анны Адам Казимирович изящным жестом подносил ее руку к губам, чем вызывал возмущение и протесты ее:

— Адам Казимирович, утром, когда у меня чистые руки, я еще допускаю этот жест учтивости, но вечером, когда я такая грязная, грязные руки, грязный халат, ваш жест только подчеркивает наше несчастье, наше ужасное положение заключенных, и я готова разрыдаться, хотя я не из плаксивых, прошу вас, не целуйте, прощаясь со мной, моей руки! Я знаю, что вы друг Станислава, а, следовательно, мой, но мне плакать хочется вечером, когда вы склоняетесь в поцелуе моей руки, не надо!

— Анна Васильевна, я преклоняюсь перед вами за ваше мужество и стойкость и не только целую вашу руку, но жму ее! — и он крепко пожимал грязную руку Анны.

«Что делать, это сила привычки, — думала Анна, — если бы он был матросом, то хлопал бы меня — кухарку или судомойку — по плечу или спине, а я бы взвизгивала от восторга!»

Днем или перед вечером забегал минут на 10–15 Станислав, тоже целовал ее грязную руку и тянулся к губам. Анна страстно и нежно целовала его губы и глаза, особенно «мой косенький глаз»! Как странно, но очевидно правильна народная поговорка: нет худа без добра — в этой тяжелой финотдельской истории! Иначе мне не пришлось бы даже так, урывками, его целовать!

Приближалась весна, оттепель и Пасха. Скоро откроется навигация. Скорей бы! С обувью у Анны дело обстояло плохо: в валенках по лужам далеко не уплывешь! Правда, в резерве у Анны лежат на сберкнижке две пятерки, присланные матерью Илюши, но жаль трогать этот неприкосновенный фонд, когда вот-вот должны прийти из Москвы ее вещи, в том числе и обувь. Хорошо, что утром и вечером заморозки еще дают возможность ходить в валенках.

Утром на Пасху Анна пошла в «Мюр и Мюрилиз» купить что-нибудь к праздничному чаю. Одета, как всегда, в свою овчинную романовскую шубу, правда, в ней уже жарко, и Анна ходит нараспашку. Обута в валенки, на голове вязаная шапочка с голубым помпоном набекрень. Спустилась в полумрак пассажа, сразу стало прохладно, поглядела вдоль пассажа; странно, что за фигура движется ей навстречу и кто этот человек в белой манишке, во фраке, галстук, лакированные блестящие туфли...

«Что за привидение? — думает Анна. — И на воле я уже лет девять не видела в жизни мужчин во фраках, только на сцене! Война, потом революция! Какие фраки, не до фраков! Но кто этот чудаков?!»

Вдруг фигура с возгласом: «Анна Васильевна! Анна Васильевна!» — подкатилась к Скрябиной, нагнулась, галантно поцеловала руку и прошептала: «Христос воскрес!»

— Милый Антон Адамович, я тоже поздравляю вас с праздником! Поэтому вы так и одеты? Мы просто как привидения с вами в пещере! Ну и пара! Он во фраке; она — в полушубке и валенках, и в таком виде приглашаете меня пройтись с вами по пассажиру?! Ну, хорошо, идемте, раз вы обещаете мне рассказать что-то интересное. Благо людей мало! Рассказывайте!

— Милая Анна Васильевна, что было этой ночью, вы не можете себе представить! — снова целует обе руки Скрябиной.

— Смотрите, Антон Адамович, вы что-то расцеловались сегодня! Вот нарветесь на Станислава или начальство — вам влетит!

— Ничуть не влетит! Вы, собственно, как русская, должны бы со мной похристосоваться по-русски, но я, как католик, ограничиваюсь только целованием ваших ручек!

Так слушайте, дорогая пани Аннет! Сегодня ночью ушли все в Анзер (за 18 км) и присутствовали там на пасхальном богослужении. Там наши ксендзы, и они так торжественно служили, что многие мужчины плакали от умиления, в том числе и православные! Верующие православные присоединились к нам, многие из них тоже плакали! Им много лет не приходилось слушать в заключении пасхального богослужения. Ну до чего хорошо! Я верующий и тоже плакал! А потом мы все коллективно разговелись по-братски. Ну до чего же было хорошо, как тысячу лет тому назад, когда ваш патриарх Фотий не поругался еще с нашим папой и была единая вселенская католическая церковь!

— А вы знаете, Антон Адамович, что русский философ и поэт Владимир Соловьев в наше время проводит идею соединения Восточной и Западной церкви, т. е. Православной и Католической, с полным сохранением в каждой из них всех своих обрядов, особенностей ритуала и богослужения, накопившихся в той и другой церкви за все века существования этих церквей.

— Вот и хорошо! Значит, Владимир Соловьев очень умный человек! — воскликнул Антон Адамович. — Я вот думаю, пани Анна, я переговорю с нашими ксендзами, мы вас украдем и отвезем потихоньку в Анзер, и они обвенчают вас со Станиславом. Вы будете муж и жена, а что Бог соединил, того люди да не разлучают. Потом мы привезем вас украдкой обратно, и все будет шито-крыто!

— Какой вы фантазер, Антон Адамович! Во-первых, я боюсь, что и вчерашнее ваше богослужение не пройдет вам даром, и начальство обо всем узнает! Из нескольких десятков людей обязательно найдется хотя один доносчик и предатель, и, вероятно, тот, кто больше всех плакал сегодня ночью от умиления!.. Но меня удерживает от этого шага не боязнь и благоразумие, а просто мне это не нужно. Я в Бога личного не верю, верю только в природу-космос; я — пантеистка! А Станислав, по-моему, тоже неверующий. Скажите, он был сегодня ночью на пасхальном богослужении? Вот видите — не был! Значит, я права — он атеист. Поэтому я не нахожу нужным вмешивать в наши отношения с ним ни церковь, ни государство, т. е. загс. Любовь должна выдержать испытание временем. У меня пять лет, у Станислава — три года. Если же любовь не выдержит этого испытания, то ей не поможет ни церковь, ни загс.

— Нет, не беспокойтесь, пани Аннет! Ваша любовь со Станиславом выдержит испытание длительной разлукой! Он перед вами преклоняется — боготворит вас!

— Посмотрим! Я тоже на это надеюсь, но цену нашей любви покажет будущее! Кстати, переговорить с ксендзами, чтобы обвенчать меня тайно со Станиславом, предлагала мне еще одна католичка — восточная! Вы, конечно, не знаете, но в Москве существовала небольшая церковь, которая в духе идей Владимира Соловьева представляла собой соединение православной церкви и католической!

— Но позвольте, я это знаю! Это — униатство! — заметил Антон Адамович.

— Нет, это не униатство, — авторитетно заявила Анна Васильевна. — Униатство представляет смешение православных обрядовых форм и католических и возникло как компромисс между Востоком и Западом! А восточный католицизм, или кафолическая церковь, восстанавливает в чистом виде православие XI века, как оно было до Фотия и до разрыва церквей, и считает, что Фотий — мелочь, частный факт, а духовное единение православного Востока и Запада нерушимо с XI века. Никакого, де, разрыва не было, т. е. он был, но его нужно игнорировать полностью. Я это хорошо знаю, т. к. десять лет тому назад приняла это восточное католичество, изучая философию Владимира Соловьева, я даже для дипломной работы по философии взяла тему «Гносеология Владимира Соловьева».

— Анна Васильевна, вы — невероятная, непостижимая женщина, хотя идете рядом со мной! Я кое-что слышал об этом, но считал, что это преувеличение, соловецкие сплетни о вас. Один ваш тайный поклонник в Соловках, узнав кое-что о ваших философских увлечениях от ваших однодельцев, считает вас даже современной Ипатией и каркает, что вы так же трагически погибнете, как эта александрийская женщина-философ. Кстати, как она погибла?

— Она была растерзана александрийской чернью, как философ-атеистка, не без подстрекательства со стороны христиан, как предполагают некоторые историки.

Кстати, приняв восточное католичество, я быстро впала в ересь, стала задавать неудобные вопросы, оспаривать принятые всеми незыблемые положения. Вероятно, у меня вообще еретический склад ума и натуры, который плохо мирится с догматическими положениями в религии, политике и философии.

Один из первых вопросов, что задал мне следователь, был: «За что вы арестованы, по вашему мнению?»

«За то, что я 10 лет тому назад приняла восточное католичество», — ответила я.

«Какая вы католичка, когда все восточные католики, как один, утверждают, что вы еретичка.

Правда, все восточные католики арестованы до одного, и церковь их разгромлена, но вы к ним давно не имеете никакого отношения, как еретичка», — информировал меня следователь Хайкин.

Здесь, в Соловках, я встретила одну из пожилых восточных католичек, которая и предложила мне проект, аналогичный вашему, — обвенчать меня со Станиславом в Анзере с помощью ксендзов, словом, все католики очень беспокоятся, что я совершу прелюбодеяние в Соловках, не вступив в брак.

— Анна Васильевна, не считайте меня таким узким и ограниченным человеком, как эта старая женщина, хотя, впрочем, и она, и я хотим вам добра! Я ничего, к сожалению, не знал об этом интересном течении в русской религиозной и философской мысли!

— Конечно, вы желаете мне добра, спасибо, Антон Адамович! Если вас это течение интересует, то я должна сказать вам, что главой этой церкви был священник Владимир Абрикосов из московских богачей Абрикосовых, владельцев кондитерских фабрик. Матушка, т.е. жена этого священника, Анна Ивановна Абрикосова, была из этой же фамилии Абрикосовых, т.е., являлась его кузиной, оба они были прекрасно образованными людьми и окончили в Англии Оксфордский университет. Да вообще семья эта очень культурная, и брат Анны Ивановны Абрикосовой Алексей Иванович Абрикосов является крупным советским ученым и членом Академии наук СССР. Эта старая восточная католичка рассказала мне о судьбе многих своих однодельцев. «Матушка» Анна Ивановна Абрикосова, очень больная, была сослана после тюрьмы в глухой район Восточной Сибири и там погибла. Все остальные члены общины были рассеяны по ссылкам, тюрьмам и лагерям. Но идея объединения Восточной и Западной церквей, с полным сохранением каждой автономии своих церковных обрядов и

обычаев, — эта идея не погибла, т. к. среди философов и ученых, высланных в начале 20-х годов за границу из России, были сторонники этой идеи, в том числе и священник Владимир Абрикосов, который стал в Риме первым кардиналом из русских. Сохранив на Западе полностью восточную обрядность XI века. Так ли это или нет, проверить невозможно, но это был бы умный дипломатический шаг Ватикана на пути религиозного объединения Востока и Запада!..

— Говорите, говорите, Анна Васильевна! Это меня очень интересует. Я — верующий католик, и эта идея меня привлекает, вдохновляет!.. Она открывает такие перспективы!..

— Нужно вам сказать, Антон Адамович, что тогда же были высланы за границу наши русские философы-идеалисты: Бердяев, Булгаков, Шестов, Кузьмин-Караваев и другие, со всеми ними я встречалась в студенческие годы в университетском философском обществе под председательством Лопатина, профессора московского университета, тоже философа-идеалиста, редактора журнала «Вопросы философии».

Мы, молодежь, слушали их выступления и диспуты довольно критически. Это было для нас старшее поколение седовласых стариков. Кузьмин-Караваев был, впрочем, человеком средних лет, членом восточной католической церкви, но с женщинами он не разговаривал и даже не поднимал на них глаза, чтоб не впасть в грех! Словом, «с той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа повязал и с лица стальной решетки ни пред кем не поднимал!..»¹⁹ Кузьмин-Караваев готовился к принятию сана священника, и за границей стал им...

Жена Бердяева примкнула к восточной католической церкви еще в Москве, но сам Бердяев, хотя изредка бывал в этой общине, резко полемизировал и опровергал идею Владимира Соловьева. Детей у Бердяевых не было, и поэтому особенно заметна была борьба в этой маленькой семье за идеологическое единство. Жена тянула его в восточное католичество, а сам Бердяев стоял за гегемонию Востока: «С Востока свет!»

Кто победил в этой борьбе за границей, я не знаю, но знаю, что влияние этих высланных из России философов-идеалистов на философскую мысль Запада и всего мира все больше возрастает, я думаю, что буржуазная философия всего мира воспримет основы философского идеализма этих русских философов-изгнанников. Сам Владимир Абрикосов в области философии ничего нового не даст: он — томист. На этой почве у нас были с ним горячие споры, когда он был еще блестящим светским человеком, а потом священником:

¹⁹ Строки из стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный...» А. С. Пушкина.

— Ты — католичка, дочь моя Анна, и, как философ, должна изучить томизм в совершенстве!

— Не могу, отец Владимир! Томизм — очень скучная система! Мне нужна такая философия, чтоб она пленяла мой ум и волновала мое сердце!

— Какая же, например, — спрашивал отец Владимир.

— Например, философская система Джордано Бруно, которого католическая церковь сожгла в 1600 году. Конечно, я это и раньше знала, до присоединения к католической церкви, но... но раньше я это знала, как прискорбный исторический факт, а теперь это лежит на моей совести католички и жжет мое сердце так, как будто собственноручно подкладываю ему дрова в костер! Я не могу вынести такой ответственности, я уйду от вас!

— Дочь моя Анна. Джордано Бруно сожгла не католическая церковь, а инквизиторы-ослушники, которые нарушили волю папы, а папа непогрешим и непричастен к этому преступлению. Папа издал после его сожжения буллу о его реабилитации! — пояснял отец Владимир.

— Какое мне дело до реабилитации Джордано Бруно через десятилетия и столетия после его смерти — сожжения на костре! Какое мне дело до этой папской буллы, если даже она была издана! Реабилитирующая булла не вернет жизни величайшему мыслителю!..

Нужно сказать, что Владимир Абрикосов проявлял, как пастырь и оппонент, величайшее терпение в диспутах со мной! А однажды он сказал мне очень интересную мысль, о которой я думаю много лет: «Ты должна понять, дочь моя, что в мире есть только две интернациональные силы: католичество и коммунизм, и между ними идет борьба!.. Я тебя ценю, как философа, и поэтому советую изучать томизм и марксизм, как основные системы католицизма и коммунизма! — увещевал меня отец Владимир.

— Не хочу: обе скучные схоластические системы! — заявила я...

— А как вы, товарищ католик, относитесь к сожжению Джордано Бруно католической церковью в 1600 году?

— Дорогая пани Анна, зачем вы ставите такие страшные вопросы перед собой и мной? Ведь от таких вопросов можно с ума сойти, если над ними серьезно задуматься! Признаюсь, я над этим никогда не задумывался! Я — верующий католик, а не философ. Я — инженер, а не богослов и не историк. А отец Владимир Абрикосов — умный человек, раз признает, что в мире есть только две силы: католицизм и коммунизм!..

Пани Аннет, вечером пришлю вам кулич и пасху! А завтра украду в оранжее розу и тоже преподнесу ее вам! Разрешите зайти на минутку к вам в

гончарную мастерскую, чтоб вручить розу? Она будет закутана в бумагу, так что не видно будет, что я несу!

— Категорически запрещаю вам красть розу в оранжерее! Иначе выгоню вас из мастерской! Ну как вам не стыдно?! Все время твердите мне, атеистке, что вы — верующий католик, а на Пасху будете воровать!

Сегодня ночью плакали от религиозного умиления, а завтра стащите розу?! Мужчины, прямо как дети! У них ничего не объединено и не связано в сознании, мировоззрение торчит на отлете само собой, а поступки идут своей дорогой независимо от него!

А потом вы придумали: принесете розу в газете, но в бараке я же не могу ее держать в газете, а должна поставить в воду на стол или тумбочку! Вы подумали, какая лавина вопросов обрушится на меня в связи с этой розой? Затем все розы в оранжерее на счету. Вы, конечно, украдете лучшую и самую красивую; ее хватятся, а она окажется в девятой камере женбарака на тумбочке у Скрыбиной. Нет, довольно сплетен обо мне в Соловах!.. Нет, Антон Адамович, вы просто сорокалетний ребенок, хотя крупный известный инженер!

А теперь нам нужно расстаться! Мы так с вами заговорились, что скоро закроют магазин, а мне нужно купить кое-что. К тому же перед закрытием «Мюра и Мюрилиза» приходит надзор, и нам совсем не следует попадать в поле их зрения, особенно вам — во фраке!.. Я очень признательна вам, что вы доверили мне тайну пасхального богослужения. Дай Бог, чтоб это не раскрылось!

— А я вам очень благодарен, пани Анна, что вы рассказали такие интересные вещи о восточной католической церкви и об идее соединения церквей!

Антон Адамович пожал и поцеловал руку Скрыбиной и скрылся в глубине «Пассажа», сверкая своими лакированными туфлями и всем своим пасхальным парадным одеянием, как пришелец из другого мира.

Анна улыбнулась, удивляясь необычной встрече и разговору в «Пассаже» и подумала: «Меня окружает много поляков; это, вероятно, результат «войковского набора». Многие думают, что поляки — неискренний, двуличный народ, мне здесь даже говорят, предупреждая, некоторые женщины: улыбаются в глаза и руки целуют, а потом, не задумываясь, удар в спину кинжалом нанесут! А мне нравятся поляки! Пусть лучше неискренняя учтивость, чем искреннее хамство русского человека, например — Шульгинова!

В то же время прав Николай Александрович Добролюбов, считая основной чертой простого русского человека — деликатность! В крови трудового русского человека деликатность, а хамство свойственно только туеядцам, т. е. привилегированным классам России, по Добролюбову», — думала Анна, и с этими мыслями вошла в магазин.

17 глава

Началось таяние снегов, солнце сияло, почки набухли. Вот-вот вскроется лед в бухте и откроется навигация. Мать Илюши продолжала слать раз в два-три месяца пятерки, как ни уговаривала ее Анна в своих письмах не делать этого. Анна представляла бедность этой семьи, в прошлом очень богатой, представляла, что кроется за этим выражением Елены Федоровны «сэкономила на хозяйственных расходах». Но нечего делать, дальше ходить в валенках нельзя; простудишься, свалишься, да и валенки развалятся, а впереди еще четыре зимы до конца срока. Анна взяла деньги со своей сберкнижки, на которую клала эти пятерки матери Ильи, как аварийный фонд, и купила себе простые ботинки и калоши. Эти же деньги помогли Анне в трудное время, когда она два месяца «сидела на котле», не пользуясь им из самолюбия и обиды. Правду говорит русская пословица: свет не без добрых людей!

Что бы делала Анна эту первую зиму в Соловках, если бы «тетя Шура» не принес ей свой полушубок и валенки в ленинградскую пересылку? Страшно подумать, и Анна нервно вздрагивала от мысли о возможных физических страданиях... А эти пятерки, что она получала от Елены Федоровны, и ее нежные материнские письма! Да, трудно жить заключенному в Соловках без регулярной помощи с воли! Это не только в Соловках, а везде и всюду — в тюрьмах, в лагерях и в ссылке.

В простых ботинках и калошах, в распахнутой шубе Анна наслаждалась весенним воздухом, серебристыми перламутровыми далями Белого моря! Да, да, поэтому и называется «Белым». Таким же нежно перламутровым было и небо!

Анна выходила в садик сзади барака, смотрела на березки и их набухавшие почки... Как будто боль и лед с ее души тоже сползали и медленно таяли. А все-таки вот рядом проходит дорога смертников, по которой тогда, зимой, провели босого мужчину в одном белье, с папиросой, зажатой во рту, с гордо поднятой головой и со связанными сзади руками. Значит, он не мог курить, а только сжимал папиросу зубами?

А как пошел на расстрел Илья? Так же, как этот смертник? Почему Павел многократно и даже как будто в утешение мне повторил в этапе, что Илья перед расстрелом сошел с ума? Какое же это утешение, когда от этого делается еще страшнее, чем от зрелища смертника с гордо поднятой головой?

Что Илья делал перед смертью: ругался, рвал одежду, вопил, выл... Не поверю и не верю Павлу! И это жизнь? Жизнь такая, что сквозь мрак ничего не видишь и на воле! А все-таки надо жить и как-то строить жизнь, как эти грачи и прочая пернатая братия, прилетевшая на север!

Надежда, томление, переходящее в боль, красота пробуждающейся природы так волновали Анну, как будто ей снова было 18 лет: «Но отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник?», — думала Анна и чувствовала, что русская классическая литература и поэзия дают ей силы жить. Без них не было бы духовной почвы, на которой твердо стоишь в страдании и горе. «Для меня слово — не праздный звук, — думала Анна, — а внутренний факел, который все освещает и концентрирует все силы души на борьбу со злом и ложью!»

Скоро березки покрылись как бы зеленым пухом молодой листвы, а ели стояли сзади них еще темней и величественней. Солнце пригревало, и почва высыхала.

Станислав, заходя в гончарную мастерскую, краснел, вспыхивал и страстно шептал:

— Аннусь, чего ты ждешь? Давай останемся здесь вдвоем после работы. Адам нас запрет!

— Никогда мы здесь не останемся вдвоем! Ты спрашиваешь, почему? Потому, что здесь грязно, противно, а потом я не хочу, чтоб Адам знал... Это тоже противно и унижительно!

— Аннусь, я здесь приберу и сделаю уютное гнездышко! А что касается знания, то, поверь мне, ни один человек в Соловках не сомневается в том, что мы с тобой давно близки. Да, да, не удивляйся! Еще зимой, когда мы ходили с тобой в кино, меня поздравляли, как счастливого любовника. Да, да, поэтому Шульгинов бесился и посадил тебя на котел!

— Послушай Стась, как же так? Что же ты отвечал на поздравления?

— Что я мог отвечать?! Я молчал, опуская глазки, как барышня! Или молчал, улыбаясь. Молчал, ничего не утверждая и не отрицая. Если бы я отрицал, никто бы мне не поверил, и это только бы умножило и подогрело сплетни о нас...

— Стась, скоро я приду к тебе поздно вечером в лес, и мы будем вдвоем. Или никто не будет знать, или я попаду в руки конвоя! Ты стой в тени деревьев с правой стороны Анзерской дороги, а я буду идти по этой дороге. Смотри, не идет ли кто-либо за мной. Если я одна иду или бегу одна, без шпиона, без спутника, выходи из-за деревьев мне навстречу, и я брошусь к тебе!

— Аннусь, правда?

— Правда, Стась! Я знаю, что и тебя. и себя я измучила!

— А когда, Аннусь?

— Скоро! Пусть чуть-чуть еще подрастет травка и листья на деревьях распустятся больше... Через неделю я думаю, мы будем близки!

Через неделю Анна бежала по Анзерской дороге, задыхаясь и прижав руку к сердцу... Из тени деревьев выступил Станислав, схватил ее за руку и повлек ее

с дороги, освещенной серебристым туманом белой ночи, в густую тень деревьев. Анна бросилась ему первый раз в жизни на шею. Станислав прижал ее к себе и сказал: «Боже мой, как стучит твое сердце! Успокойся, ты вся дрожишь! Тебе никто не встретился? Хорошо, что на дороге никого не было! Страшно?»

— Очень было страшно, когда бежала по дороге! Страшнее, гораздо страшнее, чем когда приговорили к расстрелу в 20-м году!

— Разве тебя, Аннусь, приговаривали к расстрелу? — спросил Станислав, увлекая Анну вглубь леса.

— Ах, обмолвилась, — спохватилась Анна, — я не хочу об этом с тобой говорить и не хочу об этом вспоминать! Это было в 1920 году. Ты лучше скажи, куда ты меня ведешь? И не заблудимся ли мы в лесу?

— Как могу я, лесной человек, леший, заблудиться в лесу?

Вскоре ввел ее в темную группу елей и показал на свою шубу, разложенную на траве:

— Вот, Аннусь, наше брачное ложе и наша брачная спальня!..

Северное лето сияло и расцветало, сияла и расцветала любовь в душе Анны:

— Подумай, Стась, я первый раз в жизни счастлива в любви! Подумай только, где настигла меня любовь? В Соловках!!!

У Стендаля любовь всегда приключается в тюрьме («Пармская обитель») или дорогой на эшафот — «Красное и черное»!

У всех ли так бывает или у меня только: кого я любила в 18 лет, меня не любил, а позже и много раз: кого я не любила — любили меня! И только здесь, в Соловках — чудесное совпадение моей и твоей любви!

Мне делается даже страшно: а вдруг нет и в нашей любви совпадения, а только взаимная страсть — страсть зрелых людей! Неужто все быстро перегорит?..

Твоя простота и нежность, Стась, излечили меня, — часто повторяла с благодарностью Анна Станиславу. Я стала женщиной поздно, в 23 года, но это не дало мне счастья, наоборот, родило отвращение к интимной жизни человека вообще. Вероятно, нечто подобное испытывают изнасилованные женщины, особенно молодые девушки. Поэтому у меня возникло убеждение: только незавершенная любовь прекрасна, а завершенная — отвратительна!.. Как я была не права. По существу, это — средневековая теория любви! Средневековые Лауры и Беатриче и прочие дамы, в честь которых писали сонеты и ломали шпаги рыцари, которые жили со своими кухарками.

— Я знал, Анечка, что ты... что у тебя какой-то надрыв в прошлом... Я это чувствовал! — часто повторял ей Станислав. — Ты спрашиваешь, Аннусь, когда я это почувствовал, — когда ты меня мучила, и я видел, что и себя ты мучаешь...

Я видел зарождение и любви, и страсти в тебе зимой, и в то же время твое упорное нежелание остаться со мной вдвоем под разными предложениями в мастерской. Подай ей лес! А вот через два-три месяца начнутся снова дожди, что ты тогда скажешь? Тоже подай тебе лес?!

— Да, в мастерской я никогда не буду тебе близка! Во время дождей будем ходить в кино и в театр, как раньше! А зимой лес так же прекрасен по-своему, Может быть, еще лучше, чем летом! И я очень благодарна тебе, что ты, не споря со мной, терпеливо ждал меня в лесу! Что бы ни случилось со мной в будущем, я буду всегда светло вспоминать нашу любовь в Соловках, как самое гармоничное мое чувство в жизни! И как это получилось, что ты, такой простой и ясный, полюбил меня, такую изломанную и запутанную?!

— Друг мой, почему ты так говоришь? Разве мы не будем вместе на воле? — тревожно и удивленно спрашивал Станислав.

— Я не знаю, — отвечала Анна, — будешь ли ты меня ждать и любить через два года после своего освобождения. Ведь ты уедешь раньше меня на два года! А ты ведь... влюбчив более, чем я. Не возражай! Я тебя не осуждаю! Просто у тебя такая натура, а у меня — другая!.. Время покажет стойкость и емкость — диапазон нашего чувства, а уверять друг друга и говорить о будущем нашей любви — не стоит! Если бы не было разлуки, то я уверена, что мы были бы Пульхерией Ивановной и Афанасием Ивановичем современности!

Так говорили они то в мастерской, то в интимной обстановке в лесу, то в кино и в театре. Адам Казимирович, пожав руку Станиславу, сейчас же уходил, чтоб оставить его с Анной вдвоем поговорить и поцеловаться украдкой. Адам, конечно, догадывался, что отношения Станислава и Анны вполне определились, и вел себя с удивительным тактом, как и другие поляки, которые забежали на минутку в гончарную мастерскую, чтоб «поцеловать ручку шановной пани». А ручка «шановной пани» была по-прежнему грязной, огрубевшей, с трещинами от глины, воды и холода. Анна с грустью смотрела на свои еще недавно красивые руки, которыми все восхищались, в том числе и она сама. Заходил изредка и Антон Адамович, даже положил один раз прекрасную розу на стол, завернутую в газету, чтоб не бросалась в глаза.

— Честное слово, не крал! — взмолился Антон Адамович, встретив суровый вопрошающий взгляд Анны. — Просто выклянчил у заведующего оранжереей своего друга-поляка, соврав ему, что сегодня день вашего рождения!

Станислав также часто приносил Анне лесные и полевые цветы в букетах, как делают их дети: головки цветов плотно прижаты друг к другу и букет представляет собой разноцветный плотный шар. Анна сейчас же передельвала букет и поучала Станислава: цветы должны стоять в букете так же свободно, как на лугу или в лесу!

С открытием навигации Анна получила из Москвы свои платья и пальто, но все изъеденные молью, т. к. целую зиму комната была запечатана. Анна стала одеваться, как культурная женщина, со вкусом, но сохранила неизменную привязанность к овчинной шубе и валенкам, которые так выручили в первую зиму в Соловках. В конце лета 1928 года приехала в Соловки ревизионная комиссия. Ее долго ждали и готовились к ее приезду. Режиссер театра, талантливый человек лет 40—45, сочинил со своими актерами шутивную пьесу типа музыкальной комедии-водевиля и подготовил ее к приезду комиссии.

«Хороши по весне комары! Чудный вид от Секирной горы!» Так пелось в этой музкомедии. Правда о Соловках обыгрывалась так, что приятно щекотала нервы высоких зрителей: вот-вот актеры скажут суровую правду о Соловках, но в последнюю минуту — шаг назад, и следовал фиглярский выпад и жест умолчания, как на придворной сцене!

Только, конечно, Мольер был для заключенных актеров и сочинителей непревзойденным образцом гражданской зрелости и мужества.

Да этого и нельзя было требовать от заключенных актеров и автора. Постоянным рефреном этой музкомедии были слова:

*А кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами!
Проживете года три иль пять,
Будете с восторгом вспоминать!*

В ответ на этот рефрен члены комиссии добродушно колыхали своими толстыми животами от смеха. А сначала они вопрошающе посматривали друг на друга, не зная, как вести себя при этом припеве: то ли хмуриться, то ли смеяться.

После отъезда комиссии этот водевиль долго еще не сходил со сцены Соловецкого театра, но странное дело — он внушал Анне такую горечь, отчаяние и отвращение, что она не могла ни видеть его, ни слышать. Какой там смех, когда на глаза наворачивались слезы: бессознательно всплывали в памяти картины по «дороге смерти» и жуткие откровения тети Тани о Секирной горе, откуда, действительно, открывался «чудный вид от Секирной горы» на широкие жемчужные дали Белого моря и весь сказочный архипелаг соловецкий — декорация к «хрустальным покойникам»!

К тому же этим летом 1928 года Анна воочию убедилась, какая настороженная тишина стоит в Соловках во время побега, как вопрошающе смотрят друг на друга в глаза заключенные, шепотом спрашивая: «Что слышно? Еще не поймали?! Что будет, что будет? Пошли Бог удачи этим смельчакам!..» И религиозные люди, действительно, молились за счастливый исход их безумно смелого предприятия, как потом — после расстрела — за спасение их души.

Иногда проходило несколько недель, а положение было неясное: то ли погибли, то ли добрались до Финляндии или Норвегии, то ли поглотило их море, то ли подобрал их какой-либо корабль. Так было и этим летом с двумя беглецами. Возможно, предполагали заключенные, поэтому и комиссия приехала проверить, на достаточно ли прочном замке заперт остров и где слабые звенья его изоляции. Лишь только тогда можно судить об успехе побега, когда сообщение об этом появится в заграничной печати и кто-либо из приехавших на свидание потихоньку скажет об этом своему родственнику-заключенному, к кому приехал в Соловки. Слухи часто перерождались в легенды, в которые Анна не верила: так, она никак не могла поверить, что в 20-х годах за границей появились даже фотографии заснятых трупов тифозных, сваленных как дрова в Соловецких подвалах. Если они и были в заграничной печати, то это не «фото», а просто реконструкции, как в кино, созданные на основании слов беглеца из Соловков.

Анна Скрябина не могла предвидеть, что будет в лагерях в 1937 году, в 1947 году и в последующие годы; словом она не могла «зреть» и «прозреть», что будет через 20—25 лет, чтоб иметь материал для сравнения, но даже тогда, с 1927-го по 30-е годы, Скрябина находила, что Соловецкий лагерь проводит гуманный режим в отношении личных свиданий с родственниками, — вне всякого сравнения с другими лагерями того времени. После 30-х годов личные свидания мужа и жены, родителей с детьми, наоборот, детей с родителями давались на два-три дня. В Соловецком же лагере личное свидание ближайших родственников продолжалось две-три недели и обычно давалось на все время служебного отпуска приехавшего.

Анна Скрябина старалась быть объективной в оценке событий и положения в Соловках, несмотря на тяжелые личные переживания: жизнь исковеркана, научная карьера сломана, здоровье и годы неумолимо уплывают, а, главное, исчезла вера в справедливость и в правду!

Жизнь и самый их процесс («музыка-ширма») превращены в фарс. Какая-то моральная пустота обволакивала Анну, несмотря на радость взаимной любви.

18 глава

Осенью перед закрытием навигации пришло письмо, которое потрясло Анну, т. к. она даже не догадывалась о силе ее привязанности к матери Ильи. Писал отец его о смерти Елены Федоровны. Письмо было проникнуто мужской скорбью и сдержанным отчаянием.

Отец писал Анне, что выполняет волю умершей жены, которая очень любила Анну и шлет ей свое предсмертное благословение и свою неизменную любовь, и пожелание счастья в жизни.

Отец сообщал, что Елена Федоровна любила Анну, как родную дочь, много думала и говорила о ней, особенно последние месяцы перед смертью, которую она ждала и предчувствовала. Несколько дней Анна перечитывала это письмо, скорбя о невозвратимой утрате, и чувствовала не умом, а каким-то опустевшим уголком сердца, что связь с миром, с материком, с Москвой, прервана навсегда!

Александр Тихонович Вагин — «тетя Шура» — вот уже год не пишет; следовательно, и не будет писать, думала с горечью Анна. И упрекать нельзя, раз Софья Федоровна получила за знакомство со мной три года Соловков, даже не посещая камерных концертов «ширмы». Жутко жить!!!

И никакая любовь не спасет меня от этой черной жути, окутавшей для меня всю жизнь и весь мир! И сколько я ни думаю об этом, в моем сознании не укладывается и опрокидывает всякую логику требование московского следователя Хайкина: «доносить, доносить, доносить!..»

Я понимаю, продолжала Анна нить своих мыслей, в каждом государстве требуют от свидетелей под присягой, чтоб они говорили правду. И Соня говорила правду:

— Да, Анна Васильевна Скрябина посещала какие-то камерные концерты с Ильей Федоровичем Вариным. Почему я не бывала на них? — Потому, что меня не интересует музыка! Почему я не донесла на Скрябину в ГПУ? Но, позвольте, о чем же доносить?! Разве посещение концертов, кино, цирка и т.д. является политическим преступлением в Советском Союзе, что об этом нужно доносить в ГПУ?

Так отвечала Соня, так отвечала я! В ответ я слышала циничный смех следователя Хайкина, угрозы проучить и просветить меня... «Вот посидите в Соловках, тогда перестанете наивничать и будете знать, что обо всем нужно доносить в ГПУ!»

Такая циничная система доносов, думала с содроганием и отвращением Анна, не существовала даже сто лет тому назад при царе Николае Первом. Для того чтобы убедиться в этом, стоит только прочитать А. И. Герцена — «Тюрьмы и ссылки».

Ничто так не разлагает морально нацию, как система доносов! Всеобщие доносы друг на друга, особенно среди князей, в период татарского ига! Доносы и опричнина с эмблемой — собачья голова и метла у седла — при Иване Грозном! Собачья голова символизировала верность опричников царю, а метла — символ очищения, выметания крамолы из Руси!

Века пыток и казней, казней и пыток. И через эти века пыток и казней, через века доносов, разлагающих народную душу, народ вышел, как сказочный богатырь, здоровый душой и телом, сохранив основные высокие моральные качества, о которых говорит Добролюбов в своей статье «Черты для характеристики русского простонародья».

Для Анны итогом всех этих раздумий философско-исторического характера стал вывод, что она обречена в жизни на полное одиночество, т.к. жизнь без искренней дружбы, товарищеской солидарности и светлой любви, спаянной этим моральным цементом — доверием и дружбой, — она не мыслила. Любовь к Станиславу давала ей радость и забвение, но не надежду перерасти в такую любовь-дружбу, как у Александра Герцена к Натали, как у Карла Маркса к Дженни, как у Николая Чернышевского к Ольге...

Наступила вторая зима 1928—29 года, свидания, прерванные поздней осенью, возобновились в лесу в зимней обстановке. Анна упорно отказывалась от свиданий в гончарной мастерской, несмотря на уверения Станислава:

— Все так делают! Ты просто, Аннусь, ненормальна в своем отвращении к замку! Как раз это и создает безопасность для свидания — когда замок висит снаружи! А что Адам нас запрет и будет знать, что у нас ночь любви, то... то... какое это имеет значение, когда все в Соловках знают, что мы живем с тобой, как муж и жена?

Поверь, Аннусь, о тебе говорят со мной без всякой двусмысленности, как о моей жене; передают поклоны и приветия, как моей жене...

А Адам и Антон даже предложили себя в качестве шаферов-свидетелей при венчании и уговаривают оформить брак по-католически тайно в Анзере, конечно, при помощи ксендзов. Ты же знаешь эту навязчивую идею Антона?

— Да, да, Стась, Антон говорил мне об этом на Пасху еще в прошлом году, когда мы долго философствовали с ним в пассаже... Если любовь наша глубокая и прочная, то она не нуждается ни в церковном, ни в светском оформлении, тем больше, что мы с тобой атеисты. Если же она хрупкая и ненадежная, то ничто ей не поможет: ни церковь, ни загс, это покажет будущее, когда ты уедешь из Соловков на два года раньше меня. Тайный церковный брак не легализует наших свиданий в Соловках в глазах администрации... И я люблю встречи в лесу! Оказывается, я более лесная женщина, чем ты — леший!

Анна быстро катилась колом в своих валенках по Анзерской дороге. Снега сияли и искрились под луной. Столбы вдоль дороги гудели, звенели, пели... Анна оглядывалась в тревоге назад, не мчится ли кто следом за ней из конвоя. Анна идет все быстрее, быстрее, наконец, бежит, задыхаясь. Вот черная фигура выступает, как всегда, справа от дороги из-за деревьев. Анна секунду зорко всматривается, не преследует ли ее конвой, узнает Станислава и бросается ему на грудь, затем один и тот же вопрос Станислава:

— Тебя никто не встретил по дороге? Тебе не страшно, Аннусь?

— Да, Стась, ужасно страшно было бежать по дороге! А теперь с тобой ничего не страшно!

— Пойдем, Аннусь, — увлекает Анну Станислав. — Я дорожку тебе протоптал вглубь леса! Я пришел на час раньше тебя и все приготовил. Я веток еловых набросал в нашей спальне!.. Ты не замечаешь, Аннусь, что каждое наше свидание я устраиваю в новом месте? Когда ты уходишь, и я провожу тебя до дороги, я возвращаюсь обратно и разоряю дотла наше гнездо, чтоб надзор не натолкнулся на него...

— Да, спасибо, Стась!!! Ты, кажется, примирился, что я упорно настаиваю на свиданиях в лесу? Посмотри, как сказочно красиво лунной ночью зимой в лесу! Красивей даже, чем летом!

— Да, конечно, чем красивей, тем опасней, — иронизирует Станислав. — Лучше не было бы Луны!

Однажды, в начале 1929 года, Анна со Станиславом смотрели большое северное сияние во время свидания. Это было изумительное по красоте зрелище, которое Анна запомнила на всю жизнь. До этого зимой 1927—28 года Анна видела только отдельные небольшие вспышки северного сияния, безусловно красивые, но далекие и быстро проходящие. Это были или многократно повторяющиеся зигзаги световых воланов, как изображают обычно северное сияние в учебниках и на картинах, или отдельные снопы света, льющиеся на землю с высоты неба. В эту ночь природа превзошла самое себя: над Анной и Станиславом была как бы середина — эпицентр северного сияния. От него шла на землю и непрерывно менялась жемчужная, сияющая ткань, образуя как бы колокол-шатер, опирающийся на землю. А внутри этого сияющего и струящегося шатра-колокола стояли на земле двое влюбленных, обнявшись и подняв вверх запрокинутые головы. Анна на вытянутых руках держалась за плечи Станислава, чтоб не упасть, настолько далеко назад под углом была запрокинута ее голова, созерцая необыкновенную красоту неба.

Станислав держал ее обеими руками за талию, тесно прижав к себе и тоже запрокинув голову.

Лучи лились из центра неба непрерывным мигающим потоком, образуя сплошной замкнутый полог шатра непередаваемой красоты, а двое влюбленных стояли в самом центре этого шатра.

Вероятно, это была эгоцентрическая иллюзия, и каждому человеку, возможно, казалось в ту минуту при наблюдении этого необычного северного сияния, что он стоит в центре мироздания.

А лучи лились и лились, и Анна, торжествуя, прошептала в экстазе:

— Наша любовь, как это северное сияние! Мы обвенчались с тобой, Стась, этой ночью необычным северным сиянием лучше всех ксэндзов в Анзере!.. Помни эту ночь всю жизнь!

— Да, буду помнить! — прошептал Станислав и, взяв поочередно ее руки со своих плеч, нежно и с благодарностью поцеловал их и снова прижал их к своим плечам. Двое потеряли представление о времени, так что когда кончилось северное сияние, они не могли определить, сколько оно продолжалось: полчаса, час или пять минут, а на часы ручные они позабыли взглянуть. Когда Анна шла снова по Анзерской дороге домой, т. е. в женский барак, она невольно повторяла любимое свое и Евгения фетовское стихотворение, но не его пессимистическое начало («Измучен жизнью, коварством надежды...»), а его жизнеутверждающие строки из середины и конца об общении с космосом: «И все, что мчится по безднам эфира, и каждый луч, плотской и бесплотный — твой только отблеск, солнце мира, и только сон, — только сон мимолетный! Так легких грез в мировом дуновении, как дым несусь я и таю невольно, и в этом прозрении, в этом забвении легко мне жить и дышать мне не больно!»

Анна снова понимала, как в прежние благодатные минуты прозрения, что без красоты природы и родной поэзии нельзя жить — задохнешься, как в темном, безвоздушном, каменном мешке. Пантеистические переживания человека являются самыми мощными, хоть Анна снова не могла решить, какого они характера: то ли эстетического, то ли религиозного, то ли музыкального, как говорили в старину — «гармония и музыка небесных сфер»... Анна была уверена, что в гении воплощается национальный дух и сердце народа, и в свою очередь питает настоящие и грядущие поколения и воспитывает их в национальном духе: гений раскрывает тайну национального характера и духа и снова отдает ему всего себя.

А вот Сонечка, когда я ей читаю Тютчева и Фета, не понимает этого: «Вы, Аннет, такая умная женщина, — часто говорила Софья Федоровна, — но на вас порой находит какой-то стих, совершенно для меня непонятный!»

И Анна осознала, что она этот «стих» от всех скрывала всю свою жизнь, за исключением Евгения, которому это было свойственно, даже более, чем ей. Что это было? — полная конгениальность натур и духа, но без любви? Для любви, может быть, нужна не конгениальность натур, а полная их противоположность, как... как... у меня со Станиславом? Но в этом есть что-то страшное — «поединок роковой»!.. Воображаю, что бы сказал Стась, если бы я ему прочитала одно из своих любимых стихотворений?! «Что это, Аннусь, я ничего не понимаю! Или я совсем дурак, что, зная русский язык, ничего не понимаю?»

Когда Анна вернулась в барак, все говорили о необыкновенном северном сиянии, какого не припомнят даже сторожили Соловков. А все-таки на вопрос Анны о длительности его, она получала самые разноречивые ответы и даже не ответы, а описания такого рода: «Да, оно продолжалось долго, а как долго — не представляю!

Кто-то крикнул: «Женщины, необыкновенное северное сияние, скорей на двор!» — вот я и выскочила не двор, не накинув даже головного платка, т.к. боялась, что оно рассеется раньше, чем я выбегу во двор. Стояла, дрожала, вся замерзла, как... как облитая водой на Секирной горе! А оторваться и отвести глаза от неба, чтоб одеться, никак не могла...»

«Да, да, — твердила другая женщина, — это чудо! Это неспроста! Это Бог послал нам, как знамение! Чего?! Радости или горя?! Вы бы, Анна Васильевна, не о минутах заботились бы, сколько оно продолжалось, а объяснили бы нам, как ученая женщина, что это за знамение Бог нам послал на небе!..»

В конце концов, Анна махнула рукой и рассудила: ты не астроном и женщины тоже! Это только астрономы засекают первым долгом время появления небесного явления! И успокойся, а то начнешь, как эти малограмотные женщины, гадать о причине и значении этого северного сияния. А причины северного сияния, кажется, даже ученые не раскрыли до сих пор со времен Ломоносова.

В конце зимы Станислав Данишевский был переведен в Анзер в качестве начальника лесозаготовок. Станислав почти скрывал в Соловках, что он закончил Ленинградский лесной институт и получил диплом ученого лесоведа.

— При чем тут лесоводство?! — говорил Станислав Анне, — когда идет сплошное уничтожение лесов, а я люблю лес, это единственная творческая точка в моей личности!.. Раньше, когда купец или подрядчик покупали лес, они вырубали его дочиستا, и сейчас так же вырубают лес дотла. А какая роль отводится при этом инженеру-лесоустроителю? Роль ученого свидетеля, такая же ужасная, как роль врача при казни человека!..

Последнее соображение Станислав привел и начальству, пытаясь отказаться от должности начальника лесозаготовок.

— Но, позвольте, — сердито сказали ему, — вы ведь были на воле начальником леспромхоза?! Мы как-то проморгали эти сведения в вашем деле и напрасно держали вас два года кассиром кремлевского магазина. Вы работали, правда, быстро, аккуратно, без просчетов, но все равно мы подыщем на ваше место другого грамотного человека, а сидеть за кассой до конца срока мы вам больше не позволим... Ваше место в лесу!..

— И вот, Аннусь, мое место оказалось в лесу, как место врача — у плахи! Чего я боялся, то и случилось!

Анна утешала его, как могла, скрывая свое отчаяние и говоря, что ему лишь год осталось сидеть в Соловках.

— Ты представляешь, Аннусь, что значит быть начальником над заключенными на лесоразработках? Я не говорю об обжитом Анзере, где есть хотя старые

бараки для заключенных на лесоразработках, а как начинаются они на новом месте в лесу силами заключенных? Идешь с партией заключенных в несколько сот человек; по бокам телепается конвой. Пришли в лесную глушь за десятки километров от последнего человеческого жилья. Мороз градусов 40 и все крепчает, нет не только ни одного барака, но даже шалаша. Люди выбились из сил, и тут первая твоя забота не дать им сесть, иначе замерзнут, вот и говоришь им:

— Товарищи заключенные! Я понимаю, что вы устали. Я сам устал не меньше вас, а все-таки сесть отдохнуть нельзя — замерзнем! Берите топоры и рубите деревья на костер, в этом наше спасение — иначе смерть!!! А завтра начнем строить шалаши и бараки для себя. Только сами себя мы можем спасти от смерти!!!

Тут нужен человек твердый и горластый! А ведь ты знаешь, Аннусь, что я человек мягкий и, возможно, безвольный. Мат до сих пор, даже с лесорубами, не усвоил и застревает он у меня как-то в горле, как комок, даже самому смешно! Вероятно, потому что я поляк, родился и воспитывался в Варшаве, а у нас в Варшаве мат сочили бы чем-то чудовищным, диким и противоестественным!

Свидания Анны со Станиславом стали реже, но происходили по-прежнему в лесу. Станиславу приходилось идти 18 км пешком на свидание да столько же обратно, но отказаться от них Станислав не хотел, доказывая Анне, что только свидания с ней его поддерживают. Он похудел, побледнел, т. к. новая работа и должность его очень морально угнетали: «Доктор, прикованный цепью к эшафоту, чтоб удостоверять смерть казненных!» — твердил Станислав и безнадежно махал рукой, откидывая прядь мягких каштановых волнистых волос со лба; левый его глаз грустно косил. — «Бедненький мой косенький, бедный мой леший!» — ласково утешала его Анна.

19 глава

Пришла весна 1929 года, и тут с Анной произошло несчастье, обычное у женщин в ее положении: она забеременела. Анна не допускала мысли родить в Соловках, да не только в Соловках, над ней еще тяготел образ «русской мадонны» и ее клятва там, в Краснодарской губчеке, среди умирающих тифозных, никогда не быть матерью в это трагическое время, чтоб не попасть самой в положение «русской мадонны».

Законные жены тоже не рожали в Соловках, несмотря на еженедельные легальные свидания с мужьями. Эти свидания продолжались с вечера субботы до утра понедельника, когда нужно было идти на работу. Бездумно рожала только шпана. Только одна законная жена родила ребенка в Соловках, но... и он был не от мужа.

Незадолго до Анны и ее однодельцев прибыли в Соловки муж и жена — цыгане, люди малокультурные, даже малограмотные, молодые, красивые, особенно цыганка. Она была лет 30, а он цыган — лет 35. Оба они получили по 10 лет (максимальный срок заключения тогда) за убийства. Несмотря на красоту, они отличались бандитскими, зверскими глазами, особенно она. Ведущую роль в преступлениях убийства играла жена, но муж, как говорят, взял часть ее вины на себя, чтоб спасти жену от расстрела. На воле у них остался у бабки маленький сынишка.

Сначала они получали на общих основаниях личное свидание, как муж и жена, но потом цыганка Зара стала приходить в барак после свиданий вся избитая, в синяках.

Муж ее зверски избивал на почве ревности, и не без оснований. Он ревновал Зару к вольнонаемному начальнику охраны на Соловках. Цыганка Зара после многих избиений отказалась от личных свиданий с мужем и стала жить открыто с начальником охраны. Мужа ее угнали на далекую штрафную командировку, поскольку он грозил убить и жену, и ее любовника. Муж кончил трагически: его застрелил конвой «при попытке к бегству» — не без инспирации со стороны начальника охраны, как думали заключенные.

Через год Зара родила прекрасную девочку-метиску. Черные цыганские локоны, огромные серые глаза и белое умяное личико.

Начальник охраны поехал в Москву, добился снижения срока Зары до пяти лет, а когда она отсидела свой срок, он женился на ней и усыновил свою дочь и ее сына от цыгана.

Анна знала всю эту историю из уст самой Зары, т. к. она была постоянной клиенткой Анны, которая шила цыганке шелковые платья и вышивала ей шелковое белье.

Зара была нечто среднее между шпаной и соловецкой дамой из вольнонаемного состава, так сказать — элита шпаны. Поэтому она могла позволить себе роскошь материнства в Соловках. Шпана выигрывала на материнстве в том отношении, что ее не посылали тогда на работу, тем более тяжелую: яслей и детского сада в Соловках не было, о будущей же судьбе ребенка и своей собственной шпане не свойственно задумываться. Во всяком случае и на воле, чем интеллигентнее женщина, тем меньше ставит она себе цель стать матерью-героиней с 8—10 детьми.

Об этом же свидетельствует и статистика матерей-героинь, если обратить внимание на социальное и служебное положение их самих, и их мужей.

Анна бесповоротно решила сделать аборт, с чем согласился и Станислав, хотя при этом немного похныкал:

— Я так люблю детей, особенно маленьких! Другие мужчины начинают любить своих детей только о двух-трех лет. У меня же какая-то странность: чем меньше ребенок, тем я отношусь к нему нежнее.

Этакая маленькая «искорка жизни», которую нужно оберегать от каждого дуновения! И что замечательно, эта маленькая «искорка жизни» отзывается на твою нежность! Знаешь, Аннусь, по-моему, природа что-то перепутала у нас с тобой! Я должен был, вероятно, по замыслу природы родиться женщиной, а ты — мужчиной, но в последний момент природа передумала: я — мужчина, а ты — женщина!

Знаешь, Аннусь, один раз, еще студентом, на летней практике таксации леса я жил в глухом лесном районе у одной молодой бабенки с ребенком-младенцем. Она с мужем спит ночью, как бревно, а младенец орет.

Я вскакиваю и иду к нему: не могу я переносить ребячьего плача. Распеленаю, посмотрю, что там у него делается, подложу сухую пеленку, возьму на руки и хожу с ним по комнате — баюкаю. Если он не голоден, то успокоится и заснет, а если голоден, то одной ласки ему мало.

Тогда я иду к ним, да как двину ее со злостью в плечо: «Вставай сию минуту и дай ребенку грудь!» Младенец очень меня любил, больше, чем своего отца, и тянулся ко мне на руки, а не к отцу, а бабенка эта просто привыкла, что я у них ночная нянька...

Аннусь, может быть, мы сохраним нашу «искорку жизни»? Я буду очень ее любить!

— Нет, Стась, это невозможно, тем больше, что ни у меня, ни у тебя нет родных, которые взяли бы к себе на время нашего ребенка...

У тебя еще год, у меня больше трех! Потом, вероятно, ссылка тебе и мне... При этом в разные районы страны! Нет, я не могу взять на себя такую ответственность! Это невозможно! Но меня очень трогает твоя любовь к младенцам! Ты не стесняйся этой любви, как слабости, Стась! Герцен — очень мужественный человек, однако очень любил маленьких детей!

Никто так трогательно и нежно не писал о них, совсем крошечных и даже еще не родившихся, и о беременных женщинах, как Александр Иванович Герцен! Его страницы о лондонской великосветской проститутке, которая родила ребенка и скатилась в силу этого до панели, чтобы ребенок не умер с голода, — потрясающие, лучшие страницы мировой литературы о материнстве!

— Разве?! — удивился Станислав. — Я этого не знал и скрывал свою любовь к маленьким детям, как величайшую свою слабость. Теперь не буду ее скрывать. Знаешь, когда я стесняюсь взять на руки чужого незнакомого младенца, он сам

тянется ко мне до тех пор, пока я его не возьму на руки. Как они догадываются, что я их люблю?!

Прошел месяц-два; Анна терзалась в колебаниях и сомнениях, т. к. это была ее первая беременность и аборт, вероятно, задерживал и терзал инстинкт материнства, свойственный каждой женщине, но глубоко запрятанный и задавленный Анной созерцанием «русской мадонны», — инстинкт материнства, особенно мощный у тридцатилетней женщины. Как часто Анна думала, особенно теперь: была бы я художником, я бы написала эту «русскую мадонну», да так, что перед ее безносым образом скелета с мукой в человеческих глазах люди бы дрожали от ужаса и боли. Антипод Сикстинской мадонны в такой же мере, как умирающий от голода скелетик младенца на ее руках — антипод пухленькому Христу Сикстинской мадонны!

В начале лета 1929 года Анна легла в кремлевскую больницу на аборт, женщины-гинеколога в больнице не было. Операцию произвел врач-азербайджанец Ахметхан, красивый мужчина лет 40. На второй день после аборта Анна, слабая и как-то морально опустошенная, получила письмо от Станислава. Она взяла письмо в руки, радостно дрожа от волнения, и сразу задохнулась, прочитав его: Станислав сообщал, что завтра его отправляют с сотней лесорубов на материк, что он должен возглавить лесоразработки далеко на востоке в европейских предгорьях Урала — в области Коми. Письмо было короткое, горькое и отчаянное. Станислав умолял Анну, если она может стоять после аборта, подойти к окну больницы и ждать у окна, пока не проведут мимо окон больницы колонну заключенных, с ним в том числе: «Так мы должны проститься и, быть может, навсегда!» — подумала Анна.

Началось сильное кровотечение от волнений, как будто Анна подняла огромную тяжесть, медицинская сестра доложила лечащему врачу-хирургу. Ахметхан сел у кровати и внимательно посмотрел на Анну:

— Что случилось? Почему кровотечение? Его не должно быть! — тихо и вдумчиво сказал доктор и взял руку Анны за пульс.

Анна умоляюще посмотрела на Ахметхана и прошептала:

— Доктор, что хотите делайте со мной, но чтоб завтра я была на ногах! Вот! — и Анна протянула Ахметхану письмо Станислава, т. к. ей мучительно было даже говорить. Ахметхан снова внимательно и с состраданием посмотрел на Анну и сказал:

— Хорошо! Вы завтра будете стоять у окна и проводите вашего друга, а сейчас вы заснете на 12 часов. Я дам вам сильное снотворное!

На другой день, рано утром, Анна проснулась, обалдевшая от долгого сна, но физически окрепшая; даже румянец появился на ее щеках. Она пододвинула стул к окну, села на него и стала ждать.

Прошел час, два, три... За это время Анна просмотрела заново всю свою жизнь. Права она была в жизни, попадая из одного трагического положения в другое? С точки зрения приспособления к жизни — не права, а с точки зрения сохранения своей чести, честности и самоуважения — права. Вопрос о приспособлении к жизни тоже нельзя сбрасывать совершенно со счетов. Интересную мысль высказал в середине 20-х годов один крупный московский психиатр в своей книге: де, в начале революции появилось очень много сумасшедших, а потом, по мере развития революции, сумасшедших становилось все меньше и меньше — приспособились!

Пожалуй, это верно: только сумасшедший и идиот не могут и не хотят приспособиться к жизни. Вот ты не приспособляешься и не хочешь даже попытаться сделать это — словом, неисправимая сумасшедшая, по мнению психиатра Рыбникова. Против него и его теории приспособления как критерия нормы ты упрямо выдвигаешь свою теорию «хребта»: лучше умереть стоя, не прогнувшись, с прямым хребтом, чем жить — с надломленным, а жить с переломленным человек вообще не может. Мастерами ломать хребет были монголы-завоеватели. Раз! Хребет сломан, и человек умирал!

Только ли монголы ломали нам хребет?

Действительно ли тебе нужно было вылезти на трибуну и защищать русскую культуру в 20-м году, когда начальник Особого отдела Лосев громил ее и русскую интеллигенцию?! Весь зал молчал, в том числе и коммунисты. А тебе нужно было защищать свой хребет, вплоть до расстрела? И как отвечал этот начальник Лосев делегациям: «сколько городов брал, а такой сумасшедшей женщины еще ни разу не встречал!» Сумасшедшая! Только ли с его точки зрения?!

А какой черт дернул тебя в 1923 году, когда тебя так хорошо приняли в отделе кадров Министерства высшего образования и направляли сотрудником в институт психологии при МГУ, да, какой черт дернул тебя написать в анкете на вопрос о марксизме, что ты не марксистка?! Я с удовольствием вспоминаю искреннюю реакцию на мою анкету пожилого, культурного ответработника отдела кадров: «Пойдемте!» — сказал он, грозно нахмурив брови после чтения моей анкеты. Мы поднялись на второй этаж, потом на третий, народу в коридорах становилось все меньше и меньше. Он быстро и крупно шагал, а я за ним почти бежала. На четвертом этаже людей совсем не было. «Так, — подумала я, — это он ведет меня в ГПУ. А где же оно у них тут? Ага, понимаю, оно у них на чердаке! Вот к лестнице и люку на чердак он меня и ведет!..»

Странно, был такой любезный, направление было почти в моих руках, и вдруг он взбесился! Отчего? Неужели от «марксизма»?!

Сотрудник действительно подвел Анну к лестнице под люком, поставил одну ногу на лестницу, впервые повернулся к Анне за все время своего стремительного бега и воскликнул, потрясая перед ее носом анкетой:

— Вы сумасшедшая?!

— Откуда вы это взяли? — обиделась Анна.

— Ну кто же, кто, кроме сумасшедшей, напишет в наше время и где? — в Москве! — напишет в анкете, что он не марксист?! Вы понимаете, что вы делаете?

— Понимаю! — вздернула нос Анна, — а что же, по-вашему, мне нужно написать в анкете, если я не хочу лгать?

Сотрудник тяжело вздохнул, сложил анкету и разорвал ее в клочья, обрывки положил в карман:

— Ведь приезжают же еще такие наивные люди из провинции, вот и поговори с ними! Она, видите ли, лгать не хочет! У нас в Москве уже давно перевелись такие наивные люди и сумасшедшие: видите ли, она гордо заявляет мне, что она лгать не желает! А кто спрашивает вас о правде?! Читайте, что угодно и как угодно на своих лекциях, но только все это называйте марксизмом! Поняли?! Нам очень нужны сейчас культурные силы, и у вас такая хорошая характеристика с юга, как о прекрасном лекторе и молодом, способном научном работнике...

Да, нам нужны молодые культурные силы, а будущее покажет, что из вас выйдет! В конце концов, марксистами не становятся в два-три года!

— Вот, именно, — обрадовалась Анна его последним разумным соображениям, — я в целом, как систему, не изучала еще марксизм, вот когда досконально изучу марксизм и если приму его, тогда и буду писать в анкетах, что я марксистка... И я совершенно не согласна с вами, что можно читать под видом марксизма все, что угодно — это нечестно, и я на это не пойду!

— Опять вы за свое — честность, правда и т. д.!

— Ну как же жить иначе, я не понимаю! — закричала Анна почти со слезами в голосе.

— Я говорю с вами, как с дочерью. Не упускайте тех возможностей, что я даю вам в руки. Вы мне кажетесь способным человеком! Не губите своей научной карьеры провинциальной наивностью! Потом вспомните меня и этот эпизод, но будет уже поздно! Итак, мировая! Пойдемте вниз, — и он скомкал разорванную анкету и сунул ее поглубже в карман пиджака, — я вам дам новый чистый бланк анкеты, и вы напишете в нем, что вы «марксистка».

— Я вам очень благодарна за благожелательность! Но написать так, хоть убейте меня, я не могу. Иначе я сама себя казню за ложь! Одна ложь вызывает другую — я не могу! — закричала Анна.

Сотрудник схватился за голову, потряс ее и бросился бежать вниз по лестнице. Это было в 1923—24 году, а теперь, в 1929 году, т. е. пять лет спустя, ты бы написала в анкете, что ты марксистка? — спросила себя Анна. — Да, написала бы, хотя марксизм, как систему, по-прежнему не изучала. Что ж Времена меняются, и мы в ходе их! Не меняются только сумасшедшие! Шизофреник и через 20 лет остается шизофреником, или шизофрения стала уже излечимой болезнью?!

Может быть, я шизофреничка?! Ведь говорил же мне влюбленный в меня психиатр, когда доходил до крайней степени отчаяния и горя, объясняясь мне в любви: «Вы — шизофреничка!» Я — не знаю, может быть, да, знаю только и чувствую, как много мне впереди еще страдать в жизни!

А жить необходимо!

Анна опустила голову на руки и застыла у окна в холодном оцепенении, потеряв представление о времени. И внезапно вздрогнула, увидев появившуюся из-за угла здания колонну заключенных мужчин, идущих пятерками, и услышав равномерный топот их ног.

Анна встала, выпрямившись, у открытого окна, тревожно отыскивая в рядах Станислава, нашла его и впилась в него глазами. Он был бледный и жалко ей улыбался, потом поднял руку в приветственном жесте и низко ей поклонился. Они встретились глазами, и все кончилось: колонна прошла. Анна снова опустилась на стул, обессиленная и опустошенная, потеряв снова представление о времени. Она сидела тихо, не шевелясь, уставившись в окно пустыми глазами, без слез, без мыслей.

Наступила незаметно ночь. Анна этого не сознавала: весь мир, казалось, умирал, и она продолжала сидеть, не шевелясь, коченея от ужаса одиночества.

Подошел доктор Ахметхан, положил руку ей на плечо и спросил, не дать ли ей вчерашнего сильного снотворного, чтоб она спала еще 12—15 часов.

— Нет, не надо! Спасибо! Я и так превратилась в чурбан, в бревно!

— Тогда идите в постель; будете спать или нет, но вам нужно лежать, отдыхать.

Анна легла, вытянулась и только теперь почувствовала, как она измучена и устала.

Да, о чем я думала, ожидая колонну заключенных со Станиславом? О хребте... о сумасшествии, как утрате способности приспособляться... о том, как ты сама сломала свою научную карьеру анкетой и своим упрямством... К черту карьеру, когда сама жизнь сломана на куски... о шизофрении... да, если принципиальность, стойкость и идеологическую честность могут проявлять только шизофреники или, мягко говоря, шизоиды, то... пусть я останусь на

всю жизнь шизофреником... а Станислав, что сейчас думает и переживает Станислав?..

И так всю ночь Анна не спала и мучилась. Буря чувств, образов и идей клочкотала в ее груди — fuga idearum²⁰! Так Анна пролежала, почти ничего не евши, пять суток. Нельзя сказать, что она не могла двигаться от слабости; нет, просто казалось бессмысленным каждое движение.

20 глава

Через пять дней доктор Ахметхан вызвал Анну через медицинскую сестру в свой кабинет.

Вероятно, в связи с выпиской, спокойно подумала Анна. Пора! Я залежалась в больнице! Поправилась после аборта, а что сердце сдает, то это только начало пути, ведущего к могиле!

Доктор Ахметхан поздоровался с Анной очень приветливо, расспросил о самочувствии, сказал, что здоровье ее в норме, кроме сердца:

— А сердце нужно беречь! Это самый уязвимый и слабый пункт в вашем организме! Ничего страшного пока нет! Вы молоды и можете преодолеть расширение и невроз сердца, а также опасные тенденции миокарда... но нужно себя беречь и избегать опасных перегрузок и рабочих и... и эмоциональных... э... э... волевого перенапряжения... а-а... а также грустных воспоминаний — и свежих, и далеких. Это ничего вам не даст, ничего не вернет, а сердце разрушает!.. Я... очень благодарен вам за доверие, что вы дали мне прочитать последнее письмо... э... вашего друга Станислава Данишевского...

Боже мой, подумала Анна, что он мямлит, волнуется и мучает меня! Выписать меня можно было гораздо проще, через медицинскую сестру или регистраторшу.

Ахметхан грустно и с сочувствием смотрел на Анну. Его большие черные восточные глаза затуманились его собственными воспоминаниями, очевидно, тоже не радостными.

— Вы, доктор, правы, но это часто не в нашей власти... и с судьбой трудно бороться! — сказала Анна и поморщилась при слове «судьба», т.к. этого слова она не выносила: «Черт знает, что ты плетешь, — мысленно упрекнула себя Анна. — Вольно же перекалывать свою глупость и безволие на судьбу! Ты еще «судьбе» припишешь свою неудачу с институтом психологии, когда глупо и упрямо отказалась написать в анкете «марксистка»! Судьба — только внешняя проекция твоего я, и за нее отвечаешь только ты!» — пронеслось в уме Анны, но вслух она поблагодарила доктора горячо и искренне за его лечение и чуткое отношение к себе.

²⁰ Вихрь идей (лат. Fuga idearum) — медицинский термин, характеризующий быструю смену незаконченных мыслей.

— Вы, Анна Васильевна, прекрасная женщина! — сказал Ахметхан почти равнодушно и спокойно, как о факте, несколько его не затрагивавшем.

Но Анна вспыхнула до ушей, даже до груди; комок сжал ее горло и сердце превратилась в комок:

— Боже мой, что он говорит? Ведь это относится к моему телу — не личности! Да, да, ведь я лежала вся голая перед ним на столе, когда он меня потрошил! Боже мой, что, что мне делать? Он помнит мое тело! Ну что за гнусная профессия быть хирургом-гинекологом! Никогда бы ее не выбрала, если бы была мужчиной!.. Ну, милая моя, — зло усмехнулась над собой Анна, — вот если бы у тебя была не беременность, а рак, ты бы другое запела и молилась бы на хирурга-гинеколога, как на икону... Идиотка. Покраснела, как 16-летняя девочка!

Анна сидела молча и опускала голову все ниже и ниже, браня себя последними словами.

— Да, да, вы — прекрасная женщина! Я в этом убедился! — продолжал Ахметхан, подтверждая догадку Анны, что его комплименты относятся к ее наготу телу. — Собственно, мне бы нужно было отложить этот разговор с вами на несколько месяцев, пока не заживет ваша рана в сердце в связи с отправкой на материк вашего друга, но больше мы не встретимся с вами наедине вдвоем в такой обстановке. Жизнь есть жизнь, и у нее свои права на нас! Я согласен ждать вас пять-шесть месяцев. Вы разрешите мне надеяться и ждать вас?

— Нет, нет, Ахметхан! Я погибла, я знаю себя! Это будет тянуться не пять-шесть месяцев, а пять-шесть лет! Как было со мной в 18 лет, когда я полюбила впервые, а он меня нет. Человек в основном не меняется: «Каков в колыбели, таков и в могиле!» Меняется человек только в мелочах! А когда я люблю, мне никто... никто в мире не нужен, кроме любимого. Нет, Ахметхан, я очень ценю вас, как человека, и советую выбрать себе простую русскую малограмотную женщину — не интеллигентку. Боже вас спаси — не интеллигентку, только простую русскую женщину! Ведь ваших землячек здесь нет ни одной!

Ахметхан долго задумчиво смотрел в глаза Анны, потом обиженно спросил:

— Вы, Анна, считаете меня настолько неинтересным и примитивным человеком, что для меня достаточно простой русской женщины, а интеллигентная скоро завянет со мной?

— Нет, Ахметхан, вы неправильно меня поняли, поэтому и обижаетесь. Вы знакомы с некоторыми произведениями Н. А. Добролюбова?

— Да, азербайджанская интеллигенция любит и изучает его с XIX века, и я считаю себя его почитателем. Добролюбов и другие революционные демократы

являются нашими политическими учителями, всей нашей группы, сосланной на 10 лет из Баку в Соловки. Но, Анна Васильевна, при чем тут Добролюбов?!

— При том, доктор, что Добролюбов для меня не только учитель в политике, а учитель жизни. Вы знаете, какую черту характера Добролюбов считает основной у русского народа, при этом у простого русского народа?

— Какую? Я этого не помню! — заинтересованно спросил Ахметхан.

— Деликатность! Деликатность — основная черта простого русского народа, а не интеллигенции и привилегированных классов русского общества. Поэтому вам понятно, почему я советую вам выбрать простую русскую женщину, а не интеллигентку? Право, вы не раскаетесь!

— Понятно. Возможно, я так и сделаю! А все-таки, как жаль! Мы могли быть с вами прекрасными друзьями, не только любовниками! Но я вам верю, что иначе вы не можете...

Анна встала, снова поблагодарила Ахметхана за лечение и сочувствие ей, попросила выписать ее и протянула ему руку. Он крепко пожал ее, и они расстались навсегда друзьями. Впрочем, Ахметхан передавал еще долго привет и поклоны через новую уборщицу Варвару. Варвара была обыкновенной простой женщиной, лет 35—40, но она выглядела старше своих лет: круглое, утомленное лицо и хорошие серые глаза. Через полгода Варвара порозовела, глаза ее засияли, и она призналась Анне:

— Ну до чего хороший человек наш доктор Ахметхан! Я на него прямо молюсь! Ведь я была, как женщина, совсем никудышная, просто инвалид... словом, все женские болезни, что существуют на свете, были у меня. Тошно было на свет Божий смотреть! Взялся лечить меня наш доктор Ахметхан; уж он повозился и помучился со мной, а вот вылечил! Теперь я баба хоть куда! Впору рожать! Я ведь с ним живу; я за него готова в огонь и в воду броситься! — прибавила Варвара, опуская глаза.

— Ну, что ж, Варвара, рожай! У тебя ведь, кажется, мужа нет на воле? — сказала с улыбкой Анна.

— Стыдно, Анна Васильевна! Мужа у меня, правда, нет; я вдова, но зато у меня есть двое парней 15 и 17 лет — сыновья, живут в деревне с матерью. Перед ними стыдно прийти из Соловков с младенцем на руках! Вы знаете, Анна Васильевна, какой добрый доктор Ахметхан! Наши-то в деревне голодают, так я посылаю отсюда им посылки. Чего только он ни наложит им в посылку: и харчей разных, и белья своего, и штанов своих для парней моих... Так что почитай посылка выходит его, а не моя. Вот какой это человек! Я готова за него умереть!

Анна задумчиво улыбалась чужому счастью и кивала согласно головой, подтверждая все, что говорила ей Варвара.

Как хорошо расстались мы тогда с Ахметханом, — вспоминала Анна, — во всех положениях, всегда и обо всем человек может говорить по-человечески с другим человеком, если они люди. Зато как скверно становится на душе, когда вспоминаю, как говорили об этом же самом и как грубо расстались мы с этим животным — начфином Шульгиновым.

Лето кончалось. Анна сидела часто после работы в садике сзади барака, разостлав что-нибудь на траве, и машинально занималась своим привычным делом — вышивала проституткам и цыганке Заре шелковое белье. Тоска и горе терзали ее душу неотступно. Анна сделалась совсем замкнутой, неразговорчивой и угрюмой. Изредка ее разыскивала среди кустов сада Софья Федоровна и старалась развлечь ее соловейскими новостями и сплетнями. Анна бледно улыбалась ей в ответ, Софья морщилась и говорила:

— Аннет, не улыбайтесь, ради Бога: у вас такая горькая и гадкая улыбка, что плакать от нее хочется!

Раньше, еще в Москве, когда Анна Васильевна грустила, Софья Федоровна нежно и шутивно обращалась к ней — «моя сероглазочка, моя пучеглазочка!» И Анна, несмотря на грусть, начинала улыбаться, не без основания предполагая, что Софи пародирует Вертинского: «Я люблю Вас, моя сероглазочка, золотая ошибка моя! Вы осенняя жуткая сказочка! Вы портрет из картины Гойя!.. Я люблю Ваши руки старинных католических строгих мадонн, Ваши волосы сказочно длинные... и углы оскорбленного рта!..» — совсем ваш портрет Аннет!

Теперь же при таком обращении к ней Софьи Анна так страдальчески улыбалась... вместо улыбки ее лицо пересекала такая гримаса страдания, что Софи приходила в отчаяние, впервые в жизни не находя пути к ее сердцу и душе.

— Что же мне делать, Софи? Улыбаться нельзя, плакать нельзя... а письма нет!

— Почему плакать нельзя? Плачьте, пожалуйста, это гораздо здоровее, чем так улыбаться, как вы! Смотреть на вас больно и страшно, когда вы так улыбаетесь! Аннет, вспомните, ведь вы же у меня герой, а я ваш верный Санчо Панса. Я так всегда вами гордилась, мой честный Дон-Кихот в юбке!

И так вдруг скапуститься от любви! Я этого от вас не ожидала! А что писем нет, так я готова растерзать Станислава! В чем дело — не пойму!

Наконец, через три месяца пришло письмо из Сыктывкара, в котором Станислав сообщал, что работает в качестве специалиста в лесном управлении в самом городе, живет на частной квартире в Сыктывкаре, комната у него прекрасная, хозяйка прибирает ее и содержит в полной чистоте, стирает его белье

и готовит пищу, а он отдает ей свой хороший паек специалиста и приплачивает деньгами... Словом, живет хорошо и просит о нем не беспокоиться!..

В конце письма дан сыктывкарский адрес. Ни слова нежности, надежды, любви, тоски по ней... Анна читала и перечитывала письмо, стараясь открыть между строк то, чего в нем не было.

Как же так? — спрашивала себя, Анна, — что случилось за эти три месяца? Или это из-за цензуры он так сухо пишет, при этом — деревянным языком? Правда, и в своих соловецких письмах, переданных через Софи, он был краток и косноязычен, но в этих письмах дело сводилось прежде всего к назначению свиданий... и торопливо, впопыхах, как о деле само собой понятном, о своих чувствах. Но и его косноязычие Анна находила тогда очень милым, как его косинку левым глазом. Но теперь — три месяца молчать, зная, как я переживаю внезапную разлуку с ним — на год раньше, чем конец его срока в 1930 году! Чем это можно объяснить? Я не понимаю, поэтому не могу ему простить это письмо!

Подошла Софи, внимательно посмотрела на Анну. У Софи была удивительная способность все понимать с одного взгляда на Анну, ничего у нее не спрашивая. Впрочем, это не только у мудрой Софии: ведь само слово «софия» означает в переводе с греческого «мудрость». Один пятилетний приятель Анны заявил, что у нее лицо «босое», и этим привел Софью в восторг!

Подошла Софья Федоровна и осторожно спросила Анну:

— Я могу поздравить вас, Аннет, с получением первого письма от Станислава, которого вы так долго ждали?

— Нет, Софи! — и Анна протянула письмо своей подруге.

Софья Федоровна прочитала письмо, глубоко вздохнула и протяжно произнесла: «Д-а-а-а!»

В ответ на это письмо, мучаясь и захлебываясь слезами, Анна написала такое же деревянное и дубоватое письмо, в унисон полученному ею: ни о чем не спрашивала, ни в чем не попрекала, не просила возврата нежности и не выражала надежд на встречу и будущую совместную жизнь; выражала только радость, что он так хорошо материально устроился в Сыктывкаре — почти на положении вольного человека, только без права выезда из Коми. Радовалась, что он снял такую милую комнату с заботливой хозяйкой, не выражая ни единым словом каких-либо ревнивых подозрений. Словом, желала ему счастья и быстрого освобождения.

Жизнь потекла снова в напряженной работе на службе и в бараке на частной работе, в постоянном трепетном ожидании письма Станислава... Может быть, другие письма будут теплее и сердечней?!

21 глава

Анну перевели из гончарной мастерской в бухгалтерию сельхоза счетоводом. Анна избавилась от грязных рук, вымазанных глиной, — словом, снова чистая работа! Но, Боже мой, как Анна ненавидела эту счетную работу! Как ей хотелось за работой склонить голову на скрещенные руки и заснуть. Она никогда не высыпалась, т. к. ночью до 3—4 часов вышивала шикарное белье и платья; тогда были в моде вышитые платья. Неутолимая постоянная потребность сна, вероятно, мучительней, чем постоянное неутолимое чувство голода и, возможно, больше разрушает организм. В этом вопросе Анна, вероятно, сделала грубый просчет: чтоб не голодать, она никогда не высыпалась.

Гончарную мастерскую скоро закрыли. Анна вспоминала о ней с нежностью, как о приюте любви и польском «великосветском салоне».

Бухгалтерия сельхоза помещалась в небольшом деревянном домике, одиноко стоявшем за кремлем, — последнее строение метрополии слева по анзерской дороге и идеальное место свиданий. Отсюда рукой подать до леса, но Анне не нужен был теперь лес и вообще ничего в жизни!

Анна Васильевна Скрыбина, конечно, не знала и не могла знать, что «социальная профилактика» 1927 года после убийства советского полпреда в Варшаве Войкова была генеральной репетицией 1937 года... 1947 года и последующих лет. Эта «социальная профилактика» — термин, введенный тогдашними юристами, очень смахивает на закон в Южно-Африканской республике, который теперь дает право фервудовской администрации сажать в тюрьму на три месяца каждого подозрительного негра без суда и следствия²¹. К сожалению, дело у нас не ограничивалось тремя месяцами. Люди, осужденные заочно «тройкой» чекистов под председательством Ягоды, получали от трех до 10 лет и расстрел, как Илья Варин.

Анна сидела за своим столом во второй комнате бухгалтерии в уютном уголке справа от двери и делала работу, которая казалась ей совершенно бессмысленной, а бессмыслица работы — основная черта каторжной работы, по Достоевскому.

Отупевшая, сонная Анна иногда опиралась головой на согнутую руку и мечтала упасть головой на стол и заснуть, спать... спать... долго, вечно! Иногда Анна, как бы очнувшись, осматривалась кругом и переводила взгляд на других сотрудников бухгалтерии, и жизнь казалась ей сном. «...И только сон, только сон мимолетный!»

²¹ Хендрик Френс Фервурд (1901 — 6 сентября 1966), премьер-министр ЮАР (с 1958), идеолог апартеида (расового разделения).

Иногда Анна вздрагивала от смеха окружающих мужчин, которые в перерыве рассказывали соловецкие сплетни, новости и старые анекдоты политического и сексуального характера. Последние они заканчивали шепотом или целиком переносили из-за Анны Васильевны в соседнюю комнату, из которой неслись взрывы захлебывающегося хохота.

Среди сотрудников бухгалтерии особенно был противен Анне один бывший белый полковник — человек уже пожилой, лет 55, седой, со слащавой улыбочкой, когда обращался к женщинам. Впрочем в бухгалтерии сельхоза работала только одна женщина — Скрыбина.

Иногда заходила на минутку бригадир огородниц, красная, загорелая и обветренная работяга, и две работницы оранжереи.

— Анна Васильевна, какие чудесные у вас губки, пухленькие, выразительные! — шептал полковник, наклоняясь в перерыве к ее стулу.

— Полковник, не говорите пошлостей! Мне неприятно вас слушать! — обрывала его Анна, а про себя думала: «На воле я ни разу в жизни не слышала пошлостей! Кто бы из моих поклонников на воле осмелился подступиться ко мне с пошлыми комплиментами? Никто! Или этот старый пижон — совершенный дурак, или в тебе самой что-то настолько изменилось, что позволяет дураку и ничтожеству подойти к тебе, сказать пошлый комплимент, чмокнуть в ручку, несмотря на твое запрещение!»

— Полковник, что за светский стиль вводите вы здесь?! Это же нелепо! Вы не понимаете, почему? Потому что мы на каторге! И нечего закрывать глаза на действительность! — резко обрывала его Анна.

— До чего вы суровая женщина, Анна Васильевна! Первый раз в жизни встречаю такую суровую особу! — понуро говорил полковник, ретируясь от ее стола. «Да, суровая! — думала Анна, вспоминая слова арестантской песни: «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые! Взгляни, взгляни в последний раз!...» Это когда я стояла в больничном халате у окна больницы, а Станислав проходил в строю арестантов и, действительно, взглянул в мои суровые глаза в последний раз... и больше мы никогда в жизни не встретимся, хотя сердце не хочет и не может примириться с этим!»

Наступила глубокая осень 1929 года. Единственным приятным было для Анны получение от Политического Красного Креста небольшой посылки на ее имя и на имя Софьи Федоровны. Сама Софья объявила об этом Анне с сияющим лицом:

— Подумайте, Анечка, значит, Алек на свободе! Как я счастлива, что мальчик вырвался на волю! Легально ли он живет, нет, скорее, в подполье в Советском Союзе или за границей?! Ничего не известно, но факт тот, что он не в тюрьме и

смог прислать нам посылки через Политический Красный Крест, как мы условились с ним в Пугачевской башне в Бутырке!

«Видите ли, Алек, — написала ему Анна еще в Пугачевке, — чтоб не было сомнений, что эта посылка будет именно от вас, а не стандартная от Политического Красного Креста, условимся, что вы вложите в нее что-нибудь такое, чего Красный Крест никогда не посылает политзаключенным, например, рахат-лукум. Шоколад посылает, а рахат-лукум — никогда!»

«Решено! — согласился Алек. — Вложу рахат-лукум — южное кавказское лакомство. Оно будет обозначать, что я выпущен из тюрьмы!»

Посылка через Политический Красный Крест избавляет отправителя от необходимости сообщать на посылке свой адрес, если он думает сохранить его в тайне. У Софьи не было с Алеком такой условной договоренности.

Софья Федоровна получила первая посылку, т. к. по месту работы в комендатуре первая узнавала список посылок, переводов и т. д.

Софья Федоровна держала в руках небольшую посылку и, волнуясь, вскрывала ее. Посылка была составлена разумно и, можно даже сказать, со вкусом. В ней были хорошая почтовая бумага, блокноты, карандаши, изящные дамские носовые платочки, хорошие чулки, шоколад, конфеты, печенье, кофе, какао. Софья с беспокойством посмотрела на Анну:

— Ну, что вы, Аннет? О чем вы думаете?

— Сонечка! А, может быть, это просто из Политического Красного Креста? И этот вопрос может разрешить только моя посылка: если в ней будет рахат-лукум, тогда — от Алека, мы так с ним условились в Пугачевке перед разлукой.

Софья Федоровна заволновалась даже больше, чем Анна, но ничего не поделилась: был уже вечер и нужно было ждать утра, чтоб получить посылку Анны.

На другой день вскрывали вдвоем посылку Анны, и обе волновались из-за рахат-лукума. Анна вспомнила вслух, как она спросила письменно Алека в Бутырке, не является ли рахат-лукум очень трудной проблемой в Москве, и получила в ответ: ничуть, достану со дна моря, дайте мне только свободу!.. Посылка Анны вскрыта, составлена она так же, как посылка Софьи Федоровны, плюс еще коробка рахат-лукума.

Посмотрели Софья и Анна друг на друга и радостно, торжествующе улыбнулись: «Алек на воле и вспомнил нас!» Вспомнил через два года после разлуки своих товарищей по тюрьме!

Посылка в лагере не просто материальную помощь, как бы люди ни голодали и ни нуждались, она дает, прежде всего, огромную моральную поддержку! Это — связь с миром свободы, вера в то, что ты не забыт, а, следовательно, не одинок

на земле. Это должны знать все люди, не дожидаясь испытать на собственной шкуре чувство забытого и одинокого человека в тюрьме, а по русской поговорке: «от сумы да от тюрьмы не зарекайся!» Поэтому я так высоко ценю гуманный обычай у русских в старое время посылать праздничные подарки и передачи в тюрьму не знакомым, а просто заключенным — всем! А в тюрьме эти передачи распределялись при помощи камерных старост, возможно, при этом допускались хищения и несправедливость, но все-таки каждый, получивший передачу, мог создать себе иллюзию, что о нем кто-то вспомнил — мир помнит. В большие праздники люди состоятельные привозили передачи большими корзинами, а какая-нибудь бедная старушка несла «несчастненьким» пяток-десяток крашенных яиц и кулич, испеченный ее же руками.

Эту русскую традицию нужно восстановить, применив ее хотя бы к революционным праздникам!

— Алек о нас вспомнил! — повторили несколько раз подруги, обнялись и заплакали, прижавшись друг к другу. — Где он теперь — мы никогда не узнаем, но пошли ему судьба счастье и дружбу, чтоб он никогда не чувствовал одиночества в жизни... А все-таки мы никогда больше не встретим нашего Алека в жизни... ни его самого, ни другого, похожего на него чудесного юношу... Алек ушел из нашей жизни, и жизнь без него бесконечно поблекла... обеднела — так говорили подруги, одновременно радуясь за Алека и печальась о невозможности встречи с ним.

В порядке исторической справки можно только сказать, что Политический Красный Крест, который помогал внутри страны политзаключенным, к сожалению, закрылся и перестал существовать вскоре после этой посылки в силу нелепого предлога, что политзаключенных в Советском Союзе нет. Да, существуют государственные преступники, а политзаключенных нет, как будто это не одно и то же — «Что в лоб, что по лбу»!

Вряд ли возможно государство, в котором нет политзаключенных, или государственных преступников, словом, Политический Красный Крест царской России и первых лет Советского Союза, входивший раньше, до 30-го года, в Международный политический Красный Крест (с функцией помощи политзаключенным внутри стран) перестал существовать, а Красный Крест СССР имеет сейчас другое назначение — помощь людям в других странах, потерпевшим стихийное или военное бедствие. Это, конечно, тоже нужное и гуманное учреждение, но оно совершенно не заменяет первого.

Софья и Анна стояли, обнявшись, не смея попробовать вкусных вещей — кощунственное уничтожение священного символа тюремной дружбы! И каждая из них думала: «Это — первая и последняя посылка мне в заключении!» И это было

действительно так: ни до этого, ни после этого ни Софья, ни Анна ни от кого посылки не получили до конца своего срока, если не считать получения Анной весной 1928 года своих собственных вещей из Москвы.

Вскоре навигация закрылась, и началась зима 1929—30 года — последняя зима в заключении для Софьи Федоровны Фокиной и для одноделки с трехлетним стажем Маши Барычевой, вся вина которой заключалась в том, что она разливала чай после концерта — «ширмы».

Но, конечно, это — тяжкое государственное преступление, если вспомнить, что Софья Федоровна Фокина получила тоже три года в 1927 году, хотя и музыку не слушала, и чай не пила: слушала музыку и пила чай после концерта ее приятельница, на которую Фокина не донесла в ГПУ.

Маша Барычева отсчитывала день за днем, т.к. у нее остался в Москве у матери ребенок, который настолько подрос за эти годы, что пошел в школу и вкладывал в письма бабушки и дедушки свои первые каракули, над которыми Машенька и плакала, и смеялась, и с гордостью показывала друзьям. Анна скоро обрядилась в свои валенки-самокаточки и в романовскую шубу; снова навещала свои березки в саду, которые обвисли тонким, сияющим белым кружевом снежных ветвей; вспоминала прошлогодний лес по дороге в Анзер и свидания со Станиславом, а письма приходили редко и тупые.

Анна ждала северного сияния, но его не было этой зимой, только быстро угасающие беглые лучи, как будто кто-то за горизонтом наводил на Соловки белые лучи огромного прожектора и быстро их гасил. Но такого купола переливающегося света над головой, который бы упирался своими краями в землю, замыкая в своем световом колоколе одного человека или двух, она больше никогда не наблюдала в Соловках. Может быть, такое сказочное северное сияние случается только раз в десятилетие или в столетие и, может быть, в более высоких широтах, чем Соловки.

По-прежнему во время прогулок в саду Анна встречалась с тетей Таней, и у них установилась какая-то очень деликатная и молчаливая дружба. Анна не подходила к этой пожилой суровой женщине, боясь нарушить ее размышления и молитвы, а ждала, когда Татьяна Ивановна сама заметит и подойдет к ней. Анне казалось, что женщина внутренне молится или, скорей, предается религиозным медитациям, или умной молитве по-старинному, или психоториуму, говоря языком подростка Добролюбова в его религиозный период до 18 лет.

Татьяна Ивановна часто стояла у частокола, глядя на «дорогу смерти», иногда поднимая лицо с полузакрытыми глазами к небу, как бы и там, в вышине, ища отображение этой дороги. Или тетя Таня стояла, упершись спиной в березу, или

прижавшись к ней лицом. В этой позе Анна узнавала самое себя и ей делалось страшно, больно и приятно, как от встречи со своим духовным двойником.

«Так вот какая ты будешь на склоне жизни, — думала Анна, вглядываясь в Татьяну Ивановну, как в зеркало, отображающее ее собственную душу и склад психики. — Но это не плохо! Пусть я буду такой в старости и перед смертью! Впрочем, говорят: «Каждый умирает в одиночку. И это верно!»»

Повернувшись, может быть, под влиянием взгляда Анны, Татьяна Ивановна улыбнулась и медленно направилась к ней. Они задушевно здоровались, тепло пожимали друг другу руки и молча продолжали совместную прогулку.

На душе Анны делалось теплее, и она говорила о том, что ее мучило. Часто это был простой женский разговор: правильно ли она поступила, сделав аборт? Почему она такая трусливая в этом вопросе, хотя все ее считают смелой, волевой, мужественной женщиной? Почему Станислав оказался таким ненадежным и легкомысленным человеком? Знала ли она об этом раньше, хотя бы подсознательно, или это для нее полная неожиданность... Стоит ли возвращаться к нему, чтоб дать ему увесистую пощечину? Чем кончится в душе ее борьба любви и ненависти к нему? Почему так страшно наблюдать, как умирает любовь в твоей душе и место ее занимают прозрение и ненависть! Это, пожалуй, страшнее, чем видеть в действительности борьбу жизни и смерти и торжество смерти...

У этой простой русской старой женщины был удивительный дар слушать и понимать, и Анна ее меньше стеснялась в своих высказываниях, чем Софью. Софья-то, конечно, понимала все, что происходит в душе Анны, но молчала, боясь прикоснуться к открытой ране; Анна тоже молчала. Впрочем, так было всегда в их отношениях в жизни.

И в сдержанном молчании, и в их интимной беседе открывались такая чуткость и деликатность простой русской женщины, что на душе у Анны теплело, как будто она прикасалась к груди матери в своем горе. В этой беседе был, конечно, свой невысказанный Анной подтекст: Жорж Занд могла позволять себе роскошь оставлять после каждого любовника ребенка, но у нас эта роскошь быстро привела бы ее к положению «русской мадонны»...

— Нет, нет, ты хочешь сохранить свободу рук... а для чего тебе эта свобода рук? — развивалась дальше мысль Анны. — Связала бы свои руки и успокоилась бы в своей неудавшейся бабьей доле! Брось ты, замажь чем-нибудь этот ужасный образ «русской мадонны» — он наложит печать на твое мировоззрение и исковеркает всю твою жизнь!

— Не могу... есть такие впечатления в жизни, которые вонзаются в нашу душу, как осколки стали в такую часть нашего тела, откуда его бессилён извлечь

самый искусный хирург. Этот осколок живет в нашем теле, как будто не нарушая его функций, но время от времени болит и ноет. Ни Соне, ни Татьяне Ивановне я не могу рассказать об этом. Просто у меня не хватает слов и умения рассказать... Если бы я была художником!

Поток подтекста так и развивался в душе Анны, не сливаясь с ее речью, обращенной к Татьяне Ивановне.

Бывает же так в жизни нашей планеты: под рекой на поверхности земли на тысячи километров ниже ее — другая подземная река или море, и они не знают друг друга и... возможно, не влияют друг на друга? Или, например, в океане на поверхности его идет мощное течение в одном направлении, а в глубине его — другое, не менее мощное, стремится в противоположном направлении... так происходит и в нашей душе на различных слоях ее глубины...

— Ну, что ж, Аннушка, — говорила Татьяна Ивановна, — я сама не знаю, чем моя душа будет жить дальше... в старости и до смерти.

Из шести человек детей вырастила троих, и семья была ладная и дружная. Муж умер перед войной в 1912 году, двое сыновей погибли на фронте, а младший из них и самый ученый — Гриша — после фронта и Гражданской войны бежал за границу, вот и сижу за него! Ладно, дело не во мне, а как он там живет и жив ли вообще? Вот что томит и гложет меня! Смотри, Аннушка, не устрой себе такую же старость, как у меня! Хотя разве от своей доли убережешься — спасешься? Терплю, конечно, грешница, поскольку я верю в Бога, а тебе, безбожнице, будет еще горше!

— Нет, почему же, Татьяна Ивановна? Если бы я верила в Бога, мне было бы хуже с моим характером: Бог бы гневался на меня, а я бы гневалась на Него еще пуще! Бог же, по-вашему, разумное и доброе существо, почему же он устраивает такие зверские казни своим верным приверженцам? Мне, когда меня хлопнет судьба по башке бревном, гневаться не на кого — только на себя. Не будешь же сердиться на бревно: бревно есть бревно!

Этой осенью 1929 года привезли в Соловки большую группу религиозных женщин в длинных, сборчатых черных юбках, в черных кофтах и платках. Была религиозная коммуна между Сочи и Хостой, где остались их дети. Женщины были хорошо грамотны и начитаны в религиозной литературе, это была какая-то эклектическая секта, объединяющая баптизм, толстовство и учение йогов — секта, с точки зрения Анны, совершенно политически безвредная и очень высокая по своему моральному уровню. Анна, по соловецкой традиции, не могла задать вопроса, что им инкриминировалось, помимо религиозного воспитания детей своих, это воспитание подводят обычно в течение сорока лет — с 1920-х годов по

60-е включительно — под ст. 58-10, т. е. агитация против советской власти. Но Анна Васильевна считала всегда неразумной и лицемерной статью конституции 124, по которой советскому гражданину разрешается быть религиозным, но не исповедовать свою веру, т. е. не говорить никому о своих религиозных убеждениях, даже собственным детям.

Если человек считает что-либо истинным, то никакие репрессии не заставят его скрывать эту истину от людей, а тем больше от своих собственных детей, это требование морально и психологически противоестественно, что и понятно каждому атеисту, если он человек честный и справедливый.

У этих сектантов остались дома маленькие дети на попечении 12—15-летних сестер и братьев. Это еще сравнительно человеческое решение, т. к. спустя десятилетие осуждали и таких подростков, а детей моложе их отправляли в детские дома, чтоб совершенно искоренить в них религиозную закваску. При этом подростков и родителей отправляли в различные лагеря, отдаленные друг от друга тысячами километров без права переписки, чтоб они не влияли друг на друга и не поддерживали взаимно религиозных, т. е. антисоветских убеждений, с точки зрения советского суда.

Конечно, иногда получались противоположные результаты, поистине трагические. Так было, например, с Зиной Лещиковой. Она осталась на воле 10-летним ребенком, когда ее отца и мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков, т. е. всю семью в трех поколениях, рассеяли в 40-х годах по отдаленным лагерям, как религиозных людей; Зину же определили в детский дом. Там Зина объявила, что она никогда не снимет с шеи креста на цепочке, что ей дала мать в минуту расставания. Так как воспитатели хотели насильно снять и отнять у нее крест, то она завязала узлом довольно туго цепочку вокруг шеи, боясь, что крест у нее снимут потихоньку во время сна. Борьба из-за креста шла долго и упорно, но Зина все больше озлоблялась и твердила: «Вы можете меня задушить и только у мертвой снимите крест!»

На этой почве ее отсылают, как неподдающуюся воспитательному воздействию, в детский дом для дефективных ребят, где ее сразу окружили подонки-воры гораздо старше ее, но несовершеннолетние подростки от 14 до 16 лет. Тактика борьбы за крест продолжается у Зины прежняя: «Только у мертвой снимете у меня крест!»... Несмотря на то, что она была там моложе всех, она оказывала резкое противодействие дурному влиянию подростков-подонков. Не научилась Зина ни воровать, ни сквернословить, ни лгать, словом, сохранила исключительную чистоту, честность, прямоту и стойкость — «в память матери...»

У такой святой женщины, как моя мать, не должна быть дочь уголовной преступницей. Я буду только политической преступницей, как вся моя религиозная семья!

Время идет, Зине уже 12—13—14 лет... Она становится, так сказать, вождем политической оппозиции в колонии для несовершеннолетних преступников. У нее развивается все больше ненависть к Сталину, как к виновнику всех несчастий с ее семьей и с другими семьями — то, что мы называем на языке взрослых, виновнику бесчеловечных необоснованных репрессий, сначала эта ненависть выражается в надписях на стандартной гипсовой статуе Сталина в их дворе. Подписи были и издевательские, и циничные, и злобные, и остроумные — все различной рукой.

Красили статую снова и снова, устанавливали слежку, вызывали сотрудников МГБ — ничего не помогало: каждое утро воспитатели обнаруживали все новые и новые надписи, качали головами, краснели от смущения, а ребята хохотали... Наконец, однажды утром обнаружили, что голова у статуи Сталина отбита, перевернута, а в пустоту ее напачкали, как в ночной горшок, калом. Приехали сотрудники МГБ, допросы, угрозы, т. к. повреждение статуи, картины или фото вождя Сталина в газете или книге квалифицировалось как террористический акт и давалась высшая мера наказания.

— Здесь действует банда террористов, и надписи делает эта же банда. Всех арестуем, всех расстреляем за террор!..

Выступает Зина и насмешливо говорит:

— И чего вы орете на людей?! — это сделала одна я. А голова папаши ни на что другое не годится: не голова, а ночной горшок у Сталина!

Зину присудили к высшей мере наказания за террор — расстрелу, но, принимая во внимание ее возраст — 14 лет, Зине заменили расстрел 10 годами заключения: до наступления совершеннолетия — отбывать срок в лагерях для несовершеннолетних преступников, а с 18 лет — в лагерях особого назначения.

А все началось с креста — и не надо было отнимать его насильно у Зины и озлоблять ее с детства! Так и покатила Зина с 14 лет по лагерям, накапливая срок на срок за язык, прямоту и нетерпимость к несправедливости в лагерях. Зина оставалась по-прежнему честной, справедливой и нетерпимой к неправде, несправедливости и жестокости к заключенным. Можно представить, сколько пришлось ей пережить за 10 лет в период культа личности Сталина?!

Давно уже и родители, и старики отсидели по 10 лет за Бога, и братья-подростки выросли и возмужали в лагерях, вышли на волю, отсидев свои десятилетки, и поженились, а Зина все сидит — срок на срок — «не за Бога, а за правду!» И умереть ей, видимо, придется в лагерях, где она болтается с 13 лет!

Анна Васильевна Скрябина с болью думала о бесчеловечном и несправедливом отношении к религиозным людям у нас в Советском Союзе, подходила к сектантам, сердечно говорила с ними, радовалась вместе с ними, когда они

получали с юга письма от детей, но близко с ними не сходилась. Оказывается, и дети могут быть главами семьи: так же без родителей копали под Хостой огороды, доили коз, ухаживали за садами... и прилежно учились в школе, посылая отметки родителям вместе с уверениями, что они верят в Бога и готовы за него пострадать так же, как родители.

Анна думала и наблюдала все эти факты с большим сочувствием, но не сближалась с религиозными людьми. Может быть, потому, что каждая секта стремилась обратить ее в свою веру, а она была «необратимой» и еретичкой по натуре.

Поэтому, сколько Анна ни убеждала их в том, что она нерелигиозна, с тем большей страстью набрасывались они на нее, желая достигнуть вечного блаженства через обращение к Богу такой закоренелой язычницы. Анна не могла объяснить им, что роль религии играет в ее жизни пантеистическое мировосприятие: Джордано Бруно, Спиноза, Тютчев...

Правда, Тютчев, несмотря на свой пантеизм, был религиозным человеком, православным и славянофилом, но Анна, отметая его религиозные верования, брала только его пантеистическое мироощущение, и Тютчев поддерживал ее в заключении, как Евангелие — верующих. Правда, томика стихотворений Тютчева с ней не было, но она с 14 лет знала все его стихотворения наизусть. Хотя теперь, к 30 годам своей жизни, она кое-что забыла, но и того, что она помнила, было достаточно, чтоб она не умерла от духовной жажды в Сахаре жизни.

Это нельзя было объяснить малограмотным сектанткам, и Анна только улыбалась в ответ на их вопрос: «Како верующи?»

В открытых и скрытых от Анны спорах за ее душу она тоже стремилась примирить различные секты, говоря:

— Сестры, я вас знаю, ценю и уважаю, безразлично к какой вы секте принадлежите, потому что вы мои товарищи по заключению. Воры тоже сидят с нами, но они не наши товарищи по заключению, а вы — политические заключенные, как я, а, может быть, больше, чем я: я отрицаю свою вину, за которую я осуждена, и возмущаюсь несправедливостью и жестокостью приговора; вы же признаете свою вину — веру в Бога — и никогда от нее не откажетесь. «Чем хуже — тем лучше!» — с вашей точки зрения, для спасения душ.

Предположим, что нас бы сейчас выпускали на волю по подписке об отречении, с предупреждением опубликовать это отречение в газетах — так иногда требовали следователи в 20-х годах. Как бы поступили вы и я? Я бы дала расписку с отречением от своей вины, и пусть бы ее печатали в газетах, хотя бы всего мира! А вы?! То-то, не дали бы! Следовательно, вы политические заключенные больше, чем я! Я — только политическая шпана, а вы — настоящие политзаключенные!

Кстати, администрация тоже никогда не понимала мотивов, почему Анна Васильевна Скрябина так энергично выступала всегда в защиту религиозных людей, будучи сама атеисткой.

Был такой случай в более поздние времена, когда Скрябина сидела с религиозными женщинами в зоне усиленного режима — БУРе, т. е., попросту говоря, в штрафной зоне. Постепенно всех штрафников выпустили из этой зоны; оставили только Скрябину Анну Васильевну и человек 40 религиозных женщин, как самых упорных и неисправимых преступников. Накануне 1 Мая заходит в зону начальник лагеря и говорит Скрябиной:

— Я решил выпустить вас завтра из этой зоны в день майского праздника!

— Как, одну? Без религиозных женщин? — спросила Скрябина.

— Да, одну! Монашек я выпущу после праздников!

— Нет, одна я не пойду, я выйду только с ними, тоже после праздников! — заявила Скрябина.

— Ну и черт с вами, упрямая игуменья!.. — обозлился начальник.

Так это прозвище «игуменья» утвердилось за Скрябиной с легкой руки начальника лагеря.

«Монахини» же обнимали и благодарили Скрябину за то, «что ты нас не бросила одних. Без тебя страх как нас обижает и шпыняет надзор!»

После майских праздников пришел в БУР дежурный и спросил:

— Где здесь ваша игуменья Скрябина? Сейчас пойдете с ней в общую зону. Вы, Скрябина, хотите идти с ними в «монастырь» (самый плохой и полуразвалившийся барак) или в общий барак? Начальник предоставил это на ваш выбор.

— В монастырь! — ответила Анна Васильевна.

— Я так и знал, — ухмыльнулся дежурный, — поэтому, идя сюда, зашел в монастырь и спросил их, хотят ли они вас принять. Все обрадовались и бросились освобождать и очищать для вас самое лучшее место в монастыре — внизу у окна!

22 глава

В конце 20-х годов привозили в Соловки, помимо религиозных людей, много разного пестрого народа. Здесь были и нэпманши, жены и матери белых офицеров, вроде тети Тани, но из аристократических семейств, и наследницы русских промышленных королей... Все это делилось и замыкалось в строго ограниченные круги и группы, мало общающиеся между собой. Анна невольно наблюдала этот балаган жизни и думала, думала. Вот вчера, например, прибыла молодая красивая женщина; на лице ее следы усталости, тяжелых переживаний, нервности... Через два-три дня вы встречаете ее в верхнем

коридоре барака — в «женском пассаже», широко и изумленно открываете глаза и не можете узнать: она или не она? Волосы окрашены в пламенный рыжий цвет, завиты и уложены в модную прическу, губы зияют красной щелью, обнажая прекрасные зубы, глаза подведены, брови окрашены, холеные руки делают плавные жесты, демонстрируя изумительный красный маникюр... Вас она тоже не узнает, т. к. вертит направо и налево золотистой головкой, хохочет и щебечет, обсуждая со своими новыми, такими же раскрашенными и элегантными приятельницами, куда ей теперь плыть в жизни: в соловецкий театр, в контору, в бухгалтерию или прямо в объятия такому-то начальнику Х, который уже два дня на нее засматривается....

— Ха-ха-ха! Можно совмещать, например, начальника Х и театр!

— Ха-ха-ха! Они ведь олухи и страшно скучны эти начальники! Их можно вынести только в ограниченной дозе и... при совместительстве с чем-нибудь или кем-нибудь! Понимаете?! Иначе повесишься!

— Но где тебе, милочка, такой очаровательный маникюр сделали, окраску и завивку? Я понимаю, в парикмахерской театра, но какой мастер? Да, да, я понимаю, как ты страдала, будучи лишена всего этого в течение полугода в тюрьме! Да, да, можно превратиться там прямо в троглодитку!..

— Дело не в этом, мне, конечно, будет ежемесячно высылать приличную сумму муж (отец, брат, сват...), но нужно же, однако, где-то устроиться, мы ведь... ха-ха-ха... как-никак в строгом лагере... на каторге!

Пожилые аристократки поражали, прежде всего, своей беспомощностью и неряшливостью: не мылись, не причесывались, не меняли белье и быстро разводили вшей. Так как вшивость их представляла угрозу всей камере, то приходилось ломать себе голову, как к ней поделикатней подойти и убедить снять белье и отдать его в стирку, а голову «разрешите, я вам помою, расчесу и вычешу все, что там есть... э... э... перхоть!»

Простые женщины-работяги понятия не имели, как это возможно развести вшей в Соловках: и бани, и кипяток всегда в кухне...

— Это у них просто в крови вши: затоскуют — и вши вылезают наружу!.. Что ты смеешься, Анна Васильевна? Ты хоть и ученая, а ничего не понимаешь! Да, бабки мне на деревне говорили, что у господ вши в крови, поэтому они так скоро вшивеют... Почему тогда, по-твоему, простой народ не вшивеет в Соловках?!

Издали, на расстоянии, Анне Васильевне нравились две женщины в Соловках «из бывших», обе молодые, лет тридцати и очень красивые. Обе они одевались на работу просто и скромно, без завивок, грима и маникюра, обе были замкнуты и молчаливы.

Одна из них Путилова — наследница Путиловских заводов, красивая брюнетка, с огромными черными глазами и черными усиками. Высокая и стройная, она подавляла всех своим величием и неприступностью, так что Анна ни разу с ней не заговорила и не имела предлога для этого. Один раз, встретив ее в женском пассаже барака в длинном бархатном халате с кистями, Анна была поражена как тогда, когда встретила в универмаговском пассаже Антона Адамовича во фраке в день Пасхи. Так иногда одна материальная деталь, перенесенная из прошлого, открывает нам по-новому человека.

Другая аристократка Левашова была полной противоположностью Путиловой: маленькая, хрупкая, с золотистыми волосами, с большими голубыми добрыми глазами.

С ней Анна встретилась еще на общих работах, когда Анну посылали как-то чинить грязные мешки, а Левашова работала на этой же точке в конторе. Она на правах старой соловчанки стремилась оказать Анне какое-то покровительство, хотя бы лаской и улыбкой.

Анну развлекал те два дня на починке мешков один парнишка-москвич 19 лет. Он приносил Анне откуда-то мешки и уносил их после починки, а остальное время сидел на них и читал Анне стихи Блока. Анна любила Блока и хвалила его декламацию, а потом на правах старшей тетушки и вопреки соловецкой традиции спросила:

— Ну за что вас прислали в Соловки? Напроказили — ну, выпороли вас, и дело с концом! За что вам дали три года Соловков? Признавайтесь!

Парнишка покраснел и начал мямлить, что, де, он был выпивши.

— Вот за это вас, прежде всего, и нужно было выпороть! А дальше что, дальше?

— Я поехал с товарищами в клуб; они тоже были выпивши. Я ведь эстрадный артист! Товарищи меня подзуживают: влезь, де, на эстраду и скажи юдофобские стихи! Очень хорошо они у тебя получаются!.. Я влез на эстраду и прочитал одно юдофобское стихотворение — мне зал ответил громом аплодисментов и криками «браво» и «бис». Я вошел в раж, прочитал другое. Аплодисментов еще больше и бешеные вопли «браво», «бис». Я читаю третье стихотворение, но вдруг чувствую, что меня за ноги тащат с эстрады, а в зале гробовое молчание...

Я брыкаюсь, отбиваюсь ногами прямо в чью-то физиономию, но меня тащат, тащат и волокут... привезли в ГПУ.

Когда я проспался, следовательно позвал своих товарищей, человек десять, и говорит:

— Вот этот орел прочтет нам сейчас три юдофобских стихотворения. Надеюсь, вы помните те, что читали вчера в клубе? Помните?! Вот и хорошо! Читайте нам их!

Я читаю, а они хохочут, заливаются, а потом и говорят: «Вот за это и получите три года Соловков, по году за каждое стихотворение!»

И через неделю я был уже здесь. Дурак, форменный дурак! Мне нужно было сказать в ГПУ — ничего, мол, не помню, что читал, а я, идиот, принялся их развлекать, доказав этим, что я прекрасно все помню.

— Ну, а теперь вы мне их тоже прочтете! Боитесь, что попадет?! Так вам за них уже попало, чего же еще бояться в пустой след?! Читайте, пожалуйста!

Парнишка прочитал, и Анна, покачив головой, заметила:

— А знаете, мне кажется, что вам полезно побыть в Соловках три года — поумнеете!

Рефрен каждого стихотворения повторял одну и ту же мысль: «вот революции плоды — везде жида, жида, жида!»

— Я сама не юдофобка, — заметила Анна, — но у меня остался в Москве друг-юдофоб, он — чистокровный еврей, интересный и талантливый философ и психолог.

Иногда в порыве юдофобства он говорит мне такие вещи:

— Мне предложили работать мои сородичи-евреи в одном учреждении, вполне приличном, там даже остался один русский!

Мало того, в Москве действительно дело обстоит так. Например, в московском Психоневрологическом институте, что на Зубовской площади, директором был профессор Александр Петрович Нечаев, известный во всем мире представитель русской экспериментальной психологии. Его с работы сняли, всех сотрудников, в том числе и меня, разогнали: кого просто сняли с работы, а кого сослали. Сослали и самого Александра Петровича Нечаева в Семипалатинск; там он заведует кафедрой психологии в пединституте.

После разгрома института в Москве, т. е. его «реорганизации», говоря официальным языком, штат был укомплектован на сто процентов евреями.

— Вот видите, вот видите! — завопил юноша. — Значит, вы согласны...

— Нет, не согласна! Не нужно быть русским такими слюнтяями и растяпами; нужно бороться за свое место в жизни. А то, видите ли, русский человек до того великодушен и благороден, что вместо борьбы уходит с видом оскорбленной гордости. И чем интеллигентней русский человек, тем больше у него этого благородного слюнтяйства. Жизнь есть борьба! Или по-русски: «На то и ярмарка, чтоб не зевали!»

Евреи — талантливый народ, но с ними нужно держать ухо востро! А то мы, русские, скоро пойдем в милицию жаловаться, что, де, я заснул, а у меня изо рта украли челюсть с золотыми зубами.

Это я говорю вам, русскому юноше, а с евреями я веду себя гораздо круче... Почему-то я нравлюсь евреям и вообще восточным людям. Надоело мне это, и я сказала одному своему поклоннику..., де, не ухаживайте так усердно за мной, все равно ничего не выйдет: я — юдофобка. А еврей ответил мне очень вежливо и галантно, от чего я до сих пор краснею:

— Вы такая интересная женщина, что вам можно простить все, даже юдофобство!

Я покраснела от своей грубости и подумала с упреком: «Эх ты, скифка необузданная, носишься ты по жизни на неоседланном диком коне, а человек древней культуры отвечает тебе галантно на грубость! Запомни это!»

Юноша задумался на несколько минут, а потом спросил: «А все-таки не понимаю, кто вы такая — юдофобка или юдофилка?»

— Прежде всего, я думаю, что у каждого народа есть и хорошие, и дурные черты в национальном его характере: и у русских, и у евреев... это нужно знать, культивировать хорошие черты и бороться с плохими.

Словом, запомните, милый юноша: «Нет дурных наций, есть дурные люди!» А вообще, мне жаль, что вы, молодежь, катитесь в юдофобство!

Русская интеллигенция никогда этим не страдала, и русскому народу чувство национальной исключительности не свойственно: он для этого слишком велик... как океан, который поглощает всякую воду и принимает всякую реку, чистую и грязную, но все перерабатывает в единую, соленую, прозрачную морскую воду. Так и русский народ, как необъятный океан, все в себя примет, все переработает в огне своей культуры и природы!

Возьмите Петра Великого, начало XVIII века, двести лет тому назад! Что он сделал с подаренным ему негрятенком? Он дал слуге-рабу прекрасное образование. Негр Ганнибал становится в России генералом, адмиралом... Но никто не отдает свою дочь за негра замуж... Как, — спрашивает Петр Первый, — да я тебя женю на русской знатной боярышне (аристократке), я буду твоим сватом, и тогда посмотрим, кто посмеет отказать свату-царю! А что было бы с Ганнибалом в Америке и двести лет тому назад, и теперь? Он бы так безграмотным слугой и умер!

Конечно, в Америке есть образованные негры, но негра-генерала или адмирала — ни одного! Почитайте «Арап Петра Великого» Пушкина в современной Америке, и вам никто там не поверит, что это — исторический факт из русской действительности двести лет тому назад. У них негритянский вопрос не разрешен и не будет разрешен ни через 50, ни через сто лет! У нас после Октября такой вопрос даже не мог бы существовать!.. Поэтому не срамите русский народ своим юдофобством!

Последние слова Анны убили юношу. Он побледнел, осунулся, как будто даже повзрослел на десять лет.

— Хорошо, — сказал он, — это счастье, что я встретил вас на мешках! Я подумаю и своим товарищам напишу, что мы дураки, что мы — подлецы!

— Что вы?! Последнего не надо писать, вполне достаточно первого выражения!

Анна и юноша расстались друзьями и больше не встречались, т. к. на следующий день Анну с ее одноделками послали солить капусту к отцу Мефодию.

И милую голубоглазую нежную девушку Левашову Анна тоже почти не встречала, хотя они жили в одном и том же женском старинном «странноприимном доме». Так складывалась жизнь. При редких встречах в женском пассаже они мило улыбались друг другу, и каждая проходила своей дорогой... И только перед освобождением, уже на материке, Анна узнала, что Левашова умерла от родов в Анзере, а ребенок остался жив и вошел один в человеческое море. Анне стало больно от этого известия, как будто что-то прекрасное погибло: эта женщина была действительно прекрасная и ясная, как соловейское летнее небо.

Так вокруг Анны вертелись десятки женских образов в бараке: трогательных и нежных, холодных и высокомерных, трагичных и зловещих, как цыганка, стойких и скромных, как религиозные женщины, тщеславных и накрашенных, как забавные обезьяны...

А жизнь шла своим чередом, и письма от Станислава приходили все реже... все более пустые и холодные. Анна задавала себе даже вопрос, зачем Станислав все-таки продолжал ей писать: уж лучше бы вовсе не писал! Скорей бы переболела и зарубцевалась рана в душе, а так через каждые 2—3 месяца Анна, вспыхнув, как обожженная пламенем, дрожащими руками вскрывает с надеждой конверт и — ничего, пустое, никчемное письмо, и снова удар в сердце!

Так тянулась зима 1929—30 года, и Анна, усталая, сонная, опустошенная, лежала как камень на дне глубокой реки жизни. Ни Софья, ни тетя Таня не могли вывести ее из мрачного оцепенения. Анна ревниво оберегала свое одиночество и лишь в сумерках в саду за баракom повторяла свое пантеистическое кредо, выраженное в стихах Тютчева: «Тени сизые смешались, цвет поблекнул, звук уснул — жизнь, движенье разрешились в сумрак зыбкий, в дальний гул... Мотылька полет незримый слышен в воздухе ночном... Час тоски невыразимой!.. Все во мне, и я — во всем!..»²²

«Боже, до чего все не нужно в мире», — думала Анна, мрачно и гневно взирая на своих поклонников, которые не смели к ней подступиться, а только оставляли записки и письма на столе.

²² Строки из стихотворения «Тени сизые смешались...» Ф. И. Тютчева

«Что за сор у меня на столе?!» — мрачно ворчала Анна и, скомкав все, гневно бросала послания в корзину под столом. С соседних столов за ней наблюдали сотрудники и иногда вступались за авторов.

— Анна Васильевна, так же нельзя. Мой друг Х прислал вам в письме билет в театр с просьбой оказать ему честь... А вы даже не вскрыли письма, а скомкали и бросили все в корзинку!

— В чем дело? Я не полезу в корзину за билетом, а могу через вас оплатить стоимость билета вашему другу! Сколько он стоит?!

Анна озиралась вокруг и видела осуждение и упрек на лицах, де, до каких пор ты будешь вдоветь, неутешная вдова, вопреки соловецким традициям? Погрустила, повдовела 3—10 месяцев — и хватит, это больше, чем нужно! Пора и честь знать! Мы, де, ждали терпеливо и деликатно конца твоей скорби, никто к тебе не навязывался, все претенденты скромно стояли и стоят в шеренге, как царские невесты! Сроки наказания не совпадают, любовники и любовницы уезжают из Соловков, так что же, по-твоему, теперь делать? Вешаться?! Ты — взрослая женщина и должна понимать. Да, да, понимать, что «свободная» женщина в Соловках — редкость, единица на сотни мужчин!.. «Свободная», т. е. без мужа, без любовника и без религиозных предрассудков. Да, да, пора и честь знать! Интересно, что эту же точку зрения разделяли и женщины, и не только думали, но и прямо высказывали ее Анне Васильевне в женском бараке.

— Подумаешь, цаца какая особенная! — говорили женщины между собой. — Только у нее одной уехал любовник и редко пишет! Да у меня за три года уехало три любовника и ни один не пишет! Там в северных лесах на лесоповале в 40 градусов им только и заботы, что письма нам любовные писать в Соловки. Чересчур гордая она! Ну и пусть живет одинокой бобылкой!..

В середине февраля 1930 года, в день своего рождения, Анна нашла на своем столе газетный кулек с розовой пышной розой и почтительную поздравительную записку. Сотрудники, наклонив голову, делали вид, что усердно работают, а сами наблюдали за Анной Скрябиной. «Может быть, эта суровая ведьма и розу скомкает и бросит в корзину для бумажек? От нее всего можно ждать».

Роза! Что значит получить зимой в Соловках розу! Настоящую, живую, благоухающую розу! Нет, это сказка!

Анна развернула газету, вынула розу, понюхала ее и улыбнулась. Все улыбнулись, очарованно смотрели на розу и подходили нюхать ее из рук Анны. Потом нашли высокий флакон и поставили в него розу. Последним подошел к Анне Васильевне Руткевич Семен Яковлевич, моложавый человек лет 50 из Белоруссии, где он был в царское время крупным чиновником, а в Соловках

бухгалтером какого-то отдела финансового управления. Семен Яковлевич почтительно приложился к руке Анны, и вся его фигура, небольшая и стройная, источала от жиденького пробора до носков ботинок умиление, сироп и преданность. Он давно ухаживал за Анной и был ей неприятен и... не нужен, совершенно не нужен.

«Боже мой, какой только хлам человеческий не заносит в Соловки! — подумала Анна, но вслух вежливо поблагодарила за розу и спросила: — Как это вы умудрились, Семен Яковлевич, достать такую прекрасную розу среди зимы в Соловках? Я даже не представляю, что это возможно!»

И полились из уст этого престарелого Дон-Жуана комплименты, панегирики, сравнения и аналогии между Анной и розой, де, он облюбывал эту розу в оранжерее еще бутонем, караулил ее, холил, берег от вольных, которые могли купить ее и выступить также претендентами на эту розу... Заведующий оранжереей, его друг и приятель, тоже из заключенных, должен был поддерживать перед вольными претендентами на эту розу версию, что она и весь ее куст подлежит отправке самолетом в Кемь важному начальству... Это, де, спасло и сохранило самую красивую и пышную розу в оранжерее для Анны.

Так это или не так — сама Анна никогда в соловецкой оранжерее не была, — но она наряду о благодарностью за розу ничего больше не чувствовала — ни малейшего движения сердца, хотя Руткевич ухаживал за ней давно и упорно, почтительно и галантно еще при Станиславе, заходя в гончарную мастерскую благоговейно приложиться в ее руке, замазанной и потрескавшейся от глины.

«Боже мой, как это все мне не нужно! — думала Анна, чувствуя умиление перед розой и одновременно отвращение к подносителю ее. — Вот еще, поклонник тютчевского возраста, но не Тютчев! Ты не справедлива: тютчевы рождаются раз в столетия! Согласись, что Руткевич тоньше, деликатнее и культурнее этого бурбона — белого полковника — в десятки раз.

Читай стихи Тютчева и воображай, что он идет рядом с тобой по жизни и слушает тебя! Так ты избавишься от ужасного одиночества в жизни!.. Человек, не опирающийся на классическую национальную литературу, должен чувствовать себя голым и беззащитным перед ударами жизни, т. к. родной язык и литература полней всего передают и раскрывают душу народа.

Как прекрасно: «О смертной мысли водомет! О водомет неистощимый! Какой закон непостижимый тебя стремится, тебя мятет? Как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо-роковая, твой путь упорный преломляя, ввергает в бездну с высоты!»²³ Это изумительно! Да, нужно с ранней юности вооружать душу богат-

²³Строки из стихотворения «Фонтан» Ф. И. Тютчева.

ством национальной культуры и мировой, чтобы душа не захирела и не замерзла в последующей жизни!»

Продолжая читать про себя стихи Тютчева, Анна нежно и осторожно неслала розу в барак в сгустившихся февральских сумерках. Днем уже чувствовалось дыхание весны. Да вообще зима была сравнительно не суровая; вероятно, Гольфстрим дышал этой зимой особенно тепло. И сполохов северного сияния почти не было этой зимой.

Нежная соловецкая весна все уверенней вступала с каждым днем на соловецкую землю, а вместе с ней приближался день освобождения Софьи Федоровны Фокиной, т. к. она и вся ее группа были арестованы в конце мая 1927 года. Анна не говорила об этом с Софьей, и они не сговаривались переписываться:

«Достаточно, — думала снова и снова Анна. — Соня уже поплатилась тремя годами заключения за дружбу со мной! Я не хочу подвергать ее снова риску идти рядом со мной в жизни!

Дружба в наше время должна быть убита между людьми — так диктует ГПУ. Моральный тон в жизни задает в наше время ГПУ — слушай его, живи по его законам, предавай и трепещи! А трепетать я не буду, когда нужно — скажу правду, чтоб не презирать себя. Лучше умереть, уважая себя, чем жить — презирая. Странно, почему у меня был такой подъем духа перед расстрелом, когда Лосев вынес смертный приговор, а почему сейчас такой упадок морального духа, такая скованность, что свет не мил?!

Или виноват Станислав, или я чересчур ненормально живу: ночью работаю на “соловецких дам”, т. е. проституток и содержанок, а днем употребляю всю силу своей воли, чтоб не заснуть в бухгалтерии над цифрами... Так или иначе, но свет мне не мил... и хочется умереть!»

Прощаясь с Софьей перед ее отъездом на материк, Анна долго и жалобно плакала на ее хрупком плече, понимая, что это прощание навсегда. Софья снова и снова клала голову на грудь Анны, отрывалась, жалобно и виновато смотрела ей в глаза и снова с плачем бросалась ей на грудь, повторяя свою любимую ласку: «Моя сероглазочка! Моя пучеглазочка».

Софья решила ехать в Таджикистан в какой-либо глухой его городок, т. к. там очень остро ощущался недостаток в учителях, особенно русского и иностранных языков.

Писем от Софьи Анна не получала в заключении. Еще бы — одно слово на конверте «Соловки» могло скомпрометировать отправителя, сделать ее притчей во языцех в маленьком городке и лишить работы в школе, несмотря на всю нужду в педагогах.

Так начался для Анны самый тяжелый, глухой и безнадежный четвертый год заключения. Письма от Станислава приходили еще реже, но Анна все-таки знала, что его трехлетний срок заключения тоже кончился, но из Коми АССР его не отпустили, а дали назначение начальником леспромхоза в большом селе на Печере: де, он должен работать там как вольнонаемный в течение трех лет, в счет ссылки. Может быть, ссылку ему там придумали, т. к. из Соловков в это время все трехлетки уезжали без ссылки куда угодно. А одноделка Анны и Софьи Маша Барычева уехала после трех лет прямо в Москву в своим родителям и ребенку.

23 глава

Летом 1930 года все больше стали привозить религиозных женщин и крестьян прямо от сохи. Появились в женском бараке крестьянки с подвязанными фартуками, в ситцевых платках, в деревенских кофтах и многооборчатых пестрых юбках. Соловки пополнялись за счет «Головокружения от успехов»!²⁴ Женщины-крестьянки, тактично помалкивая, наблюдали жизнь, соловецкие порядки, соловецкую интеллигенцию, которую просили писать им письма в деревню; были трудолюбивы, услужливы и вежливы.

Осмотревшись, они начали сушить сухари для посылок детям и старикам — голод в деревне!

Соловчане, конечно, знали из газет о коллективизации и «сплошной» коллективизации, но это было словесное знание, оторванное от жизни. Соловчане не представляли себе до этого, что «сплошная коллективизация» обернулась сплошным голодом, особенно на Украине, где, по подсчетам там арестованных украинцев, умерло от голода во время «сплошной коллективизации» 18 миллионов человек с голоду.

Анна, конечно, знала, что Варвара с Ахметханом посылали еще в 1929 году сухари и продукты в деревню сыновьям-подросткам, но относилась к ее словам «голод в деревне» и «семья голодает» — к тому, что семья осталась без основного работника: без Варвары и хозяина-мужчины. А много ли может сделать старуха-мать и двое сыновей-подростков? Нет, оказывается, голод повсеместный, сплошной и страшный: молодые, здоровые мужчины в два-три месяца превращаются в острых дистрофиков, умирают больше, чем женщины, и на дорогах лежат трупы умерших от голода.

²⁴ «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» — статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 г., в которой предлагалось устранить «перегибы на местах» в вопросах коллективизации сельского хозяйства в СССР.

Это было страшно, страшно слышать! Заключенные в Соловках в 1929—32 годах не голодали во время этого страшного голода на материке. Но еще более страшное дело произошло в конце лета 1930 года.

Привезли несколько десятков сектантов во главе с 80-летним слепым старцем — их вожакom и проповедником. Старец был библейского вида: с длинной, совершенно белой бородой и такими же волосами, развевающимися по ветру, с высоким посохом. Анна Васильевна впервые встретилась с такими фанатичными сектантами: они отрицали все советское, как наваждение и дары Антихриста. Советские паспорта не принимали, т. к. на них, де, печать антихриста. Деньги не признавали все по той же причине — печать на них дьявольская, а поэтому деньги нельзя брать в руки, чтоб не оскверниться. Нельзя подписываться ни на каких советских документах: иначе эти документы с вашей подписью будут на страшном суде уликами, вещественными доказательствами вашего отступничества от христианства, т. к. большевики разрушают церкви и всякую религию. Как называлась эта секта, Анна не знала. До этого она встречалась только с арестованными баптистами, субботниками, старообрядцами, которые все отличались исключительным трудолюбием, честностью и моральной стойкостью. Эта же группа сектантов объявила, что «работать на большевиков-антихристов» — страшный грех и вероотступничество, и работать они не будут. Анна Васильевна пришла в ужас и с отчаянием ждала развития событий.

Дело в том, что администрация Соловков решила их отправить на необитаемые Заячьи острова, которые входят в Соловецкий архипелаг. Помещений и барачов на Заячьих островах не было, кроме избушки для рыбаков-монахов, которые изредка приплывали туда в старое время ловить летом рыбу. Это были безлесные, песчаные, пустынные острова. Но главный ужас заключался даже не в этом, а в том, что никто из них не захотел расписаться в ведомости на получение сухого двухмесячного пайка: муки, крупы, овощей, постного масла, сахара, соли и т.д.

Администрация Соловков поставила этим сектантам ультиматум: каждый распишется в ведомости в получении своего двухмесячного пайка, а если откажется расписаться, то их отвезут на Заячьи острова без пайка на голодную смерть. Никто из них не расписался и всех их отправили на эти острова совершенно без продовольствия. Анна металась по барачу, упрасывая старосту барака и нарядчицу доложить начальству, что она распишется за них в ведомости на выдачу сухого пайка, если это нужно для учета и для бухгалтерии, что она согласна поехать в качестве счетовода на Заячьи острова, чтоб вести учет продуктов, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, как угодно, и будет вести полностью и аккуратно какую угодно самую тщательную отчетность за своей подписью...

Заключенное барачное начальство только пожимало плечами и строго говорило Скрыбиной: «Вы просто ненормальная, что суете свой нос в такое опасное дело. Их вы не спасете, они сознательно обречены на гибель, а расписки — только предлог, бюрократическая ширма; себе же вы заработаете новую десятку! Я передала ваше предложение начальнику лагеря Зарину, — сказала Анна староста барака, — он только расхохотался, де, у вас там в бараке есть, оказывается, еще сумасшедшая, помимо этих сектантов!»

— Вот и хорошо, пусть этих сектантов считает сумасшедшими, но в Советском Союзе сумасшедших не приговаривают к голодной смерти, что более бесчеловечно, чем расстрел! — взволнованно говорила Анна. — Я считала до этого начальника Зарина сравнительно гуманным человеком. Все-таки он прекратил производство «хрустальных покойников» на Секирной башне-колокольне... А это дело не лучше «хрустальных покойников»!

— Скрыбина, прикусите язык! Я вам это говорю, как заключенная заключенной! Я не хочу вас больше слушать, чтоб не вляпаться с вами в опасную историю! Мы ведь ничего не знаем. Может быть, это установка Москвы — уморить этих сектантов голодом, установка, которую Зарин обязан выполнить! — заявила нарядчица, тоже очень взволнованная.

Сектантов увезли на Заячьи острова без всякого продовольствия. Они все до одного умерли там с голода. Когда приехали туда через два месяца, там не было ни одного живого человека — одни трупы.

Эта трагическая история совершенно убила Анну Васильевну.

«Разве не могли в Москве или на Соловках отнестись к этим сектантам, из видов гуманности, как к сумасшедшим, — думала Анна. — Ведь кормят же сумасшедших в психиатрических больницах, не требуя от них никаких расписок! Это, кажется, называется в юриспруденции — «Не дееспособен», т. е. человек не может давать расписку, а если и дал, то подпись его недействительна.

Наконец, могли бы просто расстрелять их всех на Заячьих островах! Это было бы все-таки менее жестоко, чем уморить десятки людей голодной смертью!..

Боже мой! Какой чудовищный культ бюрократизма! Это молох нашего времени! Из-за отсутствия расписок уморить голодом десятки людей на пустынных островах! Конечно, это только предлог и придирка!.. И все эти гнусности и дикие зверства совершают под маркой построения социализма?!»

Шли месяцы, а Анна Скрыбина была подавлена скорбью по поводу голодной смерти этих сектантов. Часто она шла с работы поздно вечером и полемизировала сама с собой и с «Богом», упрекая идею Бога в неполноценности, в жестокости, и обращалась к звездам, как к живым свидетелям преступления.

— Да, под этими звездами там умирали они на Заячьих островах! Почему среди них не оказалось ни одного разумного и смелого человека? Если бы я была такой сектанткой, я бы объявила их всех безграмотными, поставила бы кресты около их фамилий, как знак неграмотности, и расписалась бы за всех! Да, да, так надо было сделать кому-либо из них, чтоб спасти десятки людей от бюрократов-преступников! Боже мой, неужели такие бесчеловечные преступления останутся никогда нераскрытыми и ненаказанными?! Стоит ли тогда жить?!

И Анна Скрябина медленно шла, опустив плечи и подняв глаза к звездам... «и только в небе, как зов задушевный, мигают звезд золотые ресницы».

— Нет, постарайся стать на место этой сектантки — воображаемой сектантки. Предположим, ты веришь в Бога и в страшный ад, как эта воображаемая сектантка, но разве нельзя было встретиться с Богом на страшном суде, как равный с равным?.. Равным вас делает совесть! Ничего нет в мире выше совести! А раз так, то можно сказать Богу на страшном суде: «я знаю — ты пошлешь меня в ад за подписи в расписке за отступление от христианства, но и в аду я буду счастлива, спасши десятки людей от голодной смерти. А рай мне будет черным пеклом из-за угрызений совести, что я не спасла людей, да, да, ничего нет на свете выше совести!..»

Однажды Анна шла с работы еще более усталая и удрученная и вдруг остановилась как вкопанная:

— Почему же ты, гадина, не стала этой сектанткой? Почему ты не объявила себя сектанткой, их единомышленницей, но дающей расписку — ересь только в одном пункте?! Моментально, де, уверовала в их религию, сразу из Савла превратилась в Павла. Ты предложила компромиссный путь — поехать с их партией в качестве счетовода... Позволь, но тебе никто не поверил бы, что ты сразу и вдруг стала сектанткой, не поверило бы, прежде всего, начальство! Эта библейская легенда, что гонитель христианства Савл вдруг превратился в ревностного апостола христианства Павла — эта легенда очень красива... и содержательна, но... но никто бы не поверил тебе, что с тобой случилось что-то аналогичное... В Соловках достаточно известно, что ты вела себя, как... как... ну, скажем мягко, как светская и небезгрешная женщина; в архиве больницы зарегистрирован, конечно, твой аборт, а, возможно, Станислав как твой любовник... Нет, не поверили бы! Так вдруг культурная, неглупая женщина, познакомившись за один-два дня с вероучением этих странных фанатичных сектантов, стала бы вдруг последовательницей их учения... Нет, брось терзаться, иначе ты сойдешь с ума... Ведь мрут же сейчас с голода миллионы людей и детей от «сплошной коллективизации», что же это все тоже должно лечь на твои плечи и совесть... как легла уже на всю жизнь «русская мадонна» с Христом-скелетиком на коленях?!

Конечно, каждый человек в какой-то мере отвечает за все, что происходит в мире: мир и человечество едины, а над всем — совесть!

Нужно это куда-то спрятать вглубь, в сердце, иначе жить невозможно: задохнешься и надорвешься! И запомни раз и навсегда, больше их нет в нашей действительности... они все умерли там, на Заячьих островах!.. Не думай, не помни! — говорила себе Анна Скрябина. — Они шли на голодную смерть сознательно и мужественно, как в петровские времена шли старообрядцы за двуперстие на самосожжение в лесных скитах...

Что за народ — наш русский народ?!

Прошло двести лет, и повторяется та же история! И тогда, двести лет назад, считали патриарха Никона, потом Петра Первого и всех, кто с ними, — антихристами, и теперь история повторяется!..

Но это, вероятно, последние... последние самосожженцы и самоистребленцы, погибшие на Заячьих островах!

Анна Скрябина была в этом уверена, но она ошибалась!

Позвольте мне, любезные и терпеливые читатели, сделать, как автору данного романа, некоторый публицистический экскурс в середину 50-х годов XX века, т. е. 25 лет спустя после голодной смерти «самоистребленцев» на Заячьих островах. Религиозных людей в лагерях становилось в середине 50-х годов все больше и больше, в том числе и «самоистребленцев». Можно сказать, что в это время в женских лагерях особого назначения, т. е. для 58-й статьи, одна треть заключенных женщин были религиозные женщины различных сект. Большая часть этих сектантов — честные и трудолюбивые люди, работали наряду со всеми, но одна группа самоистребительниц отказывалась работать на «антихристов», не брала в руки денег, т. к. на них печать антихриста; ни в чем не расписывалась, поэтому не пользовалась казенной одеждой, бушлатами, платьями и бельем. Из пищи пользовалась только хлебом и кипятком, т. к. даже постный борщ и кашу нельзя есть, как оскверненную пищу: вчера, де, в этих же котлах варили скоромное — «мертвечину», и, следовательно, они грязные, их нельзя отмыть и отчистить. Наибольшая борьба с ними в лагерях шла из-за казенного обмундирования, т. к. требовалось, чтоб арестанты были одеты строго по форме и при этом обязательно с номерами на одежде. От номеров эти сектанты категорически отказывались — страшный, де, грех, за который им не будет никакой пощады на страшном суде.

Администрация лагерей приказывала раздевать их до сорочек, а остальные их вещи запирали все в каптерки, чтоб принудить их взять обмундирование с номерами. Эти сектантки дрожали от холода, простуживались, ходили в 40-градусные морозы босиком и в одной сорочке в уборную, но не сдавались и казенных вещей не брали.

Собственно говоря, победа осталась за самоистребленцами, т. к. администрация, в конце концов, вернула им их носильные вещи, и они оделись в свое — без номеров!

После уничтожения номеров на одежде политзаключенных борьба и отказ от казенной формы у этих сектантов продолжалась. Они ничего не брали у «анти-христов», даже когда у них не требовали расписки в получении вещей.

Кто имел родственников, те получали, хотя изредка, посылки с мукой, крупой и одеждой, чтобы смениться. Деньги по переводам они тоже не брали. Ну, а если не было родственников и никто ничего не присылал, то наступало отчаянное положение: платья и белье истлевали на человеке дотла. Так было, например, у Елены Ивановны Усовой, у которой, собственно говоря, начался уже религиозный психоз и распад психики; она сидела около десяти лет, и вся одежда и белье у нее сползли с плеч от ветхости. Осталось одно старое пальто, тоже совершенно рваное — грязные лохмотья от него, которые она носила на голом теле летом и зимой. Вся она была покрыта вшами и коростой. Раз в два-три в год ее насильно относили солдаты конвоя в баню, где ее принудительно мыли медицинские сестры и санитарки, потом надевали на Елену Ивановну Усову чистое белье, платье и бушлат — без расписки в ведомости раздачи обмундирования, но она все равно срывала все казенное с себя при первой возможности и облачалась в свое вшивое, дырявое пальто.

Обычно хлеб приносила в барак-землянку дневальняя (она же уборщица-хозяйка барака) в большой плетеной корзине, в которой помещалось паек 40—50 по числу заключенных в бараке. Такой же порядок был и в «монастыре», т. е. в полуразвалившейся землянке верующих.

Вообще, особый женский лагерь около ст. Суслово в Кемеровской области состоял почти весь из развалившихся землянок, активированных лет десять тому назад. В «монастыре» тоже была дневальная, назначенная и платная, которая получала утром весь хлеб на своих «монашек» и расписывалась за все 40 паек. Также она получала и сахар на месяц — по 450 граммов.

И вот однажды в 1957 году администрация Сусловского лагеря (начальник женского лагеря майор Богуш, а начальник всех сусловских лагерей — майор Толмачев, а в городе Кемерово — генерал Григорьев) распорядилась прекратить коллективный отпуск хлеба верующим «монашкам» через дневальнюю и под ее расписку. Каждая верующая должна сама явиться за хлебом и расписаться в ведомости в получении дневного пайка. Никто из сектанток крайнего толка не явился за хлебом, а они жили только, напоминая, на хлебе и кипятке с сахаром — приблизительно неполная столовая ложка в день, вот и весь их дневной рацион в течение десяти лет и больше.

Начался голод среди них и быстро развивающаяся дистрофия. Многие неверующие женщины-атеистки стали делить свой паек хлеба на две части и половину его отдавать сектанткам. Для неверующих это не было большой жертвой, т. к. они ели три раза в день кашу, помимо первого в обед. Каши обычно оставались, да и хлебный паек старухи и инвалиды не съедали целиком, а отдавали работягам и лошадям, которые привыкли тянуться к рукам заключенных за своим хлебом, или относили обратно на кухню, как объедки, для корма свиней.

Теперь администрация начала следить и вызывать к оперуполномоченному тех заключенных, которые подкармливали сектанток своим пайковым хлебом, чтоб они совершенно не обессилели и не умерли с голоду у них на глазах.

На них оказывался нажим, применялись террор и угрозы дать новый срок, и многие из страха, а не из жадности прекратили помощь голодным сектантам, хотя это было их правом — распоряжаться своим пайком, как им угодно. Немногие из заключенных осмелились заявить оперуполномоченному:

— Почему же вы поощряете и довольны, когда заключенные подкармливают своим пайком животных, которые дохнут у вас с голоду на фермах, и запрещаете то же самое в отношении людей, которые умирают с голоду?

Доведя людей до грани голодной смерти, администрация вывезла дистрофиков и умирающих с голоду «самоистребленцев» в особый штрафной лагерь, где стали давать им паек без индивидуальной расписки. Таким образом, история повторялась через 25—30 лет и даже под тем же предлогом — отказ крайних сектантов давать свою расписку за хлеб, все-таки сектанты-дистрофики и умирающие с голоду одержали победу — их не сломали и не принудили расписаться, дать свое имя, раз они считали это грехом.

Но Анна Васильевна Скрябина не знала этого в 1930 году и не могла предвидеть повторения истории на Заячьих островах через 28 лет.

Она просто мучилась и страдала и, сознавая разумом, что она не виновата, упрекала все-таки себя в огромной вине.

Постепенно и это улеглось в трюме души, придавая личности Анны Скрябиной замкнутую суровость, устойчивость, незыблемость взглядов и совести, молчаливое упорство.

Зима и весна 1931 года прошли в безрадостном, тяжком труде. Анна изнывала от одиночества и в то же время никого не подпускала к себе, даже на далекое расстояние.

Между тем появились новые люди, которые подходили к ней, стремились к сближению с ней, во всяком случае, приглядывались к ней с любопытством — это были две-три пожилые культурные женщины, которые устроили себе совсем

иной образ жизни в женском бараке, чем женщины прежних этапов. Они много читали, целиком использовали богатую соловецкую библиотеку, не стремились обязательно устроиться на какую-либо работу, чтоб получить индивидуальный пропуск, даже не стремились выходить за пределы женской зоны — садика и двора при бараке. Не имея времени читать, Анна Васильевна уделяла им только 10–15 минут, чтоб расспросить их, что они читают и... страшно им завидовала. Завидовала их пожилому возрасту, их болезням и болезненному виду, что освобождало их от нелюбимого изнурительного труда. Но что же делать? У Анны по-прежнему сохранялся цветущий моложавый вид. С таким видом от работы не откажешься и в бараке не отсидишься!

Особенно часто разговаривала Скрыбина с одной женщиной-историком Гурьевой, до того болезненного вида, что Анна невольно задавала себе вопрос, как она в состоянии жить, двигаться и так много читать. Вероятно, по закону контрастного психического притяжения Гурьеву привлекал здоровый, цветущий вид Скрыбиной, но Анна упорно сопротивлялась всяким попыткам Гурьевой к дружескому сближению.

«Зачем? — думала Анна, — зачем мне временные суррогаты дружбы и любви? Раз порваны или, что еще хуже, нелепо застыли, одеревенели отношения со Станиславом, раз нужно было порвать дружеские отношения с Соней, освещавшие всю мою юность на юге... то зачем мне суррогаты? А если даже возникнет серьезная дружба с Гурьевой (она была, собственно, возраста Софи), то передо мной снова возникнет трагический вопрос: «Как спасти друга от зловещей тени моей судьбы, т. е. моей прокаженной личности?.. А что есть ценного в моей личности, как не эта ли проказа? — будем называть все своими именами!»

— Что-то ты заскучала, Аннушка, не в меру? — с горечью и беспокойством спрашивала тетя Таня.

— Что-то жить неохота, скучно и пусто, Татьяна Ивановна! — отвечала Анна.

— Брось, девонька, разменяла в Соловках последний пятый год, а мне еще сидеть четыре года, а вот живу.

Поклонники тоже смотрели на Анну с полной безнадежностью и подходили прикладываться к ее руке, как к руке архиерея:

— Бесполезная женщина! — читалось в их глазах, — но ничего не поделаешь, раз единственная женщина на тридцать мужчин у нас, то за одно погляденье на нее, красивую ведьму, много дашь...

Лишь один Руткевич не терял надежды, сиял глазами, задышался от восторга, что-то лепетал, краснея и потея, и клал перед Анной очередной газетный кулек с цветами.

«Вот не везет мне в жизни! — внутренне возмущалась Анна, — один сироп, патока и мразь! А раз эта мразь влюбилась в тебя, значит, ты сама мразь: подобное влечет к себе подобное же!» И Анна сурово, без улыбки всматривалась в него, решая, что же общее есть у нее с ним! Нет, ничего!

Однажды после полного ритуала великосветского ухаживания Руткевич наклонился к Анне и доверительно зашептал:

— Через три месяца, Анна Васильевна, кончается моя пятилетка и я выеду на материк, вероятно, в Кемь. Разрешите мне ждать вас на материке до конца вашего срока в будущем году?!

— Что-о-о?! — грозно заорала Анна на всю бухгалтерию.

Потом, спохватившись, приглушенно зашипела, задыхаясь от гнева:

— Запрещаю! Никогда! Понимаете вы, никогда, нигде, ни на одном кусочке планеты не смейте меня ждать!.. — и потом совсем шепотом: — Я вас не люблю, а главное, никогда в жизни не полюблю!.. Пойдите в коридор, я сейчас к вам выйду на минутку!

В коридоре Анна, совсем уже успокоившись, убеждала Руткевича:

— Семен Яковлевич, ведь у вас, кажется, есть жена и взрослый сын?! Почему вы решили задержаться на краю материка, а не едете прямо к ним в Белоруссию после освобождения?!

— Как же я могу к ним поехать, когда они отказались от меня?!

— Как отказались? — настаивала Скрыбина.

— Так! За пять лет они не написали мне ни одного письма. У них все благополучно, я проверил, и ни одного письма за пять лет! Если бы даже я вас не любил, я не могу к ним вернуться!

— Да-а-а-а! — протянула Анна, а про себя подумала: «Вот сволочи! Бедняга Руткевич! Как эти бессмысленные репрессии разрушают даже старые, прочные браки».

— Да-а-а! — продолжала Анна. — Я вам очень сочувствую, Семен Яковлевич. Вам и мне страшно не везет в личной жизни... Но факт остается фактом: я вас никогда не полюблю! Не тратьте на меня время и найдите на материке женщину, хорошую женщину, чтоб построить новую позднюю семью... Нет, нет, не ждите! Если бы я вас любила, так отняла бы вас у вашей жены, даже если бы она вам писала ежедневно чудесные нежные письма! Да, да, я такая!

Чтобы развлечь своего убитого горем поклонника, Анна, шутя, рассказала ему одну действительную историю из своей жизни:

— Была у меня приятельница по службе, очень некрасивая и нудная, но страшно ревнивая! Она ревновала своего мужа, тоже некрасивого, но умного

мужчину, буквально ко всем знакомым женщинам. Она часто приходила ко мне, плакала и рыдала, ломала руки, перечисляя женщин, которыми увлекается, де, ее муж. Наконец, мне это надоело, и я спросила ее однажды: «Странно же, кажется, единственная женщина, к которой вы не ревнуете своего мужа — это я?»

— Да, да, Анна Васильевна, вы действительно единственная женщина, к которой я не ревную своего Степана.

— Почему же? Мне это даже обидно! Значит, я, по вашему мнению, самая неинтересная женщина в нашем кругу? — спросила я ее иронически и все-таки с обидой.

— Нет, нет, Анна Васильевна, вы самая интересная женщина, что я встречала в своей жизни, а все-таки я своего Степана к вам не ревную. Почему? А потому что я хорошо знаю ваш характер: если бы вам понравился мой Стефан, вы бы прямо пришли ко мне и заявили: мне нравится ваш муж, и я забираю его у вас себе! Вот вы какая! Я вам верю, только вам! А остальным женщинам не верю: все потихоньку и с хитрецей подбираются к моему Степану!..

— Вы, Таисия Ивановна, совершенно правы, — ответила со смехом я, — и в моем характере не ошибаетесь! Я действительно такая!

Семен Яковлевич растерянно и жалко улыбался Анне из вежливости, слушая ее анекдот из ее личной жизни, а Анна думала про себя: «И совсем я не такая! И дело не в том! И величайшее напряжение воли я проявила в 18 лет, когда увидела, что Дмитрий меня не любит, а ему просто приятно болтаться около меня и слушать мой философско-лирический бред о Спинозе. Нужно было порвать, и я одним порывом оборвала... потому что любовь нельзя вымаливать... И я никогда в жизни не вымаливала ее, а этот зрелый человек в свои 45—50 лет не понимает этого! И как ему объяснить это? И можно ли это объяснить? Нет, нельзя! У меня одна натура, у него другая — антиподы!»

24 глава

В середине лета 1931 года произошло событие, которое должно было бы оставить после себя большой след в душе Анны, но прошло незаметно: молниеносный визит Горького в Соловки. Слух о его приезде сопровождался чисткой, уборкой — показательной парад!

Однажды по нижнему и верхнему этажу женского барака стремительно бегали староста и нарядчица, широко открывали двери комнат настежь и взволнованно объявляли: «Горький идет к бараку!»

Анна хотела закрыть дверь своей камеры. В это время, на четвертом году своего пребывания в Соловках, Скрябина жила уже после отъезда Софьи Федоровны в шестиместной узкой камере — привилегированной камере, как старая соловчанка.

— Не закрывайте дверь, Скрябина! — сказала староста. — Это — приказ начальства. Может быть, Горький захочет зайти в какую-либо камеру посмотреть, как мы живем и даже поговорить с кем-либо из заключенных?

— Пусть! Только он ничего не захочет! — заметила Скрябина, повернувшись спиной к двери и стала смотреть в окно.

Камеры верхнего этажа, особенно шестиместные, были уютные и даже нарядные, железные кровати с матрацами были покрыты чистыми личными покрывалами, подушки — красивыми накидками; на тумбочках — тоже изящные салфетки, зеркала и разнообразные женские безделушки и косметика: пудра, одеколон, духи, помада... на стенах и полу — коврики, дорожки.

Впрочем, женщина — такое существо, что обязательно при всех обстоятельствах и условиях, даже в тюрьме, в лагере, стремится создать уют. Если же нет этого стремления, то при внимательном взгляде на такую женщину обязательно обнаружишь черты психического распада — деградации. Это верно и для тюрьмы, и для воли.

Затопали, зашлепали шаги быстро идущих людей по коридору из одного конца его в другой. Потом устремились вниз.

Внизу такой же быстрый марш по коридору мимо открытых дверей камер, затем — грохот сапожищ и хлопанье наружной двери.

Все, молчание!.. Заняло это минуты три-четыре времени на два этажа, и визит Горького в женский барак закончился. Ни в одну камеру Горький не зашел, ни с кем не поздоровался и не сказал ни одного слова, ни одной заключенной женщине. Просто пробежал по коридорам в сопровождении начальства. Как это ни странно, но то же самое повторилось в мужских камерах в соловецком кремле.

Какова была цель приезда Горького в Соловки и его стремительного бега по коридорам мимо открытых дверей камер, неизвестно, и Анна Скрябина не нашла об этом никаких упоминаний и указаний в литературе.

— Да, это не Антон Павлович Чехов на Сахалине! — иронически подумала Анна Васильевна. — Поэтому и не появились «Соловки» Горького, как «Остров Сахалин» Чехова.

К концу лета 1931 года стали появляться слухи, что краткосрочных (меньше года) вывезут до закрытия навигации на материк на строительство Беломорканала, где вводится зачет дней за труд: два дня за три. Ходили слухи, что на строительстве питание хорошее, а жилищные условия, особенно для женщин, очень тяжелые.

Скрябиной, собственно говоря, не хотелось ехать на материк: она предпочитала досидеть свой срок в Соловках, т. к. жилищные условия в Соловках были очень хорошие для лагеря, а она ставила их выше питания.

Можно даже сказать, что жилищно-бытовые условия для женщин в Соловках были прекрасные по сравнению с другими советскими лагерями, считая с 30-х по 60-е годы включительно.

По мере усиления репрессий темпы лагерно-тюремного строительства явно не поспевали за темпами социалистического строительства. Поэтому введены были и все больше распространялись двухъярусные нары вагонного типа или же сплошные нары. В некоторых тюрьмах, особенно в пересыльных (Свердловка), ни двухъярусные нары, ни сплошные не могли вместить всех заключенных, перебрасываемых с Запада на Восток, например, большая свердловская тюрьма и другие сибирские пересыльные тюрьмы.

Тогда арестанты поневоле устраивали третий ярус — подвальный, т. е. размещались под нарами и занимали сплошь вповалку всю площадь пола, даже вплотную около параш.

Особенно печальную известность и неизгладимую память у всех заключенных оставила о себе свердловская пересыльная тюрьма. Через нее прошли миллионы — десятки миллионов репрессированных двумя встречными потоками; при этом не однажды: вдруг всех политзаключенных женщин, привезенных из европейской части государства в Тайшет, направляют обратно на запад в Мордовию — начало 60-х годов, потом этих же политзаключенных женщин в 1956—57 году из Мордовии снова в Сибирь через ту же Свердловку в кемеровские лагеря и в Тайшет. Потом этих же репрессированных женщин везут снова в 1960 году из Тайшета в Мордовию все через ту же Свердловку: Мордовия—Тайшет, Тайшет—Мордовия — путь не малый, при этом в советских арестантских вагонах, устроенных по типу немецких душегубок — железные коробки без окон; и без горячего питания, даже без кипятка, а в дорогу дают только хлеб и селедку на несколько дней.

Но Анна Васильевна знала, что никто не будет считаться с желанием заключенных и, несмотря на свое отвращение к этапам, стала приучать себя к мысли о них.

Она морально очень устала и постарела за эти четыре года. У нее не было прежнего молодого задора, энергии, оптимизма... многого прежнего не было. Анна не только морально приучала себя к мысли о переезде, но готовилась к нему: все меньше брала заказов у «соловецких дам».

— Поймите, я не уверена, что закончу вашу работу, — отвечала Анна, атакующим ее клиенткам. — Разве я не хочу заработать?! Но вы, вероятно, тоже слышали, а, может быть, знаете из первых рук, что всех кончающих свой срок вывезут на материк, это даже разумно, чтоб не задерживать зимой в Соловках окончивших свой срок лишние месяцы до открытия навигации.. Нет, все кончено! Работу больше не беру!

Но еще до этапа на материк неожиданно разыгрались в Соловках важные события, которые поразили всех соловчан: был арестован начальник лагеря, рыжий великан Зарин, и блатная верхушка заключенных, близко стоявшая к Зарину. В числе арестованных были и две женщины: нарядчица женского барака и кубанская казачка, землячка Анны, с мужем — белым офицером. Эти две женщины исчезли из женского барака, а куда они делись — неизвестно.

Где находится начальник Зарин и арестованные с ним мужчины из заключенных и вольнонаемного состава, где ведется следствие — в Кеми или Москве, — тоже никто не знал.

О причинах ареста создавались самые невероятные и разноречивые версии: Зарин, де, в противоположность своему предшественнику — зверю, что замораживал заключенных, обливая их водой зимой на Секирной горе, — был мягок и гуманен с заключенными. Вот за либерализм его и арестовали.

— Хорош либерал, нечего сказать! — возражали другие. — Уморил голодом на Заячьих островах 80-летнего слепого старца и десятки его приверженцев! Пусть они фанатики, сумасшедшие, идиоты... но кто дал ему право выселить на пустынные острова людей без всякого продовольствия... на верную голодную смерть?!

— Да это же было сделано по указанию Москвы, — возражали третьи. — Почему так думаем?! Да потому, что ни один нормальный человек не возьмет на себя такую ответственность, а Зарин был не дурак! Либерал он или зверь, но он был умный мужик! Это по указанию Москвы, и за это дело Зарин не будет отвечать — Москва не будет сама себя бить!

— Что вы твердите «по указанию Москвы»? А, может быть, в Москве как раз и шлепнули того, кто дал Зарину такие указания, а его потянули, как свидетеля и исполнителя таких бесчеловечных директив? Что вы думаете, так зверские репрессии будут продолжаться без конца?!

— Тогда зачем потянули и заключенных, занимавших хорошие места, по этому делу?!. Ничего нельзя понять!

— Да просто Зарин кутил и устраивал оргии с приближенными заключенными! Поэтому и две наших бабенки втяпались в это дело. Оргии без баб невозможны!

— Ну какой вздор ты городишь! За попойки и оргии, если они даже были бы, Зарина просто сняли бы с работы, а заключенным дали бы штрафняк! Вот и все!

— Может быть, за побег? — думали другие.

— Побегов при Зарине было не больше, чем до него! За побег — расстрел! — это закон. И Зарин за побег расстреливал, и тот зверь до него, что фабриковал «хрустальных покойников». Так тот зверь приканчивал не только беглецов, а

всех неугодных ему штрафников. Сначала издевается, а потом заморозит! Но никак не поймешь, что здесь на Соловках произошло! И куда их всех увезли, где ведется следствие?

— Комиссии, конечно, приезжали! Их старались, понятно, забанкетить, но они что-то разнюхали!

— Может быть, Горький вел себя так странно, прямо как ненормальный: бегал, молчал, хмурился, ни с кем из заключенных слова не сказал... Может быть, он уже что-нибудь знал? Может быть, ему намекнули о чем-нибудь в Москве?

— А то! Намекнули! Намекнули, да не об этом. Мрачная нелюдимость у него от сравнения Соловков с островом Капри!..

Так разговоры, то разгораясь, то несколько утихая, продолжались до самого отъезда на материк. И только через восемь месяцев, уже на Медвежьей Горе, пронесся слух, что Зарин получил десять лет, другие вольнонаемные — меньшие сроки, а некоторых заключенных расстреляли. За что и верный ли это слух — никто не знал.

Это — загадка истории, которую постараются заглушить, а не раскрыть, — не допустят никого даже до расследования этой тайны по архивным материалам!

25 глава

Перед закрытием навигации стали вывозить сначала мужчин, потом женщин. В списки попадали не только краткосрочники, но и специалисты с большими сроками. Привезли Анну Васильевну Скрябину с другими краткосрочными женщинами в поселок Медвежья Гора, что на Онежском озере.

Здесь — управление строительства Беломорканала, и сюда же перенесено было управление Соловецких лагерей особого назначения — УСЛОН.



ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЛИХАЧЕВ



О. В. Панченко

**Д. С. ЛИХАЧЕВ В РАБОТЕ НАД «ВОСПОМИНАНИЯМИ»:
ОСМЫСЛЕНИЕ ДУХОВНОГО ОПЫТА
СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ**

*События избирают себе места,
чтобы свершиться именно в них.
Старая Россия умирала в Соловках.
Нет, я неверно сказал — не старая Россия
умирала здесь, а какая-то ее часть:
интеллигенция, духовенство,
отдельные участники белого движения,
не выехавшие за границы России.
Здесь был последний уголок свободы,
духовной жизни.*

**Д. С. Лихачев. Из первой редакции
Воспоминаний о Соловецком лагере (1966 г.)**

Д. С. Лихачев родился в Петербурге 15 (28) ноября 1906 г. Отец его был инженером-электриком, заведующим электростанцией Первой государственной типографии (Печатного Двора). Мать происходила из купеческой старообрядческой семьи. По воспоминаниям самого Дмитрия Сергеевича, родители его увлекались балетом Мариинского театра. Летом они выезжали на дачу в Куоккалу, где семья Лихачевых проводила время в кругу артистической интеллигенции.

В школьные годы Д. С. Лихачев обучался в реальном училище К. И. Мая, потом — в школе имени Л. Д. Лентовской. В старших классах он испытал влияние своего школьного учителя И. М. Андреевского, по приглашению которого стал посещать собиравшийся у него на дому кружок «Хельфернак» («Художественно-литературная, философская и научная академия»). По-видимому, не меньшее влияние на него оказал другой его учитель — философ С. А. Алексеев-Аскольдов, который также был участником Хельфернака, а позднее — Братства прп. Серафима Саровского.

В 1923 г. Д. С. Лихачев поступил в Петроградский университет, где учился сразу на двух отделениях: на романо-германском (по специальности «Английская литература») и славяно-русском. Там он прошел настоящую научную школу у профессоров В. К. Мюллера, под руководством которого занимался творчеством Шекспира, В. М. Жирмунского (английская поэзия начала XIX в. и Диккенс), С. К. Боянуса (англо-саксонский и среднеанглийский языки), А. А. Смирнова (старофранцузский), В. Ф. Шишмарева (история французской литературы), Д. И. Абрамовича (древнерусская литература), Л. В. Щербы (пушкинский семинар), В. Е. Евгеньева-Максимова, приобщившего его к работе с рукописями, А. И. Введенского (философия и логика), М. Я. Басова (психология), слушал лекции С. П. Обнорского, Л. П. Якубинского, Б. М. Эйхенбаума, В. Л. Комаровича. В 1928 г. Д. С. Лихачев написал две дипломные работы: «Шекспир в России в XVIII веке» и «Повести о патриархе Никоне».

8 февраля 1928 г., в год окончания университета, 21-летний Лихачев был арестован за участие в «контрреволюционных» организациях — Космической Академии Наук и Братстве прп. Серафима Саровского. В доме предварительного заключения на Шпалерной он провел девять месяцев, после чего был осужден на пять лет лагерей.

В Соловецком лагере Д. С. Лихачев провел три года — с ноября 1928 по ноябрь 1931 г. Еще девять месяцев работал в Званке и Тихвине — на строительстве Беломорско-Балтийского канала. На Соловках он приобрел необычайно важный жизненный опыт, который окончательно сформировал его как личность и служил ему духовной опорой всю оставшуюся жизнь (1906—1999)¹.

Годы, проведенные в Соловецком лагере, Д. С. Лихачев считал самыми важными в своей жизни. Здесь его окружали замечательные люди — последние представители культуры Серебряного века (А. А. Мейер, Г. О. Гордон, Ю. Н. Данзас, А. П. Сухов, Н. Н. Горский). В этот же круг входили и его ровесники — поэты В. Кемецкий, Ю. Казарновский, Д. Шипчинский, философы А. Бардыгин, В. Раздольский и многие другие. На Соловках Д. С. Лихачев встретил и замечательных представителей русского духовенства, которым посвятил отдельный очерк в своих «Воспоминаниях»: епископа Виктора Вятского, отца Александра Филипенко, протоиерея Николая Пискановского (ставшего его духовником). По его словам, это были люди, сохранившие в условиях лагеря

¹ Краткая биография и избранная библиография Д. С. Лихачева представлены в статье Православной энциклопедии, см.: Бобров А. Г. Лихачев Дмитрий Сергеевич // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 41 (в печати).

свое человеческое достоинство, «думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе»². К числу их, безусловно, принадлежал и сам Д. С. Лихачев.

Представителей русской интеллигенции Д. С. Лихачев именует в своих мемуарах «людьми мысли». В образах же духовенства его память сохранила духовный свет (можно сказать, что их он относил к категории «людей света»). Он пишет про епископа Виктора Вятского, что у него были синие глаза и широкая улыбка и «от него исходило какое-то сияние доброты и веселости»³. Другим «светлым человеком» на Соловках, по словам Лихачева, был отец Николай Пискановский, «всегда в самых тяжелых обстоятельствах излучавший внутреннее спокойствие»⁴.

Многие из людей его круга, с кем он общался на Соловках, были сосланы сюда за участие в религиозно-философских кружках петроградской интеллигенции (речь идет, прежде всего, об обществе «Воскресение» и «Братстве Серафима Саровского»). Участником последнего был и сам Д. С. Лихачев. Позднее он объяснял репрессии против кружков интеллигенции в конце 1920-х гг. желанием большевистской власти не дать интеллигенции «восстановить права духа», отнятые у нее этой же властью⁵.

Но интеллигенция, по свидетельству Д. С. Лихачева, и в условиях лагеря сохраняла «силу и мужество и способность сопротивляться»⁶. Основным средством ее духовного сопротивления, вспоминает Д. С. Лихачев, была внутренняя свобода и независимость мысли. Способность мыслить, пишет Д. С. Лихачев, в условиях лагеря была главным способом сохранить себя, свою индивидуальность, душевное здоровье: «Только где-то в самой глубине души еще жило: мыслить — и тем умерять страдания! Мыслить — и тем оправдывать свое существование! Мыслить — и тем порождать, расширять, углублять мыслимый мир, оздоравливающий совесть, <...> объединяющий людей по принципу соборности — духовно-го единства человечества»⁷.

Духовная жизнь интеллигенции на Соловках в конце 1920-х — начале 1930-х гг., пишет Д. С. Лихачев, была насыщена «воздухом культуры, которым

² Лихачев Д. С. Воспоминания // Лихачев Д. С. Настоящее издание. С. 409.

³ Там же. С. 479. Фотографию епископа Виктора Д. С. Лихачев поместил впоследствии в своем кабинете на книжной полке.

⁴ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 479. Об отце Николае Пискановском см. кн.: Волков В. О. «От священства я не отрекусь...» Священномученик Николай, протоиерей: лагерные письма православной семьи Пискановских. М., 2013.

⁵ Об этом он рассказал в интервью Сергею Курехину, записанном в начале 1990-х гг. См.: «Одна единственная встреча». Реж. Н. Урвачева. 2006 г. Фильм-диалог академика Д. С. Лихачева и музыканта Сергея Курехина // <http://likhachev.fond.spb.ru/Movies/wmv/video.html>

⁶ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 374.

⁷ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет (из воспоминаний об интеллигенции 1920–1930-х годов) // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб., 2006. Т. 2. С. 448.

они дышали, и я вместе с ними»⁸. Он вспоминает о необычайном разнообразии форм культурной жизни и свободе творческого выражения, свойственной эпохе Серебряного века, осколки которой он встретил на Соловках. Спустя много лет он написал об этом в «Заметке к будущим воспоминаниям» (1959 г.), сохранившейся в черновике: «Так свободны могли быть только русские люди начала века, только люди вполне интеллигентные. Сейчас даже трудно вообразить себе ту степень свободы, которой мы все обладали в заключении. Чем больше было людей разномыслящих, тем больше была эта свобода. Кого только не было: проктофантозисты, самурай Нарита со всеми своими самурайскими убеждениями, Мейер и “мейеровцы”, православные священники, католические священники, масоны, теософы (сам автор Теософской энциклопедии Мёбус), армянский патриарх, “пулеметчик” Потто, Казаринов-Лефевр, в которого воплотился дух Людовика XVI, А. П. Сухов с его принятием всего и широкой художественной точкой зрения на мир (“психолог”) и т. д. и т. п. В этой возможности иметь свои взгляды, своё, и была свобода, а не в “пропуске” за кремль...»⁹ Он вспоминал, что даже впряженные «вридлами» в сани для перевозки свиного навоза, он и его однодельцы — «латинствующая, французящая и английствующая квадрига»¹⁰ — продолжали решать вопросы общего порядка, ведя беседу сразу на нескольких европейских языках.

Конечно, юному Д. С. Лихачеву на Соловках несказанно повезло: стараниями епископа Виктора и отца Николая Пискановского он попал на работу в Криминологический кабинет (Кримкаб), ставший благодаря философу А. А. Мейеру центром интеллектуальной жизни в Соловецком лагере. Впоследствии Д. С. Лихачев сам удивлялся иронии судьбы: лишенный свободы за участие в философских беседах «Братства Серафима Саровского», он обрел на Соловках счастливую возможность еще более глубокого общения с А. А. Мейером и членами кружка «Воскресение». Вот как писал об этом сам Д. С. Лихачев: «Кримкаб представлял собой на Соловках своеобразное продолжение кружка «Воскресение» с той только разницей, что «заседания» шли каждый день»¹¹. «Для меня разговоры с Мейером в Кримкабе и всей окружавшей его соловецкой интеллигенцией были вторым (но первым по значению) университетом. Сколько я узнал, к какому высокому мышлению я приобщился! <...> Если бы можно было все записать, какие великолепные беседы, дискуссии, просто

⁸ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет... С. 448.

⁹ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (хранится в Отделе рукописей Пушкинского Дома, в фонде Д. С. Лихачева — Ф. 769).

¹⁰ Лихачев Д. С. Соловецкие записи. 1928–1930 // Лихачев Д. С. Работы ранних лет. Тверь, 1993. С. 29.

¹¹ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет... С. 418.

споры, рассказы, рассуждения были бы сохранены для русской культуры! Была ли это своеобразная “Башня” Вячеслава Иванова? Пожалуй, даже значительнее, так как и длилось все дольше, и велись наши разговоры ежедневно»¹².

Не случайно Д. С. Лихачев связывал духовную жизнь своего круга в Соловецком лагере с эпохой Серебряного века: «Можно сказать, что Серебряный век с его удивительным духом общения завершался для меня на Соловках. Разговоры, споры, даже целые диспуты в камере открыли мне, что культура — это когда вокруг тебя настоящие люди»¹³. Памяти этих замечательных людей Д. С. Лихачев посвятил в своих «Воспоминаниях» целый ряд очерков, объединенных под общим названием «Люди Соловков». До конца своей жизни он сохранял к ним чувство благодарности, вспоминая об «удивительной животворной силе, исходившей от старшего поколения русской интеллигенции»¹⁴.

Может быть, поэтому много лет спустя, в условиях уже окончательно пленившей страну советской идеологии, Д. С. Лихачев записал в черновике своих воспоминаний о Соловках пронзительные слова, что здесь и «был последний уголок свободы, духовной жизни» старой России¹⁵.

Еще одним из способов духовного сопротивления людей мысли, по воспоминаниям Д. С. Лихачева, был юмор, освобождающий смех. Показывая свое нарочито несерьезное отношение к лагерным порядкам, он и его товарищи подчеркивали их абсурдность и идиотизм: «Анекдоты, “хохмы”, остроты, шуточные обращения друг к другу, шуточные прозвища и аргументы, как проявление той же шутовщины, сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее»¹⁶. Отказываясь признавать над собой власть грубой силы, обнажая ее истинную природу, они делали ее беспомощной и смешной. Позднее эти идеи «смеха как мировоззрения», создающего особый «смеховой мир» — «крошечный», «изнаночный», «перевернутый», свободный от условностей, — легли в основу книги «“Смеховой мир” Древней Руси», написанной Д. С. Лихачевым совместно с А. М. Панченко (и второй их книги, написанной в соавторстве с Н. В. Понырко)¹⁷.

Хорошо осознавая духовный смысл своего сопротивления, поэтическая молодежь его круга культивировала особый поэтический настрой духа, помогавший

¹² Лихачев Д. С. Беседы прежних лет... С. 416—417.

¹³ Там же. С. 449.

¹⁴ Лихачев Д. С. Воспоминания. С. 122.

¹⁵ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959—1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769). Запись сделана 8 ноября 1966 г., в годовщину октябрьского переворота.

¹⁶ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 410.

¹⁷ Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976; Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.

ей сохранять внутреннюю свободу. По признанию самого Дмитрия Сергеевича, он сам был «пьян поэзией», вместе с друзьями мог декламировать стихи часами: «Где-то внутри непрерывно звучала музыка. Все было поэтически приподнято. Поэзия была даже в смертях кругом, в драмах, в необычности жизни. Смерть не страшна при вере в бессмертие»¹⁸. По словам Д. С. Лихачева, он и его друзья жили тогда стихами Баратынского и только что вышедшего сборника О. Мандельштама «Камень»¹⁹.

Была у Д. С. Лихачева еще одна тайная область духовной свободы, связанная с его религиозной жизнью. Но об этом он предпочитал не рассказывать: «Есть вопросы, на которые я не знаю ответа. Думаю, на эти темы вообще нельзя говорить. Любовь. Вера... Об этом следует молчать. Отцы Церкви говорили: "Кто много и пристально на солнце смотрит, у того глаза повреждаются; кто Бога любопытно рассматривает, у того ум помрачается..."»²⁰

Между тем хорошо известно, что Д. С. Лихачев был сослан на Соловки именно за участие в студенческом кружке (названном в шутку Космической Академией Наук) и религиозном обществе (Братстве прп. Серафима Саровского)²¹. Глубинная религиозность была духовным стержнем его личности и одновременно определяла вектор его судьбы. Православная традиция была унаследована им в детстве, в семье. По словам его внучки В. С. Зилитинкевич, «через всю жизнь он пронес то отношение к православию, которое было характерно для значительной части петербургской интеллигенции начала XX века»²². Отношение это было глубоко сердечным, не показным, тесно связанным с любовью к Родине и состраданием к ней.

Хорошо известны слова Д. С. Лихачева о переполнявшей его сердце любви-жалости к России в эпоху гонений на Русскую Церковь: «Многие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви — любви-жалости. <...> Чем шире развивались гонения на Церковь и чем многочисленнее становились расстрелы на "Гороховой два", в Петропавловке, на

¹⁸ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769).

¹⁹ Лихачев Д. С. Соловки. 1928–1931 годы // Настоящее издание. С. 368.

²⁰ Лихачев Д. С. Из записных книжек разных лет // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. Т. 2. С. 494.

²¹ См. об этом главы книги «Воспоминаний» Д. С. Лихачева — «Братство святого Серафима Саровского» и «Космическая Академия Наук». Согласно обвинительному заключению ГПУ, члены братства интересовались «вопросами богословия, жизнью святых, в особенности Серафима Саровского»; см.: Медведев Ю. «Воскресение»: К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера. С. 107 (здесь содержатся материалы не только о кружке «Воскресение», но и о Братстве Серафима Саровского). Подробнее о братстве см. также: Антонов В. В. Братство прп. Серафима Саровского: К истории православного движения в Петрограде // С.-Петербургские епархиальные ведомости. 1996. Вып. 16. Ч. 1. С. 44–49; Ч. 2. С. 93–99. По словам исследователя, целью братства было личное духовное подвижничество его членов (Там же. Вып. 16. Ч. 1. С. 47).

²² В нем преломился весь XX в. // Новая газета, 2013 г. № 69, 28 июня.

Крестовском острове, в Стрельне и т. д., тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. <...> Мы не пели патриотических песен — мы плакали и молились»²³.

По сути, это чувство любви-сострадания к погибающей России определило и выбор его профессионального пути. Как известно, он сделал его не в пользу европейских литератур, хотя и окончил романо-германское отделение и написал дипломную работу о восприятии Шекспира в России. Нет, он связал свою судьбу с исследованием литературы Древней Руси, потому что именно там видел истоки русской культуры — православной в своей основе, с чем так непримиримо боролась Советская власть.

Впоследствии он рассказал о мотивах, побудивших его к этому выбору, в письме к отцу Александру Киселеву, протопресвитеру Русской Православной Церкви Заграницей, который попросил его разъяснить его слова о «подлинной русской культуре, которая сокрыта в глубинах озера Светлояр и еще мало изучена и плохо понята», — о которой он говорит в своих работах с некоторым умолчанием²⁴. В ответном письме Д. С. Лихачев написал об этом подробнее: «Действительно, в моих работах есть важное умолчание. Как я хотел, я бы не мог написать [*в советское время. — О. П.*] о значении православия, и именно древнерусского, искаженного в Новое время как Никоном и Петром, так и старообрядчеством, которое только в начале своего пути было право. <...> Но самая высшая точка созерцания (не рассуждения) истины — древнерусское православие. Оно поразительно. Это действительно созерцание истины, когда уста молчат и богословствовать не нужно, надо только жить в его лучах»²⁵.

Таким образом, выбор жизненного пути, связанного с изучением «подлинной русской культуры, сокрытой в глубинах озера Светлояр», был сделан им еще в ранней молодости, в эпоху гонений на Русскую Церковь, из любви и сострадания к ней. В этом Д. С. Лихачев признается и на страницах своих «Воспоминаний»: «И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ

²³ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 375–376. Сострадание было одной из доминант его личности. Позже, уже во время заключения в Соловецком лагере, как рассказывает сам Д. С. Лихачев, он ходил, как пьяный, от сострадания к малолетним «вшивкам»: «это было уже не чувство, а что-то вроде болезни» (Там же. С. 401). А когда он увидел весь ужас пребывания заключенных в лесных лагерях, у него из сочувствия к ним начались язвенные боли, которые привели к внутреннему кровотечению (Там же. С. 442).

²⁴ Отец Александр Киселев, бывший когда-то духовником юного Алексея Ридигера (в годы молодости будущего патриарха), с 1991 г. проживал на покое в Донском монастыре. В свой приезд в Петербург в августе 1990 г. он посетил Пушкинский Дом, надеясь на встречу с Д. С. Лихачевым, но не застал его (время было отпускное) и написал ему это письмо.

²⁵ Ответ Д. С. Лихачева датирован 2 сентября 1990 г.

умирающей матери сидящие у ее постели дети, <...> рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подадут “за упокой”...”²⁶

Но прежде судьбе было угодно испытать его в подвиге исповедничества. Находясь в доме предварительного заключения на Шпалерной, Д. С. Лихачев пришел к выводу, что человек сам «определяет свою судьбу, даже в том, что могло показаться случаем»²⁷. Он осознал, что выбором своего пути он и его товарищи, «следуя традициям русской интеллигенции», сами определили свой арест — это была их «вольная судьба». Много лет спустя, осмысливая свой лагерный опыт, Д. С. Лихачев обогатит это понимание «судьбы» осознанием участия в ней Промысла Божия, не отменяющего при этом свободного выбора человека (о чем будет сказано дальше).

Говоря же о «вольном выборе» судьбы, Д. С. Лихачев, несомненно, понимал и то, что этот выбор был совершен им и его товарищами не по собственному произволению, но в согласии с духом Церкви, тысячи членов которой также осознанно пошли на страдания, добровольно сделав свой выбор.

Надо сказать, что Д. С. Лихачев, как и другие члены братства, был последователем митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых), не принявшего декларацию митрополита Сергия. Все они были арестованы в феврале 1928-го года, и большинство из них было отправлено на Соловки. Д. С. Лихачев, как и И. М. Андреевский, получил пять лет лагерей.

О том, что этот выбор членов Братства Серафима Саровского был духовно зрячим, свидетельствует хранящийся в архиве Д. С. Лихачева важный документ, которому сам Дмитрий Сергеевич придавал большое значение. Речь идет о копии письма (датированного 27 апреля 1927 г.) оптинского старца Нектария к основателю Братства И. М. Андреевскому, которое свидетельствует о том, что участники Братства сверяли свои поступки с соборной мыслью Русской Церкви.

Упомянутое письмо сохранилось в материалах «Следственного дела» Братства, хранящегося в архиве управления ФСБ Санкт-Петербурга. Со «Следственным делом» Д. С. Лихачев смог познакомиться в начале 1990-х гг. Тогда же по его просьбе была сделана ксерокопия письма старца Нектария к И. М. Андреевскому, на которой Д. С. Лихачев сделал пометку: «Исключительно важное письмо в ответ на вопрос И. М. Андреевского о положении в Церкви». И хотя в самом письме старец Нектарий по вполне понятным причинам избегает каких-либо конкретных высказываний по вопросам церковной жизни, в том числе в адрес митрополита Сергия («Решение вашихъ вопросовъ, изложенныхъ въ письмѣ, мы отложимъ до личного

²⁶ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 377.

²⁷ Там же. С. 395.

свидания, если то Господь благословит; тогда поговоримъ»), его письмо ясно свидетельствует о духовной связи членов Братства с последним оптинским старцем²⁸.

Как видим, большевистский переворот и деятельность ГПУ сделали свое дело. В эпоху гонений на Церковь значительная часть русской интеллигенции со всей остротой осознала себя ее чадами и пошла тем же путем исповедничества, что и православное духовенство. Встреча этих двух образованных сословий русского общества, разделенных на протяжении более двух столетий вследствие общей секуляризации культуры XVIII—XIX вв., состоялась на Соловках, где осужденные по церковным делам составляли значительное число заключенных.

Заметим, что судьба свела их не где-нибудь в ином месте, а здесь, на северных островах — месте страдания и святости. Именно так воспринимал Соловки и студент Дмитрий Лихачев, попавший сюда прямо с университетской скамьи. Как написал он потом в своих воспоминаниях: «В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря. И воспринял Соловки, Кремль не как новую тюрьму, а как святое место»²⁹.

Заключение на Соловках Д. С. Лихачев считал главным событием своей жизни. Здесь, по его словам, он прошел второй свой университет и ясно осознал действие Промысла Божьего в своей судьбе. Ведь в самое первое утро своего пребывания на Соловках он чудесным образом встретил отца Николая Пискановского, который стал его духовным отцом³⁰.

Осознание Д. С. Лихачевым духовного смысла его лагерного опыта нашло отражение уже в 1-й редакции его «Воспоминаний» (1966 г.), сохранившейся в записной книжке 1959—1966 гг. Помимо собственно воспоминаний о лагере, она включает и несколько отступлений философского характера, одно из которых позволим себе привести. Поводом для него послужило, наверное, главное событие его жизни, когда он, спасаясь от расстрела, укрылся между поленниц на монастырском дворе, где пережил страшную ночь, после которой в душе его произошел духовный переворот: «Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне надо жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще <...>. Ясно, что вместо меня был “взят” кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно!»³¹

²⁸ На это же указывает и одна из поминальных записок, читавшихся на молебнах Братства (приложенная к «Следственному делу»), которая начинается с имени иеромонаха Нектария Оптинского.

²⁹ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 400.

³⁰ Там же. С. 401.

³¹ Там же. С. 428.

Размышляя впоследствии о своей судьбе и судьбах тех, кого он встретил в лагере, Д. С. Лихачев пришел к собственной философии истории и судьбы человека в ней, особенно в эпоху исторических потрясений. Он сравнивает ход истории в периоды исторических катаклизмов с природной стихией, с метелью, противостоять которой человек не в силах. Приведем его размышление: «Меня поражает и всегда поражало: от какой малости зависит иногда все направление нашей жизни. Болезнь возникает от случайности. Мы выбираем профессию в возрасте, когда еще ничего не понимаем в жизни. Подслушанный доносчиком разговор решает нашу судьбу на многие годы. <...> Но моя жизнь зависела <...> от сотен ничтожных мелочей и тысяч ничтожных случайностей. Случайности и мелочи метут нашей жизнью. Метель метет нами как снегом³². Мы не имеем ничего прочного под собой. Земля нас не держит. Она обледенела. Нам не за что зацепиться, нечем впитаться в землю, чтобы задержать безумное вихрение жизни. Когда жизнь начинает бежать, когда “метет, метет по всей земле”, — больше всего чувствуешь свою беспомощность, “неприкрепленность” к земле — как на гигантском ледяном катке. И все ж таки, оглядываясь сейчас назад, чувствуешь, что в жизни твоей не было случайностей, все в жизни оказалось нужным, необходимым, все приходило вовремя, и все круговые движения вихря, тебя несущего, складывались в определенный, удивительно точный рисунок. Значит, отсутствие видимой порядочности и устойчивости лучше всего доказывает существование невидимой устойчивости. Земля нас не держит, но держит Небо. Чья-то мудрая, заботливая, любящая рука направляет жизнь человека, всякого человека. Она направляет согласно его, человека, свободной воле. Я остался жив не только потому, что кто-то быстро «переиграл» список, вынул меня из него — и, вот, я пошел направо, а не «налево», но и потому еще, что хотел остаться жить, хотел каким-то своим внутренним естеством, которое находится в удивительной связи с Судьбой.

Да простит мне читатель, живущий в годы, когда нет ветра на Земле, нет метели, вьюги, и когда все снежинки лежат на земле плотным белым покровом, — это отступление»³³.

В историософских размышлениях Д. С. Лихачева 1-й редакции его «Воспоминаний» нашли отражение оба начала его духовного опыта, приобретенного на Соловках. Одно из них идет от традиции философских бесед в

³² Слово «метель» Д. С. Лихачев — в нарушение орфографических норм — сознательно пишет через букву «я», тем самым связывая его с семантически близкими словами: «мятеж», «смятение», «мятется».

³³ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769). Представленный здесь опыт осмысления Д. С. Лихачевым собственной судьбы помог ему в дальнейшем дать блестящий анализ историософской концепции романа Пастернака «Доктор Живаго» (см.: Лихачев Д. С. Размышления над романом Пастернака «Доктор Живаго» // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб., 2006. Т. 3. С. 433–441).

кругу А. А. Мейера — о мире, человеке и его месте в истории, другое — из опыта общения с отцом Николаем Пискановским. В сочетании этих двух начал и заключается особая притягательность воспоминаний Д. С. Лихачева, свойственная ему окрыленность мысли и духовная ясность в осмыслении лагерного опыта.

Тема «судьбы» оставалась важнейшей для Д. С. Лихачева на протяжении всего его жизненного пути. Вновь и вновь возвращаясь к ней в разные периоды своей жизни, он ясно видел в ней Промысел Божий, который необъяснимым образом совпадал с его собственным духовным выбором. В конце жизни он поделился этим открытием со своим ровесником отцом Александром Киселевым в уже упомянутом письме: «Самое непонятное состоит в том, что <...> в человеке совмещается изначальная данность всей жизни, воля Божья и свобода воли человека. Синергия. Живя, я ощущаю, что все совершается по Воле Божьей, мудро и предустановленно, но вместе с тем я отвечаю за каждый свой поступок, за каждое движение, мною совершаемое»³⁴.

Духовный опыт, приобретенный на Соловках, отразился и в цикле очерков Д. С. Лихачева о «людях Соловков». Они проникнуты светом благодарности к людям, одарившим его дружбой, примером духовной стойкости и душевной поддержкой в условиях лагеря.

В 1959 г., когда у него впервые возник замысел написать воспоминания о Соловецком лагере (вскоре после смерти его близкого друга Федора Розенберга), он сформулировал его так: «Заметки к будущим воспоминаниям. Смерть Феди заставила меня много думать о прошлом — о юности. Надо написать воспоминания. Тема воспоминаний — все то хорошее, что было. А была дружба и была свобода (несмотря на лагерь). Это и было счастье. Дружба не только с «академиками», счастье не только КАН. Дружба с очень многими «попутно» (даже вор Овчинников)!..»³⁵ И дальше: «Содержанием воспоминаний должны быть дружба и свобода, торжествующие над грубой силой страдания и насилия»³⁶.

³⁴ Письмо Д. С. Лихачева к отцу Александру Киселеву от 2 сентября 1990 г. (ИРЛИ. Ф. 769).

³⁵ О своем лагерном «ученичестве» у другого известного вора — Ваньки Комиссарова («короля урок на Соловках») — Д. С. Лихачев вспоминал «не без гордости» в своем шутилом письме к А. Н. Робинсону от 29 ноября 1962 г.: «Основным моим университетом был СЛОН (он у нас и на лагерной печати изображался — тоже Вам юмор), а в нем «профессор» Ванька Комиссаров, ученик Леньки Пантелеева (это тот, который ресторан Белград от милиции сутки оборонял с пулеметом). Ванька Комиссаров и обучил меня — как достоинства не терять, а всегда по своей форме ходить» (цитата приведена в статье: Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Дмитрий Сергеевич Лихачев: Жизненный путь и научная судьба. К 100-летию со дня рождения // Славянский альманах. 2006. М., 2007. С. 395–396).

³⁶ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769).

В конце этой «Заметки» Д. С. Лихачев сформулировал еще две важные идеи будущих воспоминаний: «Но надо бы донести в воспоминаниях силу старой культуры русской интеллигенции начала XX в., силу ее философии, ее талантливость и пр., чего сейчас не понять многим (кружок Андреевского, Мейер и пр.), силу одержимости стихами (Свешников-Кемецкий). <...> В них не должно быть никакой озлобленности: ни тени обиды. Напротив: надо стремиться показать хорошее, счастливое, благословенное, что было в жизни, а зло — как дьяволы, низверженные в ад копием Михаила Архангела, на картине Тинторетто».

С осмыслением опыта Соловецкого лагеря связано и стихотворение Д. С. Лихачева «Тризна», дошедшее до нас в двух его редакциях. Первая, написанная в стиле футуристического «речетворчества», была создана, по-видимому, на Соловках³⁷. Позднее, уже в зрелые годы, Д. С. Лихачев обогатил свое юношеское стихотворение новыми смыслами, добавив в него еще две строки (8-ю и 9-ю) и заменив в первом варианте несколько слов. Приведем текст этого стихотворения в его окончательной редакции³⁸:

ТРИЗНА

Исчадием ада

И чадом чадащим

В республике Чада

Встал алый причал.

К причалу причалил

Чалдон чутко чукчий.

И, чадом чадащий,

Лихой и лядящий,

На гробе России

Отпраздновал бал.

8.VIII.1984

³⁷ Первоначальный вариант этого стихотворения сохранился в письме Д. С. Лихачева к известному знатоку поэзии начала XX в. Д. М. Молдавскому от 21 июля 1986 г. (РГАЛИ. Ф. 2873, Оп. 1, Ед. хр. 251. Л. 53). О «звукописной» манере этого стихотворения Д. С. Лихачев сделал следующее пояснение: «В юношеские годы мне казалось, что в поэзии главное — удачные ассонансы, словесная игра, эквилибристика, шутка, идущая от экспромтов. Нашел листок с одним из моих шуточных упражнений. Стихи непременно должны быть «глубокими», т. е. бессмысленными» (цитата приведена в статье: Бронникова Е. В. Эпистолярное наследие Д. С. Лихачева в фондах Российского государственного архива литературы и искусства // Археографический ежегодник за 2006 г. М., 2011. С. 342–350).

³⁸ Первую публикацию этого стихотворения, обнаруженного в бумагах Д. С. Лихачева после его смерти, выполнила Н. В. Понырко (в кн.: Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии. / Сост. Е. Г. Водолазкин. СПб., 2002. С. 405). Она же дала и первое его истолкование (несколько отличающееся от нашего). По словам публикатора, «сам Дмитрий Сергеевич говорил, что никогда не писал стихов». Тем большую ценность представляет это единственное исключение.

В поэтических образах этого стихотворения Д. С. Лихачев выразил духовную сущность трагедии, постигшей Россию во втором десятилетии XX в. Он связывает ее с восстанием темной силы — «исчадия ада»³⁹, которая в месте молитвы и света сотворила *республику Чада* (со СЛОНОм на гербе — отсюда и Африка), где по изречению одного из туземных правителей: «Власть не советская, а Соловецкая». Вместо прежнего ладана она источает духовный *чад*⁴⁰, разжигает жар в сердцах людей, подпитывая его *алой* кровью. Другой значимый образ этого стихотворения — «чалдон» (согласно Словарю Даля, «бродяга, беглый, каторжник»). Обладая звериным чутьем («чутко чукчий»), он является одним из порождений «отца лжи» (не случайно на воровском языке «чалдон» означает «карточный шулер»)⁴¹. Неустанно курсируя между материком и «алым причалом», он доставляет сюда все новые и новые партии жертв и здесь, в *республике Чада*, творит свою кровавую «тризну»⁴².

Как уже сказано, основным поэтическим средством в этом юношеском стихотворении Д. С. Лихачева является звукопись. В многократном повторении корней «ад», «чад», «ал», «чал» и согласных звуков «ч» и «к» («чутко чукчий») — фонетически рифмующихся с «ЧК»!⁴³ — проступает обобщенный образ зловещей адовой силы, творящей тризну на гробе России.

Прояснить смысл этого стихотворения помогает фрагмент из другого сочинения Д. С. Лихачева, в котором также представлена тема «попрания святого места», превращенного чекистами в зловонную тюрьму. Речь идет о другом

³⁹ Ср. с замечанием Д. С. Лихачева о Соловецком острове как о месте извечного противостояния святости и греха: «Здесь — большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов...» (Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 412).

⁴⁰ В том же метафорическом значении использует слово «чад» и другой известный соловецкий автор — О. В. Волков. Ср.: «Чтобы отключиться от *чадной* обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, полнящих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку» (Волков О. В. Погружение во тьму. М., 1989. С. 14). «Шли *чадные* дни. Я ютился на краю грязных трехъярусных нар, убого торчащих под величественными соборными сводами...» (Там же. С. 97).

⁴¹ Будучи сотрудником Криминологического кабинета, Д. С. Лихачев изучал воровское арго профессионально как филолог-лингвист. Результаты его исследований изложены в статье: Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи. 1933 // Лихачев Д. С. Работы ранних лет. Тверь, 1993. С. 54–94.

⁴² На связь образа «чалдона» с кораблем с чекистским именем «Глеб Бокый» намекает сам Д. С. Лихачев, ср.: «Около Соловков нас снова захихнули в чрево “Глеба Боккого” (этот живой человек, в честь кого был назван пароход, — людоед — главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и расстрелам)» (Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 402). Большевики, видимо, любили давать своим кораблям чекистские имена. Показательно, что и первым судном, вошедшим в шлюзы сталинского Беломорканала летом 1933 г., был другой корабль под названием «Чекист».

⁴³ Напомним, что одним из обвинений Д. С. Лихачеву органами ГПУ, был его доклад о действиях «чрезвычайки» за первые пять лет после революции (содержавший статистику расстрелянных). Согласно этому докладу кровавая жертва ЧК за этот срок составила: 28 епископов, 1218 священников, 54000 офицеров, 90000 докторов, 355000 представителей интеллигенции, 815000 крестьян и т. д. (см.: Обвинительное заключение ГПУ по делу кружка «Воскресение» № 108 (1929 г.), опубликованное в качестве приложения к статье: Медведев Ю. «Воскресение»: К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера // Диалог. Карнавал. Хронотоп. М.: Витебск, 1999. Вып. 4. С. 111).

философском отступлении 1-й редакции его «Воспоминаний», написанном в лиро-эпической манере⁴⁴. Начинается оно эпической картиной геологической жизни Соловецких островов в Белом море, изображенной в грандиозной пространственно-временной перспективе: «Десятки тысяч лет ледники, двигавшиеся из Скандинавии, нагнали сюда, на Соловецкие острова, валунов. Стада этих валунов покрыли острова. Они были обкатаны тысячеверстными переходами, приняли форму удивительно живую, лаконичную. Лед вспахал острова, вырыл длинные логовища для озер, почти перерезал остров пополам Глубокой Губой. Над островами проносились ветры, облака, туман, метели. Вставали томительно длинные восходы, ложились разноцветные закаты. По ночам зимой колыхались северные сияния. Соловки были близки мирам иным, близки к космосу».

Продолжается это повествование рассказом о появлении на острове монахов, возделывавших его в течение пяти столетий своим трудом и молитвой, об огромных усилиях людей окультурить природу, создать с ее помощью соборы величественного монастыря: «Полтысячелетия назад человек стал возводить из валунов жилища. Сделал ограду, чтобы отгородиться от ветров, моря, лесов и болот. Из валунов и кирпича возводились огромные здания. Все они соединялись между собой переходами, чтобы люди могли не выходить наружу. По длинным переходам внутри домов с кельями можно было обойти вокруг всего монастыря. Деревянные переходы связывали группу соборов с кельями. Эта группа соборов в центре монастыря была также соединена переходами. Здесь были старые Успенский и Преображенский соборы, трапезная, пекарня, новые соборы — Троицкий, колокольня, часовня Германа и многое еще другое».

Но в это пространство светлого духа, творящего в согласии с природой, вторгается дух вражды и насилия, который превращает эти соборы в тюрьмы, священные алтари — в уборные, застраивает их нарами, заселяет человеческим сбродом, заполняет их чадом и смрадом. Эпический стиль повествования сменяется сгущенно-натуралистическим: «В новом Троицком соборе, как бы приткнувшись к старому Преображенскому, было устроено огромное помещение 13 роты. <...> Уборная была сделана, как полагается, в алтаре. В часовне Германа был ларек, в склепах — кладовые. Всюду под сводами с великолепной акустикой гулко раздавался мат. <...> Высокие помещения соборов как нельзя лучше подходили для многоэтажных нар, фантастически громоздившихся, вздымавшихся вверх, затемнявших свет. Толпы людей, сменившие паломников, жили здесь, ели, испражнялись, извергали испорченный воздух, обильно накапливавшийся в желудках от черного хлеба и чечевицы, чесались до кровавых расчесов от вшей

⁴⁴ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. ОР. Ф. 769).

и клопов, ругались, изощрялись в подлости, чтобы продлить свое существование на несколько недель или месяцев, играли в карты, ругались, пели блатные песни, дрожали от холода, прятались от нарядчиков под нары, воровали, рассказывали анекдоты, пошло острили. В конце концов — кого выносили на носилках умирать в лазарет, а кто умирал тут же, и ему писали, еще живому, чернильным карандашом на запястье руки фамилию, чтобы будущий труп нельзя было спутать с трупом соседа».

Вся эта картина, нарисованная Д. С. Лихачевым, напоминает образы стихотворения «Тризна», где также в пространство святости вторгаются «исчадия ада», чтобы надругаться над ней и сотворить здесь свою кровавую тризну. Но, в отличие от стихотворения, здесь автор словно выхватывает из мрака светом теплящейся свечи нечто такое, отчего наступает катарсис. Он видит представителей трех уходящих сословий, достойно встретивших посланное им испытание, — духовенства, интеллигенции и кадрового офицерства. И замирает от осознания величия их подвига: «И среди всего этого ужаса тихо теплилась жизнь святых, пораженных значительностью совершающегося. Скромно и благородно заканчивали свою жизнь интеллигенты старой формации. Мужественно выполняло свой долг жизни старое кадровое офицерство, чудом сохранившееся в мировой войне и гражданской».

Осмысливая увиденное, Д. С. Лихачев высказывает еще одну важную историософскую мысль, связывающую судьбу России с Соловками: «События избирают себе места, чтобы свершиться именно в них. Старая Россия умирала в Соловках. Нет, я неверно сказал — не старая Россия умирала здесь, а какая-то ее часть: интеллигенция, духовенство, отдельные участники белого движения, не выехавшие за границы России. Здесь был последний уголок свободы, духовной жизни».

Можно сказать, что в этих строках звучит своего рода «Реквием» по ушедшей России. Конечно, не вся старая Россия ушла в вечность на Соловках, но, несомненно, — ее лучшая часть.

Во второй части статьи проследим основные этапы многолетних занятий Д. С. Лихачева соловецкой темой. Судя по всей совокупности текстов, посвященных Соловкам, он возвращался к опыту Соловецкого лагеря на протяжении всей своей жизни, осмысливая его с годами все более ясно. Со временем у него пришло понимание, что именно там он застал последний культурный слой Серебряного века, который вскоре исчез навсегда. В своей манере поведения, в образе мыслей и поступках Д. С. Лихачев оставался хранителем памяти об этих людях.

Первый опыт его записей о Соловецком лагере относится еще к пребыванию Д. С. Лихачева на Соловках. Тетрадь с соловецкими записками 1928–1930 гг., сделанными по свежим следам, была передана им приезжавшим на свидание родителям в 1930 г. (первые ее страницы, по словам Лихачева, были им вырваны, чтобы «не подвести упомянутых там лиц»)⁴⁵.

В 1932 г., по возвращении в Ленинград, Д. С. Лихачев составил для себя список с фамилиями людей, которых он встретил в лагере (всего около 430 имен), с краткими примечаниями. Писать подробно о них он не мог, зная по опыту, насколько опасными бывают такие записи. Впоследствии этот список послужил опорой для его воспоминаний. По словам Д. С. Лихачева, в нем запечатлена «лишь малая часть бесчисленных лиц, с которыми он дружил, разговаривал, встречался, которых просто знал...»⁴⁶ Но память с годами стала его подводить, и многих из них он уже не смог вспомнить. Судя по отдельным его высказываниям, Д. С. Лихачев сильно об этом сожалел, считая «самой большой неудачей в жизни»⁴⁷. Незадолго до смерти он опубликовал весь этот список «как единственный след того, что люди эти были, что ушли, не оставив ничего, кроме имени в моем списке»⁴⁸.

Новое обращение Д. С. Лихачева к теме Соловков состоялось уже в зрелом возрасте, когда после смерти Федора Розенберга в 1959 г. у него созрело решение написать воспоминания о Соловецком лагере. Тогда же им были написаны «Заметки к будущим воспоминаниям»⁴⁹. В них он определил основные темы будущих воспоминаний: тему дружбы и духовной свободы «несмотря на лагерь» и тему духовной силы русской интеллигенции.

В конце 1964 г. Д. С. Лихачев вступает в переписку с писателем-соловчанином Олегом Васильевичем Волковым. Вскоре между ними устанавливаются дружеские отношения. Основой для этого послужила общность их судеб, связанных с Соловецким лагерем, и забота о сохранении памятников культуры⁵⁰. В апреле 1966 г. Д. С. Лихачев получает через семью Волковых письмо от Ксении Николаевны Пискановской, дочери отца Николая. Переписка с ней будет продолжаться до самой ее кончины в 1997 г.⁵¹

В июле 1966 г. Д. С. Лихачев принимает участие в конференции «Памятники культуры Русского Севера» в Архангельске. На ней он выступил с докладом

⁴⁵ Лихачев Д. С. Соловецкие записи. 1928–1930 // Лихачев Д. С. Работы ранних лет. Тверь, 1993. С. 15–30.

⁴⁶ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет // Наше наследие. М., 1993. № 27. С. 57–59.

⁴⁷ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 511.

⁴⁸ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет. С. 57.

⁴⁹ Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769).

⁵⁰ Письма Д. С. Лихачева О. В. Волкову и его семье / Публ., сопроводит. текст и прим. В. О. Волкова // Наше наследие. 2008. № 87–88. С. 74–79.

⁵¹ Там же. С. 76.

«Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса», который во многом способствовал принятию решения об открытии Соловецкого музея-заповедника⁵².

Из Архангельска он вместе с другими участниками конференции отправился на пароходе «Татария» на Соловки, где провел несколько дней⁵³. Во время прогулок по Соловецкому острову его сопровождала Светлана Васильевна Вереш, в будущем первый директор Соловецкого музея. По ее воспоминаниям, в течение нескольких дней они обошли и объехали на машине и лодках «практически весь архипелаг»⁵⁴. Побывали на Анзере и на Муксалме, ездили на Заяцкие острова. При этом Д. С. Лихачев подробно рассказывал ей и другим спутникам о лагерной топографии Соловецкого лагеря, штрафном изоляторе на Секирке, читал стихи Владимира Кемецкого. Многие из рассказанного им С. Вереш записала⁵⁵. В прогулках по соловецкому кремлю приняли участие также два других будущих научных сотрудника Соловецкого музея Евгений Абрамов и Александр Осипович, которые также постарались сохранить для памяти краткие записи его рассказов. Об этом сообщал впоследствии Юрий Чебанюк (приехавший на Соловки годом позже) со слов своих товарищей: «От его посещения у ребят осталась беглая запись истории Соловецкого лагеря. Позже, прочтя “Архипелаг ГУЛАГ”, я понял, что у Александра Исаевича и у нас, соловецких экскурсоводов, был один и тот же источник информации»⁵⁶.

Поездка на Соловки оставила в душе Д. С. Лихачева сильное впечатление. Побывав в местах своей памяти, он воочию увидел разрушительную силу забвения, противоположную духу памяти — памяти как форме жизни духа. Позднее он об этом писал с горечью: «С группой музейных работников я был и на Анзере, где почти все памятники подверглись страшным разрушениям. Особенно жалко мне было Голгофы и Троицкого скита. Поразили меня карандашные надписи на стенах. Людям так хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память... То же самое увидел я на Секирке <...> Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность этой общей могилы — не только людей, каждый из которых имел свой душевный мир, но и русской культуры — последних представителей русского Серебряного века и лучших представителей Русской церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов, ибо кто их и помнил — умер»⁵⁷.

⁵² Решение правительства об открытии Соловецкого музея-заповедника было принято 10 января 1967 г.

⁵³ О поездке на Соловки летом 1966 г. Д. С. Лихачев рассказал в одной из последних глав книги «Воспоминаний».

⁵⁴ Вереш С. В. Четыре соловецких года // Наше наследие. М., 2006. № 79–80. С. 88–94.

⁵⁵ Там же. С. 92.

⁵⁶ Мельницкая А. Давняя песня в нашей судьбе. Часть 1 // Соловецкое море. 2002. № 1. С. 155.

⁵⁷ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 508, 510.

Очевидно, увиденное так потрясло его, что сразу по возвращении с Соловков он начал писать свои воспоминания. Об этом достоверно свидетельствует его записная книжка 1959–1966 гг. Работа над первой редакцией их велась с июля по ноябрь 1966 г. В ноябре первая редакция воспоминаний была им завершена. Она включала и те два фрагмента с философскими размышлениями Д. С. Лихачева, которые были приведены выше (о Промысле Божиим и о том, что три избранных сословия старой России ушли в вечность здесь, на Соловках).

Вскоре по возвращении с Соловков Д. С. Лихачев составил свой Соловецкий альбом, в котором использовал снимки, сделанные во время поездки⁵⁸.

Летом следующего, 1967 г. Д. С. Лихачев был приглашен в Оксфорд для награждения его почетной степенью доктора Оксфордского университета. Там он встретился с Софией Михайловной Осоргиной — сестрой Георгия Михайловича. Он рассказал ей все, что знал об обстоятельствах гибели ее брата. С. М. Осоргина подарила ему на память копию пасхального письма брата, написанного родным из Бутырской тюрьмы⁵⁹.

В 1967 г. к Д. С. Лихачеву приезжает А. И. Солженицын, чтобы узнать от него подробности лагерной жизни на Соловках. Бывший соловчанин делится с ним своими воспоминаниями и передает ему собственные записи о Соловках⁶⁰. Ручеек его памяти вливается в грандиозную реку общенациональной памяти, а написанное им составляет основу соловецкой главы романа «Архипелаг ГУЛАГ».

По словам Лихачева, в его же кабинете появилось на свет и само название романа. Вот как рассказывает об этом сам Лихачев: «В самый разгар работы над своими сочинениями по истории лагерей ко мне приехал А. И. Солженицын. Мы с ним работали три дня. Я ему дал свои записки по истории Соловков. Рассказал о главном палаче Соловецкого лагеря латыше Дегтяреве <...>, сам он себя пышно именовал “начальником войск Соловецкого архипелага”. Александр Исаевич воскликнул: “Это то, что мне нужно!” Так в моем кабинете родилось название его книги “Архипелаг ГУЛАГ”»⁶¹.

Об этом же вспоминает внучка Д. С. Лихачева — В. С. Зилитинкевич: «Когда я стала немного старше, лет десяти-двенадцати, дедушка начал мне часто рассказывать о Соловках. Вообще, соловецкий период был одним из важнейших в его жизни. Хорошо помню, как дедушка рассказывал о Соловках Солженицыну, который приходил к нам на дачу, когда собирал материал для “Архипелага ГУЛАГ”. В главе о Соловках Солженицын в основном опирался

⁵⁸ Этот альбом хранится у внучки Д. С. Лихачева — Э. Ю. Курбатовой.

⁵⁹ См. главу «Георгий Михайлович Осоргин» из цикла Д. С. Лихачева «Люди Соловков».

⁶⁰ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет (из воспоминаний об интеллигенции 1920–1930-х годов) // Лихачев Д. С. Об интеллигенции. СПб., 1997. С. 193.

⁶¹ Лихачев Д. С. Соловки. 1928–1931 годы // Настоящее издание. С. 361.

именно на дедушкины рассказы. И само название главы “Архипелаг возникает из моря” подсказано было ему именно дедушкой. Хорошо помню, как Солженицын хлопнул рукой по столу и прямо крикнул “Здорово”, когда дедушка сказал, что советские лагеря “возникли из моря”. Дедушка мне тогда сказал в связи с приходом Солженицына: “Постарайся запомнить, что говорил этот человек. Это очень крупная фигура в русской культуре”. Он даже сравнил Солженицына с Толстым. На меня это произвело большое впечатление»⁶².

В марте 1968 г. Д. С. Лихачев сообщает в письме Светлане Вереш о желании Солженицына побывать на Соловках⁶³. К сожалению, этот замысел так и не осуществился. В конце лета — начале осени 1968 г. Д. С. Лихачев пишет программную статью «Соловки в истории русской культуры»⁶⁴ для сборника «Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов». Однако сам сборник вышел в свет под редакцией Д. С. Лихачева лишь 12 лет спустя, в 1980 г.⁶⁵

В конце декабря 1968 г. Д. С. Лихачева вновь посещает Солженицын. Он рассказывает Дмитрию Сергеевичу о своем проекте построить храм под Звенигородом. Тот, в свою очередь, советует ему вместо строительства новой церкви восстановить одну из уже существующих на Соловках и установить там заупокойную службу по всем погибшим в лагере с чтением Неусыпаемой Псалтыри⁶⁶. Как записал в краткой заметке об этом разговоре сам Д. С. Лихачев, идея Солженицыну очень понравилась. Но осуществить ее, по понятным причинам, ему так и не удалось.

В 1969 г. Д. С. Лихачев создает своего рода «путеводитель» по Соловецкому лагерю, используя для этого альбом художника Г. М. Манизера с видами Соловецкого острова, в который внес свои комментарии по лагерной «топографии» Соловков⁶⁷. На одной из иллюстраций он отметил окно Троицкого собора, на подоконнике которого он когда-то встретил о. Николая Пискановского. На другой обозначил канцелярскую роту, где жили И. М. Андреевский и епископ катакомбной церкви профессор-хирург Максим Жижиленко.

В этом же путеводителе он нарисовал план своей камеры в 3-й роте, где жил зимой 1929 г. после перенесенного тифа. Соседями его были заведующий

⁶² Дмитрий Лихачев и его эпоха... С. 30–31.

⁶³ «Милая добровольная затворница»: Письма Д. С. Лихачева к С. В. Вереш // Наше наследие. М., 2006. № 79–80. С. 95.

⁶⁴ Там же. С. 97.

⁶⁵ Лихачев Д. С. Соловки в истории русской культуры // Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М., 1980. С. 9–41.

⁶⁶ Рассказ об этом визите А. И. Солженицына хранится в архиве Д. С. Лихачева.

⁶⁷ Архитектура Соловецкого монастыря : (альбом репрод. / Г. М. Манизер; текст П. Тельтвского); худож. Г. М. Манизер. М., 1969. (Памятники древнего зодчества). Эта книга с заметками Д. С. Лихачева о Соловецком лагере хранится в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома.

Криминологическим кабинетом А. Н. Колосов и генерал Осовский, происходивший из византийского рода Палеологов (как шутили его сокамерники: «претендент на Греческий престол»).

В 1971 г. Дмитрий Сергеевич вместе с Зинаидой Александровной провели месяц в Коктебеле, где Марья Степановна Волошина читала им наизусть поэму Максимилиана Волошина о Владимирской иконе Божией Матери, посвященную реставратору А. И. Анисимову. По возвращении из Коктебеля Д. С. Лихачев написал очерк о пребывании А. И. Анисимова на Соловках.

Во второй половине 1970-х гг. он пишет целую серию очерков о разных сторонах лагерной жизни: «Школа смелости», «Соловецкий “Страшный сон”», «Ю. Казарновский», «Малютка Фелибер», «О расстреле 28 октября 1929 г.», «Сыпной тиф», «Женщины из Женбарака», «Вещи», «Клопы», «О вшах», «Возвращение». Большинство из этих очерков так и остались неопубликованными.

20 сентября 1979 г. Д. С. Лихачев пишет письмо В. Т. Шаламову, находившемуся в доме инвалидов Литфонда, со словами признательности и поддержки. В этом же письме он говорит и о своем долге памяти перед «соотечественниками» по Соловецкому лагерю: «Дорогой Варлам Тихонович, захотелось написать Вам. Просто так. У меня тоже был период в жизни, который я считаю для себя самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и “соотечественников”. Сотни людей слабо мерцают в моей памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко. Никто ничего не знает. А жизнь была очень значительной. Вы другое дело. Вы выразили себя и свое»⁶⁸.

В 1978 г. Д. С. Лихачев создал новый «цикл» заметок по лагерной «топографии» на комплекте открыток с видами Соловков. Среди них и такая: «Андреевская церковь. Здесь, в бане и в кельях, была штрафная женская рота, пользовавшаяся страшной славой (тут погибали и умирали — монахини, проститутки, воровки, бандитки и пр.). Сюда были отправлены монахини из имяславинского монастыря, тайного, около Гагр в горах, которые не хотели называть своих имен и работать на Советскую власть. Все они здесь умерли (молодые) голодной смертью».

В 1983 г. аналогичные записи Д. С. Лихачев делает на другом комплекте открыток. Приведем для примера две из них. Первая: «Надвратная Благовещенская церковь и Пожарные (бывшие Святые) ворота. Здесь находилась пожарная команда, а в церкви Солмузей. Через ворота водили на расстрел людей (расстреливали на кладбище). Когда расстреляли 300 человек, профессор Оксфордского университета Покровский стал сопротивляться, бил

⁶⁸ РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 330. Л. 1. Цитата из письма к В. Т. Шаламову приведена в статье: Бронникова Е. В. Эпистолярное наследие Д. С. Лихачева в фондах Российского государственного архива литературы и искусства // Археографический ежегодник за 2006 г. М., 2011. С. 350.

деревянной ногой (протез) конвоиров. Пристрелили его здесь в воротах. Сам он называл себя, представляясь, “Белобандит Покровский”».

Другая запись связана с воспоминанием Д. С. Лихачева о знакомстве с художником-реставратором А. И. Анисимовым: «Сколько раз, работая по вечерам в Солмузее, я поднимался по этой лестнице наверх, где были иконы и где в 1931 г. расчищал большую икону XV в. Александр Иванович Анисимов. Он приехал позже, и я показывал ему мои любимые иконы. Он сдержанно сказал мне: “Вкус есть!” Я запомнил эти слова: они мне были дороги. Он наизусть читал посвященную ему поэму Макса Волошина о Владимирской Божьей Матери. Делал доклад о ее расчистке в 7 роте».

В 1983 г. Д. С. Лихачев встретился с приехавшей из Архангельска К. П. Гемп и записал ее рассказ о пребывании на Соловках отца Павла Флоренского и об обстоятельствах его гибели⁶⁹.

В 1984 г., в 52-ю годовщину освобождения из лагеря (8 августа 1932 г.), он нашел и отредактировал свое юношеское стихотворение «Тризна», написанное в стиле поэтического речетворчества, свойственном эпохе Серебряного века.

В 1988 г. Д. С. Лихачев принимал участие в съемках фильма «Власть Соловецкая» (реж. М. Голдовская). Во время съемок фильма Ю. А. Бродский дал ему для прочтения самиздатовскую копию книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» (Нью-Йорк, 1954). Читая ее, Д. С. Лихачев сделал на полях книги целый ряд комментариев, посвященных Соловецкому лагерю⁷⁰.

Но горькое чувство последнего свидетеля ушедшего века не покидало его. Летом того же года Д. С. Лихачев посещает Соловки с группой режиссера В. Б. Виноградова для съемок фильма «Я вспоминаю...» После этой, казалось бы, удачно сложившейся поездки у него все же остается иное чувство — неумолимо надвигающейся энтропии, всеразрушающей силы времени: «Все было удачно. Милая дружная съемочная группа молодежи, чудная летняя погода, удачные, как я считаю, съемки. Но Соловки оставили во мне тяжелое впечатление. <...> Соловки-монастырь, Соловки-лагерь, Соловки-тюрьма еще более отступили в царство забвения. Всего один памятник для сотен могил, рвов, ям, в которых были засыпаны тысячи трупов, <...> должен еще более подчеркивать обезличивание, забвение, стертость прошлого. Увы, тут уже ничего не сделаешь»⁷¹.

⁶⁹ Запись этого рассказа, больше тяготеющего к легенде, свойственной фольклору, хранится в архиве Д. С. Лихачева (ИРЛИ. Ф. 769).

⁷⁰ Впоследствии Ю. А. Бродский передал этот экземпляр с пометами Дмитрия Сергеевича в дар Фонду имени Д. С. Лихачева. Анализ комментариев Д. С. Лихачева в книге Б. Ширяева посвящена статья отца Вячеслава Умнягина «Лихачев и Ширяев: (О рукописных комментариях Лихачева на полях “Неугасимой лампады”)».

⁷¹ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 510.

Но как истинный рыцарь памяти Д. С. Лихачев не слагает оружия. Несмотря на свой почтенный возраст (82 года), он отдает себе приказание: «Надо призвать свою память, ибо помнить прошлое Соловков стало уже больше некому»⁷². И в последующие полтора года он создает новый обширный очерк воспоминаний о Соловках, который включит впоследствии (в несколько переделанном виде) в книгу «Воспоминаний» (1995). Впервые этот очерк был опубликован в сборнике его работ, названном «Книгой беспокойств» (1991)⁷³.

В 1989 г. Д. С. Лихачев встретился с племянником Г. М. Осоргина Георгием Сергеевичем Голицыным и рассказал ему об обстоятельствах гибели дяди. К счастью, Г. С. Голицын сделал краткую запись его рассказа, которая затем была опубликована в книге его отца «Записки уцелевшего»⁷⁴.

В 1988–1989 гг. выходят две книги Д. С. Лихачева: «Воспоминания» (1988) и «Заметки и наблюдения» (1989), в которые он включил краткий очерк «Соловки» (первый печатный вариант его воспоминаний о лагере)⁷⁵.

Получив в конце 1990-го года 9-й номер журнала «Север», всецело посвященный Соловецкому лагерю, Д. С. Лихачев написал 9 страниц поправок и уточнений к опубликованным в нем материалам. 13 января 1991 г. он отправил свои поправки в редакцию, поблагодарив ее за «замечательный номер»⁷⁶.

В 1991 г. вышли в свет еще две книги Д. С. Лихачева, включающие главы о Соловецком лагере, — «Я вспоминаю» и «Книга беспокойств». В первой он поместил текст своего интервью из фильма В. Б. Виноградова «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю...» (1988) и «Соловецкие записи 1928–1930 гг.» (заметки, сделанные им еще в лагере)⁷⁷. Во вторую, как уже было сказано, вошел вновь написанный очерк «На Соловках» (а также публиковавшийся ранее очерк «Соловки»)⁷⁸.

В начале 1992 г. Д. С. Лихачев получил возможность ознакомиться с материалами хранящегося в архиве ФСБ Санкт-Петербурга следственного дела ГПУ по обвинению в антисоветской деятельности Космической Академии Наук и Братства прп. Серафима Саровского. Он обнаружил в материалах дела «Тезисы доклада о старой орфографии», написанного им в январе 1928 г., за несколько дней до ареста, и послужившего одним из мотивов для осуждения его на 5-летний срок. В том же году Д. С. Лихачев подготовил к печати книгу «Статьи ранних лет», в которую вошли «Тезисы доклада о старой орфографии», «Соловецкие записи 1928–1930 гг.»,

⁷² Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 510.

⁷³ Он же. Книга беспокойств. М., 1991. С. 94–145.

⁷⁴ Голицын С. М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 429–433.

⁷⁵ Лихачев Д. С. 1) Воспоминания. М., 1988. (серия «Писатель и время»); 2) Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 97–103.

⁷⁶ Он же. В редакцию журнала «Север» // Север. 1991. № 4. С. 99–102.

⁷⁷ Он же. Я вспоминаю. М., 1991. С. 63–94.

⁷⁸ Он же. Книга беспокойств. М., 1991. С. 94–145.

«Картежные игры уголовников» (впервые опубликованная в журнале «Соловецкие острова» за 1930, № 1), краткая редакция его воспоминаний о Соловках и еще две научные статьи, посвященные воровской речи (Тверь, 1993).

В начале 1990-х гг. Д. С. Лихачев написал еще целый ряд статей о «людях мысли» Соловков: А. А. Мейере, Ю. Н. Данзас, Г. О. Гордоне и других. Наконец, в 1993 г. в журнале «Наше наследие» вышел полный текст его воспоминаний о Соловецком лагере под названием «Беседы прошлых лет...» (Из воспоминаний об интеллигенции 1920–1930-х годов)⁷⁹.

Но долг памяти продолжал жить в его душе и в последующие годы, вновь и вновь побуждая его вспоминать и писать. В 1994 г. он пишет краткий очерк о поэте Владимире Кемецком, с которым он прожил «в одной камере почти два года», и публикует его стихи из сборника, присланного неизвестным дарителем в редакцию журнала «Наше наследие». В конце очерка Д. С. Лихачев признается: «Стихи нашли меня, я верю, по воле Володи. Поэтому я публикую их, как бы прижимая к сердцу»⁸⁰.

В 1995 г. вышла большая книга его «Воспоминаний», включавшая, наряду с соловецкими главами, главы о его детстве и школьных годах, о пережитой блокаде и о службе в Академии наук. Эпиграфом к ней послужили слова молитвы: «И сотвори им, Господи, вечную память...» Осознавая свое бессилие вспомнить всех, кого он встретил на своем пути, Д. С. Лихачев смиренно препоручает их памяти Божией, увенчивая книгу этим просветленным эпиграфом.

Таким образом, Д. С. Лихачев был не просто летописцем истории Соловецкого лагеря. Пожалуй, в большей степени он был добровольным служителем памяти о своих товарищах. Можно с уверенностью сказать, что исполнение долга памяти было для него главным делом жизни. Особенно это проявилось в его бережном отношении к памяти отца Николая Пискановского и владыки Виктора Островидова, которым он посвятил в своих «Воспоминаниях» общую главу («Духовенство»). Но и в жизни он проявлял сердечную заботу о дочери отца Николая, Ксении, стараясь оказывать ей всемерную поддержку. Находясь в многолетней переписке с ней, он попросил ее написать о жизни отца Николая и владыки Виктора Островидова после Соловков как можно подробней. В ответ на его просьбу Ксения Николаевна прислала ему два больших письма с рассказами о жизни отца

⁷⁹ Лихачев Д. С. Беседы прежних лет // Наше наследие. М., 1993. № 26. С. 33–60; № 27. С. 33–59. Названием послужила строка из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») (1821).

⁸⁰ Кемецкий В. Из цикла «Каменные стихи» / Публикация Д. С. Лихачева // Мъра, 1994. № 4. С. 24–29.

в Архангельске и о приезде к нему владыки Виктора. Эти письма Д. С. Лихачев перепечатал на машинке и дал каждому из них свое название. Первому — «Жизнь отца Николая Пискановского», второму — «Пискановская о владыке Викторе Островидове». О жизнеописании отца Николая, присланном его дочерью, он заметил: «Поразительно похоже по сообщаемым фактам и по стилю на “Житие” протопопа Аввакума»⁸¹.

Осознавая свою ответственность как последнего свидетеля ушедшей эпохи, Д. С. Лихачев неустанно заботился о том, чтобы летопись Соловецкого лагеря включала все новые и новые имена. У него было сильное чувство долга, долга памяти. Он не мог примириться с забвением. Он был рыцарем памяти. Борьба с забвением и была краеугольным камнем всей его деятельности в роли летописца Соловков и главным побудительным мотивом к написанию воспоминаний.

Не случайно, наверное, в одной из своих записных книжек Д. С. Лихачев сделал выписку о старике из романа Вальтера Скотта «Old Mortality» (в русском переводе — «Пуритане»), который очищал ото мха могильные плиты, чтобы сохранить от забвения высеченные на них имена⁸². И сам Д. С. Лихачев боролся с забвением как мог.

Но думал он не только о прошлом. Не меньшее значение он придавал будущему. В 1990-е г., вскоре после возобновления монашеской жизни на Соловках, он передал наместнику монастыря архимандриту Иосифу (Братищеву) чистую тетрадь в красивом кожаном переплете, сделав на ней следующую надпись: «Летопись возрожденного Соловецкого монастыря». При этом он думал не только о сохранении исторической памяти, но прежде всего — о том особом, «вневременном», взгляде на жизнь, который свойственен летописцу. «Память, — писал Д. С. Лихачев, — это не только сохранение прошлого, это забота о вечности»⁸³. «Забота о вечности» и была главным делом его жизни.

С той поры и поныне новые летописцы Соловецкой обители продолжают вести эту летопись, давно заполнив ее первую — Лихачевскую — тетрадь...⁸⁴

⁸¹ Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 480.

⁸² Он же. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 322.

⁸³ Образ города // Д. С. Лихачев. Раздумья о России. СПб., 1999. С. 570.

⁸⁴ В 2010 г. был издан особый — фотографически документированный — вариант Соловецкого летописца, посвященный 20-летней истории возрожденного монастыря. См.: Соловки. История. Летопись возрождения: фотоальбом. Изд. Соловецкого монастыря, 2010.



Картежные игры уголовников (Из работ Криминологического кабинета)¹



Картежная игра имеет в воровской среде немалое значение в достижении высших ступеней жульнической квалификации. Умелого и «тонкого» воровства далеко не достаточно для того, чтобы стать испытанным «духовым»², «жиганом»³. Неумение постоянно рисковать всеми своими деньгами, «тряпками» или даже жизнью, так же, как и неверность своей воровской этике, составляет признак «дешевого человека». «Глубоко свой»⁴ жулик всегда носит при себе колоду карт и готов играть где угодно и при каких угодно обстоятельствах. Даже собираясь «на дело», жулик захватывает с собой карты. Азарт руководит всеми его поступками. Карты же помогают жулику коротать время в тюрьме.

Привычка к постоянному напряжению всей нервной системы, привычка рисковать делает особенно тяжелым однообразие тюремной жизни. Карты дают жулику необходимое, чисто физиологическое ощущение риска. Многие жулики сравнивают ощущение при игре с ощущением при краже.

По словам одного карманника, выигрывать — все равно, что чувствовать, как скользит в руку под подкладкой фраера толстый бумажник.

По-своему образный язык шпаны подчеркивает эту связь в характерном употреблении картежных терминов: «При рамсе⁵ вольты⁶ недействительны», — говорит агент уголовного розыска, поймав жулика на предъявленную ему «липу»⁷.

¹ Впервые было опубликовано в журнале «Соловецкие острова», 1930 г., № 1, С. 32–35. Публикуется по: Лихачев Д. С. Статьи ранних лет. Тверь, 1993. С. 45–53.

² Духовым называется крупный вор: «Духовой куши рвет».

³ Жиган — «настоящий», удалой вор, герой, каким его рисует себе шпана.

⁴ «Свой» или «масовый» — вор.

⁵ Рамс — шпанская игра в карты.

⁶ Вольт — вает.

⁷ Липа — фальшивый документ.

В заключении «колотушки»⁸ сменяют «фомку»⁹, и никакие ухищрения не могут их изгнать оттуда.

В исправдомах с более или менее свободным режимом шпана обычно располагается группами — вместе сидят все с одной улицы или из одного района. Внутри камеры — все общее, и играют камера с камерой.

Сейчас в камере висит одежда, лежат передачи, а через полчаса нет ничего, кроме самого необходимого. Хорошим игрокам в камере почет. «Играющий» человек никогда не будет в тюрьме голоден.

За приобретением карт дело не станет. Главная трудность заключается в бумаге, но если в тюрьме имеется библиотека или какие-нибудь красные уголки с газетами и журналами, — трудности не существует.

Бумага склеивается в несколько слоев хлебным клеем (хлеб обдаётся крутым кипятком и отжатой жидкостью клеят). Склеенные листы нарезаются, и на них переводятся — «стираются» — рисунки через трафаретки. Трафаретки — обыкновенные листы бумаги, на которых вырезаются острым ножом или бритвой очки в форме нужной масти.

Краской служит слегка разведенное на химическом карандаше, саже или чернилах мыло. Красная масть отличается очертаниями очков. Фигуры создаются комбинациями очков. Некоторые колоды делаются очень старательно и уже не выдаются администрации. Есть колоды, на которых тузы изображаются сочетаниями звезды, серпа и молота, валеты — красноармейцами и т. п. В таких случаях всегда имеется несколько колод, которые специально держатся для выдач. Главными центрами картежной игры на Соловках являются общие роты. Играют на нарах и под нарами. Обычно вокруг играющих моментально собирается кружок зрителей. На некотором расстоянии у дверей камеры становятся «цинковые», они предупреждают о приближении «казаков» (командиров взводов, рот и т. п.).

Местный поэт из «своих» следующим образом изображает картежную игру:

*После завтрака играют,
Вновь открылось казино,
Игроков везде хватает,
Игроков везде полно.
Тот за печкой притаился
И пыхтит, как паровоз,
А другой в углу забился,
Четко мечет в чудный «стос».*

⁸ Колотушки — карты, они же — стирки, пулемет, майдан и т. п.

⁹ Фомка — воровской инструмент.

*Моментально карты лепят,
Невозможно передать,
Если взводный их отымет —
Наготове есть опять.
Вдруг, как кошки, разбежались,
«Шухер», братцы, — мы горим!
Два несчастные попались,
Захватил их командир.*

В общем числе внутрилагерных правонарушений картежная игра занимает одно из первых мест. С ней связана целая группа различных правонарушений — растрат, промотания казенного обмундирования и т.п.

*Игра в буру азарт наводит —
Играют триста, как один,
И карцер вечно заполненный,
И только виден черный дым...
За что сидят? И все за карты.
Ломают склад, тащат муку,
Администрация их ловит,
Сажает в маленьку тюрьму.
Ведется следствие, и что же?
И все сидят и ждут прибавки.
Теперь не вздумают «ломать» и т.д.¹⁰*

Вышеприведенные отрывки дают некоторое представление о том, как играют на Соловках.

Не во всякую игру станет играть «свой». Шпанская игра должна удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, игра должна быть на интерес — «коммерческой» (в 13-й роте шпана умудряется даже в шашки и шахматы играть на деньги) и, во-вторых, никогда игра не должна быть «на случай». Все игры вообще делятся на «фраерские» и на шпанские — «свои».

Шпанских игр немного: штос, или стос, в произношении шпаны, иначе говоря, «разбойницкая», бура, рамс и терс (или терц). Все прочие — «фраерские».

Жулик может играть во «фраерские» игры, но только с фраером же и «для понта», если он хочет сойти за фраера из каких-либо целей, между прочим, и для того, чтобы его «наколоть» на приличную сумму.

Для этого он и подтасует, сдаст и сыграет, как заправский фраер.

¹⁰ Стенгазета «Труд[овой] Конд[остров]», 18 марта 1926 г., № 2.

Низшие разряды шпаны — «вшивки» или так называемые «веселые нищие»¹¹ — играют еще в очко, петуха, и эти игры довольно распространены в их среде, но настоящие «духовые» смотрят на них с презрением.

В довоенное время с картами сильно конкурировала ныне почти исчезнувшая игра в кости. Из картежных игр бура и рамс проникли в воровскую среду позднее.

Наибольшим и почти единственным распространением на Соловках пользуются две игры: стос и бура, из них излюбленнейшая — стос. Игроки из «своих» уверяют, что удобства и достоинства этой игры заключаются в том, что она играется очень быстро и в любой момент, в случае какого-нибудь шухера¹², может быть прервана, тогда как терс и рамс требуют спокойной обстановки. Наиболее азартные — стос и терс. Бура — «легкая игра», не для серьезных игроков. Шпанский стос отнюдь не является фраерской игрой на случай. Бывают мастаки, которые умудряются из десяти «сеансов» — шесть выигрывать наверняка. Соль всего дела заключается в чрезвычайно интересном явлении узаконенного в известной мере шулерства.

Сговариваются играющие очень быстро: «Игра есть?» — «Есть!»

Моментально появляются карты.

Один из играющих тасует, но не по-фраерски (складыванием широких боков), а складыванием концов в концы. Обычно во время тасовки незаметно изучается и расположение карт в колоде. Играющий изучает психологию партнера и подтасовывает нужные карты «на низок» или на верх колоды, в зависимости от того, как обычно снимает партнер. В свою очередь, и партнер принимает оборонительные меры и, стараясь выбрать карту, предварительно гадает по своей колоде. Впрочем, это, конечно, не обязательно. Выбрав карту, играющий подрезает ею стасованную колоду.

Спрашивает: «Стос готов?»

Если партнер видит, что подрезкой сбита его подтасованная колода и опрокинуты его расчеты, он имеет право отказаться. Такая подтасовка, если ее не заметят, вполне допускается — недозволительна только метка карт, и, во избежание этого, «свои» карты всегда при сдаче вытаскивают снизу колоды. Проиграв несколько раз, мечущий уже знает расположение карт в колоде, «тонко» принимает его в расчет при тасовке и легко бьет противника «в лоб»¹³.

Существует целый ряд способов обыграть противника в стос. Фраера называют их шулерскими, а «свои» просто «шансами».

¹¹ Шпана из мелких.

¹² Шухер — тревога.

¹³ Первая карта при метании в стос.

При одном из наиболее распространенных шансов, так называемом «баламуте», карты располагаются в нужном порядке. Тасовка производится таким способом, что те карты, которые в нее всовываются, — из нее же и вынимаются, а потом ставятся на прежнее место. Получается впечатление настоящей тасовки, а в конечном результате колода остается нетронутой. В некоторых случаях для той же цели делается так называемый «клин» — те карты, которые при подобной тасовке должны оставаться нетронутыми, слегка подрезаются с угла вдоль карты так, что карта становится несколько уже. При тасовке вытаскиваются только те карты, которые не подрезаны.

Почти то же, что и «баламут», представляет из себя так называемый «пятерик», только сложнее, и предназначается для тех, кого нельзя взять «на баламут». Вместо клина часто делается так называемый «запуск». Колода подбирается в нужном порядке и потом делится пополам — в одну часть собирают все нечетные карты, а в другую четные. Четные карты слегка подтачиваются с концов стеклом или бритвой. При тасовке следует захватить ровно половину (16 карт) и вкладывать их так, что каждая карта попадает через одну на свое место. В следующий раз берется опять половина и опять всовывается через одну. При следующей переключке карты снова попадают в свои места.

Такая тасовка требует большой сноровки, но идет очень быстро и дает полную иллюзию настоящей. Когда партнер снимает колоду, что может спутать игру, одна из половинок слегка сгибается в руке, а потом колода незаметно еще раз переключивается на старое место.

При игре в стос чрезвычайно важно знать, какая карта падает в лоб и как правильно выбрать ее при подрезке. Для этой цели существует целый ряд способов. Например, из колоды выбираются все валеты и слегка сгибаются с углов. При подрезке стараются попасть под карту, на которой лежит валет, валет — «угадан».

Если колода новая, рубашку карты, которую подрезают, натирают воском до блеска, и при подрезке, когда колода снимается, на рубашке получается смутное отражение нижней карты, которая должна идти в лоб. В некоторых случаях на части карт — предположим, на всех «фигурах»¹⁴ — с краю делаются легкие надрезы, или делается так называемый «ерш» (слегка зазубренные края карты натираются воском), который легко нащупать рукой подрезывающему (при подрезке карту следует держать несколько косо и «щупать» край верхней карты). Играющий уже может приблизительно ориентироваться в том, какая карта падет в лоб. В самодельных картах возможно «насыпное очко». В обычной семерке место, в котором

¹⁴ Король, дама и т. д.

в восьмерке должно быть очко, натирается сальной свечкой, и на него переводится через трафаретку очко из сажи жженого белого хлеба. Получается обычная восьмерка. Если необходимо сделать семерку, очко быстро стирается о стол.

Клеевое очко и галантинка в шпанской игре почти не употребляются, так как приемы эти слишком хорошо известны.

Кроме этих наиболее распространенных «номеров», существует еще целый ряд «производственных секретов», о которых не рассказывают.

Партнер, заметив, что его берут «даром», «на бога», может в любое время остановить игру: «Ваш номер старый». В этом случае он должен указать способ, каким его обыгрывают. Если укажет правильно, то выигрыш за ним.

Отношение к подобного рода «шансам» у шпаны в высшей степени спокойное.

Обчистив партнера до последнего, «играющий» показывает ему, «во что выиграл», и оставшийся в «замазке»¹⁵ не возражает — «ответ»¹⁶ остается в силе.

Интересно, что присутствующие не имеют права вмешаться в игру. Те, кто нарушат это правило, рискуют быть избитыми. По шпанской пословице, «проиграл — плати, а выиграл — получи». Правда, не уверенные в себе игроки могут брать в помощь кого-нибудь из корешков, но участие их в игре должно быть строго оговорено заранее.

При играх, требующих сложных арифметических расчетов, игроки могут выставить счетчиков, которые обычно «идут гривенничком», т. е. получают по гривеннику с каждого выигранного и проигранного рубля. Счетчики в особенности необходимы, когда игра идет всю ночь и играющим легко «запариться».

Кроме того, обычно каждый из играющих старается сбить другого в счете и получить больше, чем ему полагается, но если партнер вовремя спохватится, то сплутовавший обычно не спорит. Лучшей гарантией правильности счета является слово жулика. Клятва жулика вполне заслуживает доверия. Самая серьезная клятва в заключении — клятва волей.

Но не из одних «шансов» составляется успех игры в стос — следует еще уметь распорядиться кушем. Ставки те же, что и в обыкновенном штосе, например: рубль очко, рубль по кушу, угол, транспорт. Существуют варианты игры: солдат, фаск и т. п. Не умеющий распорядиться кушем и малосведущий в «шансах» называется «легким партнером».

Бывают игроки, которые не играют, а, по шпанскому выражению, «исполняют», т. е. выигрывают наверняка. В Москве, например, таких игроков несколько, и имена их известны каждому шпаненку.

¹⁵ «В замазке» — в проигрыше.

¹⁶ «Ответ» — долг.

Играют обычно на все наличные деньги, «тряпки»¹⁷ и «под ответ», но так называемое «заветное», или «кровь», т. е. белье, верхнее платье, подушка и паек, настоящими жуликами не проигрываются. Старые воры уверяют, что в их время, если бы они заметили, что играют «заветное», они имели бы право избить и выигрывающего, и проигрывающего. Теперь «кровь» бережется самим играющим. На Соловках среди «вшивок» и вообще «дешевых людей» проигрывание самого «заветного» слишком распространено. В общих ротах бывают случаи проигрывшей — паек хлеба на месяц вперед и больше. В 13-й роте зимой этого года картежная игра достигла огромных размеров. Сперва играли на барахло и тряпки, потом на пайки хлеба, дальше — на обеды и ужины. Проигранное даже «под ответ» переходило из рук в руки и, наконец, скопилось у трех лучших игроков камеры. Проиграло в общей сложности около 150 человек. Некоторые оказались «в замазке» на целых три месяца. Ротным начальством были устроены собрания, на которых предлагалось прекратить выплату долга, так как люди едва могли держаться на ногах от голода, но никакие уговоры ни к чему не привели. Когда вопрос ставился на голосование, то все проигравшие голосовали за отдачу проигранных пайков. В конце концов, по почину санчасти, пришлось прибегнуть к принудительному кормлению в коридоре и обыскивать после еды, чтобы хлеб не «затыривали» (хлеб, например, прятали в пах).

Отдать карточный долг — первейшая обязанность проигравшего. Если проигравший не отдает в срок долга, он объявляется «заигранным» — вне закона, наряду с легавыми, ссученными и пассивными педерастами (название последнего нецензурно). «Заигранным» человек признается только с общего решения шпаны, и с него уже «получают кровь». Избиение происходит следующим образом: «заигранный» стоит, окруженный шпаной и держит руки по швам и не имеет права даже поднять руку, чтобы защититься от ударов: в противном случае ему грозит расправа со стороны «бракки»¹⁸. Потерпевший «получает», сколько хочет [выигравший]. После избиения «заигранный» может и не платить, но «заигранным» он остается. Известны случаи, когда проигравшие, не будучи в состоянии выплатить долг, отдавали его собственными пальцами. Один из «своих» рассказывал, как однажды старый вор проиграл «под ответ» 200 рублей «через 15 минут» (ему должен был принести отделенный). Когда деньги через 15 минут не появились, он пошел в переплетную, отрубил два пальца ножом для резки бумаги и вернул ими долг. Обычно старый уголовник, садясь играть, заранее объявляет: «имею проиграть столько-то». Хорошим тоном считается не жалеть

¹⁷ «Тряпки» — одежда жулика, хотя бы и хорошая.

¹⁸ «Бракка» — то же, что и «братва».

проигранных денег и не выражать радости при крупном выигрыше. «Плачу, как граф, и получаю, как разбойник», — заявляет бульварный рыцарь.

Часто уголовник проигрывает «под ответ», надеясь на удачную кражу. Если срок выплаты мал, а в большинстве случаев он измеряется часами, шпаненок прямо с «шалмана»¹⁹ бежит «брать» какой-нибудь магазин или лезет в карман где-нибудь в трамвае. Тогда уж он не разбирает и совершает самые дерзкие и нахальные кражи. С «засыпавшегося» или «подзашедшего» карточный долг не спрашивается. Долг уплачивается по выходе из тюрьмы при первом же удобном случае (здесь уже срок не назначается). Один магазинный вор рассказывал, что почти все судимости он «заработал» на проигрышах, воруя в обеденный перерыв через входную дверь магазина под видом хозяина.

В среде «вшивок» в заключении распространены случаи проигрыша «под ответ» вещей вновь прибывающих фраеров, но, вообще говоря, фраер, попав в заключение, считается другом.

В некоторых случаях, если жулик имеет своих «корешков» или «клиентов»²⁰, — последние имеют свою долю с игры на тех же условиях, что и с «заработка»²¹. В особенности аккуратно выплачивается доля, когда клиент «подзашел»²². Надо сказать, что на Соловках, где воровская этика в значительной мере расшатана, случаи неотдачи картежных долгов, особенно в среде «вшивок», весьма многочисленны, и влияние старых уголовников постепенно падает. (По соловецкой пословице «Свой не свой, а на дороге не стой»). Бывают случаи, когда проигрывают самих себя, — случаи эти особенно часты в заключении. Вор, «боярующий»²³ шпаненка, специально привлекает его в игру и выигрывает у него «последнее». Проигравший допускает в отношении себя различные самые дикие извращения. Проигранный, таким образом, попадает в положение полной отчужденности — он не имеет права ни с кем разговаривать, прикасаться к посуде и т.п. В старое время обычными бывали случаи проигрыша «марух»²⁴. Сейчас это уже постепенно выводится.

Проигрыши самих себя и вообще «последнего» чаще всего происходят из так называемой «амбиции». Если «схлестнутся»²⁵ двое, имеющие друг на друга злобу, или если играющие почему-либо считают для себя позором проиграть, игра может зайти очень далеко. Проигрывают золотые зубы, которые после игры выдираются клещами или выбиваются молотком. Проигрывают пальцы, играют на ухо и т.п.

¹⁹ «Шалман» — притон.

²⁰ «Клиент» — то же, что и «корешок» — товарищ по преступлению.

²¹ «Заработок» — украденное.

²² «Подзашел» или «завалился» — попал в тюрьму.

²³ «Бояровать» — уговаривать, ухаживать.

²⁴ «Маруха» — любовница.

²⁵ «Схлестнутся» — сойдутся.

Происходят своеобразные картежные дуэли. Мстящий старается заставить своего партнера «влезть на рогатину», т. е. заставить его проиграть что-нибудь такое, что он не сможет выплатить, или причинить ему существенный ущерб.

Но такая игра, хотя и считается вполне «законной», однако не может остаться безнаказанной. Часто случается, что кто-нибудь из присутствующих мстит, но мстит также законно — картами.


В исправдомах играют «из амбиции» или для смеху на «1000 мух», на «1000 тараканов», на «1000 крестов», т. е. проигравшего заставляют поймать 1000 тараканов или положить 1000 крестов. Выигравшим, если он богат, нанимается специальный счетчик из мальчишек, который следит за правильностью «выплаты». Проигравший всегда старается «выплатить» долг полностью и не прекращает креститься, даже когда входит администрация. Со стороны раздаются предположения, что проигравший сошел с ума. Вызывают фельдшера, проигравшего кладут на носилки и т. д. Хохоту и веселья — без конца. Особенным успехом пользуются так называемые «налепки». Проигравшего заставляют наклепить себе на лицо несколько сот бумажек. Бумажки осыпаются с лица, и проигравший никак не может удержать полное их количество. Играют и на «каташки» — проигравший катает на себе выигравшего, или «прыгунки» — проигравшего заставляют прыгать.

Бывает, что проигравший кричит в окно или в трубу в течение 5—10 минут: «Я дурак, я дурак»... Отсюда и выражение: «проиграть в трубу». Очень часты игры «на песню, на сказку», но играют на них, конечно, только с теми, кто действительно мастерски поет или рассказывает. Какой-нибудь певец поет до тех пор, пока «фарт»²⁶ не поворачивается в его сторону, и поет старательно, потому что в этом его хлеб. Выдумки в этом роде неисчерпаемы. Впрочем, такие вещи на Соловках не процветают — здесь игра носит гораздо более «деловой» характер.

Шпанская среда на Соловках разлагается. Карточные долги не платятся, и получить их нет возможности — проигравший идет жаловаться командиру. Среда «своих» разбавляется «вшивками» и фраерами, благодаря чему нельзя строго придерживаться шпанских «законов». Наконец, сама обстановка полуволи-полузаклечения и принудительного труда разрушает шпанскую кастовую замкнутость. Шпанская физиономия тускнеет, и жиганство — исчезает. Падение картежной этики на Соловках, примеры чему мы видели выше, лишь частность.

Разложение это, несомненно, хорошо, ибо подготавливает почву для исправления, но если на смену шпанской морали ничего не будет дано, то это вызовет отрицательные последствия.

²⁶ «Фарт» — счастье (фортуна).



Что может получиться из шпаненка, у которого не будет никакой связи ни с кем, хотя бы и в крайне уродливой форме, у которого не исчезло влечение к воровству, не забыты профессиональные навыки? Так что необходимо позаботиться и дать ему какие-то другие устои. Работа в этом направлении на Соловках поставлена недостаточно широко, но вопросы эти сложные, и мы к ним вернемся в дальнейших статьях.



СОЛОВКИ.

1928–1931 годы¹



Что такое «Архипелаг ГУЛАГ»?

Этот термин, заимствованный из названия книги А. И. Солженицына, прочно вошел в наш обиход. Но что такое «ГУЛАГ» и что такое «Архипелаг»?

ГУЛАГ — это маленькое учреждение, Главное управление лагерей, размещавшееся на первых двух этажах печально знаменитого дома на Гороховой. В огромном подвале, окна которого были забиты, постоянно звучали выстрелы — там шли расстрелы.

Сегодня в понятие «ГУЛАГ» мы вкладываем совсем иной смысл — объединение всех лагерей, как бы государство в государстве. А в свое время это было только управление лагерей, которое занималось поставкой продовольствия и подбором кадров для работы в лагерях. Этот подбор подчас осуществлялся весьма своеобразно. Например, все время не хватало бухгалтеров. Людей этой профессии очень трудно было в чем-либо обвинить — они, как правило, сидели в своих конторах и молча занимались работой. Тогда без всяких оснований арестовывали бухгалтеров, живших поблизости от Гороховой или от Литейного 4, где помещалось ОГПУ, и отправляли на стройки ГУЛАГа, эти «замечательные стройки нашего светлого будущего — коммунизма», развернувшиеся по всей стране благодаря инициативе партии, правительства и, как тогда говорили, «лично товарища Сталина».

В самый разгар работы над своим сочинением по истории лагерей ко мне приехал Александр Исаевич Солженицын. Мы с ним работали три дня.

¹ Публикуется по: Лихачев Д. С. Об интеллигенции. СПб., 1997. С. 350–367.

Я ему дал свои записки по истории Соловков и рассказал о главном палаче Соловецкого лагеря латыше Дегтяреве, который, никому не доверяя, лично расстреливал заключенных, получая от этого большое удовольствие. В лагере его называли «главным хирургом», а сам себя он пышно именовал «начальником войск Соловецкого архипелага». Александр Исаевич воскликнул: «Это то, что мне нужно!» Так в моем кабинете родилось название его книги «Архипелаг ГУЛАГ».

Политические и уголовники

Соловецкий лагерь образовывался как лагерь для белогвардейцев и заключенных из военных. Но потом туда стали присылать главным образом мелких воров и малолетних преступников. Известны даже случаи, когда в Москве объезжали паперти церквей, арестовывали без разбора всех нищих и отправляли на Соловки, а там уже узнавали их фамилии. И только позднее Соловки стали местом ссылки политических заключенных.

Во время нашей встречи с А. И. Солженицыным я никак не мог объяснить ему некоторые вещи. Когда я включил магнитофонные записи воровских песен и начал рассказывать о достаточно мирных взаимоотношениях политических заключенных с уголовниками, о том, как я не раз спасал воров, а они меня, он страшно возмутился: «Как это можно? Воры — это же не люди, это нелюди». Для него уголовники были людьми совершенно отпетыми, он их не признавал. Мне стоило большого труда убедить его, что на Соловках в конце 20-х годов не было войны между уголовниками и каэрами («каэрами» называли политических заключенных, иначе говоря, контрреволюционеров), такой войны, которая развернулась позднее в его «шарашках».

Нельзя же всерьез воспринимать, например, такой эпизод. Когда мы готовились к отправке на Соловки, нас втиснули на пересыльном пункте вместе с уголовниками, и те, снимая с себя вшей, щелчками обстреливали ими нас. Я и мои спутники уже через десять минут были покрыты вшами.

С другой стороны, когда нашу группу молодежи грузили на пароход «Глеб Бокий», домушник, специалист по взлому квартир Овчинников тихо сказал: «Ни в коем случае не идите в трюм. Стойте здесь, на палубе». Этим он спас нам жизнь, потому что, когда мы прибыли на Соловки, из трюма выносили уже трупы — люди задохнулись там от духоты. Овчинников уже бывал на Соловках и бежал оттуда. Его поймали, избили до полусмерти и вновь отправили на остров. Там он был избит вторично, да так, что попал в санитарную часть. Я навещал его, носил хлеб, махорку. Потом след его простыл.

Забегая вперед, скажу, что второй раз от верной гибели меня спас тоже уголовник, глава всех урок на Соловках Иван Яковлевич Комиссаров. Дело в том, что мой хороший знакомый Александр Иванович Мельников, в прошлом флаг-капитан Керенского, служивший делопроизводителем в административной части, выхлопотал для меня специальный пропуск, который позволял покидать территорию лагеря. Этот пропуск меня очень выручал — я мог вырываться из этой толпы уголовников и совершать незаконные прогулки по всему острову.

И вот в один прекрасный день этот пропуск у меня пропал. Если бы пропажа обнаружилась, меня отправили бы в карцер, откуда редко кто выходил живым. С Комиссаровым мы сидели в одной камере, и я попросил его: «Прикажите уголовникам, чтобы они вернули мне пропуск». Он ответил: «Я ничего не могу сделать». Но через три дня я нашел пропуск у себя в кармане. Я бросился к Комиссарову: «Спасибо, Иван Яковлевич!» А он говорит: «Я тут ни при чем. Я ничего не знаю».

Офицеры и чекисты

На Соловках не было явного конфликта между политическими заключенными и уголовниками, но зато шла другая война, продолжавшаяся несколько лет. Те, кто стоял во главе лагерей, были никудышными организаторами. Они не могли обеспечить ни снабжения лагеря продовольствием, ни элементарного размещения людей. Поэтому всем этим стали заниматься сами заключенные из офицеров. Они разбили людей на роты, выполняли канцелярскую работу, организовали административную часть.

Во главе другой части — информационно-следственной (ИСЧ) — стояли бывшие чекисты, осужденные за служебные преступления. Когда я в 1928 году попал на Соловки, между административной частью и информационно-следственной шла самая настоящая война. Однажды офицеры адмчасти ворвались в помещение исчасти, вскрыли с помощью уголовников несгораемый шкаф, вытащили оттуда списки всех информаторов, осведомителей, стукачей и этап за этапом стали отправлять их с Соловков на Кондостров, где условия жизни были несравнимо тяжелее. И бывшие чекисты из ИСЧ ничего не могли поделать.

«Выхожу один я на дорогу...»

Первое время на Соловках я жил в 13-й роте, роте общих работ. Там у меня было место под нарами, потому что на нарах мест уже не было — барак был переполнен. После общих работ со всеми их ужасами я начал работать в криминалогическом кабинете, где занялся изучением малолетних преступников и отбором их для трудовой колонии.

В криминологическом кабинете Соловков собрался цвет петербургской интеллигенции. Возглавлял его бывший царский прокурор Александр Николаевич Колосов. Вместе с ним работали бывший революционер, философ Александр Александрович Мейер, арестованный по нашумевшему делу кружка философов «Воскресенье», преподаватель Пединститута имени Герцена Александр Петрович Сухов, Ксения Анатольевна Половцева, доктор университета Сорбонны Юлия Николаевна Данзас, в прошлом фрейлина при дворе Александры Федоровны, и еще целый ряд очень интересных людей.

Попав в криминологический кабинет, я сразу оценил обстановку и решил записывать все интересное. Еще в роте общих работ, находясь среди уголовников, я начал изучение уголовных игр, занялся составлением словаря воровского языка, вернее, жаргона. В криминологическом кабинете к этому добавилась работа с альбомами заключенных.

У многих уголовников в то время были альбомы, куда они заносили любимые стихи, изречения, делали автобиографические записи. При «шмонах» эти альбомы отбирались и передавались в наш кабинет. Через мои руки прошло более ста таких альбомов.

Что же чаще всего писалось в них? Прежде всего, переписывали стихи Сергея Есенина. Они трогали душу воров, урок. Особенно ценилось и лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...» Тема одиночества вора в грубом, несправедливом мире волновала всех. «Один» — это было очень важно. Но в альбомах можно было прочитать и автобиографии владельцев, и самодеятельные, неумелые стихи.

Среди этого множества альбомов один был совершенно замечательный. Написанный то стихами, то раешником, то рифмованной прозой, он представлял собой автобиографию вора с замечательными талантливыми рисунками примитивистского характера. Это были яркие, выразительные аппликации, в которых автор резко выделялся на фоне описываемых событий. Меня поразили некоторые рифмы. Скажем: «Выхожу, и шел дождик. Смотрю, стоит один извозчик». Автор этого извозчика нанял и поехал «на дело». Выдержки из этого альбома были в 1930 или 1931 году опубликованы в издававшейся в Кеми газете «Новые Соловки».

«Нет в мире справедливости!»

Кроме официального задания по организации колонии малолетних преступников, меня чрезвычайно интересовало, как уголовники оправдывают свои действия. Ведь ни один вор, ни один бандит не считает, что он поступает плохо, у него есть определенная философия, очень примитивная, но все-таки философия.

Об этом я знал еще до Соловков, по Петербургу. У меня были знакомые, входившие в Клуб анархистов, размещавшийся на деревянной даче Дурново, что и сейчас еще стоит за забором на берегу Большой Невки. Сначала это был клуб интеллигентных, идейных анархистов, потом все чаще там стали появляться уголовные элементы, и, наконец, клуб превратился в притон бандитов и грабителей. За наиболее успешные ограбления выдавали ордена. Они были очень похожи на Георгиевский крест, но посередине вместо Георгия Победоносца красовалась тарелка, на тарелке курица, а в курицу была воткнута вилка. На обороте вместо монархического девиза стоял девиз анархический: «Нет в мире справедливости!»

Этот девиз знал каждый уголовник и действовал соответственно этому девизу — в мире справедливости нет и надо ее восстановить. И они «уравнивали» имущественное положение граждан, «экспроприруя» богатых. Себя уголовники считали идейными борцами за справедливость, поэтому так ненавидели «мокрушников» — убийц.

Самое ужасное было то, что этой философией «восстановления справедливости» были заражены 14—15-летние подростки. Я записывал их рассказы о своей жизни и ходил словно пьяный от этих страшных историй. Они, конечно, преувеличивали свои «подвиги» и говорили мне: «Ну, что вы записываете, мы ведь вам все врем». Я отвечал: «Я знаю, что вы врете, но меня и интересует, почему вы врете».

Но были подлинные трагедии ребячьих судеб. Особенно меня поразила подросток по фамилии Церетели. Его отец, известный философ, находился в белой эмиграции, а сын оказался в числе беспризорных, притом совсем уже «занюханых», то есть нюхавших кокаин и становившихся совершенно невменяемыми.

Все это я записывал, но записывал в условном, зашифрованном виде, не упоминая имен и фамилий. По возвращении из лагеря эти записи я расшифровал. Они изданы в Северодвинске и войдут в книгу воспоминаний, над которой я сейчас работаю.

«Буревестник революции» на Соловках

Администрация Соловков очень заботилась о придании лагерю видимости исправительного, особенно перед приездом Горького. Начал выходить журнал «Соловецкие острова», были организованы театр, музей и другие культурные учреждения. И все это, чтобы Горький мог убедиться, что никаких зверств на Соловках не происходит.

Я видел Горького в Соловецком лагере и отлично знаю, что он все видел и знал, что там происходит. Один мальчуган рассказал ему об истязаниях, о том ужасе, который творится в лесу.

Я попал в лес под предлогом отбора малолетних преступников для детской колонии, на самом же деле, чтобы спасти их. Мне было бесконечно жалко этих детей. Там я заболел, у меня открылось страшное язвенное кровотечение.

То, что я там видел, не поддается описанию. Заключенных, особенно басмачей из Средней Азии, не понимающих ни слова по-русски, не умеющих работать (дома за них работали женщины), в шелковых халатах и высоких сапогах, как они были арестованы, загоняли в лес, давали на сто человек две-три лопаты и заставляли среди камней рыть канавы. В этих канавах вдоль стенок сооружалось некое подобие лежанок, а покрывалось все это бревнами, ветками и лапником. Я попал в лес весной. Канавы, в которой жили заключенные, наполовину была заполнена водой, с «потолка» капало, потому что шел дождь и таял снег. Похожий эпизод есть в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго», но менее страшный, чем то, что видел я.

Горький, конечно, этого не видел, но знал по рассказам заключенных. Однако, вернувшись в Москву, в 1930 году в журнале «Наши достижения» (!) он опубликовал восторженный очерк о соловецких чекистах, помня их теплый прием и поверив, очевидно, обещаниям, что режим в лагере будет изменен.

Фольклор Соловков

С Соловецких островов мне удалось вывезти две тетради. Вернее, одну тетрадь я передал через отца. Он у меня был смелый человек: не только добился свидания со мной, приехал в Соловецкий лагерь, но и взялся вывезти на волю мою тетрадь, рискуя получить за это срок. Вторую тетрадь я вывез сам уже с Беломорско-Балтийского канала, куда был переведен с Соловков. На канале я был железнодорожным диспетчером и освобождался в 1932 году без всякого обыска. В этой второй тетради было немало записей лагерного фольклора.

Разумеется, заключенным, которые были на общих работах в лесу, на торфяных разработках, в этих ужасных условиях было не до фольклора. Спрашивать их об этом было нелепо, даже кощунственно. Фольклор Соловков существовал только в пределах самого монастыря, где были более сносные условия в силу показухи, или, как говорили зэки, «туфты», которую устраивало начальство для гостей.

Прежде всего, это были песни. Песни разные. Вроде такой:

В Фонарном переулке труп убитого нашли.

Он был в кожаной тулупке с большой раной на груди...

Он лежит и не дышит на холодной земле.

Двадцать девять ран имеет на усталой голове...

Далее, в форме баллады разворачивается драматический сюжет гибели героя. Это пример воровского фольклора царских тюрем и ссылок, который еще существовал на Соловках в конце 20-х годов.

Бытовали песни литературного происхождения, исполнявшиеся популярными в те годы певцами и, в первую очередь, Леонидом Утесовым: «Гоп со смыком это буду я...», «Мы со Пскова два громилы...»

Немало песен, куплетов, частушек появилось непосредственно на Соловках. Их рождение связано, прежде всего, с именем Бориса Глубоковского.

Борис Глубоковский, в прошлом актер театра Таирова, развернул на Соловках бурную деятельность. Он возглавлял журнал «Соловецкие острова», лагерный театр, поставил замечательный спектакль «Соловецкое обозрение», для которого написал десятки текстов на мелодии из оперетты «Жрица огня»:

*Соловки открыл монах Савватий,
Был наш остров нелюдим и пуст...*

«Соловецкое обозрение» продолжалось более 3 часов и завершалось финальной песней «Соловецкие огоньки», которую заключенные пели в темноте с фонариками в руках:

*Соблюдая кодекс трудовой,
Охраняет нас милый конвой,
И гоняет с зари до зари
Нас с высокой Секирной горы...*

Песни, звучавшие в спектакле, были иронические, высмеивающие намерения начальства изобразить лагерь как исправительное заведение, ставившее цель перевоспитать заключенных:

*И от нежной, душистой трески
Соловчане не знают тоски...*

*А заканчивалось представление тем, что
Когда-нибудь снежной зимой
Мы сберемся веселой толпой,
И начнут вспоминать старики
Соловки, Соловки, Соловки.*

«Соловецкие огоньки» вышли за пределы лагеря, их пели и в Петрограде, и в Москве, помнили, спустя десятилетия, после освобождения. Мелодия песни была оригинальной. В лагере были и музыканты: талантливый петроградский дирижер и композитор Вальберт, музыковед из Тифлиса армянин Ананве.

На той же сцене соловецкого театра исполнялись частушки, тоже иронически-насмешливого тона:

*Соловки на Белом море,
Пароход, Нева.
Там грузят одни баланы
И пилят дрова.
Музыка и спорт.
Чем же не курорт?*

«Курортные» условия Соловецкого лагеря были прекрасно известны тем, кого на этот «курорт» отправили не по своей воле, и встречались частушки эка-ми грустной ухмылкой.

Поэты Шепчинский и Юрий Казарновский писали стихотворные пародии. Они были напечатаны в «Соловецких островах» и частично перепечатаны в наши дни Е. Евтушенко в «Огоньке».

Смех, веселые куплеты, пародии, частушки в тех тяжелейших условиях были очень нужны: они успокаивали психологически, давали силы, многих возвращали к жизни.

Начальство на Соловках было чрезвычайно жестоким. Скажем, за разорение гнезда чайки (а чайки были приучены монахами не бояться людей) заключенных расстреливали. А крамольные песни и частушки пропускались. Почему? Показывая постоянно приезжающим из Москвы комиссиям самодеятельное творчество эков и видя благосклонное отношение гостей, малограмотное местное начальство позволяло заключенным такую вольность. Естественно, ни в одном театре Советского Союза спектакль, подобный «Соловецкому обозрению», не мог быть поставлен.

Идеальный заключенный — пьяница

Нравы Соловков поражали своей контрастностью, особенно это касалось пьянства. Трезвому не прощалось ничего, пьяному прощалось все. Например, начальник нашей криминологической лаборатории Бедряга, пришедший после Колосова, очень любил выпить. И доставал спиртное одному ему известными способами. Однажды, будучи пьяным, забрался на царскую часовню (которая уже в наши дни была уничтожена помещавшейся в монастыре школой юнг) и начал звонить в царский колокол. В другой раз он явился в переполненный театр, одетый в полную пожарную форму, в каске, с фонарем на груди и топориком в руке, и закричал: «Пожар!» Поднялась паника. Начальство смеялось: «Какой молодец!» Ему все было прощено, он даже не получил карцера. Почему? Потому что пьяница и сделал это в пьяном виде. Пьяный — это какой-то идеал был на Соловках.

Все прошло и уже упоминавшемуся Борису Глубоковскому. Он всегда был в центре любого веселья, умел веселить. В прошлом Глубоковский был другом Есенина и организатором развлечений Сергея Александровича (он часто вспоминал о проделках Есенина и своих). Когда приезжала комиссия из Москвы, например, во главе с Глебом Бокием и Катаняном, прежде всего, конечно, устраивалось застолье, во время которого Глубоковский веселил гостей. А потом шли смотреть «Соловецкое обозрение». Глубоковский, изрядно подвыпивший, выходил на сцену и, указывая пальцем в зрительный зал, где в первом ряду сидели высокие московские гости, обращался к актерам-заключенным: «Пойте так, чтобы этим сволочам вас жалко стало». И эти «сволочи» ему все прощали, потому что пьяный. Вот такая атмосфера была на Соловках!

Духовная жизнь Соловков

Это то, что бросалось в глаза. Но одновременно, внешне незаметно, шла другая жизнь. Я уже упоминал, что в Соловецком лагере было много интеллигенции, в частности, поэтов — Панкратов, Казарновский, Евреинов. Некоторые из них вернулись из белогвардейской эмиграции на родину и, конечно, сразу были арестованы. В том числе и первоклассный поэт Владимир Кемецкий. Его настоящая фамилия была Свешников. Он поссорился со своим отцом — полковником царской армии, не желавшим отпускать сына в Советский Союз, поэтому он принял фамилию своей матери.

Поэтическая молодежь тогда жила стихами Баратынского и только что вышедшего сборника О. Мандельштама «Камень».

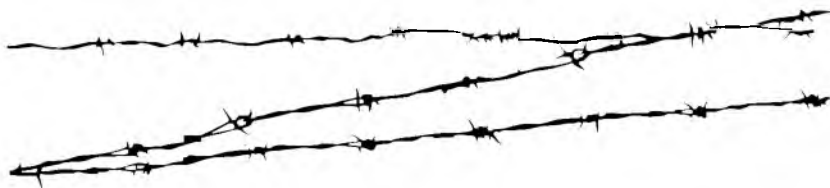
Интеллигенция в условиях Соловков не сдавалась. Она жила своей, часто скрытой от посторонних глаз, духовной жизнью, собираясь и обсуждая разные философские проблемы. Помню выступления А. А. Мейера, воспоминания Ю. Н. Данзас об императорской семье, позднее на Беломорско-Балтийском канале рассказы А. Ф. Лосева. Это были очень интересные люди. Например, художник Браз, написавший лучший портрет Чехова. Выйдя на свободу, он уехал в Париж и вскоре умер.

Заключенные поддерживали друг друга, помогали. Александр Александрович Мейер на Соловках работал над своими философскими статьями и, в частности, над размышлениями о «Фаусте». Текст Гете ему подавал Гаврила Осипович Гордон, человек энциклопедических знаний, помнивший всего «Фауста» наизусть на немецком языке. Философские статьи А. А. Мейера опубликованы в 1981 году в Париже.

Это были исключительные, замечательные люди, и я считаю своим долгом помнить их и рассказать о них.



Святая Русь и Соловецкие мученики по рассказу одного из узников (Беседа Д. С. Лихачева с А. Шишкиным)¹



— В интервью итальянской газете «Республика» Вы говорили о том, что в то время, как сейчас много пишут о мучениках науки, о мучениках коммунистической идеи в сталинское время, о мучениках Русской Церкви, молчание не прервано...

— Да, сейчас довольно много говорится о жертвах культа личности Сталина в период 30-х годов, с 37-го по 39-й год; но ведь в этот период жертвами являлись главным образом представители партийной и государственной элиты. Жертвы же интеллигенции, жертвы духовенства падают на 20-е и начало 30-х годов. Тогда происходила главным образом такая, я бы сказал, чистка населения, и среди тех, кто в этот период особенно преследовался, были представители духовенства. Ведь преследование духовенства началось в 20-х годах, но аресты — так просто за то, что клирик принадлежал к определенным группировкам Церкви, начались в 27-м, 28-м, 29-м годах, в 30-м, 31-м. И эти жертвы были чрезвычайно тяжелыми: от арестованных требовали отказа от веры; помимо того, что они попадали в тяжелые условия, над ними смеялись, пытались их «вразумить», что ли, «просветить», причем «просветителями» были полуграмотные люди. Эти мученики веры мучились, конечно, гораздо больше, чем обычные люди. Я приведу Вам такой пример. На Соловках, в храмах, в алтарях, были сделаны уборные. Ими не пользовались священники. Их положение было ужасным. Ночью

¹ Впервые было опубликовано в журнале «Символ» (Париж, 1988, декабрь, № 20, С. 47–51). Публикуется по: Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб., 2006. Т. 1. С. 380–383.

из храма с тройными или четверными нарами не выпускали, а в эту уборную они не могли пойти. Вы простите, что я говорю о таких вещах, но ведь все мучения очень неэстетичны. Так что о мучениях Церкви нужно писать, это совершенно необходимо. Потому что создается впечатление, что страдали главным образом партийные верхи, военные, затем, в какой-то мере, интеллигенция. Слишком мало о мучениях Церкви пишется.

— *Каков ваш соловецкий опыт общения с мучениками Церкви?*

— На Соловках мученики Церкви были очень разные... были иосифляне, были сергианцы... И у тех, и у других положение было крайне тяжелым. Недостойно себя ведших было очень мало, но — были. Но это — крайнее исключение. Я не стану называть имена, но это один или два человека. Все остальные были действительно мучениками. Служили на нарах. Один из священников имел антиминс — мог поэтому служить литургию. На нарах. И я ничего более благолепного и более волнующего не слышал и не испытал, как служба шепотом на нарах... и обычная, и воскресная, и праздничная служба...

— *О каких мучениях Церкви должны бы мы сейчас вспомнить? Первое имя приходит — отца Павла Флоренского...*

— Да, и Павел Флоренский, я думаю, что и патриарх Тихон, и владыка Виктор Островидов... я сейчас не готов ответить, ведь их великое множество. Отец Сергей Тихомиров был удивительный человек, говорил абсолютно все то, что он думает, и всегда в лицо, приходилось в лицо и следователю.

— *Вы с ним встречались?*

— Да, да, я говорю о тех, с кем встречался. Кроме патриарха Тихона и отца Павла Флоренского.

— *Расскажите, пожалуйста, о епископе Викторе Островидове.*

— Это был удивительный человек, он всегда пребывал в очень веселом и радостном настроении. И чем больше его мучили, тем он был радостнее и веселее. От него исходило какое-то излучение. Скажем, в лагере было приказано: не носить бороды и длинной одежды. Он отказался остричь бороду. Его насильно брили и стригли — поранили. Он повязывался полотенцем, чтобы не показываться с голым лицом. Это полотенце концами прятал под шапку. А свою рясу он не подшивал, так что из нее торчали нитки. Я его встретил в таком виде сияющим, совершенно сияющим. Он был счастлив тем, что удостоился мучений. Всегда он был очень веселым, всегда стремился как-то помочь. Работал он в сельпо или — не помню точно, как это у нас называлось; там были коровы, маленькие огороды. Он мог даже украсть — ради того, чтобы помочь людям, умиравшим

от голода. И всегда всех похвалит. Нередко к нему обращались, жаловались, что беспокоятся, мучаются — писем из дома все нет. Он говорил: «Да что там... Нет писем? Завтра получите!» И действительно назавтра получал человек письмо. Действительно — получал. Когда его благодарили, что он совершил прямо чудо — письмо получено, он говорил: «Я же ничего не сказал. Это случайное совпадение. Так получилось. Я ничего не знал, ничего не думал».

— *Как он умер?*

— Когда его освободили, он оказался в ужасном положении. В Архангельской губернии, где он должен был жить, было запрещено принимать и прописывать бывших лагерников. И он мучился, мыкался по сараям, по каким-то временным жилищам, потом приходила милиция и требовала его изгнания. Это ужасно было.

— *И он умер скитаясь...*

— Он умер скитаясь, к тому же у него появились болезни, потому что человек в его возрасте не может перенести все это... Не знаю, есть ли его могила...

— *Духовенства на Соловках было больше, чем на Беломорканале?*

— На Соловках?.. По возрасту на Соловках были пожилые люди, и они не вывозились на Беломорканал. Поэтому особенно много их было на острове Анзере, на Голгофе. Стариков, которые работать не могли, отправляли на Голгофу. Название Голгофы оправдывало себя. Она была голгофой для очень многих стариков, которые там окончили свое существование. Зимой их не закапывали, их ставили около церкви, я видел — при входе — их замерзшие трупы.

— *Они стояли прислоненные к стене церкви?*

— Да, в холодном притворе церкви.

— *В один ряд?*

— Это я сейчас не помню, помню не столько сам факт, сколько картину этого. Свойство человеческого мозга — выбрасывать очень неприятные картины.

А потом они лежали около церкви, их сбрасывали при подходящем случае вниз. И уже весной, когда можно было копать, их в какие-то рвы закапывали. Можно было бы сейчас раскопать и устроить настоящую могилу...

Ну, ваш второй вопрос.

— *Второй вопрос — о «Святой Руси».*

— Понятие «Святая Русь» было не только у интеллигенции, но и у простого народа. «Земля Святорусская» в фольклоре участвует. Что под этим подразумевалось? Под этим подразумевалась та Русь, которая представлена мучениками, праведным духовенством, монастырями, мощами, чудотворными иконами.

Вот это была «Святая Русь». Это не значит, что вся Русь была только святая. Не надо себе представлять так, что государство было святое. Тем более оно не являлось таковым. Это было понятие всего того хорошего, святого, что есть на Руси. Поэтому, когда взывали к Святой Руси, — это не значит, что взывали к России как таковой, ко всей России или тем более к русскому государству. Взывали только к той Руси, которая представлена русской святостью, святыми мощами, святыми монастырями. Это представление, которое было у простого народа, у крестьян.

— *Сохранилось оно до времени недавнего?*

— До самого последнего. Я спрашивал, меня интересовал этот вопрос. Беседовал с людьми разного образовательного уровня, и вот те старушки, которых я спрашивал, что такое Святая Русь, как она им представляется, говорили: вот — церковь, монастыри, мощи, иконы чудотворные и праведные люди. Не обязательно святые. Праведные.

— *Последний вопрос. Как Церковь может помочь стране выйти из морального кризиса?*

— Самим своим существованием. Если она будет существовать и если у нее будут какие-то возможности больше проповедовать свою веру... даже не проповедовать, а просто давать возможность людям, которые к этому тянутся, получать сведения о том, что такое вера, Церковь и так далее. Многого не нужно...



Воспоминания¹



*«И сотвори им, Господи,
вечную память...»*

Красный террор

Русская культура Серебряного века (век этот, впрочем, длился всего четверть столетия) рождалась в разговорах, беседах — откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 г., с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

«Русские разговоры», длительные, за полночь, — типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX — первой четверти XX вв.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта. Я не вел записок, кроме тех, которые были сделаны на Соловках и сразу по возвращении в Ленинград. Не могу уже сейчас точно восстановить даты. Что помню, то помню.

¹ Главы, посвященные Соловецкому лагерю, публикуются по кн.: Лихачев Д. С. Воспоминания. Изд. 2. СПб.: «Logos», 1997. С. 153–403, 571–578.

Есть принципиальное различие в том, как начинались кружки в 20-е годы и как возникают ученые общества сейчас. Тогда достаточно было найти временное помещение для заседаний, чтобы назначить лекцию, доклад, открыть дискуссию. Если появлялась серия выступлений или спорный вопрос растягивался на несколько заседаний, иногда не очень ясных — кто их созывает, — появлялось и желание окрестить себя и завести книгу протоколов. Комната в квартире, зал школьного театра Тенишевского училища, учительская комната в школе, оповещение от руки написанными объявлениями (а чаще друг через друга) — были вполне достаточными.

Сперва потребность — потом скромное «оформление». Сейчас, в наши дни, нечто совершенно противоположное: прежде всего придумывается название, изыскиваются средства, утверждается штат и т.д. Названия — самые «высокие» и ранг не ниже лица, колледжа, университета, академии и т.д.

Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936—1937 гг. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылки надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года «красного террора», а затем по всей стране нарастал до самой смерти Сталина, и, кажется, новая волна в 1936—1937 гг. была только «девятым валом»... Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице, мы ночами в 1918—1919 гг. могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его до невероятных размеров.

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством — все казалось естественным». Но затем началось «самопожирание власти», оставившее в стране лишь самое серое и безличное, — то, что пряталось, или то, что приспособлялось.

Пока же в стране оставались мыслящие люди — люди, обладавшие своей индивидуальностью, умственная жизнь в ней не прекращалась — ни в тюрьмах и лагерях, ни на воле. Чуть-чуть захватив в своей молодости людей «серебряного века» русской культуры, я почувствовал их силу, мужество и способность сопротивляться всем процессам разложения в обществе. Русская интеллигенция никогда не была «гнилой». Подвергнувшись «гниению», только ее часть начала

участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть интеллигенцией. Эта часть была мала, основная же уже была истреблена в войне 1914—1917 гг., в революцию, в первые же годы террора.

Мои воспоминания — прежде всего о людях, меня окружавших, об умственной жизни 20-х — начала 30-х гг., поскольку она, эта жизнь, была мне доступна в те годы.

С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся гнилостный дух, убивавший удивительную животворную силу, исходившую от старшего поколения русской интеллигенции.

Дневная эпоха сменилась ночной, люди не спали ночами. Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса понятых.

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у других моих товарищей по школе, университету и кружкам нечто, что вспоминать больно, что жалит мою память и что было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение России и русской церкви, происходившее на наших глазах с убийственной жестокостью и не оставлявшее, казалось, никаких надежд на возрождение.

Многие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви — любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах первой мировой войны, особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти Россию. Обе последующие революции волновали меня главным образом с точки зрения положения нашей армии. Известия с «театра военных действий» становились все тревожнее и тревожнее. Горю моему не было пределов.

Естественно, было много разговоров в нашей семье о врожденной якобы беспечности русских (говорилось, что русские всегда полагаются на свое «авось»), о немецком засилии в правительстве, о Распутине, о плохом поведении в Петрограде огромной массы слабо обученных солдат и отвратительных прапорщиках, грубо обучавших новобранцев на улицах и площадях. Этих-то прапорщиков из скрывавшихся от фронта «революционеров», зарабатывавших свое право оставаться в тылу, в Петрограде, жестоким обращением с новобранцами, наблюдал я в районе Исаакиевского собора, где мы жили, ежедневно. Эти «народолюбцы» на деле презирали и ненавидели новобранцев из крестьян.

Когда был заключен позорный Брест-Литовский мир, было невозможно поверить, что это не прямая измена, не дело рук самих врагов нашей родины.

Почти одновременно с Октябрьским переворотом начались гонения на церковь. Эти гонения были настолько невыносимы для любого русского, что многие неверующие начали посещать церковь, психологически отделяясь от гонителей. Вот недокументированные и, возможно, неточные данные из одной книги того времени: «По неполным данным (не учтены Приволжье, Прикамье и ряд других мест), только за 8 месяцев (с июня 1918 по январь 1919 г.) были убиты: 1 митрополит, 18 архиереев, 102 священника, 154 дьякона и 94 монаха и монахинь. Закрыто 94 церкви и 26 монастырей, осквернено 14 храмов и 9 часовен; секвестрованы земля и имущество у 718 причтов и 15 монастырей. Подверглись тюремному заключению: 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 5 игумений. Запрещено 18 крестных ходов, разогнана 41 церковная процессия, нарушены церковные богослужения непристойностью в 22 городах и 96 селах. Одновременно происходило осквернение и уничтожение мощей и реквизиция церковной утвари». Это только за первые месяцы советской власти. А потом пошло и пошло. Это было только начало, после которого последовало объявление «красного террора» (5 сентября 1918 г.). Хотя самосуды и массовые расстрелы (т. е. что происходили в Петропавловской крепости) были и раньше.

Затем начались еще более страшные провокационные дела с «живой церковью», изъятием церковных ценностей и т. д., и т. п. Появление в 1927 г. «Декларации» митрополита Сергия, стремившегося примирить церковь с государством и государство с церковью, было всеми, и русскими и нерусскими, воспринято именно в этом окружении фактов гонений. Государство было «богоборческим».

Богослужения в оставшихся православными церквях шли с особой истовостью. Церковные хоры пели особенно хорошо, ибо к ним примыкало много профессиональных певцов (в частности, из оперной труппы Мариинского театра). Священники и весь причт служили с особым чувством. Мой педагог Пантелеймон Юрьевич Германович особенно часто ходил в церковь. Там же бывал и мой школьный друг Миша Шапиро из сугубо традиционной еврейской семьи. Тогда же крестилась Мария Вениаминовна Юдина, мой школьный товарищ Володя Раков стал прислуживать в церкви на Петровском острове у отца Викторина Добронравова и т. д.

Чем шире развивались гонения на церковь и чем многочисленнее становились расстрелы на «Гороховой, два», в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне и т. д., тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен — мы плакали и молились.

И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»: всех не упомнишь, когда пишешь их, — записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для меня именно в древней Руси.

Выработка мировоззрения

Именно мировоззрения, а не «идеологии». К этому разделу моих воспоминаний я бы взял эпиграфом диалог из «Юлия Цезаря» Шекспира. Мысль, в нем выраженная, стала и моим убеждением в течение всей жизни: только правильная философия, правильное мировоззрение способны сохранить человека — и телесно, и духовно. Вот этот диалог.

Б р у т. Кассий, у меня
Так много горя!
К а с с и й. Если пред бедами
Случайными ты упадешь духом,
то где же ФИЛОСОФИЯ твоя?
(Четвертое действие)

Я стал задумываться над сущностью мира, как кажется, с самого детства. Помню, как меня, да и многих детей, волновал «феномен зеркала». Что там за мир, и нельзя ли заглянуть в ту часть зеркального мира, которая скрыта за краями зеркала. «Алиса в Зазеркалье» — этот интерес переживают, мне кажется, все дети. Меня интересовало еще — остаются ли на месте те предметы и тот мир, который я в данное время не вижу. Я старался как можно быстрее и внезапнее оглянуться, чтобы поймать — что же делается за моей спиной, когда я туда не смотрю. Из молитвы, которую мы с матерью читали на ночь, я знал, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. И я внезапно оглядывался, чтобы увидеть его за моей спиной. Мир всегда, с дошкольных лет, казался мне загадочным.

В последних классах Лентовской школы ученики стремились вырабатывать свои собственные взгляды на мир. Иметь свое мировоззрение было очень важно для самоутверждения подростков, и думая над смыслом всего существующего, подростки редко приходили к выводу, что эгоизм им необходим. Когда человек задумывается над общими проблемами жизни, — он только в случаях полного духовного одиночества решается принять «злые» выводы. Зло возникает обычно от бездумья. Залог совестливости не просто чувства, а мысль!

Мой ближайший друг и сосед по парте Сережа Эйнерлинг увлекался Ницше. Он сам себя называл ницшеанцем. Но ницшеанство его было «добрым ницшеанством». Учение Ницше он вовсе не истолковывал вульгарно и не брал его в целом. Он восхищался отдельными страницами его книг и принимал деление на дионисийское и аполлоновское начала.

Другой мой друг Миша Шапиро любил Оскара Уайльда и мечтал о государстве, во главе которого стояла бы интеллектуальная аристократия. Что-то ему нравилось в Венецианской республике, что-то другое — в Английском государственном строе. В последний год своего школьного учения я сдружился с Сережей Неуструевым. Это был самый скептический из моих друзей. Скепсис — опасен. По окончании школы его завербовало ОГПУ. С риском для своей свободы он предупредил меня за неделю о готовившемся аресте. Вскоре он погиб где-то на Дальнем Востоке.

Конечно, не весь класс серьезно думал о выработке мировоззрения. Но необходимость осознавать свое отношение к окружающему, смею утверждать, была у всех. Это диктовалось событиями в стране и общей интеллигентностью класса.

Что такое общая интеллигентность среды — это разговор особый. Коллективная психология, предполагающая свободу личности, коллективная нравственность, коллективное сверхмировоззрение, сближающее интеллигентных людей всего мира, коллективные умственные интересы, даже свободно меняющиеся моды на глубокие философские течения, понятия человеческой репутации, воспитанности, приличия, порядочности и многие другие, ныне полузабытые, — составляли содержание этой нравственной среды. В нравственной среде мировоззрение становилось естественным поведением в широком смысле.

Создал и я себе свою «философскую систему». В какой-то мере она отразилась на моем характере, главным образом — на моей реакции на все невзгоды жизни.

Я увлекался в последних классах школы интуитивизмом А. Бергсона и Н. О. Лосского. Последнего мне удалось даже однажды увидеть в кружке, собиравшемся у университетского доктора Р. Поля, жившего на первом этаже главного здания университета, примерно там, где сейчас находятся помещения университетского книжного магазина. Был чей-то доклад, и среди многих голов присутствующих мне показали одну — Н. О. Лосский! Примерно через год (следовательно, я видел его зимой 1921 г.) он был отправлен на пароходе «Preussen» или «Burgomister Hagen», отчалившими от Николаевской набережной с цветом русской интеллигенции в Германию, в Штеттин: один из видов обескровливающей тогда нашу страну «контрибуции» по Брестскому миру! Так мы тогда и считали: платили Германии золотом, предметами искусства (их начали продавать из страны очень рано, еще в 1918 году), хлебом и людьми мысли!

Итак, вот мое тогдашнее мировоззрение, созданное под влиянием мучивших меня тогда «проклятых вопросов».

Если время — абсолютная реальность, тогда Раскольников прав. Все забудется, уйдет из жизни, и останется только «осчастливленное» ушедшими в небытие преступлениями человечество. Что важнее на весах времени: реально наступающее будущее или все больше и больше исчезающее прошлое, в которое, как в топку котла, уходит в равной мере и добро, и зло? И какое утешение может найти человек, потерявший близких? Как возможно предсказание, пророчество? Ведь факты предсказаний существуют, они бесспорны для непредвзятого ума. И т. д.

Я пришел к выводу, что время — это только одна из форм восприятия действительности. Если «времени больше не будет» при конце мира (Апокалипсис, гл. 10, ст. 6), то его нет, как некоего абсолютного начала — и при его возникновении, и во всем его существовании.

Муравей ползет, и то, что исчезло позади, для него уже как бы не существует. То, к чему он ползет, для него еще не существует. Так и мы, все живое, обладающее сознанием, воспринимаем мир. На самом же деле все прошлое до мельчайших подробностей в многомиллионном существовании еще существует, а будущее в таком же размахе до его апокалиптического конца уже существует.

Мы смотрим в окно мчащегося поезда. Ребенку кажется, что существует только то, что он видит в окне. Того, мимо чего поезд промчался, больше нет. Того, к чему поезд приближается, еще не существует вообще.

Прообраз вечности наличествует и во времени. Простейший пример — музыка. В каждый данный момент в музыкальном произведении наличествует прошлое звучание и предугадывается будущее. Без этого «преодоления времени» нельзя было бы воспринимать музыку. И это слияние в музыке прошлого, настоящего и будущего в какой-то мере есть слабое отражение той вечности, в которую уже погружено все существующее и снимается «иглой настоящего» с пластинки («диска») вечности.

«Пластинка» с записью всего совершившегося и того, что в будущем совершится, существует во вневременной вечности, а проигрывание этой пластинки, в которой «спрессовано» все, совершается во времени. Время дает возможность «прослушать пластинку». Это непредставимо? Да! Для возможности восприятия бесконечно богатой вечности и существует время. Время, вернее, ощущение времени, есть во всех живых существах (не только в человеке, но и во всем живом), это только форма восприятия бесконечно богатого вневременного бытия.

Есть еще одна сторона, которая заставляла меня лично считать время лишь условием восприятия вневременного бытия. Ведь если время абсолютная, а не

относительная категория, то прошлое — огромнейшая область бытия, полностью неподвластна Богу. Прошлое ограничивает всемогущество Бога. Прошлое, если оно есть, неизменяемо. И поэтому, с моей точки зрения, прошлое — лишь часть вневременного монолита, создаваемого Богом. Прошлое не уходит и не меняется потому, что оно вневременно с нами, а следовательно, подчинено Богу, создано Богом вместе со всем «последующим». Его не надо воскрешать. Воскресение мертвых, которое нам обещано и без которого нет нравственного утешения, наступает немедленно после смерти, как переход в вечность. Мы просто вливаемся в мир вневременности, вечности. И в этом мире мы находимся со всем тем, что совершили, совсем нами пережитым, со всем, что было, а на самом деле остающимся существовать.

Всеведущий Бог! Что такое его всеведение? Я представлял себе это всеведение следующим образом. Подумаем: какое число одинаковых предметов мы можем сразу, не считая, определить, т. е. указать одномоментно их количество? Один — считать не надо. Два — тоже. Три — тоже. Но уже четыре и пять — надо мысленно считать, располагать в последовательности. Пусть счет происходит чрезвычайно быстро, но в уме он все же ведется. Всеведущему Богу не надо считать ничего. Он держит одновременно «в сознании» миллионы и миллионы. При этом он удерживает в сознании разнородные явления и явления всех времен в своем вневременном ведении. Вот величие Бога, рассуждал я, сравнительно с нами, которым необходимо познание, познание и время, как формы познания действительности.

Но тут на пути моих размышлений возникало серьезнейшее препятствие. Я был уверен в свободе воли человека. Только при этом условии он может быть добр или зол, отвечать за свои поступки. Если же он свободой не обладает, а это следовало, как нечто само собой разумеющееся, из моих изложенных выше рассуждений, то все равно нравственности нет, ибо у человека нет выбора. Дух человека — это вневременная данность. Здесь скрывается величайшая тайна, нечто конкретно не представимое. Человек существует вне времени, как свободное существо, само за себя отвечающее и вместе с тем находящееся в воле Божьей. Так оно, очевидно, и есть, даже если признавать время не формой восприятия существующего, а абсолютным явлением, в котором существует и сам Бог.

На помощь мне приходило богословское учение о синергии — соединении Божественного всевластия с человеческой свободой, делающей человека полностью ответственным не только за свое поведение, но и за свою суть — за все злое или доброе, что в нем заключено.

Чтобы приблизить понимание вневременного мира, как-то приблизиться к его представлению, я думаю, удобнее всего его представлять не как «вечность», то есть как какое-то растянутое до бесконечности пребывание во времени, а как бесконечно великую единовременную всеохватывающую сущность. То есть и прошлое существует, и будущее — в одной, общей для всего «единовременности». Говорят, что умирающему представляется сразу вся его жизнь. Если она представляется ему сразу во всем крупном и одновременно мелком (до движения руки, до каждого поворота головы, до каждой промелькнувшей в нем мысли) и при этом в ее связях с остальным миром, то вот это и будет отчасти только приближенное представление о пребывающем вне времени мире. Только приближенное и сугубо условное.

В связи с этим представлением о времени как о некотором ограниченном способе восприятия мира находится и представление о всеведении Бога — всеведении, которое ярче всего рисует Божье величие. Но об этом особо.

Однако зачем я все время говорю о времени как о способе восприятия мира? Время — это и форма (по-видимому, одна из форм) существования. И можно точно сказать, зачем нужна эта форма. Всегда убегающее от нас будущее необходимо для сохранения за нами свободы выбора, свободы воли, существующих одновременно с полной Божьей волей, без которой ни один волос не упадет с головы нашей. Время — не обман, заставляющий нас отвечать перед Богом и совестью за свои поступки, которые на самом деле мы не можем отменить, изменить, как-то повлиять на свое поведение. Время — одна из форм реальности, позволяющая нам быть в ограниченной степени свободными. Однако совмещение нашей ограниченной воли с Волей Божьей, как я уже сказал, — это одна из тайн синергии. Наше неведение противостоит всеведению Бога, но отнюдь не равняется ему по значению. Но если бы мы всё знали — мы не могли бы владеть собою.

Вспоминая мою тогдашнюю теорию вневременной сущности всего существующего, мне кажется интересной в ней одна ее сторона, касающаяся законов природы. С моей тогдашней точки зрения, которую я не помню сейчас в деталях, законы природы — это отражение того вневременного, что остается во временном. Истинное бытие не имеет ни времени, ни пространства. Оно все компактно — едино. Это нечто вроде точки. Законы природы (от закона тяготения до законов поведения) — своего рода «воспоминания» о первородном вневременном и внепространственном единстве мира. Но не только законы, но и предчувствия, пророчества, как и сама память: все это элементы той же первородной связи всего в мире.

Жаль, но я не помню всей своей тогдашней аргументации, ибо, как мне кажется, философская сущность законов бытия прозревалась в моих юношеских рассуждениях с некоторой долей смысла.

Созданная мною еще в школе концепция времени была в значительной мере наивной. Отводя времени лишь функции восприятия человеком мира, она полностью игнорировала онтологическую сущность времени, как самовыражения Бытия, и входила в противоречие с моим христианским самосознанием. Представить себе историю человечества, а главное — вочеловечение Христа, как форму восприятия вневременного явления, было бы не только совершенно невозможным, но и кощунственным. Однако концепция времени, как формы восприятия бытия, сыграла в моей юношеской жизни большую роль, — я бы сказал «успокаивающую», способствующую твердости и душевной уравновешенности во всех моих переживаниях, особенно связанных с заключением в тюрьме ДПЗ и на Соловках. Но на Соловках же она стала постепенно разрушаться, когда я познакомился и проводил долгие часы в философских беседах с А. А. Мейером (о нем в дальнейшем).

Еще до ареста я делал о своей «концепции» доклад на кружке, где присутствовали не только учителя, но и посещавшие кружок философы. Помню присутствие Е. П. Иванова. Обо мне заговорили в школе, однако это «признание» через некоторое время обернулось для моего самолюбия испытанием, ибо, когда я появился в университете и меня там «не признали», так как студенты были старше меня и опытнее, а многие бесспорно умнее и способнее, я переживал это «снижение ранга» тяжело и пытался «нагнать» их честолюбивым усердием в занятиях.

Помню и еще один факт с моими философскими исканиями. В Хельфернаке (об этом кружке ниже) С. А. Аскольдов (Алексеев) должен был делать доклад «О чуде». Он просил меня записать его доклад и представить ему его изложение. Не знаю, почему он обратился с такой просьбой ко мне. Предлог был тот, что он хотел, чтобы ему был облегчен процесс написания, но я думаю — он предложил мне изложить его доклад в педагогических целях, и потому, что знал о моей философской концепции.

Доклад С. А. Аскольдова состоял из двух частей. В первой Сергей Алексеевич рассуждал о том, почему чудо и непосредственное общение с Богом было столь обычным в библейские времена и в Средневековье, а теперь исчезло. Во второй части Сергей Алексеевич развивал мысль о том, что чудо есть форма «экономии» Божественной энергии. Первая и вторая части были друг с другом связаны. Вместо изложения я представил Сергею Алексеевичу целую тетрадь моих возражений на вторую часть. Для меня было чрезвычайно лестно, что с частью моих рассуждений Сергей Алексеевич согласился. Я учился тогда в последнем классе, и Сергей Алексеевич спросил: куда я собираюсь поступать. Он полагал, что я буду философом. Услышав, что я хочу стать литературоведом, он согласился,

сказав, что в нынешних условиях литературоведение свободнее, чем философия, и все-таки близко к философии. Тем самым он укрепил меня в моем намерении получить гуманитарное образование вопреки мнению семьи, что я должен стать инженером. «Будешь нищим», — говорил мне отец на все мои доводы. Я всегда помнил эти слова отца и очень стеснялся, когда по возвращении из заключения я оказался безработным и мне пришлось месяцами жить на его счет.

С. А. Алексеев-Аскольдов

Когда в начале 20-х гг. Сергей Алексеевич Алексеев пришел преподавать психологию в нашу школу имени Лентовской, на Плуталовой улице Петроградской стороны, он был очень красив. Большая его фотография с белой бородой висела в витрине мастерской фотографа на Большом проспекте. Мы ходили группами смотреть на нее, чтобы сравнивать с «натурой». Фотографические витрины были в те послереволюционные годы чем-то вроде нашего телевидения, они создавали популярность персонажам снимков. Зная очень мало о действительных заслугах Сергея Алексеевича перед русской философией и русской культурой в целом, мы считали его знаменитостью только потому, что его фотографическим портретом любовалась вся Петроградская сторона.

У нас в классе он не преподавал, а преподавал в классе постарше. Зато я его постоянно видел и слушал в тех многочисленных кружках, которыми наполнен был Петроград того времени. Прежде всего, философские и литературные кружки были в самой нашей школе; на их заседания приходили многие «взрослые», сам С. А. Алексеев, другие преподаватели.

Что было замечательно в преподавателях тех лет? — они все что-то продолжали изучать, у них были свои пристрастия, они умели спорить при людях, не боясь уронить свое достоинство и достоинство того, с кем спорили. Слушать их, когда они все собирались вместе и приводили своих друзей (одним из них был Евгений Павлович Иванов, ставший затем руководить занятиями одного из кружков), было сущим удовольствием.

С молодежью Сергей Алексеевич всегда общался как с равными ему по возрасту. Он приглашал меня к себе домой (жил он с семьей, из которой хорошо помню его сына-поэта, на Кронверкской улице в отличном доме). Он не только давал мне книги для прочтения, но и разговаривал со мной о своих впечатлениях от музыки и поэзии. Когда перед самым моим поступлением в университет от пристани на Васильевском острове отошел в Штеттин пароход «Preussen» («Пруссак») с учеными — цветом русской интеллигенции, о Сергее Алексеевиче «забыли», и он, по-моему, был этим даже немного обижен.

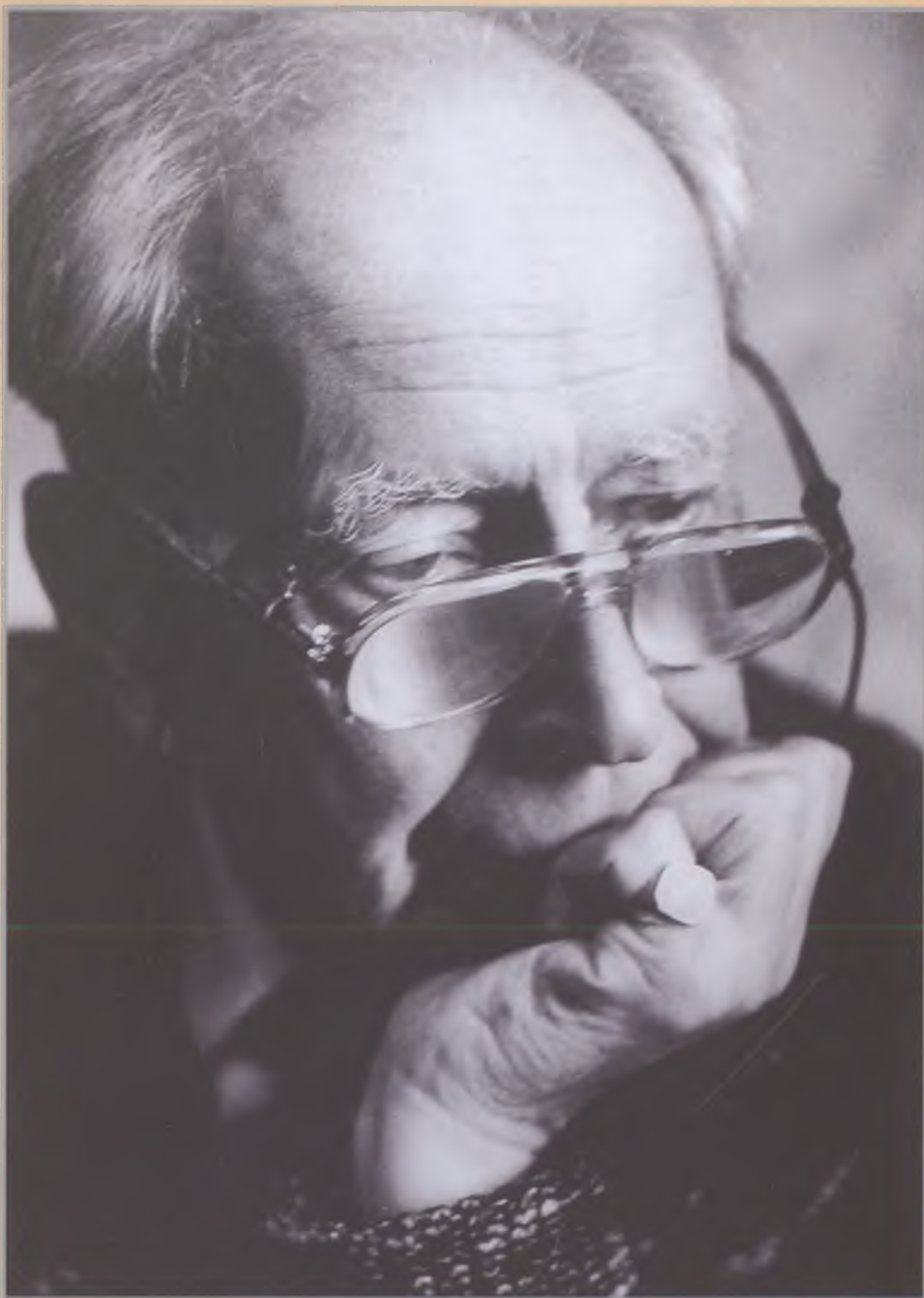
Я не помню Сергея Алексеевича улыбающимся или смеющимся. Он всегда был серьезен, всегда думал. Его часто видели на велосипеде с развевающейся седой бородой (ездил он гулять на Острова), но и на велосипеде у него был такой вид, точно он глубоко над чем-то задумался.

В 1922 г. он внезапно прекратил преподавать в нашей школе. Дело было так: ученики старшего класса, прослышав о его философских воззрениях, которые они приняли за простой «мистицизм», привязали ниточки к струнам стоявшего в классе рояля (тогда в нашей школе во всех классах стояли рояли, реквизированные у «буржуев»). Во время урока стала звучать то одна струна, то другая. Сергей Алексеевич сперва не мог понять — в чем дело, но заметив лукавые и ухмыляющиеся лица учеников, понял, вышел из класса и больше в школу не возвращался. К тому времени он уже преподавал товароведение в Технологическом институте (а может быть, Политехническом — не помню).

В 1928 г. мы все были арестованы. Арестовывались все участники кружков. Сергей Алексеевич, по-моему, был просто выслан. Когда меня освободили в 1932 г., я жил в Ленинграде, а Сергей Алексеевич продолжал мыкаться по провинции. В середине 30-х годов он приезжал на несколько дней в Ленинград к семье из Новгорода. Встретиться в одной из наших квартир мы не решались: однодельцы, продолжавшие собираться, арестовывались и получали второй срок. Поэтому мы свиделись с ним в Летнем саду. Долго ходили по дорожкам сада, время от времени оглядываясь. Я рассказывал ему о своем пребывании на Соловках и на Беломоро-Балтийском канале и о судьбе тех, с кем мы были знакомы. Он же рассказывал мне о себе и об Иване Михайловиче Андреевском, жившем в ссылке в Новгороде и на Волховстрое. Говорил он, что «утешается музыкой», любит «Римского»... (была такая манера у петербургской интеллигенции в двойных названиях или двойных фамилиях оставлять только одно слово, которое было в форме прилагательного: «Римский», «Лебединое», «Спящая», «Пиковая» и т. д. — так, кстати, говорила и А. А. Ахматова).

Запомнилось мне и то, что он продолжал упорно настаивать на своей идее канонизации Владимира Соловьева, придавал все большее и большее значение почитанию Серафима Саровского.

Встреча с Сергеем Алексеевичем в Летнем саду была последней. Больше я его уже не видел. Слышал только, что нацисты захватили его в Новгороде и увезли в Германию. Он жил около Потсдама в так называемой «Русской деревне», где была русская церковь. Умер он, не выдержав своего ареста советскими освободителями. Похоронен он там же, но найти его могилу, когда я был в ГДР в 1966 году, мне не удалось.



Д. С. Лихачев



Пропуск Д. С. Лихачева на Соловках



Эмблема УСЛОН.
Рисунок Д. С. Дихачева

Гор. Ленинград. 2. февр. 1928 г. Ф. № 10. 7)

ПРОТОКОЛ №
допроса, произведенного в ПП ОГПУ в ЛВО
Наполеона Д. С. Лихачева
по делу за № 191

Я, нижеподписавший, Киселёв, допрошен в качестве свидетеля по делу за № 191.

1. Фамилия Лихачев
2. Имя, отчество Дмитрий Сергеевич 3. Возраст 21 лет (1906 г.)
4. Происхождение Сын фабричного рабочего, бывшего члена партии
5. Место жительства Ленинград, Гавриловский 26 кв. 32
6. Род занятий Работал в качестве рабочего на заводе, в настоящее время в ЛВО
7. Семейное положение Женат, жена (Сергей) Лихачева
8. Место рождения Ленинград, Гавриловский 26 кв. 32
9. Индивидуальные особенности Никаких нет
10. Партийность Бессоюзный
11. Политические убеждения Сов. Социализм
12. Образование Общее
Специальное (фабричное)
13. Сведения о прежней деятельности ни одной

Всего предостережений об ответственности за ложные показания "1" по пункту 10. Копии протокола выданы лицам, участвующим в деле, а также в 1927 г. по распоряжению Лихачева. Лихачев, Д. С. 1927 г. 10. 7)

Протокол допроса.
Из следственного
дела Д. С. Лихачева.
Ленинград.
8 февраля 1928 г.



Д. С. Лихачев
Соловецкий
1930 или 1929 г.
Возраст 30 лет, т. е.
в этот год в
познании сформиро-
вался образ.
Конец февраля
1928 г. - мой по-
следний раз
на работе.
Соловки были
русские с посто-
янным. Вильям
Томас выжили.

Соловецкий в Соловецком
архиве архива
1930 г.



Фото из Соловецкого альбома
Д. С. Лихачева



Д. С. Лихачев с родителями. Осень 1929 г.

Усугублении на переломе старой, традици-
онной, исторической русской
графической поправкой и искаженной
работой Иериски Хрисостоиди и народа
русской, изложенная в пред-
ставлении Хрисостоиди Хрисостоиди.

Февраль 3 дня 1928 г.

Резюме 1-е утилитарное

Русская орфография издавалась в течение 10 лет
и была бы в результате она не соответство-
вала духу русского языка и русскому духу, не
была бы настолько простой и легкой в применении.
В старину в грамоте были отношения между
людьми были взаимоотношения, в грамоте
были тонкости: ее меньше разнообразие и
ее работники - строго, что бы она была орфо-
графией по диктату Правительства, по диктату
и не подвержена диктату, а не подвержена
она оказалась ударке в 22.

В старину все изыскания уклад русского
были направлены на правописание: орфо-
графия была русская графика и русская орфография
была это русская православная укладка не
подвержена бы ни в коем случае.

Примечательность понятий, упрощенной
орфографии:

- а) упрощенной для обучения?
- б) упрощенной для чтения?
- в) упрощенной для письма?



Д. С. Лихачев
Воспоминания

«Каждый из нас, Россия, в сердце Моем»

Эпиграф к книге Д. С. Лихачева
 «Воспоминания» 1995 г.



В. Т. Раков, педагог и художник



Г. М. Осоргин.
 Расстрелян в 1929 г.



А. А. Мейер, философ,
 общественный деятель



Исповедник Виктор (Островиков),
епископ Глазовский



Д. С. Лихачев в привезенном
родителями «романовском»
полушубке



Г. О. Петраш,
черниговский
краевед,
художник



Рисунок Г. О. Петраша

Береза в форме креста,
выросшая на месте
массовых захоронений
узников Соловецкого лагеря
на о. Анзер

5 Заправни

[illegible][illegible]

Поминальные записки, написанные рукой Д. С. Лихачева



Д. С. Лихачев. 1967 г.



Как спасти Соловки?

Вопрос этот сейчас не одно десятилетие. Одно из первых постановлений правительства по восстановлению Советского архивного аппарата к 1968 г. С тех пор человек интереса средств средств материальных, людей, побуждений, но не из-за отсутствия конкретных критериев — то и как кто восстанавливать, деньги в целом, трудные без особых результатов. Прямое разрушение и гибель памятников, особенно да предания исторических мест, ^{и тем} ~~и тем~~ быстрее, чем восстановление.

Но для того, чтобы бы решилось как спасать, кто только центральная за спасать, то-то Соловки в будущем, к сожалению.

ПАМЯТНИКИ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДРЕВНЕЙ
РУСИ

Конец XV —
первая половина
XVI века

Полное
Собрание
опыта
и опыта
(1911—1912 гг.)
1914.

Специальный
музей-этнографический
музей-библиотека



*Дом
Лихачев*

Архитектурно-художественные
памятники
Соловецких
островов



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9 июля — начало 15 час.

1. Д. С. ЛИХАЧЕВ — член-корреспондент АН СССР.
«Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса».
2. А. В. ВОРОБЬЕВ — главный архитектор проекта ЦНRM.
«Восстановление архитектурного ансамбля XVI—XIX вв.
б. Соловецкого монастыря».
3. Н. В. ТАРАНОВСКАЯ — ст. научный сотрудник Государственного русского музея.
«Народные графические росписи севера».
4. Н. В. МАЛЬЦЕВ — ст. научный сотрудник Государственного русского музея.
«Поморская резьба по дереву».
5. Г. С. МАСЛОВА — доктор исторических наук.
«Итоги и задачи этнографического изучения русского севера».



Первые экскурсии на Соловках.
В центре – директор Соловецкого музея-заповедника С. В. Вереш. 1960-е гг.



Д. С. Лихачев. Соловки. 1966 г.

С монастырской колокольни
снимают звезду, изготовленную
в Соловецком лагере. 1984 г.



✦
Летопись возрожденного
Соловецкого монастыря



Д. С. Лихачев с группой режиссера В. Виноградова. 1988 г.



Д. С. Лихачев дома, в своем кабинете. 1991 г.



Соловки. 2013 г.





Собор Новомучеников и Исповедников Соловецких.
Икона. О. Клодт-Володина. 2006 г.

Хельфернак

Вплоть до конца 1927 г. город кипел различными философскими кружками, студенческими обществами, журфиксами у тех или иных известных людей. Собирались — и в университете, и в Географическом обществе, и на дому. Относительно свободно обсуждались различные философские, исторические и литературоведческие проблемы. Литературоведы разделились на представителей формальной школы («формалистов») и на тех, кто продолжал традиционные методы изучения литературы. Диспуты происходили и в частных кружках, и на официальной территории — в Ленинградском университете, и в Институте истории искусств («Зубовском») на Исаакиевской площади, но больше всего — в зале Тенишевского училища. Были кружки и в нашей (Лентовской) школе. У нашего школьного преподавателя И. М. Андреевского с самого начала 20-х годов собирался кружок, носивший, как я уже сказал, название Хельфернак («Художественно-литературная, философская и научная академия»).

Расцвет Хельфернака приходился примерно на 1921—1925 гг., когда в двух тесных комнатках Ивана Михайловича Андреевского на мансардном этаже дома по Церковной улице № 12 (ныне улица Блохина) каждую среду собирались и маститые ученые, и школьники, и студенты. Помню среди присутствовавших С. А. Аскольдова (Алексеева), М. В. Юдину, доктора Модеста Н. Моржецкого, В. Л. Комаровича, И. Е. Аничкова, Л. В. Георга, Е. П. Иванова, А. А. Гизетти, М. М. Бахтина, Всеволода Вл. Бахтина, А. П. Сухова и многих других, а из молодежи — Володю Ракова, Федю Розенберга, Аркашу Селиванова, Валю Морозову, Колю Гурьева, Мишу Шапиро, Сережу Эйнерлинга. Всех не перечислишь. Во время заседаний пускалась по рядам громадная книга, в которой расписывались присутствующие и где на страницах сверху своеобразным «готическим» почерком Ивана Михайловича Андреевского была обозначена тема доклада, фамилия докладчика и дата. В 1927 г., когда время наступило опасное, один из самых молодых участников Хельфернака Коля Гурьев завернул эту книгу протоколов в различные водоустойчивые материалы и затем закопал где-то на Крестовском острове.

Доклады были самые разнообразные — на литературные, философские и богословские темы. Обсуждения бывали оживленными. Комнатки Андреевского никогда не бывали пустыми.

У Ивана Михайловича была огромная и тщательно подобранная библиотека. (Книги тогда были исключительно дешевы: их могли менять на хлеб, соль, муку, ими даже торговали на вес!) Каждый мог брать из библиотеки Ивана Михайловича любую книгу, даже в его отсутствие, но обязывался наткнуть

расписку в ее получении на специальный крючок и не держать книгу дольше определенного срока. Благодаря этой библиотеке я смог еще школьником познакомиться с самой разнообразной философской литературой: и если и не прочесть книгу, то хотя бы поддержать ее в руках, запомнить содержание и внешний облик, просто узнать о ее существовании, что тоже было важно. Еще большую роль в моем книжном образовании сыграла библиотека И. И. Ионова, а также огромная библиотека Дома книги, о которых я уже писал выше.

Библиотеки и кружки явились основой моего образования.

Братство святого Серафима Саровского

Во второй половине 20-х годов кружок Ивана Михайловича Андреевского Хельфернак стал все более и более приобретать религиозный характер. Перемена эта объяснялась, несомненно, гонениями, которым подвергалась в это время церковь. Обсуждение церковных событий захватывало основную часть кружка. И. М. Андреевский стал подумывать о перемене основного направления кружка и о его новом названии. Все согласились, что кружок, из которого ушли уже многие атеистически настроенные участники, следует назвать «братством». Но во имя кого? Первоначально ратовавший за защиту церкви И. М. Андреевский хотел назвать его «Братством митрополита Филиппа», имея в виду митрополита Филиппа Колычева, говорившего в глаза правду Ивану Грозному и задущенного в Тверском Отроче монастыре Малютой Скуратовым. Потом однако под влиянием С. А. Алексеева (Аскольдова) мы назвались «Братством святого Серафима Саровского».

В разыгравшемся в 1927 г. и последующие годы споре сергианцев и непримиримых иосифлян мы, интеллигентная молодежь, были всецело на стороне митрополита Иосифа, не согласившегося признать декларацию митрополита Сергия, в которой он объявил, что у нас не было и нет гонений на церковь.

Действия правительства в отношении церкви были у всех на виду: церкви закрывались и осквернялись, богослужения прерывались подъезжавшими к церквям грузовиками с игравшими на них духовыми оркестрами или самодеятельными хорами комсомольцев, певшими на удалой цыганский мотив «популярную» песню, сочиненную едва ли не Демьяном Бедным, с припевом:

*Гони, гони монахов,
Гони, гони попов,
Бей спекулянтов,
Дави кулаков...*

Комсомольцы вваливались в церкви группами в шапках, громко говорили, смеялись. Не буду перечислять всего того, что тогда делалось в духовной жизни народа. Нам было тогда не до «тонких» соображений о том, как сохранить церковь в обстановке крайней враждебности к ней власть предержащих. Возмущение творившимся охватывало и интеллигентную еврейскую молодежь. Мой друг Миша Шапиро из патриархальной верующей еврейской семьи возмущался и изредка посещал домовую церковь в доме для престарелых (угол Гатчинской и Малого), где пел удивительно хороший хор.

У нас возникла идея — посещать церковь совместно. Мы, пять или шесть человек, пошли все вместе в 1927 г. на Крестовоздвижение в одну из впоследствии разрушенных церквей на Петроградской стороне. Увязался с нами и Ионкин, о котором мы еще не знали, что он провокатор (см. о нем ниже). Ионкин, притворявшийся религиозным, не знал, как себя вести в церкви, боялся, жался, стоял позади нас. И тут я впервые почувствовал к нему недоверие. Но потом выяснилось, что появление в церкви группы рослых и не совсем обычных для ее прихожан молодых людей вызвало в причте церкви переполох, тем более, что Ионкин был с портфелем. Решили, что это комиссия и церковь будут закрывать. На этом наши «совместные посещения» и прекратились.

Вспоминая те годы, я уверен, что иного подхода к церковному расколу, кроме непосредственно эмоционального, у нас и не могло быть. Мы стояли на стороне гонимой церкви и к рациональным компромиссам, к которым была склонна часть православного епископата, просто не могли примкнуть. Если бы мы были политиками, тогда решение могло бы быть любым. Мы же были не политиками, боровшимися за выживание церкви, а просто верующими, желавшими быть правдивыми во всем и питавшими отвращение к политическим маневрам, программам, расчетливым и двусмысленным формулировкам, позволявшим уклониться от прямого ответа.

Помню, что однажды на квартире у своего учителя я встретил настоятеля Преображенского собора отца Сергея Тихомирова и его дочь. Отец Сергей был чрезвычайно худ, с жидкой седой бородой. Не был он ни речист, ни голосист и, верно, служил тихо и скромно. Когда его «вызвали» и спросили об отношении к советской власти, он ответил односложно: «от Антихриста». Ясно, что его арестовали и очень быстро расстреляли. Было это, если не ошибаюсь, осенью 1927 г., после Крестовоздвижения (праздник, в который, по народным повериям, бесы, испуганные крестом, особенно усердствуют напакостить христианам).

Как я узнал из своего «дела», показанного мне в 1992 г., звали дочь отца Сергея Юлией. Я жалею, что ничего не записывал. Я жил в такое значительное

время! Но дело даже не в этом: надо сохранить память обо всем и всех: это наш долг. Ясно, что она пошла вслед за отцом.

В братстве до его «официального» закрытия было всего три или четыре заседания. На одном из последних его заседаний И. М. Андреевский представил нам молодого человека, стоявшего перед нами в позе отрока Варфоломея на известной картине Нестерова, молитвенно сложив руки и невнятно, но «вдохновенно» что-то бормоча, ни к кому конкретно не обращаясь. И. М. Андреевский был от него в восторге: «Такой религиозный, такой религиозный!» Пороссячи глаза этого «религиозного» человека были между тем очень зорки. Здороваясь, он шептал: «Сережа», старательно узнавая имена и фамилии присутствовавших. Через несколько дней я встретил его в знаменитом университетском коридоре, где в те времена еще не были убраны длинные скамейки, на которых обычно сидели студенты, жарко споря по политическим и общемировоззренческим вопросам. Некоторых студентов можно было встретить постоянно, — как, например, красивого высокого юношу Борю Иванова — убежденного кантианца, а потом незаурядного религиозного мыслителя.

Я подошел к «Сереже», и мы о чем-то поговорили. В конце разговора он стал уговаривать меня принять участие в размножении каких-то прокламаций: «Мы их будем оставлять здесь в коридоре, и это будут огоньки, огоньки, вспыхнет пожар...» Я запомнил его выражения — «огоньки» и «пожар». Кто-то из студентов заметил мой разговор с «Сережей Ионкиным» и предупредил — «это провокатор». Расспрашивая меня, Ионкин узнал, что мой отец когда-то преподавал химию в Первом кадетском Николаевском корпусе. «Я у него учился, учился... Можно я к вам зайду?» Я сказал отцу. Отец ответил: «Ионкин? Я всех своих учеников помню по фамилиям. Такого у меня никогда не было».

Тогда я зашел к И. М. Андреевскому и предупредил его, что к нам затесался провокатор. Решено было изобразить самороспуск братства. В ближайшую же среду, на которую чуть ли не первым явился Ионкин, И. М. Андреевский встретил нас хмуро, уселся в глубокое, обитое синим бархатом кресло, подаренное ему одной из его учениц, и стал говорить о бесполезности наших собраний и о решении его больше не собираться. Призвав всех ходить по мере сил и веры в церковь и читать религиозную литературу, он встал и пожал на прощание каждому из нас руку. Речь И. М. Андреевского была настолько убедительна и, я бы сказал, разумна, что «Сережа Ионкин» поверил и оставил в покое Андреевского, а когда попытался в университете все-таки ко мне подойти (при этом он был серьезно пьян), я отшил его с несвойственной мне в том возрасте решительностью.

Просматривая свое «дело» в 1992 г., я увидел там показания некоего «Ивановского», которого нетрудно было отождествить с нашим Ионкиным. «Ивановский» был явным секретным агентом ГПУ. Никаких сведений о его официальном положении в «деле» нет, зато откровенно продемонстрирована его обязанность представить всех нас монархистами, яркими контрреволюционерами. Заодно обнаруживается его полнейшая безграмотность. Он был у Андреевского в тот период, когда мы еще предполагали называться «братством святого митрополита Филиппа». Ивановский-Ионкин не знал, кто это, и донес, что мы — «братство Кирилла, покровителя островов» (очевидно, он что-то слышал о том, что митрополит Филипп, которого он назвал Кириллом, был игуменом Соловецкого монастыря, расположенного на островах Белого моря).

У Андреевского после истории с провокатором Сергеем Ионкиным мы действительно некоторое время не собирались. Мне кажется, что Иван Михайлович был настроен целиком уйти в церковные дела, и разнообразие тем, которое демонстрировали собой собрания Хельфернака, становилось даже в какой-то мере неуместным в свете событий, которые переживала русская церковь.

Однако уйти от Ивана Михайловича совсем мы не могли. Потребность обмениваться мнениями по поводу того, что происходило кругом, была слишком велика. Мы заходили незваные к Ивану Михайловичу, по-старому брали у него книги, вешая расписки на большой крючок, прибитый к одной из полок, а когда заставляли дома Ивана Михайловича, старались узнать его мнение по тому или иному поводу или послушать его рассказы о церковных событиях. Разумеется, круг сузился, но он все же был, и Иван Михайлович почувствовал, очевидно, что бросать нас он не имеет права. Заседания стихийно возобновились.

1 августа 1927 г., в день обретения мощей Серафима Саровского, на квартире родителей Люси Суратовой, прелестной и очень религиозной девушки, был отслужен молебен. Служил отец Сергей Тихомиров. Комната (очевидно, гостиная) была большая, светлая, служил отец Сергей с необыкновенным чувством.

В русском богослужении проявление чувства всегда очень сдержанно. Сдержанно служил и отец Сергей, но настроение передавалось всем каким-то особым образом. Не могу это определить. Это была и радость, и сознание того, что жизнь наша становится с этого дня какой-то совсем другой.

Мы расходились по одному. Против дома одиноко стояло орудие, стрелявшее в ноябре 1917 г. по юнкерскому училищу. Слежки не было.

Братство Серафима Саровского просуществовало до дня нашего ареста 8 февраля 1928 г. Однако Иван Михайлович, имевший скромный недостаток — некоторую хвастливость и стремившийся иногда изобразить себя главой или

участником большого движения, почему-то впоследствии никогда не упоминал о Хельфернаке, а Братство считал существовавшим как бы изначально. Позже он утверждал, что и Космическая Академия (о ней в дальнейшем) была как бы филиалом Братства, принявшим свое пышное наименование в целях конспирации.

На самом деле из восьми «академиков» к Ивану Михайловичу ходили только я, Раков, Селиванов и Розенберг. П. П. Машков и А. С. Тереховко были атеистами. Оба они сердились, когда впоследствии на Соловках Иван Михайлович представлял их как своих учеников. Владимир Карлович Розенберг, старший брат Эдуарда, к Ивану Михайловичу тоже не ходил. И хотя в тюрьме он подружился с отцом Владимиром Пищулиным, но религиозным не был и формально оставался лютеранином.

Космическая Академия Наук

Более безопасным казалось тогда общение в шуточных кружках. Казалось, никому в голову не придет преследовать людей, собирающихся, чтобы беззаботно провести время. Володя Раков, мой соклассник по Лентовской школе, пригласил меня бывать у них в КАНе — в Космической Академии Наук. Члены этой «академии» летом прошли от Владикавказа до Сухума по Военно-Осетинской дороге, обзавелись на Кавказе тросточками, заявили о своей верности дружбе, юмору и оптимизму. У членов КАН было свое приветствие — «хайре» (греч.), свой гимн, свои «конференц-залы», свой «хартифилакс» — Федя Розенберг, свое священное место в Царском Селе на вершине Парнаса и т. д. Со мной нас было девять: Федя Розенберг («хартифилакс»), его брат Володя Розенберг, Володя Раков и его друг Аркаша Селиванов, Андрюха Миханьков, Петр Павлович Машков (самый старший из нас), Коля Сперанский, Толя Тереховко и я. Из этих девяти «кановцев» двое хорошо писали стихи (Тереховко и Розенберг), один свободно владел греческим и латинским, на обоих языках писал стихи и подавал большие академические надежды (А. Миханьков), двое хорошо пели (Володя Раков и Аркаша Селиванов), один хорошо рисовал и знал мундиры всех русских полков конца XVIII — начала XIX вв. (Володя Раков). Федя Розенберг был всегда изумительно весел, непосредственен и находчив в своих выдумках. Словом, мы были обычной молодежью, собирались почти еженедельно, ничуть не скрываясь.

По своим докладам мы получали в КАНе «кафедры». Я сделал доклад об утраченных преимуществах старой орфографии и получил кафедру старой орфографии, или, как вариант — кафедру меланхолической филологии.

Сейчас часто читатели воспринимают мой «кановский» доклад (он опубликован в 1993 г. в Твери в книге «Неизвестный Лихачев») как вполне серьезный, но

стоит прочесть хотя бы его заглавие, пародирующее сочинения против древнерусских еретиков, чтобы понять, что доклад шуточный, хотя иные из его аргументов против отмены старой орфографии и замены ее «скучной», «унылой» и «безродной» никак не соответствуют современному мышлению. Доклад ироничен и соответствует духу карнавала, господствовавшему в Космической Академии.

Володя Раков занимал кафедру апологетического богословия, и это в какой-то мере серьезно, если учесть, что он и его друг Аркаша Селиванов, занимавший кафедру изящного богословия, были глубоко верующими людьми. Эдуард Карлович Розенберг — он вообще перешел в православие из лютеранства и принял имя Федор. Но с другой стороны, Толя Тереховко (кафедра изящной психологии) был принципиальный атеист. То же можно было сказать и о Петре Павловиче Машкове (кафедра изящной химии). Такое глубокое расхождение не мешало нам всем не только дружить, но и любить друг друга, находя удовольствие в пении хором русских песен и романсов, в совместных поездках в Царское Село и прогулках на лодке по Неве.

Космическая Академия Наук была своего рода маскарадным действом. Нами был провозглашен принцип «веселой науки» — науки, которая не только ищет истину, но истину радостную и облеченную в веселые формы. Кстати, принцип этот давно существует в ученом мире. Различные университетские торжества, парадные шествия, традиционные костюмы, пышные звания, церемонии, совместные прогулки, поездки — всегда носили и носят полусерьезный характер. Это тоже своего рода «веселая наука», ибо сама по себе наука, требующая полной отдачи своего времени и душевных сил, не должна быть скучной и однообразной.

Один из постулатов этой «веселой науки» состоял в том, что тот мир, который создает наука путем исследования окружающего, должен быть «интересным», более сложным, чем мир до его изучения. Наука обогащает мир, изучая его, открывает в нем новое, дотоле неизвестное. Если наука упрощает, подчиняет все окружающее двум-трем несложным принципам — это «невеселая» наука, делающая окружающую нас Вселенную скучной и серой. Таково учение марксизма, принижающее окружающее общество, подчиняющее его грубым материалистическим законам, убивающим нравственность, — попросту делающим нравственность ненужной. Таков всякий материализм. Таково учение Э. Фрейда. Таков же социологизм в объяснении литературных произведений и литературного процесса. К этому же разряду «ускучняющих» учений принадлежит и учение об исторических формациях. Не скажу, что в своем интересе к происходившему я полностью избежал этого напора упрощенчества в разных его видах, но в целом, в основном, в главном, я стремился найти в людях и в том, что изучал, сложное и интересное,

своеобразное и индивидуальное. И это было настолько увлекательно, что могло даже пересилить все то тяжелое, что выпало мне на долю, особенно в молодости.

В нашем студенческом кружке, игравшем особенно значительную роль в нашей жизни того периода, когда свободная философия и религия постепенно становились запретными, неофициальными, непризнаваемыми, создавался своего рода маскарад отнюдь не с целью какой-то конспирации. Напротив, шумные формы этого маскарада скорее могли привлечь внимание к нашему кружку. Так и случилось. Телеграмма якобы от папы римского с поздравлением к годовщине Академии привлекла внимание сверхбдительных организаций...

Создавалась эта «другая жизнь» нами всеми и еще одним способом. Один из «академиков», мой соклассник, а потом студент Строительного института (б. Институт гражданских инженеров) Володя Раков бойко (быстро и безошибочно) рисовал и владел акварелью. При этом он отлично знал формы русской армии начала XIX в., а также быт и костюмы той же эпохи. Он изображал нас всех и знакомых нам людей в различных ситуациях начала XIX в. Сочинял даже целые истории о нас. Если история была большой, он делал целый альбом и дарил его по какому-либо случаю главному герою рисованной истории. Женские роли исполняли то участница кружка Андреевского Валя Морозова, то сестра Толи Тереховко. Незнакомые в эту «рисованную жизнь» не допускались. У каждого из прототипов рисунков было свое амплуа. Старший из нас Петя Машков обычно изображался гусарским полковником, Валя Морозова — девочкой, играющей в серсо, крокет, прыгающей через веревочку или гоняющей палочкой обруч. Я в рисунках всегда был в штатском, иногда с «двойным лорнетом» («двойной лорнет» — в котором линзы располагались одна перед другой, и таким образом он мог настраиваться на резкость). Мы ждали появления рисованных историй с нетерпением и дружно смеялись, особенно если в них находили намеки на ситуацию, в которую попадали в реальной жизни. Один из таких альбомов, в которых все мы жили второй жизнью, у меня сохранился.

После нашего освобождения Володя Раков продолжал создавать в Петрозаводске свои альбомы...

М. М. Бахтин посещал, как я уже сказал, Хельфернак, где легко мог узнать о сообществе КАН. Мог он знать о нас и от Всеволода Бахтина, с которым я учился в университете на одном курсе. Больше того, М. М. Бахтин мог знать и о нашей второй сочиненной жизни и приключениях в рисунках Владимира Тихоновича Ракова. Широко известно было и поэтическое сообщество «Обериу», в котором господствовал тот же дух карнавала. Были десятки кружков, встреч, шутивных обычаев, которыми Петербург провожал свое блистательное прошлое.

Впоследствии А. А. Ахматова прекрасно уловила этот характер умирания культуры в своей «Поэме без героя».

Так монологическая культура «пролетарской диктатуры» сменяла собой полифонию интеллигентской демократии. С самого своего утверждения в нашей стране советская власть стремилась к уничтожению любого многоголосия. Страна погрузилась в молчание — только однотонные восхваления, единогласие, скука смертная, — именно смертная, ибо установление единогласия и единогласия было равно смертной казни для культуры и для людей культуры.

Арест и тюрьма

В начале февраля 1928 г. столовые часы у нас на Ораниенбаумской улице пробили восемь раз. Я был один дома, и меня сразу охватил леденящий страх. Не знаю даже, почему. Я слышал бой наших часов в первый раз. Отец не любил часового боя, и бой в часах был отключен еще до моего рождения. Почему именно часы решились в первый раз за двадцать один год пробить для меня мерно и торжественно?

Восьмого февраля под утро за мной пришли: следователь в форме и комендант наших зданий на Печатном Дворе Сабельников. Сабельников был явно расстроен (потом его ожидала та же участь), а следователь был вежлив и даже сочувствовал родителям, особенно, когда отец страшно побледнел и повалился в кожаное кабинетное кресло. Следователь поднес ему стакан воды, и я долго не мог отделаться от острой жалости к отцу.

Сам обыск занял немного времени. Следователь справился с какой-то бумажкой, уверенно подошел к полке и вытащил книгу Г. Форда «Международное еврейство» в красной обложке. Для меня стало ясно: указал на книгу один мой знакомый по университету, который ни с того ни с сего заявился ко мне за неделю до ареста, смотрел книги и все спрашивал, плотоядно улыбаясь, — нет ли у меня какой-нибудь антисоветчины. Он уверял, что ужасно любит эту безвкусицу и пошлость.

Мать собрала вещи (мыло, белье, теплые вещи), мы попрощались. Как и все в этих случаях, я говорил: «Это недоразумение, скоро выяснится, я быстро вернусь». Но уже тогда в ходу были массовые и безвозвратные аресты.

На черном фордике, только-только появившемся тогда в Ленинграде, мы проехали мимо Биржи. Рассвет уже набрал силу, пустынный город был необычайно красив. Следователь молчал. Впрочем, почему я называю его «следователь». Настоящим следователем у меня был Александр (Альберт) Робертович Стромин, организатор всех процессов против интеллигенции конца 20-х — начала 30-х гг., создатель «академического дела», дела Промпартии и пр. Впоследствии он был в Саратове начальником НКВД и расстрелян «как троцкист» в 1938 г.

После личного обыска, при котором у меня отобрали крест, серебряные часы и несколько рублей, меня отправили в камеру ДПЗ на пятом этаже — дом предварительного заключения на Шпалерной (снаружи это здание имеет три этажа, но во избежание побегов тюрьма стоит как бы в футляре). Номер камеры был 273: градус космического холода.

В университете я увлекался Л. П. Карсавиным, а когда оказался в ДПЗ, то волею судеб попал в одну камеру с братом близкой Льву Платоновичу женщины. Помню этого юношу, носившего вельветовую куртку и тихонько, чтобы не услышала стража, отлично напевавшего цыганские романсы. Перед этим я читал книгу Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae».

Пожалуй, эта камера, в которой я просидел ровно полгода, была действительно самым тяжелым периодом моей жизни. Тяжелым психологически. Но в ней я познакомился с огромным числом людей, живших по совсем разным принципам.

Упомяну некоторых из моих сокамерников. В «одиночке» 273, куда меня втолкнули, оказался энергичный нэпман Котляр, владелец какого-то магазина. Его арестовали накануне (это был период ликвидации НЭПа). Он сразу же предложил мне навести чистоту в камере. Воздух там был чрезвычайно тяжелый. Покрашенные когда-то масляной краской стены были черны от плесени. Стульчак был грязный, давно не чищенный. Котляр потребовал у тюремщиков тряпку. Через день или два нам бросили чьи-то шерстяные кальсоны. Котляр предположил — снятые с расстрелянного. Подавляя в себе подступавшую к горлу рвоту, мы принялись оттирать от плесени стены, мыть пол, который был мягок от грязи, а главное — чистить стульчак. Два дня тяжелой работы были спасительны. И результат был: воздух в камере стал чистым. Третьим втолкнули в нашу «одиночку» профессионального вора. Когда меня вызвали ночью на допрос, он посоветовал мне надеть пальто (у меня с собой было отцовское теплое зимнее пальто на беличьем меху): «На допросах надо быть тепло одетым — будешь спокойнее». Допрос был единственным (если не считать обычного заполнения анкеты перед тем). Я сидел в пальто, как в броне. Следователь Стромин (организатор, как я уже сказал, всех процессов конца 20-х — начала 30-х гг. против интеллигенции, — не исключая и неудавшегося «академического») не смог добиться от меня каких-либо нужных ему сведений (родителям моим сказали: «Ваш сын ведет себя плохо»). В начале допроса он спросил: «Почему в пальто?» Я ответил: «Простужен» (так научил меня вор). Стромин, видимо, боялся инфлуэнцы (так называли тогда грипп), и допрос не был изматывающе длинным.

Потом в камере попеременно были: мальчик китаец (по каким-то причинам в ДПЗ сидело в 1928 г. много китайцев), у которого я безуспешно пытался

учиться китайскому; граф Рошфор (кажется, так его фамилия) — потомок составителя царского положения о тюрьмах; крестьянский мальчик, впервые приехавший в город и «подозрительно» заинтересовавшийся гидропланом, которого никогда раньше не видел. И многие другие. Интерес ко всем этим людям поддерживал меня.

Гулять полгода водил нашу камеру «дедка» (так мы его звали), который при царском правительстве водил и многих революционеров. Когда он к нам привык, он показал нам и камеры, где сидели разные революционные знаменитости. Жалею, что я не постарался запомнить их номера. Был «дедка» суровый служака, но он не играл в любимую игру стражников — метлами загонять друг к другу живую крысу. Когда стражник замечал пробегающую крысу на дворе, он начинал ее мести метлой — пока она не обессилит и не сдохнет. Если находились тут же другие стражники, они включались в этот гон и с криками гнали метлой крысу друг к другу — в воображаемые ворота. Эта садистская игра вызывала у стражников необычайный азарт. Крыса в первый момент пыталась вырваться, убежать, но ее мели и мели с визгом и воплями. Наблюдавшие за этим из-под «намордников» в камерах заключенные могли сравнивать судьбу крысы со своей.

Спустя полгода следствие закончилось, и меня перевели в общую библиотечную камеру. В библиотечной камере (в которой, кстати, после меня сидел Н. П. Анциферов, как он сам вспоминает) было много интереснейшего народа. Спали на полу — даже впритык к стульчаку. Там для развлечения мы попеременно делали «доклады» с последующим их обсуждением. Неистребимая в русской интеллигенции привычка к обсуждению общих вопросов поддерживала ее и в тюрьмах, и в лагерях. Доклады все были на какие-либо экстравагантные темы, с тезисами, резко противоречащими общепринятым взглядам. Это была типичная черта всех тюремных и лагерных докладов. Придумывались самые невозможные теории. Выступал с докладом и я. Тема моя была о том, что каждый человек определяет свою судьбу даже в том, что могло показаться случаем. Так, все поэты-романтики рано погибали (Китс, Шелли, Лермонтов и т.д.). Они как бы «напрашивались» на смерть, на несчастья. Лермонтов даже стал хромать на ту же ногу, что и Байрон. Относительно долголетия Жуковского я высказал тоже какие-то соображения. Реалисты, напротив, жили долго. А мы, следуя традициям русской интеллигенции, сами определили свой арест. Это наша «вольная судьба». Через полвека, читая «Прогулки с Пушкиным» А. Синавского, я подумал: «Какая типично тюремно-лагерная выдумка» — вся его концепция о Пушкине. Впрочем, я и еще делал такие «ошарашивающие» доклады, — но уже на Соловках. Об этом после.

Самым интересным человеком в библиотечной камере был, несомненно, глава петроградских бойскаутов граф Владимир Михайлович Шувалов. Сразу после революции я встречал его иногда на улицах в бойскаутской форме с высокой бойскаутской палкой и в своеобразной шляпе. Сейчас, в камере, он был сумрачен, но крепок и подтянут. Занимался он логикой. Насколько я помню, это были какие-то соображения, продолжавшие «Логические исследования» Гуссерля. Как он мог для работы полностью отключаться от шумной обстановки камеры — не понимаю. Должно быть, у него была большая воля и большая увлеченность. Когда он излагал результаты своих поисков, я, хотя и занимался перед этим логикой у А. И. Введенского и С. И. Поварнина (у которого занимался ранее и сам Шувалов), с трудом его понимал.

Впоследствии он получил высылку и полностью исчез из моего поля зрения. Кажется, его родственница (может быть, жена) работала в Русском музее, занимаясь иконами.

Странные все-таки дела творились нашими тюремщиками. Арестовав нас за то, что мы собирались раз в неделю всего на несколько часов для совместных обсуждений волновавших нас вопросов философии, искусства и религии, они объединили нас сперва в общей камере тюрьмы, а потом надолго в лагерях, комбинировали наши встречи с другими такими же заинтересованными в решении мировоззренческих вопросов людьми нашего города, а в лагерях — широко и щедро с людьми из Москвы, Ростова, с Кавказа, из Крыма, Сибири. Мы проходили гигантскую школу взаимообучения, чтобы исчезать потом в необъятных просторах нашей родины.

В библиотечной камере, куда по окончании следствия собирали людей, ожидавших срока, я увидел сектантов, баптистов (один из них перешел нашу границу откуда-то с запада и ожидал расстрела, не спал ночами), сатанистов (были и такие), теософов, доморощенных масонов (собиравшихся где-то на Большом проспекте Петроградской стороны и молившихся под звуки виолончели; кстати, — какая пошлость!). Фельетонисты ОГПУ «братья Тур» пытались время от времени вывести всех нас в смешном и злобредном виде (о нас они опубликовали в «Ленинградской правде» пересыпанный ложью фельетон «Пепел дубов», о других — «Голубой интернационал» и пр.). О фельетоне «Пепел дубов» вспоминал впоследствии и М. М. Бахтин.

Объединились и наши родные, встречаясь на передачах и у различных «окошечек», где давали, а чаще не давали, справки о нас. Советовались — что передать, что дать на этап, где и что достать для своих заключенных. Многие подружились. Мы уже догадывались — кому и сколько дадут.

Однажды всех нас вызвали «без вещей» к начальнику тюрьмы. Нарочито мрачным тоном начальник тюрьмы, как-то особенно заывая, прочел нам приговор. Мы стоя его слушали. Неподражаем был Игорь Евгеньевич Аничков. Он с демонстративно рассеянным видом разглядывал обои кабинета, потолок, не смотрел на начальника и, когда тот кончил читать, ожидая, что мы бросимся к нему с обычными ламентациями: «мы не виноваты», «мы будем требовать настоящего следствия, очного суда» и пр., Игорь Евгеньевич, получивший 5 лет, как и я, подчеркнуто небрежно спросил: «Это все? Мы можем идти?» — и, не дожидаясь ответа, повернул к двери, увлекая нас за собой, к полному недоумению начальника и конвоиров, не сразу спохватившихся. Это было великолепно!

Заодно пользуюсь случаем, чтобы исправить некоторые неточности, сообщаемые О. В. Волковым в книге «Погружение во тьму» (Париж, 1987. С. 90—94). И. Е. Аничков имел не 3 года лагерного срока, а 5 лет, и после «освобождения» в 1931 г. скитался по ссылкам так же, как и сам О. В. Волков. После смерти Сталина И. Е. Аничков вернулся в Ленинград, где несколько лет преподавал в Педагогическом институте, подвергаясь постоянным «проработкам» за нежелание признавать «новое учение о языке» Н. Я. Марра и марксистское учение в целом. Его мать Анна Митрофановна Аничкова никогда профессором университета не была, жила частными уроками и преподаванием языков в частном же «Фонетическом институте» С. К. Боянуса и умерла весной 1933 г. в коммунальной квартире на Французской набережной.

Недели через две после вынесения приговора нас всех вызвали «с вещами» (на Соловках выкрикивали иначе: «Вылетай пулей с вещишками») и отправили в «черных воронах» на Николаевский (теперь Московский) вокзал. Подъехали к крайне правым путям, откуда сейчас отправляются дачные поезда. По одному мы выходили из «черного ворона», и толпа провожавших в полутьме (был октябрьский вечер), узнавая каждого из нас, кричала: «Коля!», «Дима!», «Володя!». Толпу еще не боявшихся тогда родных и друзей, просто товарищей по учению или службе грубо отгоняли солдаты конвойного полка с шашками наголо. Два солдата, размахивая шашками, ходили перед провожавшими, пока нас один конвой передавал другому по спискам. Сажали нас в два «стольпинских» вагона, считавшихся в царское время ужасными, а в советское время приобретших репутацию даже комфортабельных. Когда нас наконец распихали по клеткам, новый конвой стал нам передавать все то, что было принесено нам родными. От Университетской библиотеки я получил большой кондитерский пирог. Были и цветы. Когда поезд тронулся, из-за решетки показалась голова начальника конвоя (о идиллии!), дружелюбно сказавшая: «Уж вы, ребята, не сердчайте на нас: служба такая! Что если недосчитаемся?» Кто-то ответил: «Ну, а зачем же непременно матом и шашками на провожавших?»

Кемперпункт и переправа на остров Соловки

Наше счастье было в том, что отправляли нас на Соловки — тех, кто получил трехлетний срок, и тех, кто получил по пяти, — всех вместе в одном вагоне, хотя и в разных клетках (так называемые «столыпинские» вагоны имели решетки в коридор, по которому ходил конвой). И все-таки мы общались, делились сведениями о судьбе, о допросах, — кто что сказал. Больше всего мы боялись, что нас разлучат в лагере.

Я не описываю подробно первые дни в Кеми, на Поповом острове, в тринадцатой роте на Соловках. Дело в том, что как только я получил возможность работать на канцелярской работе, я стал вести записи и прятал их среди канцелярских бумаг, а затем отправил с родителями, приезжавшими ко мне на свидание весной 1929 г. Мне нет необходимости повторять все, что там сказано. Отмечу только, что при высадке из вагона конвоир разбил мне сапогом в кровь лицо, что над нами измывались как только могли. Кричали нам: «Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая». Откуда и пошло название известного документального фильма «Власть соловецкая». То угрожающе надвигаясь на нас, то отступая, принимавший этап Белозеров ругался виртуозно. Я не мог поверить, что кошмар этот происходит наяву. Помню (это сверх моих записок, которые я сделал в Соловках в 1929 г.), одна из самых «приличных» угроз нам была: «Сопли у мертвецов сосать заставляю!» Когда я рассмеялся (впрочем, вовсе не от того, что мне было весело), Белозеров закричал на меня: «Смеяться потом будем», но не избил...

Должен отметить, что о начальниках мы знали только по слухам, ходившим среди заключенных, и в мои соловецкие записи вкрались ошибки, которые затем утвердились в литературе — особенно через «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и тех, кому я рассказывал о лагере.

Принимали этапы в Кемперпункте двое по очереди: Курилко и Белозеров. Последнего я называл Белобородовым по ошибке: заключенные приписали ему эту фамилию, очевидно, путая с тем Белобородовым, что расстреливал царскую семью. Ни один из них не был гвардейским офицером, как у меня было сказано, и не говорил по-французски (разве что, зная одну-две фразы, находил особое удовольствие шеголять ими перед бесправными заключенными). Человек, видевший лично дело Курилки в Петрозаводске в 1989 г., говорил мне, что Курилко служил в Красной Армии, но в перипетиях Гражданской войны месяца два служил и в Белой. Однако сам выдавал себя за гвардейца. И от Н. П. Анциферова уже после нашего освобождения я слышал, что когда он (Анциферов) сидел в камере, дожидаясь расстрела (которого, к счастью, избежал) вместе с Курилкой, то тот якобы сказал перед расстрелом: «Я умираю как чекист и гвардейский

офицер». Он потребовал, чтобы ему стреляли не в затылок, а в лоб. Вполне возможно, что те два месяца, что Курилко был в Белой Армии, он служил в полку, носившем звание гвардейского.

Я пишу это для того, чтобы знали, что настоящие гвардейские офицеры, все до одного, кого я встречал на Соловках, были людьми честными: к зверствам охранников не имели отношения, в охране никогда не служили, да и не могли служить: принимали во внутреннюю охрану только «бытовиков»: непрофессиональных уголовных преступников-убийц, насильников и т.п.

На ночь нас погнали на Попов остров, чтобы запихнуть в сараи, а наутро переправить на остров. В сарае мы стояли всю ночь. Нары были заняты полуголыми «урками» (мелкими воришками), «вшивками», обстреливавшими нас вшами, в результате чего мы через час уже были покрыты ими с головы до ног. Только притушили свет — точно темный занавес начал опускаться по стенам на лежащих. Это ползли клопы. И среди всего этого ада был кусочек рая: на маленьком пространстве нар, которое стерегли два статных красавца-кабардинца в национальной одежде, лежали старики — священник и мулла. Под утро, когда я уже не мог стоять на отекавших за ночь ногах (даже сапоги стали малы), один из кабардинцев — Дивлет-Гирей Албаксидович (я запомнил его имя, ибо вечно ему благодарен), видя мое состояние, уступил мне место, и я смог полежать.

Священник, рядом с которым я лег, украинец по происхождению, сказал мне: «Надо найти на Соловках отца Николая Пискановского — он поможет».

Почему именно он поможет и как — я не понял. Решил про себя, что отец Николай занимает, вероятно, какое-то важное положение. Предположение нелепейшее: священник и «ответственное положение»! Но все оказалось верным и оправдалось: положение у отца Николая состояло в уважении к нему всех начальников острова, а помог он мне на годы.

На следующий день нас грузили на пароход «Глеб Бокий», что отправлялся на Соловки. Домушник (вор по квартирам со взломами) Овчинников стоял рядом и предупреждал: «Только не торопитесь, будьте последними».

Он был второй раз на Соловках. Первый раз бежал. Явился к своей «марухе» на Сенной в Ленинграде и был схвачен. Прошел всю дорогу к ней пешком по шпалам с «когтями» за спиной. Когда замечал патруль, то надевал когти и залезал на ближайший телеграфный столб. Разумеется, со столба его патруль не снимал: человек работает!

Избит Овчинников был в Кемперпункте страшно. Избивали его за то, что подвел часовых, начальников, «испортил статистику» (считалось, что с Соловков

бежать нельзя). Но и избитый домушник оставался человеком. Мы его подкармливали, а он помогал нам своим лагерным опытом. Когда людей стали запихивать в трюм, он затащил нас на площадку посредине трапа и посоветовал не спускаться ниже. И действительно, там внизу люди начали задыхаться. Нас же команда выпустила раз или два подышать. После девяти месяцев тюрьмы я с жадностью дышал свежим морским воздухом, смотрел на волну, на проходившие мимо безлесые острова.

Около Соловков нас снова запихнули в чрево «Глеба Бокого» (этот живой человек, в честь кого был назван пароход, — людоед — главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и расстрелам). По шуршанию льда о борта парохода мы поняли, что подходим к пристани. Был конец октября, и у берегов стал появляться «припай» — береговой лед. Вывели нас на пристань с вещами, построили, пересчитали. Потом стали выносить трупы задохнувшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса.

Нас, живых, повели в баню № 2. В холодной бане заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду — только холодная. Примерно через час появилась и горячая. Чтобы согреться, я стал беспрерывно поливать себя горячей водой. Наконец, вернули одежду, пропахшую серой. Оделись. Повели к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря. И воспринял Соловки, Кремль не как новую тюрьму, а как святое место.

Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. Там при свете «летучих мышей» (были такие, не гаснущие на ветру фонари) нас пересчитали, обыскали.

Помню, я никак не мог завязать после обыска свою корзинку, которую купили мне родители: легчайшую и прочнейшую, имевшую форму чемодана, и никак не мог проглотить печенье, что оказалось в корзине. Горло мое так отекло, распухло, что глотнуть я не мог. С большой болью, размешав кусочек печенья в обильной слюне, я проглотил.

Затем произошло неожиданное. Отделенный (мелкий начальник над каким-то участком нар) подошел именно ко мне (верно, потому, что я был в студенческой фуражке и он поверил ей), попросил у меня рубль и за этот рубль, растолкав всех на нарах, дал место мне и моим товарищам. Я буквально свалился на нары и очнулся только утром. То, что я увидел, было совершенно неожиданно. Нары были пустые. Кроме меня оставался у большого окна на широком подоконнике тихий священник и штопал свою ряску. Рубль сыграл свою роль вдвойне: отделенный не поднял меня и не погнал на поверку, а затем на работу. Разговорившись со

священником, я задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою ряску, священник ответил: «Пискановский? Это я!»

Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу наилучшим образом. Но об этом потом. А пока, оглядевшись, я понял, что мы с отцом Николаем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих ручках тоже был указующий перст судьбы. Под нарами жили «вшивки» — подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» — не выходили на поверки, не получали еды, жили под нарами, чтобы их голыми не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая им ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище.

Это были безвестные беспризорники, которых часто наказывали за бродяжничество, за мелкое воровство. Сколько их было в России! Дети, лишившиеся родителей, — убитых, умерших с голоду, изгнанных за границу с Белой армией, эмигрировавших. Помню мальчика, утверждавшего, что он сын философа Церетели. На воле спали они в асфальтовых котлах, путешествовали в поисках тепла и фруктов по России в ящиках под пассажирскими вагонами или в пустых товарных. Нюхали они кокаин, завезенный во время революции из Германии, нюхару, анашу. У многих перегорели носовые перегородки. Мне было так жалко этих «вшивков», что я ходил как пьяный — пьяный от сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то вроде болезни. И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь.

Одной из моих первых забот было сохранить вещи, чтобы не украли. В один из первых дней (может быть, даже в первый) я передал корзину с вещами кому-то из людей, живших в канцелярских ротах. Потом я научился спать так, чтобы не украли мой романовский полушубок. Ложась на нары, я переворачивал его полами к лицу, продевал разутые ноги в рукава, а сапоги клал под голову, как подушку. Даже при моем крепчайшем юношеском сне меня нельзя было обокрасть, не разбудив.

Утром я получал свою пайку хлеба и кипятка в большую эмалированную кружку, которой снабдили меня заботливые родители. По возвращении с работы в ту же кружку мне наливали поварешкой похлебку. Наряды на работу давали утром во тьме, у столов, освещавшихся «летучей мышью», отправляли на работу группами.

У меня вторая группа трудоспособности, которую определила медицинская комиссия еще в Кемперпункте, поэтому отправляли меня на работы сравнительно легкие.

На 1929 г. приходится столько событий, что моя память невольно перенесла на следующий год целые истории. Дело осложнилось еще и тем, что на 1929 г. пришлось целых два приезда моих родителей ко мне — один приезд был весной, а другой осенью. Всего на Соловках у меня было три свидания с родителями, но в последний год пребывания на Соловках — 1931 — ни одного, так как меня должны были летом отправить на Беломоро-Балтийское строительство. Вот и получилось так, что события, связанные со вторым свиданием, перекочевали в моей памяти на 1930 г., а то, что было в 1930 г., на 1931 г. Осень расстрелов разделилась на две осени и на две кампании расстрелов, а отъезд А. И. Мельникова, с которым у меня было связано много важных для меня фактов, оказался на год раньше, чем я, вспоминая свое соловецкое житье-бытье, долго считал. Только получив точную справку о дате смерти А. И. Мельникова в Кеми, смог разобраться в хронологии своих припоминаний.

Итак, продолжаю свой рассказ. Сколько «специальностей» я переменял в 13-й роте! Редко удавалось попасть на одну и ту же работу. Больше всего мне запомнились — пилющиком дров на Электростанции, грузчиком в порту, вридлом («временно исполняющим должность лошади») по Муксаломской дороге в упряжке тяжело нагруженных саней, электромонтером в Мехзаводе (по-старому — в «монастырской кузне»), рабочим в Лисьем питомнике (у О. В. Волкова и Н. Э. Серебрякова) и, наконец, коровником в Сельхозе.

Об этой последней работе стоит рассказать особо. Прикрепили меня к ветеринару Комчебек-Возняцкому. Это был настоящий авантюрист, чудовищный враль. Уверял, что он командовал эскадрилей самолетов, профессорствовал (читал где-то лекции по международным делам). Мне он объявил, что в коровнике «эпизоотия», что ему некогда заниматься коровами, так как он пишет докладную записку в Москву о каком-то заговоре и его должны туда вызвать (его потом и в самом деле вызвали), что коровам надо ставить градусники, записывать температуру и усиленно кормить болтушкой, которую следует варить у озера в бывшей монастырской портомойне. Затем показал мне — где мука, и ушел, бросив на меня несколько десятков коров, истошно мычавших от голода. Я не знал, что делать, пытался его искать (он уверял, что живет в 1-й роте и у него отдельная комната с роялем), ставил коровам градусники, втыкая их под хвост, и приходил в ужас от температуры (около 40°, что для коров, как потом узнал, нормально). В конце концов, решил, что важнее всего коров накормить, и пытался варить болтушку, которая у меня пригорела, коровы ее не ели. Мне в помощь дали какого-то флегматичного эстонца. Он возмутился Комчебеком, и мы с ним как-то накормили вполне здоровых коров хорошей (как уверял меня эстонец), особой, монастырской породы.

Я постарался разыскать владыку Виктора (см. о нем ниже) и рассказал ему о своем положении. Владыка сказал мне, что Комчебек ужасный «авантюрьер» и надо решительно не ходить к нему на работу. Как мне удалось уклониться от работы в Сельхозе, — я уже не помню. Знаю только, что Комчебека по его доносу вызвали самолетом в Москву, и он исчез. Был он явно умалишенным, не только мерзавцем и вором («эпизоотия» ему нужна была, чтобы получать лишнюю муку на коров, якобы больных). Срок карантина в конце концов прошел, и меня перевели из 13-й роты в 14-ю, где уже находились Федя Розенберг, Володя Раков, Толя Тереховко и др. Вызов на работу в Криминологический кабинет, обещанный мне А. Н. Колосовым, не поступал. Я продолжал работать на «общих работах». «Сумасшедший дом» продолжался.

Места в 14-й роте на нарах у меня не было, и я стелил свою постель на полу после того, как все улягутся. У меня болел желудок (я еще не знал, что у меня язва), и архитектор Клейн, которого я по невежеству принимал сперва за строителя Музея изящных искусств в Москве, советовал мне получать сухой паек и варить кашу на стоявшей в камере буржуйке. Сам он варил манную кашку в небольшой кастрюльке и был чрезвычайно худ. Через несколько месяцев он умер (у него был рак).

Однажды я вернулся с работ и почувствовал что-то новое: страшно болела голова, я не мог даже стоять. Володя Раков уступил мне свое место на верхних нарах. В глазах у меня темнело, начался бред. Вызвали лекпома.

Температура оказалась 40°. Необходимо было лечь в лагерьную больницу. Уже поздно вечером мои разыскали делопроизводителя Медчасти Г. М. Осоргина. Он дал направление в больницу, но как меня туда доставить? Меня волочили под руки Федя Розенберг и Володя Раков, был и еще кто-то третий. Хотя я был в полусознательном состоянии, но хорошо запомнил этот переход через двор в подворотню и налево в приемный покой.

Поволокли в ванну. Ванна стояла в большом помещении, была уже наполнена водой. Мне было невероятно противно: кто-то уже мылся в ванне и, видимо, давно — вода была совершенно холодной. Поразительно, что я не простудился. Кто-то мне говорил потом, что холодная ванна при высокой температуре была даже полезной. Потом помню себя лежащим в большой палате на чистой простыне. Несмотря на сильнейший жар, испытываю состояние блаженства: вшей нет. Ложе мягкое. Беспokoюсь о вещах: где полушубок и корзинка? Подходит Андреевский: он здесь врачом, тут и живет. Моя корзинка у него под топчаном. Вскоре установлен диагноз: сыпной тиф. Дня через три я лежу уже в помещении для тифозных на соломе на полу. Помещение устроено в каком-то бывшем складе.

При переносе в тифозный изолятор меня обокрали. Помню фамилию и должность вора: лекпом Астахов. Помню потому, что Андреевский просил меня подписать заявление, что Астахов меня не обкрадывал. Я отказался: заявление казалось мне нелепым. Но краж у Астахова оказалось много, и его осудили. Я даже видел его, как он работал на каких-то тяжелых работах. Это был интеллигентный человек (по крайней мере, интеллигентного вида), и я очень мучился потом, что в его осуждении (сколько-то месяцев карцера) я отчасти виноват, причастен...

Потом в беспросветной темноте соловецких зимних суток появились часа два светлых. Со своей койки я видел луковицу надвратной Благовещенской церкви. На луковице креста не было, но место это помнили соловецкие чайки. Первая, прилетевшая весной на остров, садилась именно тут, и это был знак весны: через две недели прилетали все остальные чайки. До прилета чайки было еще далеко. Я смотрел в окно, и мне было бесконечно тяжело...

В тифозном бараке у меня был и кризис. Г. М. Осоргин прислал мне в бутылке немного красного вина, но я по своим «антиалкогольным убеждениям» пить не стал и отдал вино кому-то другому. Помню отчетливо свой бред. Бред странный: он не переносит меня в какое-то другое помещение. Я продолжаю лежать на соломе, и ко мне подвозят санки, на которых горой лежат лапти. Я должен эти лапти раздавать «вшивкам» — подросткам, которые голыми жили в 13-й роте под нарами. Я пытаюсь встать и начать эту работу и не могу. В конце концов, кто-то вернул меня на мое место, но меня мучает, что я не могу раздать лапти. Подростки в одном белье меня окружают, просят.

Из больницы я попадаю в «команду выздоравливающих», освобожденных от работы. Я лежу в каком-то подвале недалеко от прачечной.

Когда я был потом на Соловках в 1966 г., этот подвал без верхнего этажа почти перестал существовать. Не мог себе представить, что я там когда-то лежал. И тогда надо было в него спускаться. Прямо над головой в полуметре нависал кирпичный свод, в котором к тому же была щель, откуда на меня постоянно дуло.

У выхода из помещения команды выздоравливающих дежурил «каталикос», не то армянский, не то грузинский. Я искал — кто это мог быть, расспрашивал и армян, и грузин, но так мне и не удалось установить, кто он был. Его пост был рядом с парашей, большой, железной, к которой вела короткая деревянная лестница с площадочкой. Он подавал мне руку и помогал забраться. Никогда этого я не забуду. Хотя почему мне забывать в оставшуюся небольшую часть моей жизни, если я не забывал этого до сих пор 65 лет! Помню: вставать я могу только с большим трудом. Мой сосед — крестьянин. Живое воплощение Платона Каратаева. Он говорит мне как-то: «Я научу тебя чему-то, но ты обещаешь мне,

что не разболтаешь. С этим ты всегда будешь сыт». Он говорит мне: «Галоши к валенкам нужны повсюду: надо только уметь их делать». И он учит меня. Рисует выкройку, показывает, как уменьшать или увеличивать размер. Резать резину никто не умеет. Весь секрет в том, что резину надо резать ножницами в воде. Резину легко достать у шоферов: ничего, что красная. Видимо, галоши — это главная его надежда на будущее благополучие после возвращения домой.

Лагерная топография Соловков

Из разговоров на Соловках в 1929 г. я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но и неизвестны.

Что же было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был, — между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка при входе и выходе у 13-й роты — рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход разрешен каждому — только с «нарядами» — листами на работу.

Ночью проходы между зданиями затихали. Высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво опиравшиеся на расширявшиеся книзу стены.

Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было четырнадцать рот. 15-я рота, вне монастыря, — для заключенных, живших в различных «шалманах» — при мехзаводе, алебастровом заводе, при бане № 2 и т.д. Про лагерное кладбище говорили — 16-я рота. Шутили, но трупы в некоторых ротах зимой лежали незасыпанные и раздетые.

Почему заключенные распределялись по ротам? Я думаю, тут известную роль сыграли заключенные из военных, сами устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова лагерников. Тюремщики сами ничего не могли сделать, организовать тем более. Военные были поначалу единственной организующей силой, способной разместить, накормить, навести элементарный порядок среди прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.

1-я рота была ротой «привилегированных» — командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора и глядела окнами на площадь общелагерных проверок. Над 1-й ротой помещалась 3-я, «канцелярская», с окнами в обе стороны. Где была 2-я рота, не помню. 6-я — «сторожевая» — состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки

заклученным и т. д. Она помещалась в основном здании, тоже обращенном на площадь поверок. 7-я рота — «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, административные деятели учреждений, изображавшие собой «перевоспитательную» работу на Соловках. 8-я, 9-я и 10-я роты тоже были «канцелярскими». 11-я рота — это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках» — узких высоких скамьях, а спали прямо на полу. К карцеру пришлось прибегнуть, когда в Соловки стали прибывать уголовные и против них стали приниматься меры самими заключенными «каэрами» («контрреволюционерами», по терминологии начальства). В конце концов прибытие нового большого числа заключенных заставило превратить в роту трапезную. Трапезная единостолпная палата, по своим размерам превосходившая Грановитую палату Московского Кремля, первоначально использовалась по своему прямому назначению — как общая столовая для всех заключенных. Когда помещений в монастыре стало не хватать, превратили в роту помещение, вход в которое был через трапезную. Это была 12-я рота.

Из всех рот 13-я была самой большой и самой страшной. Туда принимали вновь прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать, и направляли на тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были пробыть в 13-й роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной».

Нас выстраивали по утрам на длительную поверку по коридорам, окружавшим Троицкий и Преображенский храмы. Строились по десять человек, пересчитывались, и последний в строю орал, помню: «Сто восемьдесят второй полный строй по десяти».

Порой в 13-й карантинной роте на нарах вплотную друг к другу помещалось три-четыре, а то и пять тысяч человек. Конечно, мы все были во вшах. Только по особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо из карантинной роты.

Помню, как начальник здоровался с нами:

— Здравствуй, карантинная рота!

И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого «приветствия», хором гаркали:

— Здра!

Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них «чубаровцы»: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в 1927 г. в Ленинграде), и получали наряды на работу.

В 14-й роте, помещавшейся за единостолпной трапезной палатой, и в прилегающих помещениях жили те, кто не был еще распределен после трехмесячного

пребывания в 13-й роте по «командировкам» и дожидался отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.

15-я рота, иначе «сводная», была для тех, кто жил по разным углам за пределами Кремля. Эта рота считалась самой блатной, т. е. самой привилегированной. На этом официальное число рот в лагере заканчивалось. Кроме того, были «командировки» — заключенные, работавшие в Савватиеве, Филимонове, на островах — Муксалме, Анзере, Зайчиках, на различных торфо- и лесоразработках. «16-я рота», как я уже сказал, — кладбище.

Кроме рот, в Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и «команда выздоравливающих» в подвале, недалеко от прачечной.

Вот, кажется, и все из «жилого» фонда в центральном «кремлевском» участке. Кроме «жилых» помещений, в пределах Кремля были еще и «работающие»: баня, там, где Сушило; адмчасть, распоряжавшаяся всем порядком и снабжением лагеря (тут работали главным образом лучшие организаторы — бывшие военные); ИСЧ (информационно-следственная часть), сочинявшая для собственного существования различные «заговоры», выслушивающая информаторов (сексотов) из заключенных (для их приема был предназначен ныне не существующий деревянный домик под Сторожевой башней вне Кремля); «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по преимуществу женщины). «Помоф» и часть лазарета помещались в первом отсеке Кремля недалеко от Никольских ворот. Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное — в Кремле существовал музей. В музее было даже уютно, а в театре ставились замечательные постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее, чем сейчас в Большой театр в Москве.

Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не пользуются), существовал «монастырь»: два десятка монахов с игуменом, схимником (не путать с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Онуфриевской церковью, где совершались богослужения. Эти монахи были специалистами по рыбной ловле. Они умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т. д. Ловили они навагу, но главным образом — знаменитую соловецкую сельдь, шедшую на столы Московского Кремля, за что сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь «исчезла» (может быть, в знак невыполнения УСЛОНОм своих обязательств перед монахами?). Что случилось потом с монахами — изгнали или уничтожили, — сказать не могу, не знаю. Жил монах и на Муксалме, умевший обращаться с коровами (коровы были в сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудесные выпасы для скота).

Были еще в Кремле «заведения» помельче. Клетушка под большой колокольной, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок), после чего приезжала телега с ящиком, куда бросали труп (отсюда пошло выражение «сыграть в ящик»), и приходили половойки — мыть пол от крови. Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по технологии еще XVI века — митрополита Филиппа. Был дровяной двор (он сейчас пустой — там висят два сохранившихся колокола — норвежский и «царский»). Была кипятильня около хлебопекарни, где из выходявшего в подворотню крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных монастырских кувшинах для кваса).

В каждое помещение посторонним вход был запрещен. Дежурили люди с палками, которые били ими слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.

Вход и выход из Кремля разрешен был только через Никольские ворота. Там стояли караулы, проверявшие пропуска в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через них же выводили на расстрелы — это был кратчайший путь из 11-й (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы.

За пределами Кремля, в здании бывшей монастырской гостиницы, помещались управление СЛОН, женбарак, мехзавод (бывшая кузня), сельхоз, баня № 2 (где принималась санобработка и где просиживали по несколько часов голые заключенные, пока пропаривалась в вошебойке их одежда), алебастровый завод, канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживаемая двумя-тремя заключенными, дом и столовая для вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился кирпичный завод (кирпичный завод).

Что же помещалось на остальной части Соловецкого архипелага? Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только в моих пеших командировках для собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в Детколонию, вскоре переименованную в Трудколонию и печально известную в связи с посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 г.

Я не могу не сказать особо еще о двух учреждениях, игравших большую роль в умственной жизни на Соловках: Музее и Солтеатре. Все эти учреждения для прикрытия кошмарных условий пребывания на Соловках, но худым словом я их не помяну. Они не только спасли жизнь многим интеллигентным людям, но позволили не прекращать до известной степени жить умственной жизнью.

Я очень опасаясь, что мемуарная литература о 20-х и 30-х гг. создает одностороннее представление о жизни тех лет, а, главное, о жизни в заключении. Вовсе

не все ограничивалось страданиями, унижением, страхом. В ужасных условиях лагерей и тюрем в известной мере сохранялась умственная жизнь. И эта умственная жизнь была даже в некоторых случаях весьма интенсивной, когда вместе оказывались люди, привыкшие и хотевшие думать. Перефразируя известную лагерную поговорку «был бы человек, а статья для него найдется», можно было бы сказать — «был бы думающий человек, а мысли у него будут».

Мой школьный учитель и «однодедец» И. М. Андреевский в журнале «Соловецкие острова» опубликовал статью, посвященную нервным и психическим заболеваниям на Соловках. Он открыл даже особую психическую болезнь, в названии которой сохранил ее соловецкое происхождение (сейчас не помню). Заболевавшие ею люди постоянно стремились улучшить свое положение: занять лучшее место на нарах, захватить «пайку» хлеба чуть больше, чем у других, искать выгодных знакомств и всяческого «блата». Такие люди были напряженно заняты только этим. Они погибали скорее остальных. Но были люди (и их было немало), сохранявшие свое человеческое достоинство, думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе.

Соловки были именно тем местом, где человек сталкивался с чудом и с обыденностью, с монастырским прошлым и с лагерным настоящим, с людьми всех уровней нравственности — от высочайшей до самой позорно низкой. Здесь были представители разных национальностей и разных профессий — бывших и настоящих. Сталкивались две эпохи: одна дореволюционная, а другая сугубо современная — типичнейшая для двадцатых и начала тридцатых годов.

Жизнь на Соловках была настолько фантастической, что терялось ощущение ее реальности. Как пелось в одной из соловецких песен: «все смешалось здесь словно страшный сон».

Характерная черта интеллигентной части Соловков на рубеже 1920-х и 1930-х гг. — это стремление перенарядить «преступный и постыдный» мир лагеря в смеховой мир. Если соседи наши по Савватиеву и Муксалме, где содержались «политические», т. е. люди, официально состоявшие в политических партиях, зарегистрированных в каких-то международных организациях защиты политзаключенных, превращали (не без преувеличений) свое содержание на Соловках в мир страданий и мучений, то настоящие каэры (контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, что происходило на Соловках — тупость начальства и его распоряжений, фантастичность и снопоподобность всей жизни на острове (мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности). Характерны для Соловков странички юмора в журнале

«Соловецкие острова», сочинявшиеся по преимуществу Ю. Казарновским и Д. Шипчинским, а отчасти и «Артурычем» — Александром Артуровичем Петровским. Анекдоты, «хохмы», остроты, шуточные обращения друг к другу, шуточные прозвища и аргументы, как проявление той же шутовщины, сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее. Настоящая жизнь ждет вас по возвращении... Ощущение нереальности бытия поддерживалось своеобразной атмосферой белых ночей летом и черных дней зимой, а в промежутках — длинными утрами (без ощущения дня), переходящими в столь же длинные вечера, пустынностью лесов и губительностью болот, обилием темных камней, покрытых яркими лишайниками и мхами. Разнообразие пейзажей на главном острове было удивительным, и каждый остров в Соловецком архипелаге был не похож на другой.

Природа Соловков

Душевное здоровье на Соловках помогла мне сохранить именно природа, а точнее постоянный пропуск на выход из Кремля, который в начале 1929 г. оформил мне делопроизводитель Адмчасти, бывший флаг-офицер А. Ф. Керенского — Александр Иванович Мельников. После отъезда Мельникова с Соловков в самом конце 1929 г. этот пропуск постоянно мне возобновлялся, так как я должен был ходить в Детколонию (переименованную затем в Трудколонию) по делам Кримкаба.

Я пользовался этим пропуском как только и когда только мог: ходил по Реболдовской дороге до Глубокой Губы, тайно — до Переговорного камня (здесь велись переговоры монастырских представителей с командованием английской эскадры во время Крымской войны); по Савватиевской дороге, по Муксаломской дороге и т. д. Несмотря на строжайшее запрещение появляться в прибрежной полосе, несколько раз я ходил к Митрополичьим садкам, где в солнечные дни лежал час или два на солнце, совершенно забывая об опасности. На Заячьей Губе у Митрополичьих садков я познакомился с замечательной заячьей семьей. Я лежал в кустах и задремал. Когда я открыл глаза, я увидел прямо против себя на расстоянии чуть большем протянутой руки очаровательную зайчиху и несколько маленьких зайчат. Они смотрели на меня не отрываясь, как на чудо. Монахи приучили животных не бояться человека. Зайчиха явно привела своих детишек показать им меня. Я не шевелился, они тоже. Мы смотрели друг на друга, вероятно, с одинаковым чувством сердечной приязни. Такое бездумное созерцание не могло продолжаться вечно: я пошевелился, и они исчезли, но надолго осталось удивительно теплое чувство любви ко всему живому. Кругом

росли низкорослые и искореженные ветрами соловецкие березы, журчали струйки воды, с отливом или приливом проходившие через сложенную из сравнительно небольших камней плотину Митрополичьих садков.

По Реболдовской дороге я ходил безопасно с тоненькой березовой палочкой в руках. Доходил до Глубокой Губы и тут однажды купался. Вода здесь сохраняла холод зимы. Я вошел в нее не страшась, но когда окунулся, дыхание мне перехватило, и я едва выполз. Тут же я обнаружил полусгнивший крест с обозначением, что на этом месте высадились рать Мещеринова во время Соловецкого восстания в конце XVII века. Поперечная доска отвалилась, и в ней торчал кованый гвоздь. Я его взял, и он был у меня до блокады, когда в суете вынужденного отъезда (меня высылали из Ленинграда с семьей ОГПУ) я его забыл взять с собой.

Реболдовская дорога была изумительно красива, и однажды я ее прошел всю до самой Реболды, откуда переправа была на Анзер. Вблизи Реболды начинался «бегущий лес», впоследствии вырубленный. Это были многолетние сосны с толстыми стволами, которые постоянный ветер пригнул к земле, и они поэтому казались «бегущими» и живыми. На что они могли понадобиться? Древесина их была плотной и плохо поддавалась пиле.

Зато какие бревна были в срубе сторожевой избы, где в тепле можно было дожидаться переправы на весельных лодках! Гигантские по длине и толщине прокопченные бревна, создававшие впечатление глубокой старины. Мне казалось, что я нахожусь прямо-таки в XVII веке. Да оно, пожалуй, так и было...

Природа Соловецких островов словно создана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, сколько громадным высоким небом, зимой — погружена в низкую крошечную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую сполохами Северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. На Соловках все говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего...

Острова — разные по ландшафту. Два Заяцких, Большой и Малый, на которых не растет ни единого дерева, красота которых — в изумительных цветовых сочетаниях лишайников, камней и валунов, кустов и полярных березок и возможности отовсюду видеть море. Здесь нельзя заблудиться. Все кажется диким и пустынным, и только низкие лабиринты напоминают об обычаях, которые создал себе человек. Два острова — Большая и Малая Муксалма — покрыты лесами и болотами, холмами, обрывающимися у моря, и тучными пастбищами, на которых веками паслись коровы. Искусственная дамба соединяет Большую Муксалму и Большой Соловецкий остров. Великолепен Анзер. Природа его пышная и словно даже веселая. Песчаные пляжи и

прекрасные лиственные леса напоминают о юге. Но высокую гору острова венчает Голгофский скит, самым своим названием пророчески предсказавший невыносимые страдания умиравших здесь стариков, калек и безнадежно больных, свезенных сюда со всего лагеря, замерзших здесь, заморенных голодом, заживо погребенных. Центральный остров — Большой Соловецкий — собрал в своем ландшафте все, что имеют другие острова. К тому же триста озер, больших и малых, часто несущих на себе еще новые острова, на которых могли содержаться и особо секретные заключенные, которых лишали возможности видеть других людей, а когда-то — затворялись отшельники.

Здесь — большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов! Здесь, в этом мире святости и греха, небесного и земного, природа и человек соединились в необыкновенной близости.

Огромные валуны служили основным строительным материалом: из них воздвигнуты башни и стены, вместе с плинфой и кирпичом они легли в основание храмов. Крыши крыты тесом, купола — лемехом. Но иконы и книги, алтарная резьба и кованое железо свидетельствуют об огромных усилиях человека преодолеть природу, поставить дух выше материи, создать из природы гигантский храм. Скиты словно «сужают» расстояние по всему острову. Землянки отшельников и медные кресты, вросшие прямо в стволы деревьев. Об эти кресты и медные иконы ломались зубья двуручных пил заключенных на лесозаготовках.

Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собою каналами, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили, — 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI в.), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники. Святое озеро — это, по существу, гигантский пруд, искусственно созданный, чтобы заставить жить и работать все жизнеобеспечивающие механизмы монастыря.

Восемь метров перепада уровней моря и озера, образовавшегося от перемычки, заставляли строить стены храмов с широким фундаментом, создавать стены

и храмы как бы тяжело, незыблемо стоящие на земле, чтобы уберечь обитателей монастыря от врагов и непогоды, создать внутри монастыря условия для процветания маленького живописного садика, где всюду были места, удобные для душевного отклика и молитвенных размышлений престарелых монахов.

Соловецкие острова — место, где ощущение творящего Бога и временности человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длинными восходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, многообразием ландшафтов, ощущением длительности истории этих мест, отмеченных языческими лабиринтами и обетными крестами, храмами и часовнями, где напряженный крестьянский и ремесленный труд был бы так свят и так угоден Богу.

И вместе с тем уже в монастырское время в мирную молитвенную и трудовую жизнь монахов врываются и чисто мирские заботы: столкновение с еретиками, пребывание в нем сосланных, большое старообрядческое восстание, приведшее к длительной осаде в 1668—1678 гг. и сотням погибших, чьи тела валялись непогребенными перед монастырем на льду...

Заканчивались мои прогулки к морю на противоположной стороне от монастыря — недалеко от Переговорного камня. Я знал, что выбирать место для отдыха надо на каком-либо мысу, куда обычно не заезжал «главный хирург» Соловков латыш Дегтярев. Но я не знал, что у него появилась маленькая собачка с необыкновенным чутьем, выдрессированная на человека. Людей она чувствовала на большом расстоянии.

Я выбрал место для отдыха на берегу бухты с противоположной стороны от той, с которой делал свой объезд на белой лошади «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев. За камнями меня трудно было увидеть. И вдруг я услышал отвратительный пискливый лай собачонки. Ко мне в объезд бухты скакал Дегтярев — главный расстрельщик Соловков. Я успел натянуть брюки и ринулся в лес, захватив все остальное подмышку. На мое счастье, в лесу была длинная болотистая полоса, видимо, бывшая когда-то руслом реки. Через этот болотный «ров» лежала огромная ель. Я ступил на ствол, и меня прямо перенесло на противоположную сторону. Если бы не страх попасть к Дегтяреву (а от него прямо на Секирку), я никогда не был бы таким «храбрым», чтобы перейти по стволу с одного берега болота на другой. Дегтярев остановился и, нарушив удивительную благостность Соловецкого леса отборной бранью, не стал меня преследовать. Да и не мог он спешиться и бежать за мной. Почему он не стал стрелять — не знаю.

Кримкаб

Отец Николай Пискановский и владыка Виктор Островидов, пока я находился в 13-й роте («общих работ»), делали попытки устроить меня на какую-либо канцелярскую работу или на работу полегче. Однажды, когда мы возили свиной навоз (вот запах-то!), к нам подошел и со мной познакомился очень почтенный и красивый немолодой господин с седой бородой в черном полушубке и с самодельной березовой палочкой в руках. Это был А. Н. Колосов. Минута разговора — и мне обещана «постоянная» работа в Криминологическом кабинете. Не сразу, правда. Из 13-й роты я попал в 14-ю роту — в трапезную палату, где я заболел тифом. И вот после «роты выздоравливающих», размещенной в страшном подземелье с низкими сводами в трещинах, я очутился в привилегированной 3-й роте. Меня встретил командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц и поместил прямо в комнату к А. Н. Колосову на топчан, стоявший под окном (вдоль окна). Я был слаб, имел освобождение и не работал. Сидел один в камере на топчане. Первым вернулся около 8 вечера с работы Александр Николаевич и посмотрел на меня с удивлением и опаской. Я не сразу понял эту опаску. Потом я сообразил: Александр Николаевич боялся, что я могу заразить тифом жителей камеры. Он просил командира Притвица поселить меня на неделю в коридоре. Притвиц отказался. Ограничились тем, что мою корзинку с вещами вынесли в коридор или куда-то. Я прошел уже несколько дезинфекций, но корзина действительно представляла опасность, тем более, что именно от нее, по-видимому, в санчасти, куда меня сперва поместили, когда я заболел, заразился тифом Иван Михайлович Андреевский, работавший врачом и взявший мою корзинку к себе под топчан.

Я был очень смущен опасениями Александра Николаевича и чувствовал себя первые недели в камере чужаком. В камере жили генерал Осовский и два счетовода — барон М. Т. Дистерло и Борис Николаевич Афинский. Не помню когда, но очень рано появился в камере и Федя Розенберг, которого удалось взять из коридора. Александр Николаевич был безусловным главой камеры. Он занимал лучшее место и спал на деревянном монашеском диване. Это было большое преимущество. Единственный стол в камере был приставлен ближе всего к его дивану. Вечерами и по утрам он ставил на этот стол зеркальце и долго расчесывал перед ним бороду, усы, массировал вазелином лицо. У него был ухоженный вид. Носил он высокие сапоги, синие галифе с лампасами и зеленый френч. В прошлом (во время войны 1914 года) он был военным прокурором, судьей и пр. Чувство своего превосходства жило в нем прочно, но вместе с тем воспитание делало его очень приятным в общении человеком. Он был всегда ровным, не

сердился. Только по дрожанию век можно было определить, что он был чем-то раздражен. Он был хороший рассказчик, хороший слушатель. Читал в свое удовольствие книги в «хорошем вкусе» (преимущественно Тургенева, которого доставал в библиотеке, — она помещалась у театра и состояла из конфискованных у заключенных книг или из книг, пожертвованных заключенными библиотеке при освобождении). На работе (в гостинице у пристани на третьем этаже помещался наш Кримкаб² — Криминологический кабинет) он умел создавать впечатление у начальства большой и важной деятельности. В нашей рабочей комнате он сидел долго, тем более что это было и удобно, и читал романы, держа карандаш на весу в руке, облокотясь о стол. Внезапно вошедшее лагерное начальство всегда заставляло его в этой «рабочей позе», и нельзя было усомниться в том, что он что-то пишет, т. е. «работает». По воскресеньям мы часто не имели выходных, но Александр Николаевич «уходил по делам» с каким-нибудь официальным поручением и гулял с самодельной березовой палочкой по Филимоновской дороге в сторону Глубокой Губы. Когда я получил от А. И. Мельникова пропуск по всему острову, мы гуляли с ним вместе, и прогулки эти были для меня очень полезны. Он обладал и жизненным опытом, и начитанностью в русской классической литературе, и способностями рассказчика. Когда Александра Николаевича отправили в Кемь осенью 1929 г. (зимой у него подходил срок), мои прогулки продолжались с не менее интересным человеком — тоже юристом Владимиром Юльяновичем Короленко, племянником писателя.

В чемодане у Александра Николаевича был превосходно сшитый синий шевиотовый костюм и рубашка с отложным воротничком и галстук. Когда надо было идти докладывать начальству или когда в Кримкабе ожидался приход машинистки Ширинской-Шихматовой, Александр Николаевич надевал свой костюм и выглядел великолепно — барином. Он как-то особенно складывал губы при появлении Ширинской-Шихматовой и всячески тонировал. С работавшей у нас в Кримкабе Юлией Николаевной Данзас (она не была ему прямо подчинена, занимаясь вырезанием из газет нужных начальству сообщений — каких? я никогда не интересовался) Александр Николаевич был менее галантен, хотя был не прочь и тут, как мы говорили, «распустить хвост», но не производил на нее впечатления.

² Мне исключительно посчастливилось, что благодаря усилиям отца Николая Пискановского и владыки Виктора Островидова я стал работать в Криминологическом кабинете. Николай Павлович Анциферов пишет в своих воспоминаниях «Из дум о былом» (М., 1992): «Я мечтал работать в Криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей „Мертвого дома“» (с. 346). Н. П. Анциферов не пишет, что не только в понимании преступников было дело. Хотелось ему работать в Криминологическом кабинете потому, что там работали его друзья — А. А. Мейер, К. А. Половцева, А. П. Сухов и др.

Из всего предшествующего можно подумать, что Александр Николаевич был несерьезен. Нет, он сделал великое дело. Он дал идею создания в Соллагере Детской колонии — для несовершеннолетних преступников — и спас, хотя и не перевоспитал, с помощью своих сотрудников сотни бывших беспризорников. Это началось в 1928 г., и наша Детская колония была первой такого рода и такого масштаба в Советском Союзе. Он так сумел убедить начальство в показной (показательной) выгоде этого начинания, что оно приняло огромные по тем временам масштабы. В организации принял участие начальник КВЧ Д. В. Успенский (партийный деятель, по слухам, отправленный на Соловки вольнонаемным сотрудником). Были построены бараки (некоторые стоят на Соловках и до сих пор). Каждому подростку был дан топчан с бельем. Подросткам, жившим по общим ротам часто в одном белье, были выданы бушлаты, обувь, была придумана форма — шапки особого фасона — «линденеровки». Непосредственно хозяйственным организатором Колонии был Линденер, обрусевший немец, бывший сотрудник Академии наук в Ленинграде. На смену ему пришел наркомюст Белоруссии Зданевич, смененный из-за полной тупости героем Гражданской войны командармом Дальневосточной Республики Иннокентием Серафимовичем Кожевниковым.

Кримкаб сохранял над этой колонией научное руководство. Положение очень выгодное для всех нас, — придуманное Александром Николаевичем.

Почему необходимо было собирать детей на месте? Почему нельзя было в то время просто вызвать их из тех рот, «командировок», пунктов, где они находились, пользуясь их личными делами, находившимися в УСЛОНе в Адмчасти? Потому, что с учетом в лагере существовал удивительный беспорядок. Подростки, которых собирали на вокзалах, по улицам, вытаскивали из асфальтовых котлов, из ящичков под пассажирскими вагонами и т. д., каждый раз при опросах называли себя иными фамилиями, проигрывали в карты малые сроки и меняли их на большие, имели одинаковые приметы, если эти приметы заносились в дело. Мне приходилось уговаривать подростков не менять своих фамилий, пока их не заберут в колонию. Но они боялись колоний, подозревали обман, и поэтому только часть их, отобранных для колонии, попадали туда. Но зато, когда колония стала действовать и слух о хороших условиях в ней прошел по островам, подростки стали охотно соглашаться поступить туда, и мне уже пришлось меньше ходить за ними и записывать о них сведения.

Такой же беспорядок существовал и со взрослыми. Скажем, был такой случай. Москву решили очистить от нищих. «Черные вороны» объезжали церкви и с папертей брали нищих, а затем без суда и даже опросов (записывалась лишь фамилия, год рождения и еще м.б. что-то) отправляли на Соловки и прямо с

пристани на Анзер, а там на Голгофу. То же самое происходило и «в обратном направлении»: людей расстреливали — «неисправимых», не понравившихся, опасных, как казалось начальству, — а затем списывали их как умерших от какой-либо болезни. Такие расстрелы с оформлением их через Санчасти были приняты не только в Соловках. Обычно таких расстреливаемых по произволу местного начальства долго не держали в карцере — максимум два-три дня. Так было, по-видимому, с Осоргиным, Покровским, Багратуни, Гацуком и многими другими.

Число расстрелянных обычно было больше числа, в отношении которых был вынесен приговор. Проверить это сейчас трудно, но что это было именно так, нет сомнений.

О работе Кримкаба я расскажу особо. Сейчас же скажу только об одном эпизоде моей работы, непосредственно связанной у меня с Александром Николаевичем. Последний поручил мне составить записку об организации Колонии, изложив мне примерное ее содержание. Я писал ее несколько дней и, мне казалось, написал живо, убедительно и доступно для нашего полутрамотного начальства. Я ожидал похвал от Александра Николаевича, но когда он ее читал, я заметил: уголки глаз у него дрожали. Он признал записку никуда не годной и принялся ее исправлять. В записке появились «понеже», «поелику», «принимая во внимание», «как явствует из вышеизложенного» и пр., т. е. как раз те выражения, которых я старался избегать, но которые, как оказалось, были нужны, чтобы «произвести впечатление». Я был расстроен. Мне было это непонятно. В общем — не сразу я разглядел, сколько добра, и отнюдь не поступаясь своими интересами, принес в Солагерь Александр Николаевич Колосов — человек светский, тонирующий, бонтонный и при этом практически необыкновенно умелый и деловой. Может быть, этот стиль был обычен для старого царского чиновничества?

Не удивительно, что осенью 1929 г., когда мы провожали в камеру 3-й роты Александра Николаевича (его «вывозили на материк»), то вечер этот был очень грустным и очень памятным. Я, как Лариосик, попробовал первый раз в жизни произнести тост (держа в руке кружку с компотом) и не смог — расплакался. Александр Николаевич был этим очень растроган.

Я не рассказал о нем и еще другого, очень важного: о его работе в Соловецком музее, куда он привел и меня.

В Александре Николаевиче было что-то от XIX в. В его суждениях, вкусах, в манере откликаться на внешние впечатления. Как-то мы гуляли с ним ранней весной по Реболдовской (Филимоновской) дороге. Было совершенно безветренно и очень ярко, морозно и сухо. Чистый белый снег отражал слепящую ясностью солнечные лучи. Я сравнил погоду с летней: крайности и такие схожие.

Александр Николаевич мечтательно и, как откровение, произнес: «Да, великий Гелиос...» Он вводил все в привычные схемы и штампы эстетики прошлого века. И в этом отношении он был прямой противоположностью Александру Александровичу Мейеру, абсолютно самостоятельное мышление которого как бы предугадывало будущие философские искания и концепции.

Очень похож был по своему «культурному типу» на А. Н. Колосова профессор Аркадий Владимирович Бородин. Его специальность была «обычное право». Его эстетические представления были также на уровне XIX в. (отнюдь не плохом). Он тоже любил Тургенева, А. К. Толстого, не понимал современную поэзию и живопись. Был немного сентиментален и очень старомоден. В Кримкабе он был недолго, и я даже не очень помню — в какое время. Жизненный опыт его был очень большим. У меня с ним была неприятная история. Как-то в Кримкабе я противопоставил его А. А. Мейеру с невыгодной для Бородина стороны. Я не заметил его присутствия. Он все слышал, но виду не подал и неприязни ко мне в дальнейшем никакой не проявил. Это мне был двойной урок — как себя вести: не говорить о других дурно без нужды и не обращать внимания, когда говорят дурно о тебе самом. Но урок этот я часто забывал: подводил темперамент.

Пожилые люди, которые любят Тургенева, — любят его по-особому. Тургенев — это их отношение к жизни, к «прекрасному» и к русскому слову. А. Н. Колосов, читавший Тургенева и восхищавшийся особенно «Асей», вызывал у нас удивление. Книг было немного, я тоже стал читать «Асю» и понял. То была настоящая жизнь, в которой даже несказанное слово играло роль. Мы же находились в грубом и свирепом мире кошмарного сновидения. Призрачная действительность Соловков была материально грубой. Не верилось в существование торфоразработок, лесозаготовок, болот, нар, сыпного тифа, «комариков», «пеньков», «камешков», «жердочек» — все это было невероятно. Тургенев же с его роковой судьбой одного только несказанного слова в «Асе» казался настоящей жизнью.

Поднятый карандаш Колосова был своего рода оружием, копьем, направленным против каторжного мира Соловков.

Искусство и действительность не были ничем связаны друг с другом. Заключение, покрытые вшами, смотрели «Детей Ванюшина» в Солтеатре и заливались слезами, забывая о том, что они сами перенесли и что творилось за стенами театра. Пели чувствительный романс и переживали его с особенным чувством. Разлука в романсе была в какой-то момент сильнее, чем реальная разлука с семьей.

Вот почему придуманный «для туфты» Соловецкий театр играл такую большую и «утешающую» роль на Соловках. Он существовал по крайней мере шесть лет (с 1926-го по 1931-й).

Человеком XIX века, но совсем другого рода, представлялся мне и профессор климатолог Алексей Григорьевич Сатин. С ним разговоры были чаще всего при встречах на соловецких дорогах. Он ходил в окружности Кремля, записывая какие-то метеорологические данные на приборах. Должны ли были Соловецкие острова передавать метеорологические данные на материк — не знаю. Своими рассуждениями он очень напоминал мне Базарова. Грубый материалист и, как все материалисты, пессимист, иронически ко всему относившийся, презиравший удобства жизни. Ходил он в кавказской бурке и папахе. Когда начался второй тиф осенью 1929 г. и все боялись подхватить вшей, он спокойно говорил: «Своя вша не пустит чужую: лучший способ не заразиться тифом — иметь вшей». И имел.

Был он добр. Когда ко мне должны были приехать родители на свидание, он уступил нам свою клетушку на Сортоиспытательной станции. Жил он вдвоем с морским офицером Ажаевым. Тот протестовал, не хотел переселяться в холодный сарай. Но Сатин просто его прогнал и сам перешел мерзнуть в сарай. А тут еще беда случилась: от времянки загорелись высушенные травы. Я успел погасить, что было духу сбегав за огнетушителем в соседний дом. Если бы не потушил, — была бы мне верная Секирка³. Сатин же составил акт, что сгоревшая часть коллекции сухих трав не представляла собой никакой ценности. И еще одна деталь: он превосходно играл в шахматы и про него шутили: «первый шахматист и последний нигилист».

Так опроверглись мои представления, что человек со взглядами материалиста непременно должен быть пессимистом и эгоистом. Всегда есть исключения.

Диагональ детского одеяла

В 1928 г., как я уже, кажется, писал, люди знали, что такое тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снарядить высылаемых, — что дать им в дорогу. Надо было, чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое необходимое. Знали, например, и такую деталь: лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая их волосом, — как самым легким и не сваливающимся в употреблении. Мне дали такой матрасик — не больше подушки, а укрываться — легчайшее детское пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я накрывался им от угла к углу: уголок на ноги и уголок на плечи. Но клал на себя еще что-либо из одежды: зимой — полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о Петербурге. Особенно я любил вспоминать Петербург в сумерки — вид с Дворцового моста на Дворцовую площадь,

³ Секирка — самый страшный карцер, помещавшийся на Секирной горе. Редко кто выходил из него живым.

когда на каком-то переломе от вечернего полусвета к ночной полутьме внезапно вспыхивала гирлянда желтых фонарей и появлялась грандиозная полуокружность Генерального штаба.

Особенно хорошо помню 3-ю роту. К моему топчану из экономии места плотно придвинут стол, за которым сидят мои сокамерники. Над столом мерцает лампочка. Вот-вот погаснет: срок ее мерцания до 10 часов, затем — предупредительное гашение лампочки на несколько секунд, и надо все успеть сделать, чтобы лечь при свете. Лампочка тускло бьется в тяжелом облаке махорочного дыма. Говорили: махорочный дым не так вреден, как табачный. Приходится этим утешаться, ибо открыть форточку — это впустить холод. Тепло, впрочем, бывает очень редко — либо жара от огромной монашеской печи, которая медленно остывает несколько дней, либо стужа в ожидании очередного разрешения на топку.

Лежать под детским одеялом — это ощущать дом, домашних, заботы родителей и детскую молитву на ночь: «Господи, помилуй маму, папу, дедушку, бабушку, Мишу, няню... И всех помилуй и сохрани». Под подушкой, которую я неизменно крещу на ночь, — маленький серебряный складень. Через месяц его нашел и отобрал у меня командир роты: «Не положено». Слово, до тошноты знакомое в лагерной жизни!

Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 г.

Весной 1929 г. к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее, я не помню — все это легко установить по его собранию сочинений).

От соловецких беглецов (бежали из отделений Соллагеря на материке и пешком в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках.

Миссия Горького заключалась, по-видимому, в том, чтобы переломить общественное мнение Запада. Дело в том, что Конгресс США и парламент Великобритании приняли решение не покупать лес у Советского Союза: там через бежавших (Мальсагов и др.) стали известны все ужасы лагерных лесозаготовок. Экспорт леса в массовых масштабах был организован Френкелем, заявившим: «Мы должны взять от заключенных все в первые три месяца!» Можно представить, что творилось на лесозаготовках!

Горький должен был успокоить общественное мнение. И успокоил. Покупки леса возобновились... Кто потом говорил, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участи заключенных, а кто — вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, побоявшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю — какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали Горького с нетерпением.

Наконец, с радиостанции поползли слухи: Горький едет на Соловки. Тут уж стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.

В один «прекрасный» день подошел к пристани «Бухты Благополучия» пароход «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из окон Кримкаба виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке.

Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно (по ее мнению), как заправская «чекистка». Наряд был обдуман! На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени (в подражание Ленину). За Горьким приехала монастырская коляска с Бог знает откуда добытой лошастью. Это меня поразило. Место, где он ждал коляску, я смог бы и сейчас указать точно...

Мы все очень обрадовались — все заключенные. «Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, его не обманешь. И про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых и про «несудимых сроках»... Про все-все!» Мы стали ждать. Уже за день или два до приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколонию воткнули для декорации срубленные в лесу елки. Из Кремля каждую ночь в соловецкие леса уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Персоналу в лазарете выдали чистые халаты.

Ездил Горький по острову со своей «кожаной спутницей» немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведущей на второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький не поднимался наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонию. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь (80-е гг.) это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед баракком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонию я имел прямое отношение. После того, как Горький зашел, через десять или пятнадцать минут, из барака вышел начальник Трудколонию, бывший командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским. Затем вышла часть колонистов. Горький по его требованию остался один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» — про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня уже были тогда карманные серебряные

часы, подаренные мне отцом перед самой Первой мировой войной и тайно переданные мне на острове при первом свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликovala: «Горький про все узнал. Мальчик ему все рассказал!»

Затем Горький был на Секирке. Там карцер преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере заключенных (тех, кто имел более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из «читавших», перевернул газету (тот демонстративно держал ее «вверх ногами»). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад — очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). Там очень немногие «специалисты» жили сравнительно удобно.

Больше Горький на Соловках, по моей памяти, нигде не был. Горький со снохой взошел на «Глеба Бокого», и там его уже развлекал специально подпоенный монашек из тех, про которых было известно, что выпить они «могут»...

А мальчика не стало сразу. Возможно — даже до того, как Горький отъехал. О мальчике было много разговоров. Ох, как много. «А был ли мальчик?». Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь отдали бы его... Но мальчик был. Я знал всех «колонистов».

Но другие последствия приезда Горького на Соловки были еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть.

Горький должен был догадаться, что будет сделана попытка свалить все «непорядки» в лагере на самих заключенных. Это классический способ уйти от ответственности. Сразу после отъезда Горького начались аресты и стало вестись следствие. Любопытна такая деталь. Когда Горький со снохой и сопровождающими его «гепеушниками» приехали на Попов остров в Кеми, где они должны были сесть на пароход «Глеб Бокий», там на ветру и холоде работала на погрузке-разгрузке партия заключенных в одном белье (никакой казенной одежды, кроме нижнего белья, в лагерях того времени не выдавалось). Скрыть эту раздетую до белья партию было невозможно. Попов остров, где была пристань, и то без крыши от непогоды, был совершенно гол и продуваем. Я это хорошо знаю, так как мы сами грузились на «Глеба Бокого» часа два-три (после груза обычного наступала очередь полузамерзших и живых). Командовал при Горьком группой (партией) заключенных уголовник, хитрый и находчивый, и он «догадался» — как скрыть на голом острове голых заключенных. Он скомандовал: «Стройся! Сомкни ряды! Плотнее, плотнее! (Здесь шли рулады матерной брани.) Еще плотнее, такие-сякие!!! Садись на

корточки! Садись, говорю, друг на друга, такие-сякие!!!» Образовалась плотная масса человеческих тел, дрожавших от холода. Затем он велел матросам принести брезент и паруса (на «Боком» были еще мачты). Всех накрыли. Горький простоял до конца погрузки на палубе, балагуря и фамильярничая с лагерным начальством. Прошло порядочно времени. Только когда «Бокий» отплыл на достаточное расстояние, брезенты сняли. Что под этими брезентами было — вообразите сами. Вскоре после отъезда Горького начались беспорядочные аресты среди заключенных. Оба карцера — на Секирке и в Кремле — были забиты людьми.

Слышал я и следующий рассказ. Еще до приезда Горького в Соловецкий лагерь на отделении в Кеми появлялась комиссия из Европы Томсона, договорившаяся в Москве, что они будут ходить свободно по лагерю, куда им будет угодно, и свободно разговаривать с заключенными. Члены комиссии жили в Кеми в квартире кого-то из начальников лагеря, который якобы уехал в отпуск. Они собрали большой материал на материке, фотографировали, записывали. Однако одному опытному карманнику было дано задание — украсть весь материал. Он мобилизовал сподручных, они устроили давку вокруг комиссии, срезали фотоаппарат и украли документы, записные книжки из карманов (ясно — с помощью подручных). За это лагерное начальство расплатилось с ним несколькими килограммами муки и другой натурой («цена чести в нашей державе»). Комиссия уехала ни с чем. Но была ли она на самом острове — не знаю.

В том же 1929 г. поздним летом над Соловками разразилось и другое несчастье. Впрочем, могло ли произойти что-то «новое» в том фантастическом кошмаре, в который были погружены Соловки?

Однажды утром в Кабинет явился подросток-колонист и вручил А. Н. Колосову большой сверток: свернутую в трубку ватманскую бумагу. Развернув его, Колосов побледнел и долго сидел в задумчивости. Наконец, он попросил сходить вниз Управления, где размещалась с монастырских времен типография, и пригласить к себе заведующего типографией Молчанова. Молчанов пришел. Помню, что первое время оба, Молчанов и Колосов, тихо говорили между собой, читая и разглядывая большой лист ватманской бумаги. Затем к совещанию пригласили всех сотрудников. Лист ватманской бумаги оказался манифестом о вступлении на всероссийский престол Иннокентия I Серафимовича Кожевникова. Обещалась амнистия всем заключенным, предлагалось захватить соловецкие суда, захватить Кемь и двигаться на Петроград.

Что делать? Если это «шутка», то она угрожала жизнью всем, кто прочел этот «манифест», — включая мальчишку. Решили, впрочем, сбегать к Кожевникову и узнать — в чем дело. Пошедший вернулся с опрокинутым лицом. Кожевников

поверку в Трудколонию не принимал. Его нет, нет Шипчинского, окно в их комнате открыто. Тогда с выражением страдания на лице (он действительно страдал морально) Колосов поднялся, и вместе с Молчановым они пошли в ИСЧ (Информационно-следственную часть), одна из комнат которой помещалась на втором этаже здания УСЛОНа. А весь лагерь уже кипел. Слухи не ползли — летели. Говорили — к берегам острова подошла миноноска и взяла Кожевникова на борт. Начались поиски. Никто не сомневался, что это хорошо организованный побег. Кожевников якобы решил перед бегством даже посмеяться над начальством, «издав» манифест. Весь лагерь ликовал. Но вот дошел слух: Кожевников и Шипчинский пытались убить часового у порохового склада, стоявшего в поле справа от Филимоновской дороги. Значит, они не бежали, скрываются на острове.

Каждый день поступали различные сведения: видели! не видели! Следы их пребывания обнаружены там-то. Напряжение в лагере было страшное. Примерно через две недели обоих захватили. Они сопротивлялись у какой-то елки, под которой жили. Был у них топор. Отбивались топором. Приказ был — захватить живыми.

Помню отлично чей-то крик: «Ведут, ведут!» Мы бросились к окнам Кримкаба. Я ясно вижу. Первым волокут в бессознательном состоянии грузного Кожевникова. Волокут под руки. Ступни ног выворочены, тащатся по мосткам, ведущим прямо на второй этаж УСЛОНа. Голова висит. Лысина в крови. За ним ведут с выкрученными назад руками Дмитрия Шипчинского. Он идет гордо, но странно дергаясь. Как шел допрос — не знаю.

Оказалось: Кожевников сошел с ума, Шипчинский же решил его не покидать. Жили они в лесу (уже была осень). Хлеб им давал «ковбой» Владимир Николаевич Дегтярев, живший в Дендрологическом питомнике. Этот мужественный человек был невысок, ловок. У него были ковбойские перчатки и ковбойская шляпа. Когда-то он учился в гимназии Мая в Петербурге (в «моей» гимназии). Решил бежать в Америку еще до Первой мировой войны. После революции вернулся. Поплатился десятью годами. Он был великолепный чудаки. Отказывался ходить в Кремль пешком. Ему дали козла. Всю дорогу до Кремля (когда ему нужно было туда явиться) он вел козла, но перед Никольскими воротами садился на него верхом и, въезжая, выхватывал из-за раструбов своих перчаток пропуск для предъявления часовому. Почему разрешалась ему вся эта игра — не знаю. Вероятно, «начальству» нравились не только пьяницы, но и чудаки. Он был совершенно честен. Когда обнаружилось, что он помогал беглецам, я предположил, что его неминуемо расстреляют. Но нет... Уже после

моего освобождения, идя с работы как-то пешком по Большому проспекту Петроградской стороны, по которому в те времена ходил трамвай, я изумился: на полном ходу из трамвая выскочил Дегтярев, подбежал ко мне (с площадки заметил) и сказал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в Средней Азии. С приветственным возгласом «Привет вам с (какого-то) Алатау!» он бросился за следующим трамваем и исчез. Значит, жив! И я был рад, как только мог.

О Кожевникове рассказывали, будто он остался жив. Его якобы видели в Москве, не то входящим, не то выходящим из Кремля. Сказались, как говорили, прежние революционные заслуги, заслуги в Гражданской войне, связи⁴, однако Шипчинского расстреляли и многих с ним. Испуганное начальство решило прибегнуть к остратке. Начались новые аресты. Пеклось какое-то дело о попытке восстания, но потом и дела не стали стряпать.

Расстрелянных списывали как умерших от тифа. Возможно, что расстрелы по обоим делам и суммировались в общей цифре 300—400 человек. Во всяком случае, раз был А. Н. Колосов — значит, это было ранее его отъезда — поздней осенью 1929 г. Тяжесть человеческих утрат меня давила. Особенно жалко мне было тещедушного Шипчинского — всегда веселого и нестигаемого.

Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части), в которой работал Шипчинский (Трудколония подчинялась КВЧ), перед советским праздником спросил Шипчинского: «Придумай мне лозунг, из которого ясно было бы, что у нас на Соловках делается все для социально близких — рабочих и крестьян». Шипчинский⁵ выпалил: «Соловки — рабочим и крестьянам». Начальник (все тот же Д. В. Успенский) ответил: «Во здорово!» — и приказал писать плакат. Я передаю, конечно, только смысл разговора, о котором рассказывал Шипчинский. Возможно, стрелял в затылок Шипчинского именно Успенский.

А у Шипчинского перед расстрелом возник какой-то роман с молоденькой хромой балериной (ногу ей перебили на следствии). Им удавалось как-то видаться. После трагической гибели Шипчинского мне особенно было жалко их обоих.

Осенью 1931 г. один мальчик, работавший в канцелярии ИСЧ (Информационно-следственной части Управления), спросил меня — хочу ли я

⁴ После моего рассказа по телевидению о деле Кожевникова я получил письмо из Набережных Челнов от Сафин Мансура, где он писал мне: «Вы говорили о командарме (партизанской армии) Иннокентии Кожевникове, воевавшим в гражданскую войну на нашем Прикамье, а в составе его армии было несколько тысяч челнинцев, т.е. моих земляков. В музее истории города и края у нас есть экспозиция, посвященная храброму командиру Иннокентию Кожевникову, но, к сожалению, абсолютно нет материалов, посвященных его дальнейшей жизни (после гражданской войны), и ни слова о пребывании его в Соловках...»

⁵ В отрывке моих «Воспоминаний», напечатанных в другом месте, я называю ошибочно Казарновского как автора этого «лозунга».

посмотреть свое «дело». А меня к этому времени упорно не вывозили на материк в Белбалтлаг. Он провел меня поздно вечером в комнату второго этажа Управления, поразившую меня отсутствием окон и сплошь заставленную стеллажами с делами заключенных. Он показал мне стандартную (типа школьной) тетрадочку, содержащую анкетные данные (статья УК, срок и т. п.), но на которой сверху была крупная надпись: «Имел связь с повстанцами на Соловках». Дела эти, видимо, сохранились в Петрозаводске. Любопытно было бы взглянуть на эту короткую отметку, чуть не лишившую меня жизни и сделавшую меня «невъездным» на Соловках в течение почти всего 1931 г., когда все мои друзья уже перебрались в Медвежью Гору на строительство Беломоро-Балтийского канала.

В конце 1929 г. на острове вспыхнула вторая эпидемия тифа. Тиф этот был странный. Его фактически не лечили. Камеры, где появлялись больные, запирались до тех пор, пока в них все не умирали. Кипяток и обед подавали через приоткрываемую щель. Театр закрыли: там вповалку лежали больные из общих рот. Когда больной уже начинал терять сознание, к нему подходил санитар, теребил и спрашивал: «Фамилия, фамилия!» Фамилию записывал химическим карандашом на левой руке у кисти, предварительно плюнув на нее. Путаница в делах заключенных появилась страшная. Умиравшие в бреду уползали со своих мест. Шпана с большими сроками менялась фамилиями с умиравшими, у которых сроки были маленькие. А предположение о том, что «азиатский тиф» был именно чумой, появилось по простой причине: на теле заболевших «азиатским тифом» выступали черные пятна или черные бляшки (я уже забыл, так как сам их не видел: к заболевшим не пускали).

В 7-й роте, где я жил с лета 1929 г., заперта была первая камера слева (окна ее глядели в сторону моря, и там раньше жил Володя Свешников-Кемецкий). В этой камере оказался недавно привезенный молодой писатель-москвич, с которым я успел подружиться. Он выпустил роман, который я уже давно ищу, — не то «Север и Юг», не то «Юг и Север». Он говорил мне, что для России гораздо важнее проблема Юга и Севера, чем Запада и Востока. Он был совершенно здоров, когда кто-то в его камере заболел. Его заперли со всеми, и я переговаривался с ним через дверь. Когда он почувствовал, что умирает, он попросил передать его жене серебряную ложку. Он подсунул ее под дверь. Ложечка была меньше чайной и согнута. Я ее помню лучше, чем его лицо и лицо его жены, вопреки всем правилам лагеря все же приехавшей на Соловки летом 1930 г. «на могилу мужа». Могила была одной из ям, и нельзя было даже установить, в какой из них лежит ее муж. Фамилию молодого писателя и название его первой книги я полностью забыл.

Поздно осенью 1929 г. ко мне еще раз приехали на свидание (разreshалось два свидания в год) родители. Мы жили в комнате какого-то вольнонаемного охранника (были охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на «Глебе Боком» и договорились с ним о его комнате за какую-то плату. Комната его была в гостинице (бывшая «Петроградская»), что на горюшке сзади УСЛОНа. Там помещалась и фотография для вольнонаемных, где меня трижды в разное время снимали с родителями, по разрешению Мельникова, и лечпункт с главным лекпомом Григорием Григорьевичем Тайбалиным. Тайбалин, кстати, писал стихи (поэму о его пребывании на Соловках) и взял к себе работать не говорившего по-русски старика — «лучшего певца Старой Бухары». Из окон нашей комнаты, обращенной в сторону Сельхоза, мы видели, как изнеженные восточные люди в шелковых халатах и шелковых сапогах на высоких каблуках что-то делали. Вскоре все эти «басмачи», как их именovalo начальство, вымерли, не выдержав ни холода, ни работы... Но память о них осталась: зимой 1929—1930 гг., как я уже писал, на острове начался страшный азиатский тиф. Я жил у родителей, аресты шли. Под конец их пребывания ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную работу, и ушел: первая мысль была — пусть арестовывают не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову, в комнату, где он жил над 6-й ротой у Филипповской церкви. Стучусь, он не открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец, Мельников мне отворяет. Он одет. За столом сидит молодая женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах. Значит, не отворял потому, что свидание!

Увидев меня, Мельников успокоился.

Успокоился и сделал мне строгое внушение. Смысл этого внушения состоял в следующем: «Если за вами пришли, — нечего подводить других. За вами могут следить». Дверь передо мной захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под расстрел. Помимо расстрелов по ложным обвинениям в жестокостях, расстреливали и мнимых «повстанцев», а также просто «строптивых» заключенных. В основном расстрелы шли 28 октября 1929 г. за Кремлем на кладбище. Однако массовые расстрелы были и в другие дни под Секиркой, на Анзере, в Савватиеве. Расстрелянных без постановлений списывали как умерших от болезней.

Сквозь события этой ночи вспомнилась мне и еще одна деталь. Летом 1929 г. до расстрелов приезжала к Мельникову его жена Ольга Дмитриевна — знакомая моей матери. Оба пригласили меня на чай. Я видел: оба расстроены. Наконец, жена спросила меня, и Мельников подтвердил вопрос: изменяет ли он

(Мельников) семье? Вопрос был для меня неожидан. Я совершенно ничего не знал. Решил, что вопрос этот — шутка, и решил ответить шуткой: «Да, надо бы пожаловаться...» и пр. После Мельников сделал мне краткий выговор: «Если не знаете — и говорите, что не знаете». И все-таки глупость моего ответа, мне кажется, успокоила жену Мельникова: если бы что-то было, я бы не стал шутить, а врал бы серьезно. Все это мелькало в моем мозгу: ведь какого страха натерпелись оба, Мельников и его любовница, когда я к ним безумно стучался.

Выйдя на двор, я решил не возвращаться к родителям, пошел на дровяной двор и запихнулся между поленищами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока не повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С этой страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь — была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то, как я потом узнал: было расстреляно какое-то ровное число, не то триста, не то четыреста человек, вместе с последовавшим вскоре. Ясно, что вместо меня был «взят» кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно! Что-то было во мне и оставалось в дальнейшем, что упорно не нравилось «начальству». Сперва я валил все на свою студенческую фуражку, но я продолжал ее упорно носить до Белбалтлага. Не «свой», «классово чуждый» — это ясно.

К родителям я уже в тот день вернулся спокойный. Не знаю: снялся ли я с родителями до той ночи или позже. На одном снимке я сфотографирован с родителями и моим младшим братом, но брата в тот приезд осенью 1929 г. не было. Значит, я там, где нас трое, а не четверо. Четверо — это на первой фотографии — весной 1929 г.

Вскоре поступило распоряжение прекратить свидания заключенных с родными. Мои родители уехали за несколько дней до конца срока свидания. Уехала и жена Г. М. Осоргина. Он вернулся в карцер, а я в 3-ю роту.

28 октября 1929 г. по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с какого-то (не помню) часа вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы поняли. В молчании мы сидели в своей камере в 3-й роте. Раскрыли форточку. Вдруг завyla собака Блек на спортстанции, которая была как раз против окна 3-й роты.

Это выводили первую партию на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провожая каждую партию. Говорят, в конвое были случаи истерик. Расстреливали два франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка и наш начальник Культурно-воспитательной части Дм. Вл. Успенский. Про Успенского говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он якобы убил своего отца (по одним сведениям дьякона, по другим — священника). Срока он не получил никакого. Он отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при расстрелах. Ведь расстрелять надо было 300 или 400 человек.

С одной из партий получилась «заминка» в Святых (Пожарных) воротах. Высокий и сильный одноногий профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили прямо в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как замороженные. Расстреливали против Женбарака. Там слышали, понимали, — начались истерики. Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали пьяные палачи. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой еще шевелилась...

Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, — по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

Утром мы пошли на работу. К этому времени наш Кримкаб был уже переведен в другое помещение — комнату налево от входа рядом с уборной. Кто-то видел там перед умывальником Успенского, смывавшего кровь с голенищ сапог. Говорят, у него была приличная жена...

У Осоргина тоже была жена. Я ее помню, — брюнетка, выше его ростом. Мы встретились у Сторожевой башни, Георгий Михайлович меня представил. Какую надо было иметь выдержку, чтобы не сказать жене о своей обреченности, о готовящемся...

А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми! Его искали. Особенно искали Успенский и начальник войск Соловецкого архипелага латыш Дегтярев по прозвищу «главный хирург» (он обычно расстреливал одиночек под колокольней). Однажды я видел его бегущим в длинной шинели в толпе заключенных с «монтекристом», стреляющим в собак. Раненые собаки с визгом разбежались. Полы длинной «чекистской шинели» хлопали по голенищам... После той ночи с воем Блека Дегтярев возненавидел собак. А за камень, пущенный в чайку, заключенного чуть ли не расстреливали.

Уже после расстрела на поверках заключенным читали приказ о расстреле «за жестокое» обращение с заключенными (какое лицемерие!). Были в приказе разные люди — и те, что действительно были жестоки, и те, на которых были

свалены разные беды, а других расстрелянных даже и не упоминали. Велись расстрелы и на Секирке. Лагерь освобождали от «лишних». Мне кажется, не были прочитаны в приказе имена Георгия Михайловича Осоргина, Фицтума, Сиверса и многих других. К счастью, Н. П. Анциферов, находившийся в карцере на Секирке, в число осужденных не попал и был увезен назад в Кемь.

Третье (и последнее) на Соловках свидание с родителями у меня было ранним летом 1930 г. на вытащенном на берег катере (или большой моторной лодке). Помню, что укрытие это было очень ненадежным и в единственную каюту с кроватью-нарами проникал холод, а сверху через щели в палубе мочил дождь. Около катера стоял на посту епископ, кажется смоленский, с очень густыми светлыми волосами. Особенно поражала его борода — как войлок и такого же цвета, разве что чуточку светлее. У него были очки в золоченой оправе и очень трудно было определить его возраст. Во всяком случае, для епископа он был необычно молод. Епископ этот обратился к моему отцу (помимо меня) с просьбой передать послание его пастве. Отец согласился, но я по какому-то инстинкту запретил отцу это делать. И впрямь, через год я встретил развеселого молодого человека, с бритым лицом в обычной одежде заключенного. «Вы меня не узнаете?» — и хохочет. Видно — духовенство его разоблачило.

Возвращаясь к хронологии. В 1931 г. на остров родители ко мне не приезжали. Меня должны были отправить в Кемь и на Медвежью Гору, но я был «невыездной» (об этом выше). Свидание состоялось на Медвежьей Горе осенью.

Соловецкий музей

Самым примечательным для меня местом на Соловках был Музей. Многие в его существовании если не загадочно, то во всяком случае удивительно. Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х гг. стоял эстонец Эйхманс (его фамилию в воспоминаниях бывших соловчан часто пишут «Эйхман» — это неправильно). Человек относительно интеллигентный. Получилось так, что из заведующего Музеем он стал начальником лагеря, и при этом чрезвычайно жестоким. Но к Музею он питал уважение, и Музей даже после его отъезда вплоть до трагического лета 1932 г. сохранял особое положение. Сохранялся, в частности, Преображенский собор (пожар 1922 г. коснулся только его куполов). В нем блистал золотом великолепный иконостас, созданный на деньги, пожертвованные Петром Великим. Количество икон было около 200—250. В алтаре висело чудо резного искусства — сень. Сохранилась и надвратная Благовещенская церковь с основной музейной экспозицией. В журнале «Соловецкие острова» (1926, № 2—3) напечатана статья

В. Никольского «Иконографическое собрание Соловецкого монастыря». Из нее ясно: в алтаре Благовещенского собора (начат в 1596 г., окончен в 1601 г.) было более 500 икон. Среди них чудотворные — Сосновская и Славянская. Перед последней молился митрополит Филипп, когда был игуменом монастыря. На иконе была надпись: «Моление игумена Филиппа» (7 1/2 на 91/2 вершков с басменным окладом). Приписывалась монахами эта икона самому Рублеву. На левой руке Богоматери Младенец. Одной рукой Он касается щеки, другой старается обнять (тип Владимирской?). Где эта икона сейчас — не знаю. Врата в Благовещенской церкви были выполнены в 1633 г. по вкладу келаря Троице-Сергиевой лавры Александра Булатникова, и резал их «мастер лавры Лев Иванов». Это чудо искусства было уничтожено летом 1932 г. по требованию комиссии, приехавшей на Соловки из Москвы и расправлявшей со всеми остатками «монашеского дурмана».

Печатались труды музея — сперва типографским способом в бывшей монастырской типографии, помещавшейся в первом этаже УСЛОНа на пристани, а потом — каким-то множительным аппаратом. Эти последние издания я пытался искать по ленинградским библиотекам в последние годы, но не нашел.

Примерно с 1927 г. заведующим Музеем стал заключенный Николай Николаевич Виноградов. Он имел уголовную статью (67 УК), говорят — за присвоение из костромских музеев каких-то ценных экспонатов. Одним словом, он не был «политическим», и поэтому к нему было особое снисходительное отношение начальства. В те годы еще не «прикрывали» политических заключенных уголовными статьями, скорее наоборот — за уголовным делом стремились видеть политическую диверсию. Сперва Н. Н. Виноградов был заместителем заведующего, а потом — сразу по своем освобождении — вольнонаемным заведующим музеем. Это было в 1929 г. весной, и тогда он съездил в Ленинград позаниматься в Архиве Синода делами дяди Пушкина Павла Исаковича Ганнибала — бывшего заключенного Соловков после Декабристского восстания. Этими материалами уже занимался в свое время Б. Л. Модзалевский. Н. Н. Виноградову удалось установить кое-что дополнительно, и он, с большим подъемом, сделал в Музее доклад о Павле Исаковиче. На докладе этом присутствовал и я, получив плитку шоколада «Тип-Топ», которую он привез для меня из Ленинграда от родителей.

Но дело не в плитке шоколада. Дело в том, что Н. Н. Виноградов, каким бы темным ни было его прошлое (а оно было отнюдь не благополучным в моральном отношении), делал очень много для оказавшейся на Соловках интеллигенции, в том числе и для молодых художников и поэтов, которых было в лагере немало.

У Н. Н. Виноградова был простецкий вид и умение быть «своим» среди лагерного начальства. В каком-то отношении он умел быть циником, говорить то, что нравилось начальству, бранился матом, а это, как известно, до сих пор очень ценится в этой среде. Я очень хорошо помню его на постановке замятинской «Блохи» по лесковскому рассказу «Левша». Постановка была замечательной, и она шла под навязчивый частушечный напев «Николай, давай покурим». Музыку сочинил «мейеровец» Вальгардт. Я был недалеко от Николая Николаевича, когда он подошел к одному из начальников лагеря, которого тоже звали Николаем, предложил ему папироску и негромко спел «Николай, давай покурим». Меня поразило, как ловко на моих глазах он благодаря этому приему перешел со своим начальником на «ты».

Ему ничего не стоило изобразить из себя циничного антирелигиозника и вместе с тем сохранить многое из церковных ценностей в Благовещенской церкви, назвав ее «антирелигиозным отделом музея». Он явно был неверующим, хотя в своей Костромской области был некоторое время сельским священником. В музее у него работал лектором А. Б. Иванов, имевший среди заключенных самую дурную репутацию. Иванов был карликового роста, и его звали «антирелигиозной бациллой» или еще — «кусочком сволочи»⁶.

Когда Николая Николаевича заставляли отдавать для шкатулочной мастерской на Анзере иконы, он стремился отделяться только самыми малоценными, для чего он создал даже особый их запас.

Однажды Виноградов подошел ко мне, когда я вечером сидел в Музее, чтобы не ходить в роту (выхлопотал мне это разрешение Виноградов через моего знакомого делопроизводителя Адмчасти А. И. Мельникова). Я составлял опись наиболее ценных икон в алтаре. Николай Николаевич сунул мне акт о вскрытии мощей Зосимы и Савватия, молча указав пальцем на одну важную деталь: в одной из рак при вскрытии был «обнаружен» окурок папиросы советского времени. Эта деталь ясно свидетельствовала, что до официального вскрытия в раку лазил кто-то, кто при этом курил советскую папироску. Этим Николай Николаевич явно хотел показать цену «вскрытия».

Юлия Николаевна Данзас в своих воспоминаниях, написанных во Франции, чрезвычайно резко отзывалась о Музее, называя его «антирелигиозным», а также о самом Н. Н. Виноградове и о его сотрудниках, заявляя при этом, что она решительно отказалась водить антирелигиозные экскурсии. Вряд ли

⁶ До своего ареста благодаря своему маленькому росту А. Иванов был служкой новгородского митрополита, затем — антирелигиозным деятелем. В каких-то своих статьях он «оклеветал» Новгородскую партийную организацию. Был посажен за кражи в особо больших размерах церковных ценностей. Его «труды» полны выдумками — главным образом в антирелигиозных целях. Верить им никак нельзя.

Н. Н. Виноградов заставлял ее водить такие экскурсии: для этого у него был сподручный негодяй — А. Б. Иванов. Напротив, Н. Н. Виноградов всячески спасал интеллигенцию и никого ни к чему не принуждал. Спас он от «общих» (физических) работ и саму Юлию Николаевну, прежде чем она перешла потом на работу в Криминологический кабинет. Кстати, когда освободили заведующего Криминологическим кабинетом А. Н. Колосова (и само существование кабинета было под сомнением), Н. Н. Виноградов «торговал» меня у начальника КВЧ (Культурно-воспитательной части) за несколько церковных риз, которые готов был дать в обмен за меня для театра. Так я оказался предметом настоящей работоторговли. К счастью для меня, кабинет не закрыли. Но об этом в дальнейшем.

Еще до моего приезда на Соловки Виноградов устроил работать в музее известного художника Осипа Эммануиловича Браза⁷, добыв ему бумагу и акварельные краски и получив на него разрешение свободно писать акварели за пределами Кремля якобы «для увековечения замечательного достижения перевоспитания». О. Э. Браз нарисовал несколько десятков прекрасных пейзажей, выставленных затем на хорошо освещенных хорах Благовещенской церкви. Впоследствии мне говорили, что акварели эти находились в Казанском соборе — «Музее религии и атеизма Академии наук СССР». Куда они делись затем — не знаю.

Когда на Соловки прибыло два студента украинских художественных училищ — один из Киева, а другой из Чернигова — Петраши Вовк, Н. Н. Виноградов и их снабдил акварелью и бумагой. Н. Н. Виноградов разбирался в людях и знал, кому следует помогать.

В Музее у Н. Н. Виноградова работало несколько спасаемых им лиц: князь Вонлярлярский, который был настолько стар, что ничего уже не мог делать, и ему грозило уничтожение где-нибудь на анзерской Голгофе, хлопотливая «Аленушка» — Елена Александровна Аносова; потом искусствовед и реставратор Александр Иванович Анисимов, из молодежи — бывший бойскаут Дмитрий Шипчинский, о котором Юлия Николаевна Данзас пишет в воспоминаниях, что он был похож на «типичного комсомольца», хотя он всегда был непримирим к советской власти, а через год пошел в лес «в бега» на верную гибель вслед за сошедшим с ума своим старшим другом И. С. Кожевниковым, как уже упоминалось, был пойман и расстрелян. В музей Н. Н. Виноградов пытался устроить работать М. Д. Приселкова, поручив мне вызволить его из карантина, и устраивал многих других. Каждый вечер, перед сном, с ротных нар и топчанов, где царствовала полутьма едва мерцавших лампочек, он приглашал интеллигентных

⁷ Кстати, Бразу принадлежит, бесспорно, лучший из портретов Чехова, сделанный с натуры.

людей, чтобы слушать доклады, работать над музейными картотеками, просто беседовать, и они на час или другой чувствовали себя в своей среде.

Это он, Николай Николаевич, заботился о сохранении соловецких лабиринтов, тщетно воевал с начальством за сохранение моленных крестов на берегах Острова, да и делал многое другое.

Здесь, в музее, В. С. Свешников-Кемецкий читал свои стихи и волновавшую нас «Сагу об Эрике — сыне Яльмара» — своем легендарном предке по матери, который придет за ним в час смерти и унесет его «в высокую Валгаллу под бряцанье арф и лязг мечей».

Сам Николай Николаевич старался не присутствовать на многих устраиваемых им вечерних собраниях: то ли для того, чтобы не отвечать за них и за все, на них сказанное, то ли, чтобы не стеснять свободы нашего общения, ибо знал собственную дурную репутацию из-за своих связей с лагерным начальством.

Когда летом 1932 г. музей был разорен комиссией из Москвы и остатки его отправлены в Москву и Ленинград по разным запасникам, Николай Николаевич уехал в Петрозаводск, увезя с собой свою незаконно и законно собранную коллекцию древних соловецких рукописей, разысканных им на острове после всех вывозов рукописей в Казань и Петроград в Археографическую комиссию. Где эта коллекция сейчас? Как-то в середине тридцатых годов, когда я работал «ученым корректором» в издательстве Академии наук и ходил обедать в Дом ученых, я встретил там приехавшего из Петрозаводска Николая Николаевича. Он, как всегда, был внешне бодр и крепок, рекомендовал мне поехать летом отдыхать в Кижы к Рябиным, где отдыхал и сам. Но вот пришло известие, что он арестован и расстрелян, а о коллекции его я и до сих пор не могу найти никаких сведений. А был он человек «понимающий» в искусстве, в древностях, хотя и очень загадочный во многих других отношениях.

Архивные сведения о нем собирает в его родном городе Костроме Л. И. Сизинцева. Не перебегая дорогу ее научным интересам, скажу только, что жизнь Николая Николаевича была бурной, главным образом благодаря переживавшей его душу страсти коллекционера. Он не останавливался ни перед чем. Знаток этнографии, старых вещей, фольклора, древней литературы, он был очень большой. Ему принадлежит книга «Повесть о Париже и Вене», изданная по рекомендации А. А. Шахматова, две книги-брошюры о Соловецких лабиринтах, выпущенные на Соловках, множество статей и публикаций, в частности интересная статья в журнале «Соловецкие острова» о художественной ковке на Соловках. Его серьезно ценил до революции А. А. Шахматов в Петербурге, куда он переехал в десятых годах (потом, впрочем, вернулся в Кострому). Он

служил секретарем в журнале «Живая Старина», сотрудничал в журнале «Русское Слово», был членом Императорского Географического общества.

Есть какие-то глухие намеки на его связи с царской охранкой, но нет никаких определенных сведений, что кто-нибудь пострадал от этих связей. Может быть, и в те времена существовало у него сочетание личной нечистоплотности с желанием помогать, избавлять... Возможно ли такое сочетание? Если оно возможно, — Николай Николаевич был именно таким. Во всяком случае, сделанное им добро не следует сбрасывать со счетов.

Николаю Николаевичу я был представлен, и именно он дал мне поручение — составить опись икон. Вечерами я сидел в алтаре церкви Благовещения на Святых (тогда уже «Пожарных») воротах и рисовал экспозицию «на глаз». Иконы обозначал условно прямоугольниками, ставил на прямоугольниках номера, затем отдельно под номерами обозначал название иконы и примерно (как указывал мне А. И. Колосов и другие) век иконы. Многие иконы, которые теперь изданы или хранятся в Музее в Коломенском, мне знакомы, например, большая византийская икона (мы ее обозначили, как «итало-критскую», — по Н. П. Лихачеву), которую называли «Нерушимая скала» (Божья Матерь сидит на троне). Был там и «Нерукотворный Спас» Симона Ушакова и др. Все это я рисовал и писал на бумаге из школьных тетрадей. Если бы она нашлась! Это важно для истории Соловков.

Издавал Николай Николаевич на гектографе не то материалы, не то «Записки» СОК (Соловецкого общества краеведения). Узнав, что я писал у Д. И. Абрамовича дипломную работу о повестях о патриархе Никоне, он упрасивал меня выписать ее из Ленинграда от родителей и дать для его предполагаемых новых изданий СОК. Но диплом куда-то пропал вместе с другим дипломом — о Шекспире в России в конце XVIII — начале XIX в. (который я писал у С. К. Боянуса, но не успел защитить).

Работа вечерами в Музее, общение с А. Н. Колосовым, Н. Н. Виноградовым, А. И. Анисимовым дали мне чрезвычайно много для понимания древнерусского искусства. Как и работа в качестве чернорабочего у псковского археолога и реставратора Назимова (мы занимались обмерами сушила).

У меня хранится акварель молодого художника Петраша из Чернигова (там, как и в Киеве, была арестована большая группа молодежи за принадлежность к двум организациям — Союз украинской молодежи — СМУ и Союз вызволения Украины — СВУ). На акварели (ее подарил мне уже в Ленинграде Э. К. Розенберг) изображен простенок между зданием музея и крепостной стеной (вид, кажется, из окна комнаты Н. Н. Виноградова).

Поскольку я коснулся вопроса о судьбе крупнейшего нашего специалиста по древнерусскому искусству — А. И. Анисимова, приведу полностью мое письмо о нем в газету «Советская культура», опубликованное под заголовком: «И документы могут ошибаться» (по поводу заметки «По приговору Тройки», подписанной Е. Кончиным в рубрике «Продолжение темы» в номере «Советской культуры» от 14 апреля 1990 г.)

Газета «Советская культура» второй раз возвращается к теме о судьбе замечательного искусствоведа и реставратора икон А. И. Анисимова, последние работы которого собрал и недавно издал Г. И. Вздорнов.

В документе, который сообщен Комитетом государственной безопасности Карельской АССР и который цитируется в статье, сказано, что для отбытия десятилетнего срока заключения по приговору Коллегии ОГПУ («Тройки») А. И. Анисимов «прибыл в Беломорско (так!)-Балтийский исправительно-трудовой лагерь 16 апреля 1931 г.». Это не так. Я сидел с ним несколько месяцев в одной камере в седьмой роте, где сейчас расположены запасники Соловецкого историко-архитектурного и природного Музея. На Соловки он прибыл не ранее мая 1931 г. (в мае только открывалась навигация). Его тотчас же выручил с «общих (физических) работ» и устроил у себя заведующий Музеем Соловецкого общества краеведения Николай Николаевич Виноградов.

В Соловецком музее того времени оставалось много исключительно ценных икон большого размера, которых не смогла вывезти экспедиция будущего академика Б. Д. Грекова в начале 20-х годов, спасшая много рукописей и икон первой категории.

В Соловецком музее на хорошо освещенных хорах надвратной Благовещенской церкви А. И. Анисимов реставрировал большого размера великолепную икону символического содержания. Когда мог, я приходил к нему на хоры и следил за его кропотливой работой. В камере А. И. Анисимов был аккуратен, медлителен, сам себе готовил на ротной плите какие-то каши. И при этом он был исключительно деятелен — тип поведения совершенно для меня до того незнакомый. Два или три раза летом 1931 г. Николай Николаевич получал для него пропуск за пределы Кремля, и он приносил из своих длительных прогулок ягоды и зелень, которую знал он один. Он много рассказывал и при этом как бы «назначал» свои доклады. Один доклад был о реставрации им иконы Владимирской Божьей Матери, при этом он читал поэму Максимилиана Волошина о Владимирской Божьей Матери. Подробно он рассказывал и о своем «деле», по которому был арестован. Он не скрывал своего возмущения продажами и вывозами из страны произведений искусства. И вот что он утверждал: если страна не ценит своих сокровищ, пусть они уходят из этой страны, но они

должны быть проданы в крупные музеи или известным коллекционерам и ни в коем случае не «депаспортизироваться». Происхождение икон не должно быть скрыто. Нельзя распродавать в разные руки цельные собрания икон: деисусные чины и т.д. Цены на иконы были столь дешевы, что богатые люди покупали иконы для модных одно время шахматных досок, в которых черными клетками являлись остатки древней живописи. Поэтому А. И. Анисимов, имея дело с иностранными покупателями, заботился о дальнейшей судьбе продаваемых икон, рекомендовал иконы в «хорошие руки». Эти общения его с иностранцами и послужили поводом для обвинения в «шпионаже» (в пользу Швейцарии, кстати).

В 1931 г. начался массовый вывоз с Соловков «рабочей силы» на подготовляемый к строительству Беломоро-Балтийский канал. Жизнь на Соловках становилась невыносимой. Меня долго не выпускали. Вывезли меня с последним рейсом парохода «Глеб Бокий» в конце октября — начале ноября. А. И. Анисимов остался на Соловках. Я не терял с ним связи. Весной 1932 г. на Соловки приехала «комиссия» — какая, не знаю. Эта комиссия, зайдя в музей, пришла в ярость: «пропаганда религии». Икону, которую А. И. Анисимов ценил особенно, считая ее первой в ряду символических икон конца XV в., на его глазах разбили. А. И. Анисимов заболел сердцем. Музей закрыли. Н. Н. Виноградов стал жить в Петрозаводске, увезя с собой свое личное собрание, мелкие предметы и рукописи из Соловецкого музея. Остатки музея в разбитом состоянии были частично переданы Историческому музею в Москве (знаменитая соловецкая сень выставлена сейчас в музее села Коломенского, ценнейший семиконечный крест с острова Кий с тремястами мощами передан Церкви). Оставался еще замечательный иконостас Преображенского собора. Он был уничтожен по приказу начальника школы юнг значительно позднее⁸. Возвращаясь к судьбе А. И. Анисимова, скажу только, что осенью 1932 г. он работал уже на трассе Беломоро-Балтийского канала. Вдова Максимилиана Волошина Мария Степановна говорила мне, что после смерти Волошина А. И. Анисимов и несколько других заключенных нашли в лесу старообрядческую часовню и отслужили там по «Максу» заупокойную службу, о чем так мечтал сам поэт. Умер Волошин, как известно, 11 августа 1932 г. Значит, к этому времени А. И. Анисимов успел освоиться в Белбалтлаге настолько, что снова, как и на Соловках, добился разрешения на выход в лес. Дальнейшая судьба А. И. Анисимова мне неизвестна. Неизвестна она была и Н. Н. Виноградову. Может быть, документ о его расстреле 2 сентября 1937 г., приводимый в «Советской культуре» Е. Кончиным, и не обманывает нас...

⁸ Мне рассказывали, что по его же распоряжению была уничтожена (сожжена) замечательная библиотека, собранная из книг, присылавшихся заключенным. Впрочем, вина лежала, очевидно, на высшем начальстве.

Добавлю к этой заметке и еще один разговор, ходивший на Соловках об А. И. Анисимове: говорили, что на каком-то собрании в Москве он не почтил память В. И. Ленина и остался сидеть, когда все встали. Очень похоже на него...

Солтеатр

Было на Соловках и другое «чекистское чудо»: Соловецкий театр (Солтеатр), созданный для «туфты» — изображать культурно-воспитательную работу, но ставший немаловажной реальностью соловецкой интеллектуальной жизни. Наряду с «живгазетой», концертными номерами самого низкого пошиба там шла и интересная творческая работа.

В годы моего пребывания на Соловках душой Солтеатра, как и журнала «Соловки», был Борис Глубоковский — актер Камерного театра Таирова, сын известного в свое время богослова и историка церкви Николая Никаноровича Глубоковского, переписка которого с В. В. Розановым не так давно опубликована.

Бориса Николаевича Глубоковского я хорошо знал, но не как близкого знакомого, а как чрезвычайно видную и много сделавшую для лагерной интеллигенции личность. Его, по существу, знали все. Жаль, что не сохранилось его фотографии. Это был высокого роста человек, стройный, красивый, живой, с хорошими манерами. Одет он был по соловецкой моде немногих людей, которым был доступен Помоф (пошивочная мастерская, одевавшая жен немногих вольнонаемных и наиболее бластных из заключенных): черное полупальто с кушаком, черные галифе, высокие сапоги, кепка чуть набекрень.

Он был разносторонне одарен. Ему приписывалось участие в богемном окружении Есенина. Обвинялся за участие в каком-то заговоре «Белого центра». Обвиняться он, конечно, мог, но вряд ли бы он стал рисковать участвовать по свойствам своей несколько эгоистической натуры.

Солтеатр был главным «показушным» предприятием на Соловках. Театром хвастались перед различными комиссиями, перед приезжавшим из Москвы начальством, перед Горьким, побывавшим на Соловках весной 1929 г.

Вот некоторые постановки в Солтеатре: «Дети Ванюшина», «Блоха» Е. Замятина, «Маскарад» М. Лермонтова. Полный репертуар Солтеатра можно восстановить по журналу «Соловецкие острова» и газете «Новые Соловки», а также по маленькой газетке «Соловецкий листок», издававшейся тогда, когда Управление СЛОН в 1930 г. переехало в Кемь, а вместе с Управлением перебрался туда же и Глубоковский.

Он написал много статей и одну книгу — «49», изданную Соловецким обществом краеведения году в 1926-м или 1927-м — об уголовниках, попавших в лагерь по статье 49 уголовного кодекса о «социально опасных».

Чрезвычайной популярностью пользовалась на Соловках его постановка «Соловецкое обозрение». Постановка остро иронизировала над соловецкими порядками, бытом и даже начальством. Однажды, когда одна из «разгрузочных комиссий» в подпитии смотрела в театре «Соловецкое обозрение», в переполненном заключенными зале, Б. Глубоковский (тоже, очевидно, хлебнувший), который вел представление, выкрикнул со сцены: «Пойте так, чтобы этим сволочам (и он указал рукой на комиссию) тошно было». А обозрение состояло не только из комических номеров, но и тоскливо-лирических, заставлявших многих плакать. Стихи писал сам Глубоковский (что мог, я записал), а мотивы он подбирал главным образом из оперетт. Но все ж таки один мотив сочинил, говорят, сам: к его песне «Огоньки», которую в начале 30-х гг. пела вся Россия. Заканчивалась эта песнь следующими словами:

*От морозных метелей и вьюг
Мы, как чайки, умчимся на юг,
И мелькнут вдалеке огоньки —
Соловки, Соловки, Соловки!*

Припев был такой:

*Обещали подарков нам куль
Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль.
Но в Москву увозил Катанян
Лишь унылый напев соловчан:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.
Посидите здесь годочков три иль пять —
Будете с восторгом вспоминать.*

Среди куплетов был и такой, обрисовывавший представления о будущем заключенных:

*И когда-нибудь вьюжной зимой
Мы сберемся веселой толпой,
И начнут вспоминать старики
Соловки, Соловки, Соловки!*

Наивные мечты заключенных двадцатых годов...

В Солтеатре были и другие постановки. Я помню «Маскарад» М. Лермонтова. Арбенина играл Калугин — артист Александринского театра в Петрограде. Дублировал Калугина Иван Яковлевич Комиссаров — король всех урок Соловецкого архипелага. В прошлом бандит, ходивший «на дело»

во главе банды с собственным пулеметом, грабивший подпольные валютные биржи, ученик и сподвижник знаменитого Леньки Пантелеева. А Арбенин у него был настоящим баринот...

Что еще шло в Солтеатре, не помню. Были и киносеансы. Помню фильм по сценарию Виктора Шкловского, где двигались какие-то броневики через Троицкий мост в Петрограде. Ветер нес бумаги, мусор. Были и какие-то концерты, на которых актеры из урок ловко отбивали чечетку, показывали акробатические номера (особенным успехом пользовалась пара — Савченко и Энгельфельд). Оркестром дирижировал Вальгардт — близорукий дирижер из немцев, впоследствии дирижировавший оркестром в Одессе и еще где-то (сидел он по делу кружка А. А. Мейера). Была актриса, истерическим голосом читавшая «Двенадцать» Блока. Была хорошенькая певица Перевезенцева, певшая романсы на слова Есенина (помню — «Никогда я не был на Босфоре...») и нещадно изменявшая мужу, работавшему в Кремле и пытавшемуся из ревности покончить с собой в одной из рот. В фойе театра читались лекции по истории музыки профессором-армянином из Тифлиса В. Анановым, по психологии А. П. Суховым и еще кем-то и о чем-то.

У меня сохранилась афиша Вечера памяти Н. А. Некрасова в Солтеатре в четверг 12 января 1929 г. Я на нем не был: лежал больной тифом. Открывал вечер докладом Б. М. Лобач-Жученко. Это была заметная личность в лагерной жизни, но я его, к сожалению, совсем не помню. Ощущение чего-то большого и значительного, которое у меня возникает при упоминании его фамилии, может быть, вызвано самой его фамилией — длинной и какой-то важной⁹. Затем следовали доклады Б. Глубоковского, П. И. Иогалевича, П. С. Калинина, Я. Я. Некрасова (Некрасова я встречал на Беломоро-балтийском строительстве, но там был другой — один из глав Временного правительства, масон). После антракта следовал концерт, в котором принимали участие чтецы (была и хоровая декламация, — модная в те времена), духовой оркестр, симфонический квинтет, соловецкий хор. Самое интересное, что исполнялись отдельные части оперы «Кобзарь», сочиненной заключенным Кенель. Как и все представления в Солтеатре, начало было поздно — в 9 часов, так как официальный конец работы в лагере был в 8 часов вечера. Программка открывается неплохим портретом Н. А. Некрасова — гравюрой по линолеуму заключенного И. Недрита.

И все это в разгар тифозной эпидемии и истязаний на общих работах! Воистину «Остров чудес».

⁹ О Б. М. Лобач-Жученко (сыне, как считалось, Марко Вовчок) см. воспоминания его сына — Б. Б. Лобач-Жученко: «На перекрестках судьбы» // Радуга. 1990. № 1. С. 109–126.

«Все смешалось здесь без цвета и лица» (из соловецкой песни Глубоковского на мотив из «Жрицы огня»).

Б. Н. Глубоковский по освобождении из Белбалтлага получил удостоверение (как и многие из нас) с красной диагональной полосой. По этому удостоверению его прописали в Москве и приняли назад в Камерный театр. Как я узнал из объявления в газете, умер он в середине 30-х гг. Говорили — от заражения крови. Он стал морфинистом и кололся прямо через брюки...

Зимой 1929—1930 гг., когда свирепствовал «второй тиф», так называемый «азиатский», люди заболевали тысячами, театр был закрыт и зрительный зал обращен в лазарет, где больные лежали вповалку, почти без помощи. Но на сцене за спущенным занавесом читались лекции, хотя из зала доносились стоны и крики.

Много лекций по музыке прочел уже упомянутый мной Ананов — бывший сотрудник Театра имени Руставели в Тифлисе и газеты «Заря Востока». Прочел и я что-то о дошекспировском театре (упросили, хотя я и понимал всю нелепость такой лекции в таких условиях, но для КВЧ (Культурно-воспитательной части) моя лекция была нужна «для галочки»).

Весной, когда тиф прекратился и из оркестровой ямы стали доставать сваленные туда скамьи и стулья, нашли труп умершего. Он был до того худ, что высох и не очень пропах. Больные расплозились в бреду. Под аккомпанемент стонов была еще чья-то лекция о театре масок. А привезенный прямо из поездки за границу корреспондент Гарри Бромберг в широчайших модных тогда брюках — «оксфордах» — и коротеньком пиджаке делился там своими заграничными впечатлениями. Самое место!

Мне кажется, что Солтеатр с его занавесом, отделявшим смерть и страдания тифозных больных от попыток сохранить хоть какую-то иллюзию интеллектуальной жизни теми, кто завтра и сам мог оказаться за занавесом, — почти символ нашей лагерной жизни (да и не только лагерной — всей жизни в сталинское время).

Вокруг и внутри театра шли обычные для театров интриги. Образовывались какие-то группки, сторонники тех или иных актеров и постановщиков. Помню, что в еженедельной газете «Соловецкий листок», ставшей выходить после перевода «Новых Соловков» на материк, я поместил в 1930-м или 1931 г. какую-то похвальную рецензию на одну из постановок Солтеатра. Немедленно на следующей неделе появился ответ мне «Рецензия по блату», хотя, ей-ей, я писал, как стремлюсь всегда, искренне.

Жизнь на Соловках в 1929—1931 гг., возможно, покажется читателю «театром абсурда»: богатство интеллектуального общения в условиях лагеря со всеми его атрибутами — чекистами, камерами, карцерами.

Прежде всего, следует упомянуть мужской карцер на Секирной горе («Секирка»), женский карцер на Большом Заяцком острове («Зайчики»), Голгофу на о. Анзере для безнадежно больных и глубоко старых людей (главным образом священников и нищих, собранных с папертей московских церквей).

Существовали лесоразработки, торфоразработки, обширные лагеря в Савватиеве, Исакове, Филимонове, Муксалме.

Существовали безымянные лагеря в лесу. В одном из них я был и заболел от ужаса увиденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были болота и валуны) и заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей, чуть повыше, служили для сна, вроде нар, центральный проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы лечь в такой траншее спать, надо было переступить через уже лежавших. Крышей служили поваленные елки и еловые ветки. Когда я попал в такую траншею, чтобы спасти из нее детей, в ней «шел дождь»: снег наверху уже таял (был март или апрель 1930 г.), сливался и на земляные лежбища, и в центральную канаву, которая должна была служить проходом.

Я уже не говорю о «комариках» (наказание, применявшееся летом), о том, как не пускали на ночь и в эти траншеи, если не выполнялся «урок», как работали, какой выполняли «ударный» план. После одного такого посещения лесного лагеря у меня открылись сильнейшие язвенные боли, которые вскоре прошли, так как появилось язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах».

В этих-то лесах главным образом и погибали заключенные. В 30-м г. осенью умерли тысячи «басмачей» — изнеженных восточных мужчин в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие в Кремле, не успели перехватить из 13-й и 14-й рот...

Итак, описав кое-как «богатство» соловецкой топографии, перехожу к рассказу о своих «путешествиях» по этому миру, в которых встречи с людьми — главное.

ЛЮДИ СОЛОВКОВ

Александр Александрович Мейер

Весной 1929 г. на Соловках появились Александр Александрович Мейер и Ксения Анатолиевна Половцева. У А. А. Мейера был десятилетний срок — самый высокий по тем временам, но которым «милостиво» заменили ему приговор к расстрелу, учтя его «революционное прошлое» (тогда это еще учитывалось). В каком месяце они оба появились, я уже не помню. Он — в тринадцатой карантинной роте, а она — в Женбараке. Не помню — кто из нас тогда выручал А. А. Мейера из карантина. Занимались «выручкой» в Кримкабе мы двое: я и Володя Раздольский, как самые молодые. У обоих были пропуска в карантин,

чтобы собирать подростков и устраивать их в Трудколонию. Мы ходили к вновь прибывшим с этапами и старались вызволить оттуда не только подростков, но и всех «стоящих людей». Сделать это было не просто, и удача не так часто нас сопровождала. Надо было узнать — кто прибыл и получить для них требования на какую-либо легкую работу в пределах Кремля, где условия были значительно лучше. Тех, кого выручал я, — помню. Среди прочих я получил от Николая Николаевича Виноградова направление на работу в Музей для Михаила Дмитриевича Приселкова. Но, к моему удивлению, М. Д. Приселков отказался работать в Музее: «Я попал за занятия историей и больше ею заниматься не буду». Тогда я получил требование на него от владыки Виктора Островидова, работавшего в Сельхозе бухгалтером. М. Д. Приселков стал счетоводом. А. А. Мейера выручал, очевидно, Володя Раздольский, и требование на него дал Александр Николаевич Колосов — прямо в Криминологический кабинет. Кто-то определил Ксению Анатолиевну Половцеву в какое-то учреждение в том же здании Управления СЛОН на пристани, где размещался и Кримкаб. Это дало возможность К. А. Половцевой ежедневно навещать к А. А. Мейеру и приносить ему обед в каких-то маленьких кастрюлечках, а также принимать участие в удивительных обсуждениях различных философских проблем, — обсуждениях, которые сразу же начались с появлением А. А. Мейера. Это был необыкновенный человек. Он не уставал мыслить в любых условиях, стремился все осмыслить философски и по возможности писать — то в царских ссылках и тюрьмах, то во всех новых «несвободах», куда бросало его время «Великой Октябрьской». Но прежде всего расскажу о том, кто такой был для всех нас А. А. Мейер.

С А. А. Мейером я работал в Криминологическом кабинете на Соловках в помещении УСЛОНа на пристани против Кремля больше года. Это помещение бывшей гостиницы монастыря. Кабинет помещался на третьем этаже в большой комнате. Если войти в здание со стороны острова, то надо подняться на третий этаж и пойти налево. Здесь находилась перед туалетом большая комната в три окна, выходящих на площадь перед УСЛОНам. А. А. Мейер занимал столик около левого окна. Жил он сперва в 3-й, потом в 7-й роте.

О жизни А. А. Мейера до Соловков привожу справку из примечаний к воспоминаниям Н. П. Анциферова, опубликованным за рубежом.

«Мейер Александр Александрович (1874–1939) — философ. Родился в Одессе в семье преподавателя древних языков в гимназиях. В 1895–1896 гг. учился в Новороссийском у-те (Одесса). В 1896-м арестован за участие в рев. движении и сослан в Шенгавит. Там много занимался самообразованием, переводил книги по философии, социологии, логике, психологии. Женится на сосланной одесской учительнице П. В. Тыченко (1872–1942). В 1902-м вместе

с женой вернулся в Одессу, пытался продолжать учебу в у-те, но был выслан из города. Перед 1905-м жил в Баку, где был арестован за организацию рабочих кружков и сослан в Ташкент. Там в 1905-м сотрудничал в газ. «Русский Туркестан», продолжал рев. деятельность. В 1906-м арестован, но вскоре бежал из ташкентской тюрьмы, некоторое время жил в Финляндии, а с начала 1907-го — в СПб. В конце 1900-х читал разнообразные курсы по философии, эстетике, истории религий, психологии и др. в Об-ве народных университетов, Народном университете Н. В. Дмитриевой, на Высших женских курсах им. П. Ф. Лесгафта и в др. местах. В 1909—1928 гг. работал в отделе Rossica Публичной библиотеки. После 1917-го преподавал в Ин-те живого слова и в институте им. П. Ф. Лесгафта. В декабре 1928-го был арестован по «делу кружка «Воскресение» («дело Мейера»)), в 1929-м приговорен к расстрелу, замененному десятью годами Соловков. В СЛОН работал в Криминологическом кабинете. В 1930-м вновь арестован (арестант еще раз был арестован! — Д. Л.), привезен в Ленинград и привлечен к «делу Академии Наук». В 1931—34 гг. работал (также в качестве заключенного. — Д. Л.) техником-гидрологом на Беломоро-Балтийском канале (где встречался с А. Ф. Лосевым). В 1935—37 гг. — на канале Москва — Волга. Умер в ленинградской больнице от рака печени. Похоронен на Волковом кладбище. Философские и политические взгляды М. претерпели большую эволюцию. В молодости революционер-марксист, в 1907 г. он стал одним из теоретиков т. н. «мистического анархизма», опубликовал 2 статьи в сб. «Факелы» (СПб., 1907). В 1909-м появляется первая книга М. «Религия и культура». Одновременно он становится видным участником С.-Петербургского Религиозно-философского о-ва, сближается с Мережковскими, которые считают его «совсем своим». В 1909—17 гг. много ездит по стране с лекциями, публикует не менее 50 рецензий, статей, брошюр. Для его размышлений военного времени характерна работа «Во что верит Германия» (Пгр., 1916), посвященная критике протестантизма. В последнем М. выделяет три, по его мнению, порочные черты: отрицание христианского понимания личности, отрицание Церкви как хранительницы предания, выдвижение принципа национальной и религиозной самосветности взамен идеи Вселенской Церкви. Этим тенденциям М. противопоставляет не православие (как, напр., Вл. Эрн), а некий грядущий синтез коллективизма (социалистической идеи) и христианства. В 1917-м М. — один из составителей проекта РФО об отделении Церкви от государства, принимает участие в работе Поместного Собора (избран от РФО). Он выпускает несколько работ, в которых выступает за поддержку Временному правительству, за созыв Учредительного собрания, против пораженчества большевиков.

Его тревогу за судьбу страны и революции зафиксировал А. А. Блок, записавший кратко доклад М. в РФО 21. 5. 1917 (Блок А. «Записные книжки. 1901—1920». М., 1965. С. 340—341). После Октября позиция М. по отношению к большевикам не была такой непримиримой, как у Мережковских. Он пытается найти положительное зерно в большевистской теории, в течение нескольких послереволюционных лет верит в возможность эволюции власти».

В своих воспоминаниях «Д. С. Мережковский» Зинаида Гиппиус трижды говорит об А. А. Мейере, начиная с 1912 г., как о друге их семьи, одном из организаторов Религиозно-философского общества и человеке вообще «очень интересном». Сам А. А. Мейер говорил о Мережковских очень мало. Находясь на Соловках в 1929 г., он был уверен, что они продолжают жить в Варшаве, и не очень одобрительно к этому относился.

Для меня А. А. Мейер казался стариком, хотя было ему всего 55 лет. Худой, изможденный, очень нервный, подвижный, как бы преодолевающий внутреннюю усталость. Высокие сапоги, которые были ему явно велики (с «запасом» на теплые портянки), темная толстовка, длинное лицо, жидкая борода и длинные волосы (пока его, как и всех нас, не остригли) и очень живые глаза. Таким запомнился он мне на всю жизнь.

В нашем трехконном «Кримкабе» ему дали, как я уже писал, лучшее место за столом у левого окна. У крайнего окна напротив помещался длинный стол Юлии Николаевны Данзас. Жить его поместили на втором этаже в «моей» третьей роте, которой в то время командовал барон Притвиц. Вскоре и в этой третьей роте неугомонный А. А. Мейер, привыкший постоянно выступать с лекциями и докладами перед самой различной аудиторией, прочел лекцию на какую-то сложную философскую тему. Лекция его была в широком ротном коридоре. После лекции комроты барон Притвиц элегантно расшаркался и поблагодарил Александра Александровича за «чудесную лекцию», в которой явно ничего не понял, как, впрочем, и большинство «слушателей».

Слава А. А. Мейера была велика в Петрограде. Мы знали, что вместе с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Н. А. Бердяевым и А. А. Блоком он был активным членом С.-Петербургского Религиозно-философского общества. С первыми двумя он был дружен и во многом единомысленен. Был он участником Всероссийского собора, избравшего патриарха Тихона в 1918 г. Вместе с А. Блоком, Андреем Белым и другими он был членом-учредителем Вольной Философской ассоциации (Вольфилы) в Ленинграде, а затем главой самого престижного в Петрограде-Ленинграде частного кружка интеллигенции, называвшей себя «вторничанами» потому, что заседания кружка происходили по вторникам.

Впоследствии эти заседания были перенесены на воскресные дни, и кружок получил название «Воскресенье» (впрочем, следовательно, известный организатор «академических дел» Стромин заявил на основании этого названия, что цель кружка была в «воскресении старой России»; здесь Стромин¹⁰ перепутал значения слов «воскресение» и «воскрешение»).

Еще до ареста я много слышал о кружке А. А. Мейера от И. М. Андреевского. Собирались мейеровцы на Малом проспекте Петроградской стороны около Спасской в деревянном доме (сейчас его уже нет) и в других местах. Вход к Мейеру был свободный. Постоянными участниками кружка были вначале (до своего отъезда) Мережковские, Ксения Анатольевна Половцева, литературовед Л. В. Пумпянский, художник П. Ф. Смотрицкий, востоковед Н. В. Пигулевская и ее муж, Л. Орбели (будущий академик), пианистка М. В. Юдина, художник Л. А. Бруни, педагог И. М. Андреевский, Г. П. Федотов (пока не уехал из России) и многие другие. Кстати, многие из идей Г. П. Федотова родились именно в кружке Мейера. Наш Хельфернак посещался мейеровцами, и наоборот. Поэтому многие из возникавших в Хельфернаке дискуссий были продолжением споров в «Воскресении». Доступ на заседания «Воскресения» был открытый, входные двери в часы заседаний не запирались, но по молодости лет я стеснялся туда ходить, так как меня смущал церемониал, принятый у Мейера. Заседания начинались общей молитвой, и после докладов (обычно коротких) полагалось высказываться по кругу всем — хотя бы коротко (согласен — не согласен). Заседания «Воскресения» подробно описаны Н. П. Андиферовым: «Три главы из Воспоминаний», а также в биографии Г. П. Федотова, предваряющей I том его сочинений (Париж, YMCA-Press).

Для меня разговоры с А. А. Мейером в Кримкабе и со всей окружавшей его соловецкой интеллигенцией были вторым (но первым по значению) университетом.

Общение с людьми старше меня (а по существу все заключенные из интеллигенции были старше) оказалось для меня чрезвычайно полезным. Я не «проходил» с ними курсы, но знакомился с их жизненным опытом и получал разнообразнейшие сведения из разных областей науки, философии, литературы и поэзии. В Кримкаб приходил Владимир Юльянович Короленько (племянник Владимира Галактионовича Короленко), целовал дамам ручки — В. Грузовой и Ю. Н. Данзас. Приходил Георгий Михайлович Осоргин¹¹ (но редко), приходил Михаил Иванович Хачатуров, в разговор включался Александр Петрович

¹⁰ Стромин был эстонец и поэтому, может быть, не «ощущал» русского языка

¹¹ Кстати, — сын того самого Мишанчика, который часто упоминается в «Записках» в ж. «Наше наследие».

Трубецкого, напеча-

Сухов, Иван Михайлович Андреевский, скульптор Амосов и наша кримкабовская молодежь: В. С. Раздольский, А. А. Пешковский, Ю. Казарновский, А. Панкратов, Л. М. Могилянская. Если бы можно было все записать, — какие великолепные беседы, дискуссии, просто споры, рассказы, рассуждения были бы сохранены для русской культуры. Была ли это своеобразная «Башня» Вячеслава Иванова?

Пожалуй, лучше, так как и длилось все дольше, и велись наши разговоры ежедневно под благословенным покровительством нашего начальника Александра Николаевича Колосова, державшего карандаш у уха и готового в любой момент прикрыть от начальства наше «безделие», а вместе с тем и заставить всех нас делать благое дело спасения детей — «вшивок», шпаны, «занюханых», «социально близких» и бесконечно несчастных «колонистов» (подростков, живших в Детской колонии, потом переименованной в Трудколонию)¹².

Многое вспомнилось мне из разговоров с А. А. Мейером после того, как я получил из Парижа его книгу «Философские сочинения» (Париж, 1982). Последние материалы этой книги связаны с его размышлениями на Соловках. А. А. Мейер был человек русской разговорной культуры. Он принадлежал к тем, чьи взгляды формировались в бесконечных русских разговорах. В Кримкабе у него были сильные собеседники (Данзас, Гордон, Сухов, Андреевский, Смотрицкий и др.), но не было ему равных. Важно, однако, что была молодежь, которую он мог учить, читать своего рода лекции. И все ж таки в устной его речи многое было лучше, интереснее и глубже, чем на письме. Говорил он смелее, чем писал. Для того, чтобы хорошо писать, нужна смелость.

Удивительное было свойство А. А. Мейера: на все решительно в общественной жизни откликаться философскими размышлениями. Он был интересен всем, потому что интересовался всеми. Очень много читал лекций и докладов в самой разнообразной обстановке. Как участник революционного движения при царе, он постоянно жил в ссылках, и вокруг него всегда появлялись какие-нибудь самодеятельные кружки. Он читал лекции и в рабочих университетах, и на Высших Вольных курсах Лесгафта. Постоянно занимался изучением языков. Свободно читал на греческом и латинском; немецкий был для него родным, домашним языком (его дед был выходцем из немецкой части Швейцарии). Читал он сложнейшие философские сочинения фактически на всех европейских языках. Впоследствии в ссылке в 30-х гг. он делал, по словам его дочери, для А. Ф. Лосева переводы с греческого и латинского философских сочинений.

¹² Противостояние уголовных «казрам» (контрреволюционерам) уже «воспитывалось», но не давало еще ощутимых результатов в конце 20-х гг.

Его исключительная образованность позволила ему быть одним из самых современных философов, работы которого о слове, аллегории, мифе кажутся написанными сегодня. Во всяком случае, его «Философские сочинения», вышедшие в Париже в 1982 г., производят впечатление написанных как бы со знанием работ Леви-Стросса, К. Юнга, Б. Малиновского и А. Ф. Лосева, вышедших позднее, — настолько они предвосхитили их идеи.

Его первая книга «Религия и культура», в которой он заявил о себе как о «мистическом анархисте», увидела свет в 1909 г., но затем он все более приближался к православному восприятию мира, и это сблизило его с Г. П. Федотовым, одним из активнейших членов мейеровского кружка.

На Соловках начаты были А. А. Мейером две работы: «Три истока» и «Фауст» (Размышления при чтении «Фауста» Гете), посвященные проблемам культуры — мифу и слову.

Написал он и небольшую заметку «Принудительный труд как метод перевоспитания» (ж. «Соловецкие острова». 1929. № 3–4), вызвавшую раздражение у его содельцев, находившихся в лагере на материке. Было объявлено, что А. А. Мейер «изменил принципу свободы». Успел он, кажется, написать и работу о ритме в труде (отражение его опыта преподавания философии движения на Высших Вольных курсах Лесгафта).

«Фауста» А. А. Мейер перечитывал по имевшемуся на Соловках переводу Холодовского, но многое из его текста помнил наизусть по-немецки: это было его любимое произведение. Все свои идеи он обсуждал с молодым философом примерно моего возраста из Ростова-на-Дону — Владимиром Сергеевичем Раздольским, с которым мы жили в одной камере и увлеченность которого философскими размышлениями меня всегда поражала. Был у нас под рукой и «живой книжный шкаф» — так мы звали Гаврилу Осиповича Гордона, о необыкновенной памяти которого я еще расскажу.

Одной из самых важных тем наших разговоров была тема «мифа» и другая связанная с ней — «слова». Обе эти темы отражены в упомянутой книге А. А. Мейера «Философские сочинения».

Могу сказать, что размышления А. А. Мейера помогли мне в дальнейшем формировании моего мировоззрения.

Что означает первая же фраза Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово»? И почему Фауст, приводя эти первые слова, заменяет «Слово» «Делом» («... im Anfang war die Tat!»). Мои собственные размышления на этот счет явились как бы продолжением тех, которые вызывали во мне чтения книги Н. О. Лосского «Мир как органическое целое». С помощью Лосского, а на Соловках — Мейера,

я пришел для себя к мысли, что «Общее» всегда предшествует «Частному», «Идея» («Слово») предваряет всякое ее воплощение. Отсюда я пришел к вере в первоначальность Разума и Слова. И отсюда же пришел к мысли, с которой через шестьдесят лет в 1989 г. выступил в Гамбургском Национальном обществе относительно необходимости положить в основу экологии как науки идею предшествования целого части. Экология как наука, с моей точки зрения, должна прежде всего изучать всю взаимосвязанность решительно всего в мире. Мир как целое и мир как Слово, как идея. Эта задача грандиозна, но она достойна нашего времени. Только на основе данных цельности мира можно решиться на его «исправление» или на внесение в мир тех или иных коррективов. Мир как Слово! Слово Logos — Логос как нечто, предшествующее всякому Бытию. Ответственность человека за разрушение сложившихся в мире взаимосвязей — материальных и духовных! Отсюда же и взгляд, к которому я пришел уже в дни блокады Ленинграда, о цельности и взаимосвязанности (в высокой мере стилистической) культуры: мысль, положенная мною впоследствии в основу моей концепции Предвозрождения на Руси и книги «Поэзия садов», где стили в садово-парковом искусстве отождествляются мною со стилями культуры (Готика, Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм, Романтизм, Реализм и пр.).

В пределах сходных идей развивались и мои литературоведческие взгляды, понимание действительности и понимание человеческой культуры. Восприятие мира формируется всю жизнь, и характер его отчетливо сказывается как в научной методологии, так и в «научном поведении» (последнее — особое понятие, требующее особого же разъяснения).

Если Слово является началом дела, обобщением, то в ложном слове, словештампе заключена величайшая опасность, которой постоянно пользуется дьявол.

Мефистофель говорит:

«Дай людям лишь слова — не станут верить,

Какая мысль в них может заключаться».

(Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.)

Одной из тем разговоров с А. А. Мейером, которую я могу вспомнить, был миф, создаваемый в наше время. Тему эту А. А. Мейер поднял в своей лекции «О праве на миф»¹³ еще в 1918 году. Естественно, что спустя 11 лет тема разрослась необычайно. Искать мифы и исследовать их на наших «заседаниях» было необычайно интересно. Я, кстати, тогда же, имея в виду и учение А. А. Мейера о слове, написал шуточную «Феноменологию вопроса».

¹³ Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982. С. 96—100.

Применив к слову «вопрос» все основные идиоматические сочетания, в которые входит «вопрос», я получил своеобразную «жизнь» этого «вопроса»: «Вопрос зарождается, выявляется, привлекает внимание, ставится, встает во весь рост, возбуждает другой вопрос, затрагивает и порождает другие вопросы, затем решение его откладывается, затягивается, вопрос вылезает боком, пересматривается, от вопроса уходят, вопрос замалчивают, он отмирает, снимается, вопрос “исперчен”». Я подбирал идиоматические выражения довольно долго и набрал их, помнится, до двух десятков. Здесь я даю лишь обрывки, чтобы продемонстрировать замысел. Последнее выражение «вопрос исперчен» вместо «исчерпан» очень часто употреблялось в двадцатых годах в виде шуточного выражения. Вокруг этой «феноменологии вопроса» было, как кажется, много разговоров в Кримкабе, так как «жизнь вопроса» в какой-то мере отражала бюрократическую действительность того времени: каждое настоящее дело превращалось в «вопрос» и в конце концов разрешалось бессмысленной и пошловатой пустотой: вопрос оказывался «исперчен».

Сейчас я уже всего не помню, но шуточные построения феноменологии различных понятий, абсурдность, к которой они приводили, обыгрывались и были «в ходу» в наших беседах. Когда у нас оставалось время от обязательной работы, то в Криминологическом кабинете делались небольшие сообщения, именовавшиеся докладами.

Уже в двадцатые годы власть «словесных формул», мифология языка стала занимать все большее и большее место в советской действительности. «Власть слов» становилась самым тяжким проявлением «духовной неволи». Поэтому в нашем «кримкабовском» кружке обсуждение вопросов языка и языковой культуры становилось одной из самых важных тем.

Создал я тогда и «тесты» на «чувство русского языка». Для «первой категории» (низшей) я предлагал различать два слова в письменной и устной речи: «кушать» и «есть», «супруга» и «жена». Для второй (высшей) — «разница» и «различие», а также употребление выражения «большое спасибо» (т. е. «большое “Спасибо Бог”»). Было что-то и еще в продуманных мною тестах на интеллигентность речи, но я уже точно не помню. Самое важное исчезло из моей памяти.

Когда было приказано не носить длинных волос, остригли и Александра Александровича Мейера. Он очень стеснялся своего вида (в моих записках, в той их части, что были написаны сразу по освобождении, сказано даже — «страдал»).

Когда Ксении Анатолиевны Половцовой не было поблизости, он не мог справиться со своими кастрюльками, сварить похлебку, хотя имел еды больше нас, так как преподавал жене одного из начальников лагеря Головкина латинский

(очевидно, она собиралась стать медиком), читал ей стихи В. С. Кемецкого и был в наивном восторге от ее «душевных качеств». Отчасти под влиянием этих встреч с Головкиной у Александра Александровича создалось убеждение, что можно «исправить лагерь путем убеждения: все скверное от организации, а не от людей». Эти взгляды Мейера служили предметом споров в Кримкабе, и я очень жалею, что не записал их точно и подробно: многое в них остается актуальным и по сей день.

В процессе обсуждения позиции А. А. Мейера определились три основания того кошмара, который был создан в лагере и который грозил распространиться на всю страну: злобная идеология, злобное ее осуществление и злобные люди, проводившие все это в жизнь. А. А. Мейер настаивал на том, что основная причина в организации, а правда есть и в стремлении к социализму, и в людях, вынужденных осуществлять дурными методами в какой-то мере добрые идеи. Мы настаивали, что люди испорчены дурными представлениями, внушенными им злобной идеологией, а организация лагерей — прямое следствие агрессивной идеологической схемы — марксизма (или того, что считается марксизмом).

Взгляды А. А. Мейера отчасти отразились в его статье «Ритм в труде», напечатанной в журнале «Соловецкие острова» и вызвавшей много споров, о чем я уже упоминал.

Юлия Николаевна Данзас

Прямой противоположностью Александру Александровичу Мейеру была в Кримкабе работавшая напротив него за огромным столом, сплошь заваленном газетами, из которых она делала вырезки для начальства, статс-фрейлина императрицы Александры Федоровны и доктор Сорбонны Юлия Николаевна Данзас, арестованная еще в ноябре 1923 г. и проведшая до Соловков пять лет в тюрьмах Сибири.

Довольно подробно жизнь Ю. Н. Данзас с ее слов описана в книге диакона Василия ЧСВ (фон Бурмана) «Леонид Федоров. Жизнь и деятельность» (Рим, 1966). Она родилась в 1879 г. в Афинах. Была правнучкой французского эмигранта Карла Данзаса. Второй сын Карла Данзаса Константин был секундантом Пушкина. Мать Юлии Николаевны, в девичестве Аргиропуло, была из древнего византийского рода, происходившего по прямой линии от императора Романо Аргира (XI в.), женившегося на последней представительнице Македонской династии — императрице Зое. Блестяще образованная, Юлия Николаевна стала автором нескольких книг, доктором Сорбонны. Прекрасно ездила на лошади. Подолгу жила за границей (чтобы не быть вынужденной исполнять свои обязанности статс-фрейлины, которые ей были неприятны ввиду царившей при дворе атмосферы: спиритах, Митьках Гутниковых, Машках Странницах, а главное — Распутине).

Писать о Ю. Н. Данзас как-то особенно трудно. Она была сложным человеком, и не в том смысле, который вкладывается в это понятие сейчас (т. е. «не очень хороший»), а в смысле буквальном: ее душевная жизнь была под покровом нескольких культурных наслоений. С одной стороны, аристократическое происхождение и положение статс-фрейлины императрицы Александры Федоровны. С другой — доктор Сорбонны, автор исследований по религиозным вопросам. С одной стороны, постоянно взыскующая истины, мятущийся религиозный мыслитель, а с другой — крайне нетерпимая католичка, как бы познавшая всю истину в спорах с православными или с католиками других направлений, готовая даже на Соловках с некоторым высокомерием относиться к страданиям многочисленного православного духовенства, даже писать в лагерной прессе о существовании инквизиции в православной церкви, тем самым фактически помогая антирелигиозной пропаганде. С одной стороны, изысканно воспитанная, а с другой — постоянно вступавшая в конфликты с соседями и одновременно находившая общий язык с Горьким. Еще и еще! С одной стороны, русская, патриотка, во время Первой мировой войны поступившая в уральские казаки и сидевшая в окопах на передовой, а с другой, — как-то внезапно ощутившая себя потомком французского эмигранта и своими антирусскими высказываниями в Риме впоследствии (в конце 30-х — начале 40-х гг. на своей лекции в «Руссикуме») возбудившая негодование самого Вячеслава Иванова. В целом Ю. Н. Данзас была очень рационалистична, а потому плохо разбиралась в людях. Однако своим родовым (точнее — родовитым) чутьем высказывала о поведении людей очень интересные и верные мысли.

Я помню ее немощной пожилой женщиной, ходившей на работу с посохом в черном деревенского покроя полушубке. Но в январе 1933 г. после своего и моего освобождения, как ударников Беломорстроя, живя в Ленинграде в ожидании выезда в Германию к своему брату (как это случилось, я расскажу позже), она легко поднялась на пятый этаж ко мне и моим родителям, модно одетая, в шляпке чуть набекрень, которую, видимо, тщательно выбирала. То старуха, то относительно молодая женщина с ярко-голубыми глазами. Так было и впоследствии за границей: то полумонашенка в монастыре, то мадмуазель, занимавшаяся научной и журналистской работой, написавшая после Соловков три книги: две на французском языке о «советской каторге» — «*Bagne rouge. Souvenirs d'une prisonnière au pays des Soviets*», «*L'itinéraire religieux de la conscience russe*» (обе без обозначения года), одну на русском — «Католическое Богопознание и марксистское безбожие» (Рим, 1941). Кроме того, ею были написаны большие воспоминания о своем «духовном пути к Богу», а среди множества статей — одна о духовной жизни русской молодежи. Работая в Соловецком музее (перед тем,

как стала работать в Криминологическом кабинете), она пользовалась услугами очень честного молодого человека, бывшего бойскаута — Димы Шипчинского, которого в своих воспоминаниях почему-то назвала типичным «комсомольцем», которым он никогда не был и не мог быть по своим нескрываемым политическим убеждениям. Кстати, Дима Шипчинский (Ю. Н. Данзас называет его «Шепчинеvским») устраивал (с большим риском для себя) свидания Данзас с католическими деятелями.

На Соловках за работой над газетами она постоянно тихонько напевала себе под нос католические молитвы, но при этом не выпускала изо рта самокрутку, вставленную в длинный мундштук. Курила ли она арестантскую махорку или иностранный табак из какой-либо посылки — Бог весть. Она все могла, все стойчески переносила. Никто не ведает — сколько она знала, сколько помнила интересных людей, но живого непосредственного обаяния, столь необходимого для общения с молодежью на Соловках, у нее не было. И в этом она тоже была прямой противоположностью А. А. Мейеру. Я пишу это не для того, чтобы унижить одну и восхвалить другого. Это мое противопоставление двух душевных складов не имеет оценочного характера. Железный, но замкнутый характер Ю. Н. Данзас по-своему вызывал восхищение. Ее впоследствии осуждали многие, отрицательный отзыв о ней принадлежит, кстати, и Н. А. Бердяеву, однако преданность католической вере, с помощью которой она пыталась осветить всю русскую историю, начиная с киевского князя Владимира I Святославича, которого она считала верным Риму, по-своему достойна уважения, хотя тенденциозность ее работ очевидна.

Ю. Н. Данзас много писала, писала и по освобождении из «советского плена», но на Соловках не имела большого влияния на молодежь.

Ее жизненный путь к католицизму записан, как я уже сказал, с ее слов, в книге диакона Василия ЧСВ (фон Бурмана) «Леонид Федоров. Жизнь и деятельность», которая в значительной мере освобождает меня от необходимости особо останавливаться на ее интереснейшей биографии. Скажу только, что в подробных сведениях о себе она почему-то опустила, что в Первую мировую войну одно время служила на передовых позициях в полку уральских казаков. Почему казаков и к тому же именно уральских? Юлия Николаевна объясняла это так: в кавалерии она хотела служить, так как отлично ездила верхом, а у уральских казаков — потому, что они были старообрядцами и отличались строгостью нравов. Ей простили то, что она не могла управляться с пикой (пика была для нее слишком тяжелой), но шашкой она, по ее словам, овладела хорошо (даже сдала экзамен). При Временном правительстве ее уговаривали взять на себя командование женским батальоном смерти. Она отказалась, и затем уже это командование было поручено Бочкаревой.

Непонятно мне — почему в ее воспоминаниях о себе нет ничего о дворе и об императорской фамилии. Но в той же книге католика диакона Василия сообщается, что она собиралась писать роман о государыне Александре Федоровне. Жаль, что она берегла интереснейший материал для романа, потому что намерения своего не выполняла, да и беллетрист Юлия Николаевна была слабый. Это видно по ее повести «Соловецкий Абеляр», помещенной в журнале «Соловецкие острова» под ее обычным псевдонимом «Юрий Николаев». К тому же беллетристическая форма всегда находится в разладе с достоверностью. Знала же Юлия Николаевна двор очень хорошо и много рассказывала о жизни государя и государыни (в Петербурге так принято было называть императора и императрицу).

Из рассказов Ю. Н. Данзас о семье государя мне вспоминаются три как наиболее важные. Во-первых, мне никогда не встречалось упоминания о том, что при дворе после «Кровавого воскресенья» 1905 г. был объявлен траур и никакие балы и широкие приемы некоторое время не существовали. Более известно, что государь с семьей 9 января находились не в Зимнем, а в Александровском дворце в Царском Селе и поэтому непосредственной вины за гибель людей нести не могли. Во-вторых, в начале войны 1914 г. был повешен как шпион полковник Мясоедов, начальник пограничной службы близ Восточной Пруссии, к которому после охоты заезжал (или только однажды заехал) обедать германский император Вильгельм Второй. Государь достоверно знал, что Мясоедов не был ни шпионом, ни просто предателем, но под давлением общественного мнения, обвинявшего государыню в симпатиях к немцам, из трусости подтвердил смертный приговор суда. Государь очень мучился этим и все дальнейшие несчастья считал Божьим наказанием за свое малодушие. В-третьих, Юлия Николаевна много рассказывала об ужасных переживаниях государыни, боявшейся покушений при любом выезде государя.

Другой запомнившийся мне рассказ Ю. Н. Данзас касался ссоры семьи Столыпиных с царской семьей. После покушения на Столыпина на Аптекарском острове государь пригласил Столыпиных жить в Зимнем дворце. Столыпины переехали и разместились на втором этаже. Дети Столыпина бегали по всем залам и, играя, забирались на трон. Александра Федоровна имела по этому поводу объяснение с женой Столыпина, не отличавшейся тактичностью. Она стала защищать своих детей и, между прочим, «дала понять», что муж ее значит для России больше, чем государь. После этого случая семью Столыпиных устроили где-то в другом помещении, а государыня не смогла забыть нанесенного мужу оскорбления, что не могло не быть замеченным охранкой. Столыпин «впал в немилость у охранного отделения», что, возможно, и отразилось на охране Столыпина в Киевском театре, где он был убит.

Может быть, в этом последнем рассказе Ю. Н. Данзас и есть неточности, но запомнил я его точно. Проверить его следовало бы...

При всех огромных знаниях Юлии Николаевны и огромном мужестве в ней был элемент какой-то, осмеливаюсь сказать, примитивности. Вот, например, ее суждения о поэзии. Она говорила, что ставит Лермонтова выше Пушкина. На каком-то уровне поэзии, мне кажется, нельзя решать вопрос о том, кто выше, кто ценнее. Можно лишь сказать — кто из поэтов лично ближе, к кому чаще обращаешься. Кто выше, Державин или Баратынский? А уж тем более нельзя было бы в этот ряд ценностных определений вносить поэтов XX в. Скажу, что уже в тот период мы все — «кановцы» — очень любили многие из стихотворений О. Мандельштама; были среди нас поэты, подражавшие «Столбцам» Н. Заболоцкого. Стихи «Столбцов» были озорными, и это нам тоже нравилось. Любили Всеволода Рождественского, гораздо больше, чем его любят сейчас. Не скажу, что знали наизусть стихи Белого или Брюсова. Наизусть знали больше всего Блока и отчасти Волошина, разумеется, и упомянутых Мандельштама и Заболоцкого. Из старых поэтов больше всего знали Пушкина, потом Баратынского, Дениса Давыдова, Лермонтова. Вообще это очень интересно — кого молодежь знает наизусть в ту или иную эпоху, в чьей поэзии ощущается душевная потребность...

Но я отвлекся от рассказа о Ю. Н. Данзас. Ее некоторая примитивность сказывалась и в ее католической позиции.

Никто, кажется, не обращал внимания на то, что большая эрудиция при недостатке обобщающих способностей может играть даже в известной мере отрицательную роль. Эрудиция укрепляет человека в его уверенности в собственной правоте, мешает его пониманию нового, непривычного. Чувство собственного превосходства над другими, которое развивает эрудиция, при недостатке творческих способностей может затруднять общение с людьми. То, что Ю. Н. Данзас приняла католичество, будучи уже вполне зрелым и мыслящим человеком, было для нас понятным: ей хотелось твердой духовной опоры, и вполне естественно, с нашей, юношеской точки зрения, она обратилась к вероисповеданию своих французских предков. О католичестве наша православная молодежь с ней не спорила, да и как могла спорить со своими скромными познаниями в богословии? Однако, когда в журнале «Соловецкие острова» мы прочли ее очерк об инквизиции в православной церкви, мы с ней как-то замерли в разговорах. Две причины: если у православных тоже была инквизиция, то в чем это оправдывало католическую инквизицию, вторая причина — давать еще козырь антирелигиозникам, особенно в условиях лагеря, переполненного православным духовенством, показалось нам недостойным.

В романе Бориса Ширияева «Неугасимая лампада», опубликованном в Париже и перепечатываемом в «Нашем современнике», образ «фрейлины трех императриц» как будто бы опирается на Юлию Николаевну Данзас, так как других фрейлин на Соловках не было, но он значительно изменен. Стоит ли упоминать о том, что Ю. Н. Данзас не была баронессой, а фрейлиной (вернее, статс-фрейлиной) могла быть только у одной императрицы, в ее случае — у Александры Федоровны и т. д. Но роман есть роман, и это надо иметь в виду, читая книгу Б. Ширияева.

Гавриил Осипович Гордон

В 1930 г. в тринадцатой карантинной роте поселили Гаврилу Осиповича Гордона, члена ГУСа в прошлом — человека удивительно образованного, «бывшего толстяка» (особый тип людей, которые на воле были полными, а в лагере вынужденно похудели).

Его появление всюду было всегда очень заметным, хотя подобающего ему видного места в жизни он никогда не занимал и не занял. Наша команда молодежи тотчас же приняла меры, и вскоре он был водворен в 7-ю, «артистическую роту», а не на работу — прямо в Криминологический кабинет. Дальше мы уже приняли меры, чтобы он не очень выделялся: на поверках не стоял в первом ряду, в коридорах УСЛОНа не очень громко разговаривал. Но он и из заднего ряда успевал бросить две-три реплики на нотаии командира А. Кунста, которые тот нам читал на поверках. Реплики эти (в виде находчивых вопросов или поддакиваний, подчеркивавших глупость сказанного) могли вывести из себя любого дурака-командира, а Кунст, хоть и был ловок, но особым умом не отличался.

О Г. О. Гордоне мне не удалось найти каких-либо печатных материалов, кроме его собственных книг и статей. Книги его были учебными пособиями по истории: «Чартистское движение», «Революция 1848 года», «История классовой борьбы на Западе». Ни статьи, ни учебные пособия не дают представления о громадном диапазоне его знаний. Он в совершенстве владел древнегреческим и немецким языками, хорошо знал латынь и французский, свободно говорил по-итальянски, читал по-английски, испански, шведски и на всех славянских языках. Постоянно стремился узнать что-нибудь новое. На Соловках он нашел случай учиться арабскому языку у муфтия Московской кафедральной мечети и давал ему в ответ уроки древнегреческого.

По биографической справке, данной мне не так давно его дочерью Ириной Гавриловной, которую я разыскал в Москве, Г. О. Гордон родился в 1885 г. в городе Спасске. Семья переехала в Москву в 1890 г., где он окончил гимназию, затем университет. В 1906—1907 гг. прослушал курс так называемых «Летних

семинаров по философии» у Когена и Наторпа в Марбурге. В 1909 г. служил в Пятом Киевском гренадерском полку. В 1914 г., перед самой войной, путешествовал по историческим местам Греции и Турции, о чем, кстати, любил вспоминать у нас в камере. А затем пошла обычная жизнь интеллигента той поры: мобилизация в армию, участие в различных общественных и ученых учреждениях периода революции, чтение лекций в Москве и провинции. Ректор Тамбовского университета, основатель Тамбовского научно-философского общества. Затем член Коллегии Наркомпроса РСФСР, заместитель председателя Совета по делам вузов В. П. Волгина, член Педагогической секции Государственного ученого совета и т. д. и т. п.

Для молодежи на Соловках он был своего рода университетом: он не просто давал справку по любому вопросу, а охотно для одного или двух мог прочесть импровизированную лекцию с точными библиографическими справками, привести цитаты, прочесть стихи. И что было особенно нам в ту пору важно — привести на немецком нужные места из «Фауста» Гете, которым под влиянием Мейера мы все тогда очень интересовались. Володя Раздольский, живший с нами в одной камере, удивительно умел извлекать из него необходимые и интересные сведения и вслушиваться в его собственные рассуждения. Впоследствии, уже в Москве и Ленинграде, при встречах со мной Г. О. Гордон отмечал незаурядные способности Раздольского, но при этом жалел, что в нем много дилетантства и «отсутствует школа».

Молодежь Гаврила Осипович привлекал своей «жовиальностью», непосредственностью, полным отсутствием позерства (которое всегда так соблазнительно для профессора), неумением сдерживаться и откровенностью. Вечно он попадал в какие-нибудь истории и наживал врагов, что было крайне небезопасно в то время.

Помню, как он появился в Кримкабе и отрекомендовался: «К Гордону Байрону и Гордону-аптекарю никакого отношения не имею...»

Павел Фомич Смотрицкий

Помню, простить себе не могли, что пропустили в 13-й, карантинной роте Павла Фомича Смотрицкого. Был он замечательный художник из круга «Мира искусства», участник русско-финляндской художественной выставки, друг архитектора Оля, построившего дачу Леонида Андреева на Черной речке. Его малая известность как художника, думаю, объясняется его исключительной скромностью, какой-то психологической неприметностью. Он не обращал на себя внимания ни внешностью, ни манерой себя держать, ни всегда спокойной и тихой речью.

После положенного срока пребывания в 13-й роте его, как больного, отправили на остров Анзер, куда собирали больных и старых и где он устроился работать как художник в шкатулочной мастерской. Была эта мастерская учреждением примечательным. Там работали хорошие столяры, краснодеревщики, делавшие в основном шкатулки из икон. Иконы им выдавались из запасников, которыми ведал Н. Н. Виноградов. В основном это был XVIII и XIX век, но я подозреваю по обилию продукции, что шли и иконы XVII века, которые считались тогда не заслуживающими внимания. Да что «тогда»! Еще в 40-х гг. (по-видимому, в конце войны) один доктор искусствоведения в городе Горьком разрешил освободить под госпиталь церковь, в которой был склад икон XVII—XVIII веков. И все иконы были просто сожжены.

Дерево икон было сухое, добротное (рассказывали, что были даже кипарисовые доски), столяры еще не перевелись, и бедный Павел Фомич, верующий и понимающий в иконах, принужден был эти шкатулки расписывать. Я, впрочем, этой продукции, расходившейся в Москве, никогда не видел.

Выписать Павла Фомича с Анзера было труднее, чем спасти из 13-й роты, но все-таки удалось, и весной 1930 года, привезя с собой чудные акварели, он стал принимать участие в наших беседах в Кримкабе. Помню серию его кустов под снегом. Некоторые вещи из этой серии были переведены в графику для печати и опубликованы в журнале «Соловецкие острова». Внизу, в уголке справа, на них, как я помню, были в кружке его инициалы.

Павел Фомич никогда не говорил длинно, но все его замечания и ответы были очень тонки и «к месту». Помню такой разговор. Я рассказал ему о своем наблюдении: писатели конца XIX и начала XX века стали изобретать себе особые одеяния. Первым стал по-особенному одеваться Лев Толстой (кстати, мы все тогда ходили в толстовках — одежде, не требовавшей не только воротничка, но порой и нижнего белья), потом особые одежды изобретали себе Стасов, Горький, Леонид Андреев, Блок, Волошин, Белый, Скиталец и т. д., и т. д. Не изобретал себе особой одежды только Чехов. Павел Фомич подумал и сказал: «Да, но Чехов одевался как типичный доктор». Павел Фомич был совершенно прав. Я вспомнил свое детство, когда часто хворал, меня навещали детские врачи и меня водили по врачам. У Чехова несомненно было «докторское самосознание» в одежде. Павел Фомич был совершенно прав.

Этим одним своим тонким замечанием Павел Фомич запомнился мне на всю жизнь.

Владимир Сергеевич Раздольский

Первым человеком моего возраста, с которым я познакомился, а потом и подружился в Кримкабе, был Володя Раздольский из Ростова-на-Дону. Я его уже упоминал выше. Он был студентом, интересовался философией и сам отчасти философствовал. Что-то даже писал украдкой. Наружность его была примечательной. Огромные черные глаза. Постоянная усмешка, кривившая рот, как бы сопровождавшая его какие-то невысказанные мысли. Вечно дымящаяся трубка в зубах. Какая-то физическая слабость при быстроте движений. Сапоги с голенищами, в которых ноги свободно болтались, а сапоги стаптывались с каблуков (Володя ходил, как-то странно ударяя пятками). Работать он не мог. Он только читал, думал, рассуждал. Если же Александр Николаевич Колосов давал ему поручения, то он так долго обдумывал, как за них приняться, что приходилось передавать их другому, то есть мне или Александру Артуровичу Пешковскому. Казалось, что Володя ни на что не обращает внимания, кроме своих философских грез. Поэтому все бытовые предметы он называл одним словом — «собачкой». «Собачку» потерял — это значит и трубку свою потерял, и карандаш где-то оставил, и поручение не выполнил и все прочее. «Где это собачка?» — спрашивал он и предоставлял нам самим догадываться о содержании его вопроса. В Кримкабе он либо был занят чтением где-то добываемых им интересовавших его книг, либо «умными» разговорами с Мейером (если последнего не занимала какими-либо разговорами, всегда шепотом, Ксения Андреевна Половцева, приносившая ему обед в баночках). Разговоры, размышления Володи были всегда исключительно интересны. Продолжай он жизнь в нормальных условиях, из него несомненно получился бы интересный мыслитель. Жили мы с ним после отъезда «папашки» Колосова в 7-й роте вместе в одной камере. Он спал под окном на топчане. Добудиться его утром было всегда трудно. Изредка он напивался (когда на Соловках появлялась «контрабандная» водка), и тогда мы его спасали от соглядатаев и дежурных всей камерой. Укладывали на топчан, накрывали пальто и говорили — «болен», чтобы не требовали на проверку. Был он ценителем стихов Свешникова-Кемецкого, жившего в нашей же камере, и постоянным собеседником Гордона. В разговорах тягаться с Володей я не мог, но слушателем я был внимательным. Володя знал в общем-то мало, но умел втягивать в рассуждения и споры интересных «стариков» (Гордона, Мейера, Данзас, Сухова, Бардыгина — впрочем, последний был вовсе не стар — и др.). В существовании Бога не сомневался, но церковным не был.

Приезжала к нему на свидание мать. Отца у него не было. Мать же была необыкновенно красива, несмотря на измученность в лице. Служила, зарабатывала,

Когда вслед за мной его перевезли в Медвежью Гору, он присоединился к молодежи, группировавшейся вокруг А. Ф. Лосева.

Стихи на Соловках писали из молодежи очень многие. Вообще в 20-е годы редкие интеллигентные молодые люди не писали стихов. Такое было время. Одни писали тайно, никому не показывая, другие показывали, но не продвигали их в печать, третьи резво печатались в «Соловецких островах». К последним принадлежали из моих знакомых А. Панкратов, Ю. Казарновский, Д. Шипчинский, А. Пешковский, Л. Могилянская, но безусловно самым талантливым и «настоящим» был Владимир Кемецкий. Впрочем, Кемецкий — это фамилия его матери и поэтический псевдоним. Его отцовская фамилия, под которой он и значился в лагере, была Свешников.

460

старые стихи, написанные им в Берлине и Париже, но те были гораздо хуже — с претензией на «интеллигентность». В нашей камере 7-й роты он написал и свою «Сагу об Эрике, сыне Эльмара». Свой род по линии матери вел от скандинавских предков. Он думал о смерти, стихи сочинял, вечно бормоча себе под нос с напряженным выражением лица, вытягивая губы. Я запомнил его лицо, манеру держаться очень хорошо. Живший в нашей камере Гордон говорил, что Володя — типичный парижский гамен, бездомный обитатель Монмартра.

О его досоловецком прошлом я помню только следующее. Его родители были белоэмигранты. Отец, Свешников, — белый офицер. Семья с Володей жила некоторое время в Берлине (откуда у него берлинские темы в ранних стихах, которые, кстати, не все хотел печатать, но показывал в нашей камере). Потом семья, как и многие эмигранты, переехала в Париж. В Париже Володя с группой эмигрантской молодежи вступил в комсомол (самодеятельный, очевидно), и эта молодежь стала хлопотать о возвращении в Советский Союз. Родители были против. Он без родителей с группой молодежи был допущен в 1926 году вернуться. В Харькове, где он жил перед Соловками, а может быть, и в Москве он что-то наговорил, чем-то откровенно был недоволен, и ему «дали» пять лет.

На Соловках он был вечно голоден, ходил полным оборванцем. Один из начальников лагеря женился на бывшей заключенной из интеллигентной компании (ее подругой была Лада Могилянская). Она была восхищена его стихами и раза два посылала ему махорку и какую-то скромную еду. Фамилии ее не упоминаю — она жива. Он посвятил ей одно из своих стихотворений, напечатанное в «Соловецких островах» в 1930 году. Журнал «Соловецкие острова» шел в свободную продажу по всему Советскому Союзу и даже за рубеж (полный комплект его есть, например, в библиотеке Хельсинки).

Стихами его пленилась одна школьница где-то в Перми или Вятке и стала ему писать и посылать посылки. От имени своего и родителей она пригласила его приехать к ним в город. Потом, как мне говорили, она стала его женой, но это была, по-видимому, ошибка. Кемь была для него промежуточным пунктом при его освобождении: в Кемперпункт отправляли всех тех, сроки освобождения кого приходились на ненавигационный период. Лучшие его стихи принадлежат именно к этому послелагерному, самому трудному периоду его жизни. Тема ожидания близкой смерти — в них главная.

Кое-что из его стихов мне удалось найти в берлинском журнале «Недра», 1923—1924 гг., в четвертой книге (с. 314). Ссылка на него имеется в сборнике «Русский Берлин»: 1921—1923 (Париж: УМКА-Press, 1983). Некоторые стихи напечатаны в журналах «Огонек» и «Наше наследие».

Более полувека разыскивал я какие-либо сведения о Володе Свешникове и его стихи, помимо тех, что были напечатаны в журналах «Соловецкие острова» и «Новые Соловки». В конце концов более чем через шестьдесят лет я получил обстоятельное письмо от историка Э. С. Столяровой, оставляющее надежду, что можно будет найти и еще что-либо из его стихов. Это письмо, ввиду его важности, я печатаю полностью, как справку о его трагической смерти. 22 июля 1994 года Э. С. Столярова писала мне:

«Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Чрезвычайно обрадовалась Вашему письму в связи с публикацией стихов В. Кемецкого (в первом издании данных «Воспоминаний» и 1995 г. — Д. Л.). Исполняю Вашу просьбу и пишу о том, что мне известно о нем (о В. Свешникове-Кемецком. — Д. Л.).

Стихи В. Кемецкого в рукописных оригиналах и машинописи, по-видимому, сделанной А. Панкратовым, попали ко мне в начале 80-х годов от моей родственницы Панкратовой — сестры известного Вам по Соловкам А. Панкротова (который умер в 1947 году). Возможно, А. Панкротова и Кемецкого связывали дружеские отношения, иначе как могли к нему попасть эти стихи.

В стихи я, что называется, «впилась». Я по образованию совсем не литературовед (я окончила истфак МГУ, по основному роду деятельности — редактор, сейчас, на пенсии, — библиотекарь), сразу почувствовала незаурядность и стихов, и личности их автора. Мне показалось до ужаса несправедливым и обидным, что у этого поэта нет читателя, что его стихи недоступны людям.

По датам и городам под стихами я попыталась проследить жизненный путь Кемецкого. Получалось, что сначала он жил за границей (Париж, Берлин), потом некоторые наши города — Москва, Тифлис, Харьков, потом Соловки, Кемь, потом — Архангельск. Далее все обрывалось.

Я попыталась разыскать какие-нибудь возможные публикации стихов в нашей стране. После долгих поисков мне повезло: я обнаружила три его сонета в альманахе «Недра» за 1924 год. Их автором значился В. Кемецкий. Так отпала бывшая у меня версия, что Кемецкий — псевдоним, взятый поэтом на Соловках в Кеми.

Я даже отправилась на Соловки, пыталась у тамошних музейных работников что-либо разузнать. Они потихоньку и в основном для себя занимались соловецкими узниками, хотя тогда, до перестройки, это было еще небезопасно. У меня завязалась дружеская переписка с Антониной Мельник, работавшей в музее, но пролить свет на судьбу Кемецкого, она, к сожалению, не смогла. Зато я прочувствовала высокую красоту Соловков, которая вошла во многие стихи Кемецкого.

Безуспешно я пыталась что-либо выяснить и в “Мемориале”. Написала письмо А. Рыбакову: у него в “Детях Арбата” был герой А. Панкратов, который в Канской пересылке встретился с поэтом, чья судьба напоминала судьбу Кемецкого, — он тоже молодым человеком вернулся в Россию из Парижа. А. Рыбаков мне ответил. Но, к сожалению, этот путь никуда не привел.

Тогда я стала искать людей, профессионально занимающихся поэзией 20-х годов. Так я познакомилась с Н. А. Богомоловым. И это была величайшая удача: познакомившись со стихами Кемецкого, он смог связаться с Вами, послал Вам переданные ему мной стихи Кемецкого. И вот пришло от Вас большое письмо, где Вы рассказали о Соловках, об окружавших Вас там людях, об атмосфере и — о радость! — о Кемецком. Так некий бесплотный образ стал реальным человеком Володей Свешниковым, поэтом Владимиром Кемецким. Для меня тот день, когда я прочитала Ваше письмо, стал днем великой радости.

Затем через А. Лаврова я послала Вам все имеющиеся у меня стихи Кемецкого. И Вы сделали то, о чем я столько мечтала: Вы рекомендовали опубликовать в “Нашем наследии” несколько стихотворений. И вот, в номере 2 за 1988 год появились с небольшим моим введением стихи Кемецкого. Поэт обрел читателя. Какое счастье!

На публикацию пришло два отклика. Во-первых, письмо Зелениной Елены Павловны, которая в 30-е годы приехала в Архангельск к ссыльным матери и отчиму. Здесь она познакомилась с ссыльным Яном Глинским, за которого вскоре вышла замуж. Глинский был знаком с Кемецким, жившим после Соловков в Архангельске. К ним часто приходили ссыльные литераторы и художники, в том числе и Кемецкий. Следующая встреча Зелениной с Кемецким произошла в Москве. Кемецкий несколько раз навещал ее. Затем она встретила с ним в Уфе, где он якобы осел. Она с сожалением сообщила мне, что Кемецкий к тому времени очень много пил, не сумев приспособиться к действительности.

Совершенно уникальный отклик пришел от доктора исторических наук Клибанова Александра Ильича. (Осмелюсь сказать, что я с ним подружилась и часто виделась вплоть до самой его смерти. Это был удивительный человек и большой ученый. 13 лет его жизни прошли в лагерях. Я помогала ему подготовиться к печати переписку с женой. Однако, увы, сделать это он так и не успел. А письма их замечательные — в том числе и как документ эпохи.)

С Кемецким он встретился в 1937 году в трюме баржи, везшей партию заключенных в лагерь Воркуты. Кемецкий произвел на него такое сильное впечатление, что он всю жизнь помнил наизусть некоторые его стихи. А. И. еще до встречи со мной наговорил на магнитофон свои воспоминания о встрече с

Кемецким. Эти воспоминания в машинописи есть и у меня. Приведу отрывок из них. “Однажды я был привлечен каким-то шумом у лестницы, что вела из трюма на палубу. Я был неподалеку от этого места, быстро слез с нар и подошел. И увидел следующее. Какой-то молодой человек, лет 25—26, человек маленький, худой, светловолосый и, насколько можно было видеть при слабом освещении, очень бледный, подался на несколько ступенек вперед. А перед ним стоял здоровенный детина конвоир, с трудом сдерживающий огромного пса, который, поднявшись на задние лапы, ощерился на маленького человечка. Но тот, весь дрожа от волнения, негромко, но с необычайной силой, с огромным напором, с грозой в голосе бросил конвоиру: “Не подходи... Убью!” — нагнулся и с силой, которой никак нельзя было в нем ожидать, вырвал из ступеньки доску и, замахнувшись, приблизился к конвоиру. И так он был страшен, так грозен, что не только конвоир, но и его собака подались назад и скрылись на палубе.

Вместе с несколькими товарищами я подошел к этому человеку. Он был страшно взволнован. Его лихорадило. Мы с трудом увели его назад, усадили. Оказалось, что ему надобен был глоток воздуха. Он задыхался и сказал мне, что больше не в состоянии терпеть и готов был пойти на все и, собственно, даже хотел, чтобы конвоир его пристрелил, чтобы разделаться сразу со всеми этими муками, со всем этим плавучим адом, каким была наша баржа.

Наши отношения с ним как-то очень быстро стали хорошими, дружескими, доверительными. И как это обычно было принято между заключенными, каждый рассказывал друг другу историю своей жизни, тот путь, который привел его в это место. Рассказал мне о своей жизни и этот человек. Его фамилия Свешников. Он принадлежал к какому-то известному дворянскому роду. В годы революции его родители эмигрировали, скитались, в конце концов обосновались во Франции, в Париже. С ними и он. У него обнаружился поэтический талант, по-видимому, сразу о себе заявивший и беспорный. Он был принят в салоне Гиппиус и Мережковского, пользовался там большим успехом. Сам он с большим интересом приглядывался к бывавшим и выступавшим там лицам. Но вскоре почувствовал, что в салоне ему душно — душно нравственно, так же, как физически душно было в этой барже.

Он бросил салон, порвал вообще с кругами эмиграции и вступил во французский комсомол. Но он был поэт. Он не умел заниматься конспиративной политической работой, был выслежен в каких-то неугодных французской полиции действиях и выслан из Франции. Он переехал в Берлин. Там снова вступил в комсомол — Югенбунд, участвовал в подпольной работе, тоже был выслежен полицией, и на этот раз — при каких-то обстоятельствах, не помню, — его переправили

в Советский Союз. Он поселился на юге, в каком-то большом городе. Попал в редакцию газеты “Заря Востока” (издавалась в Тифлисе. — Д.Л.), где работал корреспондентом, литературным правщиком. Жил хорошо, дышал полной грудью. Все ему было ново, все интересно. Он слился с окружавшей его жизнью, и это были одни из лучших лет всей его еще такой небольшой биографии.

А потом случилось совершенно невероятное. Он был обвинен в том, что проник в Советский Союз с разведывательными целями, что был шпионом, то ли немецким, то ли французским, то ли немецко-французским, арестован и сослан в Соловецкий лагерь. Там он пробыл несколько лет. Говорил, что внешние условия жизни для него бывали не всегда тяжелыми. Он даже имел возможность не только писать, но и печататься в каком-то литературном альманахе, который издавали заключенные литераторы. Он выступал под псевдонимом Владимир Кемецкий.

Он читал мне (А. И. Клибанову. — Д.Л.) свои стихи. Я вспомнил далеко не все. Собственно, только четыре стихотворения. Я думаю, это очень хорошие стихи, и хорошие потому, что в них вылился сам их автор. Стихи, которые мне запомнились, носят, я бы сказал, характер лирическо-гражданственный, обличают немецкое мещанство, в котором он угадывал будущих фашистов. Запомнился мне кусочек сюжета его стихотворения “Герр Мюллер”: Герр Мюллер веселится. Это лабазник, лавочник, мясник — с красной короткой шеей, который вдохновляется колбасой, баварским пивом. Он жадно ловит в воздухе запах крови, который будоражит его засаленную душу. Ну, что-то такое... Я говорю об ощущении, которое у меня осталось от этого стихотворения. Были и другие.

Когда мы прибыли к месту назначения, нас распределили по разным командировкам. Я попал в шахту “Капитальная”. Свешников — в другую. Больше мы не встречались. Где-то в конце 1937 года до меня дошло известие о тяжелой болезни Свешникова. Это была последняя весть о нем». (На этом кончается выдержка из письма А. И. Клибанова. — Д.Л.).

Теперь из документа Министерства Безопасности, опубликованного в ваших “Воспоминаниях” (речь идет о первом издании данных “Воспоминаний”, где приведены и все стихотворения Свешникова, которые он считал возможными опубликовать), ясно, что Кемецкий был расстрелян в январе 1938 года, а в мае 1957 года дело его было прекращено “за отсутствием состава преступления”. У меня, правда, возник один вопрос: почему решение о расстреле было принято тройкой УНКВД по Архангельской области, хотя Кемецкий сидел в Воркутинских лагерях?

Господи, за что достались этому человеку такая жизнь и такая смерть?

Еще один отзыв о Кемецком я получила от А. Н. Доррер, сестры жены еще одного поэта 20-х годов — Вл. Щиrowsкого. Ей не довелось видеть публикации в “Нашем наследии”. Тут получилось иначе. Я помнила, что в поэме «Память крови» Кемецкий выбрал эпиграф из Щиrowsкого. И вдруг я встречаю в “Огоньке” подборку стихов Щиrowsкого в рубрике “Русская муза XX века”, которую вел Евг. Евтушенко. В “Огоньке” мне дали адрес публикатора — Доррер А. Н., которая жила в Херсоне. Я написала ей. Она моментально отозвалась. (О, какое тогда было время! Как мы были обольщены изменениями, происходившими в стране, сколько мы ждали! Куда все девалось?) Она не очень много знала о Кемецком, написала мне, что Кемецкий и Щиrowsкий были друзьями, рассказала об одном эпизоде, который, как считал Щиrowsкий, стал поводом для ареста Кемецкого. Дело было в Харькове: “...в 27 году был случай, когда однажды ночью после совместных возлияний, где-то на площади Свешников кричал: “Продам свой плащ и уеду в Париж!” Кажется, даже расстилал этот плащ на камнях мостовой. Ведь это были еще совсем мальчишки!» Кемецкий и Щиrowsкий переписывались, когда Кемецкий был на Соловках. После освобождения Кемецкий заезжал к Щиrowsкому, тогда жившему в Керчи. Сам Щиrowsкий позже тоже был арестован, освобожден и затем погиб на войне в первые же дни. “Огонек” заинтересовался стихами Кемецкого, но, увы, времена уже начали меняться...

Потом я познакомилась с В. Б. Муравьевым, бывшим политзаключенным, который сначала в “Литературной газете”, а потом отдельной книгой (“Среди других имен”) опубликовал стихи поэтов-заключенных. Среди них был и Кемецкий. Его стихи он взял из журнала «Соловецкие острова». Познакомившись со всеми стихами Кемецкого, он решил издать их полностью. Но и этому не суждено было осуществиться. Я как-то все время чуточку опаздывала.

Однажды я получила письмо из Петрозаводска из Центра по изучению духовной культуры ГУЛАГа от Юрия Линника. По его просьбе я подготовила большую подборку стихов Кемецкого и А. Панкратова, которые и были опубликованы в журнале “Север” в № 9 за 1990 год. Издательство “Карелия” собиралось издать книгу “Неугасимая лампада”, куда должны были войти и стихи Кемецкого. И опять — увы! Был у петрозаводчан и другой план, тоже не осуществившийся. По просьбе Ю. Линника я послала для создавшегося музея автограф стихотворения Кемецкого “Песнь о возвращении”, оставив себе ксерокопию. Это единственный автограф, с которым я рассталась. Остальные до сих пор у меня.

А потом — Ваша книга. И моя радость. Вот, по сути, и все факты, уважаемый Дмитрий Сергеевич, что мне известны. Если Вам будут интересны те сведения, что я Вам сообщила, я буду рада. Думаю, что можно бы еще попытаться поискать публикации Кемецкого в газетах тех городов, куда забрасывала его судьба.

А вдруг».

На этом кончается интересующая нас часть письма Э. Столяровой. Сведения о Кемецком могут оказаться в парижской части архива Гиппиус и Мережковского, в каких-либо изданиях Керчи (мне еще лет 20 назад говорили, что видели стихи Кемецкого в изданиях Керчи), а также следовало бы просмотреть подборку газеты «Заря Востока».

Мои воспоминания о Володе хотелось бы заключить строками из его стихотворения 1927 г.:

*Мои стихи для всех времен
Мечтателей, бродяг и пьяниц,
Для тех, кто в жизни полюбил
Вино, любовь и вдохновенье,
Кто жизнь иную уловил
Сквозь эти тусклые мгновенья...
Сей миг приветствую, как праздник...
Суровый час грядущей казни.
Вы легкие! И больно мне —
И радостно полет ваш милый
Следить — в огромной тишине
Моей тюрьмы, моей могилы.*

«Грядущая казнь» (расстрел) встретила его ровно через десять лет.

Александр Артурович Пешковский

Писать о нем серьезно трудно. И все же в нем наряду с чрезвычайной вульгарностью и практичностью была наивность, простодушие и что-то еще, привлекавшее к себе. Он работал в Кримкабе еще до меня, был меня чуть старше возрастом, и А. Н. Колосов держал его при себе своим первым помощником, что он и любил нам показывать. А мы с Володией Раздольским на это не обижались: «Пусть себе!» Он был чрезвычайно активен и «подвижен». Подвижен не только потому, что вечно что-нибудь добывал и устраивал (для себя, в первую очередь, — иногда и для нас), но и потому подвижен, что был болен какой-то формой хореи: дрыгал ножками (в гольфах и остроносых модных туфлях «джимми»), крутил плечами, ерзал головкой и как-то особенно прорывался словами (из того, что он думал, вечно вырывались

какие-то слова, особенно когда писал). Из отдельных слов, которые вырывались у него, когда он писал, например, заявление с просьбой о помиловании, мы отлично представляли себе этот «документ», полный унижения и преувеличений. «Документ» этот он от нас скрывал, но мы, посмеиваясь, все же жалели Артурыча за то унижение, через которое ему приходилось пройти. Впрочем, освобожден он был досрочно не по заявлению, а за свое поведение в Солтеатре. Летом 1931 г., когда приехала разгрузочная комиссия (она приезжала ежегодно), для нее было дано представление — «Соловецкое обозрение» Б. Н. Глубоковского (автор, режиссер и актер). В театр были допущены и заключенные. Артурыч, который писал в «Соллисток» «театральные рецензии» (хвалил нужных ему актеров и постановщиков), занял в рядах свое обычное место под ложей начальства. Как только поднялся занавес и водворилась тишина, стали слышны вскрики и бормотания Артурыча. Комиссия изумилась, и в этот же свой приезд его освободила. Сам я на этом «двойном» спектакле не был: так рассказывали.

Артурыч пытался писать стихи, прозу — его «шедевр» «Кузьма вдова». Печатался Артурыч в «Соловецких островах», выделяя в своих произведениях отдельные слова крупным шрифтом, и это казалось каким-то продолжением его странной болезни. «Артурыч заикается, когда молчит, а Юрка Казарновский, когда говорит», — шутили про него. Но Артурыч «заикался» и в печатном тексте этими своими нарочитыми выделениями слов. Его прозаическая вещь (с главной героиней, кажется, «Мадам Либерман») была все же неплохой.

Был он племянником специалиста по русскому синтаксису — А. М. Пешковского. Мать его и отчим Шведов приезжали к нему на свидание. Были они из Царского Села (к тому времени уже переименованного в Детское Село). Мать была очень религиозной. Проникнув в Музей, она горячо молилась у выставленных для глумления мощей Зосимы и Савватия.

Артурыч удивительно умел устраиваться, имел всюду блат (соловецкое словцо, прокатившееся потом по всей стране) и окружал себя пишущей молодежью.

Служебные поручения «папашки» А. Н. Колосова он также выполнял отменно. Знал он все слухи, все «параши», или как их еще называли на Соловках, «радио-параши», т. е. слухи, исходившие главным образом с радиостанции — единственной месяцами связующей нитью с материком.

В «Соловецком обозрении» пелось:

*То не радио-параши
И не граммофон, —
То поет, поевши каши¹⁴,
Наш веселый СЛОН.*

¹⁴ А кормили нас главным образом кашей — пшенной, перловой.

Его окружала вся соловецкая молодежь, писавшая стихи: Панкратов, Казарновский, Шипчинский, Свешников-Кемецкий, Л. М. Могилянская (кстати сказать, все они потом были расстреляны, кроме Ю. Казарновского, погибшего от наркомании).

После освобождения из лагеря я встретился с А. А. Пешковским в Ленинграде. Я рассказал ему, что хочу писать очерки для детских журналов (для «Костра», куда уже сдал рукопись) о происхождении тех или иных слов и выражений. Каково же было мое удивление, когда он сразу же и быстрее меня опубликовал серию таких очерков как раз о тех словах, которые я ему назвал, и по тем же справочникам и изданиям. Я рассердился и больше с ним не встречался. Когда и как он вскоре пропал — не знаю, но быть просто незаметным он не мог, даже в Ленинграде. Я же благословляю судьбу, что не вступил на стезю писательства в те годы и стал незаметным, работая корректором сперва в типографии «Коминтерн», а затем ученым корректором в издательстве Академии наук в Таможенном переулке на Васильевском острове.

Александр Александрович Бедряга

После освобождения Александра Николаевича Колосова Кримкабом стал заведовать Александр Александрович Бедряга.

Как сейчас помню его. У него была узкая, сужающаяся кверху, лысеющая голова, усики, красивые лукавые глаза, маленький рот и вечная готовность на лице превратить любой разговор в шутку. Ходил он в темной толстовке и высоких сапогах. Научился, как «папашка» Колосов, читая беллетристику, держать в руке карандаш, готовый в любую секунду предстать перед внезапно появившимся начальством в позе пишущего докладную записку.

Он был юрист, но перед своим арестом бросил свою профессию и стал массажистом в Максимилиановской (платной) лечебнице в Ленинграде. Жил он до ареста в Ленинграде в Озерном переулке в доме, где жил и Б. Д. Греков. Его мать (фамилию ее забыл — кажется, Чеботарева) сватала (еще до ареста) Александра Александровича за свою воспитанницу Лизу. И ждала, что он женится на ней после своего возвращения. Он уклонялся от обещаний, но после больших выпивок на Соловках, до которых он был большой охотник, он обычно бывал в мрачном настроении и говорил: «Женюсь на Лизке». Это означало, что у него болит голова с похмелья. Меня он не очень жаловал, так как я был «непьющий», а для пьющего непьющий всегда враг, неприятель, живой укор! Питал он любовь только к Володе Раздольскому, так как тот охотно участвовал в его пьянках. Стоили эти выпивки больших денег. Водка привозилась контрабандой.

Помню такой эпизод. Напился Бедряга в 3-й роте до положения риз. Лежал пластом на своем топчане, чем-то и кем-то заботливо накрытый. Было это уже в период отсутствия навигации. Пришли почтарки (лодки, которые можно было тащить по шуге и льду, — сравнительно небольшие) и привезли контрабандную водку. Эту водку добывал от почтарей и сам начальник нашего островного отделения «Петя» Головкин — залиvistый пьянчужка. Время прибытия почтарей с водкой он знал точно. И вот, напившись, «Петя» Головкин начинал искать пьяниц по ротам, устраивал обход, сам едва держась на ногах, и сажал в карцер всех пьяных. А попасть в карцер на Соловках было почти гибелью. Надо было обладать огромным здоровьем, чтобы сидеть весь день «на жердочке» (так назывались карцерные узкие скамьи без спинок и притом высокие — ноги не доставали до полу).

Итак, напившись, «Петя» Головкин, ринулся в третью роту, где были «состоятельные» заключенные, имевшие средства покупать водку. При входе начальника в роту дежурный кричал: «Встать, смирно», — двери в камеры открывались, и все должны были стоять руки по швам. А Бедряга лежит! «Петя» Головкин спрашивает дежурного: «А это кто?» «Больной-с», — отвечает дежурный подобострастно. Решив, что «больной» от него не уйдет, а другие пьяницы успеют спрятаться, «Петя» Головкин бросился по другим камерам, а за это время Володя Раздольский и я выволокли «мертвое тело» Бедряги в седьмую роту через всю площадь перед Преображенским собором. Осмотрев все камеры на двух этажах, «Петя» Головкин вернулся в ту, где лежал Бедряга, и не нашел его. «Куда делся?» «Не могу знать», — отвечал дежурный, и, действительно, откуда ему было знать, раз обход он делал вместе с самим Головкиным. Увидев, что его обманули, «Петя» Головкин взревел от обиды и понесся ловить «мертвое тело». Прежде всего пришел в 7-ю роту — роту артистов и музыкантов Солтеатра. Командовал ею эстонский офицер Александр Адольфович Кунст (один из «каламбуров» Адмчасти, где командовали всем веселые белогвардейцы, заключался в том, чтобы давать назначения в соответствии с фамилией). Кунст был хороший товарищ и смелый. Ворвавшись в седьмую роту, «Петя» Головкин накинулся на Кунста: «У тебя в роте бардак, пьянки!» Кунст знал, что возражать Головкину, да еще пьяному, никак нельзя, и, щелкнув каблуками, лихо отрапортовал: «Так точно, гражданин начальник (называть начальника «товарищ» заключенным строго запрещалось), в роте бардак: все в порядке!» Пьяный Головкин очумело посмотрел на Кунста, он чувствовал, что перестал соображать, и сказал: «Все в порядке, говоришь? А ну пройдишь по одной половице» (это был его любимый способ выявления пьяниц). Кунст был трезв и быстро прошелся по одной половице. «Петя» Головкин ринулся по камерам (команда «смирно» была дана, двери

открыты) и вот в первой же камере нашел Бедрягу, лежащего в той же позе. Мы не успели его даже прикрыть шинелью. Бедрягу водворили в карцер, и начались его допросы: «где взял водку, кто перетащил». Били при всех заключенных в карцере, но Бедряга не сдался. После этого урки на Соловках прониклись великим уважением к Бедряге, да и к Кримкабу и, не опасаясь, рассказывали нам о своей жизни; эти рассказы записывал я и через записи эти научился владеть письменной речью (в холодной школе в Ленинграде мы сочинений не писали, да и пальцы для письма от холода не гнулись). Бедрягу выручили врачи, определившие его из карцера в больницу с каким-то якобы «острым» заболеванием. Но в целом надо сказать, что начальство с великим «пониманием» относилось к пьяницам и прощало им такие проступки, за которые трезвым грозил бы в лагере расстрел. Так, например, Бедряге были прощены такие вот проступки. Однажды он в подпитии надел пожарную каску, все пожарное обмундирование, взял в руки пожарный топорик, надел на грудь электрический фонарик (все это он достал потому, что в пожарной команде были тоже любители выпивок) и вошел во время представления в переполненный Солтеатр и зычно возгласил: «Пожар!». Началась паника, но, к счастью, никто не погиб. Дело замяли: начальство хохотало. В другой раз он подобрался к «царскому колоколу», висевшему в низкой колоколенке в саду перед Преображенским собором, и ударил в него довольно громко. Дело и на сей раз замяли: начальство хохотало. О пьяных проделках А. А. Бедряги можно было бы рассказывать без конца. Жили мы при нем вольно. «Загонять туфту» и изображать, что наш Кримкаб занят серьезным делом, он умел. Его все любили. Умел он и пошутить, хотя человек он был далеко не умный. Грустно, что после А. Н. Колосова мы уже серьезным делом не занимались. Трудколония жила своей жизнью, а потом была вывезена в Болшево.

После своего освобождения Бедряга не смог устроиться на работу. Нигде его не брали. Поехал в Дмитровлаг под Москву, и там его устроил к себе домработником Дмитрий Павлович Каллистов. Зарегистрировал, записал. В милиции немало удивлялись. Бедрягу хотели признать тунеядцем, но у него был договор с Каллистовым, который обычно заключали с домработницами, и Каллистов его отстоял: «Разве в нашем прогрессивном трудовом законодательстве сказано, что домработницей может быть только женщина?» Придраться не смогли, и Бедряга продолжал пить, имея легальное местожительство и «положение» домработницы. В конце концов он повесился в сарае у Каллистова. Десятки раз он повторял: «Женюсь на Лизке», но так и не переставал пить. А мать его, верно, знала, за кого сватает, и «Лизка», может быть, его бы и спасла от ужасной смерти. Жалко.

А что стало с помощником начальника Соллагеря «Петей» Головкиным («Петей» его называли заключенные, прощавшие ему все зверства ради его запоев). Он («Петя» Головкин) был переведен в Кемь еще тогда, когда я был на острове. В Кемь из Соловков была переведена и лагерная многотиражка. Однажды весь остров катался со смеху. В Кемской лагерной многотиражке в номере, попавшем на Соловки, заключенные прочли статью П. Головкина о вреде пьянства. Это был шедевр газетного искусства. Головкин писал, что от пьянства человек шатается, делает неверные движения, падает и может сломать ногу или руку, плохо работает, на следующий день у него болит голова и пр. Приказав написать Головкину такую статью, высшее лагерное начальство надеялось, что после этого ему будет стыдно пить. А писал эту статью, конечно, не полуграмотный «Петя», а кто-либо из остряков заключенных.

Михаил Иванович Хачатуров

Нельзя представлять себе Криминологический кабинет, как центр только философской серьезной мысли. Иногда, когда не было срочной работы, он был своеобразной гостиной. В своих камерах мы только спали, пили кипяток и были заняты своими делами, тем более, что и мигающий свет лампочек тушили рано (в 10 часов). Переходы из роты в роту и из камеры в камеру были запрещены, но в здании Управления лагерей на пристани общение совершалось легко. Больше всего интеллигентных людей привлекал, конечно, Криминологический кабинет.

Наиболее частым посетителем был остроумнейший Михаил Иванович Хачатуров. Михаил Иванович имел счастливую статью за растрату, хотя в моих соловецких записках против его фамилии почему-то написано «теософ». С особым смаком он рассказывал, как он прокутил большие казенные деньги, а потом неудачно попытался перейти из Армении турецкую границу.

В те далекие времена население лагеря делилось на «социально близких» и «каэров» (контрреволюционеров — заключенных, взятых по статье 58; слова «контрик» еще не существовало). Преимущество во всем отдавалось «социально близким». Им можно было селиться за пределами монастырских стен, занимать лучшие должности, их даже брали в охрану. Формально так, но лагерное начальство понимало, что ворами и бандитам особенно доверять нельзя: украдут, убьют, обманут, нарушат дисциплину именно они. Поэтому оставалась не очень большая группа лиц, которые фактически жили лучше. Хотя, конечно, во главе всего был — случай, блат, специальность. К этой группе заключенных, которым скорее доверяли, чем остальным, принадлежали лица, попавшие в лагерь по служебным статьям (например, раскрытые сексоты, которым предъявлялась статья о разглашении «государственной тайны»), валютчики, растратчики и пр.

За растрату и попытку бегства за границу был взят и вечно оживленный, остроумный и ловкий Михаил Иванович Хачатуров. В те времена еще не было принято прикрывать политические дела уголовными. Эта манера наступила лишь после войны и создания декларации прав человека, когда нашему правительству во что бы то ни стало надо было снизить процент политических дел и политических заключенных. Поэтому положение М. И. Хачатурова в лагере было относительно сносным. Как человек оборотистый и грамотный, он получил какую-то выгодную должность и устроил себе вне кремля (где-то около Бани № 2) крошечную комнатку, с печкой и электричеством. Внутри комнатка была вполне благоустроена, но снаружи завалена дровами и всяким хламом. Каждый старался в лагере быть незаметным и не возбуждать, в частности, зависти. Я был у него раза два и каждый раз как бы возвращался у него в нормальную обстановку.

Он часто заходил в Кримкаб, оказывая нам различные мелкие услуги, при этом всегда с новостями, шутками, анекдотами. И мы ему были рады. Он был интеллигентен, многоопытен. Усвоил себе лучшие черты армянина от отца и лихого казака от матери.

Хотя срок у Михаила Ивановича был десять лет, его, как имевшего не политическую статью, вывели с Соловков году в 1929-м или 1930-м. О его последующей жизни в лагере на материке я узнал из неопубликованных воспоминаний Николая Васильевича Жилова «Летопись моей жизни». Позволю себе сделать большую выписку (мне дорога о Михаиле Ивановиче каждая мелочь). Автор «Летописи» пишет: «Управление отделением (Беломоро-балтийского лагеря. — Д. Л.) было развернуто на Выгозере в поселке Май-губа, где был поселок, лесопильный завод и опытный заводик (узнаю Михаила Ивановича — с него было достаточно и “заводика”. — Д. Л.) строительных стружечных плит, которым ведал зек-инженер Хачатуров. Хачатуров по фамилии как будто армянин, по внешнему облику он скорее походил на еврея. Седые, серебряные, гладко причесанные волосы обрамляли высокий благородный лоб. Правильные одухотворенные тонкие черты бритого лица и огромные серые, чуть-чуть навывкате глаза. Он имел вид ученого и чем-то напоминал портреты критика и публициста Н. К. Михайловского. Заводик, который возглавлял Хачатуров, был опытным предприятием. Задачи, которые он решал в примитивных условиях, все еще не решены в широких масштабах. Из стружечных плит завода тут же неподалеку построен небольшой, двухэтажный экспериментальный дом, в котором жил и сам Хачатуров с женой. В то время это был уже не единственный пример, что зеку разрешалось». Далее в «Летописи» описываются удобства квартиры Михаила Ивановича. Все так: именно таким — с удобной квартирой, в

окружении блата и друзей — я и привык его видеть. Так как мы в Кримкабе были совершенно не завистливы, то мы его и любили за жизнерадостность.

У Михаила Ивановича многому можно было поучиться в практической жизни, а главное — умению обходиться с начальством, не теряя собственного достоинства. Со стороны глядя, было видно, что он смеется над «начальниками», презирает их.

О М. И. Хачатурове запросил меня С. О. Шмидт. Я написал ему примерно то, что я написал выше, и вот неожиданное письмо от дочери Михаила Ивановича Н. М. Пирумовой: «Примите мою искреннюю благодарность за те строки воспоминаний о моем отце — Михаиле Ивановиче Хачатурове, которые сохранила Ваша память. Для меня это первый голос из неизвестного прошлого. В Соловки он попал, очевидно, в 1924-м или 1925 г. Мне было около двух лет, и я, конечно, его не помнила. Вернулся в 1933 г., весной. Вновь арестован был в августе 1935 г. По существу на свободе пробыл полтора года. Погиб в лагере Усть-Чибью в 1938 г.

В прошлом революционер, в Соловках он обратился к религиозному мировоззрению. Я помню его рассказы о замечательных мыслителях, которых он встречал там, но имен не знаю. Поэтому фамилии, которые Вы называете, очень важны для меня».

Лада Могилянская

Русско-украинская поэтесса Лидия Михайловна Могилянская, писавшая по-украински и русски (по-украински под именем Лада Могилянська), появилась на Соловках примерно в 1930 г. Была она из Чернигова, из окружения Коцюбинского. В доме последнего собирался кружок молодежи, который, конечно, властям надо было изобразить контрреволюционным заговором. Получила она десять лет, хотя, уверен, интересовалась она только поэзией. Высокая, стройная блондинка, носившая модную тогда прическу «фокстрот» и короткие юбки. Ее содельцы получили меньший срок и остались в основном на материке (в эти годы на Соловки привозили заключенных только с полными сроками — больше десятилетнего был только расстрел). Из молодых украинцев на Соловках были художники Петраш и Вовк. Работала Л. М. Могилянская машинисткой в здании Управления СЛОН, т. е. там же, где помещался Кримкаб. Само Управление СЛОН переехало уже в Кемь, но здание еще оставалось за ним. Оживленная, быстрая, остроумная, увлекавшаяся песнями уголовных, она сразу произвела большое впечатление на нашу молодежь. Распространилась «болезнь», которую мы называли «ладоманией». Кое-что из ее русских стихов, кажется, было напечатано в «Соловецких островах». Я запомнил одну из записанных ею песен «Стоит фраер на фасоне» (вероятно, «нафасонен») на мотив «Позабыт, позаброшен».

Песню эту я любил напевать, и кто-то из молодежи поместил заметку в «Соловецком листке»: «Сотрудник Криминологического кабинета пишет повесть “Стоит фраер на фасоне” — из быта воров». Заметка была шуткой. Писать художественную прозу я пытался на Соловках, но ничего не выходило. Расстреляна она была в Дмитровлаг после смерти Горького (сохранились ее стихи на смерть Горького, напечатанные в лагерной газете).

Александр Петрович Сухов

Лагерное начальство было очень падко на устройство различных лекций. Они предполагали этим поддержать миф о том, что в лагере не наказывают, а исправляют. Содержание лекций и количество присутствующих их интересовало меньше. Им была необходима отчетность о «воспитательной работе». Поэтому в фойе театра мы иногда собирались на лекции опытных лекторов — Ананова из Тбилиси и Сухова из Ленинграда.

Помню содержание лекции Александра Петровича Сухова о внушаемости. В Криминологическом кабинете Сухов проверял внушаемость подростков Трудколони. Она была очень высокой, и он связывал это с существовавшим у подростков инстинктом «стайности» или «стадности». Повышенной внушаемостью Александр Петрович объяснял (в завуалированной форме) вызванные инстинктом стадности революционные движения, всякого рода кампании, легкость их проведения в стране, послушание в идеологической сфере и т. п. Помню один из опытов на внушаемость, который он проводил тут же в аудитории. Он предложил присутствующим стучать руками по столу вслед за ним, но только именно после того, как он стукнет, не раньше. Сперва Александр Петрович стучал неравномерно, затем стал стучать через равные промежутки. Мы втянулись в ритм и, когда он внезапно прекратил хлопать ладонью по столу, многие из нас все же хлопнули, ибо поддались внушению ритма. Меня очень заинтересовала попытка Сухова из особенностей человеческой психологии объяснять события истории.

Естественно возникал вопрос о Сталине. 1929—1930 гг. были первыми годами как-то сразу возникшего культа Сталина. Еще никто не знал, к чему этот культ поведет. Но А. П. Сухов как-то сразу разгадал его бездарность — бездарность самого Сталина и его культа. Захват неограниченной власти он не считал результатом способностей Сталина. Все приемы Сталина, по его мнению, были те же, что и у Ленина. Ленина он считал чрезвычайно ловким и умным захватчиком, быть же вторым после Ленина было совсем не трудно. В Сталине он подчеркивал «вторичность».

Суждения Александра Петровича о людях были всегда удивительно метки. Несколько раз мы с ним гуляли по соловецким дорогам. Он мне рассказывал о

различных типах человеческих характеров и, в частности, о связи характера человека с его телосложением, о теории Кречмера и др. Однажды на прогулке он предложил мне произвести такой опыт: соорудить снежную бабу и посмотреть, как будут реагировать на нее проходящие: если это будет человек пикнического склада — он ее не тронет, если астенического — разрушит. Опыт удался. «Но, — объяснил мне Александр Петрович, — проходили мимо снежных баб неинтеллигентные люди». На интеллигентах эту зависимость поведения от телосложения наблюдать труднее... Хотя, хотя... Г. О. Гордон явный пикник... Конечно, я привожу его рассуждения не дословно: прямая речь в воспоминаниях почти всегда придумана мемуаристами.

Заходил к нам в Кримкаб и Владимир Сергеевич Муромцев — сын первого председателя Государственной Думы. Очень красивый и представительный господин, но предельно скучный и, как мне казалось, бессодержательный. Им интересовались только из-за отца: но А. П. Сухова он интересовал и как психологический тип.

Трудно понять, как, преодолевая все трудности соловецкой жизни, А. П. Сухов писал роман и читал нам уже готовые главы. Ни стола, ни стула, скорчившись на топчане и накрывшись шубой, он записывал отдельные части своей эпопеи, посвященной русской молодежи нашего возраста (достоверно знаю, что главным героем там выступал Володя Раков. Помню, что были в этом романе-эпопее и романтическая любовь, и иподиаконство Володи, и его акварельные альбомы, в которых он давал нам всем другую, вторую жизнь в эпохе Александра I, и трагедия разорения церквей).

А. П. Сухова освободили раньше, чем нас, и он уехал в свои «минусы», выбрав своим первым городом-ссылкой Барнаул.

Сухов не был единственным, кто пытался преодолеть все ужасы лагеря, полностью занимаясь творчеством. Это было настоящее сопротивление, но не с оружием в руках, а сопротивление творчеством, которого всех нас хотели лишить.

Хотелось своего творчества и потомственным крестьянам. С какой любовью и профессиональным умением строили они бараки Детколонии, возводили сгоревшие шатры на пристенке недалеко от Никольских ворот, ухаживали за коровами. Чекисты делали вид, что приучали заключенных к работе. На самом же деле они отучали от работы, внушали отвращение к труду, заставляли обороняться, сохранять силы, «филонить». «Филонить», «филон», «филонство» — были обычными словами на Соловках среди заключенных, которые постепенно приучались сохранять свои силы, притворяясь работающими. Даже наш «старший» — Иван Михайлович Андреевский придумал работу «по системе Андреевского». На

строительстве Филимоновской ветки, где надо было ломать взмерзший грунт ломами, он учил нас: «Воткните лом в землю и делайте вид, что земля не поддается вашим усилиям». Мы так и делали — пыхтели, притворно вытирали пот с лица и т. д.

Целым праздником для нас было однажды, когда нас вывезли в лес собирать чернику. Мы старались ее съесть как можно больше, и добрый крестьянин посоветовал нам «закусывать» ее хлебом. И тогда действительно мы съели ее до боли в животе.

Любопытная деталь, характеризующая А. П. Сухова как человека. Просматривая дела Космической Академии, кружка «Воскресение», А. А. Мейера и «Братства Серафима Саровского» в 1992 г. на Литейном, я натолкнулся и на «дело» А. П. Сухова. Оказывается, Александр Петрович получил свой срок (пять лет) за то, что организовывал помощь (вещами, едой, деньгами) нам после нашего ареста. Он никогда об этом не упоминал, а мы по «законам приличия заключенных» не спрашивали его о причинах ареста.

И о других, взятых по нашему делу, я могу еще добавить, что Валя Морозова, которой было 18 лет, сразу объявила следователю, что ничего не скажет по делу «Братства Серафима Саровского». Люся Суратова, которой было примерно столько же, также твердо отказывалась давать показания, а Боря Иванов просто молчал. В допросе его сохранились любопытные строки. Следователь пишет ему на листе допроса: «Долго ли вы еще будете молчать?» Против этих слов почерком Бори Иванова написано: «Не знаю».

Такие были люди.

Юрий Алексеевич Казарновский

Среди поэтов на Соловках выделялся тогда еще совсем молодой Ю. А. Казарновский, которого мы все звали просто Юркой — не только по его молодости, но и по простоте, с которой можно было с ним обращаться. У него не было своего поэтического лица, как, скажем, у Кемецкого-Свешникова. Он был поверхностен, но стихи писал с необычайной, поражающей легкостью и остроумием. В одном из номеров «Соловецких островов» можно найти его пародии на Маяковского, Блока, Северянина... В другом — его шуточные афоризмы. И все это на темы соловецкого быта. У него была неиссякаемая память на стихи. Он знал чуть ли не всего Гумилева, тогдашнего Мандельштама, Белого. Вкус у него был, настоящую поэзию ценил и постоянно стремился поделиться своими поэтическими радостями. Ни тени зависти. Просили его почитать его стихи, а он читал кого-то другого, понравившегося ему. Жил он одно время в Кеми и поссорился там с морским офицером Николаем Николаевичем Горским — на романтической почве. Чуть не попал в расстрел осени 1929 г. за свою близость с Димкой Шипчинским.

Некоторые из его пародий были напечатаны в «Огоньке» несколько лет назад, и мне пришлось разъяснять — кому они принадлежат. В виде отклика на мою заметку я получил семь страниц воспоминаний о встречах с ним в 50-х гг. в Алма-Ате, когда он стал уже заядлым наркоманом. Он был, кстати, последним, кто видел О. Э. Мандельштама в лагере в Сучане. Надежда Яковлевна Мандельштам пыталась извлечь из него хоть какие-то сведения о своем покойном муже: тщетно! Юрий Алексеевич не соображал уже ничего...

А присланные мне воспоминания о нем принадлежат старому математику Глебу Казимировичу Васильеву, и написаны они блестяще. Надеюсь, что он сам когда-нибудь опубликует их. Они описывают встречи с Казарновским в Алма-Ате.

Духовенство

Начать надо издалека. Очень трудно вспомнить мне — кто из молодежи и в какой степени был верующим. Все так или иначе причастные к очень небольшому кружку «Братство Серафима Саровского» были верующими. В Космической Академии Наук из девяти ее членов безусловно неверующими были Толя Тереховко и Петр Павлович Машков. Эдуард Карлович Розенберг (мой друг Федя) перешел из лютеранства в православие. Неполный обряд крещения (только миропомазание) был совершен в церкви на Петровском острове ныне причисленным к лику святых зарубежной церковью отцом Викториним Добронравовым. Брат Эдуарда — Владимир оставался «равнодушным лютеранином», но в общей камере на Шпалерной очень сдружился с отцом Владимиром Пищулиным. Также дружил со священником на Соловках и атеист Толя Тереховко. Отец Александр Филипенко, с которым мы обитали на Соловках в тринадцатой карантинной роте, из всех нас особенно выделял Толю Тереховко и говорил всем нам: «Он сирота». Действительно, отец и мать Тереховки покончили самоубийством, когда он был еще совсем мальчиком. Его сестра покончила самоубийством много позже, во время блокады Ленинграда, а сам он, попав в больницу в Боровичах в первые месяцы войны, заморил себя голодом. Отец Александр словно чувствовал в нем какую-то трагичность и, как я уже сказал, любил его, жалел и не пытался уговаривать его верить в Бога. Если бы отец Александр был настойчив в этом, — он отдал бы себя от Толи.

Был и «особый случай». Сын относительно богатых родителей (так о нем говорили) Боря Иванов, притянутый к нашему делу следователем, хотя он в кружках не бывал, впал на Соловках в религиозное помешательство. Его взял в «послушание» какой-то проходимец, объявивший себя монахом и священником, и «учил» Борю «смирению»: снял с него хороший черный полушубок и отдал ему свое тряпье, отнимал лучшее из посылок, которые он получал от родителей, заставлял его себе служить, сморкаться рукой (чему он научиться так и не смог) и т. д.

Когда этапы их разлучили, Боря Иванов пошел санитаром к больным «азиатским тифом», заразился и умер.

Духовенство на Соловках делилось на «сергианское», принявшее декларацию митрополита Сергия о признании Церковью Советской власти, и «иосифлянское», соглашавшееся с митрополитом Иосифом, не признавшим декларации. Иосифлян было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами. И здесь дело не только в обычном радикализме молодежи, но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял удивительно привлекательный владыка Виктор Вятский (Островидов). Он был очень образован, имел печатные богословские труды, но видом напоминал сельского попика. Встречал всех широкой улыбкой (иным я его и не помню), имел бороду жидкую, щеки румяные, глаза синие. Одет был поверх рясы в вязаную женскую кофту, которую ему прислал кто-то из его паствы. От него исходило какое-то сияние доброты и веселости. Всем стремился помочь и, главное, мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его слову верили. Служил он бухгалтером в Соловецком совхозе. Они вдвоем с отцом Николаем Пискановским и уговорили А. Н. Колосова взять меня в Криминологический кабинет, а когда зимой 1929 г. я вернулся из сыпнотифозной «команды выздоравливающих», присылал мне через Федю Розенберга понемногу зеленого лука и сметаны. До чего этот лук со сметаной был вкусен! Однажды я встретил владыку (между собой мы звали его «владычкой») каким-то особенно просветленным и радостным. Это было на площади у Преображенского собора. Вышел приказ всех заключенных постричь и запретить ношение длинных одежд. Владыку Виктора, отказавшегося этот приказ выполнить, забрали в карцер, насильно побрили, сильно поранив лицо, и криво обрезали снизу его одежду. Он шел к нам с обмотанным полотенцем лицом и с улыбкой рассказал, как его волокли в карцер стричь, связали, а он требовал, чтобы сперва обрезали длинную «чекистскую» шинель (на манер той, в которой был изображен на Лубянке Дзержинский) у волочившего его в карцер конвоира. Думаю, что сопротивлялся наш «владычка» без озлобления и страдание свое считал милостью Божьей.

Кстати, именно «владычка» взял к себе в Сельхоз Михаила Дмитриевича Приселкова, когда, вырученный нами из карантинной роты, он отказался работать в Соловецком музее («за занятие историей меня уже сажали...»).

Умер владыка вскоре после «освобождения» в ссылке в Архангельской области, куда был отправлен после лагеря, в крайней нищете и мучениях.

Другим светлым человеком был отец Николай Пискановский. Его нельзя было назвать веселым, но всегда в самых тяжелых обстоятельствах излучавшим внутреннее спокойствие. Я не помню его смеющимся или улыбающимся, но всегда

встреча с ним была какой-то утешительной. И не только для меня. Помню, как он сказал моему другу, год мучившемуся отсутствием писем от родных, чтобы он потерпел немного и что письмо будет скоро, очень скоро. Я не присутствовал при этом и не могу поэтому привести здесь точных слов отца Николая, но письмо пришло на следующий день. Я спросил отца Николая — как он мог знать о письме? И отец Николай ответил мне, что он и не знал, а так как-то «вымолвилось». Но таких «вымолвилось» было очень много. У отца Николая был антиминс, и он шепотом совершал впоследствии литургию в шестой («священнической») роте. Кладбищенская Онуфриевская церковь принадлежала «спецам»-монахам, заключившим трудовое соглашение с лагерем, и была сергианской. Духовенство из шестой роты в нее не ходило. Рассказы о том, что в монастырской церкви служили чуть ли не двадцать епископов, неверны. Разрешение заключенным посещать за пределами Кремля церковь давалось не чаще двух раз в год по предварительной записи. Не знаю, как было до раскола православной церкви, — может быть, и правила посещения были другими. Отец Николай был измучен предшествующими арестами и ссылками, был немощен и работал некоторое время в сетевязочной мастерской. Изредка приглашал нас, молодежь, к себе в барак, когда получал «рыбку» — знаменитые соловецкие селедки, ради которых и держали в монастыре некоторое количество монахов-рыболовов.

Отец Николай знал, что его жену также арестовали, и очень беспокоился о детях: что если возьмут в детдом и воспитают атеистами! И вот, когда его вывозили из лагеря, в Кемперпункте он стоял в мужской очереди за кипятком. С другого конца к тому же крану подходила женская очередь. Когда отец Николай подошел к крану, он увидел у крана свою жену. Их заслонили заключенные (разговаривать мужчинам с женщинами было строго запрещено), и отец Николай узнал радостную для него весть — детей взяли верующие знакомые. Дочь отца Николая жива, живет в Борисоглебске (Тутаеве). Сын умер.

Жизнь отца Николая была сплошным мучением, а может быть, и мученичеством. Недавно я получил от родных батюшки краткое жизнеописание, написанное просто и фактично. Поразительно похоже по сообщаемым фактам и по стилю на «Житие» протопопа Аввакума.

Лагерное начальство не различало иосифлян и сергианцев — всех равно мучили. Несколько иной была судьба католического священства. За них заступались из-за рубежа, и хотя жили они до середины 1929 г. в той же шестой роте, были освобождены от работ и потом жили на Анзере в плохих условиях, но все-таки все вместе, без «урока». Молодежи вокруг них не было.

Николай Николаевич Горский

Заходил в Кримкаб и красавец Николай Николаевич Горский — бывший морской офицер, работавший на кирпичном заводе. В свое время он учился в Морском корпусе вместе с будущими писателями Колбасевым и Соболевым. Первого хвалил, второго бранил. За что, точно не помню. Не буду писать, чтобы не усложнять историю советской литературы неточными сведениями, тем более что и сам Николай Николаевич мог ошибаться. По окончании корпуса Николай Николаевич служил на одном из дредноутов — «Петропавловске» или «Севастополе». При наступлении Юденича дредноут Горского стоял на Неве и был отдан приказ стрелять по расположению войск Юденича, но координаты расположения были даны с опозданием. Юденич уже стал отступать, и несколько тяжелых снарядов попали по наступающим красным. Разумеется, был «открыт» заговор. Часть команды расстреляли, а Горский, не имевший отношения к артиллерии, получил 10 лет. За точность этих сведений не ручаюсь: в лагере не было принято расспрашивать о «делах» друг друга.

Горский был прекрасно воспитан, а старое воспитание заключалось еще и в том, чтобы уметь вести занимательный разговор и хорошо писать письма. То и другое очень помогало Николаю Николаевичу в жизни. Мы все в Кримкабе охотно принимали Горского и охотно выслушивали его, особенно по темам, в которых сами не разбирались: он был разносторонне образован, интересовался всем.

На своем кирпичном заводе Горский жил семейной жизнью с какой-то, как он ее называл, «воровочкой». Когда десятилетний срок его подходил к концу, он стал пользоваться большим доверием начальства, как заключенный, которому нет смысла бежать, и ему поручили командовать небольшим суденышком «Пионер». Кстати, его однодельцу Пуаре дали большой буксир «Неву», которым он продолжал управлять уже освободившись, пока его «Нева» не опрокинулась на крутой волне и он не погиб вместе со своей огромной любимой собакой, охранявшей его от команды, состоявшей из уголовников.

На своем «Пионере» Горский часто бывал в Кеми и женился там на сестре жены Юрия Михайловича Айзеншток-Камбулова — вернувшегося в Советский Союз бывшего секретаря Маклакова в Париже. Камбулов — это приставка к его фамилии, когда он женился на Камбуловой, настоящая же его фамилия только Айзеншток. Это был крещеный еврей и, как он уверял, дворянин (единственный случай в своем роде). Он был необыкновенной красоты. Глядя на него, казалось — такого не бывает. Слушать его рассказы о его любовных похождениях в Париже было совершенно невозможно из-за их циничности. Впрочем, он не заслуживает подробного рассказа, поэтому возвращаюсь к Горскому.

Женившись в Кемии на сестре жены Айзенштока, Горский ушел в рейс и сделал так, что застрял на своем «Пионере» с женой во льдах где-то около Муксалмы — тем самым он увеличил себе отпуск, полагавшийся по лагерным правилам молодоженам.

После уже он ходил вокруг Кольского полуострова в Мурманск, и команда уголовников подняла против него бунт: донесли на него, что он хочет увести суденышко в Норвегию. Горский оправдался, что было в тех условиях далеко не просто.

Одним словом, поговорить с ним, когда он приходил к нам в Кримкаб, было о чем.

В дальнейшем я с ним постоянно встречался — и до войны, и после. Об этом потом.

Георгий Михайлович Осоргин

Зрительная память хорошо сохранила мне внешность и манеру держаться Георгия Михайловича Осоргина. Среднего роста блондин с бородкой и усами, всегда по-военному державшийся: прекрасная выправка, круглая шапка чуть-чуть набекрень («три пальца от правого уха, два от левого»), всегда бодрый, улыбчивый, остроумный, — таким он запомнился мне на всю жизнь. С ним была связана и распространенная потом в лагере шутка: на вопрос «как вы поживаете?», он отвечал: «А лагерь ком а лагерь», переиначив известное французское выражение «а la guerre comme а la guerre» («на войне как на войне»). Он работал делопроизводителем санчасти, и я его часто встречал снующим между санчастью и зданием Управления СЛОН на пристани, на дорожке между кремлевской стеной и рвом. Он многое делал, чтобы спасти от общих работ слабосильных интеллигентов: на медицинских комиссиях договаривался с врачами о снижении группы работоспособности, клал многих в лазарет или устраивал лекпомами (лекарскими помощниками, фельдшерами), для чего нужно было иногда знать только латинский алфавит и отличать йод от касторки: медицинского персонала и лекарств в лагере не хватало, — был даже такой случай, когда лекпом, желая получше вылечить одного заключенного, обмазал все его тело йодом, и тот умер. Осоргин был глубоко религиозным человеком, записывался на Рождество и на Пасху в ИСЧ (Информационно-следственной части) для получения пропуска на богослужение в церкви (записавшихся строем водили в кладбищенскую Онуфриевскую церковь, оставленную для нескольких монахов-рыболовов). Церковь была сергианской, и подавляющее большинство заключенного духовенства в нее не ходило, не записывалось на ее посещение.

Осенью 1929 г. перед известным расстрелом 28 октября его забрали в карцер, но по обычной лагерной неразберихе к нему на свидание приехала жена, и в

Кеми это свидание было ей разрешено. А дело было, очевидно, в том, что инициатива ареста Георгия Михайловича принадлежала островному начальству — именно они его ненавидели, их раздражала независимость, бодрость, несломленность. Начальство на Острове не согласовало своего намерения расстрелять Георгия Михайловича с начальством на материке.

Все мы в Криминологическом кабинете были крайне взволнованы арестом Георгия Михайловича, и вдруг я встречаю его на дорожке вдоль кремлевской стены под руку с дамой чуть выше его ростом, элегантной брюнеткой, и он представляет ее — жена, урожденная Голицына. Ничто в нем не говорило о том, что он только что выпущен из карцера, — бодрый, веселый, чуть ироничный, как всегда. Оказалось потом, что начальство, смущенное приездом жены на свидание по разрешению более высокого начальства, выпустило Осоргина под честное слово офицера на срок чуть меньший (меньше оставалось дней до назначенного расстрела), чем полагалось для свидания, с условием, что он ничего не скажет жене о готовящейся ему участи. И Георгий Михайлович слово сдержал! Она не знала о том, что он приговорен к смерти островными начальниками. Вернулась в Москву и уехала вскоре в Париж (тогда любому советскому гражданину можно было купить за валюту паспорт).

О расстреле Георгия Михайловича я рассказал его сестре Софии Михайловне в Оксфорде в 1967 г., куда я ездил для получения почетной степени доктора Оксфордского университета. Софья Михайловна и вдова Георгия Михайловича, вторично вышедшая замуж в Париже, были убеждены, что Георгий Михайлович умер своею смертью.

София Михайловна в Оксфорде дала мне на память копию письма Георгия Михайловича из тюрьмы, написанного родным на Пасху.

Мое свидание с Софией Михайловной в Оксфорде не обошлось без некоторой неловкости. Я говорил Софии Михайловне, что Георгия Михайловича уважали даже уголовники, и рассказал о случае, о котором говорил мне сам Георгий Михайлович. В один из промежутков между своими многочисленными пребываниями в московских тюрьмах он ехал однажды в трамвае и встретил карманника, с которым как-то сидел. Карманник спросил его, как он живет. Георгий Михайлович сказал, что женился. Карманник поздравил его, обнял, а когда Георгий Михайлович вернулся домой, то обнаружил у себя в кармане золотые часы. Зная любовь уголовных ко всякого рода «форсу», я ничуть не удивился рассказу Георгия Михайловича. Но на Софию Михайловну в Оксфорде этот рассказ произвел неприятное впечатление. Она запротестовала: «Этого не могло быть!» Тщетны были мои попытки объяснить, что Георгий Михайлович ничуть не был виноват в случившемся и, наверное, распорядился затем «подарком» с какою-нибудь благотворительной целью.

Александр Елеазарович Македонский

Так называла его вдова, с которой я только год назад познакомился. А мы звали его Александр Лазаревич Македонский или совсем просто Александр Македонский. Это был удивительный человек. Он рассказывал, что был в черных гусарах у Колчака, и этим, а, может быть, еще и своей фамилией, вызывавшей к нему сразу же любопытство, он был «ушиблен» на всю жизнь.

Он все время ощущал себя черным гусаром, носил черные галифе и высокие щегольские сапоги. Постоянно смотрел вниз на свои ноги, но не потому, что любовался начищенными голенищами и отлично сшитыми галифе, а из-за того, что был чрезвычайно близорук и боялся споткнуться. Под конец жизни, как рассказывала мне его вдова, он совсем ослеп. Как он мог стать гусаром, непонятно, но все ж таки это был факт. И напевал он себе под нос известную в то время песенку: «Марш вперед, всегда вперед, черные гусары», — и этим поднимал себе настроение, в чем нуждался, ибо был он великий пессимист и всегда видел впереди только худшее из возможного.

Впрочем, он писал стихи и этим утешался. Поэзия была его единственным стимулом к жизни. С ним было просто беседовать. Иногда только в середине разговора прорывалось: «А там чуть подняв занавеску...» или «лишь пара голубеньких глаз...» Но нить разговора он не терял. Загадочный человек. И почему он попал к Колчаку? Я стеснялся его об этом спросить. Лошадей он любил, по лошадям скучал.

Эдуард Карлович Розенберг

Моим самым большим и, пожалуй, единственным настоящим другом был Эдуард Карлович Розенберг. Самый жизнерадостный и веселый человек, которого я только знал.

Он был среднего роста с большой головой и большими ступнями ног, на которых помню как характерную деталь остроносые туфли модного в 20-х гг. фасона «джимми». Само собой разумеется, этих туфель не было в лагере, но в чем он там ходил — не помню (я запоминаю только характерное). А на большой голове с большим умным лбом лицо излучало с трудом сдерживаемую улыбку. Он улыбался не только губами, но всем лицом, а губы он, напротив, сдерживал, чтобы унять улыбку, и было такое впечатление, что он улыбается с набитым ртом — набитым смехом, готовым прорваться. Он был великим мистификатором, создателем нашей второй жизни в Космической Академии — с гимном, гербами, тросточками, штрипками на брюках, совместными прогулками, культом пушкинского Лицея. Один из наших «конференц-залов» и помещался на Лицейской улице, а обещать друг другу вечную дружбу мы ходили на Парнас в Александровском

парке в Царском Селе, где у нас был на самой вершине заветный пенёк столетнего дуба. Он изучал самостоятельно латынь и греческий (ему помогал Андрюха Миханьков), легко знакомился, легко переносил тяготы своей неустроенной жизни, а тягот у него было много, и наиболее тяжёлая — нараставшая глухота. Глухота! — это ему-то с его общительностью!

Сам он был из Петергофа. Отец его был директором императорской аптеки, типичный немец — полный, аккуратный, спокойный, как и многие аптекари. Мать — финка, — сперва лютеранка, потом перешла в православие. Эдуард не был похож на немца — разве только своей необыкновенной, чисто немецкой, аккуратностью. Зато его старший брат Вольдемар (Володя) был немцем и по внешности, и по привычкам. Был брат заядлым яхтсменом, что позволило ему стать перед арестом преподавателем парусного дела в каком-то мореходном училище.

Вольдемар был любимцем отца. Федю отец не любил, и когда после 1917 г. аптека из «императорской» стала заурядной, городской и у отца убавилось жалованья, Феде пришлось, ещё учась в Петергофской гимназии, зарабатывать на жизнь ночными дежурствами на телеграфе. Жизнь осложнялась ещё ссорами отца с матерью, которая перешла в православие. Федя (я потом объясню — почему я его называю Федей, а не Эдей) любил отца, но больше любил мать, понимал ее несчастье. По окончании гимназии, ставшей «единой и трудовой» советской школой, Федя нанял с братом две комнаты в Ленинграде на Зверинской улице и стал работать в Финансовом управлении на Канале Грибоедова (не знаю точно названия института, помещавшегося в здании б. Государственного банка). В свободное время он ходил на лекции и заседания в Институт истории искусства на Исаакиевской площади. Именно в этот период (примерно в 1926 г.) по его идее и его инициативе стала организовываться Космическая Академия Наук — шуточный кружок восьми друзей, к которым присоединился я уже в 1927 г. С этого года я начинаю счет нашей дружбы.

Сам он занял в КАНе «скромное» место секретаря византийского государства, хранителя хартий — «хартофилакса». Не исключено, что в этом он иронически передразнивал государственную и партийную организацию нашего Союза.

До нашего ареста он заходил ко мне редко, так как мы жили в доме Первой государственной типографии (теперь — «Печатный Двор») и вход к нам был связан с оформлением пропусков.

Веселые люди часто бывают поверхностными. Федя не был поверхностным. Он в высшей степени серьезно относился к своей и окружающей жизни, любил помогать. Его касались все мелочи. В частности, когда я стал семейным человеком, он очень хотел, чтобы мы пожили на даче в обстановке немецкого

дома, подыскивал нам дачу в немецких домах Старого Петергофа в Луговом парке. Мы с Зиной ездили смотреть одно из таких предложений: большую гостиную комнату, полную вышивок, занавесочек, тарелочек с видами Петергофа и Германии; и столетний попугай, который говорил по-немецки и должен был оставаться жить с нами. Другой раз мы ездили с ним и с Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским в Новгород. Ездили на моторной лодке Фединого приятеля в Новгороде к Николе Липному, в Хутын, ходили в Волоотово, в Юрьев монастырь. У Феда к тому времени был уже фотографический аппарат. Он много снимал, инсценировал сценки нашего «пьянства» (на самом деле в кружках у нас было молоко).

Я все мечтал, чтобы он покатал нас на яхте в Петергофе, но так он и не успел этого сделать.

Ходил он на заседания Хельфернака к Андреевскому, а в дальнейшем и на два-три заседания «Братства Серафима Саровского». Его мать, перешедшая в православие, к этому времени умерла, и он тяжело переживал свое сиротство. На похоронах матери произошла ссора между православным священником и лютеранским пастором — кому отпевать. Формально должен был священник по православному обряду. Так в общем это и было сделано. Естественно, что Федя интересовался вопросами веры, к тому же в период усилившихся гонений на церковь. В 1927 г. Федя решил принять православие. Для этого не надо было креститься вновь, достаточно было совершения чина миропомазания. Ясно помню его в церкви Дома для престарелых артистов на Петровском острове, где служил всеми нами любимый отец Викторин, причисленный к лику святых зарубежной церковью после своей мученической кончины в Сибири. Федя страшно волновался, не мог расшнуровать ботинки, чтобы отец Викторин помазал миром его ноги. Имя Федор ему было дано случайно самим отцом Викторином. Мы звали его тогда Эдей, а отцу Викторину слышалось Федя. Имя Федор необыкновенно подошло к Эдуарду. Не знаю почему. Федя усердно посещал православные службы, знакомые ему с детства. Всегда искренний до предела, он не скрывал своего перехода в православие на службе. Софья Марковна Левина, его сослуживица, охотно перепечатывала для Братства все церковные материалы — в частности, и «Послание соловецких епископов», направленное против угоднической политики митрополита Сергия.

На Соловках мы с Федей жили вместе в соловецком кремле, сперва в одних ротях (13-й, 14-й и 3-й), а потом и в одной камере. Он рано уходил на работу и поздно возвращался. Я тоже много работал. Случалось, что мы не виделись друг с другом по несколько дней. Мы берегли время, чтобы спать. Приходилось

переписываться друг с другом, и Федя всегда находил оригинальные способы этой переписки. То он, возмущенный моей неаккуратностью, писал на оставленной немытой моей эмалированной кружке прямо по налету от какого-то плохого чая: «Моется только чаем». То я получал приколотую к одеялу записку в стихах. Начало одного стишка я помню: «Отощавши вовсе животишком, одолжить прошу одним рублишком...» Дальше следовало какое-то шуточное продолжение. Федя работал под началом главного бухгалтера Соловецкого сельхоза владыки Виктора Островидова, которого он ласково называл «владычкой» и который отвечал Феде тоже любовью. Иногда «владычке» удавалось выписать Феде зеленого лука или немного сметаны. Федя неизменно делился этим и со мной, и с некоторыми другими обитателями нашей камеры. До сих пор мелко нарезанный зеленый лук со сметаной кажется мне царским блюдом.

Бардыгин

Я не помню ни его имени, ни отчества. Жил он в 4-й роте, которая углом примыкала к моей 7-й. Работал на какой-то канцелярской должности, отнимавшей у него много времени. Вечерами он писал — в людной комнате на своем топчане, служившем ему не только постелью, но и письменным столом. Помню его серое одеяло, его многолиственную рукопись. Его философских рассуждений я не понимал, но понимали Мейер, Гордон. Они с глубоким уважением относились к нему, годившемуся им в сыновья. Куда и когда он исчез из четвертой роты, не знаю, не помню. У него было очень бледное лицо и какой-то особенный взгляд. Он совершенно не интересовался политикой, не жаловался, никого не бранил. К происходящему вокруг относился с полным равнодушием. Сейчас, вспоминая Соловки, я прихожу к выводу: среди всех думавших людей он был самым независимым от внешних обстоятельств. Если бы пришлось мне назвать людей, крепче всех сопротивлявшихся не только советской власти, но просто «духу времени», то это был Бардыгин. Все мы в той или иной мере были сломлены — и Мейер, и Андреевский, и Сухов, и Колосов. Мы были сломлены хотя бы потому, что значительную часть своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему, — мы возражали, возмущались и т. д. Мы были диссидентами тех времен. Бардыгина же ничто не касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный мир. Он не устаивал своим вниманием ни то, что с ним происходило, ни тех, кто мешал жизни его внутреннего мира.

Всякий борющийся за свою независимость уже тем самым зависим. Для Бардыгина же просто не существовало ничего, что было вне его исканий, и его общение с окружающими его философами и духовными лицами не выходило за рамки его внутреннего мира. Он был непобедим, а поэтому, мне кажется, более всего опасен для властей.

Владимир Юльянович Короленко

В 1931 г. на горизонте Кримкаба появился Владимир Юльянович Короленко. Передо мной стоит лицо — чуть ироническое, готовое к общению, но далеко не полному. Характерный рот, который напоминал мне нос лодочки или горлышко сосуда, готового пролиться каким-нибудь интересным рассказом, — рассказом, но не беседой, не задушевными размышлениями. Была в нем какая-то невидимая стена, за которую он не пускал к себе собеседника. В сущности, знали мы о нем только два факта: что приходился он писателю В. Г. Короленко племянником и что был он по профессии юристом. На левой руке у него не хватало безымянного пальца, и вся кисть левой руки от этого была очень выразительной: клешня? Когда он что-нибудь рассказывал из своего адвокатского опыта и, жестикулируя, опускал левую руку, — это означало, что он ставил окончательную точку в своем рассказе. А рассказы его всегда имели заключение: вероятно, подводить заключение — адвокатская привычка. В Кримкабе он чаще всего забегал к Юлии Николаевне Данзас. Эти два скрытных человека находили общие точки общения в какой-то верхней, «светской» части. Ю. Н. Данзас была рада ему, ибо чувствовала себя с ним спокойно — он не растревожит в ней того, к чему ей не хотелось допускать собеседника и куда постоянно пытался по своей невоспитанности забраться Володя Раздольский.

Ко мне Владимир Юльянович питал дружеские чувства. У него тоже, как и у меня, был пропуск «по всему острову», и он часто сговаривался со мной на совместные прогулки. Чаще всего мы ходили с ним по Савватиевской дороге. Зимой он носил серую каракулевою ушанку не совсем обычного фасона. Никто другой, казалось, не мог иметь такой. Она была частью его личности. Странно? Но это так.

Он тоже любил мальчишеские забавы. Я, вспоминая свое детство на Финском заливе, любил «печь блины» плоскими камушками. И мы соревновались с ним — кто больше их выпечет. Не помню — кто из нас побеждал в этом занятии. Ему было лет 50, не меньше, но ловкости в этом занятии было немало. Помню один вечер на Савватиевской дороге. Мы дошли до ближайшего тихого, скрытого от ветра густым лесом озера. Была поздняя осень. Вода покрывалась тонким льдом. Темнело. Ледяная поверхность казалась черной. Если пустить камешек по поверхности льда, он скользил по ней необыкновенно далеко, исчезал бесследно. Мы увлеклись этим занятием, а когда почти совсем стемнело, стали бросать камни вверх. Они падали отвесно вниз, пробивали лед. Подо льдом образовывался белый пузырь воздуха,

который начинал уходить от берега, пока не исчезал, достигнув чистой воды. Это было волшебство успокоения. Казалось, что мы освобождаем эти белые существа, образовывавшиеся под черной поверхностью молодого льда. Вернулись мы в Кремль совсем поздно, вопреки всем правилам, предоставлявшимся нам нашими пропусками, но часовой в черных обшлагах рукавов, черном воротнике на шинели и с черным околышем на фуражке оказался к нам милостивым. Счастливая прогулка и закончилась счастливо: нам не грозили карцером...

У Владимира Юльяновича приговором был расстрел с заменой десятью годами. Поэтому он не подлежал вывозу с Соловков. Меня же стали требовать друзья в Медвежью Гору как «незаменимого» счетного работника, в которых была большая нужда.

Мы решили увековечить свое пребывание на Соловках. Короленко достал молоток и зубило, и мы отправились в лес по Муксаломской дороге искать подходящий камень, чтобы выбить наши фамилии. Камень нашли направо от дороги. Местность была холмистой. Холмы были длинные, и между длинными холмами тянулось длинное узкое озеро. На самой высокой точке одного из холмов лежал валун. Помнится, в длину метра три-четыре (это очень приблизительно), а в высоту достигавший наших плеч (это уже более точно). Мы стали выбивать наши фамилии. Работа была тяжелой. Были мы там дважды. Успели выбить: «Корол» — сверху и «Лихач» снизу — величина букв примерно с ладонь.

Когда в последний раз я вернулся в Кремль, я узнал, что меня вызывают на этап. На этот раз удачно: меня вывезли в Кемь. У меня уже был изготовлен «чемодан» — из фанеры, обтянутой краденой простыней, и покрашенный в коричневый цвет. Чемодан оказался очень прочным. Он сохранялся у нас и после блокады, служа моей матери.

Очень я жалел, что не удалось нам добить наших фамилий, и просил закончить работу Владимира Юльяновича. Впоследствии он сообщил мне через кого-то на Медвежью Гору, что надпись закончил.

А на Медвежьей Горе мне рассказали, почему у Владимира Юльяновича нет пальца. Он сам отрубил его, раскаиваясь в том, что на следствии кого-то оговорил, или что-то подписал, или как-то иначе вел себя недостойно. Вот почему он был замкнут и часто повторял, что по освобождении будет добиваться службы смотрителем на маяке вдали от людей...

Что бы там с ним ни было, мне его очень жаль, и я благодарю его за то, что в моем обществе он находил некоторое утешение...

Несколько отрывочных воспоминаний

Не подумайте, что Кримкаб, Музей и Солтеатр были единственными местами, где встречались для мировоззренческих разговоров соловецкие заключенные. Познакомился я с молодым человеком (лет 25) Чеховским (забыл его имя и отчество), работавшим на Сортоиспытательной станции (теперь на этом месте аэродром). Он пригласил меня к нему зайти. Было это летом 1929 года. Я поднялся к нему на второй этаж, и за чаем из каких-то листьев он неожиданно спросил меня, как я отношусь к масонству. Я ответил, что знаю о нем очень мало. Он пригласил приходить, чтобы узнать больше, но я, к счастью, отказался.

В разгар создания якобы существовавшего на Соловках заговора «с целью захвата Соловков и последующего свержения советской власти в стране» осенью 1929 г. я встретил между Никольскими и вторыми воротами партию «заговорщиков», которых бегом гнали с допроса в здании УСЛОНа назад в карцер. Конвоиры кричали, щелкали затворами, приказывали всем встречным не двигаться. И вдруг один из гонимых, в котором трудно было узнать еще молодого человека, поздоровался со мною одними глазами. Меня осенило — это Чеховский. Я снял свою студенческую фуражку и низко поклонился ему вслед. Видимо, донесли. Именно этому я приписываю запись на моем деле: «Имел связь с повстанцами на Соловках».

В моих записках, которые я начал делать на Соловках, написано, что где-то около той бухты, у которой меня ловил Дегтярев, находятся могилы «оперированных», т. е., по соловецкой терминологии тех лет, расстрелянных поодиночке. «Операции» происходили днем, жертве сцепляли руки сзади проволокой, быстро два охранника волокли под руки под колокольню (все движение людей на это время во дворе Кремля приостанавливали), две «маслины» (пули) на каждого расстреливаемого, потом приезжала лошадь с ящиком, грузили мертвецов и вызывали женщин мыть лестницу, ведущую вниз, и все остальное. Понурая лошадь везла трупы в сторону «Переговорного камня». И все!

Запомнилась фамилия командира особого отряда, производившего одиночные расстрелы шпаны, — Чернявский, с тяжелым голосом и в щегольских сапогах. Им, между прочим, был расстрелян и мальчишка лет тринадцати, с которым не смогли справиться охранники.

В записях у меня еще значится: «Дело “соловецкой промпартии”. Подделка талонов сухопайщиков. Добавка Гессену: расстрел. Мои покупки с Раздольским сухого пайка. Скрывали в роте. Жарили рыбу на постном масле. По жребию тянули, я ходил получать. Интерес в роте. Запах у Квасоваренного корпуса затхлой рыбой». Сейчас я уже не могу расшифровать точно все, что здесь, в этой

записи, значит, но видно, что мы очень рисковали «попасть в ящик», не зная точно — поддельные наши талоны на сухой паек или настоящие. Но голод вынуждал нас идти на риск. О «запахе» затхлой рыбы могу сказать только, что чаще всего кормили нас испорченной треской. Об этом пелось и в «Соловецком обозрении» Бориса Глубоковского:

*Соблюдая кодекс трудовой,
Охраняет нас милый конвой,
И от нежной, душистой трески
Соловчане не знают тоски.*

Тоска от однообразной и грубой пищи была действительно невыносимой. Случалось, и рвало.

Наряду с православным духовенством в 1928—1929 гг. в шестой роте было довольно много ксендзов. В отличие от православных священников им разрешалось служить в камере, а потом предоставили для службы часовню Германа в лесу. Многие из них работали в прачечной, где они командовали прачками — в основном проститутками. Держались они с большим достоинством, и проститутки их уважали. В 1929 г. им предоставили статус политзаключенных и освободили от работы. По этому статусу жили и анархисты на Большом Муксаломском острове в относительно сносных условиях, а ксендзов отправили жить на «командировку» Троицкая, что на Анзере. На Анзере я был, собирая подростков в Трудколонию, и, проходя мимо их обиталища, встретил ксендзов, везших в телеге бочку с водой. Они обслуживали сами себя.

О ксендзах в России, в Сибири и на Соловках довольно много написано в книге, уже упоминавшейся выше, диакона Василия ЧСВ (фон Бурмана) со слов Юлии Николаевны Данзас. Их обособленное существование делает их мало интересными для моих воспоминаний. Отмечу только то, о чем не говорит Данзас, — положение на Соловках католического духовенства было значительно лучше православного. Считалось, что русское духовенство имело право ходить в монашескую Онуфриевскую церковь по особым спискам, заготовлявшимся заранее в Адмчасти. Ходили в Онуфриевскую церковь только те заключенные, которые, не очень разбираясь в церковных делах, просто не могли обходиться без церковной службы. К таким принадлежал, между прочим, и Георгий Михайлович Осоргин, друживший, впрочем, с владыкой Виктором Островидовым...

Даже находясь в относительно сносных условиях в Кремле, в каменных помещениях, оставленных нам монахами, мы постоянно испытывали беспокойство. Информационно-следственная часть (ИСЧ) все время создавала разные дела: политические и уголовные. Людей забирали за лишний кусок хлеба, за «невыход

на работу», за отказ спиливать кресты на кладбище под бравурные звуки духового оркестра «музыкантской команды» 7-й роты. Когда я болел (это случалось, слава Богу, редко), можно было с ума сойти от полковых маршей, самозабвенно репетировавшихся бывшими офицерами царской армии.

Летом шли этапы — то на материк, то вглубь острова или на другие острова: Муксаломские, Большой Заяцкий, Анзер. Я держал вещи наготове, так как время на сборы не давалось. Кричали «Вылетай пулей с вещешками» и медливших били «дрынами» (палками для битья). На всякий случай научился быстро одеваться, для чего, ложась спать, оставлял кальсоны в брюках, рубашку в толстовке. Главное внимание — портянкам, надо было правильно надеть их без натирающих ноги складок.

Постоянное беспокойство быть вызванным на этап ослабевало только с закрытием навигации. Ослабевали тогда и внутриостровные перемещения.

Отъезд с Соловков

Летом 1931 г. начался вывоз «рабсилы» из Соловков на неофициально начавшееся строительство Беломоро-Балтийского канала. При отправке учитывалось — сколько осталось до конца срока. С Соловков уехали Владимир Раков, Федя Розенберг и многие другие. Меня не трогали. Не было уже к тому времени ни А. А. Мейера, ни К. А. Половцовой, ни А. П. Сухова. Жизнь стала очень тоскливой. Вывезли даже колонию малолетних преступников. Исчез как-то Иван Яковлевич Комиссаров — король урок на Соловках, впоследствии оказавшийся воспитателем в известной Колонии для малолетних преступников в Болшеве.

Федя на Медвежьей Горе оказался сразу на хорошей счетной должности, так как нужда в квалифицированных бухгалтерях в лагерях всегда была острой. Он слал мне вызов за вызовом как «крупному специалисту-бухгалтеру», чтобы вести главную картотеку Беломорстроя. Меня стали вызывать на этап. Внизу в музыкантской команде вызвали ехать вместе со мной трубача Владимира Владимировича Олохова — бывшего полковника Семеновского полка. Музыканты провожали Олохова торжественно. Произносились речи, сыграли марш «Старые друзья» (так, кажется, назывался марш, который был одним из популярных маршей старой армии, но под другим названием). Единственную на Соловках лошадь, которая возила трупы, запрягли, и она повезла наши пожитки (были и другие отправляемые). Корзины к этому времени у меня уже не было (украли), а приготовлен был фанерный чемодан. Чемодан оказался таким прочным, что он не разбился, когда упал с самой верхушки воза. Нас привели в карантин, раздели, посадили голыми в Бане № 2 ждать, когда вернут из вошебойки нашу одежду. Ждали несколько часов. Из музыкантской команды принесли нам еду. К вечеру объявили: «Назад

по камерам». Мы прожили две недели (примерно), и снова вызов, снова речи (но уже покороче), и снова марши. Снова баня, и снова команда: «Назад по камерам»: ИСЧ (Информационно-следственная часть) нас не пускала.

Я рассказывал уже выше, как мальчик из ИСЧ пригласил меня вечером и показал мне мое дело, поверх которого стояла надпись: «Имел связь с повстанцами на Соловках».

По третьему вызову, на который мы с Владимиром Владимировичем отправились уже без речей и маршей, нас все-таки отпустили на материк. С Владимиром Владимировичем Олоховым я впоследствии встретился в Ленинграде на Каменноостровском проспекте. Его вел под руку молодой человек. Владимир Владимирович был совершенно слеп. Жена его умерла, он жил у дочерей. Дочери перед самой войной, когда изменилось отношение к русской армии, вернули хранившееся у них знамя Семеновского полка. Его спас Владимир Владимирович в 1917 г., когда произошел развал армии. Владимир Владимирович обмотал его вокруг себя и вывез с фронта: так он мне рассказывал.

Снова пароход «Глеб Бокий», но уже не загоняли в трюм: народу было сравнительно мало. Передо мной разворачивалась панорама Соловков с Секирной горой. Мы проехали мимо Кузовов, на которые я обычно смотрел, поравнявшись со Сторожевой башней, когда шел на работу. Два или три раза я видел миражи с этими островами: они поднимались над горизонтом и казались ближе, чем были на самом деле.

В Кеми пришлось ночевать на Вегеракше (как объяснили мне, название это означало по-фински «жилище ведьм») — в страшном месте — по чинившимся там беззакониям. Утром нас посадили в классный вагонзак с полками в три этажа. Я залез на самую верхнюю, чтобы спать... Утром через сутки нас привезли в Медгору.

Медвежья Гора встретила нас солнцем, которого мы давно уже (с лета) не видели на Соловках, и чистым, только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении. Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 1932 г. 8 августа я был и в самом деле освобожден.

Нас привели в лагерь около Онежского озера, построили на площади среди бараков, и вдруг я услышал приветливый женский голос, который выкликнул: «Дима Лихачев!» Услышать такой вызов из этапа в лагере, я думаю, редко кому удавалось. Это была подчиненная Феди Розенберга, который позвонил в лагерь из Управления строительством и велел отвезти меня в барак. Мне дали верхнюю полку на нарах «усовершенствованной» вагонной системы, но как раз под трубой от времянки; трубу этой времянки в холодные ночи раскаляли так, что она

становилась красной, и мне приходилось закрываться от нее своей шубой и не спать от жары. Зато утром я умывался по-царски. На улице стояли железные рукомойники, в которых вода за ночь иногда замерзала. Я раздевался до пояса и наслаждался холодом, воздухом, светом.

Мне был выписан пропуск, по которому я ходил через «вольную» часть Медгоры в здание Управления. Там встретил меня Федя, усадивший меня за главную картотеку строительства Беломорканала, — усадивший, но приказавший не работать. Первые дни он делал всю работу за меня, оставаясь на вечерние часы, а затем разрешил кое-что делать и мне при условии не прикасаться к счётам, чтобы во мне не узнали новичка. «Опытный счетный работник на счетах как играет», — сказал мне Федя. Жил Федя в сравнительно приличных для лагеря условиях: недалеко от здания Управления был хороший барак с топчанами. Я ходил к нему обедать с Володией Раковым. Раков обычно и готовил. Мы ели на топчане у Феде из общей кастрюльки. Недалеко, помню, был топчан бывшего бухгалтера Михайловского театра в Ленинграде немца Коппе. У него была даже мясорубка. Федя часто обращался за хозяйственными предметами к «Коппочке», как он его называл. В том же бараке я видел певца Ксендзовского, министра Временного правительства Некрасова, скрипача Хейфица. Про последнего говорили, что он брат уехавшего в США пианиста. Я помню его стоящим на крыльце барака. У него был надменный вид. Он был худ и высок ростом.

Был ли он братом знаменитого пианиста на самом деле, я так и не дознался.

На работу я обычно приходил на полчаса раньше времени. В просторных помещениях Управления перед началом работы пел чудный тенор. Это так было замечательно: услышать настоящую музыку после нескольких лет военного оркестра, репетировавшего очередной марш как раз под моей камерой в 7-й роте.

Пропуск давал мне возможность уходить в «вольную» часть Медгоры, заходить в книжный ларек, а однажды даже побывать с Федей, Володией Раковым, бывшим воинским начальником Радзиевским в пивной, что потом послужило Феде темой бесконечных шуток. В Медгоре я встретился с Юлией Николаевной Данзас, подружился с Мосоловым (из хорошей дворянской семьи), предлагавшим мне перейти к нему на гидротехническую работу и жить в палатке (я, естественно, не согласился в конце концов, но на нескольких занятиях по гидротехнике побывал). Ю. Н. Данзас показала мне бывшего булочника, который был удивительно похож на Николая II и даже голосом (у государя, как говорила мне Юлия Николаевна, был удивительно красивый баритон). Взят булочник был только за свое сходство (в тридцатые годы его за это просто расстреляли бы — надежнее).

Впоследствии, когда я приезжал в Медгору со Званки (о ней я расскажу дальше), я видел на «пляже» у Онежского озера «песенника» Алымова, писавшего в лагере стишки, прославлявшие строительство. Его не любили и дразнили: «Канал — аммонал, Сорока (город, переименованный потом в Беломорск) — построим до срока»: рифмы, наиболее расхожие в бодрящей «поэзии» каналаармейцев, как себя называли наиболее «перековавшиеся» заключенные.

Помню тяжелую ночь на 1 января 1932 года. Счета в нашей картотеке не сошлись на 1 рубль. С финансовыми отчетностями было строго. 1 января мы должны были представить отчетность за прошедший год, а рубля в документах нет! Мы его искали до утра и в конце концов нашли.

На Медгору приехали ко мне на свидание родители. Было чрезвычайно трудно найти комнату. В конце концов нашли хозяев, которые согласились, чтобы мы ночевали у них на полу. Медгора была до ужаса переполнена. Брат хозяина, вечно пьяный, приставал к моему отцу: «Ты офицер. Я сразу вижу. Я этих офицеров...» Мы с отцом ночью уходили из комнаты, а он пьяный шел за нами и бубнил свое. В общем, положение становилось опасным. Моим родителям пришлось уехать на 2—3 дня раньше окончания срока свидания.

Званка и Тихвин. Освобождение

Вторая половина моего пребывания на Беломоро-Балтийском канале связана с Дмитрием Павловичем Калистовым.

Осужден он был по делу КАН на 5 лет, хотя мы его в КАН не принимали. Он прочел в КАНе вступительный доклад, но от приглашений посещать заседания мы воздержались. Вместе с нами он был отправлен на Соловки, но пробыл на острове не более недели: с последним пароходом его вывезли в Кемь, где он устроился работать в Управлении Соловецких лагерей, а вскоре получил разрешение жить на частной квартире. Это представлялось делом его энергии и ловкости.

Когда я попал на Медвежью Гору, он уже работал диспетчером Белбалтлага на станции Званка рядом с Ленинградом. В обязанности диспетчера входило распределение грузов (но не людей!), шедших в адрес строительства по станциям, которые были указаны в разнарядках с Медвежьей Горы (из Управления строительством). Диспетчер просматривал все документы, сопровождающие товарные поезда, и писал станции назначения на тех из них, где было обозначено лишь в общей форме «Беломоро-Балтийское строительство». Это были аммонал (сильное взрывчатое вещество), провиант, фураж и — редко — строительные материалы.

Дмитрий Павлович работал на Званке вместе со вторым диспетчером — американским подданным, имевшим 10-летний срок за валютные операции, Оскаром Владимировичем Гилинским.

Со Званки Дмитрий Павлович изредка приезжал в Медгору в Управление получать инструкции и разнарядки. Через третьих лиц он узнал у меня, готов ли я переехать работать на Званку. Я не очень точно представлял себе характер работы, но меня соблазняла близость к Ленинграду, к родителям, возможность чаще их видеть и, самое главное, — отсутствие лагерного режима. В те времена чем ближе к окончанию был у заключенного срок, тем менее строги были меры его «охраны». Пребывание на Званке в условиях относительной свободы казалось мне тогда вполне реальным.

Прошло довольно много времени (наверное, не меньше месяца), как вдруг меня разыскали и сказали, что приехал со Званки Каллистов и просит меня как можно скорее собираться с вещами. Я бросился бриться и от волнения порезал себе лицо. Увидев меня в таком виде, Каллистов засмеялся: он был доволен.

На Званке Дмитрий Павлович устроил меня жить там же, где жил и сам: в маленькой избушке у одинокой старушки Матрены Кононовны, недалеко от Волхова. Там у меня была постель с мягкой периной и мягкой подушкой за занавеской в комнате, служившей столовой. Я спал там и днем после ночных дежурств на вокзале. Наш третий диспетчер — О. В. Гилинский — снимал за доллары целую квартиру недалеко от станции. Видел я его редко: он ездил со Званки не только в Ленинград, но и в Москву. Все дежурства на станции несли мы с Дмитрием Павловичем вместе. Беда (для меня) была в том, что и Дмитрий Павлович часто уезжал к жене в Ленинград, и тогда мне приходилось дежурить целыми сутками. А работа была напряженная. Рабочий стол наш находился в одной комнате с маневровым диспетчером. Званка была крупным железнодорожным узлом, где шло переформирование товарных поездов. У маневрового диспетчера было большое табло, на котором были обозначены пути, на которых выставляли условными обозначениями составы поездов. В диспетчерскую в клубах морозного пара беспрерывно вваливались закутанные до глаз «главные кондукторы», ехавшие на открытой площадке последнего вагона. Из тяжелых сумок они выкидывали на стол маневрового диспетчера документы на каждый вагон, и надо было вместе с маневровым, торопившим нас, все пересмотреть и указать соответствующие лагерные разнарядки и адреса. Работа требовала исключительного внимания, а к 5 часам утра внимание обычно ослабевало; я спал не только сидя, но даже стоя. Однажды я пропустил целый поезд с несколькими вагонами, отправленными без адреса. Ошибка могла стоить мне нового срока. Но обошлось...

Не без страха вспоминаю, как я лазал под вагонами, чтобы сократить расстояние до стоявшего где-нибудь на 21-м пути состава, чтобы проверить какую-либо неясность, возникшую в документах. Составы все время двигались в разных

направлениях, и эти мои «пробеги» под вагонами были очень опасны, но во мне развилось своеобразное ухарство. Я писал уже, что после пережитого мною по случайности избегнутого расстрела, я понял, что каждый новый день, прожитый мною, — подарок от Бога. Но здесь, на Званке, появилось во мне какое-то безразличие к своей судьбе: «Будь что будет».

Я два раза ездил в Ленинград и один раз был в ложе Мариинского театра на балете. У Александровского сада я встретил своего товарища по университету Дмитрия Львовича Щербу, который, узнав, что я «бежал из лагеря», шарахнулся от меня. Другой раз меня задержал патруль под самым Ленинградом. Я дал номер телефона, по которому патруль мог справиться, что я действительно — диспетчер на Званке, имеющий якобы право проезда в Ленинград. Патруль справился, и некий добрый человек на другом конце провода подтвердил сказанное мною (хотя, конечно, это была неправда: ездить в Ленинград без разрешения было нельзя). Кто был этот спасший меня от задержания (и, значит, нового «дела») человек, я не знаю, но благодарную память о нем храню.

Мне уже нравилось рисковать. Это был поворот явно не в нужном направлении, и избавился я от этого далеко не сразу.

А работа на Званке становилась все труднее.

Однажды пришло требование выделить в подходившем эшелоне с заключенными счетоводов, чтобы направить их в Медгору. Этапов с людьми нам переадресовывать не полагалось. Шли они без проверки. Очевидно, счетоводов остро не хватало. Такой поворот мог бы спасти от работ «землекопов» несколько человек. Я отправился на отдельный путь, где стояли вагоны, взмошел в вагон и с особой остротой ощутил этот воздух горя, которым дышали все лагеря. Мне запомнилось интеллигентное лицо человека моего возраста, ответившего мне на мой вопрос о своей профессии: «Пианист-аккомпаниатор. Знаю немецкий, английский, французский». Я веско сказал ему: «Записываю вас счетоводом. Запомните это!» Этот эпизод мне почему-то часто вспоминался. Кто он был и как сложилась его дальнейшая судьба?

К счастью, больше таких поручений на распределение людей я не получал.

Весной Дмитрий Павлович сказал, что «укрепляют» диспетчерский отдел в Тихвине, так как по ветке, идущей от Тихвина, вагоны уходят от нашего распределения. Я считал этот переезд ненужным и был против него. Тогда он признался, что здесь, на Званке, у него крупные служебные неприятности, и он рассчитывает этим переездом избежать их. Мы переехали. Дмитрий Павлович быстро нашел нам комнату в Тихвине через еврейскую общину: с нами вместе должен был переехать диспетчер Бакштейн. Бакштейн неплохо говорил на идиш,

а Дмитрий Павлович притворился «гойшером» из Австрии и говорил, нещадно ломая немецкий язык, изображая «австрийский диалект» идиш. Хорошую комнату нам сдавала стрелочница с двумя детьми.

Мы переехали в Тихвин, жизнь в котором замерла тогда совершенно: ни одной новой постройки, бездействующая Тихвинская водная система, жители — в громадном большинстве — старики и старухи. Но Тихвин был красив, как красив бывает лес поздней осенью...

Там мы встретили казначея, знавшего всю семью Римских-Корсаковых, и жителей дома Корсаковых; присутствовали на празднике Тихвинской Божьей Матери и наблюдали возбуждение богомольцев по поводу совершившегося при них чуда исцеления.

На лето ко мне приехали мать и младший брат. Брат чудесно плавал, прыгал в Тихвинку прямо с моста, получив у местных мальчишек прозвище «прыгалки».

Была там и семья бывших «помещиков»: мать и две дочери. Отец у них был расстрелян, а дочери служили конторщицами на станции. Мать старалась сохранить девочкам уровень воспитания, говорила с ними по-немецки (кажется, она и сама была немкой). Дмитрий Павлович, живший в детстве в Вене, мог при встрече сказать им два-три слова (позднее он выучил немецкий прилично).

Грузов в адрес Белбалтстрога не было иногда целый день, и я даже катался на лодке и велосипеде брата. Однажды меня сшибли бегущие дрожки. Я не успел понять, в чем дело, только почувствовал тепло лошади — и через секунду лежал в песке. Песок и спас меня от переломов и синяков. Неосторожную езду я продолжил и в Ленинграде. Как-то раз на большой скорости свернул с Дворцового моста и чуть не попал под машину. Ощущение было настолько страшным, что после этого я на велосипед не садился. Дмитрий Павлович был значительно активнее меня. Летом в Тихвине он предложил мне съездить в Старую Ладугу — посмотреть церкви XII в. и крепость. На станции вместо нас мог подежурить Бакштейн. Надо было доехать до станции Волхов, а от Волхова — на пароходе до Старой Ладogi. Выезжать нужно было очень рано и лучше всего — с товарным поездом, везшим балластный песок.

Как только поезд тронулся, песок пришел в движение, стал осыпаться, слепить глаза, застревать в одежде и в волосах, а главное — мы боялись упасть вместе со «съезжавшим» под нами песком. Однако остановить поезд невозможно, и в таком страхе, засыпанные песком, мы прибыли в Волхов как раз к отходу парохода.

Не стану описывать общих впечатлений от Старой Ладogi...

Устав от прогулок, мы пошли в местную чайную, и, как ни странно, впечатление от нее стало самым сильным за тот день! Это был двухэтажный дом недалеко от

Волхова. Внизу были кухня и хозяйственные помещения. Поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, мы попали в большое, очень светлое, с четырех сторон освещенное помещение. Стояли столы, накрытые белыми скатертями, на каждом столе — нарезанные горкой черный хлеб и ситник. По двое и по трое сидели за отдельными столиками уставшие от дел люди. Ели, разговаривали. Никакого вина или пива. Все чинно, негромко. Мы выбрали столик у окна с видом на Волхов. Нам принесли на каждого «пару чая», т. е. большой чайник с кипятком и маленький со свежезаваренным чаем. Принесли сахарницу с твердыми кусками сахара, позволявшими пить вприкуску, если бы мы захотели. Как часто я думал потом, что такие чайные были у нас когда-то повсюду. И их не случайно разгромили: слишком удобно в них было разговаривать, вернее — беседовать на разные темы. А это было слишком опасно для властей. Работать и молчать, верить всему официальному — ничего более.

Мы вышли из чистой, прекрасной чайной, когда уже стемнело, и неожиданно стали свидетелями необычной рыбной ловли на Волхове. Длинные лодки бесшумно скользили по воде. На них стояли рыбаки: один с веслом — на корме, другой, с острогой, — на носу. На носу же горел факел. Сперва мы не поняли, в чем дело. Лодки уносило по течению, а фигуры людей были совершенно неподвижны. Потом мы поняли, что острогой рыбаки били крупных рыб, подплывавших к лодкам на свет факелов.

К утру мы были в Тихвине, привезя с собой свежую рыбу, которую отдали хозяйке. Сколько потом ни было у меня поездок, но эту я забыть не могу...

Как-то раз еще на Званке я вернулся домой днем. Матрена Кононовна, как всегда, покормила меня, затем потушила печь, и я пошел спать за занавеску. Сон был тяжелым, почти беспамятство. Проснулся я от страшного стука в окно у меня в ногах. Разлепив глаза, я увидел круглые от ужаса глаза Дмитрия Павловича. Жестами он приказывал мне открыть дверь, но сил идти у меня не было. Не помню уж как, но Дмитрий Павлович вошел, распахнул все окна, одел меня и потащил на улицу. Он заставлял меня ходить и ходить. Ноги у меня подкашивались, голова раскалывалась от боли, а я все ходил и ходил... Дмитрий Павлович спас меня от угара. Счастье мое, что он пришел вовремя, что сумел достучаться, войти, знал, как бороться с угаром.

Это одна из тех тысяч случайностей, благодаря которым я остался живым.

Когда я находился в Тихвине (напомню — это было летом 1932 г.), коллективизация сельского хозяйства была в полном разгаре. У нас не было газет, не было тесных дружеских связей в Тихвине, и мы плохо были осведомлены — что же происходило. И вот эта осведомленность сама пришла к нам собственной персоной...

Однажды вечером Дмитрий Павлович вернулся домой, т. е. в дом стрелочницы, у которой мы жили, с двумя полными ведрами молока, попросил посуду, чтобы вылить ей молоко для детей, и еще ведра для меня. Многого он не успел объяснить, захватил у хозяйки ведра, и мы понеслись с ним на вокзал. По дороге он сказал мне: «Пришел длиннейший эшелон с коровами; коровы недоенные, сопровождающие коров девушки доят и раздают молоко всем желающим».

Действительно, на станции стоял многовагонный состав. Коровы мычали: требовали, чтобы их подоили. Несколько сопровождавших девушек с ног сбились, чтобы их подоить. Но доить было не во что, и всех коров не подоить. Молоко они доили в подставляемые служащими и рабочими вокзала ведра и раздавали. Им жалко было коров, жалко молока. Мы вернули кому-то занятые под честное слово ведра и дали свои, в которые тотчас налили нам еще. «Берите, сколько хотите».

И тут я понял: разрушают сельское хозяйство; уничтожают крестьянство, коровы обречены. Пустые прилавки магазинов — не случайность.

В самом начале августа я получил распоряжение приехать в Медгору за документами на освобождение. Канал считался законченным, и всем освобождавшимся в тот момент стали давать досрочное освобождение без всяких ограничений. Насколько это распространялось на меня лично и на мой ли срок только — я не знал. Я отправился в Медгору, провел там дня два-три и получил документ, в котором указывалось, что я, как «ударник» строительства, освобожден до срока и с полным правом проживания по всей территории СССР, т. е. я мог вернуться в Ленинград к родителям!

Вместе со мной на полгода раньше срока были освобождены все пятилетники по нашему делу: Толя Тереховко, Федя Розенберг, Володя Раков и др. Итак, я провел 9 месяцев на Шпалерной, три года на острове, а остальное время — (9 месяцев) на Беломоро-Балтийском канале: на Медвежьей Горе, на Званке и в Тихвине.

Жизнь в Тихвине так понравилась моей маме и брату, что они умоляли меня пожить в Тихвине весь август. Я не согласился: мне надо было прописаться в Ленинграде и устроиться на работу. В долгосрочность милостивого освобождения Сталиным я не верил.

В первой половине августа мы уже были в Ленинграде. С пропиской все обошлось благополучно, но с устройством на работу было сложнее. Ленинград был уже не тот, что в двадцатые годы: боялись устраивать на работу не только бывших заключенных, но и их родственников.

Судьба друзей после Соловков

Итак, настоящее оскудение мысли началось уже после лагерей. Люди рассеялись по стране. Кто умер, кто опустился. Все жили в одиночку, боялись говорить и даже думать. Уходило и здоровье.

Постараюсь вспомнить судьбу всех, кто мыслил, создавал духовные ценности, писал.

Больше всех посчастливилось тем, кто очутился за рубежом. Еще в середине двадцатых годов успел уехать за рубеж активный член мейеровского кружка Георгий Петрович Федотов. Его многочисленные труды по русской культуре, русскому православию хорошо известны, и писать мне о нем нет смысла. Те, кто был постарше и пережил войну, уехав за рубеж, — Сергей Алексеевич Аскольдов-Алексеев, Иван Михайлович Андреевский, — выпустили там свои работы. Иван Михайлович печатал преимущественно тексты курсов, которые он читал в духовной семинарии в Джорданвиле: по богословию, русской литературе, психологии, по истории церкви. Он смог рассказать и историю своего кружка, несколько, впрочем, преувеличив свою роль в духовной жизни 20-х гг.

Не прошел бесследно и философский опыт А. А. Мейера: в 1982 г. в Париже, как я уже писал, вышла его книга «Философские сочинения». В ней собраны статьи разного времени, в числе их и те, что он обдумывал при нас в Криминологическом кабинете, и те, что были им написаны в ссылке в каком-то городе на Волге. Их собрала и сохранила Ксения Анатолиевна Половцева, делившая с ним годы ссылки после лагеря и передавшая их в архив.

Удивительно беспорядочны были наши судьбы. В основном те, кто имел срок пять лет, пройдя через Белбалтлаг, получили полное освобождение и вернулись в Ленинград (впрочем, не очень надолго — до паспортизации), а те, кто имел по три года, были освобождены с последующей высылкой. Вернулись в Ленинград Э. К. Розенберг, А. С. Тереховко, Д. П. Каллистов. В. Т. Раков также получил полное освобождение, но ему негде было прописаться, и он уехал работать в Петрозаводск, часто приезжая в Ленинград. В Ленинграде осталась жить на «поруках у отца» Валя Морозова, которой в момент осуждения было 18 лет. Мы встречались, но не регулярно, разумеется. Я безуспешно искал работу. Искали и все остальные. Не принимали меня даже счетоводом мебельной фабрики на Каменноостровском проспекте у реки Карповки. Ощущение себя живущим на шее у не очень богатых родителей было гнетущим. В конце концов меня устроил отец корректором в типографию «Коминтерн». Я сильно болел язвой. Долго лежал в больницах, но это уже не так интересно.

Не побоялся меня навестить в больнице только мой университетский товарищ Дмитрий Евгеньевич Максимов, начинавший в то время заниматься литературой начала XX века. Встретился я и с другим моим университетским товарищем Владимиром Александровичем Покровским, разочаровавшимся в литературоведении и ставшим заниматься математикой, хотя ему и удалось за это время выпустить небольшую, но обстоятельную работу о Булгарине.

Когда в 1933 г., доведенный до отчаяния безуспешными попытками устроиться на работу, я поехал по приглашению Дмитрия Павловича Каллистова в Дмитровлаг наниматься на работу вольнонаемным, я зашел в Москве к Владимиру Сергеевичу Раздольскому на Большую Полянку. Он жил в помещении бывшего магазина, разгороженного занавесками на клетушки, в которых стояли кровати. Кровать Володи была отделена простынями, и сидеть нам вдвоем пришлось на его койке, так как для стула не было места. Чтобы избежать назойливого внимания сожителей Володи, мы пошли поговорить в ближайшую пивную. По дороге он мне рассказал, что работает счетоводом, что хозяйка «магазина» хочет его женить на своей дочке, что он давно ни о чем не думает, друзей в Москве не имеет. В пивной я убедился, что он пристрастился к пиву. Он быстро опьянел, мне из моих мизерных денег пришлось платить за его пиво. По дороге из пивной мы встретили вдрызг пьяного соловецкого скульптора Амосова, разговаривать с которым было невозможно, хотя он нас и узнал.

В Дмитрове мне, по счастью, устроиться не удалось. Да я особенно не старался, так как лагерная обстановка произвела на меня удручающее впечатление, напомнив о худшей стороне Соловков. Но виделся я там с А. А. Мейером, работавшим тоже по счетной части, и, переночевав на стульях у моего знакомого по Медвежьей Горе Игоря Святославича Дельвига, уехал обратно. От Дельвига я узнал, что он увлекается цыганской музыкой, что цыган можно было тогда услышать только у родных художника Серова на их квартире, где он и бывал почти еженедельно. Встретил я и еще кое-кого из своих старых соловчан, все работали как проклятые, и уже никто на общие темы не говорил или не решался заговорить, чтобы не получить новый срок.

Совсем недавно я узнал от человека, занимающегося судьбой различных примечательных лагерников в архивах КГБ, что в том же Дмитровлаге в один из массовых расстрелов погибла Лада Могилянская. Он показал мне и ее последнюю фотографию из того же архива: огрубевшее лицо, неряшливая короткая стрижка. Ничто уже не напоминало ту подтянутую Ладку, создававшую на островах вокруг себя атмосферу «ладомании»...

Печальной была судьба Гаврилы Осиповича Гордона. Он и второй-то раз получил срок из-за своего желания поделиться своим «открытием» с окружающими. Когда началась всеобщая паспортизация, он в издательстве, где издавалась серия «Academia», показал окружающим статью «паспорт» в «Советской энциклопедии», в которой было сказано, что паспорт это «орудие классового угнетения» или что-то вроде того.

В пору всеобщего страха он написал мне на Соловки письмо из Свердловска, куда был сослан после первого своего заключения в Соловках. Вернувшись в Москву, он пробыл в ней недолго. При втором десятилетнем сроке он написал мне письмо из лагеря на Волге, в котором писал, что живет «отлично», пишет историю создания какого-то водохранилища, а заодно описывает и свою жизнь. «Отличная» жизнь его окончилась однако смертью в лагере от чистого голода.

В перерыв между его ссылкой в Свердловск и новым арестом в Москве он приезжал ко мне в Ленинград показать город младшей своей дочери Ирине. Он остановился на Лахтинской улице у нас, а дочку устроил к своей тетке, жившей на Петровском острове в Приюте для престарелых артистов имени Савиной, — в том самом приюте, где в церкви служил в свое время отец Викторин, объединявший вокруг себя много молодежи. В церкви еще была служба, но отец Викторин был арестован. Гаврила Осипович поразил меня своим знанием церковного богослужения. Но когда я через год встретил Ирину Гавриловну в московском гастрономе на Большой Полянке, она побоялась со мной разговаривать при людях, и вот снова более чем через полвека мы встретились с ней уже в Узком в 1989 г. Как долго длятся человеческие связи! Гаврила Осипович в невероятных условиях Дмитровлага написал «Повесть о моей жизни» — примерно 25 авторских листов. Эти воспоминания, по словам его дочери, содержат сотни фамилий людей, с которыми сталкивала его жизнь, и должно быть, необыкновенно интересны.

В самом конце 1933 г. пришла ко мне и моим родителям на Лахтинскую улицу Ю. Н. Данзас. Бодро поднялась на пятый этаж и рассказала, что работает делопроизводителем в каком-то гараже, ожидая отъезда за границу, но имеет и договор на перевод Рабле с Л. Б. Каменевым, заведывавшим в то время в Москве издательством художественной литературы (не помню — как оно в те времена точно называлось). Она добилась по освобождению из лагеря свидания с Горьким, за которого когда-то хлопотала об его освобождении из Петропавловской крепости. Горький, очевидно, чувствовал себя обязанным принять участие в судьбе Ю. Н. Данзас. Она даже работала у него

сразу после Октябрьской революции в Комиссии по улучшению быта ученых (ЦКБУ). Юлия Николаевна рассказала нам, что имела продолжительное свидание с Горьким наедине. Горькому удалось разослать своих секретарей с различными поручениями. Горький обещал ей похлопотать о ее выезде, взяв с нее честное слово, что она не будет рассказывать или писать о своих мытарствах.

Слова своего Ю. Н. Данзас не сдержала. Как рассказывают, ее освободил от выполнения обещания Горькому сам папа римский...

По освобождении я виделся с Н. Н. Горским. Он ездил в экспедиции какого-то океанографического учреждения в Ленинграде. Его жена Камбулова жила недалеко от нас на Петроградской стороне. Когда она пришла к нам на Лахтинскую улицу по поручению мужа, я был совершенно поражен ее красотой. Можно было ущипнуть себя и спросить: «Бывает ли такое?» Но вскоре после ее прихода я узнал ужасное: она получила известие о его новом аресте в экспедиции и в тот же день, идя по Большому проспекту, попала под трамвай. Погибла сразу.

Горский заходил ко мне после освобождения и домой, и в издательство Академии наук. Я устроил ему издание его книжки «Тридцать дней в дрейфующих льдах Каспия». Книжка имела успех, была выгодна издательству и была издана вторично. После войны он работал в Новгороде. Женился там на работавшей у него студентке-практикантке. Был еще раз арестован и попал в Сибирь. Из Сибири я получил письмо. В лесу он построил себе дом из старых шпал. Жил в нем один, страшно нуждался и просил купить и прислать ему машинку и бумагу. Мы жили к тому времени на Басковом переулке. Недалеко был комиссионный магазин, в котором я смог купить ему крохотную складную машинку. Машинка дошла до него. Он стал печататься и выжил. Одна книга его была о морях, а другая о воде («Вода — чудо природы»). Он даже получил за последнюю какую-то премию. После полной реабилитации он жил в Москве вместе со своей женой, на которой женился в Новгороде. Я через своего старшего брата устраивал его жену на работу. Заходил к нему, но было тяжело: у него был бред преследования; он подозревал жену в том, что она следит за ним (хотя кого мог интересовать девяностолетний старик?). Он умер, его жена исчезла из моего поля зрения. Одно могу сказать: своим долголетием он обязан своей исключительной жизненной энергии. Меня всегда поражало — как блестели его глаза.

Короткое время был в Ленинграде и Александр Петрович Сухов. Как-то я достал два билета на «Лес» в постановке Мейерхольда. Театр его гастролитировал

в помещении Консерватории, где был прекрасный оперный зал (мне кажется, что именно там пела Дельмас в опере «Кармен», когда ею стал увлекаться Блок). Играл Ильинский. Вся постановка была воздушной. Дорога, по которой шли Счастливец и Несчастливцев, висела в воздухе на тросах. Рыбку Ильинский ловил из воздуха. Объяснение в любви с Гурмыжской происходило на «гигантских шагах». Сухов радовался каждой находке Мейерхольда, и иметь его соседом в театре было сущим удовольствием.

К сожалению, его пребывание в Ленинграде по возвращении из Бийска, где он находился в ссылке, было коротким. Его опять куда-то угнали, и умер он перед самой войной от рака в каком-то маленьком городке.

Особо мне хочется рассказать о судьбе Феди Розенберга.

Когда мы оба вернулись с Беломоробалтийской стройки в Ленинград, я оказался в маленькой квартире на Лахтинской улице (вернее, в трех комнатах), куда переехали мои родители во время моей отсидки. Федя приходил к нам очень часто. Часто приходили Валя Морозова, Володя Раков, сестра Толи Тереховко Зоя, дядя Коля, дядя Вася и многие содельцы. Федя вносил оживление, рассказывал о книжных новинках, читал стихи, флиртовал с Зоей и Валей. Все это мне очень нравилось, но продолжалось это недолго. Началась выдача паспортов. Не дали паспорта Феде, Толе Тереховко, Володе Ракову. Федя уехал в Мурманск, где его устроила на работу Софья Марковна Левина, Толя Тереховко уехал в Боровичи, Володя Раков в Петрозаводск. Стало опасным собираться, особенно бывшим однодельцам. Как устроилось со мной, я расскажу в дальнейшем. Вскоре, однако, Федя и Софья Марковна вернулись в Ленинград. Во время блокады у нас уже не было сил навещать друг друга. Мы вынуждены были уехать в Казань в конце июня 1942 г. Мы расстались не простившись. Федю, несмотря на глухоту, забрали в какое-то «латышское» ополчение, откуда его все же вскоре освободили. После войны мы с Зиной сильно нуждались в деньгах и брали всякую работу в издательстве: брали рукописи на «монтажку». Это значило, что мы должны были заклеивать маленькими кусочками бумаги грязные после исправления места, придавать рукописям чистый и удобочитаемый вид. Федя, имевший какое-то отношение к изданиям Финансового института, подкармливал нас, давая возможность зарабатывать на корректуре.

В Феде было редкое сочетание — веселости, доходящей иногда до легкомыслия, и исключительного трудолюбия, чувства долга. Он засиживался иногда на работе допоздна и вместе с тем находил время для шутки. В нем был дух коллекционера. Перед своим арестом, работая в налоговом управлении,

он собрал копии сведений об уплате налогов виднейшими ленинградскими писателями. Следовательно не мог понять (вернее, не мог определить), в какой мере из этих отобранных у Феди при обыске справок можно состряпать какое-то дополнительное обвинение. С Соловков Федя вывез все номера вышедших при нас журналов «Соловецкие острова», акварели украинских художников Петраша и Вовка, рисунки П. Ф. Смотрицкого, соловецкие денежные квитанции и соловецкие копейки, различные бланки, справедливо полагая, что все это в будущем будет представлять большую ценность. Однако, когда Федю в какие-то годы после войны стали снова высылать и ему пришлось одному уехать в район Луги, они с Софьей Марковной решили уничтожить все эти материалы. Осталась у меня только одна акварель не то Вовка, не то Петраша, изображающая вид из окна Н. Н. Виноградова на Соловках.

На гроши ему удалось построить в Луге дом. Туда к нему приезжали Дмитрий Павлович Каллистов и Аркаша Селиванов («Аркашон», как мы его звали), но я так и не успел, о чем очень жалею. Федя уже не был прежним: он стал очень раздражительным из-за глухоты, да и из-за всего пережитого. Он стал много курить, у него начал развиваться рак легких. Мучился он невероятно, и Софья Марковна умоляла врачей приблизить его смерть...

Хоронили его на Серафимовском кладбище.

Загубленный талантливый и добрый человек!

Поездка на Соловки в 1966 г.

Пребывание на Соловках было для меня самым значительным периодом жизни. Естественно, что меня постоянно интересовала судьба людей, с которыми я там встречался, да и судьба самих Соловков. Я мечтал когда-нибудь снова туда поехать и предаться воспоминаниям.

После смерти Сталина это стало возможным, но надо было получать пропуск и ехать через Архангельск, что было трудно во многих отношениях, к тому же я часто хворал. Меня не отпускала язва двенадцатиперстной кишки. В 1966 г. возможность побывать на Соловках представилась. Меня пригласили на конференцию в Архангельск, посвященную «Памятникам культуры русского Севера» с последующими экскурсиями. Одна из них была на пароходе «Татария» на Соловки. Я решил поехать на конференцию и затем остаться на некоторое время на Соловках, где к тому времени начал организовываться музей. В Архангельске я был только один раз — сразу после ухода англичан в 1921 г. со школьной экскурсией. Зрительная память сохраняла удивительную колокольню, замыкавшую перспективу главной улицы, и грандиозный

Гостиный двор. Два символа архангелогородского возвышения на Севере — духовного и экономического.

Со мною вместе летел в Архангельск В. И. Малышев. Из Москвы приехал А. А. Зимин, с которым после нескольких лет дружбы и моих попыток побудить Академию наук напечатать его работу о «Слове о полку Игореве» у меня начался холодок в отношениях.

Конференция вызвала очень большой интерес в Архангельске тем более, что в это время шла организация первого в нашей стране музея деревянного зодчества под открытым небом — «Новые Корелы». Конференция проходила в самом большом зале Архангельска. Была середина лета и отличная погода. На моем докладе зал был полон: я был единственным человеком, пережившим соловецкое заключение. Пришли посмотреть на «старого соловчанина».

Мой доклад назывался «Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса». Он не мог быть неинтересен историкам русского средневековья. А. А. Зимин сел в первом ряду с края у среднего прохода, демонстративно раскрыл газету, выставив ее в проход, и погрузился в чтение. Это была демонстрация, неприличная особенно в связи с тем, что люди пришли отчасти и для того, чтобы приветствовать соловецкого заключенного.

Я не обиделся, понимая, что у Александра Александровича Зимина в те годы все интересы вертелись вокруг его идеи позднего происхождения «Слова о полку».

На следующий день я встретил Александра Александровича Зимина в окружении его друзей. Я поздоровался, — они прошли мимо. Естественно, что затем на пароходе «Татария» и на самих Соловках я к ним не подходил, и они лишили себя возможности узнать что-нибудь сверх того, что им рассказывал архангелогородский экскурсовод. Было много мальчишеского в Александре Александровиче.

На Соловках встречала меня окончившая вместе с моей дочерью Верой Академию художеств Светлана Вереш (по отцу Невская). Судьба Светланы была тяжелой. Она вышла замуж за венгра из Румынии. Уехала вместе с ним в Бухарест. У них уже был сын, но вскоре она поняла, что сын их как полурусский-полувенгр в Румынии не сможет жить, и решила вернуться в Советский Союз. Но где жить? Единственное место с квартирой было заведование Историко-культурным музеем-заповедником на Соловках. На Соловках уже начались реставрационные работы, летом приезжали добровольцы — главным образом студенты. Командовала реставрациями дама из Москвы, как и многие реставраторы, считавшая, что реставрацию надо производить «на определенный момент в жизни памятника». Часто это губило памятник. Гораздо правильнее, как мне

кажется, была точка зрения Грабаря на реставрацию как на продление жизни памятника и сохранение в нем всего самого ценного.

Комнату мне уступила одна из сотрудниц музея. Это была бывшая камера 4-й роты на шестерых. Я просил предоставить меня самому себе и много ходил в одиночестве, вспоминая места, удивляясь переменам, которые произошли за годы преобразования СЛОНа в СТОН (Соловецкая тюрьма особого назначения). Следы СТОНа были гораздо страшнее следов СЛОНа: решетки были даже на окнах таких зданий, которые считались при СЛОНе непригодными для обитания: например, на бойницах Никольской башни. В лагере помещение этой башни использовалось как склад, в тюрьме же это была громадная общая камера без уборной, без настоящего отопления. Решетки появились и на помещениях лазарета. Онуфриевская церковь сгорела. Сгорели (во второй раз) кровли основных церквей, кроме Благовещенской. Святые ворота были пока еще целы. Целы были несколько бараков Трудколонии. В полном порядке были помещения Криминологического кабинета.

Я ездил на гребной лодке на Большой Заяцкий остров, где я не бывал в годы моего соловецкого заключения, когда тут помещался страшный женский карцер. Ходил я пешком на Муксалму, где видел бараки, в которых содержали «нумерованных детей» — детей «врагов народа», которых лишали имен и фамилий, а клеили на спинки номера, по которым стражники их знали и звали в случае необходимости. Один из таких «нумерованных» впоследствии оказался в Свердловске, съездил на Соловки и узнал в Муксалме место, где он был в заключении в детстве. Ужасные были годы, о преступлениях которых не следует забывать.

С группой музейных работников я был и на Анзере, где почти все памятники подверглись страшным разрушениям. Особенно жалко мне было Голгофы и Троицкого скита. Поразили меня карандашные надписи на стенах. Людям так хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память... То же самое увидел я на Секирке. Рассматривал я и разрушения, нанесенные памятникам во время войны находившейся здесь школой юнг.

Главное мое расхождение с реставраторами заключалось в концепции завершения Преображенского собора. Дело в том, что перед пожаром 1923 г. Преображенский собор имел огромную луковицу с очень сильно вспученными боками. Ясно, что такая луковица не могла быть создана раньше конца XVII в. Кроме того, форма барабана с окнами под луковицей была очень странной — резко сокращавшейся кверху. Именно поэтому луковица и должна была иметь сильно вспученные бока — более широкие, чем основание бара-

бана. Еще Назимов, под начальством которого я работал несколько дней на общих работах в конце 1928 г., предположил, что это не барабан, а нижняя каменная часть шатра. Наличие высокого как бы двусоставного шатра, снизу каменного, а сверху деревянного, подтверждалось некоторыми изображениями Соловецкого монастыря в миниатюрах и иконах XVII в. Такой шатер нужен был, чтобы сильно увеличить высоту храма, который должен был служить ориентиром для судов, направлявшихся к монастырю. И действительно, Светлана Васильевна Вереш после моего отъезда обследовала «барабан» и нашла важнейшую деталь: глубокие гнезда для стоймя стоящих бревен второй, деревянной части шатра. Однако реставратор категорически, не приводя развернутой аргументации, отказывалась восстанавливать шатер и восстановила нелепую луковицу (нелепую, разумеется, для данного храма). Вопрос о сносе Святых ворот — их парадной наружной части — тогда еще не возникал. Я добился успеха только в одном: убедил не счищать красивейший красный лишайник с огромных валунов, из которых были построены монастырские стены. Почему-то реставраторы думали, что лишайник разрушает камень...

Еще одна идея относительно Соловков владела мною тогда и не оставляет меня и сейчас. В сущности, монастырь построен на плотине — частично насыпной из песка, частично каменной. Это позволило в XVI в. сильно поднять уровень Святого озера и воспользоваться водой озера для различных технических целей: вода промывала канализацию, бежала по водопроводам, двигала различные механизмы на портомойне, в хлебопекарне и т. д. Строители монастырских сооружений учитывали зыбкость насыпного грунта и делали широкие основания для стен соборов, создававшие своеобразие соловецких зданий, покатость стен, становившихся более тонкими кверху. Наклон в сторону моря всего монастырского участка особенно заметен на площади у Преображенского собора. Это вызвало и то, что верх собора поставлен с резким сдвигом к востоку, к озеру, и опирается на массивную алтарную стену и два столба, т. е. конструкция собора учитывает наклон всего участка монастыря в сторону моря.

Одним словом, весь монастырь построен как гигантское гидротехническое сооружение, при этом «многофункциональное». Так вот, идея моя состояла в том, чтобы сохранить монастырь в неприкосновенности как памятник не только религиозный и историко-природный, но и как единственный в нашей стране музей русской техники XVI — XVII вв. К этому можно было присоединить монастырскую кузню, кирпичный завод, сельскохозяйственные сооружения и т. д., и т. д.

Приехал я на Соловки, когда остров окутывал густой туман. «Татария» гудела через равные промежутки времени, чтобы не наткнуться на какое-либо судно. Только вплотную подойдя к пристани, стало видно здание Управления Соловецкого лагеря особого назначения. Уезжал же я с Соловков в чудную солнечную погоду. Остров был виден во всю его длину. Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность этой общей могилы — не только людей, каждый из которых имел свой душевный мир, но и русской культуры — последних представителей русского Серебряного века и лучших представителей Русской церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов, ибо кто их и помнил — умер. И не умчались соловчане на юг, как пелось в соловецкой песне, а по большей части погибли либо здесь же на островах Соловецкого архипелага, либо на Севере в опустевших деревнях Архангельской области и Сибири.

Последний раз на Соловках

Последний раз я ездил на Соловки со съемочной группой телевидения Владислава Борисовича Виноградова для съемок фильма обо мне «Я вспоминаю».

Все было удачно. Милая дружная съемочная группа молодежи, чудная летняя погода, удачные, как я считаю, съемки. Но Соловки оставили во мне тяжелое впечатление. Святые ворота Соловецкого кремля были снесены, оранжево-красного лишайника стало меньше — верный признак того, что воздух стал хуже (появились машины), на месте Онуфриевского кладбища выросли дома, в том числе и голубой дом на месте расстрелов 1929 г. Дорога к Переговорному камню стала слишком широкой, в каких-то местах ее появились карьеры для забора песка. На Большом Заяцком острове Петровская церковь лишилась своей обшивки, содранной для топлива. Чрезвычайные разрушения произошли с памятниками на Анзере, в Муксалме, в Савватиеве.

Реставрация подвигалась. Различные по размерам, но совершенно одинаковые по форме луковиды, крытые лемехом, не подходившим к монументальным соловецким церквям, появились на всех барабанах оставшихся церквей. И это делало монастырь каким-то безличным, нивелированным. Соловки-монастырь, Соловки-лагерь, Соловки-тюрьма еще более отступили в царство забвения. Один памятник для всех сотен могил, рвов, ям, в которых были засыпаны тысячи трупов, открытый уже после моего последнего посещения Соловков, должен, как мне представляется, еще более подчеркивать обезличивание, забвение, стертость прошлого. Увы, тут уже ничего не сделаешь. Надо призвать свою память, ибо помнить прошлое Соловков стало уже больше некому.

Послесловие

Как заметил читатель, я прежде всего пишу о людях. Люди — самое важное в моих воспоминаниях. Стремясь восстановить их индивидуальность, я выполнял свой долг — сохранить о них память. Сколько же их было? Как они были разнообразны и как интересны! Какую ценность представляет человеческая личность! Мне надо было бы систематически вести записи, ибо ради этих встреч стоит жить. И в основном люди — хорошие. Встречи в детстве, встречи в школьные и университетские годы, а затем время, проведенное мною на Соловках, подарили мне огромное богатство. Его не удалось удержать в памяти все целиком. И это самая большая неудача в жизни. Остается надеяться, что мои воспоминания о них — не единственные. Но когда подумаешь о том, сколько же хороших, душевно богатых людей не оставило о себе никакой памяти, становится страшно.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Анзер — второй по величине (47 кв. км) остров Соловецкого архипелага, название которого означает «вытянутый остров». Анзер начал осваиваться еще в XVI в., когда здесь действовали монастырские солеварни и, возможно, уже тогда рыболовные тони в Троицкой и Кирилловской губе. Впоследствии здесь появились Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты, сыгравшие важную роль в духовной истории соловецкого монашества.

Беломорско-Балтийский [Беломорский] канал, Беломорканал, соединяет Белое море с Онежским озером и обеспечивает проход кораблей далее по р. Свирь и Ладожскому озеру в Балтийское море. Строительный проект водного пути был разработан в 1930 г., работы по его сооружению велись с 1931 по 1933 г. Для их удешевления было принято решение возводить канал силами заключенных, в т.ч. узников СЛОНа, население которого в 1931 г. уменьшилось с 16 000 до 3240 чел. 2 августа 1933 г. состоялось открытие Беломорско-Балтийского канала им. Сталина протяженностью 227 км. На базе ББК был организован одноименный комбинат, занимавший огромную территорию со столицей в Медвежьегорске, обладавший собственными ресурсами рабочей силы, воинскими частями, промышленностью, предприятиями культуры и быта.

Белужий мыс расположен в 14 км к востоку от центральной усадьбы Соловецкого монастыря, в лагерный период здесь велись добыча водорослей и сбор плавника.

[Лагерная] библиотека, их было две, монастырская, она же библиотека при музее СОКа, содержавшая около 2000 книг рукописей из

местного книгохранилища и архива, и общелагерная, каталог которой к 1927 г. включал в себя 30 000 томов и несколько тысяч журналов по всем отраслям знаний. Основной книжный фонд общелагерной библиотеки был выделен Бутырской тюрьмой и постоянно пополнялся за счет личных книг соловецких заключенных. При ней функционировал читальный зал, в котором организовывалось чтение всевозможных докладов. Известны также общественные библиотеки, действующие на территории политскитов.

Благовещенская церковь построена над проездной аркой Святых ворот в 1596—1601 гг. Была домовым храмом настоятеля монастыря и из алтаря сообщалась переходом с его покоем, где в 1920-е гг. находилось Управление I (Кремлевского) отделения СЛОНа. С 1925 по 1937 г. в самой церкви размещался лагерный музей.

Больница Соловецкого кремля [Центральный лазарет] располагалась в Иконописной и Портной палатах на территории северного двора монастыря. В Иконописной палате с 1905 г. действовали больница для братии и находящийся при ней храм во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Кроме Центральной больницы, существовал лазарет на горе Голгофа (Анзер) и фельдшерские пункты в отделениях и командировках, где численность заключенных превышала 60 человек. Самыми распространенными заболеваниями среди осужденных в 1920-х гг. были туберкулез, цинга и тиф. Многие уголовники страдали венерическими заболеваниями.

Бутырская тюрьма (Москва) — центральная пересыльная тюрьма в дореволюционной России, служила также местом заключения для подсудимых и осужденных по политическим и уголовным делам. До 1917 г. при ней действовали переплетная, сапожная, портняжная, столярные мастерские, было организовано производство венских стульев и выжигание по дереву. Здесь же был организован Сергиево-Елисаветинский приют для жен и детей, добровольно следовавших за ссыльными в Сибирь. После октябрьского переворота Бутырская тюрьма стала принудительным пристанищем для многих неугодных советской власти людей, в т. ч. видных государственных деятелей и священнослужителей, впоследствии прославленных в лике святых.

Бухта Благополучия, залив в южной части Большого Соловецкого острова, на берегу которого стоят основные монастырские строения.

Вегеракша, болотистая местность к востоку от г. Кемь, где в 1927 г. был организован лагерьный пункт для размещения заключенных СЛОНа.

Гидроэлектростанция мощностью 40 кВт была построена 1910—1912 гг. рядом с южной стеной Соловецкого монастыря, на канале, отводящем воду из Святого озера в бухту Благополучия, и действовала до конца 1930-х гг.

Голгофо-Распятский скит [Голгофа] на острове Анзер был организован в 1713 г. на горе Голгофе (64 м) стараниями бывшего царского духовника преподобного Иова (в схиме Иисус). В лагерьный период здесь располагались тифозный изолятор и лазарет, а также находились заключенные, неспособные трудиться на общих физических работах.

Данилово (Питьевое) озеро расположено в 2,5 км от монастыря, вода из него поступает в Святое озеро.

Дамба — рукотворный каменный мост 1,2 км длиной, шириной от 6 до 12 и высотой 4 м, сооружен в XIX в. между Большим Соловецким островом и островом Большая Муксалма в целях оптимизации деятельности расположенного на ней скотного двора.

Детская колония — городок из нескольких барачков, построенных в 1928 г. для несовершеннолетних заключенных к югу от Соловецкого монастыря, за территорией братского кладбища.

Железная дорога (узкоколейка), сеть железнодорожных путей сообщения, была построена на Большом Соловецком острове в лагерьный период для перевозки грузов и заключенных. Первоначально в 1923 г. появилась рельсовая узкоколейная колея протяженностью 4,5 версты для ручной подачи вагонеток, спустя год на ней начали использовать паровозы. В 1924—1926 гг. железнодорожные ветки пролегли до Перт-озера и Кирпичного завода. В 1929 г. была запущена последняя ветка — Кремль — Филимоново, связавшая центр управления лагеря с торфоразработками. Последний раз железная дорога упоминается в официальных документах в конце 1931 г. По-видимому, ее тогда же разобрали и с началом навигации 1932 г. вывезли на строительство Беломорско-Балтийского канала.

Женский барак, Архангельская гостиница, расположена к югу от Соловецкого монастыря. До середины 1920-х гг. в ней содержались заключенные женщины (кроме политических и оштрафованных). Позднее узниц стали направлять и в другие отделения СЛОНа (в Савватьево, на Анзере и Муксалме).

[Большой] Заяцкий [Заячий] остров — большой из группы Заяцких островов (площадь — 1,5 кв. км). В середине XVI в. здесь появилось «пристанище» для кораблей, включающее каменную гавань, людскую избу и поварню. В конце XVII в. сюда была перенесена Иоанно-Предтеченская часовня,

которую в 1702 г. по приказу Петра I перестроили в церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В XIX в. в Андреевской пустыне появились деревянный корпус с покоем для соловецкого архимандрита и некоторые хозяйственные сооружения. В лагерный период комплекс зданий использовался для нужд штрафного изолятора, в котором содержались беременные и страдающие венерическими заболеваниями женщины, а также узницы, наказанные в административном порядке.

[Малый] Заяцкий остров, меньший из группы Заяцких островов (площадь — около 1 кв. км), который — вероятно, из-за отсутствия на нем источников пресной воды — никогда не осваивался монастырем.

Квасоваренный корпус, построен в XVI в. в северной части Соловецкого монастыря, впоследствии к нему была пристроена одноименная башня.

Кемский пересыльный пункт [Кемперпункт, КПП] организован в 1923 г. на Поповом острове как транзитный пункт для размещения следующих на Соловки заключенных. Те, кто попадал сюда в период навигации, как правило, здесь не задерживались и отправлялись пароходами на Соловки. В зимнее время людей распределяли по материковым отделениям и командировкам. Структура пересыльного пункта изменялась по мере развития самого лагеря. В 1928 г. Кемперпункт делился на пять рот и три карантина, причем каждая рота была разбита на несколько командировок. В 1932 г. функции пересыльного пункта перешли к соседнему Морсплаву.

Кемь — город (с 1785 г.), райцентр в Карелии, расположенный на р. Кемь в месте ее впадения в Белое море, в 434 км от Петрозаводска. В средние века Кемь являлась центром волости, которая в XV в. стала вотчиной Соловецкого монастыря. В конце XVI в. здесь появился деревянный острог, который выдержал нападение шведов. Позднее

в Кемь было устроено монастырское подворье, а в лагерный период — пересыльный пункт и Управление Соловецких лагерей.

Кирпичный завод — производственный комплекс, построенный в середине XVI в. в 2 км к востоку от Соловецкого монастыря рядом с глиняными карьерами. В 1924 г., после возобновления работы, на территории завода появились 18 сараев для сушки кирпича, шатер над печью для обжига, здесь было организовано машинное производство. В 1926 г. предприятие оснастили станками для механической формовки, к нему была проложена ветка железной дороги. В 1929 г. завод произвел полтора миллиона кирпичей, но к 1932 г. производство было свернуто.

Кладбищенская церковь преподобного Онуфрия Великого. Каменный храм построен в 1822—1824 гг. на месте деревянной церкви на территории братского кладбища у южной стены Соловецкого монастыря. В 1886 г. к нему была достроена колокольня. До начала 1930-х гг. здесь совершались богослужения, храм был разрушен после закрытия лагеря в 1939—1940 гг.

Кемь-Ухтинский, общая протяженность которого составляет 185 км, прокладывался силами соловецких заключенных для ведения лесозаготовок на территориях, прилегающих к границе с Финляндией.

Кожевенный завод был основан в XVII в., действовал и в лагерный период. В 1935—1936 гг. в его помещении располагались Йодпром и Проектное бюро.

Кондостров [Конд-остров] лежит в южной части Онежского залива Белого моря. В 1898 г. состоялся землеотвод, и в 1909 г. находящийся на острове Никольский скит получил статус скита Соловецкого монастыря. В период существования скита его насельники добывали гранитный камень и заготавливали строевой лес. Подобная специализация сохранилась и в лагерный период, когда Кондостров стал V отделением

СЛОНа. Здесь также изолировали больных, прежде всего заключенных, страдающих венерическими заболеваниями.

Кремль — советское название центральной монастырской усадьбы Соловецкого монастыря и окружающего ее посада. После закрытия обители здесь размещались I отделение СЛОНа, Управление и главные административные подразделения Соловецкого лагеря и тюрьмы, действовали основные производства лагеря: кожевенное, швейное, столярное, лесопильное; известково-алебастровый, гончарный, механический заводы, электростанция, радиостанция, типография, базировался военный городок с казармами для солдат из полка охраны, домами для командиров и подсобными службами.

«**Кресты**» — следственный изолятор в Петербурге, крупнейший в России, в 1920 г. из одиночной тюрьмы был преобразован в лагерь принудительных работ, спустя три года получил статус Петроградской окружной изоляционной тюрьмы.

Лесопильный завод был построен в 1813 г. рядом с южной стеной Соловецкого монастыря, на канале, отводящем воду из Святого озера в бухту Благополучия. В лагерьный период продукция завода (брусья и доски) использовалась для внутренних нужд и частично вывозилась на материк. С прекращением лесозаготовок и разборкой железной дороги в 1931–1932 гг. объемы производства лесопильного завода резко сократились, однако он продолжал действовать вплоть до ликвидации Соловецкой тюрьмы ГУГБ.

[Тюрьма] на Лубянке (Москва), внутренняя тюрьма органов государственной безопасности РСФСР и СССР с 1919 по 1991 г. В настоящее время тюрьма входит в комплекс зданий ФСБ РФ на Лубянской площади, что в начале улицы Большая Лубянка, д. 2.

[Тюрьма] Матросская тишина (Москва), как место содержания заключенных появилась в 1775 г. После 1917 г. на базе, по-

строенной за несколько лет до этого тюрьмы, был создан Реформаторий (1918–1919) для несовершеннолетних осужденных, затем Кожевническая исправительная колония.

Монастырская крепость была построена в 1582–1596 гг., при игумене Иакове, стараниями вологодского «городового мастера» Ивана Михайлова и соловецкого монаха Трифона Кологривова. Крепость относится к типу регулярных (ее отличительные черты — равномерное распределение боевых башен по периметру, их значительный вынос за плоскость стен и наличие подошвенного пушечного боя). Общая протяженность стен — около 1200 м, их толщина у основания достигает 7 м, высота — 11 м, высота башен — 17 м. Крепость имеет форму вытянутого с севера на юг пятиугольника с круглыми боевыми башнями по углам — Архангельской, Никольской, Корожной, Прядильной, Белой. Западная стена, обращенная к морю, укреплена Успенской башней. На Святое озеро выходит пристенок с двумя башнями — Поваренной и Квасоваренной. В башнях и стенах крепости устроено десять проездов на территорию монастыря.

Музей Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения (с 1926 г. Музей СОКа) был торжественно открыт 19 июля 1925 г. в надвратной Благовещенской церкви. Спустя два месяца заповедником был объявлен Спасо-Преображенский собор и деревянная церковь во имя апостола Андрея Первозванного на Большом Заяцком острове.

[Большая] Муксалма — третий по величине остров Соловецкого архипелага (18 кв. км), название которого означает «мелкий пролив». В 1866 г. остров ради нужд молочного двора, который действовал с XVI в., был соединен с Большим Соловецким островом валунной дамбой. Спустя 10 лет на Большой Муксалме была построена каменная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, а

в 1900 г. учрежден скит в честь этого святого. До 1927 г. на острове находилось III отделение СЛОНа, а затем командировка I отделения с несколькими лагпунктами. В разные годы здесь отбывали наказание политические заключенные, располагались сельхоз и химическая лаборатория, в 1937–1939 гг. — подразделение Соловецкой тюрьмы ГУГБ.

[Малая] Муксалма, меньший из группы Муксаломских островов остров Соловецкого архипелага (площадь — 1 кв. км), где и в монастырские, и в лагерные времена находилась зверобойная тоня.

Мягостров (32 кв. км) находится в южной части Онежской губы Белого моря. В 1920 гг. на нем располагалась лагерная командировка СЛОНа, состоявшая по преимуществу из уголовников, которые добывали здесь лес и рыбу.

Никольские ворота, где в лагерный период располагался контрольно-пропускной пункт, расположены в одноименной башне в северо-восточной части Соловецкого монастыря.

Переговорный камень установлен в 3 км от монастыря в 1856 г. на месте состоявшихся в 1855 г. переговоров архимандрита Александра (Павловича) с англичанами в память о событиях 1854–1855 гг.

Перт-озеро (Пертозеро) расположено в 3 км к северу от Соловецкого монастыря, конечный пункт системы судоходных каналов, куда сплавлялись различные грузы, которые выгружались на пристани и перевозились к монастырю на лошадях. В 1924 г. к Перт-озеру провели ветку узкоколейной железной дороги, на озерном причале была устроена стоянка для двух паровых катеров, курсировавших по озерно-канальной системе.

Пертоминский лагерь принудительных работ [Пертоминск] — место изоляции «враждебных Советской власти элементов», которое было организовано в 1920 г. на территории упраздненного Спасо-

Преображенского Пертоминского монастыря. Здесь содержались, прежде всего, белые офицеры, участники Кронштадтского восстания, а с осени 1922 г. до лета 1923-го — политзаключенные, которых впоследствии перевели на Соловки.

Попов [Попов-остров] остров (другие названия о. Революции, Морсплав, Рабочеостровск), где изначально находилось подворье Соловецкого монастыря, а затем — пересыльный пункт СЛОНа, расположен в 13 км от Кемь. В 1923 г. через узкий пролив, отделяющий остров от материка, был построен свайный мост и проложена узкоколейная железная дорога, по которой перевозили заключенных.

Преображенский собор — центральный храм Соловецкого монастыря, сооружен новгородскими мастерами в 1558–1566 гг. при игумене Филиппе. В 1925 г. собор был объявлен заповедником и для содержания заключенных не использовался. Здесь хранились ценности (прежде всего иконы), вывезенные сотрудниками СОКа из скитов и пустыней Соловецкого монастыря.

Реболда — нерпичья тоня, салотопенный завод, монастырская переправа на о. Анзер в 16 км к северо-востоку от монастыря.

Савватиевский скит [Савватьево], место поселения преподобных Савватия и Германа, расположен на севере Б. Соловецкого острова. Впоследствии здесь образовалась пустынь, в которой соорудили часовню во имя преподобного Савватия и несколько келий. В конце XVIII в. вокруг скита были устроены искусственные луга, на Долгом (Савватьевском) озере находился лодочный причал. В 1857–1860 гг. в скиту построили каменную церковь Смоленской Божией Матери, позднее — два деревянных келейных корпуса и один каменный, валунную баню, конюшню. В лагерный период Савватьево стало II отделением СЛОНа. В 1923–1925 гг. здесь располагался основной политизолятор.

В 1926–1929 гг. Савватьево — центр лесозаготовок, в начале 1930-х гг. там действовал сельхоз, с 1937 г. функционировало подразделением Соловецкой тюрьмы.

Святительский келейный корпус расположен в южном дворике Соловецкого монастыря между храмом святителя Филиппа и Благовещенским корпусом, строился в XVII–XIX вв.

Святое озеро площадью 4,5 га находится у восточной стены монастырской крепости. В середине XVI в. озеро было соединено Филипповским каналом с системой озер на Большом Соловецком острове, а два канала, проложенные из озера в монастырь, подведены к поварне и мельнице.

Свято-Троицкий (Анзерский) скит на острове Анзер был основан по указу царя Миханла Федоровича в 1620 г. преподобным Елеазаром, который в 1636 г. принял в этом месте монашеские обеты у будущего патриарха Никона. С 1924 г. здесь располагался политскит, впоследствии действовало предприятие Кустпрома.

Святые ворота — главный, парадный вход в Соловецкий монастырь с западной стороны крепостной стены напротив Бухты благополучия.

Секирная гора [Секирка] — холм высотой 74 м, стоящий в 11 км от монастыря на северо-западе Б. Соловецкого острова. Свое название возвышенность получила в память о чуде, описанном в Житии преподобного Савватия: у подножия горы два ангела высекли прутьями женщину, дерзнувшую поселиться на острове со своим мужем — карельским рыбаком. В 1860 г. на Секирной горе была возведена каменная церковь в честь Вознесения Господня и основан одноименный скит. Спустя два года на куполе храма был устроен действующий и в наше время маяк. В 1920-х гг. на территории Свято-Вознесенского скита действовал мужской штрафной изолятор, в котором в особо

строгих условиях содержались узники, по преимуществу из числа уголовников, серьезно или неоднократно нарушившие правила, установленные для заключенных (отказывавшиеся работать на общих работах, пытавшиеся бежать из лагеря, уличенные в общении с женщинами). Здесь же нередко осуществлялись одиночные и групповые расстрелы. В 1930-х гг. штрафной изолятор был упразднен, но заключенные на Секирной горе содержались вплоть до ликвидации Соловецкой тюрьмы ГУТБ.

Соловецкие острова [Соловки], крупнейший беломорский архипелаг, лежащий в северной части Онежского залива в 165 км к югу от Северного полярного круга на пересечении 65° с.ш. и 35° в.д. Общая площадь архипелага — 300 кв. км. В его состав входят свыше ста островов, из них шесть достаточно большие: Большой Соловецкий, Анзер, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие острова.

[Большой] Соловецкий [Главный] остров, крупнейший беломорский остров (218 кв. км), на котором с XVI в. располагалась значительная часть построек, скитов и пустыней Соловецкой обители. В 1920-е гг. на территории упраздненного монастыря располагалось Управление СЛОНа, основные лагерные отделения и рабочие командировки, а также большинство заключенных Соловецкого лагеря.

Сторожевая (Корожная) башня — одна из самых крупных угловых башен Соловецкой крепости, располагается в северо-западной ее части. Высота башни с шатром достигает 26 метров.

[Лагерный] театр на 250 мест был открыт 23 сентября 1923 г. в помещении монастырской Ризницы пьесой «Сокровище» Мясницкого. За первый год состоялось 321 выступление. Располагался в Ризнице до 1926 г., когда в здании общей трапезной был оборудован новый зал на 800 мест, гримерные и костюмерные комнаты. Помимо Центрального театра

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Идентификация и аннотирование встречающихся в указателе имен произведены на основе информации, почерпнутой из энциклопедических словарей, электронных баз данных, справочников по истории ГУЛАГа и личных архивов членов редакционной коллегии, а также из воспоминаний как самих соловецких узников, так и не связанных с Соловками людей.

Случаи, когда сведения о том или ином человеке ограничены данными, представленными лишь на страницах мемуаров, говорят об отсутствии параллельных источников информации и указывают на возможные неточности.

В квадратных скобках указаны встречающиеся в воспоминаниях варианты написания имен и фамилий, в круглых — варианты написания, которые встречаются в справочных материалах.

Все даты приведены по новому стилю.

А

Абрамов Евгений Петрович, сотрудник Соловецкого музея-заповедника 342

Абрамович Дмитрий Иванович (1873 — 4 марта 1955), филолог 327, 435

Абрикосов Алексей Иванович (1875 — 9 апреля 1955), медик 264

Абрикосов Владимир Владимирович (1880 — 22 июля 1966), католический священник. В эмиграции с 1922 г. 264—266

Абрикосова Анна Ивановна (1881 — 23 июля 1936), католическая монахиня, жена В. В. Абрикосова 264

Аввакум Петров (1620—1682), протопоп, идеолог старообрядчества 349, 480

Авдеев Виктор Федорович (1909—1983), составитель сборника о Болшевской коммуне 128

Адам Казимирович, герой романа А. П. Скрипниковой 261, 269, 271, 275

Ажаев, заключенный офицер 419

Айзеншток-Камбулов Юрий Михайлович, шурин Н. Н. Горского 481

Аккерман Борис Александрович, заключенный офицер 99

Аккерман Фатима Александровна, сестра Б. А. Аккермана 99

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель 224

Алек, герой романа А. П. Скрипниковой, + анархист Александр Аксельрод, который сидел в Бутырской тюрьме в момент, когда главная героиня произведения находилась там под следствием 292—294

Александр I Павлович (1777—1825), российский император (с 1801 г.) 476

Александра Федоровна (1872 — 17 июля 1918), страстотерпица, российская императрица (1894—1917) 363, 451—452, 454, 456

Алексей Петрович, герой романа А. П. Скрипниковой 223–225, 229–230, 236–239, 252–255, 257

Алексиевич Светлана Александровна (р. 1948), писательница 162

Алымов Сергей Яковлевич (1892 – 29 апреля 1948), поэт, в конце 1920-х – начале 1930-х гг. отбывал наказание на ББК 495

Альбрехт Карл Иванович (наст. имя и фам. Карл Маттеус Лёв; 1897 – 22 августа 1966), советский и немецкий функционер (1938) 36

Амосов, заключенный скульптор 447, 502

Ананов [Ананве] Владимир Степанович, музыковед. Арестован в 1928 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 366, 440–441, 475

Ангелина (Трухина Анна Константиновна; 1872 – 22 июня 1942), монахиня. Расстреляна 46

Андреев Геннадий Андреевич (наст. фам. Хомяков; 1909(10) – 4 февраля 1984), публицист. Арестован летом 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1945 г. Автор воспоминаний о Соловках 54, 60

Андреев Леонид Николаевич (1871 – 12 сентября 1919), писатель 457–458

Андреев Николай, герой воспоминаний Н. А. Журавлева 139

Андреевский Иван Михайлович (1894 – 30 декабря 1976), публицист. Арестован в феврале 1928 г. по делу «Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1945 г. Автор воспоминаний о Соловках 58, 326, 333, 337, 344, 384–386, 388–390, 392, 403–404, 409, 414, 446–447, 476–477, 486–487, 501

Андрей Рублев († 1428), преподобный, иконописец 431

Анисимов Александр Иванович (1877 – 2 сентября 1937), искусствовед. Арестован

в октябре 1930 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 345–346, 433, 435–438

Аничков Игорь Евгеньевич (1891 – 21 мая 1978), филолог. Арестован в феврале 1928 г. по делу «Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1931 г. 385, 397

Аничкова Анна Митрофановна (урожд. Авинова; 1868–1935), мать И. Е. Аничкова 397

Аннет, литературный персонаж 181, 195

Аносова Елена Александровна, заключенная 433

Антон Адамович, герой романа А. П. Скрипниковой 262–267, 271, 275, 303

Антоний (Быстров Николай Михайлович; 1858 – 16 июля 1931), архиепископ Архангельский и Холмогорский 48–50

Антоний (Пупов Лаврентий Платонович; 1878 – не ранее 14 июня 1941), игумен. Расстрелян 47

Антонина Ивановна, героиня романа А. П. Скрипниковой 204–205, 322

Антонов Николай Степанович (1924–?), сын С. М. Антонова 45

Антонов Степан Маркелович (1890 – 27 сентября 1942), помощник духовенства 44–48

Антонова Анна Маркеловна, сестра С. М. Антонова 45, 48

Антонова Матрена Мефодьевна (урожд. Плаксина; 1889–?), жена С. М. Антонова 45

Антонова Тамара Степановна (1932–?), дочь С. М. Антонова 45, 48

Анциферов Николай Павлович (1889 – 2 октября 1958), литератор. Арестован весной 1929 г. по «делу А. А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1930 г. Автор воспоминаний о Соловках 57, 395, 398, 430, 443, 446

Аполлинария (Мартынова Александра Евграфовна; 1870 — 22 июня 1942), монахиня. Расстреляна 46

Аполлос (Ржаницын Аполлос Никанорович; 1872 — 21 сентября 1937), епископ Моршанский. Расстрелян 50—52

Арбенин, литературный персонаж 439—440

Арсеньева, заключенная 101

Аскольдов Сергей Алексеевич (наст.фам. Алексеев; 1871 — 23 мая 1945), философ 326, 382—386, 501

Астахов, заключенный врач 404

Афанасий (Сахаров Сергей Григорьевич; 1887 — 28 октября 1962), исповедник, епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии. Арестован в январе 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 50

Афанасий Иванович, литературный персонаж 271

Афинский Борис Николаевич (1892 — 1 января 1931), счетовод. Арестован в ноябре 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и погиб 414

Ахматова Анна Андреевна (1889 — 5 марта 1966), поэтесса 384, 393

Ахметхан, герой романа А. П. Скрипниковой 282, 285—289, 310

Б

Багратуни, заключенный. Расстрелян 417

Базаров, литературный персонаж 419

Байрон Джордж Гордон (1788—1824), английский поэт 395

Бакшеев Николай Петрович (1875 — 25 января 1935), офицер. Арестован в 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 91, 93, 98, 106

Бакштейн, заключенный ББК 497—498

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 331, 368, 455

Бардыгин Алексей Михайлович (1901 — не ранее 1970-х), философ. Арестован в апреле 1928 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 327, 459, 487

Барков Е. С., заключенный сотрудник лагерной администрации 74, 100, 105

Барычев, герой романа А. П. Скрипниковой 189, 196—197

Барычева Мария, героиня романа А. П. Скрипниковой 189—190, 196—197, 200, 203, 295, 310

Басов Михаил Яковлевич (1892 — 6 октября 1931), психолог 327

Бахтин Всеволод Владимирович (1901 — 7 февраля 1951), историк. Арестован в декабре 1928 г. «по делу А. А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и оправлен на Соловки 385, 392

Бахтин Михаил Михайлович (1895 — 7 марта 1975), философ 385, 392, 396

Бедрут Володя, заключенный уголовник 54

Бедряга Александр Александрович, заключенный заведующий Кримкабом 32, 367, 469—472

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), публицист 83

Белобородов Александр Георгиевич (1891 — 9 февраля 1938), один из организаторов расстрела царской семьи. Расстрелян 398

Белозоров (Белозёров) Константин Семенович (1894—1930), заключенный сотрудник лагерной администрации. Расстрелян 398

Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880 — 8 января 1934), поэт 445, 455, 458, 477

Белых Григорий Георгиевич (1906 — 14 августа 1938), писатель 128

Бенкендорф Александр Христофорович (1782—1844), государственный деятель 187, 190

Бергсон Анри (1859 — 4 января 1941), французский философ 378

Бердяев Николай Александрович (1874 — 23 марта 1948), философ. В эмиграции с 1922 г. 129, 265, 445, 453

Бердяева Лидия Юдифовна (урожд. Трушева; 1871—1945), жена Н. А. Бердяева 265

Берман Матвей Давыдович (1898 — 7 марта 1939), начальник ГУЛАГа (1932—1937). Расстрелян 40

Бессонов Юрий Дмитриевич (1891—1959), офицер. После очередного ареста отправлен на Соловки, бежал из Кемского пересыльного пункта в 1925 г. Автор воспоминаний «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков» 53, 85—86

Бильдерлинг, герой романа А. П. Скрипниковой 231

Блок Александр Александрович (1880 — 7 августа 1921), поэт 303, 440, 445, 455, 458, 477, 505

Богомолов Николай Алексеевич (р. 1950), филолог 463

Богословский Сергей Петрович (1895 — 10 февраля 1938), управляющий Болшевской коммуной. Расстрелян 140, 145, 150, 152

Богущ, герой романа А. П. Скрипниковой 315

Бокий Глеб Иванович (1879 — 15 ноября 1937), начальник УСЛОН. Расстрелян 368, 439

Бородин Аркадий Владимирович (1881—1932), юрист. Арестован в 1930 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 418

Бочкарева Мария Леонтьевна (урожд. Фролова; 1889 — 16 мая 1920), командир женского батальона. Расстреляна 453

Боянус Семен Карлович (1871—1952), филолог 327, 397, 435

Брагин, герой романа А. П. Скрипниковой 180

Брагина, героиня романа А. П. Скрипниковой 180

Браз Осип Эммануилович (1872 — 6 ноября 1936), художник. Арестован в июне 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1928 г. 368, 433

Братья Тур, «фельетонисты ОГПУ», псевдоним писательского дуэта Леонида Давыдовича Тубельского (1905 — 14 февраля 1961) и Петра Львовича Рыжея (1908 — 2 октября 1978) 396

Брик Борис Ильич (1904 — 5 мая 1942), поэт. Арестован в январе 1931 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1932 г. Расстрелян 460

Бродский Юрий Аркадьевич (р. 1946), публицист 346

Бромберг Гарри (Алексей) Петрович (1894 — 21 марта 1938), заключенный журналист. Расстрелян 441

Бруни Лев Александрович (1894 — 26 февраля 1948), художник 446

Брут, литературный персонаж 377

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 9 октября 1924), поэт 455

Будберг Мария Игнатьевна (урожд. Закревская; 1892 — ноябрь 1974), гражданская жена М. Горького 420

Будский, заключенный железнодорожник 103

Булатников Александр († 1655), келарь Свято-Троицкой Сергиевой лавры 431

Булгаков Сергей Николаевич (1871 — 13 июля 1944), протоиерей, философ. В эмиграции с 1922 г. 265

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), писатель 502

Булыгин Александр Дмитриевич (1902 — не ранее 1981), бухгалтер. Арестован в мае

1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Автор воспоминаний о Соловках 8, 63–109

Бунаков Иван, герой воспоминаний Н. А. Журавлева 139

Бурдаков А. А., заключенный железнодорожник 88, 101

Бурман Василий фон (в монашестве Владимир; 1891–1959), иеродьякон, историк 451, 453–454, 491

В

Вагин Александр Тихонович, герой романа А. П. Скрипниковой, который передал главной героине произведения валенки и романовский полушубок во время ее пребывания в ленинградской пересыльной тюрьме 192, 221, 268, 274

Вадбольский Авенир Авенирович (1898 – 18 ноября 1930), князь, выпускник кадетского корпуса. Арестован в апреле 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 69–70, 91, 99

Вадбольский Владимир Михайлович (1880-е – не ранее 1929), князь, заключенный офицер 91

Вальдгардт [Вальберт, Вальгардт] Павел Петрович (1904–1978), музыкант. Арестован в январе 1929 г. по «делу А. А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 366, 432, 440

Барвара, героиня романа А. П. Скрипниковой 288, 310

Барин Илья Федорович, герой романа А. П. Скрипниковой, молодой человек 26 лет, который проходил с героиней произведения по одному делу и покончил жизнь самоубийством, узнав о своем приговоре 179, 182, 215, 221, 261, 268, 273–274, 291

Барин Федор, герой романа А. П. Скрипниковой 273–274

Варина Елена Федоровна, героиня романа А. П. Скрипниковой 221, 261, 268, 273–274

Василий (Богдашевский Дмитрий Иванович; 1861 – 25 февраля 1933), архиепископ Каневский, викарий Киевской епархии 49

Васильев Глеб Казимирович (р. 1923), математик 478

Васнецов Виктор Михайлович (1848 – 23 июля 1926), художник 193

Васьков Родион Иванович (1891–1961), сотрудник ЧК, в сентябре 1923 г. по собственному желанию откомандирован на Соловки, где до 1926 г. занимал должность начальника I лагерного отделения. Заместитель начальника УСЛОН по административной части, затем до 1930 г. – секретарь УСЛОН 73

Введенский Александр Иванович (1856–1925), философ 327, 396

Вениамин (Кононов Василий Васильевич; 1869 – 17 апреля 1928), преподобномученик, архимандрит, игумен Соловецкого монастыря (1917–1920) 42, 45

Вереш Светлана Васильевна (р. 1935), первый директор Соловецкого музея-заповедника 342, 344, 507, 509

Вертинский Александр Николаевич (1889 – 21 мая 1957), артист 289

Вздорнов Герольд Иванович (р. 1936), искусствовед 436

Видякин Александр Владимирович (1883 – не ранее 19 октября 1937), священник 48

Видякин Симеон Петрович (1877 – 2 октября 1937), священник. Расстрелян 48

Виктор (Островидов Константин Александрович; 1875 – 2 мая 1934), священноисповедник, епископ Глазовский. Арестован в апреле 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 327–329, 348–349, 370–371, 403, 414, 443, 479, 487, 491

Вильгельм II (1859 — 4 июня 1941), германский император (1888—1918) 454

Виноградов Владислав Борисович (р. 1938), кинорежиссер 347, 510

Виноградов Николай Николаевич (1876 — 8 января 1938), ученый. Приговорен в 1926 г. к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где возглавлял СОК (1928—1932). Расстрелян 431—437, 443, 458

Виолар [Виоларо], южноамериканский дипломат, муж грузинской княжны Караловой, по другим сведениям — Чавчавадзе. Арестован в 1924 г. вместе с супругой по обвинению в шпионаже и отправлен на Соловки 91

Витковский Дмитрий Петрович (наст. фам. Верховский; 1901—1966), инженер. Арестован в январе 1931 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1932 г. Автор воспоминаний о Соловках 57

Владимир I Святославич (ок. 960—1015), киевский князь 453

Власов-Уласс Константин Лаврентьевич (1904—?), анархист. Арестован в середине 1920-х г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Автор воспоминаний о Соловках 8, 112—125

Вовк Иван Иванович (1906 — не ранее 1939), скульптор. Арестован в январе 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 433, 474, 506

Войков Петр Лазаревич (1888 — 7 июня 1927), советский постпред в Варшаве, один из организаторов убийства царской семьи. Убит 170, 173, 251, 291

Волгин Вячеслав Петрович (1879 — 3 июля 1962), историк 457

Волков Олег Васильевич (1900 — 10 февраля 1996), публицист. На Соловках был дважды: в 1928—1929 и 1931—1933 гг. Автор воспоминаний о Соловках 11, 57, 341, 397, 402

Волконская Мария Николаевна (урожд. Раевская; 1806—1863), княгиня, жена декабриста С. Г. Волконского 187, 190

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865), князь, декабрист 187

Волошин Максимилиан Александрович (1877 — 11 августа 1932), поэт 346, 436—437, 455, 458

Волошина Мария Степановна (урожд. Заболоцкая; 1887 — 17 декабря 1976), жена поэта М. А. Волошина 345, 437

Вонлярлярский, заключенный 433

Второва-Яфа Ольга Викторовна (1876—1964), педагог. Арестована в январе 1929 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки, где находилась до начала 1931 г. Автор воспоминаний о Соловках 9

Вуль Леонид Давыдович (1899 — 28 июля 1937), начальник Московского уголовного розыска (1931—1933). Расстрелян 157, 439

Г

Гаврил (Абалымов Николай Николаевич; 1881 — 31 июля 1958), епископ Осташковский. Арестован в 1926 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 50

Ганешин Дмитрий Сергеевич (1904—1979), инженер. Арестован в апреле 1926 г., приговорен к двум годам лишения свободы и отправлен на Соловки 103

Ганнибал Абрам Петрович (1696—1781), арап Петра Великого 305

Ганнибал Павел Исаакович (1776—1841), дядя А. С. Пушкина 431

Гацук, заключенный. Расстрелян 417

Гемп Ксения Петровна (1894 — 3 февраля 1998), этнограф 346

Геништа Лев Николаевич (1904—1990), заключенный железнодорожник 89, 98—101, 104, 106

Георг Леонид Владимирович, педагог 385

Георгий Победоносец († 303), великомученик 364

Германович Пантелеймон Юльевич, педагог 376

Герр Мюллер, литературный персонаж 465

Герцен Александр Иванович (1812–1870), публицист 167, 228–229, 239, 274–275, 281

Гессен Даниил Юльевич (1897 – 5 мая 1943), член РСДРП, журналист. Арестован в январе 1930 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1938 г., т.к. получил в лагере дополнительный трехлетний срок. Расстрелян 490

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт 368, 448, 457

Гизетти Александр Алексеевич (1888 – 22 октября 1938), филолог 385

Гилинский Оскар Владимирович, заключенный ББК 495–496

Гильдебандт Иксуль фон, заключенная 101

Гиппиус Зинаида Николаева (1869 – 9 сентября 1945), писательница, жена Д. С. Мережковского. В эмиграции с 1920 г. 445–446, 464, 467

Глинский Ян, знакомый В. С. Кемецкого 463

Глубоковский Борис Александрович [Н.] (1895–1935(?)), поэт. Арестован в ноябре 1924 г. по «делу поэта А. А. Ганина», приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В близких родственных связях с Н. Н. Глубоковским не состоял 366, 368, 438–441, 468, 491

Глубоковский Николай Никанорович (1863 – 18 марта 1937), богослов 438

Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828), испанский художник 289

Голдовская Марина Евсеевна (р. 1941), кинорежиссер 346

Голицын Георгий Сергеевич (р. 1935), геофизик 347

Голицын Кирилл Николаевич (1903 – 20 февраля 1994), князь, художник. Арестован в октябре 1923 г., приговорен к пяти годам лишения свободы, заключение на Соловках было заменено пребыванием в Бутырской тюрьме. Автор воспоминаний о ГУЛАГе 55

Голицын Николай Дмитриевич (1847 – 2 июля 1925), князь, последний Председатель Совета Министров Российской империи, отец Н. Н. Голицына 92

Голицын Николай Николаевич (1883–1926(?)), князь. Арестован в июне 1925 г. по «делу лицеистов», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где погиб 92

Голицын Сергей Михайлович (1909 – 7 ноября 1989), князь, писатель 347

Головкин Петр М., сотрудник лагерной администрации (1926–1930) 114, 118, 450–451, 470–471–472

Голояд Галина Емельяновна (1922 – не ранее 1954), заключенная 172

Горбунов К., составитель книги о Болшевской коммуне 128

Горвиц (Горовец), заключенный врач 107

Гордиенко, заключенный железнодорожник 97

Гордон Гавриил Осипович (1885 – 26 января 1942), историк, философ. Арестован осенью 1929 г., приговорен в 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1931 г. 32, 59, 327, 348, 368, 447–448, 456–457, 459, 461, 476, 487, 503

Горелов Анатолий Ефимович (1904 – декабрь 1991), литературовед. Арестован в марте 1937 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1938 г. Автор воспоминаний о Соловках 57

Горский Николай Николаевич, заключенный морской офицер 327, 477, 481–482, 504

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868 – 18 июня 1936),

свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1926 г. 88—89, 93, 97

Евреин (Евреин-Павлов) Борис Сергеевич, поэт. Арестован в апреле 1924 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1927 г. 368

Евтушенко Евгений Александрович (наст. фам. Гангнус; р. 1932), поэт 367, 466

Елагин Дмитрий Петрович (1880—?), арестован в 1922 г., спустя два года отправлен на Соловки, где находился до 1928 г. 91

Елизавета, невеста А. А. Бедряги 469, 471

Елисей (Дзюбин(к) Петр Семенович; 1879 — 8 февраля 1962), иеромонах Соловецкого монастыря 46

Еропкин Юрий Антонович, арестован в феврале 1925 г. по «делу лицейстов» и отправлен на Соловки, где находился до 1928 г. 92

Есенин Сергей Александрович (1895 — 28 декабря 1925), поэт 233, 363, 368, 438, 440

Ефрем (Ефремов Михаил Иванович; 1889 — 14 ноября 1941), епископ Курский и Обоянский 41, 48—49

Ж

Жалмировский [Жалмирович, Жолмирович] Евгений, заключенный 115, 119—125

Жилов Николай Васильевич (1892—1966), хирург, находился на Соловках в 1929—1935 гг. 473

Жирмунский Виктор Максимович (1891 — 31 января 1971), филолог 327

Жорж С[Э]анд (1804—1876), французская писательница 296

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт 395

Журавлев Николай Антонович (1905—?), автор воспоминаний о Соловках 8, 53, 128—159

Журавлева Анна, жена Н. А. Журавлева 149—150, 152—155

Жураковский Анатолий Евгеньевич (1897 — 3 декабря 1937), священник. Арестован в октябре 1930 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 56

З

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903 — 14 октября 1958), поэт 455

Зайцев Иван Матвеевич (1879 — 22 ноября 1934), генерал. Арестован в октябре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1928 г. Автор воспоминаний о Соловках 59, 113

Замятин Евгений Иванович (1884 — 10 марта 1937), писатель 438

Зара, героиня романа А. П. Скрипниковой 280, 289

Зарин Владимир Георгиевич (1887 — 20 сентября 1938), сотрудник ВЧК, на Соловки прибыл в феврале 1924 г., в 1929 г. назначен начальником IV отделения УСЛОН. Арестован в 1930 г. и приговорен к 10 годам лишения свободы «за преступно халатное отношение к выполнению обязанностей». Расстрелян 219, 312, 322—323

Зданевич, заключенный 416

Зеленина Елена Павловна, знакомая В. С. Кемецкого 463

Зельцер, заключенный 106

Зилитинкевич Вера Сергеевна (р. 1959), внучка Д. С. Лихачева 331, 343

Зимин Александр Александрович (1920 — 25 февраля 1980), историк 507

Зинковщук Андрей Антонович (1900-е—?), рабочий. Арестован в 1928 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1932 г. Автор воспоминаний о Соловках 58

Зосима († 1478), преподобный, один из основателей Соловецкого монастыря 432, 468

Зоя (978—1050), византийская императрица 451

И

Иван (Григорий), сын героини романа А. П. Скрипниковой 217

Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584), великий князь московский и всея Руси, первый русский царь (с 1547 г.) 274, 386

Иванов Александр Б. (Петрович), «антирелигиозная бацилла», сотрудник СОКа 432—433

Иванов Борис Павлович (1903—1929), студент-богослов. Арестован в январе 1928 г. по делу «епископов Григория (Лебедева) и Гавриила (Воеводина)», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и погиб 388, 477—479

Иванов Вячеслав Иванович (1866 — 16 июля 1949), поэт 330, 447, 452

Иванов Евгений Павлович (1879—1942), публицист 382—383, 385

Иванченко Андрей Андреевич (1895 — 17 февраля 1938), начальник УСЛОН (1930—1931). Расстрелян 40

Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич; 1886 — 28 декабря 1929), священномученик, архиепископ Верейский, викарий Московской епархии. В Соловецком лагере был дважды: с января по июль 1924 г. в Кемперпункте, затем в течение года непосредственно на Соловках, откуда был переведен в Ярославский изолятор. В июне 1926 г. архиепископа вернули на Соловки, где он находился до 1929 г. 49

Ильинский Игорь Владимирович (1901 — 13 января 1987), актер 505

Илья, см. Варин

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич; 1829 — 2 января 1909), святой праведный 47

Иоасаф (Сазанов Григорий Меркурьевич; 1879 — не ранее 1928), иеромонах 51

Иогалевич Павел Ильич (1890-е — 1930), заключенный 440

Ионкин Сережа (наст. имя и фам. Иван Ивановский), сексот 387—389

Ионов Илья Ионович (наст. фам. Берштейн; 1887—1942), издатель 386

Иосиф (Братищев Иван Алексеевич; р. 1957), архимандрит, Наместник Соловецкого монастыря (1992—2009) 348

Иосиф (Петровых Иван Семенович; 1872 — 20 ноября 1937), митрополит Ленинградский. Расстрелян 333, 386, 479

Ипатия Александрийская (ум. 415), философ 168, 263—264

Истомин Петр Владимирович (1877 — не ранее 1934), около двух лет провел на Соловках в середине 1920-х гг. 91, 94

К

Кабанов Алексей, герой воспоминаний Н. А. Журавлева 152

Казаринов-Лефевр, заключенный 329

Казарновский Юрий Алексеевич (1905 — не ранее 1956), поэт. Арестован в декабре 1927 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 327, 367—368, 410, 447, 460, 468, 469, 477—478

Казачков Владимир Алексеевич (1902—1994), выпускник кадетского корпуса. Арестован в феврале 1925 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1928 г. Автор воспоминаний о Соловках 102

Калакуцкий Василий Павлович, заключенный морской офицер 80, 82

Калери Александр Александрович, арестован в 1925 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 92

Калинин П. С., заключенный 440

Каллистов Дмитрий Павлович (1904 — 2 марта 1973), историк. Арестован в 1928 г. по «делу КАН», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 471, 495—502, 506

Калугин, заключенный актер 439

Кальнишевский Петр Иванович (1691—1803), местночтимый святой Запорожской епархии, последний кошевой атаман Запорожской Сечи. В 1776 г. сослан на Соловки, где и умер в возрасте 112 лет 116

Камбулова, жена Н. Н. Горского 481, 504

Каменев Лев Борисович (наст. фам. Розенфельд; 1883 — 25 августа 1936), советский государственный деятель. Расстрелян 503

Канорская Градислава Никаноровна (1874 — не ранее 3 февраля 1930), жена протоиерея Н. Канорского 50—52

Канорский Николай Григорьевич (1869 — не ранее 1918), протоиерей 50

Карсавин Лев Платонович (1882 — 20 июля 1952), философ 394

Касаткин Сергей Васильевич, миссионер 49

Кассий, литературный персонаж 377

Катанян Рубен Павлович (1881 — 6 июня 1966), помощник прокурора Верховного суда СССР (1923—1938) 368, 439

Катенька, литературный персонаж 188

Кемецкий Владимир Сергеевич (наст. фам. Свешников; 1902 — 29 января 1938), поэт. Арестован в 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 327, 337, 342, 348, 368, 426, 434, 451, 459—467, 469, 477

Кенель, заключенный 440

Керенский Александр Федорович (1881 — 11 июня 1970), премьер-министр Временного правительства и Верховный главнокомандующий. В эмиграции с 1918 г. 362, 410

Кирилл (Смирнов Константин Илларионович; 1863 — 20 ноября 1937), священномученик, митрополит Казанский и Свияжский. Расстрелян 48, 51

Кирьянов Николай Борисович (1902 — 22 сентября 1988), келейник священномученика Илариона (Троицкого). Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения

свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1928 г. 91

Киселев Александр Николаевич (1909 — 2 октября 2001), протопресвитер 332, 336

Киселёв-Громов Николай Игнатьевич, сотрудник лагерной администрации (1927—1930). Автор воспоминаний о Соловках 115

Китс Джон (1795—1821), английский поэт 395

Клейн, заключенный архитектор 403

Клибанов Александр Ильич (1910 — 23 мая 1994), историк 463—464

Коген Герман (1842 — 4 апреля 1918), немецкий философ 457

Кожевников Иннокентий Серафимович (1879 — апрель 1931), один из организаторов партизанской борьбы на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны. Арестован в январе 1926 г. и отправлен на Соловки. Расстрелян 416, 421, 423—425, 433

Колбасьев Сергей Адамович (1899 — 30 октября 1942), писатель 481

Колосов Александр Николаевич (1879 — не ранее 1929), юрист. Арестован в январе 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 32, 345, 363, 367, 403, 414—418, 423—425, 433, 435, 443, 447, 459, 467—469, 471, 479, 487

Колчак Александр Васильевич (1874 — 7 февраля 1920), один из руководителей Белого движения 484

Колчин Сергей Григорьевич (1869 — не ранее 15 октября 1937), священник 48

Колышевский см. Кальнишевский

Комарович Василий Леонидович (1894 — 17 февраля 1942), филолог. Арестован в феврале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского» и приговорен к трем годам ссылки 327, 385

Комиссаров Иван Яковлевич, заключенный уголовник 362, 439, 492

Комчебек-Возняцкий, заключенный ветеринар 402—403

Кононенко, заключенный 121, 123

Кончин Евграф Васильевич (1930 — 5 января 2011), журналист 436—437

Коппе, заключенный бухгалтер ББК 494

Короленко Владимир Галактионович (1853 — 25 декабря 1921), писатель 446, 488

Короленко Владимир Юльянович (1881 — 3 ноября 1937), юрист. Арестован в июне 1930 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 415, 446, 488—489

Котляр, заключенный ДПЗ 394

Кох, заключенный немецкий коммунист 460

Коцюбинский Михаил Михайлович (1864 — 25 апреля 1913), писатель 474

Кремышенский Александр Анатольевич (1897 — 4 июня 1931), протоиерей. Арестован в августе 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 51

Кречмер Эрнст (1888— 9 февраля 1964), психиатр 476

Кроткая, литературный персонаж 215, 241

Крыленко Николай Васильевич (1885 — 29 июля 1938), прокурор РСФСР (1929 —1931). Расстрелян 13

Ксендзовский Михаил Давыдович (1886 — 22 ноября 1963), заключенный певец 494

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859 — 17 февраля 1927), юрист. В эмиграции с 1919 г. 265

Кунст Александр Адольфович, командир лагерной роты 456, 470

Курейши [Курейша] Саид Улам Ахмет (1887—?), предприниматель. Арестован в 1922 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1926 г. Автор воспоминаний о Соловках 57, 92

Курилко Игорь Александрович (1893—1930), заключенный сотрудник лагерной администрации. Расстрелян 398—399

Курчевский Леонид Васильевич (1890 — 26 ноября 1937), конструктор. Арестован в 1924 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1929 г. Расстрелян 102

Л

Лавра, монахиня 43

Лавров Александр Васильевич (р. 1949), филолог 463

Лавров Петр Лаврович (1823 — 6 февраля 1900), публицист 177

Лариосик, литературный персонаж 417

Лафарг Лаура (1845 — 25 ноября 1911), дочь К. Маркса 191

Левашова, героиня романа А. П. Скрипниковой 303, 306

Левина Софья Марковна, жена Э. К. Розенберга 486, 505—506

Леви-Стросс Клод (1908 — 30 октября 2009), этнограф 448

Левичев Александр Александрович (1886 — 15 марта 1946), помощник ссыльного духовенства 42—44

Левичев Марк Александрович (1917 — пропал без вести 3 июля 1942), сын А. А. Левичева 43

Левичева Александра Александровна (урожд. Шанаева) 42—43

Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870 — 21 января 1924), руководитель советского государства 32, 173, 188, 421, 438, 475

Ленька Пантелеев (наст. имя и фам. Леонид Иванович Пантёлкин; 1902 — 13 февраля 1923), налетчик 440

Лепешинская Ольга Борисовна (1871 — 2 октября 1963), биолог, жена П. Н. Лепешинского 188

Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868 — 30 сентября 1944), революционер, автор книги «На повороте» 188

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт 131, 395, 438—439, 455

Лещикова Зинаида, героиня романа А. П. Скрипниковой 298–299

Ливингстон Дэвид (1813–1873), путешественник 228

Лиза, литературный персонаж 185, 240, 253–254

Линденер Борис Александрович (1884 – 10 сентября 1960), геолог. Арестован в декабре 1926 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 416

Линник, заключенный железнодорожник 96

Линник Юрий Владимирович (р. 1944), философ 466

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906 – 30 сентября 1999), ученый, автор воспоминаний о Соловках 7, 9, 11, 32, 44, 54, 56, 61, 64, 115, 325–511

Лихачев Сергей Михайлович (1876–1942), отец Д. С. Лихачева 326, 383, 388, 393, 400–401, 427–428, 430, 435, 495–496, 503, 505

Лихачев Юрий Сергеевич (1915–1980), младший брат Д. С. Лихачева 498

Лихачева Вера Дмитриевна (1937 – 11 сентября 1981), дочь Д. С. Лихачева 507

Лихачева Вера Семеновна (урожд. Коняева; 1881–1971), мать Д. С. Лихачева 326, 393, 400–401, 427–428, 430, 435, 495–496, 503, 505

Лихачева Зинаида Александровна (урожд. Макарова; 1907–2001), жена Д. С. Лихачева 345, 486, 505

Лобач-Жученко Борис Михайлович (1875–1938), заключенный профессор 440

Лозина-Лозинский Владимир Константинович (1885 – 26 декабря 1937), священномученик. Арестован в 1925 г. по «делу лицейстов», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 94–95

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), ученый 278

Лондон Джек (наст. имя и фам. Джон Гриффит; 1876 – 22 ноября 1916), американский писатель 99

Лопатин Лев Михайлович (1855 – 21 марта 1920), философ 265

Лосев Алексей Федорович (1893 – 24 мая 1988), философ 368, 444, 447–448, 459

Лосев, начальник Особого отдела Пятой красной армии 165, 178–179, 243, 257, 283, 309

Лосский Николай Онуфриевич (1870 – 24 января 1965), философ 378, 448

Лузгин М., составитель книги о Болшевской коммуне 128

Льюис Джордж Генри (1817–1878), британский позитивист 229

Людовик XVI (1754–1793), французский король 329

М

Магерам, заключенный уголовник 54

Макаренко Антон Семенович (1888 – 1 апреля 1939), педагог 128

Македонский Александр Елеазарович, заключенный 484

Маклаков Василий Алексеевич (1869 – 15 июля 1957), адвокат 481

Максим (Жижиленко Михаил Александрович; 1885 – 4 июня 1931), епископ Серпуховской. Арестован в мае 1929 г., приговорен пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 43, 51, 344

Максимов Дмитрий Евгеньевич (1904 – 13 марта 1987), филолог 502

Максутов Дмитрий Петрович (1873 – 3 марта 1942), князь, полковник. Арестован в апреле 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 91

Малиновский Бронислав Каспар (1884 – 16 мая 1942), антрополог 448

Малышев Владимир Иванович (1910 – 2 мая 1976), филолог 507

Мальсагов Созерко Артаганович (1893 — 25 марта 1976), офицер. Арестован в 1923 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, бежал из Кемского пересыльного пункта в 1925 г. Автор воспоминаний «Адский остров» 59, 85—86, 420

Малюта Скуратов, опричник 386

Мандельштам Надежда Яковлевна (1899 — 29 декабря 1980), жена О. Э. Мандельштама 478

Мандельштам Осип Эмильевич (1891 — 27 декабря 1938), поэт 331, 368, 455, 477—478

Мáнизер Гуго Матвеевич (р. 1927), художник 344

Марина, героиня романа А. П. Скрипниковой 204, 210

Маркс Женни (урожд. Вестфален фон; 1814—1881), жена К. Маркса 275

Маркс Карл (1818—1883), теоретик коммунизма 131, 191

Марр Николай Яковлевич (1865 — 20 декабря 1934), филолог 397

Мартынов Юрий Николаевич (1892—?), офицер. Арестован в апреле 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 91, 102

Матро(ё)на Кононовна, жительница Званки 495, 499

Машков Петр Павлович, арестован в 1928 г. по «делу КАН», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 390—392, 478

Маяковский Владимир Владимирович (1893 — 14 апреля 1930), поэт 167, 233, 477

Мейер Александр Александрович (1874 — 18 июня 1939), философ. Арестован в декабре 1928 г., приговорен к высшей мере наказания, которая была заменена на 10 лет лишения свободы, и отправлен на Соловки, где находился до 1930 г. 32, 327, 329, 336—337, 348, 363, 368, 382, 418, 440, 442—451, 453, 457, 459, 477, 487, 492, 501—502

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (наст. имя и фам. Карл Казимир Теодор Майерхольд), театральный деятель 504—505

Мельник Антонина Викторовна (1947 — 13 января 1997), сотрудница Соловецкого музея-заповедника 462

Мельников Александр Иванович, заключенный сотрудник лагерной администрации 362, 402, 410, 415—416, 427—428, 432

Мельникова Ольга Дмитриевна, жена А. И. Мельникова 427—428

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874 — 10 мая 1934), председатель ОГПУ (1926—1934) 13

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866 — 9 декабря 1941), писатель. В эмиграции с 1920 г. 444—446, 464, 467

Мефистофель, литературный персонаж 449

Мефодий, соловецкий монах 169, 193—202, 206, 220, 234, 247, 306

Мещеринов Иван Алексеевич, воевода, руководил осадой монастыря в последние два года Соловецкого сидения (1668—1676) 411

Мебус, теософ 329

Митька-одессит, заключенный уголовник 54

Михаил (Ермаков Василий Федорович; 1862 — 20 марта 1929), митрополит Киевский, экзарх Украины 52

Михаила (Меркулова Вера Антоновна; 1874—1884 — не ранее 1935), игуменья 51

Михайлов, священник 48

Михайловский Николай Константинович (1842 — 10 февраля 1904), публицист 473

Миханьков Андрей Михайлович (1904—1929), арестован в феврале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и погиб 390, 485

Мишка Сопатый, герой воспоминаний Н. А. Журавлева 144

Могиланская Лада (наст. имя Лидия Михайловна; 1899 — 6 июля 1937), поэтесса. Арестована в январе 1929 г., приговорена к 10 годам лишения свободы и сослана на Соловки. Расстреляна 447, 460—461, 469, 474—475, 502

Модзалевский Борис Львович (1874 — 3 апреля 1928), литературовед 431

Молчанов, заведующий типографией 423—424

Мольер (наст. имя и фам. Жан-Батист Поклен; 1622—1673), комедиограф 272

Моржецкий Модест Николаевич (1883—?), психиатр 385

Морозова Валентина Галактионовна (1910—1989), геолог. Арестована в начале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», через полгода пребывания в ДПЗ отпущена на поруки родных 385, 392, 477, 501, 505

Морозова Феодосия Прокопьевна, боярыня, участница старообрядческого движения 178

Москаленко Елена Борисовна, внучка А. А. Левичева 44

Мосолов, заключенный 494

Мунзов Николай Дмитриевич (1884—?), офицер. Арестован в октябре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 93, 106

Муравьев Владимир Брониславович (р. 1928), писатель 466

Муромцев Владимир Сергеевич (1892 — 21 октября 1937), сын С. А. Муромцева 476

Мухамедов, заключенный 83—84

Мюллер Владимир Карлович (1880—1941), филолог 327

Мясоедов Сергей Николаевич (1865 — 2 апреля 1915), полковник, арестован по обвинению в шпионаже, повешен 454

Н

Назаров В., автор воспоминаний о Болшевской коммуне 128

Назимов, археолог 435, 509

Нарита, японец, заключенный 329

Наторп Пауль Герхард (1854 — 17 августа 1924), немецкий философ 457

Недрит Иван Петрович (1887 — 15 октября 1938), художник. Расстрелян 440

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878), поэт 187, 239, 440

Некрасов Николай Виссарионович (1879 — 7 мая 1940), заключенный министр Временного правительства 440, 494

Некрасов Я. Я., заключенный 440

Нектарий (Тихонов Николай Васильевич; 1853 — 12 мая 1928), преподобный 333

Нерон (37—68), римский император 203

Нестеров Михаил Васильевич (1862 — 18 октября 1942), художник 193, 388

Несчастливцев, литературный персонаж 505

Неустроев Сергей, школьный товарищ Д. С. Лихачева 378

Нехлюдов, литературный персонаж 188

Нечаев Александр Петрович (1870 — 6 сентября 1948), психолог 304

Никифор (Кучин Николай Николаевич; 1881 — 17 апреля 1928), преподобномученик, келейник архимандрита Вениамина (Кононова) 42, 45

Никодим, заключенный священник 54

Николаев, воспитатель Болшевской коммуны 150

Николай I Павлович (1796—1855), российский император (1825—1855) 187—188, 190, 199, 203, 274

Николай II Александрович (1868 — 17 июля 1918), страстотерпец, российский император (1894—1917) 494

Никольский Василий Петрович (1878—?), заключенный историк 431

Никон (Минов Никита; 1605—1681), патриарх Московский (1652—1666) 314, 332, 435

Ницше Фридрих (1844 — 25 августа 1900), философ 378

Новак, заключенный венгерский коммунист 460

Ногтев Александр Петрович (1892 — 23 апреля 1947), начальник Управления Северных лагерей. В 1923—1930 гг. (с перерывом в 1928—1929 гг.) начальник УСЛОН 40

Ньютон Исаак (1642—1727), ученый 225, 229—230

О

Обнорский Сергей Петрович (1888 — 13 ноября 1962), филолог 327

Овчинников, заключенный уголовник 336, 361, 399—400

Овчинников, см. Соколов-Овчинников

Олохов Владимир Владимирович, заключенный полковник 492—493

Оль Андрей Андреевич (1883—1958), архитектор 457

Орбели Леон Абгарович (1882 — 9 декабря 1958), физиолог 446

Осипович Александр Иосифович (р. 1945), сотрудник Соловецкого музея-заповедника 342

Осовский, заключенный 345, 414

Осоргин Георгий Михайлович (1893 — 29 октября 1929), офицер. Арестован в феврале 1925 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 343, 347, 403—404, 417, 428—430, 447, 482—483, 491

Осоргина Александра Михайловна (урожд. Голицына; 1900 — 25 октября 1991), жена Г. М. Осоргина 428—429, 482—483

Осоргина София Михайловна (1890 — 13 апреля 1977), сестра Г. М. Осоргина 343, 483

Остен-Сакен Максимилиан Владимирович (1895(7) — 23 июня 1926), барон. Арестован в 1925 г. по «делу лицейстов», приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и погиб. Его мать — А. К. Остен-Сакен (урожд. Терейковская) 85, 92

П

Павел († 67), апостол 313

Павел, герой романа А. П. Скрипниковой 179, 268

Падейко, заключенный железнодорожник 103

Панкратов Александр (1902—1947), поэт. Арестован в 1928 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 368, 447, 460, 462, 466, 469

Панкратов Александр, литературный персонаж 463

Пантелеев Алексей Иванович (наст. фам. Еремеев; 1908 — 9 июля 1987), писатель 128

Панченко Александр Михайлович (1937 — 28 мая 2002), филолог 330

Парфений (Брянских Петр Арсеньевич; 1881 — 22 ноября 1937), епископ Ананьевский, викарий Одесской епархии. Расстрелян 46

Пастернак Борис Леонидович (1890 — 30 мая 1960), писатель 365

Пепел, хозяин конторы 140

Перевезенцева, заключенная певица 440

Петр (Полянский Петр Федорович; 1862 — 10 октября 1937), священномученик, митрополит Крутицкий. Расстрелян 49

Петр I Алексеевич Великий (1672—1725), российский император (с 1721 г.) 305, 314, 332, 430

Петр, заключенный 122—125

Петраш Георгий Иосифович (1901 — не ранее 1970-х), художник. Арестован в январе 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 433, 435, 474, 506

Петров Илья, герой воспоминаний Н. А. Журавлева. Автор воспоминаний о Болшевской коммуне 128, 139–140

Петровский [«Артурч»] см. Пешковский

Петрусь, заключенный уголовник 58

Петруша, литературный персонаж 254

Пешкова Надежда Алексеевна (урожд. Введенская; 1901 – 10 января 1971), невестка М. Горького 421–422

Пешковский [Петровский] Александр Артурович (1905 – не ранее 1939), арестован в сентябре 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и сослан на Соловки 410, 447, 459–460, 467–469

Пешковский Александр Матвеевич (1878 – 27 марта 1933), филолог 468

Пигулевская Нина Викторовна (урожд. Стебницкая; 1894 – 17 февраля 1970), филолог. Арестована в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к пяти годам лишения свободы и отправлена на Соловки, где находилась до 1931 г. 446

Пигулевский, муж Н. В. Пигулевской 446

Пимен, литературный персонаж 163, 173

Пирумова Наталья Михайловна (1923–1997), историк 474

Пискановская Клавдия Петровна (1888 – не ранее 23 октября 1937), супруга протоиерея Н. Пискановского 46, 480

Пискановская Ксения Николаевна (1915–1997), дочь протоиерея Н. Пискановского 43–44, 46, 341, 348, 480

Пискановский Николай Акимович (1887 – 10 апреля 1935), протоиерей. Арестован в мае 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 43–44, 46, 327–329, 334, 336, 341, 344, 348–349, 399, 401, 414, 479–480

Пискановский Николай Николаевич (1919 – 6 мая 1949), сын протоиерея Н. Пискановского 44, 480

Пищулин Владимир Федорович (1889 – 10 февраля 1938), священномученик, арестован в апреле 1928 г. и приговоренный к трем годам ссылки по «делу Братства прп. Серафима Саровского» 390, 478

Плаксия Анна Мефодьевна, монахиня 45, 47

Плаксия Параскева Мефодьевна, монахиня 45, 47

Платон Каратаев, литературный персонаж 404

Платон, древнегреческий философ 167, 202, 233

Поварнин Сергей Иннокентьевич (1870 – 3 марта 1952), философ 396

Поварова Екатерина Ивановна (1884–?), арестована в августе 1926 г. и приговорена к трем годам ссылки 41, 48–50

Поварова Ольга Павловна (1856–?), арестована в августе 1926 г. и приговорена к трем годам ссылки 41, 48–50

Погодин Алексей Николаевич (1897–1937), один из организаторов Болшевской коммуны 132, 134, 138, 144, 156

Погребинский Матфей Самойлович (1895 – 4 апреля 1937), основатель и руководитель Болшевской коммуны (1926–1928) 128, 132, 134, 143

Покровский, заключенный профессор 345–346, 429

Покровский Владимир Анатольевич, филолог 502

Покровский Сергей Николаевич (1895 – 29 октября 1929), заключенный летчик. Расстрелян 417

Полак Лев Соломонович (1908 – 16 апреля 2002), физик. Арестован в феврале 1937 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1938 г. Автор воспоминаний о Соловках 58

Поликарп (Золотых Поликарп Семенович; 1880 – 3 ноября 1937), иеромонах.

Приговорен в 1928 г. к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где срок наказания был увеличен на два года за участие в тайных богослужениях. Расстрелян *51*

Половцева Ксения Анатольевна (1886(7)–1948), художница, жена А. А. Мейера. Арестована в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорена к семи годам лишения свободы и отправлена на Соловки *363, 442–443, 446, 450, 459, 492, 501*

Поль Р., врач *378*

Понырко Наталья Владимировна (р. 1946), филолог *330*

Попов Виктор, герой воспоминаний Н. А. Журавлева *149–150*

Попов Иван Васильевич (1867 – 8 февраля 1938), мученик, богослов. Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян *80, 91, 94*

Потто, сын историка Василия Александровича Потто (1836 – 29 ноября 1911), заключенный *329*

Приселков Михаил Дмитриевич (1881 – 19 января 1941), историк. Арестован осенью 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1931 г. *433, 443, 479*

Притвиц, заключенный барон *414, 445*

Прокопий (Титов Петр Семенович; 1877 – 23 ноября 1937), священномученик, архиепископ Херсонский и Николаевский. Арестован в ноябре 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян *50, 52*

Пуаре, заключенный *481*

Пульхерия Ивановна, литературный персонаж *271*

Пумпянский Лев Васильевич (наст. имя и фам. Лейб Меерович Пумпян; 1891 – 6 июля 1940), филолог *446*

Путилова Наталья Михайловна (урожд. Белостоцкая; 1893 – 17 январь 1938), выпускница Смольного института. Арестована в 1925 г. по «делу лицеистов», приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. Расстреляна *101, 303*

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт *131, 163, 174, 252, 305, 395, 455*

Р

Рабле Франсуа (1494–1553), французский писатель *503*

Радзиевский, заключенный *494*

Радищев Александр Николаевич (1749–1802), писатель *231*

Раздольский-Ратошский Владимир Сергеевич (1908–?), литератор. Арестован в декабре 1927 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки *327, 442–443, 447–448, 457–460, 467, 469–470, 488, 490, 502*

Раков Владимир Тихонович (1906–1969), художник. Арестован в 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки *376, 385, 390–392, 403, 476, 492, 494, 500–501, 505*

Раскольников, литературный персонаж *379*

Распутин Григорий Ефимович (1869 – 30 декабря 1916), приближенный царской семьи *375, 451*

Ратко, заключенный сотрудник лагерной администрации *80*

Рерих Николай Константинович (1874 – 13 декабря 1947), художник *179*

Ризников Борис Николаевич (1875 – 23 октября 1927), полковник. Арестован в апреле 1926 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и скончался *91, 93, 97–98, 104, 107*

Рождественский Всеволод Александрович (1895 – 31 августа 1977), поэт *455*

Розанов, заключенный сотрудник лагерной администрации 74, 100

Розанов Василий Васильевич (1856 — 5 февраля 1919), философ 438

Розанов Михаил Михайлович (1902—1989), публицист. Арестован в 1929 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1932 г. Автор воспоминаний о Соловках 27, 57

Розенберг Владимир Карлович (1899 — не ранее 1939), брат Э. К. Розенберга 390, 478, 485

Розенберг Карл, отец Э. К. Розенберга 485

Розенберг Эдуард Карлович (в крещении Феодор; 1903—1959), друг Д. С. Лихачева. Арестован в феврале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки 336, 341, 385, 390—391, 403, 414, 435, 478—479, 484—487, 492, 493—494, 500—501, 505—506

Роллан Ромен (1866 — 30 декабря 1944), французский писатель 167, 181, 195

Роман III Аргир (Аргиропуло; 968 — 1034), византийский император 451

Ростовцев Александр, протоиерей 49

Рошфор, заключенный ДПЗ 395

Руткевич Семен Яковлевич, герой романа А. П. Скрипниковой 307—308, 317—319

Рыбаков Анатолий Наумович (наст. фам. Аронов; 1911 — 23 декабря 1998), писатель 128, 463

Рыбников Николай Александрович (1890—1961), психолог 283

Рябиныны, семья потомственных исполнителей былин 434

С

Сабельников, комендант зданий Печатного Двора в Ленинграде 393

Савватий († 1435), преподобный, один из основателей Соловецкого монастыря 366, 432, 468

Савицкий Я. М., лицеист, заключенный железнодорожник 82—83

Савл, библейское имя апостола Павла 313

Савченко, заключенный акробат 440

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков; 1826—1889), писатель 239

Санин, заключенный социал-демократ 118

Санчо Панса, литературный персонаж 192, 289

Сатин Алексей Григорьевич, заключенный 419

Севастиан (Вести Григорий Иванович; 1870 — не ранее 1929), архиепископ Костромской 51

Северянин Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 1887 — 20 декабря 1941), поэт 477

Седерхольм Борис Леонидович (1884 — 30 мая 1933), морской офицер. Арестован в апреле 1924 г., с августа по декабрь 1925 г. находился на Соловках. Автор воспоминаний о Соловках 61

Селецкий Иван Федорович, до 1917 г. начальник пересыльной тюрьмы в Сибири. В 1926 г. отправлен на Соловки, где был назначен уполномоченным по лесозаготовкам 105

Селиванов Аркадий Васильевич (1901—1991), архитектор. Арестован в феврале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 385, 390—391, 506

Семка Пчелка, заключенный уголовник 54

Серафим (Самойлович Семен Николаевич; 1880 — 4 ноября 1937), священномученик, архиепископ Угличский. Арестован в марте 1929 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 51

Серафим (Тьевар Антоний Максимович; 1899 — 12 декабря 1931), преподобномученик. Арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 71–72, 80, 87–89, 91, 94, 99–100, 106

Серафим Саровский († 1833), преподобный 384, 389

Серафима (Ефимова Анастасия Ефимовна; 1865–1941), игуменья 47

Сергий (Страгородский Иван Николаевич; 1867 — 15 мая 1944), Патриарх Московский и всея Руси (с 1943 г.) 49, 51–52, 333, 376, 386

Серебrenников Иван Андреевич (1879(80) — не ранее 1931), протонерей 48–49

Серебряков Анатолий [Н.] Эсперович (1890–1938), зоолог. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1932 г. 91, 402

Серов Валентин Александрович (1865 — 5 декабря 1911), художник 502

Сиверс Александр Александрович (1894 — 29 октября 1929), чиновник. Арестован в апреле 1925 г., приговорен 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 92, 430

Сизинцева Лариса Ивановна (р. 1958), краевед 434

Сильвия, литературный персонаж 181, 195

Синявский Андрей Донатович (1825 — 25 февраля 1997), писатель 395

Сказин Василий Иванович (1880-е — 1928(?)), социал-демократ. Арестован в 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где и погиб 86–89, 91, 94, 100–102, 104

Скиталец Степан Гаврилович (наст. фам. Петров; 1869 — 24 июня 1941), писатель 458

Скотт Вальтер (1771–1832), писатель 349

Скрипникова Анна Петровна (1896–1974), заключенная. Автор воспоминаний о Соловках 8–9, 55, 162–323

Скрябина Анна Васильевна, главная героиня романа А. П. Скрипниковой 162–323

Сме(и)лянскй Ефим Павлович (1903 — 8 февраля 1938), воспитатель Болшевской колонии. Расстрелян 134, 136–138, 142, 145

Смирнов Александр Александрович (1883 — 16 сентября 1962), филолог 327

Смирнов Павел, герой воспоминаний Н. А. Журавлева 135–138, 142–148, 151, 152, 153–158

Смирнова, воспитательница Болшевской коммуны 150

Смирнова Зинаида, жена П. Смирнова 148, 156

Смотрицкий Павел Фомич (1876 — 12 декабря 1934), художник. Арестован в декабре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1933 г. 446–447, 457–458, 506

Снегов Сергей Александрович (наст. имя и фам. Сергей Иосифович Штейн; 1910 — 23 февраля 1994), писатель-фантаст. Арестован в июне 1936 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки, откуда после ликвидации лагеря был вывезен в Норильск. Автор воспоминаний о Соловках 54, 60–61

Соболев Леонид Сергеевич (1898 — 17 февраля 1971), писатель 481

Соколов-Овчинников Михаил Фаддеевич (1908 — 2 января 1938), один из управляющих Большевской коммуны. Расстрелян 143

Солженицын Александр Исаевич (1918 — 3 августа 2008), писатель 8, 164, 172, 342–344, 360–361, 398

Соловьев Владимир Сергеевич (1853 — 13 августа 1900), философ 167, 202, 233, 262–263, 384

Солоневич Борис Лукьянович (1898 — 26 февраля 1989), скаут-мастер. Арестован в июне 1926 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1928 г. Автор воспоминаний о Соловках 54

Солоневич Иван Лукьянович (1891 — 27 апреля 1953), публицист. Автор воспоминаний о ГУЛАГе 56

Сольц Арон Александрович (1872 — 30 апреля 1945), советский государственный и партийный деятель 81

Софроний (Старков Сергей Прокопиевич; 1875 — 22 октября 1932), архиепископ Арзамасский. Арестован в сане епископа в 1923(4) г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 48—49

Сошина Антонина Алексеевна (1948 — 4 августа 2013), историк 64

Сперанский Николай Евгеньевич (1902—1942). Арестован в феврале 1928 г. по «делу КАН», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 390

Спиноза Барух (1632—1677), нидерландский философ 215, 300, 319

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили; 1878 — 5 марта 1953), руководитель советского государства 166, 172—173, 203, 299, 360, 373—374, 397, 475, 500, 506

Стасов Владимир Васильевич (1824 — 23 октября 1926), критик 458

Стеблин-Каменский [Стебликаменский] Иоанн Георгиевич (1887 — 2 августа 1930), священномученик. Арестован в феврале 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 91, 94—95

Стеблин-Каменский Михаил Иванович (1903 — 17 сентября 1981), филолог 486

Стендаль (наст. имя и фам. Мари-Анри Бейль; 1783—1842), французский писатель 235, 270

Степан, герой романа А. П. Скрипниковой 319

Столыпин Петр Аркадьевич (1862 — 18 сентября 1911), государственный деятель 454

Столыпина Ольга Борисовна (урожд. Нейдгардт; 1859 — 20 октября 1944), жена П. А. Столыпина 454

Столярова Э. С., историк 462—467

Стрельцов Михаил Иванович, заключенный железнодорожник 96

Стромин-Строев Альберт Робертович (наст. фам. Геллер; 1902 — 22 февраля 1939), следователь. Расстрелян 393—394, 446

Сукборовский, заключенный железнодорожник 103

Суратова Людмила Андреевна (1906—?), арестована в начале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорена к трем годам ссылки 389, 477

Сухов Александр Петрович (1888 — ок. 1940), педагог. Арестован в ноябре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 327, 329, 363, 385, 440, 446—447, 459, 475—477, 487, 492, 504—505

Счастливец, литературный персонаж 505

Т

Табашев С., заключенный 80

Тайбалин Григорий Григорьевич (1879 — 6 ноября 1937), бухгалтер. Арестован в ноябре 1928 г. по «делу А. А. Мейера», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1931 г. Расстрелян 427

Таиров Александр Яковлевич (наст. фам. Корнблит; 1885 — 25 сентября 1950), театральный деятель 366, 438

Тансия Ивановна, героиня романа А. П. Скрипниковой 319

Тереховко Анатолий Семенович, арестован в 1928 г. по «делу КАН», приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 390—392, 403, 478, 500—501, 505

Тереховко Зоя Семеновна, сестра
А. С. Тереховко 392, 505

Тетя Паша, героиня романа
А. П. Скрипниковой 259

Тетя Таня (Татьяна Ивановна), героиня романа А. П. Скрипниковой 216–220, 262, 295–297, 301, 306, 317

Тетя Шура, см. Вагин

Тинторетто (наст. имя и фам. Якопо Робусти; 1519–1594), живописец 337

Тихомиров Сергей Андреевич (1872 – 20 августа 1930), протоиерей, участник «Братства прп. Серафима Саровского». Канонизирован РПЦЗ в 1981 г. Расстрелян 370, 387–389

Тихомирова Юлия Сергеевна (1897–?), дочь протоиерея С. Тихомирова. Арестована в февраль 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского» и приговорена к трем годам ссылки 387–388

Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865 – 7 апреля 1925), святитель, Всероссийский патриарх с 1917 г. 49, 370, 445

Тихон (Оревков Василий Васильевич; 1870 – 1939), иеромонах Соловецкого монастыря 45–46, 47

Токарев, заключенный 84

Толмачев, герой романа А. П. Скрипниковой 315

Толстой Алексей Константинович (1817 – 1875), граф, писатель 418

Толстой Лев Николаевич (1828 – 20 ноября 1910), граф, писатель 167, 188, 199, 344, 458

Трофимов, сотрудник лагерной администрации 40

Труба Ранса Панкратьевна (1902(3) – 7(8) июня 1928), педагог. Арестована в сентябре 1926 г., приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки, где и погибла 101

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1893), писатель 415, 418

Туфанова Римма Александровна (урожд. Левичева; р. 1931), дочь А. А. Левичева 42–44, 48

Тучкова-Огарёва Наталья Алексеевна (1829 – 30 декабря 1913), гражданская жена А. И. Герцена 275

Тыченко Прасковья Васильевна (1872–1942), жена А. А. Мейера 443

Тьевар Александр Максимович, брат преподобномученика Серафима (Тьевара) 72

Тьевар, см. Серафим (Тьевар)

Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт 167, 168, 201, 213–214, 233, 243–244, 277, 300, 306, 308–309

У

Уайльд Оскар (1854 – 30 ноября 1900), английский писатель 378

Усова Елена Ивановна, героиня романа А. П. Скрипниковой 315

Успенский Дмитрий Владимирович (1902–1989), заключенный, впоследствии вольнонаемный начальник Воспитательно-просветительского отдела УСЛОН, начальник IV отделения УСЛОН (Соловки), начальник Северного участка строительства ББК (1930–1931) 416, 425, 429

Утесов Леонид Осипович (наст. имя и фам. Лазарь Иосифович Вайсбейн; 1895 – 10 марта 1982), артист 366

Ушаков Симон Федорович (1626–1686), иконописец 435

Ф

Фамусов, литературный персонаж 255

Фауст, литературный персонаж 448

Федорович, возможно, имеется в виду католический священник Адольф Федорович (1889–?). Арестован в 1926 г. и отправлен на Соловки 106

Федотов Георгий Петрович (1886 – 1 сентября 1951), историк 446, 448, 501

Фельдман Владимир Дмитриевич (1894 — 10 января 1938), особоуполномоченный при Коллегии ОГПУ (1924—1934). Расстрелян 439

Феодосий (Алмазов Константин Захарьевич; 1870 — не ранее 1933), архимандрит. Арестован в августе 1927 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1930 г. Автор воспоминаний о Соловках 35, 112

Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1992), поэт 81, 167, 201, 212—213, 233, 277

Филипп (Колычев) († 1569), святитель, митрополит Московский и всея России (с 1566 г.), игумен Соловецкого монастыря (1543—1566) 386, 389, 408, 431

Филиппенко Александр Леонтьевич (1883 — не ранее 1931), протоиерей. Арестован в мае 1928 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 327, 478

Филицата, монахиня 43

Фицтум Экстедт Михаил Николаевич фон (1882 — 3 декабря 1937), барон. Арестован в 1924 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки 430

Флоренский Павел Александрович (1882 — 8 декабря 1937), священник, философ, богослов. Арестован в феврале 1933 г., приговорен к 10 годам лишения свободы, в сентябре 1934 г. отправлен на Соловки. Расстрелян 26, 56, 346, 370

Фокина Софья Федоровна, героиня романа А. П. Скрипниковой 167, 175—177, 179—182, 184—187, 192—196, 198—200, 202—210, 213, 215, 221—222, 242—245, 249—250, 252—257, 274, 277, 289—290, 292—296, 306, 309, 319

Форд Генри (1863 — 7 апреля 1947), американский промышленник 393

Фотий († 896), святитель, патриарх Константинопольский 262—263

Франс Анатолий (1844 — 12 октября 1924), писатель 257

Фрейд Зигмунд (1856 — 23 сентября 1931), австрийский психолог 391

Френкель Нафталий Аронович (1887—1960), один из руководителей ГУЛАГа. Арестован в 1924 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где вскоре был назначен начальником Экономического отдела УСЛОН. В 1928 г. переведен в Кемь, в 1931 г. — на строительство ББК помощником начальника Беломорстроя и начальником работ 73, 105, 420

Фроловский Михаил Николаевич (1895 — не ранее 1943), поэт. Арестован в 1925 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 81, 91

Х

Хайкин, герой романа А. П. Скрипниковой 264, 274

Хачатуров Михаил Иванович (? — не ранее 1938), находился на Соловках в 1924—1933 гг. Расстрелян 446, 472—474

Хейфец, заключенный музыкант 494

Ц

Цаликов Алихан Дзамбулатович (1897—?), арестован в декабре 1924 г., приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен на Соловки 92

Царев, заключенный 97

Церетели, заключенный подросток 364, 401

Чебанюк Юрий Александрович (1930—1994), журналист, внештатный сотрудник Соловецкого музея-заповедника 342

Чеботарева, мать А. А. Бедряги 469, 471

Чекмаза Алексей, заключенный уголовник 54

Чернавин Владимир Вячеславович (1887—1949), ихтиолог. Арестован в 1930 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. В эмиграции с 1932 г. Автор воспоминаний о Соловках 58, 61

Чернышевская Ольга Сократовна (урожд. Васильева; 1833 — 11 июля 1918), жена Н. Г. Чернышевского 275

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), публицист 167, 177, 225, 229—230, 239

Чернявский, сотрудник лагерной администрации 490

Чехов Антон Павлович (1860 — 15 июля 1904), писатель 167, 227—228, 239, 320, 368, 458

Чеховский Вадим Карлович (1902 — 29 октября 1929), инженер. Арестован в 1928 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 490

Чингизхан (ум. 1227), монгольский хан 203

Чихачев Федор Федорович (1894—?), железнодорожник. Арестован весной 1925 г. по «делу лицеевцев», приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1929 г. 88, 92, 100—101

Ш

Шаламов Варлам Тихонович (1907 — 17 января 1982), автор воспоминаний о ГУЛАГе 113, 345

Шанин Александр Иванович (1898 — 14 августа 1937), председатель комиссии Коллегии ОГПУ, инспектировавшей УСЛОН в 1930 г. 19, 29, 35, 38—40

Шапиро Михаил, школьный товарищ Д. С. Лихачева 376, 378, 385, 387

Шастов Иоанн Яковлевич (1879 — не ранее 1958), протоиерей. На Соловках был дважды: в 1926—1928 и 1929—1932 гг. 52

Шахматов Алексей Александрович (1864 — 16 августа 1920), филолог 434

Шведов, отчим А. А. Пешковского 468

Шведов, заключенный железнодорожник 103

Шекспир Уильям (ум. 1616), английский поэт 327, 332, 377, 435

Шелли Перси Биши (1792—1822), английский поэт 395

Шепелев П. Ф., сын О. А. Шепелевой 75

Шепелева Ольга Альбертовна, библиотекарь. Арестована в феврале 1925 г. и отправлена на Соловки, где стала старостой женского изолятора на Б. Заяцком острове 75, 91, 101

Шестов Лев Исаакович (наст. имя и фам. Иегуда Лейб Шварцман; 1866 — 19 ноября 1938), философ 265

Ши[е]пчинский Дмитрий Валерьянович (1905(1) — 13 декабря (31 июня) 1931), поэт. Арестован в апреле 1926 г., приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Расстрелян 327—328, 367, 410, 421, 423—425, 433, 453, 460, 469, 477

Ширинская-Шихматова, заключенная 415

Ширяев Борис Николаевич (1889 — 1 апреля 1959), писатель. Арестован в 1922 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки, где находился до 1927 г. Автор воспоминаний о Соловках 31, 54, 58, 347, 456

Шишкин А. А., филолог 369—372

Шишмарев Владимир Федорович (1875 — 21 ноября 1957), филолог 327

Шкловский Владимир Борисович (1889 — 24 ноября 1937), филолог, богослов. В 1923 г. был отправлен на Соловки, где находился до 1925 г. 440

Шмидт Сигурд Оттович (1922 — 22 мая 2013), историк 474

Шувалов Владимир Михайлович (1899 — не ранее 1933), художник. Арестован в феврале 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к трем годам ссылки 396

Шулегин Павел Яковлевич, заключенный сотрудник лагерной администрации 74

Шульгинов Федор Ильич, герой романа А. П. Скрипниковой 196, 225–230, 237–241, 243, 252–257, 260, 267, 289

Щ

Щегольков Сергей Васильевич (1915 – 3 января 2004), рабочий. Арестован в октябре 1932 г., приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен на Соловки. Автор воспоминаний о Соловках 66

Щерба Дмитрий Львович (1906 – 13 ноября 1948), филолог 497

Щерба Лев Владимирович (1880 – 26 декабря 1944), филолог 327

Щировский Владимир Евгеньевич (1909–1941), поэт 466

Э

Эйнерлинг Сергей Александрович (1906–1942), школьный товарищ Д. С. Лихачева. Арестован в январе 1928 г. по «делу Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к трем годам ссылки 378, 385

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886 – 24 ноября 1959), филолог 327

Эйхманс Федор Иванович (наст. имя Фриц Янович; 1897 – 3 сентября 1938), латышский стрелок, в 1923 г. заместитель начальника УСЛОИ, с ноября 1925 г. начальник Соловецкого отделения лагеря, с 1929 г. начальник 3-го спецотдела ОГПУ (внешняя разведка), 1930–1932 гг. начальник Вайгачской экспедиции ОГПУ. Расстрелян 17, 73, 430

Энгельфельд, заключенный акробат 440

Эпштейн Самуил Исаакович, экономист, заключенный Соловецкой тюрьмы 60

Эри Василий Францевич (1882 – 12 мая 1917), философ 444

Ю

Юденич Николай Николаевич (1862 – 5 октября 1933), один из руководителей Белого движения. В эмиграции с 1920 г. 481

Юдина Мария Вениаминовна (1899 – 19 ноября 1970), пианистка 376, 385, 446

Юнг Карл Густав (1875 – 6 июня 1961), психиатр 448

Я

Яворский Федор, протоиерей 49

Ягода Генрих Григорьевич (наст. имя Енох Гершенович; 1891 – 15 марта 1938), нарком внутренних дел СССР (1934–1936). Расстрелян 13, 40, 132, 291

Якубинский Лев Петрович (1892 – 23 августа 1945), филолог 327

Ярославская-Маркон Евгения Исааковна (1902 – 20 июня 1931), жена поэта А. Б. Ярославского. Арестована 17 августа 1930 г. за организацию побега мужа, приговорена к трем годам лишения свободы и отправлена на Соловки. Расстреляна 53–54

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898), художник 201

Яхонтов Владимир Иванович (1880-е–?), хирург, в 1920-е гг. отбывал наказание на Соловках 107–108

Яшвиль, см. Мальсагов

ГЛОССАРИЙ И СПИСОК АББРЕВИАТУР

Анархисты (от греч. *безвластие*) — представители различных партий и толков, объединенных общей идеологией, в основе которой лежит ликвидация любых форм принудительного управления, в том числе государственной власти.

ББК — Беломоро-Балтийский канал.

ВОХР, войска внутренней охраны НКВД СССР; военизированная охрана — вооруженное подразделение, несущее караульную службу по охране вверенного объекта.

ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) — высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти в России (1917–1937). Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между съездами.

ВЧК СНК РСФСР (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР). Образована в декабре 1917 г., в феврале 1922 г. реорганизована в ГПУ НКВД РСФСР.

ГПУ НКВД РСФСР (Государственное политическое управление при Наркомате внутренних дел РСФСР). Образовано в феврале 1922 г., в ноябре 1923 г. реорганизовано в ОГПУ СНК СССР.

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения). Фактически начало свое существование в апреле 1919 г., в момент создания Центрального управления лагерями принудительных работ. Получило официальное название в 1931 г. и было упразд-

нено в январе 1960 г. указом Президиума Верховного Совета СССР.

«**Дело А. А. Мейера**», или дело «Воскресения», — процесс против представителей ленинградских религиозно-философских кружков, так или иначе, нередко весьма условно, собиравшихся вокруг философа и педагога А. А. Мейера. За участие в «подпольной контрреволюционной организации правой интеллигенции» в конце 1928 — начале 1929 г. было арестовано не менее 70 человек в возрасте от 23 до 60 лет. Значительная их часть была приговорена к заключению в концлагере на срок от трех до 10 лет или ссылке в отдаленные части страны.

«**Дело Братства прп. Серафима Саровского**» — процесс против представителей ленинградской интеллигенции, чаще всего связанных с религиозно-философским кружком «Хельфернак» (Художественно-литературно-философско-религиозно-научная академия), который по решению его членов в августе 1927 г. был переименован в «Братство прп. Серафима Саровского» и насчитывал среди своих участников до 20–30 человек. Большая их часть была арестована в начале 1928 г. и приговорена к различным срокам лишения свободы в ссылках и концлагерях.

«**Дело Космической академии наук**» — процесс против представителей студенческой молодежи, нередко состоявших в «Братстве прп. Серафима Саровского». «Космическая академия наук» была организована в 1927 г., деятельность КАН сводилась к дружескому общению и подготовке шуточных докладов.

«Дело лиценстов» — процесс против выпускников Александровского (с 1911 г. Царскосельского) лицея, которых обвиняли в создании монархической организации с целью свержения советской власти. В ночь на 15 февраля 1925 г. были арестованы свыше 150 человек, среди которых, помимо лиценстов, значились выпускники Училища правоведения, бывшие офицеры Семеновского полка и др.

«Живая церковь» — одна из основных групп обновленческого течения в Русской Православной Церкви после 1917 г., выступавшего при поддержке властей за модернизацию церковной жизни и отставку Всероссийского Патриарха Тихона.

«Иосифлянство» — движение «непоминающих», признававших своим руководителем митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых).

ИСЧ (Информационно-следственная часть) — «внутрилагерное ГПУ», структура, в ведении которой находились следственный изолятор, карцеры, рота отрицательного элемента (РОЭ).

ИТЛ — Исправительно-трудовые лагеря при ОГПУ СССР, согласно распоряжению СНК СССР от 11 июля 1929 г. предназначались для осужденных на срок лишения свободы, превышающий три года, и имели «задачей охрану общества от особо социально-опасных правонарушителей путем изоляции их, соединенной с общественно-полезным трудом, и приспособления этих правонарушителей к условиям трудового общежития».

Каэр (контрреволюционер) — человек, осужденный за контрреволюционные действия, таковыми, согласно ст. 58.1 УК РСФСР в редакции 1926 г., признавалось «всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти Рабоче-Крестьянских Советов и существующего на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р.

Рабоче-Крестьянского Правительства, а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т.п. Контрреволюционным признается также и такое действие, которое, не будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, тем не менее, заведомо для совершившего его, содержит в себе покушение на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции».

КВЧ (Культурно-воспитательная часть) — внутрилагерная структура, в ведении которой находились школы, театры, библиотеки, музей.

Коллективизация — процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы) в СССР (1928–1937).

Концлагерь (концентрационный лагерь) — общее понятие, обозначающее центры массового принудительного содержания различных категорий людей. В конце XIX в. первые концлагеря появились в ряде европейских колоний как средство борьбы с местными повстанцами. Во время Первой мировой войны концлагеря активно создавались на территории Австро-Венгерской империи для содержания русинов и сербов. В Советской России первые концлагеря появились по инициативе Л. Д. Троцкого в мае 1918 г. в местах, куда до этого заключали военнопленных. В них содержались заложники из числа лиц, потенциально опасных для власти большевиков.

Лютеране — представители одного из основных направлений протестантизма.

МГБ (Министерство государственной безопасности). Образовано в 1946 г., в 1953 г.

объединено с Министерством внутренних дел в единое МВД СССР.

Монархисты — представители многочисленных партий, выступавших за самодержавную форму правления в России. Наиболее заметными среди партий монархического толка являлись «Русский монархический союз» и «Союз русских людей», которые были запрещены еще в феврале 1917 г.

Мусаватисты — члены азербайджанской буржуазно-националистической партии «Мусават» (от азерб. *равенство*), которая возникла в 1911 г. и выступала за создание единой мусульманской державы под эгидой Турции. Деятельность партии была запрещена в 1920 г.

Нарком (народный комиссар) — должностное лицо, входившее в состав Советского правительства и возглавлявшее тот или иной народный комиссариат — центральный орган государственного управления какой-либо сферой государственной деятельности в РСФСР и СССР.

Наркомат юстиции (Народный комиссариат юстиции) — государственный орган, отвечавший за общее руководство судебными учреждениями РСФСР и СССР в 1917—1946 гг.

«Непоминающие» — те, кто не поминал за богослужением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) как главу Церкви.

НКВД РСФСР (Народный комиссариат внутренних дел РСФСР) — центральный орган государственного управления республики по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. Образован в ноябре 1917 г., в декабре 1930 г. переименован в НКВД СССР.

НЭП (новая экономическая политика) — политический курс Советского государства (1921—1931), последовавший за «политикой военного коммунизма».

ОГПУ СНК СССР (Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР). Образовано в ноябре 1923 на базе ГПУ НКВД РСФСР, в июле 1934 г. реорганизовано в ГУГБ НКВД СССР.

ОС КОГПУ (Особое совещание при Коллегии ГПУ, позже при Коллегии ОГПУ, НКВД СССР, МГБ СССР) — внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать уголовные дела по обвинениям в деяниях, угрожающих советскому строю, выносить приговоры, включая приговоры к высшей мере наказания в годы Великой Отечественной войны, и пересматривать решения Военной коллегии Верховного суда.

Политический Красный Крест — общее название ряда организаций, оказывавших помощь политзаключенным в Российской империи, РСФСР и СССР. На базе Московского ПКК в 1922 г. была создана организация «Е. П. Пешкова. Помощь политзаключенным», которая действовала до 15 июля 1938 г.

Пункты ст. 58 УК РСФСР в редакции 1926 г., предусматривающие наказание за «шпионаж, т.е. передачу, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам (ст. 58.10); «Активные действия или активную борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственных или особо секретных должностях при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны» (ст. 58.11).

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) (19 июля 1918 — 25 декабря 1991).

«Сексот» (секретный сотрудник) — тайный осведомитель правоохранительных органов.

СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). В 1923—1929 гг. встречаются разные наименования: Лагерь принудительных работ ГПУ на Соловецких островах, Соловецкие лагеря Особого назначения ГПУ, Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения ГПУ, Соловецкий лагерь особого назначения ГПУ, Соловецкие концентрационные лагеря ОГПУ.

СНК, см. Совнарком.

СООАК (Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения). Организовано Приказом УСЛОНа № 56 от 13 марта 1925 г., в 1926 г. реорганизовано в Соловецкое общество краеведения (СОК). Прообразом его была Комиссия по изучению флоры и фауны на Соловецких островах, созданная 13 марта 1924 г. при Соловецком отделении Всероссийского производственного союза охотников. В декабре 1924 г. она зарегистрировалась как научное краеведческое общество и стала именоваться СООАК, 25 января 1925 г. была зарегистрирована в ЦБК при РАН, курировавшего всю краеведческую работу в стране и пожелавшего «успеха в изучении интересной и малоизвестной окраины — диких Соловецких островов».

Совнарком (Совет народных комиссаров) — высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти РСФСР, с 1923 г. — СССР, а также союзных и автономных республик. Образован в ноябре 1917 г., в 1946 г. реорганизован в Совет министров СССР, а СНК союзных и автономных республик — соответственно в Советы министров союзных и автономных республик.

Социал-демократы — меньшевики, представители Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), основанной в марте 1898 г. с целью объединения в единую организацию многочисленных социал-демократических групп, действующих на территории Российской империи. Весной 1917 г. — фракция РСДРП, взявшая курс на

осуществление пролетарской революции, выделилась в отдельную партию большевиков. Остальные социалисты-демократы выступали за созыв Учредительного собрания и коалиционное социалистическое правительство, но были против вооруженного восстания и впоследствии в той или иной мере стали противниками советской власти. Весной 1919 г. большевики перешли к открытым репрессиям в отношении российских социалистов.

Теософы — последователи мистической доктрины Е. П. Блаватской, представлявшей собой смесь восточных религий, христианства и оккультизма.

УСЛОН (Управление Соловецкими лагерями особого назначения) — широко истолковываемая система, выполнявшая административную, информационно-следственную, хозяйственную, финансовую, производственно-техническую, культурно-воспитательную и санитарную функции.

ЭКЧ (Эксплуатационно-коммерческая часть) — внутрилагерная структура, созданная для осуществления эксплуатационно-производственной деятельности УСЛОН.

Эсеры — представители Партии социалистов-революционеров (ПСР), которая возникла в 1902 г. и со временем стала наиболее многочисленной и влиятельной немарксистской социалистической партией в России, стоявшей на позициях террора. В октябре 1917 г. левое крыло ПСР поддержало большевиков, но в массе своей эсеры осудили октябрьские события и стали участниками антибольшевистских выступлений и правительств. В 1922 г. состоялся судебный процесс, на котором социалисты-революционеры были обвинены в организации покушений на лидеров советского государства. Впоследствии деятельность партии в основном была связана с работой находящихся за границей эсеров, тогда как большинство оставшихся в России представителей ПСР уничтожили в течение 1920—1930-х гг.

М. А. Смирнова

КРИМИНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Уголовный мир — одна из страшных сторон Соловецкого лагеря. Уголовники, хотя и составляли малый процент от общего числа заключенных, но имели важное влияние на повседневную жизнь. С одной стороны — лагерное начальство предоставляло осужденным по уголовным статьям многочисленные льготы, с другой стороны — законы преступного мира приводили к бессмысленной гибели многих из уголовников, оказавшихся в лагере: от голода и холода, от болезней, от бесчинства матерых преступников. Среди матерых преступников разных мастей на Соловках находились дети-беспризорники, мелкая шпана, проститутки. Чтобы выжить, они сбивались в компании, которые терроризировали политических заключенных, отбирали у беспомощных еду и теплые вещи. Но чаще других именно они погибали в первую очередь, потому что помощи ждать было не от кого.

Уголовников приглашали в лагерную охрану, им разрешалось издеваться над политическими заключенными, отбирать у них вещи и продукты. «Социально близкие» к власти, уголовный элемент Соловков, остались в памяти всех, кто с ними встречался. Именно эта категория заключенных позволяла лагерному начальству громко заявлять об успехах «перековки». И, прикрывая ужасы Соловецкого лагеря, начальство решило открыть школы для неграмотных, библиотеку. Уголовники участвовали в театральных постановках и даже создали свой театр — «Свой». Они печатали мелкие заметки в местной газете «Новые Соловки», сочиняли стихи, посильно участвовали в работе музея и Соловецкого общества краеведения. Многие открыли в себе творческий талант, о котором даже и не подозревали. Но имена и фамилии уголовников, прошедших Соловки, почти неизвестны, как не известно точно и сколько их побывало в лагере.

Помимо настоящих уголовных преступников, оказавшихся в СЛОНе по соответствующей статье, там было множество людей, которых можно было бы называть преступниками, но таковыми они не считались. Это прежде всего чекисты —

лагерное руководство и более мелкие сошки. Чекисты попадали на Соловки в наказание за разные преступления, совершенные на воле, иногда очень жестокие, но об этом на островах не вспоминали. На изолированных островах чекисты могли устанавливать свои правила, которые соотносились с понятием «власть соловецкая». Эти правила не имели ничего общего с общечеловеческой моралью. Здесь процветали коррупция, повседневное унижение заключенных, издевательства и садизм. Наказанию эти действия почти не подлежали, поэтому на островах царил произвол охраны, подкрепленный действиями уголовников, привлеченных в охрану.

Созданное из заключенных-специалистов научное общество — Соловецкое общество краеведения — стало изучать повседневную уголовную жизнь — быт, традиции, занятия, воровской язык. Были обобщены образы уголовников, показан их внутренний мир. Исследованиями занимались в специально организованной Криминологической секции СОК, которую возглавлял Борис Глубоковский. Вместе с ним работали будущий академик Дмитрий Лихачев, музейный научный сотрудник Николай Виноградов, расстрелянный в 1937 г., и другие. Материалы исследований публиковались в соловецкой периодике, позднее они стали отражаться в воспоминаниях бывших узников.

Впервые собрана библиография, раскрывающая этот непростой вопрос. Публикации из лагерной прессы и воспоминания заключенных расположены по тематическому признаку: «Общие вопросы», «Традиции уголовного мира в Соловецком лагере особого назначения», «Театр «Свой» — сценический коллектив уголовников в СЛОНе», «Образы соловецких заключенных-уголовников», «Руководство СЛОН — чекисты? уголовники? садисты?», «Деятельность Криминологической секции Соловецкого общества краеведения».

Внутри разделов предусмотрено алфавитное расположение библиографических записей. Современных исследовательских трудов очень мало, но имеются современные публикации исторических материалов, принадлежащих перу бывших узников.

В разделе о чекистах отдельно выделены небольшие подразделы, посвященные наиболее известным «соловецким» лагерным руководителям. Среди них Глеб Бокий, который официально не являлся таковым, но отношение к организации СЛОНа имел, в лагере бывал, его именем был назван пароход, перевозивший заключенных на острова, даже были сочинены стишки с упоминанием его имени.

Разделы еще могут дополняться будущими исследователями, к настоящему времени специальные разыскания по именам не проводились. Библиографический список, не претендуя на полноту отбора записей, показывает почти не исследованную страницу жизни Соловецкого лагеря особого назначения.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. От тюрем к воспитательным учреждениям: сб. ст. Т. 1 : Исправительно-трудовая политика СССР / под общ. ред. А. Ю. Вышинского; Ин-т уголовной и исправ.-труд. политики при Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР. М.: Сов.законодательство, 1934. 449, [2] с., 34 вкл. л. ил. **Содерж.**: Эстрин А., Трахтерев В. Развитие советской исправительно-трудовой политики как части советской уголовной политики; Кесслер М., Олейник В. Труд в исправительно-трудовых учреждениях СССР; Линтин К. Сельскохозяйственные колонии для лишенных свободы; Музыкант В. Ликвидация неграмотности и малограмотности среди лишенных свободы; Музыкант В., Халецкий А. Профессионально-техническое образование лишенных свободы; Стельмах Д. Библиотечная работа в исправительно-трудовых учреждениях СССР; Гриневский М. Театр, музыка, пение, кино и радио в местах лишения свободы; Стельмах Д. Органы самоуправления в местах лишения свободы; Френкель Е., Стельмах Д. Товарищеские суды; Утевский Б. Режим; Шестакова А. Печать в местах лишения свободы; Шестакова А. Принципы организации исправительно-трудовых учреждений для молодежи; Шестакова А., Утевский Б. Женщина в исправительно-трудовых учреждениях; Спасокукоцкий Н., Быховский Э. Медико-санитарное дело в местах лишения свободы; Дурманов Н. Наблюдательные комиссии; Блауберг А. Органы управления; Бехтерев Ю., Любимова Е. Борьба за кадры в исправительно-трудовом деле; Апетер И. Исправительно-трудовая политика эпохи вступления в социализм.
2. 28-го февраля: [передовая статья о классификации лагерных проступков и нарушений] // Новые Соловки. 1926. 28 февр.
3. Кантор, Ю. Красный СЛОН на Белом море // Рос. газета (фед. вып.). 2013. 4 июня.
4. Клиnger, А. Соловецкая каторга: записки бежавшего; [Материалы к истории Соловецк. концлагеря, впервые опубли. в журн. «Архив русской революции». (Берлин), 1928. Т. 19. С. 157–211] // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 48–120.
5. Красников, Смирнов. Учет пенитенциарного опыта // Новые Соловки. 1926. 1 авг.
6. На новом фронте // Новые Соловки. 1926. 31 окт. Содерж.: Хулиганство в Кеми; Задачи мест заключения / Еф. Балашов.
7. Остров Кильдин: к вопросу о заселении его хулиганами // Новые Соловки. 1926. 24 окт.

8. О. Соловки, 4 апреля 1926 года: (о категориях соловецких заключенных и особом подходе в перевоспитании к каждой категории) // Новые Соловки. 1926. 4 апр.
9. Розанов, М.М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922—1939 годы: Факты — Домыслы — «Параши»: обзор воспоминаний соловчан соловчанами: в 2 кн. Б.м. : Изд. авт., 1979.
10. Стрючков, С. Россия — родина СЛОНов? // Неизвестный Норильск: альм. 2009. URL: <http://www.memorial.krsk.ru/Public/00/20091.html>.
11. Тверье, Т. Исправительно-трудовая система в СССР // СЛОН. 1924. № 9/10. С. 9—12.
12. Ципуренко, Н. СЛОН: ист. очерк // Воспитание и правопорядок. 1991. № 1. С. 45—46.
13. Якубсон, В. Кто находится в местах заключения // Административный вестник. 1929. №4. С. 40—49.

ТРАДИЦИИ УГОЛОВНОГО МИРА В СОЛОВЕЦКОМ ЛАГЕРЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

14. Акаревич, А. Блатные слова // Соловецкие острова. 1925. № 2. С. 99—100.
15. Андреев, Г. А. Соловецкие острова (1927—1929) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 144—146.
16. «Блатной язык»: (вниманию соловчан) / Н. В. // Новые Соловки. 1926. 26 сент.
17. Венок от заключенных [на похороны В. И. Ленина] / уголовник А. Ч. // Новые Соловки. 1926. 22 янв.
18. Виноградов, Н. Гипноз слова: (криминологический этюд) // Новые Соловки. 1926. 3 окт.
19. Глубоковский, Б. Одержимые: [картежники] // Новые Соловки. 1926. 7 марта.
20. Глубоковский, Б. У последней черты: [о нравах уголовной среды лагеря] // Новые Соловки. 1926. 21 марта.
21. Лихачев, Д. С. Статьи ранних лет: сб. Тверь: Обл. отд-ние Рос. Фонда культуры, 1993. 146 с.: ил.
22. Лихачев, Д. С. Картежные игры уголовников // Символика тюрем: нравы уголовного мира всех стран и народов / сост. Н. В. Трус. Минск: Литература, 1996. С. 166—172.

23. Мальсагов, С. А. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере. Гл. 5: Тирания уголовников // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 396—399.

24. «Равенство»: [о женской ругани] / К. // Новые Соловки. 1926. 17 окт.

25. «Распад уголовного мира»: диспут // Новые Соловки. 1926. 22 янв.

26. Самоисправляющиеся среди женщин / Б.-Ш. // Новые Соловки. 1926. 14 февр.

27. Ширяев, Б. О коросте блатной и соловецкой баланде // СЛОН. 1924. № 9/10. С. 90—91.

ТЕАТР «СВОИ» – СЦЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ УГОЛОВНИКОВ В СЛОНЕ

28. Глубоковский, Б. «Их театр» // Новые Соловки. 1925. 27 дек.

29. Зритель. «Свои» // Новые Соловки. 1925. 31 мая.

30. Зритель. Вечер коллектива «Своих» // Новые Соловки. 1925. 14 июня.

31. Кузякина, Н. Б. Театр на Соловках, 1923—1937. СПб. : ДБ, 2009. 175 с., [8] л. ил.

32. Чекмазов, А. История тюремного театра // Новые Соловки. 1926. 23 мая.

33. Ширяев, Б. Н. Неугасимая лампада. Гл. 5: «Свои» // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 243—246.

ОБРАЗЫ СОЛОВЕЦКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ-УГОЛОВНИКОВ

34. Акаревич, А. Хлестаков в юбке: по следств. материалам // Новые Соловки. 1926. 1 мая.

35. Акаревич, А. Соловецкий фельетон: Кривая Павла Гулячкина // Новые Соловки. 1926. 14 нояб.

36. Бессонов, Ю. Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков Адский остров: советская тюрьма на далеком севере. Гл. 3: Галерея чекистов // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 463—464.

37. Глубоковский, Б. Сорок девять: (о жизни уголовных преступников в Соловках): материалы и впечатления. Соловки: Бюро печати УСЛОН, 1926. 66 с.

38. Две группы: [характеристика заключенных] // Новые Соловки. 1926. 14 февр.

39. Иванов, А. Соловецкий «Кудеяр» // Карело-Мурманский край : краевед., обществ.-полит. ил. журн. 1929. № 7. С. 35—36.

40. Курейши, С. Пять лет в советских тюрьмах: «Сорокадевятники». Нищие. «Проститутки» // Воспоминания соловецких узников, 1925–1928. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 129–131.
41. Ларин, В. Преступники большого города // Соловецкие острова. 1925. № 2. С. 14–23.
42. Литвин, Н. Кудеяр: о монастырских легендах // Новые Соловки. 1926. 14 февр.
43. Литвин, Н. Среди шпаны: «Улица» // Новые Соловки. 1926. 21, 28 нояб.
44. Наборщик Костя: воспоминания из жизни печатников / записал Лагкор «Икс» // Новые Соловки. 1926. 10 янв.
45. Сашка Курчавый // СЛОН. 1924. № 9/10. С. 44–46.
46. Соловецкие типы // Новые Соловки. 1926. 28 марта. Содерж.: С городских тротуаров / Щеглов; Один из них: по следственным материалам / А. Акаревич; Егор Яковлевич. Ч. II / С. О-н.
47. Соловецкие типы / Б[орис] Е[мельянов] // Новые Соловки. 1926. 24, 31 окт., 7 нояб.
48. Соловецкие типы: Философ наркоза // Новые Соловки. 1926. 14 нояб.
49. Соловецкое «дно»: очерки по исследованию уголовного мира / Г. А. Б-ин // Соловецкие острова. 1925. № 1. С. 51–54; № 2. С. 24–28; № 3. С. 62–64.
50. Соловецкие типы: Морской волк / Б. Е. // Новые Соловки. 1926. 21 нояб.
51. Соловецкие типы: «Король симулянтов» / Б. Е. // Новые Соловки. 1926. 5 дек.
52. Тиберий. Уроки Соловков // Соловецкие острова. 1925. № 2. С. 4–8.
53. Ширяев, Б. Тетрадь «Соньки-Глазка»: соловецкие типы // Новые Соловки. 1926. 21 марта.

РУКОВОДСТВО СЛОН – ЧЕКИСТЫ? УГОЛОВНИКИ? САДИСТЫ?

54. Андреевский, И. М. Большевизм в свете психопатологии // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 296–308.
55. Анциферов, Н. П. СЛОН (Соловецкие острова особого назначения) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 359, 367.
56. Волков, О. В. Погружение во тьму: [начальник пересылки И. А. Курилко] // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 235.

57. «Выявлена система произвола и полного разложения»: материалы комиссии ОГПУ об условиях содержания заключенных в Соловецком лагере особого назначения. 1930 г. // Исторический архив. 2005. № 5. С. 64–82.

58. Зайцев, И. М. Соловки (Коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти): Преступники из чекистов — начальствующий персонал на Соловках; Человеческие жертвоприношения Соловков по случаю смерти Дзержинского // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 183–189; 326–330.

59. Киселев-Громов, Н. И. Лагери смерти в СССР. Шанхай: Изд-во Н. П. Малиновского, 1936. 191 с.

60. Клингер, А. Соловецкая каторга. Записки бежавшего // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 63–76, 91–93, 117–119.

61. Мальсагов, С. А. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере. Гл. 3: Галерея чекистов // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 386–390; Гл. 15: Как живут чекисты // Там же. С. 428–429.

62. Приказ начальника ГУЛАГа ОГПУ с объявлением приговора Коллегии ОГПУ по делу о бандитизме и разложении аппарата в Соловецком отделении СЛАГ ОГПУ от 17 марта 1933 г. // ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1918–1960: [сб.] / сост.: А. И. Кокурин, Н. В. Петров; науч. ред. В. Н. Шостаковский. М.: Междунар. фонд «Демократия», 2002. С. 448–450.

63. Шевченко, С. СТОН с украинским акцентом : [Иван Апетер, начальник СТОН] // Киевский телеграф. 2003. № 8.

Бокий Глеб Иванович

64. Алтаев, Ал. История Глеба Бокия // Псков: ист.-краевед. журн. 2011. № 15. С. 203–210.

65. Шошков, Е. Судьбы: Звезда и смерть Глеба Бокия: [судьба одного из руководителей карательных органов] // Родина. 2000. № 7. С. 68–71.

Ногтев Александр Петрович

66. Белоконь, А. Начальник СЛОНа // Север. 1994. № 5/6. С. 163–168.

67. Ногтева, М. Невольник века [начальник СЛОНа А. П. Ногтев] // Северные просторы. 1994. № 4. С. 43–45.

68. Ракитин, В. В Котлас с поручением В. И. Ленина // Двинская правда. 1987. 20 окт.

Френкель Нафталий Аронович

69. Миллионер, зэк, генерал-лейтенант: [Н. А. Френкель] // Рос. газета. 2008. 8 мая.

70. Мирошников, А. Генерал из СЛОНа: Нафталий Френкель: от узника [Соловецкого лагеря особого назначения] до начальника Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД // Северный рабочий. — 2015. — 3 июля. — С. 19: фот.

71. Моруков, Ю. Соловецкий лагерь особого назначения (1923—1933 гг.) // Соловецкое море. — 2004. — Вып. 3. — С. 122—129.

72. Ширяев, Б. Н. Неугасимая лампада // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 264—271.

73. Шмигельский, Л. История одной карьеры: [Н. А. Френкель] // Правда Севера. — 1990. — 30 дек.

Эйхманс Федор Иванович

74. Белоконь, А. От поезда Троцкого до Соловков // Соловецкий вестник. 1992. № 14. С. 4.

75. Латынина, А. «Каждый человек носит на дне своем немного ада»: Захар Прилепин написал роман о Соловецком лагере конца 20-х годов // Новый мир. 2014. № 6. С. 182—190.

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
СОЛОВЕЦКОГО ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДЕНИЯ**

76. Арестантские сказки / А-ский // Новые Соловки. 1926. 5 дек.

77. В заколдованном круге: (экскурсы в область «блатной» поэзии) / Н. В. // Новые Соловки. 1926. 10 окт.

78. В криминологической секции Соловецкого общества краеведения // Новые Соловки. 1926. 12 дек.

79. Глубоковский, Б. Криминология в Соловках // Новые Соловки. 1926. 3 окт.

80. Глубоковский, Б. Первые шаги: [криминологическая секция СОК] // Новые Соловки. 1926. 24 окт.

81. Ершов, И. «Богема» и уголовники: Соловецкий театр 1920-х годов. Борис Глубоковский // Уроки истории. XX век. СПб., 2009. <http://urokiistorii.ru/node/209>

82. Из работ Криминологической секции. Соловки: Бюро печати УСЛОН, 1927. 149 с., [2] с., [13] с. табл.: ил. (Материалы / Соловецкое о-во краеведения; Вып. 17). **Содерж.**: Опыт классификации заключенных контрреволюционеров / И. И. Полозов; Условный язык заключенных Соловецких лагерей особого назначения / Н. Н. Виноградов; Словарь Соловецкого условного языка / Н. Н. Виноградов; Литературное творчество заключенных уголовников / Б. А. Глубоковский; Соловецкая печать / П. Э. Шенберг; Соловецкая школа / К. И. Троицкий, П. С. Калинин; Соловецкий театр /

- Б. А. Глубоковский; *Половые аномалии и наркомания среди преступников* / П. И. Иголеви́ч.
83. Изучение преступного мира // Новые Соловки. 1926. 28 марта
84. К вопросу о криминологической работе / Б. Г. // Новые Соловки. 1926. 12 дек.
85. Каменоградский, И. С. Мы не рабы (из впечатлений преподавателя) // Соловецкие острова. 1925. № 1. С. 55–57.
86. Криминологическая работа на Соловках / Б. Г-ский // Карело-Мурманский край: краевед., обществ.-экон. ил. журн. 1927. № 4. С. 37–38.
87. Криминологическое общество // Новые Соловки. 1926. 30 мая.
88. Первое собрание криминологической секции // Новые Соловки. 1926. 31 окт.
89. Песни неволи: (экскурсия в область тюремной литературы) / Н. В. // Новые Соловки. 1926. 3 окт.
90. Секреты «Соловецкого криминологического кабинета» / проф. И. С.; публ. Б. Н. Камова // Шпион: альм. писат. и журн. расследования. М., 1993. Вып. 1. С. 81–89.
91. Сметанин, Б. О двух исповедях: отклики на ст. «Человеческие документы» в «НС» № 42 // Новые Соловки. 1926. 24 окт.
92. Смирнов, В. Криминологические этюды // Соловецкие острова. 1926. № 7. С. 77–86.
93. Человеческие документы / записал Н. Виноградов // Новые Соловки. 1926. 17 окт. Содерж.: Как я снова попал на Соловки: рассказы уголовников.



«ВОСПОМИНАНИЯ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ» —

фундаментальный издательский проект,
начало которому было положено в 2013 году.

Впервые в истории воспоминания выживших
заключенных Соловецкого лагеря особого назначения
издаются единым многотомником. В предыдущие
годы в свет вышли три тома данной серии,
сейчас вы держите в руках четвертый.

Сочинения авторов в издании сопровождаются
биографическими статьями, подробным справочным
аппаратом, богатыми иллюстративными материалами.

Книжная серия «Воспоминания соловецких узников»
была успешно представлена на презентациях
в Москве, Архангельске, Нижнем Новгороде,
Петрозаводске, Сочи, Севастополе.

В конкурсе Архангельской области на лучшую книгу года
I том издания был признан победителем с присвоением
статуса «Лучшая книга о Русском Севере».

Том I 1923–1927

- А. Клиnger.** Соловецкая каторга. Записки бежавшего
И. А. Ермолаев. «Власть Советам!..»: о событиях в Кронштадте 1–18 марта 1921 г.
Б. М. Сапир. Путешествие в Северные лагеря. Наш соловецкий староста
Эсер. Соловецкая трагедия
В. О. Рубинштейн. Из воспоминаний
Б. Н. Ширяев. Неугасимая лампада
С. А. Мальсагов. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере
Ю. Д. Бессонов. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков
Д. М. Бацер. Соловецкий исход
Е. Л. Олицкая. Мои воспоминания
М. Леонардович. На островах пыток и смерти. Воспоминания с Соловков
А. С. Л. Шауфельбергер. Соловки
Б. Л. Седерхольм. В разбойном стане: три года в стране концессий и «Чеки» (1923–1926)
Павел Чехранов, священник. Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний

Том II 1925–1928

- Иван Савин.** Очерки о Соловках
Михаил Польский, протопресвитер. Публикации о Соловках
С. Курейши. Пять лет в Советских тюрьмах и лагерях
И. М. Зайцев. Соловки (Коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти)
Б. Л. Солоневич. Молодежь и ГПУ (Жизнь и борьба советской молодежи).
Тайна Соловков

Том III 1925–1930

- В. Н. И.** Соловецкий концлагерь (Со слов очевидца)
Феодосий (Алмазов), архимандрит. Мои воспоминания
Г. Андреев. Соловецкие острова (1927–1929)
А. Р. Грубе. Рассказ человека с того света. Секирка
О. В. Волков. Погружение во тьму
И. М. Андреевский. Допросы в тюрьмах НКВД. На коммунистической каторге.
Большевизм в свете психопатологии. Катакомбные богослужения в Соловецком
концлагере. Православный еврей-исповедник. Группа монахинь в Соловецком
концлагере. Воспоминания о епископе Викторе (Островидове). Епископ Максим
Серпуховской (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере. «Совесть СССР»
Н. П. Анциферов. СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения)
О. В. Второв-Яфа. Авгуровы острова. Тетрадь первая. 1929–1930.
Тетрадь вторая. Мать Вероника (повесть)

16

Воспоминания соловецких узников

Том IV

Ответственный редактор
иерей Вячеслав Умнягин

Дизайн и оригинал-макет
Михаил Скрипкин

Художник
Сергей Губин

Литературный редактор
Вениамин Слепков

Технический редактор
Вера Брагина

Корректоры
Марина Смирнова
Ольга Сидорова

В оформлении обложки использован снимок
Юрия Бродского

Подписано в печать 23.05.2016

Формат 72 х 104 1/16

Печать офсетная. Усл. печ. л. 42.

Заказ № 394. Тираж 2000 экз.

1-й завод: 1–500.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

164070, Архангельская обл., пос. Соловецкий,

наб. бухты Благополучия, д. 1, корп. 8

solovki-news@yandex.ru

<http://solovki-monastyr.ru>

Отпечатано в типографии «НП-Принт»

Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Первый том фундаментального
проекта Издательского отдела
Соловецкого монастыря. Изда-
ние посвящено памяти заключен-
ных Соловецкого лагеря особого
назначения (СЛОН). В книгу во-
шли мемуары узников, находившихся
в заключении в период с 1923 по
1927 г., а также справочные мате-
риалы по истории лагеря, его мате-
риковых и островных отделений.
Издание ориентировано на самый
широкий круг читателей и специали-
стов, интересующихся отечественной
историей.

Книга удостоена диплома

читателя Архангельского

университета

им. Г.В. Плеханова

за лучшую книгу года

издательства



ИЗДАНИЕ
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ